NON-FICTION



Яков Гордин

ГИБЕЛЬ ПУШКИНА

ПРАВО НА ПОЕДИНОК

ПУШКИН И ВЛАСТЬ

«АЗБУКА»

18+

Гибель Пушкина. Право на поединок

Яков Аркадьевич Гордин

Аннотация
Яков Аркадьевич Гордин. Гибель Пушкина. Право на поединок
Гибель Пушкина. 1831–1836
От автора
1831
1832
1833
1834
1835
1836
Приложение «И Пушкин стал нам скучен…». Из современной критики
Записка Ф. В. Булгарина в III Отделение, декабрь 1826 г
Н. И. Надеждин. «Полтава», поэма Александра Пушкина. Фрагменты
Ф. В. Булгарин. Второе письмо из Карлова на Каменный остров
М. А. Бестужев-Рюмин. Сплетница
«Евгений Онегин», роман в стихах, сочинение

Александра Пушкина

Ф. В. Булгарин. Анекдот

Ф. В. Булгарин. «Евгений Онегин», роман в стихах, глава VII. Сочинение Александра Пушкина

Н. А. Полевой (?). Эпиграмма

Ф. В. Булгарин. Предок и потомки. (Сатирическая повесть)

Из газеты «Северный Меркурий». Несчастный поэт

М. А. Бестужев-Рюмин

В. Н. Олин. «Борис Годунов». Сочин ⟨ение⟩ А. Пушкина

Ф. В. Булгарин. Петербургские записки. Письма из Петербурга в Москву к В. А. У. II

Из журнала «Телескоп». «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» СПб., 1831

Н. Полевой. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные А. П. СПб. 1831 г., в т⟨ипографии⟩ Плюшара, in 12, XVII и 187 стр

«Стихотворения Александра Пушкина». Третья часть

Н. И. Надеждин. Летописи отечественной литературы Последняя глава «Евгения Онегина». Сочинение Александра Пушкина Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть Стихотворе-

ния Виктора Теплякова

«Борис Годунов». Сочинение Александра Пушкина. СПб. 1831 г. in 8. 142 стр

Н. И. Надеждин (?). «Новоселье», часть вторая

Письмо к издателю

В. М. Строев. «Повести, изданные Александром Пушкиным» С.-Петербург. 1834. В т⟨ипографии⟩ Гинце, в 8 л. л. XIII и 247 стр

В. Г. Белинский. Литературные мечтания. (Элегия в прозе). Фрагмент

В. Г. Белинский. «Повести, изданные Александром Пушкиным»

Ф. В. Булгарин. Настоящий момент и дух нашей литературы

О. И. Сенковский. «Вастола, или Желания». Повесть в стихах, сочинение Виланда. Издал А. Пушкин. С.-П⟨етер⟩бург, в тип ⟨ографии⟩ Д⟨епартамента⟩ внешней торговли, 1836, в 8, стр. 96

В. Г. Белинский. «Стихотворения Александра Пушкина». Часть четвертая

Право на поединок. Пушкин и власть

Михайловское. 1835 (1)

Карьера Уварова (1)

Михайловское. 1835 (2)

Судьба генерала Киселева (1)

Михайловское. 1835 (3)

Судьба генерала Киселева (2)
Карьера Уварова (2)
Уроки Сперанского (1)
Михайловское. 1835 (4)
Уроки Сперанского (2)
Карьера Уварова на фоне «Клеветникам России»
Вызов
Два генерала
Поединок с Уваровым (1)
Как ломали князя Вяземского
Поединок с Уваровым (2)
Сокрушение Полевого, или Генеральная репетиция
Поединок с Уваровым (3)
Ночное погребение императора
Поединок с Уваровым (4)
Явление Жобара
Старик с сатанинской физиономией
Поединок с Уваровым на фоне исторической науки
Князь Репнин и Варфоломей Боголюбов
Поединок с Уваровым на фоне друзей
Конец генерала Киселева
Прощальный взгляд окрест, или Реквием по честному дворянину

Агония дворянской чести
Бесы крупные и мелкие, или Прорыв из тьмы

Аннотация

В настоящее издание вошли две книги Якова Гордина – известного писателя, публициста и историка: «Гибель Пушкина» и «Право на поединок. Пушкин и власть».

В первой из них прослеживается судьба Пушкина с 1831 года, когда начинается зрелый этап в творчестве поэта, он женат и полон сил. Тем не менее многие его важнейшие начинания терпят крах. Пушкин предстает как серьезный историк и политический мыслитель, провидевший будущее Российской империи, но оставшийся непонятым не только царем, его приближенными и критикой, но подчас и собственным окружением.

Основа сюжета второй книги – противостояние Пушкина идеологии «просвещенного рабства», проводимой в Николаевскую эпоху министром просвещения С. С. Уваровым. Повествование о последнем годе жизни поэта разворачивается на фоне судеб его современников (М. Ф. Орлов, М. М. Сперанский, П. Д. Киселев, А. П. Ермолов, П. А. Вяземский), как и он, вступивших в неравную борьбу

с имперской бюрократией и не сумевших переломить развитие общественно-политического процесса в России. Этот широкий исторический контекст позволяет понять масштаб тяготивших Пушкина проблем, которые он пытался разрешить.

Издание адресовано самому широкому кругу читателей – всем, кого увлекают вопросы русской истории и литературы.

Яков Аркадьевич Гордин
Гибель Пушкина. Право на поединок

© Я. А. Гордин, 2026
© Челябинский государственный музей изобразительных искусств, 2026
© Оформление
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

NON-FICTION



Яков Гордин

Гибель Пушкина

Право на поединок

пушкин и власть



АЗБУКА
Санкт-Петербург

Гибель Пушкина
1831–1836

По общему своему характеру политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, – т. е. в этом смысле проникнутый либерализмом.

С. Франк. Пушкин как политический мыслитель

Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много.

Пушкин. Из разговора с великим князем Михаилом Павловичем

От автора

Рискуя быть заподозренным в нескромности, я позволю себе внести в это предисловие автобиографический элемент.

«Гибель Пушкина» — или, как это сочинение было названо при первой публикации в «Звезде», «Годы борьбы» — стала первой моей значительной публикацией. Мне было 38 лет. До этого для меня главным собственно литературным занятием было писание стихов и критических статей.

В 1967 году ленинградский ТЮЗ поставил мою пьесу. После неофициального успеха тюзовского спектакля ленинградские театры стали заказывать мне пьесы, а контролирующие инстанции с такой же последовательностью их запрещали. И как я теперь уверен, это пошло мне как литератору на пользу.

Параллельно со всем остальным я с середины шестидесятых стал прилежно заниматься тем, что можно назвать независимыми историческими исследованиями. Начал я с декабристов и естественно и неизбежно пришел к Пушкину.

Очевидно, я бы писал и публиковал крупные вещи и ранее 1974 года, но волею могучих об-

стоятельств оказался в «черном списке», что означало запрет на публикации, и вынужден был зарабатывать телевизионной работой под псевдонимами. Впрочем, выручали меня и старые театральные связи.

Запрет с меня был неожиданно и без всяких моих усилий снят в 1972 году, когда вышла книга моих стихов, пролежавшая в издательстве лет пять. А тут приблизился пушкинский юбилей, и «Звезда», в которой я прежде публиковал рецензии, заключила со мной договор на нечто о Пушкине.

К приятному моему удивлению, сочинение о Пушкине было встречено многими уважаемыми мною людьми более чем положительно.

Едва успел выйти июньский юбилейный номер «Звезды», как я получил письмо, датированное 23 июня 1974 года, — от Александра Константиновича Гладкова, эрудита, сотрудника Мейерхольда, впоследствии автора интереснейших книг о Мейерхольде и Пастернаке, известного широкой публике как автор пьесы «Давным-давно» (фильм «Гусарская баллада»).

«Дорогой Яша!

С большим интересом прочитал Ваши „Годы борьбы“. Казалось бы, все это давно известно,

но Вы выстроили факты с железной логической последовательностью, строго отбирая главное, и хотя почти не говорите о том, о чем пишут наиболее охотно — о последней дуэли, — эта завершающая драма в жизни Пушкина делается совершенно понятной и трагически неизбежной. Конечно же, не светские нравы, не сословные предрассудки, не африканский характер, а именно развитие глубокой внутренней драмы является единственным объяснением событий февраля 1837 года. И я снова думал, читая Ваше сочинение, — какой простор открывается перед биографом, когда он свободно пишет и об ошибках гения, и о ложных шагах, и о неудачах, не стремясь возвеличивать и украшать его в каждом его поступке. Ваша самая сильная сторона (не только в этой работе) — безупречная логика и редкая способность к генерализации темы. Вы ни о чем не умалчиваете, ничего не скрадываете („Стансы“, например), и как от полной правды Пушкин как человек выигрывает. Кроме того, Вы соприкасаетесь здесь с одним и ныне актуальным спором, который я лично вел этим летом с лауреатом (Солженицын. — *Я. Г.*): схематично говоря, о том, что должно делать „внутри структуры“ или вне ее».

Мне, разумеется, тоже было приятно узнать мнение человека, отнюдь не склонного к комплиментам.

Разговоров тогда о моей работе — особенно в Москве — было много, но в печатные критические тексты эти разговоры не реализовались. Остались они в частных письмах. Это подтвердилось, когда, случайно купив книгу — посмертную — талантливого «новомирского» прозаика Виталия Семина, рано умершего, составленную другим «новомировцем», Игорем Дедковым, я наткнулся там на его письмо критику Льву Левицкому, где Семин, в частности, писал: «Прочел в „Звезде“ Я. Гордина. Можешь представить себе, как прочел! Прекрасно! Кажется, в первый раз о Пушкине так. Поразительно. И о Дантесе почти ни слова. И правда ведь мелочь. Смертельно опасная, но не сама по себе. Вначале мне казалось, что слишком уж все логично. Одно за другим. Одно из другого. Жизнь глуповатей. Даже если это жизнь супергения. Такую прозу, если меня не подводит моя слабая пединститутская образованность, следует назвать картезианской. Но к концу автор меня убедил и подавил полностью. Господи боже мой, какая убедительная и страшная безнадега! И что там Николай, Бенкендорф, когда вокруг пусто?

Что же остается? Господи, помоги мне полюбить моих врагов ⟨…⟩ Да и где враги? Кто они? Бюрократическая аристократия? Деятели нового типа? Завистники? ⟨…⟩ Мы сами, находящие глубину неизреченную в стихах Бенедиктова?»

Виталий Семин, ростовчанин, прославился своей «новомирской» повестью «Семеро в одном доме», вышедшей на излете «оттепели» и подвергшейся злобной критике. Главным его творческим подвигом был роман «Нагрудный знак OST». Пятнадцатилетним подростком Семин был угнан в Германию — концлагерь, работа на военном заводе. Власть ему этого не простила. Он был изгнан из Ростовского педагогического института и отправлен на строительство Куйбышевской ГЭС… Он так и не стал своим в официальной литературной среде. Его друзьями были Виктор Некрасов и Юрий Домбровский… Он жил трудной жизнью и умер в 50 лет…

Потому и трагедия Пушкина оказалась ему так глубоко и мучительно внятна.

Для меня было принципиально важно, что эти два очень разных человека — их роднило только лагерное прошлое: Гладков — сталинский лагерь, Семин — гитлеровский, — в остальном совершенно разные культурные корни, разные

литературные и жизненные установки, разная интеллектуальная среда обитания, — уловили в моем сочинении трагическую логику пушкинской судьбы. И это была не просто судьба великого поэта и не просто трагедия великого человека, оказавшегося в бытовом тупике, но судьба уникальной личности, предсказавшей своей трагедией трагедию своей страны.

И Гладков, и Семин — повторяю, такие культурно разные, — увидели Пушкина во всем величии его гигантского замысла, попытка реализации которого его и погубила.

Те, кого я намерен процитировать ниже, далеко превосходят выше цитированных, но дело не в противопоставлении одних другим, а в том, что и те и другие видели недостаточность понимания особости этого колоссального явления — Пушкина.

Эта недостаточность, поразившая Виталия Семина в 1974 году, была декларирована крупнейшим русским религиозным мыслителем Семеном Людвиговичем Франком еще в тридцатые годы. Франк, автор многочисленных сугубо философских трудов, о котором известный историк русской философии протоиерей В. В. Зеньковский писал: «По силе философского зре-

ния Франка можно без колебаний назвать самым выдающимся русским философом вообще», — написал пять этюдов о Пушкине.

В 1937 году в этюде «Пушкин как политический мыслитель» он констатировал, что Пушкин «оставался в течение всего XIX века недооцененным в русском общественном сознании. Он ⟨…⟩ не оказал почти никакого влияния на историю русской мысли, русской духовной культуры. В XIX веке и, в общем, до наших дней русская мысль, русская духовная культура шли по иным, непушкинским путям».

В этюде «О задачах познания Пушкина» Франк писал: «Пушкин — не только величайший русский поэт, но и истинно великий мыслитель. ⟨…⟩ Пушкин, не будучи ни в каком отношении типом ученого „специалиста“, не ограничивался и познанием области словесного творчества. Пушкин был одновременно изумительным по силе и проницательности историческим и политическим мыслителем и даже „социологом“».

Правда, поскольку этюды писались в разное время и «пушкиноведение» было отнюдь не главным занятием Франка, то он подчас противоречил себе.

«Пушкин был, как известно, прирожденным

историком, хотя ему и не удалось осуществить в трудах, достойных его дарования, это призвание…»

Стало быть, все же был «специалистом».

Или: «Будучи чистым поэтом, абсолютным образцом поэтической натуры ⟨…⟩ он не „философ“ и не поэт своих „настроений“. Он всегда и во всем — наивный мудрец — ведатель жизни». С тезисом о наивности Пушкина согласиться трудно.

Но для нас важно то, что мыслитель масштаба Франка в другом тексте назвал Пушкина «великим мыслителем», «изумительным по силе и проницательности историческим и политическим мыслителем».

В финале этюда «Пушкин как политический мыслитель» Франк подводит итог своему анализу политического развития Пушкина: «Пушкин, конечно, ошибся в своем историческом прогнозе в одном отношении. Русская монархия не вступила в союз с низшими классами против высших, образованных классов (освобождение крестьян, о котором в течение всей своей жизни страстно мечтал сам Пушкин, конечно, сюда не относится); напротив, гибель монархии, по крайней мере отчасти, была обусловлена тем, что она слишком тесно связала свою судьбу — особенно в 80-х и

90-х годах — с судьбой естественно угасавшего дворянского класса, чем подорвала свою популярность в крестьянских массах. Но в основе своей воззрение Пушкина имеет прямое пророческое значение. Каковы бы ни были личные политические идеи каждого из нас, простая историческая объективность требует признания, что понижение уровня русской культуры шло рука об руку с тем „демократическим наводнением“, которое усматривал Пушкин…»

(Отсюда и жестокое противостояние «аристократа» Пушкина и «демократа», поклонника Ивана Грозного — Николая Полевого, к которому высшие власти до поры относились более благосклонно, чем к Пушкину.)

Я возьму на себя смелость не до конца согласиться с блестящим философом. — Пушкин считал, что монархия, самодержавие, подавляет дворянство, делая ставку не столько на «демократический слой» (хотя это было — вспомним триаду Уварова), но замещает родовое дворянство имперской бюрократией, коренное дворянство — новой бюрократической знатью. Отсюда и «падение дворянства», естественной опоры государства. В результате монархия вообще потеряла опору. И рухнула. Этот аспект ситуации

Франк упустил.

Но его признание «пророческого значения» пушкинской мысли — вот что главное для меня.

Теснейшая органичная связь судьбы Пушкина с судьбой России именно как политического мыслителя, политической фигуры была ясна отнюдь не одному Франку, получившему возможность и в эмиграции знакомиться во второй половине тридцатых годов с многочисленными публикациями пушкинских текстов исторического и публицистического характера.

В 1918 году Бердяев в статье «Россия и Великороссия», анализируя «Медного всадника» и решительно осудив бунт Евгения, писал: «В русской революции и в предельном ее выражении большевизме произошло восстание против Петра и Пушкина, истребление их творческого дела (…). Многие наивные и непоследовательные люди думают, что можно отвергнуть Петра и сохранить Пушкина, что можно совершить разрыв в единой и целостной судьбе народа и его культуры. Но Пушкин неразрывно связан с Петром, и он сознавал эту органическую связь, он был поэтом императорской, великодержавной России».

Если Франк мог познакомиться с отдельными опубликованными после революции фрагмен-

тами пушкинского, условно говоря, конспекта «Истории Петра», то Бердяев не знал и этих текстов, не говоря уже о полной публикации 1938 года, потому он не мог оценить сложной эволюции отношения Пушкина к Петру и его реформам. А главное — их отдаленным результатам.

Предлагаемая читателю книга написана в том числе и для того, чтобы показать роль петровского государства в трагедии Пушкина — Пушкина-мыслителя, историка, политика.

В 1718 году, когда пытали тех, кто был замешан в деле царевича Алексея, Петр спросил висевшего на дыбе Александра Кикина, некогда близкого к царю: «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?»

«То-то что умный, — ответил Кикин, — а уму с тобой тесно». Эту «тесноту ума», высшую степень личной несвободы, и осознал Пушкин, изучая петровское царствование как глубокий и честный историк.

Георгий Петрович Федотов, трезвый и спокойно мудрый мыслитель, историк, искренне идеализирует отношение Пушкина к Петру, опираясь на пушкинские тексты до «Истории Петра». Но Федотов предложил — в отличие от Бердяева —

удивительную в своей парадоксальной точности формулу — «Певец империи и свободы». Если для Бердяева Пушкин певец «императорской, великодержавной России» — безоговорочно, то Федотов вводит радикально меняющее смысл пушкинской позиции понятие свободы.

«Певец империи и свободы» — обширный и тонкий очерк взаимоотношения Пушкина и государства, написанный в 1937 году. Но и Федотов говорит: «Конечно, Пушкин не политик…»

И в то же время: «Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существования. Без свободы немыслим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта».

Предлагаемая читателю книга написана для того, чтобы доказать — Пушкин был политиком. Тут мне союзник Франк. Да, «певец империи», но его империя — не петровский военно-бюрократический монстр, где «все равны перед дубинкою» императора.

Его империя — пространство стройного порядка, личной свободы и личного достоинства.

В советское время родилось вопреки всему великое пушкиноведение. Но оно, как правило, не

затрагивало всерьез политические, исторические концепции и замыслы Пушкина. Так, в превосходной книге Б. В. Томашевского «Пушкин и Франция» основной массив посвящен чисто литературной проблематике. За исключением статьи «Пушкин и история Французской революции». Но это не столько анализ взгляда Пушкина на суть событий, сколько с обычным для исследователя блеском и фундаментальностью рассказанная история творческого замысла.

Были чрезвычайно значительные книги, затрагивающие эту проблематику. Книги Вадима Вацуры, Натана Эйдельмана. Они, однако, относились к отдельным аспектам проблемы.

Но мне показалось тогда, в начале 1970-х, что «сквозь дым столетий» я разглядел некую систему, некий великий общий замысел, которому попытался следовать Пушкин, замысел, который потребовал от него немыслимого духовного напряжения, тяжелых жертв и предопределил его гибель. Мне показалось, что я понял суть трагедии гения, трагедии, к которой бытовые обстоятельства имели лишь косвенное отношение. И потому я был радостно поражен, когда два столь разных читателя, и, что важно, не пушкиниста, как Гладков и Семин, подтвердили мою

догадку.

Я попытался написать, проследив месяц за месяцем, год за годом — с 1831 по 1836 год, — логику действий Пушкина. И оказалось, что это — история великой надежды и горького разочарования, трезвой любви к России и мрачного пророчества о ее судьбе.

В книге только один раз упоминается Дантес и считаные разы Наталья Николаевна. На это не случайно и обратили внимание проницательные Александр Гладков и Виталий Семин.

Ибо судьба Пушкина — едва ли не самая трагическая судьба в истории нашей культуры, — рифмуясь с судьбой империи, решалась отнюдь не на бытовом уровне.

1831

Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы.

Пушкин – Вяземскому. 1831

Смутное сознание подсказывает мне, что скоро придет человек, который принесет нам истину нашего времени.

Чаадаев – Пушкину. 1831

1

В полдень 25 мая 1831 года Александр Сергеевич Пушкин с супругой въезжал в Царское Село. Петербуржец того времени писал о поездке в императорскую резиденцию:

«По каким прекрасным чугунным мостикам мы теперь едем; дорога как скатерть. Перед нами въезд в Царское Село. Вот множество низеньких домиков в китайском вкусе, один другого милее, и сколько тут мандаринов, змей, драконов из жести… Это Китайская деревня. Направо лежит сад, обширный, величественный, отделенный от

дороги широким каналом. Глазам нашим представляется императорский дворец во всем его величии и красоте; это истинно царские чертоги: едешь и ощущаешь какое-то особенное, возвышающее чувство…»

Сидя в коляске рядом с Натальей Николаевной, Пушкин тоже видел все это перед собой. Он тоже испытывал какое-то особенное, возвышающее чувство. Но не от близости императорского дворца.

Он уехал отсюда четырнадцать лет назад. Уехал вольнодумцем, мальчишкой, мечтающим надеть гусарский доломан, готовым каждый день выходить на дуэли, готовым к жестокой войне литературной, готовым безрассудно проповедовать вольность.

Это было время ожиданий и надежд.

И теперь — через четырнадцать лет — он возвращался обратно. Он снова был полон надежд и ожиданий. Но надежды были иные, и ожидания — иные. А главное — иное было время.

2

Время было апокалипсическое.

Чаадаев писал ему: «Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир?»

26 июля 1830 года король Франции Карл X, возмущенный оппозицией Палаты депутатов и большей части прессы, издал шесть антиконституционных ордонансов: «Свобода периодической печати отменяется», «Палата депутатов от департаментов распущена…»

Оппозиционная пресса отреагировала мгновенно и безошибочно. 27 июля в двух газетах появился протест против ордонансов. Третья, наиболее влиятельная газета оппозиции «Глоб» перепечатала текст ордонансов. Редакционная статья, сопровождающая их, начиналась словами: «Преступление исчерпано».

Это был последний выпуск газет при старом порядке. Типографии прекратили работу. Многочисленные рабочие-полиграфисты вышли на улицы. Парижские предприниматели закрыли свои предприятия, обеспечив восстание живой силой.

В тот же день — 27 июля — в Париже начались уличные бои. Среди рабочих было много наполеоновских ветеранов. Драться они умели. Карбонарии занялись организацией боевых отрядов. Общее руководство восстанием взяли на себя студенты Политехнической школы. Регулярные войска перешли в большинстве своем на сторону

народа. На третий день единственная опора короля — швейцарская гвардия — была вытеснена из Парижа. Своим главнокомандующим восставшие провозгласили знаменитого генерала Лафайета, героя американской Войны за независимость и Великой революции 1789 года.

Король объявил ордонансы недействительными. Однако было ясно, что к власти ему не вернуться.

После нескольких дней политической борьбы победили сторонники герцога Орлеанского. На французский трон была возведена Орлеанская династия. Новый король поклялся в верности конституционной Хартии (вскоре он начнет нарушать свои клятвы). 12 августа официозная газета писала:

«Сегодня утром король вышел пешком с зонтиком в руке. Он был узнан и окружен толпой; теснимый рукопожатиями и приветствиями, он принужден был вернуться при единодушных криках: „Да здравствует король Филипп“».

25 августа началась революция в Бельгии.

С первых дней французской революции Пушкин напряженно следил за событиями.

Действия короля Карла X, нарушившего законы страны, он осудил решительно. Он считал, что

Полиньяка, министра, толкнувшего короля на такой шаг, надо казнить. Конституция не должна нарушаться. Но результаты революции, новый король и поведение публики не вызвали у него восторга.

«Их король с зонтиком под мышкой слишком буржуазен», — писал он. Фраза эта, как мы убедимся, имела для него смысл более глубокий, чем может показаться.

Главным же для него было, что Европа пришла в движение, как в 1789 году. Началось то, что он назвал «судорогами, охватившими Европу». Почва заколебалась.

3

Пушкины поселились в домике царского камердинера Китаева. Сам Китаев умер, и вдова домик сдавала.

Домик был небольшой, но комнат хватало — десять. Да еще — открытая веранда и балкон.

Ближайшие планы Пушкина были очень ясны. Он писал Нащокину:

«Вот уже неделя, как я в Царском Селе, а письмо твое получил только третьего дня. Оно было застраховано, и я возился с полицией и почтой… День ото дня ожидаю своего обоза и письма тво-

его. Я бы переслал Горчакову тотчас мой долг с благодарностию, но принужден был в эти две недели истратить 2000 рублей и потому приостановился. Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно без больших расходов и без сплетен».

Ему нужна была остановка в жизни, пауза, потому что жизнь начиналась совсем иная и необходимо было неподвижно прислушаться к себе и к миру и принять решения.

Обоз с вещами из Москвы пришел. Впервые Пушкин зажил своим домом. Выглядело это вполне идиллично.

Встав утром, он принимал холодную ванну, пил чай и поднимался в кабинет, в мезонин. Там ему была уже приготовлена банка варенья из крыжовника и стакан ледяной воды. Он работал.

Наталья Николаевна вышивала в гостиной.

Потом они шли гулять.

«Многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль».

Вскоре после приезда пришел он в Лицей. Тогдашний лицеист Я. Г. Грот рассказывал:

«Никогда не забуду восторга, с каким мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших „дедов“, мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему Лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных местах».

Часто он ходил вокруг Лицея один. Ему было горько здесь. Но он не щадил себя.

Полгода назад внезапно умер Дельвиг. Это было накануне свадьбы Пушкина. Сомов, сотрудник Дельвига по «Литературной газете», писал Баратынскому в Москву:

«Приготовьте Пушкина, который, верно, теперь и не чает, что радость его возмутится такой горестью».

Это была одна из тех вестей, которые сразу и объявить человеку страшно. Все близкие к Пушкину люди знали, как любил он Дельвига. И не только по давней дружбе. Дельвиг был человеком редчайшим. Он был умен спокойным, ясным умом, бесконечно добр и безукоризненно благороден. А для Пушкина, зрелого Пушкина,

куда как важны были эти качества.

«Что скажу тебе, мой милый? — писал он Плетневу, узнав об этой смерти. — Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось… Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертию, — говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здрав — и постараемся быть живы».

Его не так-то легко было с ног свалить. Не свалила же его судьба Пущина и Кюхельбекера, о которых думал он, глядя на лицейские стены. Их страдания, их крестный путь, наконец, просто отсутствие их играли для него особую роль — до конца жизни.

Но он знал, что надо жить и делать свое дело. Его нелегко было с ног свалить. Он умел справляться с несчастьями. Встречавшие его в то время видели бодрость и спокойствие.

«27 июля, в 7-м часу вечера, я шел к знакомому, жившему во дворце. Я шел парком. Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста, с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро, большими шагами. Хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я сказал ему взволнованным голосом: „Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться“. — „Очень рад, — отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку, — очень рад“. Непритворное радушие было видно в его улыбке и глазах… При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем и тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой же минуты… Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил: „Отчего они ему

вытягиваются?“, то он отвечал: „Право, не знаю; разве потому, что я с палкой“».

Итак, жили тихо. Ели однообразно, но вкусно. На обед обычно подавали «зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем и на десерт варенье из белого крыжовника».

Пушкин повторял слова Шатобриана: «Если бы я мог еще верить в счастие, я бы искал его в монотонности житейских привычек». Монотонность житейских привычек, добропорядочность и прочность семейного дома пытался он противопоставить потопу жестокой стихии, окружавшей Россию, Петербург, Царское Село, подступавшей к его душе и уму.

4

17 ноября 1830 года в польской армии, которую император Николай намеревался отправить во Францию для усмирения революции, началось восстание.

Для Пушкина это было делом еще более серьезным, чем французская революция. Трещины, побежавшие по миру, гибель которого предвидел Чаадаев, пересекли границы Российской империи. Все свое сложное и мучительное отношение

к происходящему он изложил на полстранице в письме к Вяземскому. Под вопросом оказалось само существование самодержавной империи. А существование единой и мощной империи было теперь связано в сознании Пушкина с тем великим будущим России, о котором он непрестанно думал в это время и которому собирался способствовать…

С петровских времен существовала идея объединения славян вокруг России. Идея эта стала особенно популярна в начале XIX века. Ее сторонником был Державин.

Первый директор Лицея Василий Федорович Малиновский, человек, которого Пушкин уважал, крупный политический мыслитель, разработал план создания единой славянской державы. Она должна была объединить Россию, воссоединенную Польшу и балканских славян, освобожденных от власти Турции и Австрии.

В первую половину царствования Александра I проекты такого рода занимали серьезное место во внешнеполитических планах русского правительства и вызывали безусловную поддержку общества. «Славянская держава» могла — по убеждению русских патриотов — укротить любого завоевателя. В тот момент речь шла, есте-

ственно, о Наполеоне.

Идея эта неизбежно носила в себе революционное зерно — ведь для освобождения угнетенных славян требовалось их восстание. И для передовых русских политиков это движение, естественно, связано было с греческим восстанием, столь волновавшим Пушкина и декабристов.

В двадцатые годы, во время пребывания Пушкина на юге, зародилось революционное Общество соединенных славян. Его конечной целью было сплочение славянских народов вокруг свободной России…

И теперь — в 1831 году — Пушкин решил для себя, что победа восставшей Польши, отпадение ее, окажется чреватым слишком тяжкими последствиями для России и славянства.

Это была традиция декабристского патриотизма.

Спокойной жизни, спокойной работы, спокойных раздумий не получалось. Царскосельские парки, жестяные мандарины и драконы, свой удобный, устроенный дом — все это было идиллическим фоном для мучительных размышлений.

Катастрофические толчки почвы нарастали, пока не поставили империю на край гибели. Так думали современники. Так думал царь.

5

19 июня 1831 года молодой литератор Никитенко занес в свой дневник:

«Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».

20 июня:

«В городе недовольны распоряжениями правительства… Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу… Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие

к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить».

Царское Село оказалось отрезанным от мира карантинами.

Трудно было сохранять душевное спокойствие. Осень прошлого года, болдинское сидение, собственный «пир во время чумы» стали приходить на память. Письма Пушкина той поры полны беспокойства.

Между тем в Петербурге произошел бунт. Было убито несколько ни в чем не повинных лекарей. Император личным появлением слабый этот бунт усмирил. Да это был и не столько бунт, сколько вспышка отчаяния подавленных наступлением непонятного зла людей.

Волнения были и вокруг Петербурга.

Пушкин чувствовал, что можно ожидать худого. Он понимал неустойчивость положения. Недаром писал он за полгода до того:

«Россия нуждается в покое. Я только что про-

ехал по ней… Народ изнурен и раздражен».

Он не ошибался.

Холерные дела, достаточно неприятные сами по себе, стали поводом к мятежу, какого Россия не видела со времен Пугачева.

Кто не знает, что в 1831 году было восстание в военных поселениях. Но мало кто представляет себе истинный масштаб этого восстания, и ужас, в который оно привело власть, и воздействие, которое оно оказало на умы людей думающих.

Военные поселения, в том виде, в каком существовали они при Пушкине, были задуманы и организованы Александром I и Аракчеевым с одной достаточно простой мыслью. Мысль эта выглядела так. Россия должна блюсти порядок в Европе. Для этого нужна большая армия. Большая армия стоит дорого. Следовательно, нужно, чтобы часть армии одновременно занималась и крестьянским трудом.

Выполнение этого плана шло с двух сторон. С одной стороны, некоторые армейские части были поселены в деревнях и как бы посажены на землю. С другой стороны, большое количество государственных крестьян было как бы превращено в солдат, занимающихся и хлебопашеством. Через несколько поколений, по мысли

организаторов, военные поселения должны были дать России значительную резервную армию, обученную и ничего государству не стоящую.

А что получилось в действительности?

«Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения; все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте дом, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение — смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из Порхова, с тягчайшей доставкою; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров для обстановки его клеткою, и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию; а общий образ его жизни — ученье и ружье. Притом от худого расчета или оттого, что корова в два оборота делает в день 48 верст для пастбища, всякий год падало от 1000 до 2000 коров в полку, чем лишали себя позема и хлебородия, и казна всякий год покупала новых коров… В больнице полы доведены до паркетов, и больные не

смели прикоснуться к ним, чтобы не замарать; у каждого поселенного полка была мебель, но она хранилась как драгоценность, на ней никто не смел сидеть».

Это написал не какой-нибудь маркиз де Кюстин, французский критикан. Это написал генерал-майор русской службы Маевский, начальник старорусских военных поселений.

Жизнь в военных поселениях была настолько страшна и бессмысленна, что прежнее крестьянское бытие, тоже отнюдь не райское, вспоминалось как предел благоденствия.

«Всех жителей одели в солдатские мундиры, расписали по ростам; во всяком селении взяли гумно, начали их в нем приучать ворочаться налево и направо, ходить в ногу, топать каблуками, выпрямляться, носить тесак; даже до такой степени заботились, что в тех гумнах не поленились выстроить печки, дабы поселяне и в зимние дни навещали манеж, маршировали в нем и слушали команду горластого капрала, для их столь особенного счастья».

Это свидетельство тоже не какого-нибудь постороннего злопыхателя, а управляющего Высоцкой волостью поселений капитана Мартоса.

Всем здравомыслящим людям было ясно, что

идея поселений провалилась по всем статьям. Однако поселения существовали, и конца им не было видно.

Если «корову содержать как ружье», она, бедная, сдохнет безропотно, и все тут. Но если в том качестве содержать человека, то он рано или поздно может и взбунтоваться.

В 1830–1831 годах военные поселения были готовы к взрыву. И только николаевское правительство, с его удивительной смесью самоуверенности и трусости, подозрительности и слепоты, этого не понимало.

Нужен был повод. Его дала холера.

Слухи о том, что под видом холеры начальство травит народ, ходили, разумеется, не только в Петербурге и Москве. На раздраженных, озлобленных военных поселенцев они действовали особенно сильно.

Уже после подавления восстания в рапорте следственной комиссии было сказано:

«Единственным поводом к возникшим в городе Старой Руссе и в округах военного поселения гренадерского корпуса беспорядкам послужили распространившиеся нелепые слухи, что относимая к появлению болезни холера смертность происходит от отравы и что начальники состоят

в заговоре истребить посредством оной нижний класс народа, выдумав существование холеры для прикрытия своих замыслов ⟨…⟩ Еще 8 июля один господский мальчик, который, идя по улице, завязывал в узелок платка соль, своевольно схвачен был чернью по подозрению, что рассыпает яд. Хотя на сей раз освидетельствованием оной соли выведены были жители из заблуждения, однако же 10 июля снова оказалось подобное самоуправство; Киевского гренадерского полка подпоручик Ашенбреннер, прохаживавшийся за городом, был остановлен мещанами тоже по подозрению, что он шпион и для того ходит близ реки, чтобы отравить ее ядом. Наконец, 11 июля, по пробитии вечерней зори, нижние чины военно-рабочего № 10 батальона схватили около своих бивуак, находящихся близ Старой Руссы, проходившего по большой Крестецкой дороге для прогулки Киевского же гренадерского полка капитана Шаховского, подозревая его в рассыпке яда, избили и связали его, после чего, вышед из повиновения к начальству, вооружились кольями и бросились с неистовым криком в город… Поднялся весь город, все улицы стали наполняться чернью, которая, питая в разгоряченном своем воображении мысль об отраве и узнав о

приближении людей 10-го рабочего батальона, бросилась для соединения с ними; после того, видя безначалие, мятежники в совокупности предались неистовствам всякого рода, начав оные убийством вышедшего для убеждения их генерал-майора Мевеса, городского лекаря Вейгнера, и отысканию в саду полицмейстера Манджоса. Далее, разбив дома чиновников, подозреваемых в заговоре, и городскую аптеку, нанесли жестокие побои некоторым полицейским чиновникам…»

Затем события стали развиваться столь стремительно, что вести, посылаемые местным, уцелевшим еще начальством в Петербург, неизменно запаздывали. Хотя Петербург был совсем недалеко.

Ситуация менялась ежедневно, и только в худшую сторону. Один за другим восставали поселенные полки. Регулярные части, расположенные в округах, переходили на сторону мятежников.

16 июля началось восстание в Новгородских поселениях. 17 июля солдаты 5-го и 6-го военно-рабочих батальонов вместе с крестьянами «сделали нападение на лагерь поселенного гренадерского корпуса, причем умерщвлены в истязаниях полковник Нейман и майор Маковский».

Короче говоря, гренадеры поддержали восставших. 21 июля командовавший 2-й гренадерской дивизией генерал-майор Леонтьев, прибывший в Старую Руссу для подавления мятежа с двумя батальонами пехоты и артиллерией, был убит. Его солдаты перешли на сторону мятежников.

Десятки тысяч восставших, среди которых было много обученных и вооруженных солдат, стояли не где-нибудь в оренбургской степи или на Волге, а в нескольких переходах от Петербурга. Русская армия и большая часть гвардии находились на западном театре военных действий.

Оставить без всякой защиты Петербург тоже было невозможно, ибо вокруг него все время вспыхивали холерные бунты, грозившие перейти в мятеж.

Сил для карательных операций у правительства не было.

Положение получалось отчаянное.

Члены следственной комиссии искренне заблуждались, считая, что все дело в нелепых слухах об отраве. 19 июля — в самый разгар мятежа — у подполковника Панаева произошел такой разговор со стариком, которого уважали поселяне.

— Послушай, старик, — сказал Панаев, — ты

человек умный и можешь рассудить, как можно отравить всех. Поди ты и растолкуй им, они тебе более поверят.

— Что тут говорить, — отвечал старик. — Для дураков яд да холера; а нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было.

Император Николай в такие моменты проявлял тонкое понимание ситуации. Он писал 18 июля:

«Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные. Не дай и сохрани нас от того милосердный Бог, но я крайне беспокоюсь».

Происходило самое страшное — войска братались с мятежниками. Со дня на день полки 1-й и 2-й гренадерских дивизий, поддержанные чернью, могли выступить на Петербург.

6

Двор переехал в Царское Село в начале июля. А с двором — дороговизна и сплетни, слухи и достоверные известия. Последнее было важно.

Приехали с двором Жуковский, воспитатель наследника, и «черноокая Россетти», фрейлина. От них и шли достоверные известия.

Однако первое время после начала мятежа в поселениях не ясно еще было, что там происхо-

дит. Николай, очевидно, делился сведениями с очень ограниченным кругом.

Около 16 июля Пушкин писал Плетневу:

«У нас в Царском Селе все суетится, ликует, ждут разрешения царицы; ждут добрых вестей от Паскевича; ждут прекращения холеры».

Но 21 июля тон меняется:

«В Царском Селе также все тихо; но около такая каша, что боже упаси».

Это — Нащокину, с которым в политические разговоры Пушкин обычно не очень входил.

Но 3 августа он написал Вяземскому:

«…ты верно слышал о возмущениях Новогородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новогородских поселениях со всеми утонченияими злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных ⟨…⟩ Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улицах. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали

мужики, которым полки выдали своих начальников. — Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы».

Ему было тяжело.

Он прекрасно понимал причины мятежа и причины его жестокости.

Но жестокость, бессмысленная жестокость, приводила его в отчаяние. И еще одно — бесплодность мятежа.

В начале августа он уже знал, что мятеж кончается. В тревоге пережил он страшные июльские дни, когда неясно было — пойдут бунтовщики на Петербург или нет. Они не пошли. Они попусту теряли время. И потеряли все. Правительству удалось хитростью вывести из округов регулярные части. Удалось собрать военную силу. Поселенцы, оставшись одни, без сочувствующих гренадер, упали духом. Их хватали, заковывали.

Пушкина угнетала бессмысленность происходящего. За жестокостью мятежа следовало изуверское возмездие.

«Когда привели на плац первую партию, то их невозможно было узнать; до того они были исхудалы, печальны и обросли, что не походили на людей… Для большей безопасности кругом

плац-парада гарцевали два эскадрона драгун. Вскоре приехал генерал Данилов, назначенный для наблюдения за порядком во время экзекуции. Поздоровавшись с полубаталионом Астраханского полка, он начал говорить солдатам, что когда придет время наказывать бунтовщиков-поселян, то не щадить их, — ибо кто окажет им малейшую снисходительность, того он сочтет за пособника и ослушника воли начальства, а следовательно, за такого же бунтовщика, как и поселяне… „Стегать их, шельмецов, без милосердия, по чему ни попало“, — прибавил он. Затем, обратившись к поселенному батальону, собранному для присутствия на экзекуции, сказал: „Ну что, разбойники? Что наделали? Вот теперь любуйтесь, как будут потчевать вашу братию…“ Страшная была картина: стон и плач несчастных, топот конницы, лязг кандалов и барабанный, душу раздирающий бой — все это перемешалось и носилось в воздухе. Наказание было настолько невыносимым, что вряд ли из 60 человек осталось 10 в живых. Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности… У некоторых несчастных, как, например, у поселянина Егора Степанова, выхлестнули глаз и так водили, а глаз

болтался; Морозова, который писал прошение от имени поселян, били нещадно. Несмотря на его коренастую фигуру, высокий рост, он не вытерпел наказания, потому что его наказывали так: бьют до тех пор, пока не обломают палок, потом поведут опять, и снова остановят, пока не обломают палок. Ему пробили бок, и он тут же в строю скончался…»

Это страшно читать. Но надо знать это. Ибо Пушкин тоже это знал. Он знал, где и в какое время живет.

Империя была на краю гибели. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» — писал он некогда. Теперь эта формула приобретала новый смысл.

За два года до этого Пушкин писал о Грибоедове:

«Нет ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

Последние годы жизни Грибоедов был крупным дипломатом, влияющим на судьбы государств. Пушкин завидовал Грибоедову — государственному деятелю.

7

Уже много лет он думал о своем издании — журнале, альманахе. Он все время — из всех своих

ссылок — писал об этом друзьям.

«Литературная газета», которую в тридцатом году издавали Дельвиг и Сомов, была все же не совсем своя. Разумеется, он мог напечатать там что хотел. Но он все время был в отъездах — сватовство, Болдино, женитьба. Да и газета была всего лишь «литературная». Ему и тогда этого казалось мало, а теперь и подавно.

Еще из Москвы — в марте — он писал Плетневу:

«Я не прочь издавать с тобою последние „Северные цветы“. Но затеваю и другое, о котором также переговорим».

Через две недели — опять же Плетневу:

«Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго и газеты!»

Вот оно — таинственное «другое» из первого письма. Мысль о газете. Об издании мобильном, многотиражном. Но не только в тираже и мобильности дело. Он хотел газету политическую.

8 июня Пушкин получил письмо от управляющего III Отделением (то есть начальника тайной полиции) Фон-Фока.

«Милостивый государь! Будучи бесконечно

польщен доверием, которым Вы изволили меня почтить, я прошу Вас принять выражение моей столь же искренней, как и чувствительной благодарности. Позвольте, однако, милостивый государь, возвращая Вам черновик прошения, который Вы имели любезность мне сообщить, — заверить Вас с присущей мне откровенностью, что я далек от того, чтобы покровительствовать одному какому-нибудь литератору, кто бы он ни был, за счет его собратьев. К сожалению, встречаются люди, до чрезвычайности склонные к тому, чтобы изображать в дурном свете самые невинные обстоятельства. Вот почему мне приписали влияние, которым я никогда не пользовался и которое было бы совершенно противоположно моим принципам. Я знаю издателей „Северной Пчелы“ лучше других по прежним, чисто светским отношениям; это единственные литераторы, которые иногда навещают меня и с которыми я иногда обмениваюсь литературными мнениями, не всегда, впрочем, становясь на их сторону. Таким образом, пристрастие к этим господам мне приписывают совершенно безосновательно и даже не без зложелательства. Что касается политических статей, которые я им изредка посылаю для напечатания в их газете,

то я делаю это по обязанностям службы, по поручению генерала Бенкендорфа, который обычно скрепляет их своей подписью. По этой самой причине осмеливаюсь думать, что Вы, быть может, хорошо бы сделали, обратившись с Вашим проэктом к генералу Бенкендорфу, который неоднократно давал явные доказательства особой к Вам благосклонности».

По содержанию этого иезуитского послания можно понять, о чем писал Пушкин к столь беспристрастному и откровенному полицейскому деятелю. Очевидно, он посылал Фон-Фоку ходатайство о разрешении издавать «политический журнал». Черновик этого документа написан был еще в 1830 году. Но теперь Пушкин решил, что пришла пора действовать.

Он послал письмо именно Фон-Фоку, а не Бенкендорфу, потому что Фон-Фока считал человеком благородным, а Бенкендорф — это было известно — покровительствовал Булгарину и его «Северной пчеле». Очевидно, в сопроводительном письме Пушкин намекнул на покровительство властей издателям «Пчелы». И хитрый Фон-Фок поспешил этот очевидный факт опровергнуть. И направить Пушкина к Бенкендорфу.

Все пути вели в штаб корпуса жандармов,

к бледному голубоглазому генералу, который ненавидел литературу вообще, а Пушкина в особенности. И не просто ненавидел, но и презирал как человека неосновательного, неблагодарного, которому вскружила голову искусственно раздутая слава.

Около 20 июля, когда в Царское Село стали доходить известия о серьезности событий в поселениях, Пушкин послал Бенкендорфу письмо:

«Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностью и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей. В России периодические издания не суть представители различных политических партий (которых у нас не существует), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостию взялся бы я за редакцию *политического и литературного журнала,* т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению».

В прошении, посланном Фон-Фоку, он мотивировал свое желание издавать именно политическую газету (под словом «журнал» тут надо понимать именно частое периодическое издание, он и «Северную пчелу» иногда называл журналом) очень правдоподобно: коммерчески. Газета с политическими известиями может собрать большой тираж и, стало быть, принести много денег. Газета с большим тиражом может успешно рекламировать книги издателя и его друзей и противостоять в этом смысле «Северной пчеле».

Все достаточно мелко, а потому должно было убеждать.

Но те, от кого зависела судьба будущего издания, поняли, что дело не только и не столько в меркантильных соображениях. Они догадывались, для чего нужна Пушкину газета с ее тысячными тиражами.

Слухи о пушкинском предприятии пошли широко.

И вскоре он получил любопытнейшее письмо от своего старого арзамасского знакомца Филиппа Филипповича Вигеля, человека умного, проницательного, злого, циничного, вполне реакционера.

«Проэкт политико-литературного журнала восхитителен; я им очень занят; я искал и, кажется, нашел обеспеченный и в то же время порядочный способ его исполнения. Вы знакомы с Уваровым, бывшим членом Арзамаса. Хотя он и не в особенно хороших отношениях с моим начальством, но благорасположен ко мне и в хороших отношениях с генералом Бенкендорфом. Ваш проэкт сообщен ему, — он им доволен, он его одобряет, он им увлекается, и, если Вы хотите, он поговорит с Бенкендорфом.

Повторяю, Вы знаете Уварова, знаете, что это придворный, раздраженный своими неудачами, но не настолько злопамятный, чтобы отказаться от хорошего места, которое бы ему предложили. Это человек умный, пресыщенный умственными наслаждениями, но всегда готовый снова начать литературную и ученую карьеру; в конце концов, это добрый малый, но малый тщеславный, досадующий в нетерпении на то, что не достиг ни на одном из двух им выбранных путей того уважения и той власти, на которую он рассчитывал. Теперь он выбрал третий путь — разбогатеть и встретил на нем еще больше препятствий. По-моему, он сильно изменился и сделался гораздо любезнее, чем был раньше; все зло происходит от

того, что он сначала вступил на путь славы, потом на путь почестей, приняв их один за другой, и окончательно смешал их. Это ошибка, но его старые друзья были слишком взыскательны. Я бы сказал, даже несправедливы к нему, они предполагали в нем, не знаю почему, твердость стоика, душу римлянина; когда они увидели, что обманулись, они отреклись от него, как от перебежчика или клятвопреступника. Несмотря на все мое уважение, на всю мою уступчивость к ним, я не нахожу его таким виноватым; моя вежливость, мое благорасположение оплачиваются тою же монетою. За мысль Вашего проэкта он ухватился с жаром, с юношеским увлечением. Он обещает, он клянется помогать его исполнению. С того момента, как он узнал, что у вас добрые принципы, он готов обожать Ваш талант, которому до сих пор только удивлялся. По своему нетерпению, он хотел бы Вас видеть почетным членом своей Академии наук. Первое свободное место в Российской Академии Шишкова должно быть Вам назначено, Вам оставлено. Как поэту, Вам не нужно служить, но почему бы Вам не сделаться придворным? Если лавровый венок украшает чело сына Аполлона, почему камергерскому ключу не украсить зад потомка древнего благородного

рода? Конечно, все это только предначертания счастия и славы для того, кто не довольствуется только прославлением своей родины, но хочет служить ей своим пером. От Вас только зависит иметь горячих и ревностных сторонников».

Богатое это письмо, если внимательно его читать. А Пушкин читал его весьма внимательно. Он хорошо знал Вигеля и знал, что тот не станет зря выводить такое количество многозначительных фраз.

В начале письма помещена была приманка, наживка. Обещание выхлопотать политическую газету. Стало быть, и Вигель, и те, кто стоял за ним, знали, как нужна она Пушкину. Затем начиналась откровенная торговля. Проницательный и ехидный Вигель не случайно так подробно расписывал прискорбный путь Уварова. Все здесь имело двойной смысл. Ведь и Пушкин шел по пути славы, прежде чем его стали обвинять в тщеславии и стремлении заслужить благоволение двора. И слова о том, что-де «старые друзья были слишком взыскательны», конечно, с одной стороны, относились к Уварову, но с другой — разве старые друзья не порицали еще недавно Пушкина за «Стансы» Николаю? Разве не смотрели на него как на перебежчика? Разве не вынужден

был он, Пушкин, оправдываться, писать новые «Стансы»?

Письмо построено безукоризненно: приманка, разъяснение, что терять ему, собственно, нечего — он все равно «перебежчик», далее — посулы: место в Академии, камергерский ключ. Что до ключа, то еще в тридцатом году ходили слухи о пожаловании его Пушкину. И наконец, предупреждение, почти угроза, — разумеется, все эти блага для того, кто не просто стихи сочиняет, но… служит своим пером. «От Вас только зависит иметь горячих и ревностных…»

И важен тон письма — этот восторг ренегатов, получивших надежду на совращение еще одного порядочного человека. И не кого-нибудь — Пушкина. Это восторг от предвкушения удачного союза. Именно здесь зерно будущей смертельной вражды Пушкина и Уварова. Обманутые ожидания рождают особенно постоянную и едкую ненависть.

На союз с Уваровым Пушкин пойти не мог. Ни сейчас, ни позже. Тому были свои важные причины.

Пушкин понимал, что, если он хочет получить газету, он должен убедить правительство в своей лояльности. Он и в самом деле был в тот момент

лоялен. Он только считал себя куда умнее правительства. Но это нужно было скрывать до поры до времени. И обещать «с точностью и усердием исполнять волю его величества». Нужно было перехитрить Николая в конечном счете для блага России и самого же Николая.

Без газеты политической было не обойтись. Только она могла быть кафедрой для проповеди. Для поучения и правительства, и общества. Нужно было получить эту газету. Но не любой ценой. Не союзом с Уваровым.

Он ждал ответа от Бенкендорфа.

8

Чем занимался он в это время? Он занимался историей.

История интересовала его давно. Со времен его молодости. Но тогда и позже — в Михайловском — интерес этот не имел значения самостоятельного. Изучив историю Смутного времени, он написал «Годунова». Когда он писал «Годунова», ему было равно важно показать отношения народа и власти и утвердить новый тип драмы. Утвердить в российской словесности опыт Шекспира. Когда он писал «Полтаву», ему равно важно было изобразить роковую баталию под Полтавой

и роковую любовь Марии к Мазепе, убийце ее отца. Движение литературы и движения страстей человека частного занимали его ум.

Теперь было не то. «Собачья комедия литературы» и суета страстей человеческих отступили перед великой драмой мировой истории, которая вошла в его ум и душу.

30 мая 1831 года, сидя в своем кабинете в домике вдовы Китаевой, куда в незашторенные, как всегда, окна било солнце, отхлебнув ледяной воды из стакана и проглотив ложечку крыжовенного варенья, он написал на плотном листе хорошей бумаги, которую он любил:

«Прежде, нежели приступим к описанию преоборота, ниспровергшего во Франции все до него существовавшие постановления, должно сказать, каковы были сии постановления».

Он начал писать историю Великой французской революции. Он начал писать ее, когда во Франции вновь стало неспокойно. Приближались парламентские выборы. В газетах шла резкая полемика. Должна была определиться судьба Франции.

Он начал писать ее, когда устои империи колебались.

Он начал писать ее, когда холера ходила по

России, убивая и ожесточая людей.

Он начал писать ее как ученый. Он ненавидел дилетантизм. Он говорил:

«В наше время главный недостаток, отзывающийся почти во всех ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указать на плоды долгих изучений и терпеливых изысканий».

Он задумал труд огромного масштаба. О масштабе этом дает представление план:

«1.

Феодальное правление. Его основание.

Большие лены избирали предводителя. Малые лены. Все владение имело общую долю в добыче. Вассалы. Народ. Духовенство.

Сношения короля с владельцами, владельцев между собою, владельцев с вассалами, вассалов между собою.

Права владельцев.

Изб. королей, судили, распри, выбивали монету, вели войну между собою, обязанность нести службу по определенным дням.

Национальное собрание. Война и обязательства в отношении короля. Обязательства в отношении вассалов. Правосудие, обычай, законы, привилегии. Независимость, покровительство.

Упадок феодализма.

Крестовые походы, Людовик Святой. Папы. Филипп Красивый. Генеральные Штаты. Парламенты.

2.

Феодальное правление, основанное на праве завоевания. Что были предводители. Что был народ. Короли. Телохранители. Продажа должностей. Ришелье. Споры аристократии с парламентами. Уничтожение феодализма. Людовик XIV».

Это план пролога к истории Великой революции. Пролог должен был охватить все Средневековье с его сложнейшими проблемами.

Он начал этот труд с ясным сознанием задачи. Научная подробная история революции была необходима, чтобы понять современность и объяснить ее русским современникам. Понять судьбы нынешней России можно было только среди судеб европейских государств.

Вскоре после начала работы Пушкин писал Елизавете Михайловне Хитрово:

«Я предпринял обзор Французской революции. Если это возможно, умоляю Вас прислать мне Тьера и Минье. Оба эти труда запрещены. Здесь у меня только „Мемуары, относящиеся к революции“».

На письменном столе возле банки с вареньем начали расти книжные вавилоны. Он работал.

Но события не ждали выполнения замыслов. Они обгоняли и меняли их.

Восставшая Польша требовала Украины. И он, прервав свой труд о Франции, принялся за историю Украины, задуманную еще во времена «Полтавы». Надо было показать, что Украина — неотделимая часть России. Но это был только повод. Его интересовал процесс возникновения империи. А присоединение Украины было одним из важнейших моментов этого процесса. Однако и Украиной ему не пришлось долго заниматься.

Восстали военные поселения. Сама исконная Россия требовала объяснений, а стало быть, изучения. Надо было понять ее дух и движение с самых первых времен.

Французские книги вернулись на полки. За ними последовали «История Малой России» Бантыша-Каменского и «История Руссов», которыми он пользовался для украинских дел.

Он начал составлять план истории России с киевских времен. Набросал несколько отрывков — о стрелецком войске Грозного, о происхождении Романовых.

Казалось, он мечется, не может найти точки, с

которой должно начать, не может выбрать тему. А между тем в уме его уже созревал замысел, который станет главным его делом — до смерти.

9

В марте 1830 года Пушкин писал Вяземскому: «Я думаю пуститься в политическую прозу». Политическая проза — это не стихи на политические темы, которые можно писать время от времени. Это — особая сфера деятельности. Он решился войти в эту сферу.

Он думал об этом и мысли свои записывал кратко, но выразительно. Лапидарность его заметок — равно как и прозы — соответствовала точности и ясности его мысли.

«Невежество русских бар. Между тем как мемуары, политические произведения, романы — Наполеон газетчик, Каннинг поэт, Брум, депутаты, пэры, женщины. У нас баре не умеют писать».

Русские баре невежественны. Между тем именно они — русское дворянство — должны заниматься политической деятельностью. На Западе политические деятели — люди не только образованные, но и обладающие талантом писателей. Каннинг-поэт был руководителем

английской политики в двадцатых годах. На Западе политический деятель оставляет после себя мемуары, он пишет книги о политике, он может написать роман. Бенжамен Констан, Шатобриан — парламентарии, государственные люди. А русский барин не всегда грамоте толком обучен.

«Русские великие люди» александровского и николаевского царствования вообще мало его устраивали. Через несколько лет он скажет в одной из заметок:

«Зачем ничтожных героев. Что делать. Я видел Ипсиланти, Паскевича, Ермолова».

Ипсиланти, русский генерал, попытавшийся возглавить греческое восстание 1820 года, был кумиром молодежи в начале двадцатых годов. Паскевич был наиболее удачливым полководцем нынешнего царствования. Ермолов, надежда декабристов, популярнейший генерал, преследуемый Николаем. Все они вызывают в Пушкине презрение. Ермолова он как-то назвал «великим шарлатаном». В них нет основательности политической, широты, европейской просвещенности. Они не могут спасти Россию.

Парламентские успехи Шатобриана и Констана, публицистика Наполеона и стихи Каннинга

были серьезным аргументом в пользу его решения заняться политикой профессионально.

Прежде всего нужна была программа.

Этим он и занимался начиная с тридцать первого года, собирая и систематизируя соображения. И те, что были раньше, и те, что рождались теперь.

В первую очередь надо было уточнить — чего же он хочет.

Он был уверен, что политическая свобода России «неразлучна с освобождением крестьян». А потому необходимо было отменить крепостное право.

Он был уверен, что одно из верных оснований благоденствия государства — есть равенство граждан перед законом. Потому необходимо было укрепить в России законность — как для последнего простолюдина, так и для царя.

Его очень заботило также положение личности. Через несколько лет он скажет в крайнем раздражении:

«Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше».

Парламентские заявления Бенжамена Констана о личной неприкосновенности гражданина

были ему куда как понятны.

Российское самодержавие было — вне зависимости от личности монарха — чистейшим деспотизмом. При добром царе деспотизм этот был терпим, при злом — превращался в невыносимый гнет. М-м Сталь говорила шутя, что русское государственное устройство — это самовластие, ограниченное удавкой, — речь шла о смерти Павла. Но тем, кто жил в России, было не до шуток. Пушкин полагал, что самодержавие надо ограничить более надежным и цивилизованным средством, чем удавка. И сделать это следовало без насильственных переворотов. В 1831 году он записал:

«Устойчивость — первое условие общественного благополучия. Как она согласуется с непрерывным усовершенствованием».

Как согласовать устойчивость государственной системы с ее реформированием, ему еще было не совсем ясно. Но что надо идти по пути реформ, а не переворотов — в этом он был убежден.

Для того чтобы проводить реформы, нужна была сила, которая бы этим занималась.

Самой реальной силой было правительство. «Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвеще-

ния», — писал он Вяземскому в начале 1830 года. В 1826 году Николай создал секретный комитет во главе с графом Кочубеем, бывшим либералом, для разработки планов реформ. В частности, для исследования вопроса об освобождении крестьян. В 1830 году, после пяти лет многообразной деятельности, комитет прекратил свое существование. Правительство нужно было подталкивать, заставлять. Кто мог это делать?

В 1831 году или немного позже — это не играет роли — он составил план большой статьи — «О дворянстве». Он мыслил теперь прежде всего как историк. И заметки начинаются с исторического экскурса. Он прослеживает деградацию дворянства с XVII века. А затем переходит к существу дела:

«Высшее дворянство не потомственное (фактически). Следовательно, *оно пожизненное*: деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость. Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом».

В Англии, скажем, место в Палате лордов было наследственным. После смерти лорда его наслед-

ник механически становился лордом, то есть государственным деятелем. Он не был обязан этим королю. Король не мог отстранить лорда от государственной деятельности. Таким образом, высшее английское дворянство имело возможность оппозиции. Оно было независимо. Оно могло оказывать давление на власть.

В России государь был окружен *чиновниками,* которых он назначал или смещал по своему желанию и которые заменяли «высшее дворянство». Человек мог оказывать влияние на государственные дела только до тех пор, пока царь этого хотел. Естественно, никакая оппозиция в этих условиях была невозможна.

Мысли эти мучили Пушкина постоянно. Еще в 1830 году он писал:

«Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные падают и исчезают; как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные…»

Новое бюрократическое дворянство, возвысившееся по манию самодержца, по его прихоти и гибнет, ибо оно не ограждено наследственными правами и противовесом самодержавию быть не может.

А много позже в «Родословной моего героя» сказано было:

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух…

Вряд ли случайно — для рифмы — выбраны именно князья Пожарские. Князь Пожарский вместе с Мининым спас Россию в Смутное время.

Надежды Пушкина на дворянство происходили вовсе не оттого, что он полон был сословными предрассудками. Нет. Просто он был *реальный политик.* И понимал, что если можно рассчитывать на кого-то в тот момент, то на дворянство.

Проблема крестьянства как политической силы была еще не ясна ему окончательно. Решил он для себя эту проблему только в «Пугачеве».

Сила, которая могла бы ограничивать и направлять власть, была необходима.

«Что такое дворянство? потомственное сосло-

вие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целию? с целию иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей».

Дворянство, стало быть, должно было получать свои права из рук народа и блюсти народные интересы.

Могло ли современное Пушкину дворянство претендовать на эту роль? Никоим образом. Дворянство следовало воспитывать.

«Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? Нужно. Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».

Проблема дворянской чести занимала его чрезвычайно. Ибо от этого зависело выполнение человеком своего долга. Важно было решить, в чем этот долг заключался.

Одним из главных рычагов воспитания он считал изучение истории. Особенно истории русской. Он писал еще в 1826 году в записке «О народном воспитании»:

«Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы

молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве».

То, что происходило с дворянством в России, вело к катастрофе. Ибо та часть дворянства, которая не могла примириться с положением вещей, лучшая его часть — не малограмотные баре — становилась идеальным материалом для мятежа.

«Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.».

Вместо того чтобы быть двигателем благодетельных реформ, отстраненное от государственных дел дворянство с самыми лучшими намерениями шло на страшные беззакония.

В 1834 году он запишет в дневник свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем, которому он скажет:

«Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями

на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много».

Мысль о новом кровавом возмущении, о грядущей катастрофе не покидала его.

Путем умелого воспитания дворянство следовало превратить в созидательную силу. Дворянству следовало дать возможность окрепнуть. Путем восстановления майоратов — неделимых имений, переходящих по наследству к одному только из наследников, — надо было укрепить дворянство материально. А это, в свою очередь, вело бы к сознанию независимости.

Если первое он мог взять на себя, то второе было делом правительства. А правительство еще надо было убедить.

10

В своих заметках Пушкин определил власть в России как «низкий и дряблый деспотизм». Он прекрасно отдавал себе отчет в том, с чем имеет дело.

Откуда же тогда его лояльность? От надежды на возможность реформ. Надежда эта — от веры

в Николая как человека. От веры, что этого человека можно убедить, можно сделать союзником. От безумной веры, что этим человеком можно управлять.

Их первая встреча хорошо известна. «Где бы ты был 14 декабря?» — «На Сенатской площади с моими друзьями».

Полное и точное содержание их разговора неизвестно, но, судя по всему, речь шла о необходимости реформ, о его, Николая, грандиозных преобразовательных планах. Разговор, очевидно, шел и об уважении царя к литературе — «во мне почтил он вдохновенье». Быть может, были сделаны намеки на возможное прощение декабристов. Быть может, именно этим вызваны настойчивые напоминания Пушкина.

Как бы то ни было, разговор был серьезный и обнадеживающий. Иначе невозможно понять восторженные высказывания поэта о царе в первые годы после освобождения из ссылки.

Николай сумел понравиться некоторым декабристам во время следствия.

Пушкин, как известно, ехал на это свидание, готовый к резкому разговору, к трагическому для него исходу встречи. И тем не менее внутренне он был готов и к другому варианту. Он понимал

теперь своим ясным умом гибельность того пути, который избрали его друзья, как понимал и «необъятную силу правительства, основанную на силе вещей». Он умел смотреть в глаза реальности. Он был готов к союзу с правительством на почетных условиях. Условия превзошли все ожидания. Его освобождали из ссылки. Его освобождали от цензуры. С ним делились планами. Государь явно готов был прислушаться к мнениям первого поэта России. Ему было предложено вскоре изложить свои мысли о народном воспитании.

Царь, оказавшийся вовсе не чудовищем, брал его в союзники.

Разумеется, Пушкин прекрасно понял, что между ним и царем нет и не может быть полного единомыслия. Но царь готов был прислушаться к нему, а это уже было важно.

Не осознав еще себя человеком государственным, Пушкин придавал большое значение влиянию на царя.

Самым тяжким и болезненным в их отношениях была судьба декабристов. Но существовала надежда на перемены в этой судьбе. И была возможность этой перемене способствовать.

Он написал «Стансы» — некоторым образом

программу царствования. Его не поняли — с самого начала. Ему пришлось писать послание друзьям, в котором он настаивал на своем праве давать советы царю.

Царь поставил между Пушкиным и собой Бенкендорфа, отношения с которым складывались не всегда идиллически.

И тем не менее воздействие на царя было серьезной надеждой.

И то, что царь делал в это время, подтверждало возможность союза. Было известно, что Николай сразу после окончания следствия по делу 14 декабря приказал составить свод мнений декабристов о положении в России. Один экземпляр он постоянно держал у себя на столе.

В декабре 1826 года, когда он создал секретный комитет Кочубея, Кочубей тоже получил экземпляр свода.

7 мая 1828 года Николай начал войну с Турцией. Россия выиграла эту трудную войну. Одним из результатов победы было освобождение Греции.

Надо помнить, какой восторг в начале двадцатых годов вызвало греческое восстание у всех либералов России. И у Пушкина тоже. Александр тогда предал греков. Восстание турки подавили. Теперь Николай освободил греков.

Война окончилась в 1829 году.

1830 год тоже принес Пушкину доказательства его правоты. В мае он писал Плетневу:

«Милый! Победа! Царь позволяет мне напечатать *Годунова* в первобытной красоте… Царь со мною очень мил».

Этот год был чрезвычайно важным для их отношений.

В середине сентября в Москве началась холера. Меры, принятые московским начальством, оказались недостаточны. Число жертв умножалось. Тогда император выехал в Москву. Неизвестно, увеличило ли его посещение эффективность противохолерных мер, но бодрости москвичам оно, несомненно, прибавило. Поступок был решительный и незаурядный. Рядовых современников он привел в восторг:

«Государь-то какой ангел! Всем известно, как он любит императрицу и детей своих, — а он оставляет непринужденно все, что сердцу его дорого, ценно, чтобы лететь в Москву, которую описали ему жертвою смертоносной лютой заразы!»

Даже та часть общества, которая была настроена по отношению к царю критически, заколебалась. Вяземский, отнюдь не разделявший в двадцатые годы пушкинских иллюзий,

записал 6 октября:

«Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу Владыке».

Для Пушкина это событие было особенно важно. Оно ускорило принятие рокового решения. Оно убедило его, что на Николая можно рассчитывать. Он писал Вяземскому 5 ноября:

«Каков государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит — дай Бог ему здоровье».

Человеческое благородство царя для Пушкина имело ценность прежде всего в аспекте политическом. Благородный царь должен был простить и вернуть декабристов — а это было важно для дела обновления России.

Еще за полгода до всего этого, 16 марта, он говорил в письме тому же Вяземскому:

«Государь, уезжая, оставил в Москве проэкт новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворян-

ства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу».

Петр в свое время введением Табели о рангах уничтожил преимущество родового дворянства перед бюрократами. Каждый чиновник, достигнув определенного чина, получал дворянство. Бюрократы, люди без опоры в прошлом и настоящем, существующие только милостью царя и, стало быть, прочная опора деспотизма, потеснили дворян с их склонностью к здоровой оппозиции. Николай, по сведениям Пушкина, собирался вернуть родовому дворянству его значение, поставить бюрократию на место и дать «права людей» униженным классам. Позиции правительства и Пушкина, как ему казалось, совпали. Следовательно, должно было содействовать правительству.

Затем была осень 1830 года — «болдинская осень». Он подвел итоги пятнадцатилетнего литературного труда. Закончив «Онегина», распрощался с двадцатыми годами. Написал «Повести Белкина», положив начало русской прозе и определив законы своей прозы. Написал «Маленькие трагедии», впервые в русской культуре идеально

подчинив форму высокой смысловой задаче и потому резко оторвавшись от любой традиции. Создав для себя новый жанр — «драматические изучения», — он показал, что творческая свобода и философическая строгость мысли, сочетаясь, дают необъятные возможности исследования любых проблем — семейных, исторических, общемировых.

Он написал два сочинения необыкновенной личной значимости — «Моя родословная» и «История села Горюхина». Он определил в них свой путь в тридцатые годы. Определил несколько еще иронически, потому что многое было ему неясно в собственном будущем, а многое — страшило.

Но этой осенью в родовом Болдине он доказал себе, что *в литературе он может все.* И психологически это должно было сыграть огромную роль в выборе жизненной стратегии.

Нужно было определить тактику.

И тут Николай, к которому он напряженно присматривался, проявил себя героически — посетил холерную Москву.

В «Герое», написанном в октябре 1830 года, где Николай сравнивался с Наполеоном, посетившим чумной барак, было сказано:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран!..

По своему положению Николай — тиран. Никуда от этого не деться. Но у него благородное сердце. Значит, есть надежда просветить его. Из тирана он может превратиться в просвещенного государя.

Пущин, которого поэт ценил, быть может, больше, чем кого бы то ни было, писал накануне восстания:

«Случай удобен. Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Чувство чести, чувство долга было для этих людей необходимым условием жизни. Пушкин был человеком той же формации. Он верил, что ему суждено продолжить дело своих друзей — другими средствами. Они попытались вывести Россию из тупика вооруженной рукой. И не смогли. Он был уверен, что нашел верный путь. Это был его долг. Знать, что случай удобен, — и устраниться, не вмешаться в дела истории было бесчестно.

24 февраля 1831 года он писал Плетневу:

«Из газет узнал я новое назначение Гнедича. Оно делает честь государю, которого искренне люблю и за которого всегда радуюсь, когда посту-

пает он умно и по-царски».

А в июле — Нащокину:

«Царь со мной очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики…»

Это не только шутка. Это и затаенная надежда, которая казалась тогда близкой к осуществлению.

Молодой просвещенный царь и первый русский поэт. Газету между тем ему не разрешили. Но он не терял надежды.

11

В те самые дни, когда он с некоторым смущением, а потому иронически писал Нащокину о своей надежде «попасть во временщики», он отправил Бенкендорфу официальную бумагу, о которой уже шла речь. В ней он просил о разрешении издавать политическую газету.

Но, кроме того, в бумаге этой были еще две важнейшие просьбы.

«Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно мое бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию, представляет мне препятствие на

поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора, но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало».

Он хотел занять положение официальное — как Карамзин.

«Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Несмотря на самоуничижающее заявление, это именно просьба — если помнить начало письма — о предоставлении должности историографа. С чином и жалованьем.

Но важнее жалованья для него в тот момент было именно официальное положение. Он хотел включиться в государственную структуру.

Судя по всему, он уже договорился с царем о вступлении в службу и о работе в архивах. Оче-

видно, во время одной из их встреч в Царском Селе. Но письмо — задним числом оформляющее эту договоренность — важно по тону и деталям.

Он фактически собирается начать там, где кончил Карамзин. Обширный пролог охватывал царствование первых Романовых — от Михаила до Федора. Основное же повествование он хотел начать с Петра I, который сломал дворянство, и кончить Петром III, который указом о вольности дворянства в какой-то степени возвратил его самостоятельность.

22 июля Пушкин писал Плетневу:

«...царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную, — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?»

Итак, жребий был брошен. Он стал историографом.

Он не назывался так официально. Но, получив доступ в архивы для писания русской истории, он стал государственным лицом немалого политического значения.

Такова была традиция начиная с эпохи «Повести временных лет». Создание всех крупных историй — «Повести», «Сказания о князьях Вла-

димирских», Хронографа XV века, Никоновского свода, научных трудов Татищева, Щербатова, Карамзина — всегда было крупной политической акцией. Вмешательством авторов в дела государства.

Пушкин не мог и не хотел быть исключением.

Это был его путь борьбы. Его вмешательство в дела царства. Его давление на правительство. Его проповедь обществу. Его миссия.

В черновом варианте записки «О народном воспитании» он назвал «Историю» Карамзина «алтарем спасения, воздвигнутом русскому народу».

Так он смотрел на историю — «алтарь спасения».

Понятие «история» для него включало все — государственные размышления, нравственные уроки, философские идеи. И — науку.

Карамзин писал свою «Историю», чтобы просветить общество и дать урок Александру, которого он любил.

Пушкин приступал к своей истории с той же целью. Но с иными мыслями. И царь был иной.

12

После приезда двора в Царское Село Пушкин время от времени встречал императора во время прогулок. Тот неизменно подзывал поэта, и они беседовали.

Во время одной из таких бесед и было решено вступать Пушкину в службу. Царь держался просто и расположенно.

Через несколько дней, гуляя с женой, Пушкин встретил императорскую чету. Наталья Николаевна чрезвычайно понравилась царствующим особам.

Следствия этого свидания тоже были важны.

«Моя невестка очаровательна; она вызывает удивление в Царском, и императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа; я не то хотела сказать: хоть она вовсе не глупа, она еще немножко робка, но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладит и с двором, и с императрицей» — так писала в августе 1831 года Ольга Павлищева, сестра Пушкина.

Молодая жена Пушкина привлекала внимание не только императорской фамилии.

Жуковский писал Вяземскому в конце июля:

«Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. Женка его очень милое творение. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше».

Василию Андреевичу казалось, что покой царит в недавно еще беспокойной душе его друга. И причину этого он видел в женитьбе.

Между тем покоя не было. Было высокое самообладание. И на душу Пушкина женитьба оказала весьма малое влияние.

Конечно, он женился по любви. Конечно, он был влюблен.

«Женка моя — прелесть не по одной наружности».

Она была мила, наивна. Она была совершенным ребенком по развитию. Эта детскость не могла не умилять его. Но у него был ясный идеал женщины, светской женщины самого высокого класса — Татьяна из VIII главы.

И он надеялся воспитать жену. Поднять ее до этого идеала.

Он был влюблен, но трезв. Он писал Кривцову, приятелю молодости, с которым ему не было надобности хитрить:

«Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холо-

стой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию. У меня сегодня сплин — прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно».

Это было написано перед свадьбой. Конечно, он был влюблен. Но женился он не без трезвого расчета.

Та огромная задача, которая уже в конце двадцатых годов брезжила перед ним, требовала иных условий жизни. Он вспоминал жизнь Карамзина, к которой прикоснулся в лицейские годы. Жизнь Карамзина-летописца, тихий уютный дом. Жизнь устроенная и спокойная. Заботливая, понимающая жена. В этом доме, в этом покое свершал

Карамзин свой подвижнический труд.

Ему, Пушкину, нужен был покой. Для свершения своего труда.

Он многое предусмотрел. Он не предусмотрел только ее заурядности.

Екатерина Андреевна Карамзина была женщиной незаурядной. Она понимала — кто ее муж.

Наталья Николаевна Пушкина была женщиной заурядной. Вряд ли она поняла когда-нибудь по-настоящему, с кем свела ее судьба.

Слишком разным был масштаб. Не умственный, бог с ним! — душевный. Пушкин более всего нуждался в понимании. И этого-то понимания он не видел и от людей куда более умных, чем его жена.

Ему нужны были единомышленники.

Ближе всего по уму и возможностям стоял к нему Вяземский. Летом 1831 года их близость кончилась. Остался дружеский тон в письмах. Остались общие литературные демарши в печати. Некоторые общие идеи. Но появились внутри отчетливая неприязнь и недоверие.

13

4 сентября Пушкин узнал о взятии Варшавы. На другой день он прислал Россет «Бородинскую

годовщину».

Еще в августе он написал «Клеветникам России». Он читал эти стихи императору, императрице и наследнику. Августейшее семейство было довольно.

Оба стихотворения совпадали не только по главному смыслу, но и по словам.

Пятого был молебен во дворцовой церкви. Пушкин присутствовал.

После молебна Николай подозвал Пушкина, поблагодарил за присланную «Бородинскую годовщину», сказал, что стихи превосходны.

До того как появиться в печати — отдельной брошюрой — вместе с «Клеветниками России» и «Старой песней» Жуковского, «Бородинская годовщина» пошла в списках и вызвала восторг.

Но не у всех.

В письме от 11 сентября Вяземский писал Пушкину из Москвы:

«Дмитриеву минуло вчера 71… Вчера утром приходит к нему шинельный поэт и, вынимая из-за пазухи тетрадь, поздравляет его; Дмитриев, занятый мыслью о дне своего рождения, спрашивает его: а почему вы узнали? — Шинельный поэт заминается и наконец говорит: признаться, вчера в газетах прочел. Дело в том, что он поздравлял с

Варшавою и приносил оду Паскевичу. Прощай… Надписывая адрес на письме к тебе, мне всегда хочется сказать:

Спросить в Лицее, в Пантеоне».

Шинельными поэтами называли самодеятельных стихотворцев, которые в надежде на мзду подносили важным лицам свои сочинения.

В письме Пушкин, написавший «Бородинскую годовщину», недвусмысленно ставился рядом с тем графоманом, который поднес свои вирши на ту же тему его высокопревосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву.

Вяземский выразил свое презрение к позиции Пушкина достаточно ясно. И упоминание о Лицее не случайно. Намек крайне прозрачный — кем ты был в молодости и кем стал теперь.

В записной книжке Вяземский отвел душу:

«Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках… Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспевать победы Паскевича».

В том же письме от 11 сентября Вяземский под не очень благовидным предлогом отказывается издавать вместе с Пушкиным журнал, разреше-

ние на который поэт надеялся получить.

Пушкин не простил Вяземскому этого письма.

Они не простили друг другу сентябрь 1831 года.

Вяземский в своем негодовании был не одинок. Литератор Н. А. Мельгунов писал в декабре 1831 года С. П. Шевыреву, близко знавшему Пушкина:

«Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился, как человек, что я потерял к нему уважение, даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце „Годунова“ и пр., — то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща и который, вместо того чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и, признаюся, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и сластолюбие».

Мельгунов был прав в одном — Пушкин действительно перестал смотреть в лицо Аполлону.

Страшно читать эти слова, написанные порядочным и неглупым человеком.

Страшно видеть, как самые разные силы объ-

единились в осуждении Пушкина.

Все — друзья и враги — понимали, что с ним что-то происходит, что он меняется.

Но враги — во всяком случае, Булгарин — лучше поняли смысл этих перемен.

14

«„Полтава“ не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся».

Так начинался отрывок из большой статьи «Опровержение на критики», который Пушкин напечатал в 1831 году в альманахе «Денница». Статья была написана в 1830-м. Целиком он ее печатать не стал.

А опровергать было что. С 1830 года его травили.

Он написал послание «Вельможе». Поводом был старый князь Юсупов, темой — XVIII век, со всеми его мудрствованиями и бурями, потрясшими мир. В одном двустишии он очертил суть английского парламента, весьма его занимавшего. В нескольких строчках — беспечность и крах королевской Франции. Тоже предмет нема-

ловажный.

Он написал философско-исторический трактат в прекрасных стихах. Его обвинили в лакействе.

Николай Полевой в «Новом живописце общества и литературы» напечатал «Утро в кабинете знатного барина». Знатный барин (читай — Юсупов) беседует со своим секретарем Подлецовым.

«КНЯЗЬ. Скажи, что у тебя смешного?

ПОДЛЕЦОВ. Вот листок какой-то печатный; кажется, стихи Вашему Сиятельству.

КНЯЗЬ *(взглянув).* Как! Стихи мне? А! Это того стихотворца… Что он врет там?

ПОДЛЕЦОВ. Да что-то много. Стихотворец хвалит вас; говорит, что вы мудрец: умеете наслаждаться жизнью, покровительствуете искусствам, ездили в какую-то землю только затем, чтобы взглянуть на хорошеньких женщин; что вы пили кофе с Вольтером и играли в шашки с каким-то Бомарше…

КНЯЗЬ. Нет? Так он недаром у меня обедал… А стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходись с ним; ведь эти люди забывчивы; их надобно держать в черном теле…»

Его обвиняли в том, что он стихами выклянчивает себе право обедать у вельмож. Ни больше

ни меньше.

В том же 1830 году в «Московском телеграфе» появилась пародия на «Собрание насекомых», обвинявшая его и его друзей в подражательстве и подписанная — «Обезьяний». Намек на его наружность.

«Вестник Европы» напечатал две подписи «К портрету Хлопушкина».

I

Младой певец Фактыдурая!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала!
Ты, глупой скуки яд по капле выпивая,
Неопытным сердцам наделал много б зла…
Но, к счастью, ты велик… на малые дела.

II

О, гений гениев! неслыханное чудо!
Стишки ты пишешь хоть куда.
Да только вот беда:
Ты чувствуешь и мыслишь очень худо!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала,

Великий человек на малые дела!

В 1831 году появились такие стихи:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел:
И стих его не звучен,
И гений охладел.
«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ:
Убогая обнова —
Увы! – на новый год!

Всех превзошел Булгарин.

В № 30 «Северной пчелы» за 1830 год в фельетоне «Анекдот» Пушкин характеризовался следующим образом:

«Француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица; а голова род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камни в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится пе-

ред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленых листах, и у которого господствующее чувство — суетность».

Через несколько дней Булгарин напечатал рецензию на только что вышедшую главу VII «Онегина».

«Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия, и не прежде уверились, что эта глава VII есть произведение Сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы нас не убедили в этом. Эта глава VII, два маленькие печатные листика — испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже *Евгений Вельский* кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение…»

И далее патриот Булгарин сокрушается, что Пушкин, ездивший перед тем в армию Паскевича, не счел возможным воспеть победы русского оружия, снова выпустил в свет «бледного, слабого» Онегина. Это был прямой донос.

Но этого еще мало. За издевательским разбором стихов последовал такой пассаж:

«Подъезжают к Москве. Тут Автор забывает о Тане и вспоминает о незабвенном 1812 годе. Внимание читателя напрягается; он готов простить Поэту все прежнее пустословие за несколько высоких порывов… Читатель ожидает восторга при воззрении на Кремль, на древние главы храмов Божиих; думает, что ему укажут славные памятники сего *Славянского Рима* — не тут-то было. Вот в каком виде представляется Москва воображению нашего Поэта:

Прощай, свидетель *падшей* (?) славы (??????)».

Это было неожиданно даже со стороны Булгарина. Ведь из соседних стихов безошибочно явствовало, что речь идет о падшей славе Наполеона, коей Москва была свидетелем. Но Фаддей Венедиктович пошел на подтасовку, для которой слова «наглая» или «бесстыдная» — бледны. Он надеялся, что многие читатели, и в том числе генерал-адъютант Бенкендорф, ограничатся сведениями из его рецензии и Пушкин будет обвинен в надругательстве над святыней. Это была иллюстрация к фразе из «Анекдота»: «бросает рифмами во все священное».

Однако в данном случае Булгарин пошел

несколько дальше, чем следовало. Бенкендорф был статьей доволен. Но император вознегодовал. Он приказал Бенкендорфу сделать Булгарину внушение и даже заговорил о возможном закрытии «Северной пчелы».

Это заступничество, разумеется, сыграло роль в расцвете иллюзий следующего, 1831 года.

Между тем в октябре 1830 года Булгарин напечатал в 12-м томе собрания своих сочинений, которое выходило в то время, повесть «Предок и потомок». В повести этой стольник царя Алексея Михайловича некто Свистушкин проспал в замороженном состоянии двести лет и проснулся в XIX веке. Проснувшись, он стал искать своих потомков и нашел поэта Никандра Семеновича Свистушкина, автора двух сочинений — «Воры» и «Жиды» (то есть «Братья разбойники» и «Цыганы»). Что же слышит он о своем потомке?

«Ваш потомок и его товарищи, право, в существе, добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают, чего хотят и что делают! Вопят противу всего в чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на

деле лижут прах ног каждого сильного, из одной надежды получить что-либо, и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов».

Наконец, увидев потомка, предок приходит в ужас:

«Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна!»

Здесь политический донос замыкался издевательством над внешностью Пушкина. Обыгрывался его небольшой рост, белые зубы и длинные ногти. «Не человек, а обезьяна!»

Этой биологической ненависти было свое вполне логическое объяснение.

«Северная пчела» была очень популярна. Романы Булгарина раскупались и читались с упоением средним читателем. К его мнению публика прислушивалась. В провинции он был просто оракулом.

Единственным, кто мог ему противостоять, был Пушкин. И дело было не только в тщеславии или денежной выгоде. Булгарин был гением пошлости. Пошлость как форму существования он проповедовал со страстью. Эта идея была ему дорога. Потому все, что делал Пушкин, было ему враждебно как разрушение его идеи.

Была борьба за публику. И была борьба за влияние на правительство. Булгарин представлял Бенкендорфа в литературе. Пушкин делал ставку на Николая. «Стансы» и «Друзьям» были тому доказательством. Равно как и его устные речи, доходившие до Булгарина.

Влияние Пушкина могло оказаться сильнее булгаринского. Политическая подоплека пасквилей была вызвана именно этим. Булгарин хотел внушить недоверие к Пушкину.

В 1830 и 1831 годах враждебная Пушкину пресса точно с цепи сорвалась. И не случайно. Ибо становилось ясно, что из романтического поэта — в их представлении — он становился деятелем. Это было опасно.

Пушкин понимал серьезность ситуации. Погодин записал в дневник в январе 1830 года:

«Пушкин сердится ужасно, что на него напали все».

Надо было действовать.

И в 1831 году он напечатал в «Телескопе» две оглушительные статьи, в которых все расставил по местам — истинные «заслуги» Булгарина перед русской литературой, его увольнение из русской армии и службу у Наполеона, его связи с полицией — все было сказано так, как мог ска-

зать только Пушкин.

Получил свое и Греч.

На тот случай, если «Северная пчела» не уймется, было обещано продолжение.

Булгарин замолчал. Но вряд ли только от испуга. Он, надо сказать, был не из робкого десятка и обладал темпераментом кабана. Впав в ярость, он переставал соизмерять поступок с возможным результатом. Тут, очевидно, сыграли роль новые отношения Пушкина с императором летом 1831 года. И новое — официальное — положение Пушкина.

Кабан кабаном, но тяжелой руки Николая Булгарин боялся.

Летом тридцать первого года Пушкин написал только одну крупную вещь в стихах — «Сказку о царе Салтане». Историю клеветы. Клеветы, сперва восторжествовавшей, а потом посрамленной.

15

Для реализации планов Пушкину нужна была сила.

Кроме проблематичной опоры на императора, нужно было опираться на силу собственную. Собственную силу могла дать популярность.

Он писал в черновом письме к Бенкендорфу в

1830 году:

«Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Он писал правду. В двадцатые годы он был силен «мнением народным». Он был популярен.

Теперь той популярности не было. То, что он писал в последнее время, не вызывало восторга у читателей. То, что он собирался писать, тем более не могло этого восторга вызвать.

Однако менять свое направление он не мог. Он собирался писать то, что считал должным. Стало быть, разрыв мог только увеличиться.

Но он надеялся совершить невозможное. Ему нужно было быть сильным.

Сознавал ли он, на что идет? Подходил ли он для роли государственного человека? Не переоценил ли он свои возможности на поприще политическом?

Во-первых, он был поражающе умен. Иван Киреевский, незаурядный мыслитель, писал после знакомства:

«В Пушкине я нашел больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает ни один русский

череп, по крайней мере ни один из ощупанных мною».

Во-вторых, он был умен умом универсальным. В том числе и государственным. Мицкевич, человек огромного масштаба, писал о своем друге:

«Когда он говорил о политике внешней или отечественной, можно было подумать, что это человек заматерелый в государственных делах и пропитанный ежедневным чтением парламентских дебатов».

Когда Пушкин умер, Мицкевич сказал, что смерть эта «нанесла опасный удар умственной жизни России».

Только теперь мы можем оценить в полной мере его правоту.

1832

Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик…

С. А. Соболевский – С. П. Шевыреву. 1832

Спрашиваю, по какому праву «Северная пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь «Северный Меркурий»?

Пушкин. 1831

Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его… Водворить хочет новую систему.

Н. А. Муханов. Из дневника. 1832

1

Он стал чиновником.

После летних переговоров с государем, когда принципиально вопрос был решен, наступила пауза до ноября.

14 ноября 1831 года на запрос Министерства иностранных дел — каким чином принять «известного нашего поэта, коллежского секретаря

Пушкина» в службу, последовал ответ:

«Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять в службу тем же чином…»

Дальше дело пошло своим чередом. Государственная машина помещала его в себя неторопливо, тщательно, обдуманно. Каждый шаг был обставлен величественными формальностями. Для всех этих людей он как бы заново рождался.

3 декабря 1831 года граф Нессельроде запрашивал государя:

«Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть определить коллежского секретаря Пушкина в Коллегию иностранных дел тем же чином, оставив производство его в следующий чин до 6 декабря. Перед наступлением сего времени я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего соизволения на пожалование Пушкина в титулярные советники».

Это было весьма торжественное действо — производство коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники. Ни царь, ни тем более Нессельроде не чувствовали идиотизма происходящего. Впрочем, быть может, они были правы. Происходящее было серьезно.

«1831 г. декабря в 4-й день по Указу его императорского величества в Государственной Коллегии иностранных дел, во исполнение высочайшего указа, объявленного сей коллегии г. вице-канцлером в 14-й день минувшего ноября, в котором написано: „Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина считать в ведомстве сей коллегии, привести его на верность службы к присяге и взять надлежащую подписку о непринадлежности к тайным обществам“».

6 декабря 1831 года последовало высочайшее решение:

«Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел, коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники».

27 января 1832 года титулярный советник Пушкин принял присягу на верность службы и дал расписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам.

27 января 1832 года он стал полноправным членом великой корпорации российских чиновников. Свершилось. Он сам этого хотел. Он сам дал толчок этому необратимому движению. Он

желал быть внутри системы, чтобы воздействовать на нее. Он вступил в игру, законы которой были ему чужды. Поэтому он не относился к ним всерьез. Но для тех, кто держал банк, законы эти были священны.

2

7 февраля 1832 года.

«Генерал-адъютант Бенкендорф покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием *Северные Цветы* некоторые стихотворения его, и между прочим *Анчар, древо яда,* без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения».

Пушкин ответил в тот же день.

«Милостивый государь Александр Христофорович.

Ваше высокопревосходительство изволили требовать от меня объяснения, каким образом стихотворение мое, *Древо яда,* было напечатано в альманахе без предварительного рассмотрения государя императора: спешу ответствовать на запрос Вашего высокопревосходительства.

Я всегда твердо был уверен, что высочайшая

милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и *права*, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры…»

Дело было, естественно, не в самом факте публикации, что и прежде бывало и не вызывало нареканий. Дело было в «Анчаре», который не без оснований показался подозрительным.

Это значило, что за ним следят, и следят пристально. После идиллических бесед с государем в Царском, после чтения «Клеветникам России» императорской семье, после тех знаков внимания, которые императрица оказывала Наталье Николаевне, после того, как его надежды на влияние государственное казались такими реальными, — после этого он понял, что ему доверяют не больше, чем прежде.

Он не был прекраснодушен и наивен. Но, сам будучи человеком глубоко порядочным, с ясным понятием о чести, он не думал, чтобы люди столь высокого положения, как царь, Бенкендорф, Фон-Фок, лгали ему. Ему казалось, что им смысла нет ему лгать. Свое нерасположение они могли выразить, ничего не опасаясь.

Они, однако, выражали расположение. И лгали.

Когда в 1830 году, сватаясь к Натали Гонча-

ровой, он просил Бенкендорфа разъяснить ему его, Пушкина, положение, шеф жандармов, в частности, ответил, что никто к нему, Пушкину, не имеет никаких претензий, что царь к нему благоволит, что никакого надзора за ним нет.

Письмо Бенкендорфа было написано 28 апреля 1830 года.

12 апреля того же года Вяземский писал жене:

«Государь, встретясь однажды с Жуковским, кажется, у императрицы, сказал ему: Пушкин уехал в Москву. Зачем это?.. Жуковский ответил, что он не знает причины отъезда его. Государь: „Один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал“».

Другим сумасшедшим был Вяземский. В Москву Пушкин уехал без спросу за месяц перед тем. История была свежая.

О полицейском надзоре Бенкендорф выразился так:

«Никогда никакой полиции не давалось распоряжение иметь за вами надзор».

Между тем тщательный полицейский надзор велся за Пушкиным с 1828 года по решению Государственного совета. Куда бы Пушкин ни ехал — отовсюду поступали соответствующие донесения. Бенкендорф их внимательно читал.

Надо отдать должное как Николаю, так и его голубому ангелу-хранителю — солгать человеку в лицо им ничего не стоило.

Пушкин этого понять не мог. Он не знал, что они говорят о нем между собой презрительно и менее всего расположены принимать от него советы. История с «Анчаром» насторожила его.

Но планов своих он не изменил. Он продолжал верить в благородное сердце государя и возможность — даже в таких условиях — вразумить людей.

3

Среди немногочисленных пушкинских стихотворений 1832 года есть подражание Данте:

И дале мы пошли – и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто.
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: «Поведай мне, в сей казни что сокрыто?»

Виргилий мне: «Мой сын, сей казни

смысл велик:

Одно стяжание имев всегда в предмете,

Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете».

Вряд ли стихи эти случайны, ибо Пушкин выбрал отнюдь не типичный для Данте сюжет.

В предыдущем году дел, напоминающих этот сюжет, у него было немало.

21 июля 1831 года он писал Нащокину в Москву:

«С Догановским не худо, брат, нам пуститься в разговоры или переговоры — ибо срок моему первому векселю приближается».

29 июля ему же:

«Что ты делаешь? ожидаешь ли своих денег и выручишь ли ты меня из сетей Догановского?»

Известному игроку Огонь-Догановскому Пушкин должен был 25 тысяч.

Как и все узлы последних шести лет, узел денежный завязался в 1831 году.

В феврале этого года Пушкин писал Плетневу:

«Через несколько дней я женюсь: и представлю

тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000 — и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым, — пиши пропало.

10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остаются 17 000 на обзаведение и житье годичное».

Он плохо рассчитывал бюджет. Не хватило 17 000. Не хватило и тех, что получал он от Смирдина. Его письма царскосельского лета полны денежными расчетами. А ведь это были самые благополучные месяцы.

В последнее время перед женитьбой он неудачно играл. Образовались большие карточные долги.

Ему нужен был покой и независимость. Самая простая, бытовая, материальная. Быт Карамзина…

Для этого нужно было прежде всего рассчитаться с долгами.

10 января 1832 года:

«Мой любезный Павел Воинович, дело мое может быть кончено на днях; коли бриллианты выкуплены, скажи мне адрес Рахманова. Я перешлю ему покамест 5500 рублей; на эти деньги пусть перешлет он мне бриллианты (заложен-

ные в 5500). Остальные выкуплю, перезаложив сии. Сделай милость, не поленись отвечать мне. Весь твой».

15 января 1832 года:

«Боюсь я, любезный Михаило Осипович, чтоб долгая разлука совсем нас не раззнакомила; однако попытаюсь напомнить тебе о своем существовании и поговорить о важном для меня деле. Надобно тебе сказать, что я женат около года и что вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился, к неописанному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою, я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе: 25 000, данные мне тобой заимообразно, на три или по крайней мере на два года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние».

Это письмо старому приятелю и собутыльнику Судиенко. Денег Судиенко не дал.

А петербургская жизнь была, разумеется, дороже царскосельской. И винить было некого. Никто

его не заставлял. Он сам выбрал эту жизнь.

Жалованья назначенного он все не получал.

3 мая он, потеряв терпение, написал Бенкендорфу:

«Генерал, Его величество, удостоив меня вниманьем к моей судьбе, назначил мне жалование. Но так как я не знаю, *откуда и считая с какого дня* я должен получать его, то осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой вывести меня из неизвестности. Благоволите простить мою докучливость и отнестись к ней со свойственной Вам снисходительностью».

Но письмо это отнюдь не сразу возымело действие…

В сознании читающей публики — и, стало быть, покупателя книг — Пушкин был прежде всего автором поэм. Именно поэм ждали от него. Новый «Бахчисарайский фонтан», новых «Цыган»… Именно поэмы могли принести крупные гонорары. Поэмы с романтическим сюжетом спасли бы его от безденежья.

4

Ему было не до поэм. Его исторические планы оформлялись в уме его и не давали покоя. Ему хотелось начать работу в архивах немедленно.

12 января Нессельроде запрашивал Николая — на всякий случай, — ко всем ли документам можно допускать Пушкина.

«Осмеливаюсь испросить, благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии».

Нессельроде сомневался. Он хотел предостеречь государя, который дал этому сомнительному титулярному советнику разрешение на вход в архивы, явно не подумав о тех весьма щекотливых и прямо касающихся чести императорской фамилии документах, которые могли попасть в руки нескромному читателю.

Царь понял свой промах. И 15 января Нессельроде сообщил тайному советнику Блудову, знатоку петровского архива:

«Его императорское величество ⟨…⟩ повелели ⟨…⟩ чтобы из хранящихся в здешнем Архиве дел секретные бумаги времен императора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе как по назначению Вашего превосходительства и чтобы он прочтением оных и составлением из них вы-

писок занимался в Коллегии иностранных дел, и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом».

19 января Блудов обратился к Пушкину:

«Милостивый государь Александр Сергеевич. Г-н вице-канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему докладу его о дозволении Вам пользоваться находящимися в архивах Министерства иностранных дел матерьялами для сочинения истории императора Петра Первого его императорское величество изъявил на сие высочайшее соизволение с тем, чтобы вообще чтением вверяемых Вам бумаг того времени и выписками из оных Вы занимались в самом Архиве и чтобы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы Вам по моему назначению».

К нему, таким образом, была приставлена нянька. С Карамзиным ничего подобного не проделывали. Но, по правде сказать, Блудов ему не очень мешал. Они встретились в феврале и договорились о порядке работы.

Пушкин вошел в архивы.

Быть может, впервые в русские архивы — плохо разобранные, строго охраняемые, набитые бездной ценнейших документов — вошел человек, так идеально подготовленный для жизни

среди этих взывающих к потомкам бумаг. Вошел человек с чутьем великого историка. Вошел ученый, желающий не подбирать факты к любезной его сердцу идее, но ищущий понять эту историю — разбросанную, кровавую, скрытную, выталкивающую на поверхность малозначащее и прячущую в глубине свои роковые движения. Недаром же мыслителям, говорившим об особой судьбе России, приходилось больше опираться на ощущения, чем на факты. И тем не менее они были правы.

Он был из тех немногих людей своего века, которые хотели понять судьбу России, исходя из фактов. Для этого требовалась изнурительная работа архивиста-историка. Он был к ней готов.

Он держал в руках опись «Дела под названием „Архив императора Петра I“».

Это был океан документов. Часть из них была опубликована, но это ненамного уменьшало трудность будущей работы. Трудности не пугали его.

К постоянному изучению петровских бумаг Пушкин приступил не сразу.

17 февраля он получил письмо от Бенкендорфа:

«Шеф жандармов, командующий император-

скою главною квартирою, генерал-адъютант Бенкендорф, свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу, честь имеет препроводить при сем один экземпляр полного собрания законов Российской империи, назначенного Александру Сергеевичу в подарок его императорским величеством».

Это было понятно — лицу, занимающемуся изучением российской истории, лицу официальному, следовало знать законы империи, которые были как бы результатом самой этой истории.

24 февраля историограф Пушкин ответил шефу жандармов, командующему главною императорскою квартирою, генерал-адъютанту Бенкендорфу:

«С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне его императорским величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда и который будет ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностью.

Ободренный благосклонностью Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь побеспокоить Вас покорнейшею просьбою:

о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого».

29 февраля он получил дозволение. Получил дозволение в изъятие из строжайшего правила, введенного императором, — исследовать библиотеку Вольтера категорически запрещалось. Очевидно, император считал, что слишком много государственных и прочих тайн, совершенно необязательных для простых смертных, знал этот французский проныра.

В марте Пушкин начал работать в библиотеке Вольтера, купленной некогда Екатериной II и находившейся теперь в Эрмитаже.

Там были редчайшие документы. Недаром Вольтер «собирал рукописи по всей Европе» — как он сам говорил. Кроме тех петровских материалов, которые получил из России. Там были, например, мемуары послов, аккредитованных при русском дворе во времена Петра.

Разбирая архивные тексты, обдумывая план труда, Пушкин отнюдь не забывал, что исторические его штудии — только часть задачи. Хотя и весьма важная.

5

В январе 1832 года в Москве вышел первый номер журнала «Европеец», который издавал Иван Васильевич Киреевский. Молодой Киреевский был человеком не только большого ума и образованности, но и превосходных нравственных качеств. Пушкин Киреевского ценил, изданию журнала радовался и собирался в нем сотрудничать. Это было если не собственное издание, то, во всяком случае, безусловно дружественное.

Вышло два номера журнала. Затем его закрыли.

«Журнал „Европеец“ издается с целью распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в таком же виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, и как действие разума есть *закон,* то и должно стремиться к усовершенствованию *правлений.* Но поелику разум не дан в одной пропорции всем

людям, то совершенство состоит в соединении многих умов воедино, а вследствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии все говорится под условными *знаками,* которые понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что *просвещение* есть синоним *свободы,* а деятельность *разума* означает *революцию,* чтобы иметь ключ к таинствам сей философии».

Так ясно и просто растолковывался в доносе на Киреевского злонамеренный смысл его выступления на поприще русской журналистики.

Разумеется, никакого «усовершенствования правлений» допускать не следовало. А потому — в полном соответствии с толкованием неизвестного нам доносчика — граф Бенкендорф, шеф жандармов и командующий императорской главной квартирой, писал князю Ливену, министру народного просвещения, 7 февраля 1832 года:

«Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном *Киреевским* журнала под названием „Европеец“ статью *Девятнадцатый век,* изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о

высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. — Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию, искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция.* Посему его величество изволит находить, что статья сия не должна быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещено помещать что-либо о политике, и как, сверх того, оная статья, невзирая на ее наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать».

Здесь два обвинения. Во-первых, политическая статья напечатана в литературном журнале, что запрещено. Во-вторых, статья эта зашифрованная и проповедует «усовершенствование правлений», то есть революцию.

Киреевский отнюдь не был революционером. Статья его была зашифрована не более, чем приказ о закрытии журнала. Умная статья эта трактовала проблемы культурно-философские, очень для России важные, но ничего революционного в ней не содержалось. И только бредовое

полицейское сознание могло в ней эту зашифрованную революционность усмотреть.

Но это была особенность сознания. Как мы помним, в тот же день — 7 февраля — Бенкендорф отправил Пушкину резкий запрос по поводу «Анчара», и Пушкин в черновом варианте ответа писал:

«Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре — я, вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом — сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будут разуметь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие».

Пушкин писал это около 20 февраля, когда подробности дела Киреевского были уже известны ему, и сарказм его относится не только к истории с «Анчаром».

Надежды на «Европейца» рухнули. Надо было думать снова о своей газете.

Письмо Бенкендорфа Ливену важно в двух отношениях. Во-первых, оно объясняет, почему

Пушкин так добивается именно политической газеты. Дело было не только в том, что политическая газета лучше расходилась бы. В литературном издании запрещалось говорить о политике. Не только вещи неблагонамеренные. Любые. А ему нужно было говорить именно о политике. Во-вторых, письмо это дает представление, в какой идиотической атмосфере сыскного восторга собирался он стать журналистом.

Разумеется, он колебался. Но газета была ему необходима. И он снова решился.

27 мая он писал Бенкендорфу:

«Теперь позвольте мне обеспокоить Вас по некоторому личному делу. До сих пор я сильно пренебрегал своими денежными средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным, не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешения Его величества. Служба, к которой он соблаговолил меня причислить, и мои литературные занятия заставляют меня жить в Петербурге, доходы же мои ограничены тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, — а именно: стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он

мне сказал, говорил с Вами».

Стать во главе газеты. Царь дал согласие.

Многие серьезные литераторы, узнав об этом, выразили свой восторг. Они, несомненно, смотрели на будущее издание как на предприятие литературное.

В публике, однако, раздавались голоса, сетующие на то, что романтический поэт с «созерцательной, идеальной душой» из соображений меркантильных опускается до низменного ремесла журналиста. Вспоминали о временах «Бахчисарайского фонтана». В этих людях жило — и будет жить до конца — полное непонимание процессов, которые происходили в сознании Пушкина.

Публика. И если бы только публика. Гоголь писал, имея в виду Пушкина, в ноябре 1832 года:

«В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека, но гению этим заняться — значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком».

И тут все тот же романтический слепой взгляд. А ведь это Гоголь.

Павел Вяземский вспоминал:

«Семейство наше переехало в Петербург в ок-

тябре 1832 года. Я живо помню прощальный литературный вечер отца моего с его холостой петербургской жизнью, на квартире в доме Межуева у Симеоновского моста. В этот вечер происходил самый оживленный разговор о необходимости положить предел монополии Греча и Булгарина и защитить честь русской литературы, униженной под гнетом Булгарина, возбуждавшего ненависть всего Пушкинского кружка более, чем его приятель. За Греча прорывались изредка и сочувственные возгласы. И в этот вечер речь шла о серьезном литературном предприятии, а не о ежедневной политической газете».

Последняя фраза весьма осведомленного Павла Вяземского многое объясняет. Для «Пушкинского кружка» ежедневная политическая газета отнюдь не была «серьезным литературным предприятием». Серьезным предприятием она была только для самого Пушкина. За этой фразой стоят мучительные разногласия Пушкина и его ближайших друзей. Друзей, которые в самом серьезном для Пушкина деле не могли стать его соратниками.

Разумеется, многие из них радовались возможному появлению пушкинской газеты, но радовались как событию *литературному*. Вязем-

ский писал И. И. Дмитриеву:

«В литературном мире, за исключением обещанного позволения, данного Пушкину, издавать газету и с политическими известиями, нет ничего нового. Но и это — важное событие, ибо подрывается журнальный откуп, снятый Гречем и Булгариным».

Самое главное для Вяземского то, что «подрывается» журнальная позиция «Северной пчелы».

Однако он только повторяет слова Пушкина.

В начале сентября Пушкин писал Погодину:

«Какую программу хотите Вы видеть? Часть политическая — официально ничтожная; часть литературная — существенно ничтожная; известие о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся программа. Я хотел уничтожить монополию, и успел. Остальное мало меня интересует. Газета моя будет немного похуже *Северной Пчелы*. Угождать публике я не намерен; браниться с журналами хорошо раз в 5 лет, и то Косичкину, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой; на то проза — мякина. Одно меня задирает: хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы».

Странное это письмо. Раздраженное. Может быть, надо делать поправку на изменившееся в то время отношение Пушкина к Погодину.

Да и вообще концы с концами не сходятся. Стоило ли столько стараться, так упорно добиваться разрешения на издание, чтобы издавать нечто совершенно невразумительное — хуже «Северной пчелы»? Неужели Пушкиным, три года осаждавшим правительство просьбами, двигало только стремление насолить Булгарину и Гречу?

Он столько раз выдвигал на первый план денежный свой интерес. А какую выгоду могла принести газета, столь мало привлекательная для подписчиков?

И стоило ли издавать *политическую* газету специально для того, чтобы обругать в ней французскую литературу? Это Пушкин мог сделать и в чужих журналах. Или — во всяком случае — в собственном *литературном* издании.

Таким образом, письмо Погодину, где Пушкин суммирует обычные свои мотивы, якобы заставлявшие его издавать газету, своей противоречивостью доказывает, что мотивы эти были отнюдь не главными.

Главные мотивы Пушкин держал про себя. Ему не с кем было ими делиться.

Иногда только он приоткрывался. Дневник Муханова:

«5 июля. Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм. Цель его журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от сего журнала».

Что можно понять несомненно из этой скупой записи? Что Пушкин в своем издании собирался выступать против квасного патриотизма. Что он надеялся привлечь правительство на свою сторону, стать доверенным лицом правительства в журналистике, дискредитировав Булгарина и его партию. Все это необыкновенно важно. А фраза «Водворить хочет новую систему» открывает масштаб замыслов.

И не расшифровывается ли эта фраза заметкой 1831 года?

«Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющими свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей

государственных… Что тут общего с нашими журналами и журналистами?.. Спрашиваю, по какому праву „Северная пчела“ будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь „Северный Меркурий“?»

«Водворить хочет новую систему…» Однако вернемся к хронологии.

Получив разрешение издавать газету, Пушкин сделал шаг, который, очевидно, немало удивил его современников и многие годы приводил в недоумение исследователей.

В письме Греча Булгарину от 1 июня 1832 года есть таинственная фраза:

«С Пушкиным мы сходимся довольно дружно, и, я надеюсь, сойдемся в деле. Но, ради бога, не думай, чтоб я тобой пожертвовал. Улажу все, к общему удовольствию».

В течение последующих двух месяцев Греч несколько раз упоминает о предприятии Пушкина, и наконец 3 сентября кое-что разъясняется:

«Теперь о важном деле. За несколько дней перед сим встречается со мной на улице Пушкин и объявляет, что вступает на поприще журналиста. Я его поздравляю и желаю терпения. *Пушкин.* „Ах, если бы издавать с вами, то было бы славно“. *Я.* „А почему нет? Я не прочь — вы знаете“. — Тут

он начал жаловаться, что его разобидели в *Северной Пчеле* и что он желал бы сладить дело, но не знает, как согласовать разные требования, и наконец обещал прийти ко мне и поговорить».

Судя по фразе: «Я не прочь — вы знаете», — у Пушкина с Гречем уже были разговоры на эту тему. Греч, очевидно, имеет в виду переговоры с Пушкиным в конце 1831 года, о которых он рассказал позже в «Записках», и какие-то дела в мае 1832-го.

В сентябре Пушкин предложил Гречу следующее: издавать совместно еженедельную газету. Греч согласился и получил разрешение от своего компаньона Булгарина. Ведь Греч не хотел оставлять и «Северную пчелу». Но поэт тут же раскаялся в этом отступлении от первоначального своего плана.

Греч пишет Булгарину:

«На другой день по отправлении к тебе письма виделся я с Пушкиным. Он сказал мне, что переменил мысли свои… хочет издавать газету три раза в неделю и просит меня войти с ним в половину и печатать ее у меня в типографии. Он обязуется доставлять статьи. Мое дело было бы только смотреть за редакцией и за переводом статей газетных».

Аргументы Греча в пользу этого альянса любопытны.

«Мое мнение: зачем выпускать из рук П. и его партию? Мы уничтожим всякое дурацкое совместительство и к 1834 году наверное соединимся в одной газете. Если мне нельзя будет за это взяться, возьмется другой и напакостит и нам, и Пушкину. Об интересах денежных не говорю: они будут ничтожны, ибо и сам Пушкин надеется иметь не более 1000 подписчиков».

Булгарин на этот вариант не пошел — сотрудничество Греча и Пушкина не состоялось.

Из всей этой истории можно сделать несколько существенных выводов.

Прежде всего совершенно ясно, что в газете своей Пушкин менее всего собирался заниматься борьбой литературной. Ибо одним из главных условий Греча была неприкосновенность Булгарина. Пушкин это условие принял.

Греч нужен был ему исключительно как опытный организатор и владелец типографии. Материалы для газеты он собирался поставлять сам. Этим снимается вопрос о романтической лени Пушкина и его разбросанности, которые, по мнению многих, мешали ему приступить к изданию газеты. Он чувствовал в себе силы для

этого труда.

И наконец, последняя фраза Греча окончательно хоронит меркантильную мотивировку пушкинских действий как главную. Расчет тут очень прост. Три тысячи подписчиков «Северной пчелы» доставляли восемьдесят тысяч дохода. Тысяча подписчиков должна была доставить около двадцати шести тысяч. Отдавая половину Гречу, Пушкин получал бы в год не более тринадцати тысяч.

Но эту сумму он мог иметь без таких хлопот. Тот же Греч, по свидетельству современника, предлагал Пушкину за сотрудничество в «Сыне отечества» тысячу двести рублей в месяц, то есть больше, чем тринадцать тысяч в год.

Стоит напомнить, что позже Пушкин отказался от выгодного предложения Смирдина и стал издавать очень невыгодный материально, но *свой* «Современник».

Из всей этой истории ясно, как необходим был Пушкину свой орган и дельные сотрудники, если уж он пошел на переговоры с Гречем. С тем Гречем, которого так презрительно заклеймил год назад в статьях Косичкина.

Необходимость высокая, а не низменная, чувство долга перед Россией, а не только забота о

заработке заставляли его лихорадочно искать средств для воздействия на умы русской публики.

16 сентября Пушкин вступает в договор со второстепенным литератором Наркизом Ивановичем Тарасенко-Отрешковым, который и должен был взять на себя обязанности редактора газеты. Ему отводилась, конечно, та же техническая роль, что и Гречу.

Но 24 ноября Вяземский уже сообщил Александру Ивановичу Тургеневу:

«Пушкин единогласно избран членом Академии, но чтобы не слишком возгордился сею честью — вместе с ним избран и Загоскин. Журнал его решительно не состоится, по крайней мере на будущий год. Жаль. Литературная канальская шайка Гречe-Булгаринская останется в прежней силе».

Сожаления Вяземского опять-таки идут по чисто литературной линии.

Почему же не состоялось издание? Понял ли Пушкин посредственность и ненадежность Отрешкова? Возможно. Устрашила ли его судьба «Европейца»? Возможно. Он ведь понимал, что ежели газету закроют, то другой вовек не дадут. А он собирался помещать вовсе не ту блеклую

бессмыслицу, о которой писал Погодину. Быть может, он решил выждать более подходящий момент.

Но скорее всего, объяснение содержится в письме Плетнева Жуковскому:

«Издание газеты, о которой так хлопотал Пушкин еще при вас, едва ли приведется в исполнение, хотя ему и дано на то право. Он более роется теперь по своему главному труду, то есть по истории, да, кажется, в его голове и роман колышется».

Роман этот — «Дубровский» — был начат 21 октября 1832 года. Роман связан был с тем же великим планом, который погнал Пушкина в службу, ввел в архивы, заставил добиваться политической газеты. С тем гигантским историческим чертежом прошлого и будущего, создать который он вменил себе в долг. С той борьбой с Россией за Россию, которой требовала от него его честь.

Он понял, что при отсутствии дельных сотрудников ему со всеми этими трудами не совладать.

И он отложил издание газеты.

6

История несостоявшейся газеты, тот чудовищный факт, что ему пришлось вести переговоры с

Гречем, цену которому он прекрасно знал, — все это заставило его еще раз осмотреться вокруг и подумать о людях, которые его окружали.

Были люди официальные, с которыми приходилось иметь дела.

Был Бенкендорф. И тут все было ясно.

Был Блудов — опекун в архивных делах. Видеться с ним в это время приходилось постоянно. Анненков, со слов современников, говорил:

«С зимы 1832 года он (Пушкин) стал посвящать все свое время работе в Архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей на Морской отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью».

Следовательно, Блудов находился, как правило, поблизости.

Они были хорошо знакомы еще с тех времен, когда оба состояли членами «Арзамаса». Но в 1832 году бывший арзамасец Блудов был уже министром внутренних дел. Его карьера началась в 1825 году, когда он получил назначение делопроизводителем Верховной следственной комиссии, допрашивавшей декабристов. Это, однако, было в тот момент делом обыкновенным.

Руководил судом, как известно, Сперанский — известный либерал, которого декабристы прочили во временное правительство и с которым вели переговоры накануне восстания. Сперанский плакал по ночам, но судил.

Блудов был «очень умен, образован и крайне добр; но характером он был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к Императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовыми… В большой упрек ему ставили написанное им Донесение следственной комиссии по делу 14 декабря. Конечно, оправдывать я его не буду; но в извинение его могу сказать, что он в этом уступил воле Императора…» — так писал близко знавший его современник — А. П. Кошелев.

Как ни деградировало русское общество после 14 декабря, но каинова печать все же доставляла некоторые неприятности тем, кто приложил руку к уничтожению декабристов.

«Александр Тургенев встречал графа Блудова у Карамзиной. Блудов — воплощенная доброта и совсем не злопамятный — протянул руку Тургеневу, который ему сказал: „Я никогда не подам

руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату". Представьте себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала… Бедный Блудов вышел со слезами на глазах».

Это рассказ Смирновой-Россет.

Этот бедный Блудов «со слезами на глазах», воплощенная доброта, подписавший смертный приговор Николаю Тургеневу, в доме у которого он перед тем постоянно бывал, сделался теперь как бы патроном Пушкина.

Муханов описывает в дневнике такую сцену у Вяземского летом 1832 года:

«Наконец пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов… Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал поговорить с Нессельроде. Странный ответ: я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа. — Почему же не от вас? Не все ли равно, из одного ящика или из другого? — Для того, чтобы избежать дурного примера. — Помилуйте, — возразил Блудов, — ежели бы такой пример породил нам хоть нового *Бахчисарайского Фонтана,* то уж было бы счастливо ⟨…⟩ Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием *Вестник*; будет

давать самые скорые сведения из министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал».

Они очень сему смеялись, а Пушкин почему-то смешался и убежал. Смеяться, прямо скажем, было нечему. Все здесь оскорбительно. И эта торговля: кто будет платить жалованье чиновнику-иждивенцу — III Отделение или Министерство иностранных дел? И этот разговор о «Бахчисарайском фонтане», поэме десятилетней давности, как о его высшем достижении. И сам факт, что за него хлопочет ренегат Блудов. Все это было не смешно. Но нужно было через это переступить.

Был Уваров, тоже «арзамасец», приятель Жуковского, так и рвущийся в покровители и союзники. В 1832 году он был назначен помощником министра просвещения и в этом качестве вот-вот мог стать начальником Пушкина-журналиста.

Мы помним, что писал об Уварове Вигель. Но Вигель — человек пристрастный. А вот что говорил об Уварове современник более беспристрастный — известный историк Сергей Михайлович Соловьев:

«Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по обра-

зованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического, напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав за свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состо-

янии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками».

Естественно, что мысль о союзе с этим господином вызывала у Пушкина отвращение. Он мог входить в дружеские отношения только с людьми порядочными. Это было непременным условием. Он был терпим. Он склонен был многое прощать другим людям. Но человеческая порядочность была для него условием непременным.

Ну а друзья? Были друзья.

Не сомневаясь в их дружбе, он посмотрел на них теперь как на возможных соратников в новой его борьбе, как на единомышленников.

Был Жуковский, умный, благородный, не поблудовски добрый Жуковский. Он Пушкина нежно любил и готов был многое для него сделать. Но мог ли он стать соратником? У Жуковского, которого мы явно недооцениваем как мыслителя, была своя программа воздействия на власть. Но она, скорее всего, основывалась на чисто человеческом влиянии. Изменение политики должно было произойти через изменение личных качеств правителей. На первый план выдвигалась мораль. Стремление Пушкина к универсальной системе действия, диалектичность пушкинского мышления остались Жуковскому неясны.

Был Вяземский. Один из самых резких и четких умов России. Человек с широким политическим взглядом, человек, знавший Россию.

Мог ли он стать соратником? Их столкновение 1831 года было ли случайным, частным?

В июле 1832 года, когда Пушкин лихорадочно искал людей для своей газеты, Муханов записал в дневнике:

«Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его… О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу…»

Именно в разговоре об издании газеты Пушкин отозвался о Вяземском резко. Он не видел в нем соратника.

Они никогда не полемизировали друг с другом печатно. Но спорили они часто и зло. Тот же Муханов написал 29 июня 1832 года — опять же в период организации газеты:

«К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина… Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Я совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон

старается похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни и потому весьма интересен… Спор усиливался».

Они расходились в сфере для Пушкина самой важной — в сфере исторической. Вопрос о позициях Пушкина и Вяземского очень сложен. Но факт их расхождения бесспорен.

Был Плетнев, человек благородный и Пушкина любивший, но, увы, посредственный мыслитель. А Пушкину нужны были люди остро думающие. Плетневу можно было поручить издание книги, но не более того.

Был Погодин. Молодой, деятельный, ученый. Готовый сотрудничать с Пушкиным. Но альянса не получилось. Пушкин был поначалу к Погодину расположен. Хвалил его драму. Прочил себе в помощники для «Истории Петра». Но, быть может, сказалась разница в их исторических взглядах, о которой сам Погодин писал в дневнике. А может быть, Пушкин рассмотрел в Погодине те черты, которые позже столь ясно увидел в нем историк Соловьев:

«Он славился своей грубостью, цинизмом, са-

молюбием и особенно корыстолюбием».

Бесспорно, что Погодин глубоко Пушкина почитал. После смерти его, 2 февраля 1837 года, он писал в дневнике:

«Подтвердилось. Читал письмо и плакал. Какое несчастье! Какая потеря!.. Плакал и плакал и думал о Пушкине…»

Странно. Вокруг Пушкина было много людей, его любивших. Но не было людей, его понимавших.

А ему так нужны были единомышленники. Ему нужны были те, кто жил сейчас в остроге. Кто судьбой своей доказал, что готов вмешаться в дела истории. Кто, как и Пушкин, знал, что такое долг, не оставляющий иного выхода, кроме действия.

Вяземский, человек не слабый, писал в трудный момент 1827 года:

«Если не заставят Аксакова образумиться, то положу перо: делать нечего».

(Аксаков был цензором.) Вяземский готов положить перо. Уйти из литературы. Пушкин не сделал бы такого заявления в любой ситуации. Тут тоже была разница между ними. То, что для Вяземского было занятием огромной важности, для Пушкина было судьбой. Серьезный оттенок.

Пушкину в тот момент нужны были люди такого стиля мышления, как Никита Муравьев, Батеньков, Корнилович, с которым у Пушкина, как выяснилось из сохранившихся трудов декабриста, были общие идеи. Ему нужен был Пущин как опора нравственная. Ему нужны были декабристы как соратники, как среда. Ему нужны были те, чье дело он продолжал.

Его призывы к Николаю о великодушии были не просто актом гуманности. Они были еще и необходимостью. Гигантский труд, который он принял на себя, требовал сподвижников. Он очень надеялся на возвращение декабристов.

7

Он стал политиком. Он сделал этот шаг совершенно сознательно.

Но сознавал ли он, как это усложнит его дела поэтические? Сознавал ли противоречие между настойчивыми своими декларациями и этим шагом?

В 1828 году он написал «Поэт и толпа».

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

В 1830 году, когда началась травля, он писал:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Но с 1831 года все меняется.

«Эхо», написанное в этом году, говорит уже о другом — о жажде понимания.

Тебе ж нет отзыва… Таков
И ты, поэт!

Уже в 1832 году он понял, что тот идеал высокого поэта, который ранее представлялся ему выходом, для него недостижим. Ибо жизнь его происходила в двух сферах. Он понимал, что должен принять все издержки своего решения. Но он еще не знал, как велики будут эти издержки.

В 1832 году он написал послание «Гнедичу».

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин

И вынес нам свои скрижали.

И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,

В безумстве суетного пира,

Поющих буйну песнь и скачущих кругом

От нас созданного кумира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.

В порыве гнева и печали

Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,

Разбил ли ты свои скрижали?

О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты

Скрываться в тень долины малой,

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты

Жужжанью пчел над розой алой.

Таков прямой поэт. Он сетует душой

На пышных играх Мельпомены,

И улыбается забаве площадной

И вольности лубочной сцены,

То Рим его зовет, то гордый Илион,

То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана.

В этих стихах много сказано. Их нельзя глубоко понять, не учитывая библейский план. Их не надо ограничивать обращением к Гнедичу как к конкретному лицу. Смысл стихов шире. В них есть тот идеал высокого поэта, которому Гнедич не соответствовал. Особенно важно то, что в стихах этих Пушкин впервые проводит четкую грань между ясным блистающим миром «таинственных вершин» и собой. Он знал, что не перестает быть поэтом гениальным. Самая великая его поэма — «Медный всадник» и самые великие, лежащие на пределе возможного образцы его лирики были впереди. Но он прощался с тем миром покоя и света, обрести который мечтал и от которого теперь отказывался.

Его реальные поступки тридцатых годов, его стремление к практической деятельности, к деятельности государственной опровергали декларации поэтические.

Эту новую реальность он закреплял теперь в стихах.

Разумеется, нельзя категорически отделять Пушкина — политика и государственного мыслителя от Пушкина-писателя. Зрелый Пушкин сознавал необходимость цельной системы воздействия на мир.

Не было раскола творческого сознания.

Он выстраивал одно гигантское здание, в основе которого лежала общая задача — создание новой культуры, культуры политической и культуры эстетической. Одно не могло существовать без другого. Свободное общество и несвободная внутри себя литература — абсурд. Одной из главных задач Пушкина было эстетическое раскрепощение литературы, сближение ее с естественностью жизненных законов.

Надо было преобразовать самое отношение публики к литературе. Функции развлекательная и учительская, выработанные еще XVIII веком, должны были слиться в третьем качестве — анализе реальной действительности. Романтизм этого анализа не давал. Он пытался преобразовать мир творческим вмешательством. А поскольку мир сопротивлялся, то романтик конструировал иной мир, сосуществовавший с реальным.

Едва ли не главной потребностью художественного сознания Пушкина была цельность. Роман-

тическая расколотость мира — мир низменный и мир идеальный, высокий — была теперь глубоко чужда ему. Мир надо было объединить единой целесообразной системой. В частности, уничтожить разрыв между культурой образованных классов и культурой народной.

Отсюда — такое уникальное явление, как пушкинские сказки тридцатых годов, это слияние высочайших литературных достижений со смысловой конкретностью и стилистической простотой фольклора. Сказки — с их несложными и мудрыми сюжетами, вобравшими решающую проблематику человеческих отношений на всех уровнях — от любовного до государственного. Сказки, в которых справедливость и благоразумие побеждали фатально и бесхитростно.

Он строил этот прозрачный мир не только для читателей, но и для себя. Он убеждал себя — столь наглядно — в принципиальной возможности создания стройной и благополучной картины мира.

В сказках решались те же вопросы, что и в «Онегине», «Годунове», «Медном всаднике». Однако ни поэмы, ни сказки не казались ему главным средством вмешательства в политический процесс.

Но без поэзии, без литературы он не мыслил

своего существования ни на каком пути…

8

Основные пункты его тактической программы были ему ясны еще в 1831 году. Воздействовать на государя с тем, чтобы он ограничил аристократию бюрократическую и выдвинул аристократию истинную, просвещенное родовое дворянство с неотменяемыми наследственными привилегиями, дворянство, которое было бы представителем у трона всего народа и которое ограничило бы самодержавие. Государь — под давлением умных советчиков и общественного мнения — должен пойти на ограничение собственной власти. Для мобилизации общественного мнения следует просветить русское дворянство и объяснить ему его долг. Для этого необходимо иметь мобильный печатный орган.

Самым действенным дидактическим материалом была история. Кроме того — это было для него чрезвычайно важно, — изучение истории давало возможность *понимания хода событий.* Он не переоценивал степени этого понимания. Он писал в конце 1830 года:

«Не говорите: *иначе нельзя было быть.* Коли было бы это правда, то историк был бы астроном

и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия Провидения».

Он не претендовал на роль пророка. Он собирался не угадывать будущее России, но воздействовать на его формирование. Он решился действовать. И для этого ему было необходимо «видеть общий ход вещей» и «выводить из оного глубокие предположения». Изучение истории давало возможность понять направление процесса.

В это время он уже мыслил не как литератор-историк, но как историк-ученый.

Мысль его все время возвращалась к июлю 1831 года. К мятежу военных поселян, страшному своим размахом, своей жестокостью, своей конечной бессмысленностью.

Он понимал, что прежде всего необходимо решить для себя и для России вопрос о правомочности крестьянского восстания, этого лейтмотива

русской истории. И это стало первым этапом его труда.

21 октября 1832 года он начал «Дубровского».

Он начал с художественной прозы как формы, более ему знакомой. Для исторического исследования на тему крестьянского мятежа у него еще не было материала.

Но «Дубровский» был историческим романом, основанием которому служил именно документ: подлинное дело о тяжбе за сельцо Новопанское.

В одном из черновиков есть фраза о старом Дубровском и Троекурове:

«Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору».

Речь идет о возведении на престол Екатерины II. Подоплека ссоры, погубившей старика Дубровского, по существу гораздо серьезнее, чем кажется. Дубровский из старых русских дворян, в которых Пушкин видел здоровую почву для возрождения России. Троекуров — из той знати, которую вынес наверх государственный переворот и которая стала опорой деспотизма. И есть тут один любопытный момент. Троекуровы — род старинный, боярский, но к XVIII веку утративший свое значение. Зрелый Пушкин достаточно

хорошо знал русскую историю, чтобы фамилия Троекуровых звучала для него отнюдь не нейтрально. Но он выбрал фамилию, напоминающую не о безродных временщиках, вышедших в большие вельможи, или фамилию не историческую, ничего читателю не говорящую, он выбрал Троекурова. Троекуров, стало быть, потомок древнего рода, сомкнувшийся с новой знатью. Между тем в «Моей родословной» Пушкин объяснил упадок своего древнего и знатного рода тем, что его, Пушкина, дед отказался в 1762 году поддержать узурпаторшу и ее клевретов. И на эту столь занимавшую Пушкина коллизию накладывается коллизия иная. Мужики, всегда готовые к возмущению, по собственной воле, по собственному побуждению становятся на сторону Дубровских. Ими движет не чувство выгоды. У богатых бар мужикам, как правило, жилось лучше, чем у бедных. А троекуровские люди вообще находились на особом положении сравнительно с другими. Мужики восстают потому, что истинное дворянство близко народу, оно его естественный представитель. Связь тут — органичная. Так думал Пушкин.

Развиваясь таким образом, роман вел к мысли о возможности союза между дворянством и

крестьянами — в бунте. Дворянин — не важно, из каких соображений, во всяком случае вполне благородных, — становится во главе крестьянского бунта со всеми его атрибутами (например, сожжение заживо приказных). Но для Пушкина такая ситуация была в тот момент неприемлема. Судя по наброскам плана третьей, ненаписанной части, он собирался показать трагическую бессмысленность ее. Молодого Дубровского выдавал полиции один из мужиков его шайки.

Пушкин не написал третьей части, ибо вариант с предательством противоречил всей нравственной логике произведения. Роман зашел в тупик. Первая попытка решить проблему крестьянского бунта и отношения к нему настоящего дворянина не удалась.

6 февраля 1833 года Пушкин отложил рукопись «Дубровского».

7 февраля он запросил военного министра графа Чернышева о бумагах, касающихся пугачевского бунта.

А за неделю до того — 31 января — сделал первые наброски к сюжету «Капитанской дочки».

Пушкин нашел материал, на котором можно было решить занимавшую его проблему.

Тут и началась по-настоящему реализация его

великого плана.

Ему стала ясна очередность этапов. Не в том дело, как это часто говорят, что он чем-то увлекся и это определило его занятия. Например, занимался историей Петра, встретил любопытные документы — увлекся Пугачевым, стал заниматься этой эпохой. Потом вернулся к Петру… Ничего подобного. Даже если просто хронологически расположить пушкинские работы, становится видна стройная система.

Он отложил занятия Петром не случайно. Он — как историк, как человек, поставивший перед собой определенную задачу, — понимал в этот момент, что, прежде чем решать проблемы, связанные с переустройством государства и ролью дворянства в этом переустройстве, надо решить самую болезненную проблему последних ста лет русской истории — проблему крестьянской революции.

И здесь его гигантские планы соседствовали и пересекались с не менее грандиозными задачами чисто литературными.

Он создавал русскую прозу. И его общая задача влияла на этот процесс сильнейшим образом. Его художественная проза носила ясные черты прозы научной.

«Поэт действительности», владевший всем многообразием художественных приемов ее воспроизведения, Пушкин не мог уже этим ограничиться. Он подходил теперь к действительности и как ученый-аналитик. Прозрачность словесной ткани, крупная — как под микроскопом — деталь, безупречная логика сюжета, ясность психологических мотивировок — результат такого подхода.

Он создал одновременно и художественную, и научную прозу. Он создавал для русской культуры новый метод познания и постижения мира.

1833

…Я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей.

Пушкин – Бенкендорфу. 1833

1

31 января 1833 года Пушкин сделал первые наброски плана «Капитанской дочки».

6 февраля прекратил работу над «Дубровским».

7 февраля послал письмо графу Чернышеву с просьбой предоставить ему из архивов военного министерства документы, касающиеся пугачевского восстания.

Он понимал, что, если прямо заговорит о Пугачеве, это неизбежно вызовет недоумение. В лучшем случае. Потому пустился на хитрость: написал Чернышеву, что собирает материалы для истории Суворова. А поскольку Суворов принимал участие в подавлении пугачевского бунта, то материалы его биографии за семидесятые годы, естественно, вели к Пугачеву.

Военный министр граф Чернышев, палач декабристов, отозвался быстро и предупредительно:

«Военный министр покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина уведомить его: какие именно сведения нужно будет ему получить из Военного министерства для составления Истории генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского?»

Пушкин ответил дипломатично:

«Приношу Вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе.

Следующие документы, касающиеся истории графа Суворова, должны находиться в архивах главного штаба:

Следственное дело о Пугачеве.

Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.

Донесения его 1799 года.

Приказы его к войскам.

Буду ожидать от Вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами».

Дело о Пугачеве он поместил среди других документов, совершенно ему ненужных. Хитрость удалась вполне.

Поскольку Пушкин был историографом милостью государя императора, то соответствующие распоряжения были отданы, и чиновничья система, имеющая отношение к архивам, заработала быстро и четко.

12 февраля директор канцелярии военного министерства генерал Брискорн адресовался к директору Инспекторского департамента генералу Клейнмихелю с запросом об интересующих Пушкина документах. Клейнмихель дал соответствующее распоряжение своим подчиненным, и 18 февраля вице-директор департамента Иванов поручил начальнику архива Румянцеву начать поиски документов. 14 февраля Румянцев сообщил Иванову, что «в здешнем архиве имеются только разные секретные бумаги и своеручные манифесты Пугачева в 2-х книгах, а также подлинные письма и донесения графа Суворова-Рымникского 789, 790 и 791 годов в одной книге, которые у сего и представляются».

25 февраля военный министр прислал полученные таким путем документы на квартиру Пушкина.

И тут стало совершенно ясно, как дальновидно поступил Пушкин, добиваясь официальной должности. Частному лицу, литератору Пушки-

ну никто не разыскивал бы документы с такой готовностью, как историографу, наследнику Карамзина.

В двух «пугачевских» фолиантах, которые получил поэт, было более 1000 листов.

Здесь была переписка Военной коллегии за 1773 год, дающая представление о тех планах и мерах, которые разрабатывались против восставших. Здесь были манифесты и указы Пугачева и директивы повстанческого руководства.

Это было далеко не все, что требовалось. Но, имея эти драгоценные документы, впервые попавшие в руки историка, можно было начинать работу…

Какую работу?

Роман о «плохом» дворянине, согласившемся пристать к мятежникам? Роман был в стадии обдумывания.

Да и сюжет был сейчас для Пушкина не главным. Сейчас его интересовало иное.

Для Пушкина 1833 года исторического романа в этом случае было недостаточно. Нужно было историческое исследование. Он чувствовал себя ученым. Он мыслил и действовал как ученый.

Еще до получения документов от Чернышева — в начале февраля — Пушкин сам занялся

поисками материалов, находящихся в руках частных лиц. Он снесся с известным литератором Свиньиным, владельцем «Музеума», где хранились разного рода редкости. И рукописи в том числе. Свиньину принадлежал интереснейший дневник Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины II.

19 февраля он получил от Свиньина такое послание:

«Медленность в доставлении Вам, милостивый государь Александр Сергеевич, прилагаемой при сем рукописи произошла ни от чего другого, как от невозможности отпереть мой музеум за потерею ключа; неделю искали его, а другую приделывали… Воображаю, сколь любопытно будет обозрение великой царицы, нашего золотого века или, лучше сказать, мифологического царствования под пером Вашим. Право, этот предмет достоин Вашего таланта и трудов».

Стало быть, Свиньину в качестве мотива было выставлено намерение написать историю царствования Екатерины.

Получив из военного министерства первую партию документов и ожидая следующих, которые разыскивались в Москве, Пушкин начал работать напряженно. За полторы недели — с

25 февраля по 8 марта — он изучил два фолианта. В его рабочих тетрадях, в копиях, конспектах, выписках осталось больше 120 документов из этих сводов.

8 марта, получив от Чернышева документы, касающиеся только Суворова и, следовательно, ему ненужные, он написал военному министру:

«Принося Вашему сиятельству глубочайшую мою благодарность, осмеливаюсь беспокоить Вас еще одною просьбою; благосклонность и просвещенная снисходительность Вашего сиятельства совсем избаловали меня.

В бумагах касательно Пугачева, полученных мною пред сим, известия о нем доведены токмо до назначения генерал-аншефа Бибикова, но донесений сего генерала в Военную коллегию, так же как и рапортов князя Голицына, Михельсона и самого Суворова, — тут не находится. Если угодно будет Вашему сиятельству оные донесения и рапорты (с января 1774 по конец того же года) приказать мне доставить, то почту сие за истинное благодеяние».

29 марта Пушкину были доставлены из военного министерства «восемь книг, заключающих в себе рапорты генерал-аншефа Бибикова, князя Голицына и графа Суворова-Рымникского». Так

сообщил Чернышев. Но содержание «книг» было гораздо шире. Там были не только рапорты названных генералов, но и документы делопроизводства Секретной экспедиции Военной коллегии и военно-походных канцелярий командующих войсками императрицы генералов Бибикова и Щербатова.

Тщательно проштудировав всю эту массу разнородного материала, Пушкин оставил в своих рабочих тетрадях копии около двухсот документов.

При этом он читал все, что мог найти о Пугачеве на русском языке и на языках европейских.

Продолжал искать документы в частных собраниях. И не без успеха. Параллельно писал «Капитанскую дочку» и черновые варианты некоторых глав «Пугачева».

В это время один из окололитературных современников писал другому:

«Пушкин умер, сидит да в карты играет или подличает по передним».

Таково было мнение людей далеких. Но и друзья Пушкина в феврале 1833 года оставили несколько любопытных свидетельств.

8 февраля Гоголь писал своему приятелю:

«Пушкина нигде не встретишь, как только на

балах. Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай, и более необходимость, не затащут его в деревню».

17 февраля Плетнев, один из самых близких к Пушкину людей, сообщал Жуковскому, другому близкому другу:

«Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену по балам не столько для ее потехи, сколько для собственной».

Вообще надо сказать, что легенда о суетности и лени Пушкина шла в значительной мере от его друзей. Ведь в тридцатые годы Пушкин печатал не много нового. А о своих главных трудах и планах далеко не всегда извещал даже близких людей. Так и здесь — 17 февраля Плетнев еще ничего не знал об исторических занятиях своего друга. И это не случайно.

Пушкин не рассчитывал на понимание.

2

Мысли его, однако, были заняты не только русской историей. И деловую переписку он вел не только с военным министром.

Около 25 февраля, поджидая пугачевские материалы, он писал Нащокину:

«Что, любезный Павел Воинович? получил ли ты нужные бумаги, взял ли себе малую толику, заплатил Федору Даниловичу, справил ли остальную тысячу с ломбарда, пришлешь ли мне что-нибудь?»

Денег не было.

26 июня он обращался к некоему Александру Андреевичу Ананьину:

«Быв у Вас и не имев удовольствия застать Вас дома, на всякий случай беру с собой письмо. Я собираюсь в деревню. Вы изволили обнадежить меня, что около нынешнего времени можно мне будет получить от Вас еще 2000 р. По моему счету мне более 1500 р. не надобно. Смирдин готов в них поручиться. Буду ожидать ответа Вашего через городскую почту, если не угодно Вам будет прислать его ко мне в город».

Очевидно, Ананьин не согласился дать денег без ручательства кредитоспособного Смирдина, а Смирдин был в отсутствии.

В начале июля Пушкин послал Ананьину сухую записку.

«Смирдин на днях приехал из Москвы. Он согласен за меня поручиться. Прошу Вас назначить

мне день, когда можно будет нам кончить дело».

В какую деревню собирался ехать Пушкин?

22 июля он отправил Бенкендорфу прошение об отпуске для посещения вдовы Карамзина в Дерпте и поездки в Оренбург и Казань.

Ответил ему помощник Бенкендорфа Мордвинов. Любопытно отметить, что с этих пор Бенкендорф перестал лично отвечать на все письма Пушкина, как то было раньше. Теперь он отвечал только на некоторые. Теперь между царем и поэтом часто встает и второе лицо — Мордвинов. Еще одна ступень. Расстояние стремительно увеличивалось сравнительно с летом 1831 года.

Мордвинов писал Пушкину 29 июля:

«Г. генерал-адъютант Бенкендорф письмо Ваше от 22 июля имел счастие представлять государю императору. Его величество, соизволяя на поездку Вашу в Дерпт для посещения г-жи Карамзиной, изъявил высочайшую свою волю знать, что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на Вас возложенные?»

Ему дали понять, что он — прежде всего человек служащий и оставлять занятия, за которые ему платят жалованье, он не имеет права. Ему дали еще раз понять, что взяли его не в советчики,

а в чиновники. Вместе с появлением Мордвинова-посредника это был симптом угрожающий.

30 июля он ответил Мордвинову:

«В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мной начатую и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? они одни доставляют мне независимость и способ прожить с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря государя, имеют цель более важную и полезную.

Кроме жалованья, определенного мне щедростию Его величества, нет у меня постоянного дохода; между тем жизнь в столице дорога и с умножением моего семейства умножаются и расходы.

Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит и Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии».

7 августа он получил сообщение от Мордви-

нова:

«Г. генерал-адъютант граф Бенкендорф поручил мне Вас, милостивый государь, уведомить, что Его императорское величество дозволяет Вам, согласно изъявленному Вами желанию, ехать в Оренбург и Казань на четыре месяца».

В письме Мордвинову важно ясное утверждение Пушкина, что прокормить его могут только занятия чисто литературные. Это очень важно. И еще — он не хотел сообщать императору о действительных своих занятиях. О Пугачеве.

Получив разрешение, Пушкин через две недели выехал из Петербурга. Не в Дерпт, а в Москву, чтобы оттуда отправиться в места пугачевщины.

2 сентября 1833 года Пушкин подъезжал к Нижнему Новгороду.

«Пушкин мне рассказывал, что под Нижним он встретил этапных. С ними шла девушка не в оковах, у нас женщин не заковывают. Она была чудной красоты и укрывалась от солнца широким листом капусты. „А ты, красавица, за что?“ Она весело отвечала: „Убила незаконнорожденную дочь, пяти лет, и мать за то, что постоянно журила“. Пушкин оцепенел от ужаса».

Это из записок Смирновой-Россет.

Поездка заняла меньше месяца. Но успел он

много.

8 сентября, жене:

«Здесь я возился со стариками, современниками моего героя, объездил окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону».

Речь идет о Казани.

Но это были последние штрихи. Основное было ему ясно. Собранные в Петербурге материалы были у него с собой. Он спешил в Болдино.

3

Пушкин приехал в Болдино 1 октября и сразу принялся за Пугачева. «Прости — оставляю тебя для Пугачева» — так он закончил письмо к жене от 2 октября. 11 октября:

«Мой ангел, одно слово: съезди к Плетневу и попроси его, чтоб он *к моему приезду* велел переписать из Собрания законов (год 1774 и 1775 и 1773) все указы, относящиеся к Пугачеву».

Теперь он уже точно знал, для чего пишет «Пугачева». Что хочет объяснить государю и обществу. Тому самому обществу, которое забыло свое назначение.

Прежде всего хотел он показать механизм воз-

никновения и распространения крестьянского мятежа. Народ испокон недоволен и враждебен власти. Это обычное его состояние, вызванное непрерывным уменьшением свободы и возрастанием — на протяжении столетий — притеснений.

Тезис этот был доказан краткой историей яицких казаков.

Как на причину перелома мирных настроений казаков Пушкин указывает на действия Петра:

«Петр Великий принял первые меры для введения яицких казаков в общую систему государственного управления… Казаки возмутились, сожгли свой городок с намерением — бежать в киргизские степи; но были жестоко усмирены полковником Захаровым».

Мятежная история яицких казаков начинается, таким образом, со столкновения с государством и жестокого усмирения. Казаки правы, отстаивая свои вольности. Петр прав, выстраивая крепкое государство. Перед нами — в конкретном виде — конфликт «Медного всадника». Поэма была начата через пять дней после приезда в Болдино и писалась параллельно с «Пугачевым».

Но «История Пугачева», помимо всего прочего, объясняет, что жестокое усмирение отнюдь не

есть выход из положения. Оно ведет к новым мятежам.

Поводом к мятежу военных поселений были слухи о рассыпании господами отравы. Поводом к великому мятежу яицких казаков был инцидент с бегством в Китай калмыков. Для начала мятежа не нужны никакие капитальные потрясения — повод может быть случаен и незначителен. Мятеж может начаться неожиданно, ибо есть постоянная стихия мятежа. Стихия вспыхнувшего мятежа — самодеятельна. Она имеет свою внутреннюю логику, сама оформляет ситуацию. Она сама выдвигает необходимых предводителей и контролирует их.

«Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца…»

Начавшись в любом пункте, мятеж неизбежно охватывает пространства, ибо почва для него всегда готова.

Это была одна сторона проблемы. Но была и другая, важнейшая.

Главный тезис «Истории» — обреченность крестьянской войны, ее военная несостоятельность.

Восставшие одерживают победы над регулярными частями или вследствие перехода казаков

и солдат на их сторону, или вследствие неспособности командиров. В Оренбурге «находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело».

Подробно изобразив процесс распространения мятежа, Пушкин затем — страница за страницей — показывает военное превосходство регулярных войск над крестьянскими и казацкими отрядами. Даже при абсолютном численном превосходстве мятежников.

«Бошняк остался с шестьюдесятью человеками офицеров и солдат. Храбрый Бошняк с этой горстью людей выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел — пробиваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников».

Последняя часть книги — это фактически история противоборства Пугачева и Михельсона. Численное превосходство неизменно было на стороне первого, победа — на стороне второго. Стихия народного мятежа не выдерживала столкновения с силой организованного государства. Крестьянская война была обречена на поражение и потому — бессмысленна. Огромные жертвы с

той и другой стороны, разорение страны, неизбежные кровавые репрессии — все это было бессмысленно.

Пушкин не верил — и справедливо, — что крестьяне, находящиеся на том уровне политического и культурного развития, на каком находились они в его время, могут управлять государством. Не верил он и в возможность их военной победы. И он обосновал свою точку зрения как объективный и точный историк.

Понимал ли он при этом причины, побуждающие крестьян к этим отчаянным попыткам? Разумеется. Ведь он был автором и другой истории — «Истории села Горюхина»...

4

«Пугачевым» он занимался до начала ноября. 2 ноября закончил его.

Но это было далеко не единственное его занятие в тот октябрь.

6 октября он начал «Медного всадника».

14 октября окончил «Сказку о рыбаке и рыбке».

24 октября — первую часть «Анджело».

«Анджело» заслуживает особого внимания. Ибо с этой поэмой связаны были не только исторические его размышления, но и другие заботы, его

мучавшие и игравшие в судьбе его роль мрачную и сильную.

22 июля 1831 года, когда Пушкины жили в Царском, бывавшая у них Надежда Осиповна писала дочери Ольге Сергеевне:

«У Натали страшно болят зубы, и нет никого, кто бы их вырвал. Она вызывает восхищение всего Двора, императрица хочет, чтобы она к ней пришла, и назначит день, когда ей явиться. Это досаждает ей очень, но она вынуждена покориться…»

26 июля Надежда Осиповна снова пишет дочери:

«В качестве новости скажу тебе, что император и императрица встретили Натали и Александра; они остановились с ними поговорить, и императрица сказала Натали, что очень рада с ней познакомиться и тысячу других вещей, очень милых и любезных. Вот она и вынуждена появиться при дворе, совсем против своей воли».

Как мы помним, Ольга Сергеевна в письме к мужу повторила, что ее невестке очень не хочется бывать при дворе, и при этом обмолвилась весьма многозначительной фразой:

«Императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа…»

Правда, Ольга Сергеевна тут же спохватывается и пишет, что не то хотела сказать. Но ведь ее информатор — Надежда Осиповна — хотела сказать именно это. Безо всяких оговорок.

В чем же дело? Почему молодая женщина так не хочет бывать при дворе?

Для того чтобы сделать сколько-нибудь обоснованные предположения, необходимо знать придворную ситуацию и характер Николая.

«Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках: если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала».

Это писал француз, посетивший Россию в качестве секретаря крупного лица и вхожий в свет. Быть может, он несколько преувеличил. Кроме того, рассказ относится к более позднему времени.

Но есть основания предполагать, что упорное нежелание Натальи Николаевны бывать при дворе в значительной степени объяснялось нежеланием самого Пушкина. Есть основания

предполагать, что страх перед возможными ухаживаниями императора за Натальей Николаевной появился у Пушкина еще в Царском, после явного восхищения, выказанного императорской четой его жене.

Нащокин рассказывал позже:

«Когда Пушкин приехал с женою в Петербург, то они познакомились со всей знатью (посредницей была Загряжская). Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой придворный Аничковский вечер; Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: „Я не хочу, чтоб моя жена ездила туда, где я сам не бываю“».

Хронологически речь идет об осени или зиме 1831 года.

Казалось бы, надо было не привязывать себя к Петербургу, не вступать в службу, не стремиться к встречам с Николаем.

Но надежда выполнить свою миссию была связана именно с Петербургом, именно с возможностью этих встреч.

И он решился.

Решение это, однако, не заглушало мучитель-

ных мыслей. Во время отъездов сознание, что жена постоянно бывает на придворных балах, терзало его.

8 декабря 1831 года он писал из Москвы:

«Дома ты не усидишь, поедешь во дворец и, того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы».

10 декабря:

«Целую тебя и прошу ходить взад и вперед по гостиной, во дворец не ездить и на балах не плясать».

Можно было бы считать, что все дело в беременности Натальи Николаевны и заботе мужа о ее здоровье. И это, конечно, было. Но в письме к Нащокину 8 января он раскрывает истинную подоплеку своего беспокойства:

«Жену мою нашел я здоровую, несмотря на девическую ее неосторожность — на балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надобно бабенку к рукам прибрать».

«С государем любезничает…»

Любезничание с государем вряд ли могло повредить здоровью молодой женщины.

В главе VIII «Онегина» он писал о своем идеале — замужней Татьяне:

Кокетства в ней ни капли нет —

Его не терпит высший свет.

Между тем едва ли не в каждом письме Пушкина жене встречается «кокетство». 3 октября 1832 года:

«…кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом, да еще жалуешься на свое положение… женка, женка!»

2 октября 1833 года из Болдина:

«Смотри, женка. Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня — искокетничаешься».

8 октября:

«Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась…»

21 октября:

«…кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему».

30 октября:

«Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона… Не только тебе, но и Парасковье Петровне легко за собой приучить бегать холостых шаромыжников; стоит только разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокет-

ства. *Было бы корыто, а свиньи будут*».

6 ноября:

«…кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: *уважения*… Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, — для чего? — Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc. — не говоря уже об cocuage».

Он хорошо знал свою жену, знал, что кокетство — часть ее натуры. Ему это было неприятно — это был дурной тон. Но мучило его по-настоящему только одно. В письме от 11 октября, где нет никаких следов ревности, он между прочим — вырвалось против воли — обмолвился:

«Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем…»

И далее — как ни в чем не бывало — о смешных слухах местных про его пьянство.

Но главное — «не кокетничай с царем». Это стояло за всеми ревнивыми выговорами, назойливыми наставлениями. «Не кокетничай с царем». Ибо это было опасно — смертельно. Для него, Пушкина.

В те самые октябрьские дни, когда писались все эти увещевания, он работал над поэмой «Анджело».

24-го числа окончил первую часть. 26-го числа окончил вторую часть. 27-го числа — третью.

«Анджело» он придавал особое значение.

«Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».

Это было сказано слишком сильно. Написанный одновременно с «Анджело» «Медный всадник», безусловно, значительнее. И Пушкин не мог этого не видеть. Но в то же время тема «Анджело» — достаточно сложная — была для него столь важна, что он выдвигал поэму на самый первый план.

Это было переложение — очень вольное — драмы Шекспира «Мера за меру», которая Пушкину давно нравилась и которую он сперва хотел перевести.

Сюжет Шекспира Пушкин упростил, отсек все,

что ему казалось лишним.

В одном из городов Италии счастливой
Когда-то властвовал предобрый, старый Дук,
Народа своего отец чадолюбивый,
Друг мира, истины, художеств и наук.
Но власть верховная не терпит слабых рук,
А доброте своей он слишком предавался.
Народ любил его и вовсе не боялся.

Добрый властитель, чтобы исправить нравы своего распустившегося народа, вручает власть вельможе Анджело, известному праведной жизнью и неподкупностью, а сам уезжает на время. Анджело железной рукой наводит порядки в государстве. В частности, возвращает силу закону, карающему смертью за распутство. И закон этот обрушивается на некоего Клавдио, до свадьбы соблазнившего свою невесту. Клавдио приговорен к смерти. Его сестра — невинная Изабелла, собирающаяся постричься в монахини, приходит умолять Анджело пощадить брата. Пораженный ее красотой и чистотой, Анджело после недолгих

внутренних борений предлагает ей обменять жизнь брата на ее любовь. Шантажируя несчастную Изабеллу, он склоняет ее к тому, за что казнил других. Для себя он делает исключение. Однако в решающий момент появляется Дук, который инкогнито жил в городе и все знал. Справедливость восстанавливается.

Удалив все хитросплетения шекспировского сюжета, Пушкин оставил только одну событийную линию — облеченный властью насильник и беззащитная женщина; властитель, который делает вид, что блюдет чистоту нравов, на самом деле посягает на честь своей подданной.

Пушкину были известны не только похождения государя. Знал он и то, что Николай любил выступать в роли охранителя семейных очагов, делая выговоры легкомысленным женам и строго наказывая мужчин за безнравственность.

Ситуация «Анджело» была — естественно, в трансформированном виде — ситуацией николаевского двора.

Но он не был бы Пушкиным, если бы ограничился личными заботами. Конечно, задачи «Анджело» — много шире. «Анджело» — поэма о самоотравлении и нравственном распаде бесконтрольной власти. О том, как достойный

человек, оказавшись в положении деспота, не ограниченного «мнением народным», неизбежно перерождается.

5

«Медный всадник» и «Анджело» разделены двумя переводами из Мицкевича.

«Медный всадник» — в основном — был написан с 29 по 31 октября. Это поэма о главном — с точки зрения Пушкина — конфликте русской истории. Человек и государственная власть. Живой человек со всеми его правами на частное бытие и закон развития государства, который реализуется в действиях носителя власти.

Высшая необходимость — причина несчастья и гибели Евгения.

Высшая необходимость — причина смертного приговора безобидному Клавдио.

«Медный всадник» и «Анджело» написаны на одну тему. Но «Анджело» — локальнее по смыслу. «Анджело» есть конкретный комментарий к «Медному всаднику». Комментарий, весьма существенно корректирующий представление о точке зрения Пушкина.

Не важно, что «петербургская поэма» была закончена на четыре дня позже «итальянской

поэмы». Ведь начата она была 6 октября. И стало быть, весь этот месяц Пушкин над ней думал. «Анджело» был написан на фоне «Медного всадника».

Решающие ситуации «петербургской поэмы» разыгрываются на площади, где произошло восстание декабристов. Уже давно существует весьма убедительная версия, что под общими историко-философскими категориями поэмы лежит политическая реальность столкновения декабризма с российским самодержавием. В «итальянской поэме» есть такая строфа:

Лишь только Анджело вступил во управленье,

И все тотчас другим порядком потекло,

Пружины ржавые опять пришли в движенье,

Законы поднялись, хватая в когти зло,

На полных площадях, безмолвных от боязни,

По пятницам пошли разыгрываться казни,

И ухо стал себе почесывать народ

И говорить: «Эхе! да этот уж не тот».

Если помнить, что буквально в те же дни Пушкин работал над «Медным всадником» и «Пугачевым» — сочинениями политическими, — то в строфе этой очень ясно просматривается локальный политический смысл.

Царь Александр I, который, в отличие от Дука, отнюдь не был образцом доброты, поражал, однако, современников своим лояльным отношением к тайным обществам. Л. Н. Энгельгардт писал в мемуарах:

«Император, будучи уже извещен о буйственном духе неблагомыслящих и заблуждавшихся, сделался более подозрителен, опасался покушения на свою жизнь, умножил шпионов, но зло не прекращал».

«Наш царь дремал», — писал сам Пушкин в главе X «Онегина».

Этому странному поведению было несколько причин. Между этими причинами было и сознание, что заговорщики проповедуют те же либеральные идеи, с которых он, Александр, начал свое царствование. Он считал себя виновным в насаждении духа вольномыслия. «Не мне их карать», — сказал он в ответ на один из доносов.

Как ясно из начала записки «О народном вос-

питании», Пушкин считал одной из причин декабрьского восстания двойственную, нерешительную политику Александра.

Николай, вступив на престол, повел себя более чем решительно. «Казни на площадях» сразу показали обществу, что «этот уж не тот».

Эта аналогия возникает неизбежно. И она не единственная.

Пушкинисты еще в тридцатых годах совершенно верно заметили, что Евгений «петербургской поэмы» вырос из другой фигуры — героя неоконченной поэмы «Езерский», задуманной еще в 1832 году. Тема «Езерского» — падение дворянских родов, наступление новой знати. Это тема того самого вытесняемого из истории дворянства, которое выступило 14 декабря, которое было, по мнению Пушкина, «страшной стихией мятежа». Таким образом, обреченный в своем бунте Евгений связывался в сознании Пушкина с декабристами, с их обреченным бунтом. Связывался не только «географически» — Сенатская площадь, — но по существу.

А кто такой Анджело? Ведь это такой же кондотьер высшей власти, как Бенкендорф, как Уваров, как та «бюрократическая аристократия», которая охраняла русское самодержавие от оппозиции

дворянства. Анджело, сила которого только в благоволении герцога и который может быть уничтожен им в любую минуту так же, как по прихоти вознесен. По существу, это — «новая знать».

Конфликты «Езерского», «Медного всадника», «Анджело» сплетаются воедино.

Дук милостив и терпим. Анджело — безжалостен. «Царь любит, да псарь не любит» — так определил Пушкин свои последующие отношения с Уваровым.

Принято считать, что в трагическом столкновении Евгения с суровой государственной необходимостью Пушкин остался нейтрален. Он, дескать, понимает и ту и другую сторону. По-человечески сочувствует Евгению, с точки зрения государственной признает историческую правоту Петра. Пушкин умел разделять эти сферы. Но ведь Евгений, двойник Езерского, не мог вызывать у Пушкина только человеческое сочувствие. Езерские и Дубровские — потомки «тех родов», что строили Русское государство, спасали его в Смутное время, их старшие братья пытались ограничить деспотизм в декабре 1825 года. За ними не только право на тихое домашнее счастье. За ними — право историческое, историческая

правота. 14 декабря они ошиблись тактически. Стратегически, в масштабе русской истории, правы они, а не бескрылый демон бюрократии, вызванный к жизни Петром.

«Анджело» подтверждает это.

Передача самодержавной власти Анджело вызвана государственной необходимостью. Он должен безжалостными мерами оздоровить страну. Но оказывается, что носитель самодержавной власти — лицемер. Он готов на произвол. Он только делает вид, что закон для него святыня. В таких условиях самодержавная власть, по видимости действующая на благо государства, есть зло. Ибо она — аморальна.

В «Анджело» — впервые после «Годунова», — исследуя проблему власти, Пушкин выносит вперед ясное нравственное начало. В 1831 году это не играло для него такой роли. Нравственное начало, заглушенное в «Медном всаднике» громом исторических сдвигов, в «Анджело» становится определяющим.

Жестокость не может быть панацеей от общественных зол: вот вывод «итальянской поэмы». Жестокость — сестра безнравственности.

В «Анджело» и «Медном всаднике» Пушкин рассчитался с фетишем законности.

Не всякий закон справедлив только потому, что он — закон. Закон, по которому должен погибнуть Клавдио, — дурной закон, ибо вместо того, чтобы разрешить человеческую проблему, он убивает человека.

«Сила вещей», исторический закон, по которому гибнет Евгений, торжествует. Но можно ли смиряться с этим торжеством, если наследники первого императора ведут страну к катастрофе?

31 октября был закончен «Медный всадник».

2 ноября была закончена «История Пугачева».

Пушкин писал их параллельно. И в них есть общий конфликт, общая проблема. Проблема бунта.

В «Медном всаднике» речь идет о бунте дворянском.

В «Пугачеве» — о бунте народном.

Понимая истоки того и другого, Пушкин осудил бунт как метод воздействия на русскую жизнь.

Он думал, что осудил навсегда. Но через два года, в страшную пору своей жизни, он еще к этой проблеме вернется…

6

Среди стихотворений 1833 года есть два особенно значимые.

С 1834 года в письмах и стихах Пушкина появляется усталость. Прямые признания в усталости. Мотив побега станет одним из главных в его лирике.

В 1833 году ничего этого еще не было. Но было стихотворение, в котором он с тоской вспоминал о том времени, когда был только поэтом…

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то чтоб разумом моим
Я дорожил; не то чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;

И силен, волен был бы я.
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойти с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут.
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Если внимательно прочитать вторую и третью строфы, то становится совершенно ясно, что речь в них идет вовсе не о клиническом безумии. Пушкин начал стихотворение с мыслью о подлинном безумии. Тому, очевидно, был конкретный повод. Например, судьба безумного Батюшкова. Но далее стихи стали развиваться по-иному.

Эти стихи не о безумии, а о поэте. Поэте, свободном «тайной свободой». Две эти строфы — энциклопедия, свод пушкинских формул, трактующих поведение поэта.

Почти каждая строка здесь имеет соответствие в прежних стихах — начиная с самых ранних.

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!

Еще в 1819 году Пушкин писал:

Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов…

В стихах 1833 года:

И я б заслушивался волн…

Это смысловые реминисценции из стихотворения 1824 года «К морю»:

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас…

И почти полностью две эти строфы совпадают с монологом Поэта из «Разговора книгопродавца с поэтом» 1824 года:

И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались…
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом…

Сравним лексику: «Я пел бы в пламенном бреду» — «И тяжким, пламенным недугом была полна моя глава», «пламенный восторг» (и в том и в другом случае романтическое толкование творчества как «высокого недуга»). Далее: «И я б заслушивался волн» — «моря гул глухой, иль шепот речки»; «вихорь, роющий поля» — «вихорь буйный». В последней строфе стихов 1833 года: «голос яркий соловья», «шум глухой дубров»; в стихах 1824 года: «шум лесов», «иволги напев живой».

А ведь в «Разговоре» — именно декларация романтического поэта.

Такая острая тоска по прошлому впервые появилась в пушкинских стихах 1830-х годов.

Безумие этих стихов — это высокое пророческое безумие, непонятное для окружающих. Такое безумие — это «воля», это «счастье». Но реализация его чревата бедой — «как раз тебя запрут».

Это была тоска по другому варианту его судьбы, от которого он сам отказался. Это была тоска по той «воле», которая была для него равнозначна «счастью»: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»

Он мог не пускаться в политическую деятельность, мог не заниматься профессиональными историческими изысканиями, мог не добиваться политической газеты, не вступать в службу и не искать сближения с царем. Он мог жить частным человеком, уехать в Михайловское или Болдино с молодой женой — «под сень дедовских лесов» и там, свободный «тайною свободой», вести жизнь поэта. Никто бы не мешал ему наезжать в Петербург, но он не был бы связан. Он не был бы поставлен в те жесткие рамки деятеля, историка, политика, в которые он сам себя поставил. Он не был бы поставлен в те жесткие рамки чиновника, человека, несвободного даже в частных своих

поступках, в которые его поставил царь.

Впервые Пушкин усомнился в правильности выбранного им пути.

В творчестве своем он стремительно уходил от романтических представлений. Но он тосковал по независимости только поэта.

В том же 1833 году он в последний раз декларировал *поэтическую свободу* в неоконченном «Езерском»:

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

Это напоминает декларации из «Цыган», его романтической поэмы.

Он давно изменил своим декларациям. Давно перестал быть только поэтом. Для него теперь были условия. Он и Езерского выбрал в герои по условиям своего общего плана — Езерский был «могучих предков правнук бедный», один из тех истинных дворян, на которых надеялся Пушкин.

Он еще не раз заговорит в стихах о свободе. Но это будет другая свобода. Не литературная. Впрочем, и не политическая. «Тайная свобода».

И было написано в 1833 году еще одно стихотворение. Стихотворение, в котором Пушкин подводил итоги своих отношений с литературой и литераторами.

…О вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, марaете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте – наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена – прямым ли вдохновеньем,
Иль необдуманным одним поползновеньем,
И чешется у вас рука по пустякам,

Иль вам не верят в долг, а деньги нужны вам.

Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной

Заняться службою гражданской иль военной,

С хваленым Жуковым табачный торг завесть

И снискивать в труде себе барыш и честь…

Презрение вытесняло в нем все иные чувства.

В апреле 1834 года он писал Погодину:

«Вообще пишу много для себя, а печатаю по неволе и единственно для денег; охота являться перед публикою, которая Вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали Вас в своих журналах только что не по матерну. Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так».

Было время… Он тосковал по двадцатым годам. Давним. До 14 декабря. Литературное поприще опротивело ему. Быть так…

Болдинской осенью 1830 года он подводил итоги своей прежней жизни.

Болдинской осенью 1833 года он подводил ито-

ги первых трех лет своей новой жизни. Итоги были неутешительные.

Он начал понимать, что, делая ставку на Николая, ошибался. И рассказал об этом в «Анджело». Через два месяца его мысль получит страшное подтверждение.

Он начал понимать, что, женившись, отнюдь не создал себе жизни a la Карамзин. У него появились первые сомнения в том, что он может обеспечить семью.

У него впервые появились сомнения в возможности реализовать свои замыслы.

Литературное поприще опротивело ему.

Но как бы то ни было — как поэт и историк — он решил для себя проблему крестьянской революции. Это был первый этап его плана.

Теперь надо было вбить это в сознание русской публики.

А на очереди был следующий этап — радикальные реформы. История Петра Великого, исследование путей и возможностей реформирования страны сверху.

1834

Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения.

Пушкин – жене. 1834

1

Осенью 1833 года, сидя в пустом болдинском доме, Пушкин понял, что, делая ставку на государя, он страшно ошибался.

Он многого не знал. Он, еще недавно рассчитывавший стать конфидентом царя, не знал, что куда бы он ни ехал — за ним вслед путешествовали бумаги такого толка:

«С.-петербургский оберполицмейстер от 20 сент. уведомил меня, что… был учрежден в столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии. Известясь, что он,

Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернию, я долгом считаю о вышесказанном известить Ваше прев-во, покорнейше прося, в случае прибытия его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение о учреждении за ним во время его пребывания в оной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его» — так писал нижегородский военный губернатор оренбургскому.

В 1833 году Пушкин оставался в глазах правительства человеком подозрительным, готовым на государственное преступление.

Он этого не знал. Но понимал уже в то время достаточно.

29 ноября он записал в дневнике:

«Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: 1) Выбор Сухозанета, человека запятнанного, вышедшего в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока ⟨…⟩ Государь видел в нем только изувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов. 2) Дамские мундиры. 3) Выдача гвардейского офицера фон-Бринкена курляндскому дворянству. Бринкен пойман в воровстве; государь не при-

казал его судить по законам, а отдал его на суд курляндскому дворянству. Это зачем? К чему такое своенравное различие между дворянином псковским и курляндским; между гвардейским офицером и другим чиновником? Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство? …Конечно, со стороны государя есть что-то рыцарское, но государь не рыцарь…»

Столь резко он никогда еще не писал о царе. Эта запись — переломная. Это — начало внутреннего разрыва с Николаем, крушение одной из основ его великого плана.

Каждое из трех обвинений имеет свой смысл.

Назначение Сухозанета, человека жестокого и нечистоплотного, главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов отдавало в его руки воспитание молодого офицерства. А мы знаем, какое значение Пушкин придавал воспитанию дворян.

Определение придворным дамам единообразной формы было проявлением заурядного самодурства.

Вмешательство царя в процесс судопроизводства доказывало отсутствие в стране законности.

Николай в 1833 году как будто задался целью

опровергнуть надежды Пушкина.

14 декабря Пушкин записал в дневнике:

«11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день. Я приехал. Мне возвращен *Медный Всадник* с замечаниями государя».

Принять требования дворцовых цензоров поэт не мог. Он отказался от публикации поэмы. Такого удара он не ожидал.

Напечатанный в одно время с «Анджело», «Медный всадник» должен был много сказать публике. И этот урон был важнее денежного.

Но события шли по восходящей.

30 декабря 1833 года Пушкин был пожалован в камер-юнкеры двора его величества.

Не надо считать Николая глупцом, действовавшим исключительно по прихотям. Он бывал очень точен в своих действиях. Претензии Пушкина на роль руководителя общественного мнения были для него неприемлемы. Одним движением он все ставил на место. Камер-юнкер не мог быть духовным вождем России.

Пушкин прекрасно понял эту сторону назначения. Перед Россией, которой он собирался представить свой чертеж прошлого и будущего — три последних года были подготовкой, — перед

Россией, которой он собирался объяснить ее историю, ее заблуждения, перед этой Россией он явился теперь в смехотворном виде камер-юнкера.

Автор «Истории Пугачева» и камер-юнкер — положения несовместимые. И он прямо сказал об этом своему старому приятелю Вульфу.

В той сложной игре, которую они с 1826 года вели с Николаем, царь начисто переигрывал его.

Это было страшно. И страшно в нескольких отношениях.

Проницательный современник Н. М. Смирнов, хорошо знавший Пушкина, вспоминал в «Памятных заметках»:

«Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание, точно, было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно дано было, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своей славой, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен…»

Николай знал, что делал.

Дневник, 1 января 1834 года:

«Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau».

Этот факт становился в длинную линию полусобытий-полунамеков: Наталья Николаевна и царь. Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, волочится за его женой.

Данжо был мелким придворным Людовика XIV. Король выдал за него замуж одну из придворных дам, за которой сам ухаживал. Положение Данжо оказалось двусмысленным. Он стал предметом насмешек. При этом он оставил мемуары о придворной жизни.

Быть мелким придворным, мужем женщины, которой интересуется царь, — эта мысль приводила Пушкина в бешенство. Тон его фразы угрожающий — «русский Данжо» оставит не столь безобидные записки, как французский.

Он начал приводить свой замысел в исполнение сразу же. Вслед за записью о своем пожаловании он рассказывает о безумной ревности флигель-адъютанта Безобразова, женившегося перед тем на фрейлине, княжне Хилковой.

Следующая запись о камер-юнкерстве — опять-таки рядом с записью о Безобразовых. Одна комментировала другую.

Молодой Безобразов, человек решительный и вспыльчивый, женившись на фрейлине, узнал, что она была любовницей императора. А узнав, повел себя настолько бурно, что царь арестовал его и выслал на Кавказ.

Пушкин упорно ставил эту историю рядом со своим камер-юнкерством.

Таких тяжких дней еще не бывало в его жизни. Но, как он сам говорил, его не так легко было с ног свалить.

С декабря 1833-го по апрель 1834 года он писал статью о Радищеве.

После пожалования в камер-юнкеры Пушкин сказал Вульфу, что возвращается к оппозиции. Но он думал об этом и раньше. «Анджело» тому свидетельство. Он перешел в оппозицию не в январе 1834-го, а осенью 1833-го. И тут ему естественно было вспомнить Радищева.

2

Он все эти годы искал опоры — в истории, в людях, в литературе. Все, на что, казалось ему, можно опереться, привлекало его внимание.

И люди, и книги. В Радищеве он чувствовал что-то близкое себе.

Конечно, они расходились во многом. Радикализм Радищева, наэлектризованный Великой революцией, был ему чужд. Но оба они ощущали пугающую близость тупика, в который шла Россия. Оба понимали, какую роль может сыграть в будущем России крестьянский бунт. Они по-разному относились к бунту, по-разному оценивали его перспективы. Для Радищева времени «Путешествия» крестьянский бунт был страшным, но разрубающим узел событием. Для Пушкина он был заблуждением, еще туже затягивающим роковой узел.

Их роднило то, что оба они мучительно над этим думали. Но для Радищева это была последняя черта мысли. А для Пушкина — только первый этап чертежа.

К началу декабря 1833 года, когда была начата статья, Пушкин уже решил для себя проблему мятежа. И решил ее отрицательно. Он собирался идти дальше. Но судьба Радищева была понятна ему. Титаническое предприятие Радищева, возмечтавшего одной книгой открыть России глаза на ее судьбу, было сродни его собственному предприятию. Он не мог не восхищаться решимостью

этого человека.

Возвращаясь к оппозиции, Пушкин видел единственную в русской истории аналогию своей судьбе — судьбу автора «Путешествия». Он решил воспользоваться мятежной книгой, чтобы еще раз — теперь уже в печати — высказать свои мысли о дворянстве и народе.

Его возвращение в оппозицию означало конец его упований на Николая. Но не означало отказа от главных идей.

«Я начал записки свои не для того, чтоб льстить властям, товарищ, избранный мной, худой внушитель ласкательства, но не могу не заметить, что со времен возведения на престол Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму» — так говорил он в статье о Радищеве.

Отказ от надежд на царя неминуемо означал

обращение их на общество. Для воздействия на общество необходима была газета. Ветер возвращался на круги своя. Издавать газету, набитую вздором или краткими известиями о политических событиях, он не собирался. Печатать дельные политические статьи было — мягко говоря — крайне сложно. Нужно было изобретать некий жанр, который дал бы возможность говорить и печатать. «Путешествие из Москвы в Петербург» было опытом такого жанра.

Мысль, что правительство в России последние столетия — единственная сила, способная провести необходимые реформы, укрепилась в нем сразу после 14 декабря, и он от нее не отступал. Но он прекрасно видел, что реформаторский порыв Николая иссяк. Правительство не понимало, как опасна попытка законсервировать Россию. И он указывал правительству на источник его силы. И совершенно ясно предупредил о том, что может произойти, если этот источник забыть. «Бурбоны были выгнаны вилами и каменьями», потому что не хотели быть впереди народа в деле реформ.

Самые важные, по его мнению, для России мысли он вкрапливает в обширные описания, рассуждения, цитаты.

Он, например, не просто сравнивает Москву и

Петербург. Петербург — это результат «революции Петра», средоточие бюрократов-наемников, паладинов «дряблого деспотизма». Москва — последний оплот старого дворянства. То, что говорится о Москве, имеет отношение ко всей небюрократической России[1].

«Упадок Москвы есть явление важное, достойное исследования: обеднение Москвы есть доказательство обеднения русского дворянства, происшедшее от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о коих поговорим в другом месте. Так что правнук богача делается бедняком потому только, что дед его имел четверо сыновей, а отец его столько же. Он уже не может жить в этом огромном доме, который не в состоянии он освещать, даже и отапливать. Он продает его в казну или отдает за бесценок старым заимодавцам и едет в свою деревушку, заложенную и перезаложенную, где живет в скуке и в нужде, мало заботясь о судьбе детей, которых на досуге рожает ему жена и которые будут совершенно нищими.

Но улучшается ли от сего состояние крестьян? Крепостной мелкопоместного владельца терпит

---

[1] Notes: 1

Глава о Москве была написана Пушкиным в январе 1835 года, но мысли, изложенные в ней, сформировались уже к 1834 году.

более притеснений и несет более повинностей, нежели крестьянин богатого барина.

Но, говорят некоторые, раздробление имений способствует к освобождению крестьян. Помещики, не получая достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в Опекунский совет и, разорив их, приходят в невозможность платить проценты, имение тогда поступает в ведомство правительства, которое может их обратить в вольные хлебопашцы или экономические крестьяне. Расчет ошибочный. Помещик, пришедший в крайность, поспешает продать своих крестьян, на что всегда найдет охотников, а долг дворянства связывает руки правительству и не допускает его освободить крестьян, ибо в таком случае дворянство почтет свой долг угашенным уничтожением залога».

В 1834 году, как и в 1831-м, Пушкина занимали процессы, происходящие с дворянством. Его занимала возможность освобождения крестьян. Он думал об этих важнейших предметах с постоянством и тщательностью человека государственного.

«Путешествие из Москвы в Петербург» было статьей о Радищеве и не было статьей о Радищеве. Радищев как повод явился из положения

психологического. Разговоры о Радищеве были камуфляжем опасным и потому не выглядели камуфляжем. Разговоры о Радищеве давали возможность естественным образом перейти к тому, что у них было общего *тематически.* Содержание статьи говорит о стойкости его позиции. Имя Радищева говорит о новом взгляде на свою судьбу.

В то же время конспектировал он книгу уцелевшего декабриста Михайлы Орлова «О государственном кредите». Орлов был сторонником майоратов, то есть противником «раздробления имений».

После «Путешествия» он начал статью «О ничтожестве литературы русской».

«Если русская словесность представляет мало произведений, достойных наблюдения критики литературной, то она сама по себе (как и всякое другое явление в истории человечества) должна обратить на себя внимание добросовестных исследователей истины».

Он считал себя добросовестным исследователем истины. Он мог теперь смотреть на русскую литературу со стороны. Он был историком. И статья была скорее исторической, чем литературной. Он рассматривал литературу как явление жизни общественной. Он дал богатый смыслом

очерк русской истории, породившей новую литературу, дал обширный очерк истории процессов европейских, приведших к явлению Вольтера и его соратников. Статья тут и оборвалась. Но ясно, что ничтожество литературы русской, по мнению Пушкина, определялось ее общественным бессилием, в противовес общественной мощи французской литературы века Просвещения.

В 1833 году он в стихах высказал свое презрение к тому «вшивому рынку», в который превратилась русская словесность. В 1834 году он собирался как мыслитель объяснить причины этого превращения.

3

6 декабря 1833 года Пушкин писал Бенкендорфу:

«Хотя я как можно реже старался пользоваться драгоценным мне дозволением утруждать внимание государя императора, но ныне осмеливаюсь просить на то высочайшего соизволения: я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко времени Пугачева, но нашел множество материалов, я оставил вымысел и написал *Историю Пугачевщины*. Осмеливаюсь просить через Ваше сиятельство дозволения

представить оную на высочайшее рассмотрение. Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для его величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных».

Трудно отгадать, почему Николай пропустил «Пугачева». Быть может, как считают некоторые исследователи, он хотел напомнить о великом мятеже русским дворянам — тем самым безграмотным барам, которые не одобряли даже робких разговоров о реформах. А может, он был уверен, что имеет дело с бездумной фактографией, а вчитываться и вдумываться ему было недосуг. Как бы то ни было, царь сделал очень незначительные замечания и 31 декабря 1833 года разрешил книгу напечатать.

Разрешение, как видим, совпало с пожалованием в камер-юнкеры. И казалось, должно было нейтрализовать в сознании Пушкина — хотя бы отчасти — эту дальновидную акцию государя. Этого, однако, не произошло. Наоборот, легкость и равнодушие, с какими царь пропустил книгу, свидетельствовали, что важнейшие идеи, в ней высказанные, были им просто-напросто не замечены.

Равнодушие царя только усугубляло для Пушкина горькое сознание своей ошибки.

Тем необходимее было скорее напечатать «Историю» — представить ее обществу. Издание первого его исторического труда должно было многое определить. Оно должно было определить отношение публики к его исторической проповеди. Оно должно было определить его материальные перспективы — сможет он зарабатывать на жизнь историческими трудами или нет. Денежные надежды на «Пугачева» он возлагал большие.

В начале февраля 1834 года — Бенкендорфу:

«Разрешая напечатание этого труда, его величество обеспечил мое благосостояние. Сумма, которую я могу за него выручить, даст мне возможность принять наследство, от которого я вынужден был отказаться за отсутствием сорока тысяч рублей, недоставивших мне. Этот труд мне их доставит, если я сам буду его издателем, не прибегая к услугам книгопродавца. 15 000 было бы мне достаточно.

У меня две просьбы: первая — чтобы мне разрешили отпечатать мое сочинение за мой счет в той типографии, которая подведомственна г-ну Сперанскому, — единственной, где, я уверен, ме-

ня не обманут; вторая — получить в виде займа на два года 15 000 — сумму, которая даст мне возможность посвятить изданию все необходимое время и старание».

Видит бог, как не хотелось ему просить деньги у Николая после всего происшедшего. Но другого выхода не существовало. «Пугачева» необходимо было напечатать. Причем напечатать с максимальной выгодой. Для этого нужны были деньги. Деньги мог дать только царь. Возможности крупных частных кредитов Пушкин к тому времени уже исчерпал.

Николай распорядился выдать 20 000 рублей и разрешил печатание в государственной типографии. Об увеличении суммы, очевидно, просил сам Пушкин в личном разговоре с Бенкендорфом.

Внешне отношения между царем и камер-юнкером Пушкиным снова наладились.

4

Он недаром думал о сорока тысячах, которые позволят ему принять наследство — расстроенное и обремененное долгами имение покойного дядюшки Василия Львовича. Жизнь — самая что ни на есть низменная, практическая жизнь — терзала его.

Он жаловался Нащокину в марте 1834 года:

«Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю: На днях отец посылает за мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать — в постеле — весь дом в ужасном беспокойстве. Что такое? имение описывают. — Надо скорее заплатить долг. — Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя. — О чем же горе? — Жить нечем до октября. — Поезжайте в деревню. — Не с чем. — Что делать? Надобно взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва…»

Он взял на себя управление отцовским имением. Это требовало времени, нервов и денег.

Сформировавшееся и окрепшее в нем нравственное чувство вело его по пути человеческой заботы о малом и большом — от отцовского имения до России.

3 мая он занял у своего давнего знакомого полковника Энгельгардта 1330 рублей под вексель. 26 мая выдал книгопродавцу Лисенкову вексель еще на 4000 рублей. Это уже после получения ссуды в 20 000.

Жизнь терзала его. Однако надо было двигаться дальше. Надо было всерьез приниматься за

«Историю Петра». Надо было решать, как он будет жить. Как и где.

В марте Пушкин записал в дневник без всякой связи с предыдущим:

«13 июля 1826 года — в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. — В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец — собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр… подняла платок в память исторического дня».

13 июля 1826 года Николай повесил пятерых декабристов.

«Фр…» — фрейлина, которая подняла платок, была Россет. Она и рассказала Пушкину эту сцену.

Почему он вспомнил в эти мартовские дни 1834 года — после камер-юнкерства, после равнодушного снисхождения к «Пугачеву», после равнодушного благодеяния — 20 000, — почему вспомнил он июльский день 1826 года?

Очевидно, длительный — с осени 1833 года — процесс внутреннего разрыва с Николаем теперь завершался.

К 1831 году он выработал ясное представление — каким должен быть царь.

Когда Николай отправился в Новгород, чтобы лично принимать участие в усмирении мятежа поселян, Пушкин писал:

«Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем».

Кроме мысли о царе как о символическом олицетворении власти, тут угадывается еще одна — куда более опасная: государством должны управлять люди, специально для этого предназначенные. Царь должен олицетворять… Мысль об ограничении самодержавия жила в нем всегда.

Прошло четыре года. И все эти годы царь делал не то и вел себя не так, как того желал бы Пушкин. Он не оправдывал надежд ни в чем.

Единственным оправданием вмешательства

царя в практическое управление был пример Петра. Но в этом случае необходим был петровский масштаб. С самого начала их отношений Пушкин пытался этот масштаб в Николае увидеть. Но масштаба этого не было. А обманывать себя Пушкин не считал возможным. Осенью 1834 года он подвел жестокий итог своим отношениям с царем в «Золотом петушке».

А пока что он восстанавливал истину в дневнике — для себя и для истории.

По отношению к Николаю дневник — без всякого преувеличения — документ издевательский. И не только по отношению к Николаю.

Вот Пушкин записывает известие, что царь, вмешавшись в судопроизводство, отдал провороваввшегося офицера Бринкена на суд курляндскому дворянству. Здесь явное неодобрение. Но через некоторое время другая запись:

«Лифляндское[2] дворянство отказалось судить Бринкена, потому что он воспитывался в корпусе в Петербурге. Вот тебе шиш, и поделом».

Тут уже прямое издевательство. «Вот тебе шиш» — обращенное к царю — свидетельствует прежде всего о потере уважения.

---

[2] Notes: 2
Описка Пушкина.

«Государь посадил наследника под арест на дворцовую обвахту за то, что он проскакал галопом вместо рыси».

«Кто-то сказал о государе: в нем много от прапорщика и мало от Петра Великого».

«Государь не хотел принять Каннинга ⟨…⟩ потому, что, будучи великим князем, имел с ним какую-то неприятность».

Замечательные дипломатические принципы.

«Царь однажды пошел за кулисы и на сцене разговаривал с московск. актрисами; это еще больше не понравилось публике».

Есть и более развернутые записи:

«В воскресенье на бале в концертной государь долго со мной разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения».

Единственное, что осталось в памяти от разговора с государем, — то, что он не коверкает язык своей страны. И на том спасибо.

Если вспомнить записи первых страниц, о которых уже шла речь, то император, изобретатель дамских мундиров, соблазнитель молоденьких фрейлин, любитель бесед за кулисами, делающий важные международные шаги, исходя из

личных симпатий и антипатий, назначающий в воспитатели юношества нечистых людей, — и в самом деле оправдывает центральную характеристику — «много от прапорщика и мало от Петра Великого». И прапорщик-то не из лучших.

Короткие бесстрастные записи представляют в анекдотическом виде и двор великой державы. И едкие записи о Екатерине и Александре вкраплены в текущие заметки.

Он выполнил свою угрозу — «русский Данжо» не был похож на французского. Он знал, что пишет для истории.

И есть в дневнике еще одна запись, по горечи и ярости превосходящая все остальные:

«10 мая. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. По-

лиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча тоже его не понял. К счастию, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стащится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным».

Вот после этого он и написал жене:

«Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство a la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя…»

Он надеялся, что полиция, читающая его письма, доведет до сведения государя и этот пассаж.

В марте 1834 года вспомнил о казни декабристов потому, что Николай стал ему окончательно

ясен. *Такому царю не за что было прощать палачество.*

Все последующие записи этот вывод подтверждают.

Вскрытое и прочитанное царем письмо, обличающее его, царя, безнравственность, замыкало этот восьмилетний круг — от года 1826-го до 1834-го.

Иллюзии кончились. Незачем было думать о личном сближении, о воздействии — каком бы то ни было — *на такого царя.*

Надо было идти в отставку.

5

Надо было идти в отставку.

Надо было увезти Наталью Николаевну подальше от лестного внимания государя. Надо было сократить расходы. «Пугачев» должен был принести деньги. Тогда следовало отдать наиболее срочные долги и с легким сердцем писать «Петра».

Надо было ехать в деревню.

Единственное, что необходимо было выговорить себе при отставке, — это право приезжать в архивы. Архивная работа для «Истории Петра» предстояла еще огромная.

Он не предвидел особых затруднений. В душе он считал себя свободным от обязательств перед прапорщиком, который прикидывался великим государем. Он не думал, что после взаимных неудовольствий Николай станет его удерживать.

Это было освобождение необходимое. Ибо он понимал — сделать то, что он призван был сделать, стать тем, кем он должен был стать для России, — он мог, только сохранив свое достоинство в глазах общества. В том положении, в которое его остроумно поставил император, он рисковал потерять не только литературную популярность.

Мысль эта нарастала в нем.

18 мая он писал жене:

«Дай бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно когда лет 20 человек был независим».

Около 29 мая:

«Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?»

8 июня:

«Я не должен был вступать в службу и, что еще

хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога».

Дело было уже не в обидах на Николая, которые казались слишком мелким чувством по сравнению с возможностью главной потери. Потери общественного уважения.

11 июня:

«На *того* я перестал сердиться, потому что (out reflexion faite) не он виноват в свинстве его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к ⟨…⟩ и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух».

Положим, Николай немало был виноват в свинстве, его окружавшем. Но фраза эта — не только попытка оправдать царя. В ней — отчетливое понимание логики событий. Дело не в личных качествах или желаниях Николая.

В мрачные июньские дни 1834 года Пушкин осознал, что все эти годы, думая, будто он под-

держивает благие намерения правительства, он — на самом деле — находился в состоянии борьбы с правительством. Ибо правительство вовсе не хотело, чтобы его толкали в ту сторону, в которую пытался толкать его Пушкин. Борьба эта была подспудная и часто бессознательная. Но она была. И теперь она стала явной.

Не надо думать, что презрительное и подозрительное отношение к Пушкину ослепляло императора. Нет. Он ясно понимал, что в его внутриполитической игре Пушкин — фигура весьма существенная. Он мог не ценить его стихов. Но не мог не знать, что Пушкин, безусловно, признан русской публикой гениальным русским поэтом, первым русским поэтом. Об этом писал даже Булгарин. Несмотря на резкий упадок популярности в тридцатые годы, несмотря на частые разговоры об истощении пушкинского таланта, традиция отношения к Пушкину как к гордости литературы отечественной была жива и неизбежно учитывалась Николаем.

Разве случайно оба момента наибольшего сближения Пушкина и царя приходятся на периоды, наиболее для Николая трудные? Первый — в 1826 году, когда после казни декабристов Николаю нужно было как-то расположить в

свою пользу общественное мнение. Второй — в 1831 году, когда перед царем довольно явственно предстал призрак внешне— и внутриполитической катастрофы.

Николай был политик вполне утилитарного толка. В тяжком для него 1831 году таким человеком, как Пушкин, пренебрегать было нельзя. В 1834 году, когда Николай почувствовал себя прочно, он мог себе позволить относиться к Пушкину как хотел.

И он вполне выразил свое отношение пожалованием в камер-юнкеры, мелочными придирками и откровенным ухаживанием за Натальей Николаевной.

Пушкин как союзник уже не был ему нужен.

Пушкин должен был принять то положение, которое ему предлагалось, — положение мелкого чиновника, состоящего при российской истории, — и перестать претендовать на роль историографа-мыслителя, советчика государя. В противном случае его нужно было сломать.

Появление между Пушкиным и Бенкендорфом Мордвинова было предупреждением. Камер-юнкерство — решительным шагом.

Пушкин понял это:

«Теперь они смотрят на меня как на холопа».

Надо было спасать свое будущее и будущее своей миссии. Надо было идти в отставку.

25 июня 1834 года он написал Бенкендорфу письмо, по своей ледяной стилистике и краткости напоминавшее картель:

«Граф. Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу Ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение.

В качестве последней милости я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы, которое соизволил мне даровать Его величество, не было взято обратно».

«В качестве последней милости». Он давал понять, что больше не нуждается в милостях, не претендует на будущие милости. Он хотел быть сам по себе.

Он перед тем внутренне готовился к перемене жизни:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

И прозаический план дальнейших строф:

«Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу, — тогда удались он *домой.*

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Да, это был выход. Это был путь отступления. Почетного отступления. Никто бы не упрекнул его.

Но он не закончил стихотворения. Ибо программа эта его не устраивала. Ему нужны были архивы. «Труды поэтические» — этого было мало.

30 июня Бенкендорф ответил Пушкину:

«Письмо Ваше ко мне от 25-го сего июня было мною представлено государю императору

в подлиннике, и его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении Вашей просьбы, что и будет мною исполнено.

Затем на просьбу Вашу, о предоставлении Вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлечения справок, государь император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно лицам, пользующимся особенною доверенностью начальства».

Уходя в отставку, он, стало быть, терял доверие. Это была опала.

Ему запрещали пользоваться архивами. Это значило, что он не сможет писать «Историю Петра». Это значило, что исторические занятия — важнейшие для него — станут невозможны. Это значило, что он не сможет делать то дело, к которому призван своим долгом.

Таким образом, терялся высокий смысл отставки и оставался только бытовой. Тот простой смысл — семейные и денежные дела, — о котором он писал и Бенкендорфу, а затем и жене. Он никому не писал о страхе потерять общественное уважение и духовную независимость (один раз

это прорвалось в словах: «они смотрят на меня как на холопа»). Он говорил об этом в доверительной беседе с Россет и ее мужем Смирновым. Так же как свои подлинные планы относительно газеты, о которых нет ни слова в его письмах, изложил он в разговоре с Мухановым.

Но раз оставался только бытовой смысл, простой смысл, то в действие вступали и другие мотивы, которые на этом уровне были серьезны. Раз он не сможет заниматься историческими трудами, стало быть, ему останется только литература. Но когда цензура узнает, что он в опале, она ополчится на него пуще, чем прежде. Защиты не будет ниоткуда. Доносы возобновятся с новой силой. И остановить их действие будет некому. Булгарин восторжествует.

Все оборачивалось не так, как он рассчитывал. Он заколебался.

И тут вмешался Жуковский, совершенно ошеломленный поступком Пушкина, полный заботы о друге.

2 июля. Жуковский — Пушкину:

«Государь опять говорил со мною о тебе. Если бы я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы ему объяснил все, но так как я и сам не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость,

то мне и ему нечего было отвечать. Я только спросил: *нельзя ли как этого поправить?* — Почему ж нельзя? отвечал он. Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое. — Это меня истинно трогает. А ты делай как разумеешь. Я бы на твоем месте ни минуты не усумнился как поступить. Спешу только уведомить о случившемся».

И здесь, как и в 1831 году, не следует преувеличивать влияние Жуковского. Пушкин ценил нежную дружбу Василия Андреевича и его постоянное желание, чтоб всем было хорошо. Но он видел то, чего не видел Жуковский, — катастрофичность своего положения.

Письмо Жуковского от 2 июля еще раз подтвердило, что царь по каким-то своим соображениям не желает пушкинской отставки и в случае упрямства Пушкина будет мстить.

3 июля. Пушкин написал Бенкендорфу:

«Граф. Несколько дней назад я имел честь обратиться к Вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу Вас, граф, не давать хода моему прошению. Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодар-

ным. Со всем тем отпуск на несколько месяцев был бы мне необходим».

Он часто так делал в подобных случаях — выдвигал мотивировку, наиболее понятную адресату. На самом же деле — как видно из дальнейшей переписки — он вовсе не считал себя неблагодарным.

3 июля — в то время, как Пушкин писал Бенкендорфу, — Жуковский писал Пушкину из Царского Села:

«Вчера я писал к тебе с Блудовым наскоро и, кажется, не ясно сказал то, чего мне от тебя хочется. А ты ведь человек глупый, теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но еще и поведения непристойного: как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому — не понимаю! Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! Вот что я бы теперь на твоем месте сделал (ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули к нему мое сердце): я написал бы к нему прямо, со всем прямодушием, какое у меня только есть, письмо, в котором бы *обвинил* себя за сделанную глупость, потом так же прямо объяснил то, что могло заставить меня сделать эту глупость, и все это сказал бы с

тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает».

Затем он снова повторял свой разговор с Николаем и заканчивал свои увещевания так:

«Я никак не воображал, чтобы была еще возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека; без галиматьи, поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое и друзей своих неодобрение».

Бедный Жуковский требовал невозможного. Пушкин не мог «прямо объяснить», что заставило его подать прошение. «Прямое объяснение» было чревато куда более тяжкими последствиями. Пушкин не мог прямо сказать Николаю, что он хочет сохранить свою репутацию, свою независимость, свое право на оппозицию, наконец. Он мог только повторять формулу нежелания показаться неблагодарным. 4 июля он ответил Жуковскому:

«Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку ⟨…⟩ Но вслед за тем получил официальное

извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архив будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима. Изъяснять все это графу Бенкендорфу мне недостало духа — от этого и письмо мое должно было показаться сухо, а оно просто глупо».

Он охотно принял версию Жуковского, что все происшедшее «просто глупо». В том же письме он растолковал ему, что не может писать прямо Николаю. Объяснить свой поступок одной глупостью было как-то странно. Надо было прибегать к объяснениям материальным — к невозможности с его средствами жить в столице. Это и на самом деле было моментом важным. Но тогда объяснение стало бы похоже на выклянчивание денег. Он этого не хотел.

Конечно, вся мучительность положения была в том, что он не мог написать правду ни Бенкендорфу, ни царю.

4 июля. Пушкин — Бенкендорфу:

«Письмо Вашего сиятельства от 30 июня удостоился я получить вчера вечером. Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное

от меня неприятными обстоятельствами и досадными, мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но, во всяком случае, ничто не изменит чувства глубокой преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние его милости».

Смысл письма был ясен — я не хотел никого оскорблять, но раз мое прошение принято за сопротивление высочайшей воле, то я подчиняюсь любому решению, удовлетворяющему государя.

6 июля. Жуковский — Пушкину:

«Я, право, не понимаю, что с тобой сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Бенкендорф прислал мне твои письма, и первое и последнее. В первом есть кое-что живое, но его нельзя употребить в дело, ибо в нем не пишешь ничего о том, хочешь ли остаться в службе или нет; последнее, в коем просишь, чтоб все осталось по-старому, так сухо, что оно может показаться государю новой неприличностью. Разве ты разучился писать; разве считаешь ниже себя вы-

разить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью! Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что ж тут думать! Напиши то, что скажет сердце. А тут, право, есть о чем ему поразговориться. И, не прося ничего, можешь объяснить необходимость отставки; но более всего должен столкнуть с себя упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое, что непременно должно быть у тебя в сердце к государю».

Возможно, именно Николай через Бенкендорфа внушал Жуковскому это требование «разговорчивости». Их не удовлетворяли короткие деловые письма Пушкина. Точно оценив ситуацию, они явно решили использовать ее до конца. Заставить Пушкина связать себя такими обещаниями, чтобы попытки дальнейших бунтов были для него исключены. Они хотели провести его через новое унижение. Они хотели его сломать.

Пушкин был в том, характерном для него в последующие годы состоянии, когда бешенство сочеталось с отчаянием. В тот же день — 6 июля — он отвечал Жуковскому:

«Я, право, сам не понимаю, что со мной делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление? какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо; да в чем? К Бенкендорфу я являюсь и объясню ему, что у меня на сердце, — но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье».

6 июля. Пушкин — Бенкендорфу:

«Граф. Позвольте мне говорить с Вами вполне откровенно. Подавая в отставку, я думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных. Я имел в виду лишь неудобство быть вынужденным предпринимать частые поездки, находясь в то же время на службе. Богом и душой моей клянусь, — это была моя единственная мысль; с глубокой печалью вижу, как ужасно она была

истолкована. Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему. И в эту минуту не мысль потерять всемогущего покровителя вызывает во мне печаль, но боязнь оставить в его душе впечатление, которое, к счастью, мною не заслужено».

После предыдущего письма к Жуковскому совершенно ясно, что все это — декламация. Он чувствовал себя правым.

Скорее всего, его письмо разочаровало Николая и Бенкендорфа. Пушкин взбунтовался и не принес того полного и самоуничижающего покаяния, которого от него требовали.

И Пушкин, и его высокие противники понимали, что это только начало. Начало нового периода их отношений.

Денег между тем не было. «Пугачев» — большая надежда — был впереди. Хлопоты по имению терзали Пушкина. Лев Сергеевич входил в долги,

которые приходилось платить ему, старшему брату. Но надо было делать свое дело.

3 июля — в самый разгар истории с отставкой — он писал своему лицейскому однокашнику Михаилу Яковлеву, заведовавшему типографией, официальное отношение:

«Вследствие данного Вам начальством поручения касательно напечатания рукописи моей, под названием *История Пугачевского бунта*, и по личному моему с Вами в том объяснению, поспешаю Вас уведомить:

1-е. Желаю я, чтоб означенная рукопись была напечатана в 8-ую долю листа, такого же формата, как Свод Законов.

2-е. Число экземпляров полагаю я 3000…»

5 июля, перед тем как решилось дело об отставке, он написал Яковлеву:

«Вот тебе, мой благодетель, первая глава — с Богом».

Он сказал когда-то:

«Появление *Истории государства Российского* (как и надлежало быть) наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экз. разошлись в один месяц…»

Теперь свое первое историческое сочинение он выпускал тем же тиражом.

Если помнить, что «Полтава» вышла тиражом 1200 экз., «Цыганы» в период наибольшей пушкинской славы — тиражом 1200 экз., «Повести Белкина» — 1200 экз., то 3000 экз. «Пугачева» оказываются очень знаменательными. Это единственный такой тираж у Пушкина.

Появление книги должно было решить многое.

6

Но как он устал за эти четыре года. И как ему хотелось паузы, хоть недолгой остановки в этом все убыстряющемся, выматывающем душу движении.

С 1834 года он стал с некоторым ужасом замечать, что его исторические планы направляют его жизнь. Даже против его желания.

Мог он выйти в отставку? Да, конечно же мог. Мог он прокормить семью, живя в деревне? Разумеется. Его теснила бы цензура? Но переизданиями он в состоянии был заработать на отдачу срочных долгов. Переиздания бы ему никто не запретил. «Пугачев» должен был принести деньги. Русская словесность, беззащитная перед Булгариным? Да черт с ним, с этим «вшивым рынком»!

Стало быть, все дело в трудах исторических?

Стало быть — так.

Дело было уже не только в злой воле Николая. Дело было в нем самом — Пушкине. В его планах. В его роковом чувстве долга.

Надежды на отдых, на паузу, хоть недолгую остановку все время возникали в нем. Он писал в 1834 году:

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолго ли?.. а кажется, прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений…

И бросил. Оборвал стихотворение. Потому что тоска по высокому покою, небесной лазури, отраженной в каждом часе жизни, — тоска эта не имела выхода. Он должен был делать свое дело.

Он вернулся к «Истории Петра». Интенсивность занятий его нарастала.

Начало апреля 1834 года. Погодину:

«К Петру приступаю со страхом и трепетом…»

Конец мая. Наталье Николаевне:

«Ты спрашиваешь меня о Петре? идет по-

маленьку; скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник…»

11 июня. Наталье Николаевне:

«Петр 1-ый идет; того и гляди напечатаю 1-ый том к зиме».

Надежд на Николая не было. Свое новое отношение к императору он закрепил осенью 1834 года «Сказкой о золотом петушке» — горькой историей мудреца, который помогал царю спасать государство.

Надежда была только на общество.

Надо было выпускать «Пугачева». Надо было писать «Петра». Надо было издавать газету.

Его не так-то легко было с ног свалить.

1835

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье!

Пушкин. 1835

1

«Пугачев» вышел в конце 1834 года. 23 ноября Пушкин писал Бенкендорфу:

«История Пугачевского бунта отпечатана, и для выпуска оной в свет ожидал я разрешения Вашего сиятельства; между тем позвольте обеспокоить Вас еще одною покорнейшею просьбою: я желал бы иметь счастие представить первый экземпляр книги государю императору, присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для Его величества».

Но все было не так просто.

17 декабря он снова адресовался к шефу жандармов:

«Я в отчаянии от необходимости вновь докучать Вашему сиятельству, но г. Сперанский только что сообщил мне, что так как *История Пугачевского бунта* отпечатана в его отделении по повелению Его величества государя императора, то ему невозможно выдать издание *без высочайшего на то соизволения.* Умоляю Вас, Ваше сиятельство, извинить меня и устранить это затруднение».

До публики книга дошла в самом конце 1834 — начале 1835 года. И *не имела ни малейшего успеха.*

А. Языков, брат поэта, писал своему знакомому:

«Пушкинскую *Историю Пугачева* я прочел. Она написана весьма небрежно и поверхностно; заметно, что у него было слишком мало материалов и что он историк не дальний».

Несколько позже он писал:

«*Пугачев* Пушкина, кажется, написан для того, чтобы скорее продать заглавие. У нас им очень недовольны…»

Языковых Пушкин считал своими друзьями.

Погодин, историк Погодин, которого Пушкин прочил себе в помощники, записал в дневник:

«Занимательная повесть. Простоты образец; а между тем ругают Пушкина за Пугачева».

В феврале, когда конъюнктура определилась, Пушкин занес в дневник:

«В публике очень бранят моего Пугачева, а еще хуже — не покупают».

Судя по тиражу, каким он выпустил «Историю», он ожидал совершенно иного приема.

Книга была написана прозрачным, четким пушкинским слогом. Строгим и чистым слогом ученого. Никаких прикрас — только существо дела. Это был образец научной прозы.

Его обвиняли в небрежности.

Он предлагал глубокую и чрезвычайно важную для России концепцию крестьянской войны. Его обвиняли в поверхностности.

«Занимательная повесть» — других слов Погодин не нашел.

Барон Розен опубликовал восторженную, но не очень квалифицированную рецензию. Она, однако, не могла изменить общего положения в критике.

Публика требовала от Пушкина другой истории. Истории, «написанной пламенной кистью

Байрона». От него ждали романтических персонажей и захватывающих описаний. А получили тонкое историческое исследование. И были разочарованы. Как выяснилось, публике это было не нужно.

Умный, любящий Пушкина Денис Давыдов еще в 1833 году писал Языкову:

«Кстати о Пушкине: знаете ли, что я слышал от людей, получивших письма из Казани? В Казани были Пушкин и Баратынский, отыскивающие сведения о Пугачеве. Из этого я заключаю, что они в союзе для сочинения какого-нибудь романа, в котором будет действовать Пугачев. Итак, вот решение загадки появления Пушкина в нашей и в Оренбургской губерниях. Если это так, то, дай Бог, авось ли мы увидим что-нибудь близкое к Вальтер Скотту».

Давыдов ошибался относительно союза Пушкина и Баратынского. Они съехались в Казани совершенно случайно. Но он верно уловил другое.

Все ждали от Пушкина сочинения в духе Байрона или Вальтера Скотта, а он написал в своем, пушкинском духе. Так, как только он мог тогда написать. И обманул ожидания.

Пушкин понял это. И в апреле писал Дмит-

риеву:

«Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону».

В январском номере «Сына отечества» появилась рецензия историка Броневского, наполненная теми же упреками в недостаточной художественности и мелкими придирками. Броневский считал, что Пушкин не сказал читателям ничего нового.

Никто не заметил, что они имеют дело с первоклассным для того времени историческим трудом, построенным на материалах, *еще не бывавших в руках историка.*

Глашатай мнений «среднего читателя» — Булгарин — выразил общее недоумение:

«…для меня почти непостижимо, что из такого драматического сюжета, как несчастный Пугачевский бунт, поэт, автор не мог ничего создать, кроме сухой реляции».

Идеологические надежды на «Пугачева» про-

валились.

Материальные — в той же степени.

Он твердо рассчитывал получить от издания до 40 000 рублей прибыли. Получил 4000 убытку.

Из трехтысячного тиража разошлось немногим более тысячи экземпляров. Около двух тысяч так и осталось лежать у него на квартире. В углу.

Ссуда была 20 000. Выручил он около 16 000.

Это была катастрофа.

Во-первых, стало ясно, что исторические книги могут принести ему только убытки. И это делало будущее весьма мрачным.

Во-вторых, к огромным уже долгам прибавилось еще 20 000, возвращать которые было не из чего. Так начался 1835 год.

И этот год стал временем его самых напряженных исторических трудов.

Он не хотел и не мог остановиться.

2

В письме к Бенкендорфу от 23 ноября 1834 года Пушкин упомянул о замечаниях, которые хотел приложить к экземпляру государя. Зачем это ему было нужно? Хотел он просто развлечь Николая любопытными деталями? Вряд ли.

Николай пропустил «Пугачева» легко, с незна-

чительными поправками. Из чего следовало, что он не придал книге серьезного значения. И «замечания» были последней попыткой Пушкина обратить внимание царя на некоторые мысли, усвоить которые императору, с точки зрения Пушкина, не мешало бы.

Он приложил к дарственному экземпляру двадцать «замечаний», среди которых часть была настолько неважных и частных, что назначение их не оставляет сомнений — это был камуфляж. А между этими историческими анекдотами поместилось несколько абзацев не только многозначительных, но и попросту угрожающих.

Некоторые из них говорят о людях, которые усмиряли восстание.

«Чернышев… был некогда камер-лакеем. Он был удален из Петербурга повелением императрицы Елисаветы Петровны. Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями. Старший умер в Петербурге комендантом крепости».

Довольно странное «замечание», если учесть, что Чернышев, о котором идет речь, не имел ни малейшего отношения к пугачевскому бунту. Но смысл в этом пассаже был — и не малый. Ибо брат камер-лакея, осыпанный, как и он, милостя-

ми Екатерины, пытался разбить Пугачева, был обманут хитростью мятежников, взят в плен и повешен. Таковы подвиги этого представителя «нового», екатерининского, дворянства.

Между тем военный министр граф Чернышев, столь любезно предоставивший Пушкину исторические документы, получил графский титул и стремительно пошел вверх после 14 декабря и суда над заговорщиками, деятельным участником которого он был. Граф не состоял в близком родстве с теми Чернышевыми. Но он был таким же выскочкой, поймавшим фортуну во время государственного потрясения, утвердившимся на крови мятежников 1825 года. Так что связь тут была ясная.

Следом за справкой о Чернышевых идет история генерала Кара, тоже неудачного усмирителя.

«Кар был пред сим употреблен в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Кар это доказал) ⟨…⟩ Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел, однако ж, смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостию».

Круг замкнулся — усмиритель Кар был все же убит именно мятежными мужиками. Этот факт

тем более многозначителен, что через два «замечания» Пушкин поставил такое:

«Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. „Грех сказать, — говорила мне 80-летняя казачка, — на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал“. — „Расскажи мне, — говорил я Д. Пьянову, — как Пугачев был у тебя посаженым отцом“. — „Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович“».

Судьба генерала Кара, убитого мужиками уже после подавления мятежа, становилась в прямую связь с народными симпатиями к памяти Пугачева.

И сразу после этой заметки — две о дворянской жестокости.

«И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».

«Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений! Остальных человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши. Многие из сих прощенных должны были быть живы

во время Пугачевского бунта».

Последняя фраза не нуждалась в растолковании.

Очень важное замечание о генералах-«немцах», которые в этот роковой час не выполнили своего долга. Ясное предостережение — кондотьеры ненадежны. Причем здесь нет националистической подоплеки — Пушкин тут же пишет о «немцах» — офицерах в средних чинах, честно делавших свое дело. (Вспомним, что декабристы тоже ратовали против «немцев», имея в своих рядах Сутгофа, Розена, Тизенгаузена, Кюхельбекера, Бриггена.)

И наконец, все суммировалось в «Общих замечаниях»:

«Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны.

Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах.

Множество из сих последних было в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян».

Это звучало устрашающе. Все население страны на стороне мятежников, а дворянство — это очень важно! — против него потому лишь, что выгоды его не совпадают с выгодами мятежников. Но с тех пор значительная часть дворянства потеряла свои имения, своих крепостных, сама превратилась в «страшную стихию мятежей». Стало быть, в случае нового мятежа, который Пушкин в 1834 году предрекал в разговоре с великим князем Михаилом, эта часть дворян может поддержать восстание.

Пушкин такой дворянской позиции не сочувствовал. И сказал об этом в «Капитанской дочке». Но он предлагал смотреть на происходящее трезво. И знаменателен в этом смысле конец «Общих замечаний»:

«Нет зла без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен…» и т. д.

Екатерининское правительство поняло, мол, после крестьянской войны необходимость реформ, а николаевское после 14 декабря, польского восстания и бунта военных поселян такой необходимости не поняло. Хотя здесь Пушкин хитрит —

никаких существенных реформ, облегчающих положение крестьян, Екатериной проведено не было. Ее царство закончилось в ситуации экономического и политического кризиса. Пушкин это знал. Но он преследовал очень определенную цель и ограничивался поучительными фактами. Бунт действительно многое доказал… Были в замечаниях и такие горькие слова:

«Ныне общее мнение если и существует, то уж гораздо равнодушнее, нежели как бывало в старину».

Вряд ли Пушкин, после всего происшедшего, особенно надеялся, что царь возьмет все это в толк.

3

Надо было издавать газету.

В апреле, когда окончательно стал ясен провал «Пугачева», Пушкин написал в черновом письме Бенкендорфу:

«В 1832 году Его величество соизволил разрешить мне быть издателем политической и литературной газеты.

Ремесло это не мое и неприятно мне во многих отношениях, но обстоятельства заставляют меня прибегнуть к средству, без которого я до

сего времени надеялся обойтись. Я проживаю в Петербурге, где благодаря Его величеству могу предаваться занятиям более важным и более отвечающим моему вкусу, но жизнь, которую я здесь веду, вызывает расходы, а дела семьи крайне расстроены, и я оказываюсь в необходимости либо оставить исторические труды, которые стали мне дороги, либо прибегнуть к щедротам государя, на которые я не имею никаких других прав, кроме тех благодеяний, коими он меня уже осыпал.

Газета мне дает возможность жить в Петербурге и выполнять священные обязанности. Итак, я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с „Северной Пчелой“; что же касается статей чисто литературных (как то: пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.), которые не могут найти место в фельетоне, то я хотел бы издавать их особо, один том каждые три месяца, по образцу английских Review».

Письму этому предшествовали поиски сотрудника. Пушкин выбрал князя Владимира Одоевского.

Одоевский представил ему примерный план первого номера приложения к газете. Содержание приложения, которое они решили назвать

«Летописец», было связано, разумеется, с направлением газеты.

«Чтобы начать с какого-нибудь определенного времени, я думаю, Александр Сергеевич, начать обозрение политики, наук и литературы с 3-го десятилетия 19-го века, т. е. с 1830-го года, и потому поместил в *Летописце*: 1-е — Хронологическое обозрение сухое, по годам, политических происшествий с 1830 года; впоследствии мы можем издать его отдельною книжкою, которая могла бы быть приплетена к 1-й части хронологического обозрения происшествий с начала мира; я его составлю, а Погодину пошлем на ценсировку. 2-е — общий взгляд на состояние наук и литературы в последние 4 года в Европе — 1-е, т. е. науки я могу сделать, 2-е — ваше дело. 3-е — общее, но подробное обозрение русских произведений в последние 4 года — это общими силами; хорошо приложить им и краткий каталог. 4-е — особенные статьи о некоторых более достопамятных произведениях, каковы, напр., „Черная женщина“».

Далее — стихотворения, повести и все, что не войдет в вышеупомянутые разряды. Заглавие «Летописца» может быть такое:

«*Современный Летописец Политики, Наук и*

Литературы, содержащий в себе обозрение достопримечательнейших происшествий в России и других государствах Европы, по всем отраслям политической, ученой и эстетической деятельности с начала 3-го (последнего) десятилетия 19-го века».

План этот, безусловно, был результатом их предварительных обсуждений. И прежде всего из него ясно, что разговоры о подобии «Северной пчеле» велись исключительно для успокоения правительства. Литературно-развлекательный характер приложений, который Пушкин обещал Бенкендорфу, совершенно не соответствовал реальным намерениям издателей.

Начать с того, что издатели собирались дать обозрение политических событий с тридцатого года. События эти, как мы знаем, были весьма красноречивы. И систематическое их изложение — само по себе — должно стать уроком. И вообще — задачей своей издатели явно ставили анализ всех важнейших процессов эпохи — политических, научных, литературных.

Пушкин, как видно из письма к Бенкендорфу, сузил задачу газеты в том направлении, которое было для него основным. Все материалы «чисто литературные» он перенес в приложение. Газета

должна была трактовать исторические и политические проблемы.

Письмо шефу жандармов, однако, осталось неотправленным.

16 апреля они встретились, и просьбу свою Пушкин изложил устно.

Бенкендорф доложил о ней Николаю. Николай в разрешении на издание газеты отказал.

Еще раз Пушкину дали понять, чтобы он не заносился. Что его дело писать историю дома Романовых, а не поучать общество.

4

Бенкендорфу Пушкин писал о денежных своих затруднениях. Писал достаточно ясно. Но слова эти отнюдь не давали понятия о настоящем его положении.

Положение было катастрофическим.

Недавно опубликовано недатированное письмо его к старшему брату Натальи Николаевны. Письмо, которое по тону своему и по упоминаемым обстоятельствам могло быть написано не ранее конца 1835 года.

«Mon cher Дмитрий Николаевич! Я получил Ваше письмо как раз в то время, когда собирался Вам писать, чтобы поговорить с Вами о моих

затруднениях в связи с предстоящими родами Наташи и о деньгах, которые мне будут крайне нужны. Таким образом, наши с Вами просьбы как бы столкнулись. Тем временем мне удалось кое-что сделать. Князь Владимир Сергеевич Голицын сейчас находится здесь, я с ним говорил о Вас и Вашем деле. Он мне показался расположенным оказать Вам услугу и сказал, что в конце месяца будет в Москве, где Вы сможете с ним переговорить. Если Вы устроите этот заем, я Вас попрошу одолжить мне на шесть месяцев 6000 рублей, в которых я очень нуждаюсь и которые не знаю, где взять; и так как князю совершенно все равно одолжить 35 или 40 000, и даже больше, это как раз тот источник, из которого Вы будете так добры почерпнуть, если возможно. Я не могу сделать этого сам, так как не могу дать иной гарантии, кроме моего слова, и я не хочу рисковать получить отказ.

Так как Вы глава семьи, в которую я имел счастие войти, и являетесь для нас настоящим и добрым братом, я осмеливаюсь надоедать Вам, чтобы поговорить о моих делах. Семья моя увеличивается, мои занятия заставляют меня жить в Петербурге, расходы идут своим чередом, и так как я не считал возможным сократить их в

первый год моей женитьбы, долги так же увеличились. Я знаю, что в настоящее время Вы не можете ничего сделать для нас, имея сильно расстроенное состояние, долги и семью на руках, но если бы Наталья Ивановна была так добра сделать что-нибудь для Наташи, как бы мало то ни было, это было бы для нас большой помощью. Вы понимаете, что, зная о ее постоянно стесненных обстоятельствах, я никогда не решился бы докучать ей просьбами, но крайняя необходимость и даже долг меня к тому вынуждают, — так как, конечно, это не для меня, а только для Наташи и наших детей, о будущности которых я думаю. Я не богат, а мои теперешние дела не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние…»

Это было уже не просто уныние. Это было отчаяние. В 1835 году он впервые стал писать о своей бедности — не в письмах.

О бедность! затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный,
Довольства враг, суровый сна мути-

тель?..

И тут пора решить — что же было причиной его денежной катастрофы.

Неуменье рассчитывать расходы? Дороговизна петербургской жизни? Наряды Натальи Николаевны? Старые карточные долги?

Все это было. Но не это было главным.

Жил Пушкин, вопреки распространенному мнению, не столь уж широко. Жил так, как должен был жить в столице. Семья увеличивалась, и, соответственно, при самой скромной жизни было немало расходов. Наряды Натальи Николаевны оплачивала главным образом Загряжская — ее богатая тетка. Пушкин сам подтверждает это в письмах.

Главная причина была та, что начиная с 1831 года он большую часть времени занимался делом, *которое не могло приносить ему доходов.* Он занимался историческими трудами. Реализацией своего великого плана.

Работа в архивах, писание «Пугачева» и «Петра» отнимали столько времени, что оно отнюдь не окупалось государевым жалованьем.

«…Мои теперешние дела не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни».

Эту причину Пушкин постоянно приводит и в письмах Бенкендорфу, в оправдание своих стесненных обстоятельств.

Он прекрасно понимал, в чем корень его материальных бед.

Если бы он все потраченное на историческую и государственную деятельность время тратил на литературный труд, он обеспечил бы себе независимость.

После осени 1833 года — после «Медного всадника» и «Анджело» — он не написал ни одной поэмы. Явление для него необычайное.

Быть может, дело в творческом кризисе? Быть может, хоть отчасти были правы те, кто говорил об охлаждении поэтического таланта Пушкина?

Нет. Талант его был при нем. Свидетельством тому гениальная лирика последних лет.

А отсутствие крупных сочинений?

Каждая крупная пушкинская вещь была воплощением новой крупной идеи. Каждый раз это был новый этап стремительно эволюционирующего пушкинского сознания.

В последние годы характер этих идей был таков, что для их воплощения нужна была историческая научная проза. Необходима была конкретная, подробная разработка конкретного

исторического материала.

Бывали моменты — собственно, каждую осень, — когда ему безумно хотелось писать именно стихи. Но тут уже вступали в действие высокие законы, от его желания не зависящие. Уровень и характер его историко-философского мышления были таковы, что требовали иных жанров.

Сам он говорил жене о душевном беспокойстве, которое мешает ему писать стихи. Было, разумеется, и это. Но ведь и осенью 1833 года душа его была отнюдь не спокойна. Однако тогда центр тяжести его творчества еще не столь сильно переместился в другую сферу. Хотя, как мы видели, и «Медный всадник», и «Анджело» решали те же проблемы, которые параллельно решал он в научной своей прозе.

Он не потому стал историком, что не мог больше писать поэмы, а поэмы перестал писать потому, что исторические занятия оказались важнее.

Да, и образ жизни его, и место его жизни, и материальные его беды — все это было связано с характером его занятий, с той задачей, которую он перед собой поставил, с тем роковым сознанием долга, которое не давало ему отступиться

от этой задачи.

Смешно говорить о том, что гибель Пушкина была самоубийством. Она была результатом жестокой борьбы. Борьбы, которую он вел до конца.

У него были куда более безболезненные выходы, чем самоубийство. Но он и ими не воспользовался. Хотя соблазн был велик.

5

Одну попытку он сделал.

1 июня 1835 года. Пушкин — Бенкендорфу:

«Мне совестно постоянно надоедать Вашему сиятельству, но снисходительность и участие, которое вы всегда ко мне проявляли, послужат извинением моей нескромности.

У меня нет состояния; ни я, ни моя жена не получили еще той части, которая должна нам достаться. До сих пор я жил только своим трудом. Мой постоянный доход — это жалование, которое государь соизволил мне назначить. В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег; и одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие. Жизнь в Петербурге ужасающе дорога. До сих пор я довольно равнодушно смотрел на

расходы, которые я вынужден был делать, так как политическая и литературная газета — предприятие чисто торговое — сразу дала бы мне способ получать от 30 до 40 тысяч дохода. Однако дело это внушало мне такое отвращение, что я намеревался взяться за него лишь при крайней надобности.

Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые лишь вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только тревоги и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я обязан милости Его величества.

Я был осыпан благодеяниями государя, я был бы в отчаянии, если бы Его величество заподозрил в моем желании удалиться из Петербурга какое-либо другое побуждение, кроме совершенной необходимости. Малейшего признака неудовольствия или подозрения было бы достаточно, чтобы удержать меня в теперешнем моем положении, ибо, в конце концов, я предпочитаю быть стесненным в моих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем не как государь, не по долгу и справедливости, но по свободному

чувству благожелательности возвышенной и великодушной».

Если отбросить необходимую в этом случае риторику, то смысл письма будет прост и ясен: государь не разрешил ему издавать газету — единственное средство обеспечить себе жизнь в Петербурге, — и теперь не остается ничего другого, как уехать. И если его не удержат угрозами, как в прошлый раз, он уедет. Об архивах речи уже нет. Он готов на время отложить свои главные занятия.

Бенкендорф показал это письмо Николаю. Николай написал на нем:

«Нет препятствия ему ехать куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службой; спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок».

Короче говоря, царь сам предлагал отставку.

Пушкин ответил только 4 июля. Очевидно, он не знал, на что решиться. Казалось бы — чего проще. Он хочет отставки. Ему предлагают отставку. Бери и уезжай. О работе в архивах ни та ни другая сторона не заикнулись. А суть была именно в этом.

И 4 июля Пушкин посылает Бенкендорфу весь-

ма дипломатичное письмо, однако упомянув в нем о камне преткновения — архивах:

«Государю было угодно отметить на письме моем к Вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку. Передаю совершенно судьбу мою в царскую волю и желаю только, чтоб решение Его величества не было для меня знаком немилости и чтоб вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен».

Бенкендорф доложил государю и записал его ответ:

«Есть ли ему нужны деньги, государь готов ему помочь, пусть мне скажет; есть ли нужно дома побывать, то может взять отпуск на 4 месяца».

Об архивах — ни слова. Но гнева и раздражения, как в 1834 году, не было. Было выжидание — и с той и с другой стороны. Николай предоставлял Пушкину возможность принять решение.

А Пушкин был в нерешительности. Казалось — вот она, отставка, в руках. Но архивы…

22 июля 1835 года. Пушкин — Бенкендорфу:

«Я имел честь явиться к Вашему сиятельству, но, к несчастию, не застал Вас дома.

Осыпанный милостями Его величества, к Вам,

граф, должен я обратиться, чтобы поблагодарить за участие, которое Вам было угодно проявлять ко мне, и чтобы откровенно объяснить мое положение.

В течение последних пяти лет моего проживания в Петербурге я задолжал около шестидесяти тысяч рублей. Кроме того, я был вынужден взять в свои руки дела моей семьи; это вовлекло меня в такие затруднения, что я вынужден был отказаться от наследства, и единственными средствами привести в порядок мои дела были: либо удалиться в деревню, либо единовременно занять крупную сумму денег. Но последний исход почти невозможен в России, где закон предоставляет слишком слабое обеспечение заимодавцу и где займы суть почти всегда долги между друзьями и на слово.

Благодарность для меня чувство не тягостное; и, конечно, моя преданность особе государя не смущена никакой задней мыслью стыда или угрызений совести, но не могу скрыть от себя, что я не имею решительно никакого права на благодеяния Его величества и что мне невозможно просить чего-либо.

Итак, Вам, граф, еще раз вверяю решение моей участи…»

Пушкин был в нерешительности. Он предоставлял решение Николаю.

Бенкендорф доложил царю. Царь предложил еще один вариант, который Бенкендорф записал:

«Император предлагает ему 10 тысяч рублей и отпуск на 6 месяцев, после которого он посмотрит, должен ли он брать отставку или нет».

Ему давали ссуду, отпуск и фактически разрешение на отставку. При этом было ясно, что архивов ему не видать.

После двухмесячного колебания — первое письмо об отставке было написано 1 июня — Пушкин решил остаться в службе и в Петербурге.

Он мог уехать. И бросить исторические труды. Он предпочел остаться и продолжать их.

Он попросил только выдать ему жалованье за шесть лет вперед — 30 000 рублей. Николай разрешил.

Нельзя сказать, чтобы такой поворот событий внес мир в душу Пушкина.

12 сентября он писал жене из Михайловского:

«А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для

денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны».

Он был не совсем точен — записаться в помещики у него была возможность. Не царь удержал его на этот раз в Петербурге. Он обманывал самого себя.

Весь этот год он, как никогда напряженно, занимался историей.

6

В пределах двух месяцев — июня и июля 1835 года, — тех месяцев, когда шли переговоры об отставке, он написал «Странника».

Он воспользовался книгой знаменитого англичанина Беньяна, религиозного писателя. Книгой, автор которой во сне видит символические приключения Христианина.

Взяв у Беньяна сюжетную ситуацию, Пушкин в этот роковой момент своей жизни написал стихотворение о себе.

Нет в пушкинском «Страннике» никакого сна. Прозрачная проза Беньяна стала поводом для стремительно трагических стихов. Как и во всех пушкинских переложениях, отсекается все лишнее — остается движение мысли, грозной

в своей обнаженности. Мысли столь глубокой и многоликой, что нет никакой возможности истолковывать ее однозначно.

И речь пойдет только об одном из многих ликов.

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу… —

так начал Данте «Божественную комедию».

Однажды странствуя среди долины дикой,

Незапно был объят я скорбию великой… —

так начал Пушкин «Странника». Он был в возрасте Данте, и наступал момент полного прозрения.

Однажды странствуя среди долины дикой,

Незапно был объят я скорбию великой

И тяжким бременем подавлен и согбен,

Как тот, кто на суде в убийстве уличен.

Потупя голову, в тоске ломая руки,

Я в воплях изливал души пронзенной муки

И горько повторял, метаясь как больной:

«Что делать буду я? Что станется со мной?»

Но причина тоски странника не в том, что он понял вдруг неистинность своего собственного пути, что он испугался гибели. Тоска его апокалипсична.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —

Сказал я, – ведайте: душа моя полна

Тоской и ужасом, мучительное бремя

Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:

Наш город пламени и ветрам обречен;

Он в угли и золу вдруг будет обращен,

И мы погибнем все, коль не успеем вскоре

Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

Конечно, этим строкам можно без труда отыскать «семейные» аналогии в письмах 1835 года.

«Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние…» и т. д.

Но это — малая доля смысла. Масштабы мысли были огромны. Речь здесь идет о России. «Наш город…» Это история того, как Пушкин пытался проповедью своей спасать Россию.

Мои домашние в смущение пришли

И здравый ум во мне расстроенным почли.

Но думали, что ночь и сна покой целебный

Охолодят во мне болезни жар враждебный.

Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал

И ни на миг очей тяжелых не смыкал.

Поутру я один сидел, оставя ложе.

Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,

Что прежде, говорил. Тут ближние мои,

Не доверяя мне, за должное почли

Прибегнуть к строгости. Они с оже-

сточеньем

Меня на правый путь и бранью и презреньем

Старались обратить. Но я, не внемля им,

Все плакал и вздыхал, унынием тесним.

И наконец они от крика утомились

И от меня, махнув рукою, отступились

Как от безумного, чья речь и дикий плач

Докучны и кому суровый нужен врач.

Как и в 1833 году, появился здесь мотив пророческой одержимости, которую окружающие принимают за банальное сумасшествие. «Как раз тебя запрут» — «кому суровый нужен врач».

«Странник» — это тоже история пророка. Но не торжествующего пророка 1826 года. Это история «осмеянного пророка».

В 1826 году произошло рождение пророка — прозрение его:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился.

И шестикрылый серафим

На перепутьи мне явился.

В 1835 году тоже происходит рождение пророка — прозрение его:

Однажды странствуя среди долины дикой,

Незапно был объят я скорбию великой…

В 1826 году рождался пророк воодушевляющий, призывающий к действию:

Глаголом жги сердца людей.

В 1835 году родился пророк, предвещающий скорбь и ужас.

Его апокалипсические пророчества были отвергнуты ближними. Его ославили безумцем. И тогда произошло второе его прозрение.

В 1826 году томимый «духовной жаждою» путник встретил грозного серафима с мечом.

В 1835 году он — «духовный труженик».

Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая

И взоры вкруг себя со страхом обращая,

Как узник, из тюрьмы замысливший побег,

Как путник, до дождя спешащий на ночлег.

Духовный труженик – влача свою веригу,

Я встретил юношу, читающего книгу.

Здесь собраны любимые пушкинские образы из его, несомненно, автобиографических стихотворений. «Узник, из тюрьмы замысливший побег» — «Давно, усталый раб, замыслил я побег». «Как путник, до дождя спешащий на ночлег» — «…как путник запоздалый / К нам в окошко постучит». Причем ни узника, ни путника, ни духовного труженика нет у Беньяна.

Вместо ослепительного серафима с мечом странник встречает скромного юношу с книгой. Вместо символа гремящего пророчества — символ тихой мудрости.

Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь», —

Сказал мне юноша, даль указуя перстом.

Я оком стал глядеть болезненно-от-

верстым,

Как от бельма врачом избавленный слепец.

«Я вижу некий свет», – сказал я наконец.

В 1826 году в грудь пророку вложен был «угль, пылающий огнем», в уста вложено «жало мудрыя змеи», «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы» — атрибуты мудреца-обличителя.

В 1835 году с ока его спало бельмо, и он увидел «тихий свет». Свет спокойной мудрости.

Юноша с книгой заменил не только пушкинского же серафима, но и беньяновского Евангелиста со свитком. Евангелист — апостол, активный проповедник, завоеватель духовного мира. Юноша, встреченный странником, ничего не проповедует. Он погружен в чтение. Он только тихо отвечает на вопрос. Он не призывает странника «глаголом жечь».

«Коль жребий твой таков, —

Он возразил, – и ты так жалок в самом деле,

Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»

Это писалось в то время, когда шли переговоры об отставке. Когда Пушкин был готов оставить свой великий план и уединиться в деревне.

Странник принял совет юноши. Он бежал из обреченного города, от людей, не внявших его проповеди.

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Как точно эти строки передают ситуацию вокруг первой отставки 1834 года. Волнение и хлопоты Жуковского, его настойчивые советы, неудовольствие и порицание со стороны других друзей, на которых ссылается Жуковский. Как это все пророчески похоже на ситуацию вокруг последней дуэли. Как точно говорят эти строки о полном непонимании друзьями того, что делалось в душе и уме Пушкина.

В стихотворении страннику удается бежать. В жизни этого не получилось. Как ни манил его «тихий свете» уединенной мудрой жизни, удаленного от суеты творчества, «тайной свободы», — сознание пророческой своей миссии оказалось сильнее. Шестикрылый серафим с мечом одолел тихого юношу с книгой.

«Духовный труженик — влача свою веригу» — он решил сделать еще одну попытку.

Он понимал возможность еще одной неудачи. Он писал в апреле, когда определился провал «Пугачева» — его исторической проповеди:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Он понимал возможность неудачи. Но он считал необходимым выполнить свой долг. Он должен был написать «Историю Петра».

7

В 1835 году исполнилось десять лет со дня декабрьского восстания.

В начале октября Пушкин писал Плетневу из Михайловского по поводу альманаха, который они собирались издавать:

«Ты требуешь имени для альманаха: назовем его Арион или Орион; я люблю имена, не имеющие смысла…»

Последняя фраза была издевательским поклоном в сторону полиции, вскрывавшей его письма. Ибо «Арион» было название его старого стихотворения — о себе и декабристах.

В 1835 году многие надеялись на возвращение сосланных. Надеялся и он. Они были ему необходимы.

В этом году написал он «Пир Петра Первого».

До того — в самом начале черновой «Истории Петра» — он привел слова Ломоносова:

«Петр, простив многих знатных преступников,

пригласил их к своему столу и пушечной пальбою праздновал с ними свое примирение».

На этот сюжет и написан «Пир».

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом:
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Несмотря на разочарования, надежда на возвращение декабристов жила в нем. И он пытался объяснить царю, в каком выгодном свете предстанет он перед миром, простив своих подданных. И как у него самого, у царя, станет светло на сердце после этого великодушного решения.

Это был тот нередкий случай, когда он верил в исполнение своих надежд не потому, что для этого были реальные основания, а просто потому, что добрый поступок лучше злого, разумное решение целесообразнее неразумного. Он мерил людей своей меркой. А они были совершенно иными и не желали меняться. Но он верил.

О возвращении декабристов он писал в конце 1835 года как о свершившемся факте:

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?

Это было переложение оды Горация на возвращение его друга и соратника по гражданской войне Помпея Вара. И как всегда в таких случаях, Пушкин так сдвигал смысл подлинника, что стихи трактовали проблемы, важные для него самого. Иногда это делалось изменением нескольких слов.

У Горация сказано буквально следующее:

О, как часто ты был со мною в дни бедствий,
Когда Брут предводительствовал войсками.
Кто возвратил тебя квиритам,
Отеческим богам и италийскому небу.

Никакого «призрака свободы» у Горация нет. Между тем именно это — смысловой центр

строфы. «Призрак свободы», за которым водили отчаянные вожди, — это декабристские мечтания, которые не могли осуществиться.

Ода Горация полна реалиями его времени. Он точно говорит, что бежал с поля боя под Филиппами, где войско Брута было разбито армией Октавиана. У Пушкина большинство этих реалий отсутствует, что придает его стихам вполне современное тридцатым годам звучание.

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?

Гораций ясно говорит, что он бежал вместе с Помпеем Варом, вместе со всем войском, — у Пушкина бежит только герой стихотворения. Иначе и быть не могло, ибо эта строфа — усиленный вариант «Ариона» — говорит о спасении поэта, в то время как его друзья-декабристы шли на гибель.

Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою…

Те античные реалии, которые Пушкин сохра-

няет, были обычны для русской поэзии и не мешали актуальности стихов. Более того, он и здесь вводит свои прежние мотивы, окончательно проясняя смысл переложения.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился…
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов…

Ни «первого любимца», ни «домика темного и простого» у Горация опять-таки нет. Но все здесь настойчиво напоминает другие стихи.

Мой первый друг, мой друг бесценный…
Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил.

О пенатах Пушкин упоминал часто, говоря о Михайловском.

Он не просто постоянно вспоминал о декабристах с нежностью и тоской. Он мечтал об их возвращении. Без них он был одинок. Только они могли стать настоящими его соратниками.

Но вскоре стало ясно, что царь не собирается возвращать бывших мятежников. Он слегка об-

легчил их участь. Но только в пределах Сибири.

8

С годами все чаще стал приходить вопрос — правильно ли он, Пушкин, повел себя в 1826 году после казни декабристов? Вряд ли он пришел к каким-нибудь определенным выводам на сей счет. Скорее всего, он рассматривал различные варианты.

В 1835 году он писал повесть из жизни нероновского Рима «Цезарь путешествовал...».

Он, возможно, начал повесть несколько раньше. Но в окончательном виде существующие страницы были написаны именно в 1835 году.

Сюжет он взял из любимого своего Тацита — гибель Петрония, автора знаменитого «Сатирикона». Уже сам этот выбор — писатель гибнет по вине тирана — вряд ли случаен. Но в сюжете, предложенном ему античным обличителем, Пушкин сделал изменения, полные личного смысла.

Тацит пишет о Петронии:

«Дни он отдавал сну, ночи — выполнению светских обязанностей и удовольствиям жизни. И если других вознесло к славе усердие, то его — праздность. И все же его не считали распутником

и расточителем, каковы в большинстве проживающие наследственное достояние, но видели в нем знатока роскоши. Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, и чем непринужденнее они были и чем явственней проступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к нему относились. Впрочем, и как проконсул Вифинии, и позднее, будучи консулом, он выказал себя достаточно деятельным и способным справляться с возложенными на него поручениями».

В повести же «Цезарь путешествовал…» о Петронии сказано:

«Я уважал его (Петрония) обширный ум; я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знание света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведал все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою. Но ум хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармонию слов. Охотно слу-

шал философские рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла».

Произошел весьма существенный смысловой сдвиг — вместо светского древнеримского льва мы видим интеллектуала с «прекрасной душой», тончайшим знанием людей, утомленного своим огромным опытом, и, что самое главное, — замечательного поэта. «...Писал стихи не хуже Катулла». Пушкин конструировал личность, близкую себе. Более того, он, быть может, и ориентировался на самого себя.

Перед нами набросок повести о замечательном поэте и незаурядном мыслителе, стоявшем близко к императору и принимавшем прямое участие в управлении государством. Ведь Петроний был проконсулом Вифинии, а затем римским консулом.

Сюжет повести — история гибели этого человека.

Можно предполагать, что написанный Пушкиным отрывок — не начало повести. Во втором абзаце посланец Нерона приносит Петронию приказание «возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи вследствие ненавистного обвинения». Очевидно, этому отрывку должны были предшествовать страницы, рас-

сказывающие о возникновении «ненавистного обвинения». Или же речь о «ненавистном обвинении» должна была — ретроспективно — пойти в дальнейшем.

Как бы то ни было, именно «ненавистное обвинение» и его трагические последствия — стержень повести.

Что это было за обвинение и от кого оно исходило?

Тацит пишет:

«И вот Тигеллин обращается к жестокости принципса, перед которою отступали все прочие его страсти, и вменяет в вину Петронию дружбу со Сцевином».

Сенатор Сцевин — казненный участник заговора против Нерона.

«Ненавистное обвинение» — обвинение в дружбе с участниками подавленного заговора. От кого оно исходило?

Тигеллин, человек темного происхождения, был префектом преторианцев и ведал личной безопасностью Нерона, без устали разоблачая реально существовавшие заговоры и придумывая несуществующие.

Ситуация римской повести — эпилог провалившегося заговора против императора и гибель

поэта, связанного с заговорщиками.

В 1835 году, теряя последние надежды, Пушкин выстраивал собственную ситуацию 1826 года и развивал ее не в том направлении, в котором она реализовалась тогда. Поэт не договаривается с победившим заговор императором. Он гибнет вслед за своими друзьями.

В конспекте продолжения римской повести, оставшемся в бумагах Пушкина, Петроний перед смертью диктует «Сатирикон»:

«Рассуждения о падении человека — о падении богов — о общем безверии — о предрассудках Нерона…»

Пушкин ошибался. Предсмертное сочинение Петрония, обличавшее Нерона, не было дошедшим до нас «Сатириконом». Но введение в повесть этого эпизода — знаменательно. Вспомним, что — по некоторым сведениям — Пушкин, отправляясь в 1826 году на свидание с Николаем, взял с собой стихотворение, в котором называл императора убийцей. Если бы они не договорились — поэт вручил бы стихотворение властителю.

Вспомним, что в 1833–1835 годах Пушкин вел дневник, в который заносил все известные ему глупости и беззакония, совершенные Николаем.

Это был прямой аналог предсмертному памфлету Петрония.

В римскую повесть Пушкин вмонтировал и свой перевод Горациевой оды Помпею Вару.

Разумеется, заговор Сцевина не есть зашифрованное из осторожности название заговора декабристов. И Тигеллин не тождествен Бенкендорфу. И Петроний отнюдь не псевдоним Пушкина. Не детали важны. Важна сама выстроенная Пушкиным ситуация.

Не надо упрощать пушкинские замыслы. И в этом случае — как всегда — он ставил перед собой целый комплекс задач — стилистических, исторических, политических.

Но автобиографический пласт, о котором шла речь, в римской повести весьма значителен.

Пушкин был последователен. В реальных условиях 1835 года он не исключал и такого варианта своей судьбы.

И еще одно — после конспективного рассказа о последних часах Петрония, после слов о падении человека, падении богов, о всеобщем безверии в пушкинском конспекте стоит — «раб христианин». Конец конспекта.

Речь шла о качественно новой нравственности, которая явилась на смену полумертвым нрав-

ственным представлениям Римской империи.

Помимо всего прочего, римская повесть — это повесть об умирании эпохи, культуры, античной морали.

Блок сказал о Пушкине: «С ним умирала его культура».

Римская повесть, как и многие другие пушкинские замыслы последних лет, эсхатологична.

9

С середины 1834 года он снова избрал главным своим занятием исторические изыскания для «Истории Петра» и собирание новых пугачевских документов.

Неуспех издания «Пугачева» заставил его сделать ряд трезвых и мрачных выводов. Но, сделав эти выводы, он решил идти до конца. И чертеж свой окончить независимо от того, будет оказывать немедленное действие его историческая проповедь или нет.

Это было новое, далеко не такое оптимистическое осознание своей миссии, как прежде. Но долг свой он знал. И отступать от него не собирался.

Он добивался доступа к тем архивным пугачевским материалам, которые были сокрыты от него в 1833 году. И добился. Кроме того, к нему начали

стекаться материалы от тех немногих читателей, которые хоть в какой-то степени оценили его «Историю». И через некоторое время он стал думать о втором издании, хотя ничего, кроме новых убытков, оно ему не сулило. Он должен был это сделать.

Работа над «Петром» продвигалась успешно. Пушкину удалось получить редчайшие документы. В частности, материалы процесса царевича Алексея. Он изучал свидетельства современников Петра — их записки, дневники. Неизданные, разумеется. Он штудировал гигантскую переписку царя. Для того чтобы освоить чудовищный почерк Петра, копировал написанные царем документы.

Приступая некогда к этой титанической работе, он ясно осознавал свою цель. Ему надо было создать историю великого царствования, которое, несмотря на трудность и жестокость, могло — по сути своей — стать образцом для дальнейшего развития России. Проанализировав историю «революции Петра», как он говорил, он надеялся с большой точностью — на конкретных примерах, что было крайне важно, — понять и объяснить наилучшие пути переустройства страны.

Ибо всему происходящему ныне — и хороше-

му, и дурному — он видел корень в «революции Петра». Например, гибель старого дворянства началась при Петре.

«Петр Первый укротил дворянство, опубликовав *Табель о рангах*… Но одно дело произвести революцию, другое дело — это закрепить ее результаты. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии; Александр сам был якобинцем. Вот уже 140 лет, как *Табель о рангах* сметает дворянство…»

Это он писал позже, в черновом письме Чаадаеву. Страна не могла, по его мнению, вечно находиться в состоянии «революции». Пора было разделить хорошее и дурное в Петровских реформах. Крепостное право, которое Петр энергично упорядочил и ужесточил, пора было отменять. Бюрократизацию страны, замену родового дворянства бюрократами пора двинуть вспять. Между тем сторон положительных и разумных в царствовании Петра было вполне достаточно, и на них-то следовало строить позитивную часть программы. Если «История Пугачева» была негативной частью этой программы, поскольку в ней анализировался тот путь, идти которым не следовало, то позитивная часть программы

должна была дать рекомендации, опиравшиеся на опыт петровского царствования.

Так думал Пушкин, приступая к работе. Его сведения о Петровской эпохе базировались до 1831 года главным образом на материалах голиковского свода, который он читал еще в Михайловской ссылке. Сведения, которые сообщал Голиков, вполне давали право на такие выводы.

Но он был честным историком и настоящим исследователем. Окончательные выводы, стройная концепция должны были вырастать из материала.

Шло время. И тот колоссальный материал, который он осваивал, материал, не включенный в голиковский свод или включенный в него, но потерявшийся ранее среди обилия второстепенных сведений, — этот исследованный и продуманный им теперь материал стал противоречить первоначальным наметкам.

Пушкин начал понимать, что позитивной концепции не получается. Получалась концепция крайне сложная. И совсем не та, которую можно было предложить правительству и обществу, оставаясь лояльным в его глазах.

Он начал понимать это уже с середины 1835 года.

В плане предисловия он записал свою любимую мысль:

«Просвещение развивается со времен Бориса; нравы дикие, свирепые etc.; правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о народе».

Но постепенно методы, которыми действовало правительство Петра, то есть сам Петр, стали в глазах Пушкина настолько выходить из нравственных рамок, что исчезала возможность представить их читателю без интонации ясного осуждения.

Количество отрицательных оценок стало стремительно нарастать в рукописи.

«За корчемную продажу табаку описывать имение и ссылать с женами и детьми; доносителю — четвертую часть имения».

Это напоминало методы испанской инквизиции в самые страшные ее времена. Петр вообще, как замечает Пушкин, поощрял доносительство.

«О недерзании бить челом никому на находящихся в армии, а дерзающих (хотя бы и в правых делах) отсылать в армию под военный суд… Варварский указ о *недерзании бить челом* etc. отменен и объяснен в том же году».

«Он запретил *под жестоким наказанием* самим

помещикам на их земле рубить дубовый лес…»

«В сие время издан тиранский же указ о запрещении во всем государстве каменного строения под страхом конфискации и ссылки».

«О непродаже *русского* платья и сапогов; ослушников лишать имения и ссылать на каторгу».

«При сем послано королю прусскому в *подарок* 100 человек рослых солдат».

«Велено всем жителям выезжать на Неву на *экзерсицию* по воскресениям и праздникам… Смотри тиранский о том закон».

Описание «тиранских» методов обращения с подданными подготовляет страшные страницы гибели царевича Алексея.

«Изветы ее (Афросиньи) были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины… Царевич более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями… 14 июня Петр прибыл в Сенат и, представя на суд несчастного сына, повелел читать выписку из страшного дела… 26-го царевич умер отравленный… Есть предание: в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшного 1698 года».

Следом за этим такая запись:

«20-го запрещает бедным просить милостыню (см. о том указ, жестокий, как обыкновенно)».

Рассказывая об участи первой жены Петра, Пушкин пишет:

«Царица высечена и заключена в Новую Ладогу. Петр хвастал своей жестокостию: „Когда огонь найдет солому, — говорил он поздравлявшим его, — то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает“».

Те отрывки, которые дошли до нас от последних, пропавших, тетрадей «Истории Петра», говорят, что осуждающий тон все усиливался.

«Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние…»

Речь идет о 1722 годе, конце петровского царствования.

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые *нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом*».

Но не следует целиком полагаться на эту формулу. Ибо далее Пушкин пишет:

«5 февраля Петр издал манифест и указ о праве наследства, т. е. уничтожил всякую законность в

порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца».

Одно из основных мероприятий Петра — Табель о рангах — Пушкин, как мы знаем, резко осуждал. Так что не только временных указов касались слова: «кажется, писаны кнутом». Укрепление и усовершенствование системы рабства тоже не украшало эпоху.

Слишком много претензий накопилось у Пушкина к Петру в 1835 году, чтобы можно было надеяться выстроить на его примере позитивную часть программы.

Отношение к великому реформатору все усложнялось. Особенно в плане нравственном.

Вспомним «Медного всадника» и «Анджело».

И стихи 1830 года:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него! Тиран…

По мере изучения материала сомнения в благородстве сердца героя все усиливались, а черты тиранства выступали все яснее.

Пушкин, по свидетельству Никитенко, говорил позже, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят напечатать».

Еще одна надежда обманула его. И это был один

из самых страшных ударов. Но он не собирался бросать свой труд. Менялась задача. Он должен был разобраться в том историческом механизме, который даже таких гигантов, как Петр, превращал в деспотов.

Мысль его работала настойчиво и мощно, отыскивая нужное направление. Во второй половине 1835 года, когда уже произошел перелом в его отношении к Петру, когда стали изменяться прежние концепции, он записал, читая книгу Гейне:

«Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирая ее, другие ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят».

Любопытная это запись. Во-первых, есть в ней горькое сознание своего бессилия. Не он ли считал родовую аристократию, истинное дворянство общественной надеждой России. И вот признание — «в нее не верят». Во-вторых, этот странный демократический поворот — «освобождение Европы придет» из страны, в которой не верят в аристократию.

Мысль Пушкина не пошла по этому пути даль-

ше. Но он думал об этом. И это — важно. Мысль его искала новых путей. Проверяла старые, отринутые уже.

10

Все эти годы его занимала проблема действия. Иногда больше, иногда меньше. Иногда проблема эта отступала на один из второстепенных планов. Но была она — постоянно.

Тут имеется в виду не действие вообще — писание литературных произведений, политических статей, обращения к правительству с различными предложениями. Имеется в виду действие физическое. Борьба не посредством слова, но с оружием в руках.

Проблема эта разрабатывалась Пушкиным по двум линиям. Первая — восстание, мятеж, массовое народное движение. Об этом речь уже шла. Второе — борьба индивидуальная — разбой. Личное действие.

1831 год — план «Романа на Кавказских водах».

1832–1833 годы — «Дубровский».

1834 год — «Кирджали».

1831–1835 годы — план романа «Русский Пелам».

Из года в год принимался он писать о разбой-

никах.

Из четырех замыслов до конца он довел только один — «Кирджали». «Роман на Кавказских водах» и «Русский Пелам» не пошли дальше планов. «Дубровский» остался в черновом виде.

«Кирджали» — повесть о разбойнике из простонародья. Тут все ясно.

Три остальных замысла — о разбойниках из дворян, о дворянах, решившихся действовать. Тут все было так двойственно, что довести романы до ясности, до выводов, до принципиального завершения — он не мог.

Два замысла были связаны с революциями. «Кирджали» — с греческой революцией, восстанием 1821 года. Это не помешало завершению повести. «Роман на Кавказских водах» был связан с революцией декабристской. Прототипом одного из главных героев был Якубович. Легендарный храбрец Якубович, избранный заговорщиками в помощники диктатору Трубецкому. Роман не был написан.

Планы романа разрабатывались Пушкиным летом–осенью 1831 года. Якубович (или в другом варианте — Кубович) — русский офицер, ведущий двойную жизнь. Он явно сражается против черкесов, а тайно — разбойничает вместе

с ними.

Это не просто романтический вымысел. Отчаянность и озлобленность Якубовича, которые могли стать причиной подобных слухов, имели вполне определенную подоплеку. В 1817 году он был исключен императором Александром из гвардии и выслан на Кавказ за участие в знаменитой дуэли Шереметева с Завадовским. Якубович поклялся отомстить Александру. Он обдумывал планы цареубийства. Ненависть к императорской фамилии привела его к декабристам.

Речь шла о русском дворянине, которого конкретные обстоятельства довели до бесчестья — измены, разбоя, страшной двойной жизни.

Пушкин не сочувствовал этому пути. Якубович в романе наказан — его убивают на дуэли.

Но Пушкин хотел показать, как и почему русский дворянин становится разбойником.

Через год он начал «Дубровского». Историю другого русского дворянина, которому обстоятельства не оставили иного пути, кроме разбоя на большой дороге.

В эти годы Пушкин еще колебался в окончательной оценке романтического дворянского бунта.

К 1831–1835 годам, когда он составлял план

«Русского Пелама», позиция его была ясна.

Якубович и Дубровский — фигуры героические. На имени Якубовича лежал отсвет декабрьской трагедии, разрушенной судьбы, несостоявшегося цареубийства. Дубровский — потомок старинного рода — мстил за поругание родовой чести. Его бунт был связан к тому же с бунтом народным. Это было неприемлемо, но серьезно. Это была трагедия благородного человека.

В «Русском Пеламе» два резко отрицательных персонажа. Первый, Завадовский, прожигатель жизни, мот, нечистый человек. Фамилия Завадовского знаменательна в нескольких отношениях.

Из набросков плана ясно, что материал для романа Пушкин намечал вполне реальный. Это конкретные люди декабристской эпохи. Завадовский (работая над романом, Пушкин, конечно, изменил бы фамилию) был одним из участников дуэли, за секундантство в которой был выслан Якубович, герой «Романа на Кавказских водах».

Завадовский был сыном Петра Завадовского, вышедшего в вельможи из постели императрицы Екатерины, безродного карьериста, пополнившего «новую знать».

Второй персонаж романа — особенно нам важный — Федор Орлов. Тоже лицо конкретное —

младший брат Алексея и Михайлы Орловых, один из которых вывел на мятежников 14 декабря Конную гвардию, а второй был одним из зачинателей декабризма.

Именно Федор Орлов (тоже, разумеется, прототип, фамилия которого потом была бы заменена), потомок екатерининских Орловых, выскочек, кондотьеров, и становится в «Пеламе» разбойником.

Дубровский, наследник традиций, выходит на большую дорогу, мстя за обиду, нанесенную негодяем, выдвинутым екатерининским переворотом. Орлов идет на разбой, чтобы добыть денег для кутежей и разврата. Он лишен нравственного стержня — за ним нет традиции.

Очевидно, Михайлу Орлова Пушкин считал исключением.

Таким образом, *личное действие,* связанное с попранием нравственных законов и законов вообще, к 1836 году было Пушкиным осуждено окончательно. Он ясно декларировал это.

11

При этом он разрабатывал философию игры ва-банк — одного героического по резкости поступка, ломающего каноны бытовой логики и

движение жизни, этими канонами детерминированное. Этот поступок — этот слом, это взрывание жизни — и должен был сконцентрировать в себе смысл судьбы, увенчать существование.

Это была философия подвига.

Осенью 1835 года, в Михайловском, Пушкин писал «Сцены из рыцарских времен». Драму о крестьянском мятеже. Действие происходило в средневековой Европе.

Но это был не просто крестьянский бунт. Во главе его стоял поэт. Успех его обеспечивал ученый-изобретатель.

В наброске плана говорилось так:

«Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. — Бунт крестьян, возбужденный молодым поэтом. — Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

Таким образом, для победы восстания объединились все силы просвещения: поэзия, наука, книгопечатание.

Это был не бунт «бессмысленный и беспощадный». Это было вооруженное восстание,

возглавленное носителями просвещения. То есть событие в России, по его мнению, невозможное. Потому проблема и решалась на средневековом материале — сугубо теоретически.

Но то, что осенью 1835 года он думал об этом, — само по себе чрезвычайно симптоматично. И не менее симптоматично, что во главе мятежников поставил он поэта. В 1834 году он писал:

«Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу разрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно».

Весной 1834 года мысль о благотворности мятежа была для него совершенно запретной. Этим и объясняется последняя фраза. Осенью 1835 года он, быть может, и не написал бы ее.

Поэт во главе мятежа…

Однако не это было главным в его внутреннем, духовном движении 1835 года.

9 ноября он начал перекладывать стихами библейскую Книгу Юдифи.

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.

И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Сатрап смутился изумленный —
И гнев в нем душу помрачил…
И свой совет разноплеменный
Он – любопытный – вопросил:

«Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?..»

И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор
И рек – и Олоферн со трона
Склонил к нему и слух и взор.

В предпоследней строке этого отрывка есть одна деталь, которой нет в библейском тексте, — трон. Царский атрибут. Спор идет между тем, кто «высок смиреньем терпеливым», и человеком на троне — деспотом. И сила, которая дает возможность противостоять деспоту, — высокое смиренье, чистота, высота.

Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Пушкин пытался выстроить для себя новую защиту, которая была сродни его прежним декларациям, но без их гордыни — «Ты царь: живи один». Теперь это было уже не для него. Теперь он обращал к себе то увещание, которое когда-то послал декабристам в острог, — «храните гордое терпенье». Гордость — не гордыня. «В молчании добро должно твориться», — писал он в 1835 году. «…Муж на страже, в тишине…»

В неоконченной поэме «На Испанию родную…» (по Соути) готский король Родрик, разбитый в бою маврами, достигает победы духовной. Его оружие — высокое смирение. «Тихий свете» из «Странника».

Теперь Пушкин разрабатывал идеологию отшельничества, отказа от деятельности внешней.

«О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Но смирения его хватило не надолго.

31 декабря 1835 года. Пушкин — Бенкендорфу:

«Имею честь повергнуть на рассмотрение его величества записки бригадира Моро де Бразе о походе 1711 года, с моими примечаниями и предисловием. Эти записки любопытны и дельны. Они важный исторический документ, и едва ли не единственный (опричь Журнала самого Петра Великого).

Осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем, 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных Reviews. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание такой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые».

Итак, кроме «Истории Петра», он занимался и другими трудами, думал о журнальных делах.

Денежный смысл издания был важным, но

отнюдь не единственным. Через несколько дней он сообщал Нащокину, что Смирдин предлагает ему 15 000 в год, чтобы он не издавал собственный журнал, а сотрудничал в «Библиотеке для чтения». Это были спокойные, верные деньги. Он отказался. Он хотел иметь свое издание.

1835 год, год тяжких трудов и не менее тяжкого отчаяния, заканчивался новой попыткой прорваться. Переломить судьбу.

1836

Меня гнетет, уничтожает мысль, что я при жизни не увижу Россию свободную на правилах мудрой конституции. При всяком добром намерении, так сказать, падают руки, когда вспомню, что я осужден прожить вторую половину своего века в том порядке вещей, который существовал доселе. Это печально, грустно, ужасно, унизительно.

Н. Тургенев

1

14 января 1836 года граф Бенкендорф известил министра народного просвещения Уварова, что государь разрешил Пушкину издавать трехмесячный журнал.

Началась эпопея «Современника».

Издание журнала стало поводом для нового периода травли. Теперь это была уже не грубая полемика, не доносительная критика, не пасквили. Теперь это было просто глумление.

В конце 1835 года Пушкин, чтобы помочь

бедствующему литератору Люценко, устроил издание его вполне бездарного перевода Виландовой поэмы «Вастола». И соответственно, на обложке было указано: «Издал А. Пушкин». Этим немедленно воспользовался Сенковский. Для талантливого, умного, злобного Сенковского все средства в борьбе с конкурентами были хороши. Он сделал вид, что принял вирши Люценко за стихи Пушкина. Последовали издевательские похвалы. В январе 1835 года «Библиотека для чтения» сообщала:

«Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэму под названием „Вастола, или Желания сердца“ Виланда. Мы ее еще не читали и не могли достать, но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина? Истекший год заключился общим восклицанием: „Пушкин воскрес!“»

Через некоторое время гаерство Сенковского по этому поводу возобновилось:

«…Я читал „Вастолу“. Читал и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина… Это его стихи. Удивительные стихи!»

В этой ситуации оживилась и булгаринская группа. Один из сотрудников «Северной пчелы» сетовал, что «поэт переменил золотую лиру свою

на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу…».

Причем повод для этого был якобы самый неблаговидный — Пушкин, оказывается, желал «иметь удовольствие высказать несколько горьких упреков своим врагам, т. е. людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола ⟨…⟩ его значительность… Может быть, поэт опочил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтобы отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдаст толстые тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного чужими статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу, его горькие и печальные жалобы. Пожалейте поэта!»

Но хоронили Пушкина не только враги-конкуренты. Литературная смерть его была несомненным фактом для многих современников. Белинский писал чуть ранее:

«„Борис Годунов“ был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической

лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время… По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме „Анджело“ и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье“ и „Библиотеке для чтения“, мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю».

Нет, совсем не только враги хоронили Пушкина. В 1836 году дочь Карамзина Софья писала своему брату Андрею о Пушкине, «которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжело сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!»

Атмосфера вокруг него была такова, что ни один журнал не считал возможным за него вступиться. Возмущенный статьей в «Северной пчеле», князь Одоевский решил ответить и написал резкую статью «О нападениях петербургских журналов на Пушкина». Опубликована она была… в 1864 году. Одоевский сам написал на полях одного экземпляра рукописи:

«Писано незадолго до кончины Пушкина — ни один из журналистов не решился напечатать, боясь Булгарина и Сенковского».

Литератор Дружинин вспоминал потом:

«Переносясь мыслью в отдаленные годы нашего детства, совпадавшие с годами лучшей деятельности Пушкина, мы находим себя в необходимости сказать, что великая часть читателей делила заблуждения критиков — врагов Пушкина. Мы помним дилетантов старого времени, входивших в гостиную с книжкой „Современника“ или „Библиотеки для чтения“ и говоривших: „исписывается бедный Александр Сергеевич: не даются больше стихи Пушкину!“»

Ужас положения был в том, что публика не желала видеть Пушкина-мыслителя. Она требовала звучных стихов. На него смотрели *только как на поэта.* Причем поэта романтического.

Пути Пушкина и русского читателя разошлись.

Уже с начала тридцатых годов публика и многие литераторы удивительно быстро теряли представление о том, кто есть Пушкин.

В апреле 1834 года Пушкин писал Погодину:

«Общество Любителей поступило со мною так, что никаким образом я не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным, в то самое время, как он единогласно был забаллотирован в Английском клубе (NB в Петербурге) как шпион, переметчик

и клеветник, в то самое время, как я в ответ на его ругательства принужден был напечатать статью о Видоке… И что же? В то самое время читаю в газете Шаликова: *Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности,* удостоены etc., etc. Воля Ваша: это пощечина».

Ни Шаликов, относившийся к Пушкину вполне лояльно, ни «Московское общество любителей российской словесности» не хотели оскорбить поэта. Но они искренне считали, что Пушкин и Булгарин едва ли не в равной степени делают честь отечественной культуре.

Ну а ближайшие друзья? Люди, которые в какой-то мере были осведомлены о его планах и занятиях?

После смерти Пушкина Баратынский писал жене:

«Провел у него (Жуковского. — *Я. Г.*) три часа, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною. Он только что созревал…»

Глубина последних стихов Пушкина поразила Баратынского. Она была для него неожиданной.

При жизни друга он искренне не считал его поэтом глубоко думающим.

Читающая публика самых разных уровней противопоставляла Пушкину Бенедиктова. Противопоставление это отличалось масштабом широчайшим. Приказчик в книжной лавке, продавая молодому Фету книжку Бенедиктова, уверял, что «этот почище Пушкина-то будет».

Николай Бестужев, один из тех, о ком Пушкин постоянно думал и чьему возвращению из Сибири как мог старался способствовать, писал в 1836 году:

«Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же».

Никогда, даже в тяжелом 1830 году, во времена самых наглых нападок критики, до такого дело не доходило. Тогда была надежда, тогда зарождался его план, тогда верилось в скорое возвращение декабристов, тогда царь казался благородным и поддающимся убеждениям, тогда Пушкин верил в своих друзей. Теперь ничего этого не было.

Он остался один на один с враждебной наглой стихией. А сил уже было мало. Он устал.

2

В 1830 году, в ответ на очередную выходку Булгарина, оповестившего свет о том, что знаменитый Ганнибал был куплен каким-то шкипером за бутылку рома и, стало быть, родство с ним составляет малую честь, — в ответ на эту выходку Пушкин написал стихотворение «Моя родословная».

Дело было не в Булгарине, которого он высмеял в постскриптуме. Дело было куда серьезнее. В стихах этих он ясно и точно объяснил, как он относится к романовским кондотьерам, новой знати. Реалии, содержавшиеся в «Моей родословной», давали возможность назвать фамилии вельмож, предков которых имел в виду поэт. Здесь он впервые выступил защитником «старых родов», того дворянства, которое строило Россию. Он оскорбил не отдельных царедворцев. Он оскорбил касту. И касту могущественную.

Пушкин знал, что делал. Одним из непременных условий осуществления его государственного плана было отстранение от власти этой «бюрократической аристократии» и замена ее истинной просвещенной аристократией, связанной кровно с русской историей и народом.

В 1835 году он написал «Выздоровление Лукулла». Это было уже не столько выступление во имя принципа, сколько вызов конкретному лицу. Одному из этой романовской знати — Уварову. Одному из столпов деспотии. Министру народного просвещения. Главе русской цензуры.

Уваровская цензура все время преследовала его, и сатира была в значительной степени ответом на эти преследования. Но не только. Это было предупреждение. Пушкин показал, что он готов к борьбе, и борьбе жестокой.

Остроту его пера знали. Его эпиграмм боялись.

Однако, напечатав «Выздоровление Лукулла», Пушкин больше проиграл, чем выиграл.

Если он хотел заниматься политической деятельностью, ему следовало быть готовым к некоторому компромиссу с окружением Николая. Его программа с самого начала предполагала такой компромисс. Но оказалось, что он не может так действовать. Вместо соглашения с тем же Уваровым он смертельно его оскорбил. Сатира завершила изоляцию Пушкина в том кругу, от которого зависела его судьба как политического деятеля.

Он дал формулу бескомпромиссности литератора-политика в одной из статей 1836 года:

«Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты пэров, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной[3] рукописью, но с неподкупной совестью».

Сатира на Уварова была шагом отчаянным. Судьба загоняла Пушкина в угол. Но он был готов защищаться до последнего. Самыми сильными средствами. Средствами, перед которыми сатиры казались игрушкой.

В начале 1836 года он послал — один за другим — три вызова. Каждый из них мог вполне кончиться дуэлью. Это была защита нападением. Он понял, что защитить себя может только сам. Больше рассчитывать было не на кого.

В январе до него дошли слухи, что молодой граф Соллогуб не совсем вежливо разговаривал на балу с Натальей Николаевной. Результатом был вызов.

На робкую попытку Соллогуба объясниться Пушкин ответил так:

---

[3] Notes: 3
«Продажной» — в смысле «можно рукопись продать».

«Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у Вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что *наговорили ей дерзостей.*

Обстоятельства не позволяют мне отправиться в Тверь раньше конца марта месяца. Прошу меня извинить».

Дуэль не состоялась случайно. Соллогуб был по службе командирован в Тверь. Встретиться они долгое время не могли. Страсти остыли. Противники помирились после того, как Соллогуб написал Наталье Николаевне письмо с объяснением.

В начале февраля светский знакомый Пушкина Хлюстин в разговоре с ним повторил издевательский пассаж Сенковского по поводу «Вастолы» и посоветовал Пушкину не принимать это близко к сердцу. Результатом был вызов. Потом они объяснились и помирились.

Обмен письмами с Хлюстиным произошел 4 февраля.

5 февраля Пушкин написал письмо князю Репнину.

В черновом виде оно выглядело так:

«Говорят, что князь Репнин позволил себе

оскорбительные отзывы. Оскорбленное лицо просит князя Репнина соблаговолить не вмешиваться в дело, которое его не касается. Это обращение продиктовано не чувством страха, или даже осторожности, но единственно чувством расположения и преданности, которое оскорбленное лицо питает к князю Репнину по известным ему причинам».

Подоплекой этого эпизода была все та же сатира на Уварова. Ведь там речь шла о болезни богача Шереметева, во время которой Уваров, его наследник, не дожидаясь смерти больного, повел себя так, как будто тот уже в могиле. А больной взял и выздоровел. Репнин тоже был родственником Шереметева и его должником, так что сатира — против воли автора — задевала и его.

Помимо личных достоинств, Репнин, не любимый Николаем, был родным братом декабриста Волконского. И, переписывая письмо набело, Пушкин значительно смягчил его, оставляя Репнину возможность объяснения:

«С сожалением вижу себя вынужденным беспокоить Ваше сиятельство; но, как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и то имя, которое оставлю детям.

Я не имею чести быть лично известен Вашему

сиятельству. Я не только никогда не оскорблял Вас, но по причинам мне известным до сих пор питал к Вам искреннее чувство уважения и признательности.

Однако некий г-н Боголюбов повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от Вас. Прошу Ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить.

Лучше нежели кто-либо я знаю расстояние, отделяющее меня от Вас; Вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я принадлежу; Вы поймете, надеюсь, без труда настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом».

При всей вежливости письмо оставляло князю только два выхода — дезавуировать Боголюбова или воспринять письмо как вызов. Он предпочел первое и написал Пушкину, что никакого Боголюбова не знает и ничего оскорбительного про Пушкина не говорил.

Неверно думать, что, ведя себя как бретер, Пушкин искал смерти. Нет. Он защищался. И сатирой на Уварова, и тремя вызовами, посланными один за другим, он старался показать, что может быть опасен.

Выбрав дуэль как радикальное средство защиты, он, конечно, пошел по самому простому для себя пути. Для него, человека абсолютной личной храбрости, прекрасного стрелка и фехтовальщика, не раз дравшегося на поединках, дуэль была не страшна.

Над проблемой дуэли в России вообще стоит задуматься. Ибо в разные времена этот способ разрешения конфликтов выполнял разные функции. Так, в первой половине двадцатых годов существовала декабристская концепция дуэли. Среди будущих мятежников были откровенные бретеры, как Лунин, Якубович. Судя по некоторым данным, и Александр Бестужев. Легко выходил на поединок Рылеев.

Идеологом дуэли как политической акции был именно Рылеев. Он был организатором и секундантом классической в этом смысле дуэли декабриста поручика Чернова и отпрыска знатной фамилии Новосильцевых. Условия были жестокими. Оба участника погибли. На похоронах Чернова тайное общество устроило первую в России политическую демонстрацию. За гробом тянулись десятки нанятых обществом карет. Шли единомышленники Чернова. Над его могилой Кюхельбекер пытался читать стихи:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым…

Временщики, трепещущие рабы царей — это были те самые «служилые аристократы», которых Пушкин считал главным злом. К ним принадлежал Уваров.

В молодости Пушкин выходил к барьеру, как только ему казалось, что хоть в малейшей степени затронуто его достоинство. Кроме того, дуэль была развлечением. Острым ощущением. Как карты, как любовь. «Есть упоение в бою…» Теперь дуэль стала для него делом высочайшей серьезности. Едва ли не единственным средством защиты против наступающего на него враждебного мира.

Для декабристов дуэль была средством нападения. А для него — защиты. «Дьявольская разница».

3

Он потерял популярность.

Он потерял надежду на реализацию своего историко-государственного плана. Он потерял

веру в друзей.

Он потерял веру в возможность создания прочного дома.

Ему оставалось — понимание и признание в будущем, а в настоящем — самоуважение, т. е. незапятнанная честь. Честь, понимаемая широко. Его честь как подлинного русского дворянина. Его честь как подлинного русского литератора. Его честь как человека долга.

Он много думал об этом в тридцатые годы — о чести и долге. «Береги честь смолоду». Он писал в одной из статей 1836 года:

«Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и бурями судьбы».

В том же году он начал перекладывать в стихи эпизод из книги Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека...»
– «Мне путешествие привычно

И днем и ночью – был бы путь, —
Тот отвечает, – неприлично
Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин, – ни черт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я».
И дон Альфонс коню дал шпоры
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетелаВатага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.

Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.
Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо, и потом
Понесся резво, легким скоком,
С своим бесстрашным седоком.

Это отрывок. Вообще многие пушкинские шедевры последних двух лет — отрывки. Факт этот имеет свое объяснение.

В последние годы совершенство пушкинского мышления, гениальный лаконизм и насыщенность его мысли стали таковы, что появился разрыв между этим лаконизмом совершенства и даже теми блестящими средствами выражения, которыми владел Пушкин.

Внутренний сюжет его стихов — мысль — часто выстраивался прежде, чем сюжет внешний. Сюжет внутренний обгонял сюжет внешний.

И стихотворение, по видимости оставаясь отрывком, было тем не менее внутренне закончено. Поэтому Пушкин и не дописывал его. Так было с поэмой «На Испанию родную…», так было с переложением из Библии «Когда владыка ассирийский…», так было и со стихами об Альфонсе. Все было сказано. Было создано стихотворение о человеке чести. Дворянине в высшем — внесоциальном — смысле слова. О человеке, для которого понятия чести и долга сливаются. Для которого не убедительны резоны бытового здравомыслия. Никакие силы земные или подземные не могут заставить его поступиться честью. Не выполнить долг. Он — бесстрашен.

Это и был внутренний сюжет. Внешняя законченность уже роли не играла.

Речь шла о том, что в любых условиях надо выполнять свой долг до конца.

4

В дни своей молодости он с надеждой смотрел на Европу. Там рождались идеи и движения, которые, казалось, должны были вот-вот обновить мир. Там была древняя культура.

В дни его молодости Европа была для него надеждой.

В 1830 году он перечеркнул для себя результаты французской революции. «Их король с зонтиком под мышкой слишком буржуазен». За этой иронической фразой скрывались претензии куда более глубокие. Новая французская литература была чужда ему. На Францию надежд больше не было.

Некогда он с интересом и надеждой смотрел на Англию.

В 1834 году в черновом варианте «Путешествия из Москвы в Петербург» он вложил в уста одного из персонажей — англичанина — такую тираду:

«Вы не видали оттенков подлости, отличающих у нас один класс от другого. Вы не видали раболепного maintien Нижней каморы перед Верхней; джентльменства перед аристократией; купечества перед джентльменством; бедности перед богатством; повиновения перед властию… А нравы наши, conversation criminal, а продажные голоса, а уловки министерства, а тиранство наше с Индиею, а отношения наши со всеми другими народами?..»

В окончательном тексте статьи путешественник говорит:

«Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных

мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию…»

Он отвернулся от Англии политической.

Летом 1836 года Пушкин писал в статье «Джон Теннер»:

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием

нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству ⟨…⟩; большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Отношения Штатов к индейским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная

несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием…»

Однако руссоистской идеализации индейцев у Пушкина тоже нет.

«Легкомысленность, невоздержанность, лукавство и жестокость — главные пороки диких американцев».

Он строго рассмотрел и взвесил то, что могло прийти в Россию с Запада, и вывел заключение, что для России это не годится. И не только потому, что Россия не была еще готова к восприятию европейского примера, а потому, что Европа и Америка сами обладали пороками, не уступающими, по его мнению, порокам российским.

В годы молодости Пушкина Вольтер, кумир Европы, был и его кумиром. Он питал к нему уважение и далее.

Но в 1836 году он писал о Вольтере:

«Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда

правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей».

Речь шла о репутации писателя-политика. Речь шла о чести.

В этом последнем году он снова следил взглядом свое движение — от первой молодости. Он взвешивал свои мнения и поступки. Он отдавал должное талантам и уму Вольтера и осуждал его как человека безнравственного.

Мера нравственности была для него теперь едва ли не главным в оценках.

Он смотрел на Вольтера не издалека. Он смотрел на него как на недавнего учителя, примером своим толкнувшего многих на ложный путь.

«Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные милости государя, ему чуждого, не имеющего никакого права его к тому принудить?..

К чести Фридерика II, скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление».

Трудно понять, сколько в этих горчайших стро-

ках, продиктованных бессильным негодованием, о Вольтере, а сколько — о себе. Трудно понять, где осуждает он Вольтера, а где — себя, последовавшего примеру учителя.

И здесь Пушкин применяет свой излюбленный прием — вводит деталь, точно указывающую на автобиографичность.

«Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане…»; «Утешения мало им (детям Пушкина. — *Я. Г.*) будет в том, что их папеньку схоронили как шута…».

Это из писем к Наталье Николаевне. К шутовскому камер-юнкерскому мундиру восходит «шутовской кафтан» Вольтера, камергера прусского двора.

«Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет…»

Он перечеркивал свои государственные надежды начала тридцатых годов. Свои иллюзии, за которые ему теперь было стыдно. Вместе с Западом, вместе с Вольтером уходила из его жизни еще одна опора.

5

На последней странице «Капитанской дочки» Пушкин поставил дату — 19 октября 1836 года. Четверть века назад был открыт Лицей…

Современное пушкиноведение относит первые черновые наброски планов романа к 1832 году. Таким образом, вся мучительная трансформация исторических и политических взглядов Пушкина в тридцатые годы проходила на фоне идущей подспудно работы над романом.

«Ничтожный герой», рядовой русский дворянин — и ход истории; эта роковая проблематика шла от «Истории села Горюхина» и предисловия к «Повестям Белкина» через «Медного всадника» к горькому финалу «Капитанской дочки».

Автор «Истории» и пересказчик «Повестей» Иван Петрович Белкин — литературный предшественник, исторический потомок и в некотором роде двойник Петра Андреевича Гринева. (Случайно ли так настойчиво варьируется столь значимое для русского XVIII века имя — Петр?) И Белкин, и Гринев из небогатых, но «хороших» дворянских семей. Оба — майорские сыновья. Начальное их воспитание и образование чрезвычайно схожи. Оба на семнадцатом году

вступают в армейскую службу. Оба имеют тягу к изящной словесности. Оба — по выходе из службы — пишут исторические сочинения. Это один социально-психологический тип. Но и разница между ними имеется.

Белкин — это русский дворянин, оказавшийся вне активного слоя истории. В службу он вступает *сразу после* Наполеоновских войн. В отставку выходит *накануне* взрыва 1825 года. Восемь лет прослужил Иван Петрович в егерском полку. И нечего ему рассказать о своей жизни, ибо жил, «переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи». За бытом Белкин не видит ничего, кроме быта. Недаром все четыре «Повести» он пересказывает с чужих слов. Неумелым хозяйствованием разорил он свое малое имение и умер от простуды, не дожив до тридцати лет, не оставив потомства. На нем пресекся «знаменитый род Белкиных».

Евгений из «Медного всадника» — это и есть разорившийся, но не умерший Белкин, вынужденный переехать в столицу и жить жалованьем. Это тот же типаж — порядочный, скромный, мечтающий о честной независимости, но лишенный

каких бы то ни было общественных амбиций. Только страшный внешний катаклизм может толкнуть его на поступок, столь отчаянный, сколь и безнадежный.

В «Капитанской дочке» Пушкин бросает честного, скромного Гринева, которому явно предстоит унылая служба, подобная белкинской, в водоворот исторической катастрофы, проверяет его смертельными обстоятельствами, требующими высоких решений.

Немаловажно, что после целого ряда вариантов фамилии героя Пушкин останавливается на фамилии Гринев, известной с XVI века и существовавшей в пушкинские времена. Это были те дворяне, на которых держалось государство в тяжкие периоды. Гриневы спасали отечество в Смутное время и за храбрость и верность жалованы были царем Михаилом, в избрании которого участвовали.

Гринев, исторический предок Белкина и Евгения, — не им чета. Он человек бодрого, молодого еще века. Он смел, силен, решителен. И ведет он себя соответственно. Но иссякают чрезвычайные обстоятельства, насильно втянувшие Гринева в действие, — и Гринев уходит с исторической арены. Ни единым словом не обмолвился «изда-

тель», знающий его дальнейшую судьбу, о службе или иной какой-нибудь деятельности Петра Андреевича. Его последний общественный поступок — присутствие на казни Пугачева. Момент, когда окровавленная голова великого мятежника оказалась в руке палача, — есть и момент ухода Гринева в исторический тупик. Каков результат жизненных усилий смелого и благородного Гринева и самоотверженной Маши Мироновой?

«Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам».

В начале Петровских реформ тридцать девять «исторических» Гриневых владели каждый собственным имением. Через сотню с лишним лет одним имением владеют десять «пушкинских» Гриневых.

«…В течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок», — сказано в «Истории села Горюхина».

В конце жизни Пушкин взглянул на свою эпоху издалека. И на подступах к ней увидел очередной этап исторической драмы, разворачивавшейся с петровских времен, — самоустранение честных, бескорыстных Гриневых, отдававших Россию на разграбление кондотьерам деспотизма.

Внуки Гриневых, Белкины и Евгении — тот социальный слой, к которому и он, Пушкин, принадлежал. «Хорошее» дворянство, вытесненное из истории. То дворянство, которое он, Пушкин, в начале тридцатых годов надеялся разбудить, просветить, объединить для противостояния деспотизму…

Горький финал «Капитанской дочки» — эпитафия этим надеждам.

Трезво и безжалостно подводил он итоги.

В январе 1837 года, за десять дней до смерти, Пушкин конспектировал книгу Крашенинникова «Описание земли Камчатки». Он собирался, очевидно, написать статью о Камчатке — для «Современника». Статью он не успел написать. Но и конспекты Пушкина всегда столь выразительны и осмысленны, что мысль ненаписанной статьи совершенно ясна.

Это должна была быть статья о безнравственности Государивы. Империя строилась средствами, которые Пушкин в 1837 году принять не мог.

6

В начале января 1837 года — последнего месяца его жизни — Пушкин снова писал о Вольтере. Он сочинил историю о том, как один из потомков

Жанны д'Арк вызвал на дуэль Вольтера за издевательскую поэму «Орлеанская девственница». Вольтер якобы ответил:

«Могу вас уверить, что никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники… о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно приписывает мне… Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославление Божиих чудес, вместо того чтобы трудиться для удовольствия публики — бессмысленной и неблагодарной».

Он снова писал о Вольтере и о себе. И о себе больше, чем о Вольтере.

Пародийная богохульная «Орлеанская девственница» была одним из образцов пушкинской пародийной богохульной «Гавриилиады».

Когда в 1828 году список «Гавриилиады» попал в руки властям и началось следствие, Пушкин — так же как и Вольтер в «Последнем из свойственников» — отрекся от своего сочинения. Он писал Вяземскому:

«До правительства дошла наконец *Гавриилиада*; приписывают ее мне».

Фраза из «письма Вольтера» — «Европа наводнена печатными глупостями, которые публика

великодушно приписывает мне» — почти текстуально напоминает жалобы Пушкина по поводу «Гавриилиады» и вообще приписываемых ему неприличных сочинений.

В 1834 году он записал в «Дневнике»:

«Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне».

Он писал еще в 1825 году:

«Всякое слово вольное, всякое сочинение возмутительное приписывается мне…»

Теперь, в конце жизни, он с горечью и сарказмом писал об этом бедствии, обвиняя в нем себя самого.

Последняя фраза «письма Вольтера» — о «публике бессмысленной и неблагодарной» — тоже фактически автоцитата. Оба эти эпитета определяют ту же публику в стихотворении «Поэт и толпа».

Он писал о себе.

«Последний из свойственников» заканчивается заметками вымышленного английского журналиста, в которых — помимо всего прочего — «Орлеанская девственница» сравнивалась с поэмой — на тот же сюжет — Соути:

«Поэма лауреата не стоит, конечно, поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соути есть подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма».

«Подвиг честного человека» — опять-таки автоцитата. Так Пушкин говорил об «Истории» Карамзина.

А последняя фраза очень точно определяет не только обстановку вокруг Вольтера и его поэмы во Франции, но и обстановку вокруг Пушкина и «Гавриилиады» в России начала двадцатых годов. Врагов и клеветников у него тоже было немало, но «Гавриилиада» не подверглась порицаниям. Ф. Ф. Вигель писал, что в то время «не только молодежь, но и пожилые люди, не понимая ни Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли вольнодумством. Не только в столице, но даже в провинции, в Пензе или Курске раздавались хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу».

Пушкин писал о себе. Шла переоценка ценностей.

Но, как и всегда у него, смысл «Последнего из свойственников» не исчерпывается одним толкованием.

Вольтер был его коллегой-историком. Он тоже напитал историю Петра Великого. «Орлеанская девственница» была поэмой, сочиненной на историческом материале. И в январе 1837 года Пушкин объяснял миру, что история не должна быть игрушкой изобретательного ума. Что в исторических сочинениях важна правда. «Подвигом честного человека» он называл поэму Соути, а не талантливое искажение этой правды, как у Вольтера.

За две недели до смерти Пушкин думал о необходимости серьезности и правдивости в сочинениях исторических.

И есть в «Последнем из свойственников» еще один мотив, который нельзя не заметить, — клевета и дуэль для ее пресечения…

7

Денежные дела его зашли окончательно в тупик. Получив в 1835 году ссуду в 30 000 рублей, он отдал половину своих долгов. К концу года у него оставалось около 28 000 частного долга, не считая 20 000 первой ссуды. Но ссуда вторая была

ему выдана в счет жалованья. Следовательно, в тридцать шестом году жалованья он не получал.

Оставались доходы от имения, гонорары и предполагаемые доходы от «Современника».

Доходы от имения он перевел на брата и сестру. Деньги это были ничтожные, а хлопоты хозяйственные отнимали массу времени и сил. И ему все равно приходилось платить долги Льва Сергеевича.

Поскольку у него был теперь свой журнал, то печатать собственные произведения у других издателей было неудобно. Он напечатал в «Современнике» «Капитанскую дочку», «Путешествие в Арзрум» и многое другое. Таким образом, гонорары прекратились.

А надежда на «Современник»?

За 1836 год «Современник» принес Пушкину 9000 рублей *убытка.* Повторялась ситуация «Истории Пугачева».

Первый и второй тома «Современника» вышли тиражом 2400 экземпляров. Третий — тиражом 1200 экземпляров. Четвертый — 900 экземпляров. Да и тот не разошелся. Интерес публики к журналу падал с каждым днем.

Казалось бы — странно. Ведь в «Современнике» печатались, кроме Пушкина, Гоголь, Вяземский,

Жуковский, Языков, Баратынский, Тютчев.

Но не их сочинения определяли главное направление журнала. Пушкин в последний раз попытался осуществить свою мечту об издании историко-политическом. Издании, которое просвещало бы Россию в соответствии с его планом. Он старался печатать материалы по русской истории, материалы, анализирующие европейские события. В «Современнике» был напечатан «Джон Теннер». В «Современнике» печатались военно-исторические статьи Дениса Давыдова. К сотрудничеству в «Современнике» настойчиво привлекал Пушкин известного военного историка Сухорукова. В первом номере журнала появилась статья П. Б. Козловского «Разбор парижского математического ежегодника». В статье говорилось:

«Наука должна быть достоянием не только высших, но и низших слоев населения. Только тогда возможно процветание науки».

Речь шла о просвещении, необходимой предпосылке переустройства России.

Пушкин старался обеспечить сотрудничество именно людей ученых.

Софья Карамзина писала брату Андрею: «Вышел второй номер „Современника“. Говорят, что

он бледен…»

В отличие от «Библиотеки для чтения», имевшей тираж 5000 экземпляров, «Современник» не старался развлекать публику. Он был совершенно серьезен. Публике эта высокая серьезность, эта историко-политическая проповедь оказалась не нужна.

Первой попыткой реализации великого плана была «История Пугачева». Последней такой попыткой было издание «Современника».

С «Истории Пугачева» началась финансовая катастрофа Пушкина. «Современником» она завершилась.

В 1836 году Пушкин не имел *вообще никаких доходов.* Убытки, которые он понес на издании «Современника», сделали его материальное положение безнадежным.

Он жил в долг, не имея никакой надежды с долгами когда-либо расплатиться. 20 октября он писал отцу:

«Лев поступил на службу и просит у меня денег; но я не в состоянии содержать всех; я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее».

«Не смею заглядывать в будущее…» Жить было

не на что в буквальном смысле. Он закладывал вещи. Ростовщику Шишкину он заложил лоханку, рукомойник, кофейник, шесть десертных ложек, двенадцать столовых ложек, одиннадцать вилок, двенадцать позолоченных десертных ложек, двенадцать ножей таких же, двенадцать вилок таких же, двенадцать чайных позолоченных ложек, три позолоченные ложки для соли, четыре десертные серебряные ложки, четыре вилки, четыре ножа, три ложки чайные серебряные, одну серебряную солонку, один серебряный соусник, часы брегетовские…

Он закладывал посуду и часы. И на это жил. Потом стал закладывать вещи, предоставленные ему для этого Соболевским. Ложка суповая, ложка рыбная, четыре соусные ложки, двадцать шесть хлебальных ложек, самовар в футляре, ситечко, сахарница… Вещи Соболевского, отданные ростовщику.

Так он жил в конце 1836 года.

Он пытался работать над «Петром». Готовил к переизданию «Историю Пугачева», хотя переиздавать ее было не на что — не было денег, а на доход от этого издания он больше не рассчитывал.

Но вряд ли труды его были успешны. Он осо-

знавал тупик, в который завела его *логика деятельности.* Он писал отцу в том же октябрьском письме:

«Здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью».

Около Натальи Николаевны давно уже появился Дантес.

8

Он писал в 1836 году:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Этот «алчный грех» не надо отождествлять с событиями внешними — с преследованиями цензуры, полицейской слежкой, нуждой. О таких — внешних — вещах Пушкин писал иначе. Страшное это четверостишие говорит о муках внутренних, муках душевных. Оно говорит о том тупике, который он осознал в страшные месяцы

второй половины 1836 года.

Это осознание завершилось в августе.

5 июля он написал стихотворение «Из Пиндемонти». Это не перевод и не переложение. Это совершенно оригинальное стихотворение. Ссылка на итальянского поэта сделана для цензуры.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Вот счастье! вот права…

Это отказ от своих государственных замыслов. От своего плана. «…Для власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов…» Ливрея здесь — отнюдь не камер-юнкерский мундир, которого Пушкин не домогался и ради которого помыслов не гнул. Тем более не было связано камер-юнкерство с властью. Нет, речь тут идет о прежних мечтах, мечтах 1831 года, с которых все началось. Мечтах о положении историографа-советчика,

человека, направляющего действия императора. Ливрея — мундир официального историографа, власть — влияние мудреца на властителя.

А позитивная, так сказать, декларация

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам… —

это программа ухода — вспомним «Странника», — ухода от деятельности, направленной на внешний мир. Это программа «юноши, читающего книгу». Мотив ухода нарастал.

22 июля были написаны «Отцы пустынники».

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

Любоначалие — властолюбие. От властолюбия, празднословия, обличения он старался отделиться. Так он трактовал свою деятельность.

Мотив ухода от деятельности перерастал в мотив ухода из жизни.

14 августа он написал «Когда за городом, задумчив, я брожу…».

Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине,

В деревне посещать кладбище родовое,

Где дремлют мертвые в торжественном покое.

Там неукрашенным могилам есть простор;

К ним ночью темною не лезет бледный вор;

Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,

Проходит селянин с молитвой и со вздохом;

На месте праздных урн и мелких пирамид,

Безносых гениев, растрепанных харит

Стоит широко дуб над важными гро-

бами,

Колеблясь и шумя…

21 августа он написал «Памятник».

В «Памятнике» он говорит о себе только как о поэте. Только поэтические труды ставит он себе в вечную заслугу. От себя как мыслителя политического, как деятеля государственного он отвернулся. Ибо все изменило ему, кроме поэзии.

С тоской смотрел он вокруг.

19 октября 1836 года он писал Чаадаеву:

«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен ⟨…⟩ Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние».

Но все было не просто. В том же письме писал он о грандиозности русской истории и преданности своей этой истории, истории его предков. Более того, он и в настоящем России старался

увидеть черты обнадеживающие.

Совершенное отчаяние было для него невозможно.

Он отрекался в стихах от своей деятельности. И продолжал ее. Не столь интенсивно, как прежде, но продолжал.

В отличие от русского общества, он не забывал свой долг.

Понимая безнадежность борьбы, он боролся до конца.

А давление враждебного мира становилось нестерпимым.

Подходили ноябрьские дни 1836 года. Начиналось физическое разрешение той духовной драмы, которая разыгрывалась с 1831 года.

9

В литературе он победил. Он победил императора с его армией и флотом. Он победил Бенкендорфа с его агентами. Он победил Булгарина с его могучей пошлостью. Он победил недоверие и непонимание друзей. Он победил свой «слепой и буйный век».

Он все это понимал. Свидетельством тому — «Памятник».

Для нас он — абсолютный победитель.

А для него самого?

Перед ним лежала Россия, ввергнутая в темноту и страдание. И уязвленная этим страданием душа его не знала покоя.

Ему не довольно было грядущей славы в веках. Ему необходимо было помочь этой несчастной стране немедленно. Он стал политиком, историком, проповедником.

Что произошло в уме и душе его за те шесть лет, что жил он новой жизнью? За те шесть лет, что вел он жизнь человека семейного и не только уже поэта, но историка и государственного мыслителя?

Заговор, на который уповали друзья его молодости, он отверг, как благородное заблуждение, не соотнесенное с реальным движением вещей и способное принести России только вред, ожесточая власть и увлекая молодые умы на путь несбыточных мечтаний.

Народное возмущение, справедливое по силе тягот и притеснений, он рассмотрел, взвесил и осудил как бессмысленное в своей неразборчивой жестокости, как бессмысленное в своем конечном бессилии и неумении победить.

Он поверил было в молодого царя — решительного, полного сил, даже с некоторой замашкой

благородства, которое должно было в нем развить. Он поверил, что можно разумными советами и примерами направить царя на разумный путь и сделать его орудием просвещения и форм. Он поверил было, что из молодого дивизионного генерала может вырасти государь под стать Петру. Но царь оказался заурядным деспотом с повадками развратника.

Он поверил, что царь смягчился сердцем и вернет его друзей, без которых трудно было направлять Россию на путь просвещения и разумной свободы. Несколько раз надежда эта пропадала и снова появлялась в нем. Но царь оказался бессмысленно злопамятен, и благороднейшие умы страны были обречены на бездействие.

Он убедил себя, что если представить России идеал правителя и правления, то пораженное общество задумается над пороками своими и своих властителей. Но, рассмотрев как беспристрастный и глубокий историк характер и поступки Петра Великого, он не увидел в нем убеждающего примера, найти который надеялся. Он три года неустанно трудился — долги росли, заботы умножались — и, представив себе наконец создание свое в деталях, подробностях и общем смысле, он понял, что готов создать правдивую и важную по

мыслям историю удивительного царствования, но предложить его России как непобедимый пример он не может. Да и то, что может он рассказать публике, не пропустит цензура.

В дни своей молодости он с надеждой смотрел на Европу. Европейские революции не только волновали кровь, они указывали путь к свободе. Но теперь, зрелым умом оценив происходящее, он сказал себе, что европейские движения чужды ему и для России непригодны.

Ему не удалось совершить задуманное. Он не смог указать России путь к просвещению и разумному счастливому устройству.

За шесть лет трудов и размышлений друзья перестали понимать его, публика перестала в него верить. Когда он был уже мертв, Вяземский написал:

«Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти…»

Он погиб не в борьбе с самодержавием и «светской чернью».

Он погиб в борьбе с русской историей, ход которой он пытался изменить.

Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой… Он был первым в этом ряду подвижников.

1973

Приложение «И Пушкин стал нам скучен…»
Из современной критики

Пушкин царствовал десять лет. «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер или, быть может, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет ⟨…⟩ По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю.

Белинский. 1834

…Охота являться перед публикою, которая вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас в своих журналах, только что не по матерну.

Пушкин – Погодину. 1834

Записка Ф. В. Булгарина в III Отделение[4], декабрь 1826 г

Замечания на «Комедию о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»

По названию *Комедия,* данному пиесе, не должно думать, что это комедия в таком роде, как называются драматические произведения, изображающие странности общества и характеров. Пушкин хотел подражать даже в заглавии старине. В начале русского театра, в 1705 году, комедией называлось какое-нибудь происшествие историческое или выдуманное, представленное *в разговоре.* В списке таковых комедий, находившихся в Посольском приказе 1709 года, мы находим заглавия: Комедия о Франталасе царе Эпирском, и о Мирандоне сыне его и о прочих; Комедия о честном изменнике, в ней же первая персона Арцух (то есть Герцог) Фридерик фон

[4] Notes: 4

Тексты критических статей публикуются — за редким исключением — без комментариев, поскольку автору было важно познакомить читателей с самой направленностью статей и характером претензий, предъявлявшихся Пушкину. Автор считает, что публикующиеся в приложении тексты иллюстрируют соображения, высказанные им в основной части книги.

Поплей; Комедия о крепости Грубетона, в ней же первая персона Александр царь Македонский, и тому подобное. В подражание сим названиям Пушкин назвал свое сочинение «Комедия о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве».

В сей пиесе нет ничего целого: это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома «Истории государства Российского», сочинения Карамзина, переделанные *в разговоры и сцены.* Характеры, происшествия, мнения, все основано на сочинении Карамзина, все оттуда позаимствовано. Автору комедии принадлежит только рассказ, расположение действия на сцены.

Почти каждая сцена составлена из событий, упомянутых в истории, исключая сцены Самозванца в корчме на литовской границе, сцены Юродивого и свидания Самозванца с Мариною Мнишек в саду, где он ей признается, что он Отрепьев, а не Царевич.

Цель пиесы — показать исторические события в естественном виде, в нравах своего века.

Дух целого сочинения монархической, ибо нигде не введены мечты о свободе, как в других сочинениях сего автора, и только одно место предосудительно в политическом отношении: народ привязывается к Самозванцу именно пото-

му, что почитает его отраслью древнего царского рода. Некоторые бояре увлекаются честолюбием — но так говорит история. Имена почти все исторические.

Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы ожидали. Это не есть подражание Шекспиру, Гёте или Шиллеру; ибо у сих поэтов в сочинениях, составленных из разных эпох, всегда находится связь и целое в пиесах. У Пушкина это разговоры, припоминающие разговоры Валтера Скотта. Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Валтера Скотта! Для русских это будет чрезвычайно интересно по новости рода и по отечественным событиям — для иностранцев все это потеряно. Некоторые сцены, как, например, первая на рубеже России, сцена, когда монах Пимен пишет историю, а молодой инок Гришка Отрепьев спит в келье, сцена Гришки Отрепьева в корчме на литовской границе и еще некоторые места истинно занимательны и народны — но в целом составе нет ничего такого, которое бы показывало сильные порывы чувства или пламенное пиитическое воображение. Все подражание, от первой сцены до последней. Прекрасных стихов и тирад весьма мало.

Некоторые места должно непременно исклю-

чить. Говоря сие, должно заметить, что человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнесть ни в одном благопристойном трактире! Например, слова Маржерета. См. № 1.

В сцене Юродивого № 2 слова «не надобно бы молиться за Царя Ирода», хотя не подлежат никаким толкам и применениям, но так говорят *раскольники* и называют Иродом каждого, кого им заблагорассудится, кто бреет бороду и т. п.

№ 3. Сия тирада произведет неприятное впечатление. У нас еще не привыкли, чтобы каждый герой романа говорил *своим* языком без возражения вслед за его умствованием. Предоставлять каждому читателю возражать самому — еще у нас не принято, да и публика наша для сего не созрела.

№ 4. Здесь представлено, что народ с воплем и слезами просит Бориса принять царский венец (как сказано у Карамзина), а между тем изображено, что люди плачут, сами не знают о чем, а другие вовсе не могут проливать слез и хотят луком натирать глаза! «О чем мы плачем?» — говорит один. «А как нам знать, то ведают бояре, не нам чета!» — отвечает другой. — Затрудняюсь в изложении моего мнения на счет сей сцены.

Прилично ли так толковать народные чувства?

№ 5. Сцену в корчме можно бы смягчить: монахи слишком представлены в развратном виде. Пословица «Вольному воля, *спасенному* рай» переделана: «Вольному воля, а *пьяному* рай». — Хотя эти монахи и бежали из монастыря и хотя это обстоятельство находится у Карамзина, но кажется, самый разврат и попойка должны быть облагорожены в поэзии, особенно в отношении к званию монахов.

№ 6. Решительно должно выкинуть весь монолог. Во-первых, царская власть представлена в ужасном виде; во-вторых, явно говорится, что кто только будет обещать свободу крестьянам, тот взбунтует их. В Юрьев день можно было до царствования Бориса Годунова переходить с места на место.

За сими исключениями и поправками, кажется, нет никакого препятствия к напечатанию пиесы. Разумеется, что играть ее невозможно и не должно; ибо у нас не видывали патриарха и монахов на сцене. До 1818 года в повестях, песнях и романах выводили в действие монахов и даже не всегда в блестящих цветах. Во время мистицизма и влияния духовенства на литературу даже имена монахов и священников запрещалось строго упо-

минать; нельзя было сказать: «Отец мой!» — По падении мистицизма и уничтожении монашеского влияния показались две пиесы, где монахи выведены в действие: «Чернец», поэма, сочин. Козлова, и «Русалка» Пушкина. Обе пиесы подвергались гонению духовенства, и на них были приносимы жалобы министру просвещения. — Но в публике это не производит ни малейшего впечатления, и у нас есть народные, напечатанные песни, в коих даже монахи представлены в самом развратном виде. Характеристическая черта русского народа есть та, что он привержен к вере и обрядам церковным, но вовсе не уважает духовного звания, как тогда только, когда оно в полном облачении. Все сказки, все анекдоты не обойдутся без попа — представленного всегда в дурном виде. И так кажется, что введение патриарха и монахов в сочинение Пушкина не произведет никакого дурного впечатления в публике, исключая партии, приверженной к системе мистицизма. Впрочем, это зависит совершенно от того, как угодно будет смотреть на сей предмет: у Карамзина все это описано вдесятеро сильнее — и он говорит даже, что в то время Россия была наполнена беглыми монахами, которые, скитаясь по обителям, делали большие соблазны

и даже злодеяния. Здесь только в одной сцене представлены они в попойке.

Выписка из комедии о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве

Ход пиесы.

Она начинается со дня вступления Годунова на царство; изображает притворство и лукавство Бориса, отклонявшего сначала от себя высокий сан царя, по избранию духовенства и бояр; возобновление усильных их убеждений и, наконец, его согласие и принятие правления.

Нахождение Отрепьева в Чудове монастыре монахом, в келье Пимена летописца, который, рассказывая ему о убиении Димитрия Царевича, упомянул, что если б Димитрий был жив, то он бы был ровесник ему по летам. — Дерзкое предприятие Отрепьева назваться Царевичем; бегство его из монастыря и из России в Литву. — Пребывание в Кракове; удача Самозванца; помощь, оказываемая ему королем и вельможами. — Пребывание его в имении Мнишка; любовь его к Марине.

Распространение в Москве слухов о Самозванце; беспокойство и различные толки в народе; меры осторожности Царя Бориса.

Вступление Самозванца в Россию, с шайкою

его приверженцев; сражения; различные успехи с обеих сторон.

Страдание Бориса, мучимого совестию; предложение патриарха перенести мощи Димитрия Царевича из Углича в Москву для уверения народа о его смерти. — Отклонение сего предложения к[нязем] Шуйским, с коим Царь соглашается. — Молебствия в присутствии Бориса; беспокойство его от угрызения совести; он изнемогает. — Назначение сына Феодора наследником. Патриарх, духовенство и бояре признают его Царем. — Пострижение Бориса; его смерть. Царство Феодора. — Речь Пушкина (Гаврила), прибывшего от Самозванца в Москву, к народу, о признании Царем законного наследника Димитрия Царевича и о истреблении рода Бориса Годунова.

Заключение под стражу Царя Феодора и его сестры Ксении. — Прибытие в палаты, где заключены высокие пленники, бояр Голицына и Милославского. — Стоны и вопли, исходящие из палат. — Объявление о смерти Царя и его матери. Провозглашение Царем Димитрия Ивановича.

Вышеозначенные происшествия происходят: в Москве на площадях около соборов и монастырей, в Чудовом монастыре; в палатах царских, в домах бояр. На границе Литвы: в корчме, Кракове

в жилище Самозванца, в доме Мнишка. На границе России: в лагерях около Новгорода-Северского и проч.

Действующие лица: Царь Борис со всем своим семейством; патриарх, монахи, бояре, народ; юродивый Николка; Отрепьев, его приверженцы; князь Курбский, Хрущев, Пушкин (Гаврило), Мнишек, Марина и проч.

Выписки. № 1.

Маржерет.

Tudieu, il y fait chaud! — Ce diable de Samozvanets, comme ils l'appellent, est un bougre, qui a dupoil au cul — qu'en pensez-vous, mein herr.

№ 2.

Юродивый.

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Царь.

Подать ему милостыню. О чем он плачет?

Юродивый.

Николку маленькие дети обижают… вели их зарезать, как зарезал ты маленького Царевича.

Бояре.

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Царь.

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка!

Юродивый.

Нет, нет! нельзя молиться за Царя Ирода — Богородица не велит.

№ 3. Царь.

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный Самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ,
Твори добро – не скажет он спасибо.
Грабь и казни – тебе не будет хуже.

№ 4.

Народ.

Ах, смилуйся, Отец наш! властвуй нами!
Будь наш Отец, наш Царь!

Один *(тихо).*

О чем мы плачем?

Другой.

А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета.

Баба с ребенком.

Ну, что ж? как надо плакать,

Так и затих! вот я тебя! вот бука!

Плачь, баловень! *(бросает его об земь; ребенок пищит).*

Ну, то-то же.

Один.

Все плачут,

Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат,

Да не могу.

Первый.

Я также. Нет ли луку?

Потрем глаза.

№ 5.

Монахи пьют; Варлаам затягивает песню: Ты проходишь, дорогая, и проч.

(Григорью): Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?

Григорий.

Не хочу.

Мисоил.

Вольному воля…

Варлаам.

А пьяному рай, от[ец] Мисоил! выпьем же чарочку за шинкарочку…

(«…неволей добрый молодец» и проч.).

Однако, отец Мисоил, когда я пью, так трезвых не люблю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить как мы, милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу не товарищ.

Григорий.

Пей, да про себя разумей, отец Варлаам; видишь, и я порой складно говорить умею.

Варлаам.

А что мне про себя разуметь!

Мисоил.

Оставь его, от[ец] Варлаам.

Варлаам.

Да что он за постник? сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спесивится; может быть, кобылу нюхал… *(пьет и поет).*

Григорий хозяйке.

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка.

В Литву, мой кормилец, к Луевым горам.

Григорий.

А далече ли до Луевых гор?

Хозяйка.

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий.

Как заставы! что это значит?

Хозяйка.

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Григорий *(про себя).*

Вот тебе, бабушка, Юрьев день.

Варлаам.

Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с от[цом] Мисоилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

Мисоил.

Складно сказано, от[ец] Варлаам.

№ 6.

Боярин Пушкин.

Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,

Что на колу кровавом всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а Царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды – где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, Отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнаньи.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи? мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами,
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры;
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот – Юрьев день задумал уничтожить.

Не властны мы в поместиях своих,
Не смей согнать ленивца! рад не рад,
Корми его, не смей переманить
Работника, не то в приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? а легче ли народу?
Спроси его. Попробуй Самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Цит. по: «Видок Фиглярин» письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. «Новое литературное обозрение». М., 1998

Н. И. Надеждин
«Полтава», поэма Александра Пушкина
Фрагменты

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam Viribus!

Horat(ius) «De art(e) poet(ica)»

Берите труд всегда не выше сил своих!

Перев(од) А. Ф. Мерзл(якова)

«Говорить правду — потерять дружбу!» — так гласит старинная русская пословица; и ничто не доказывает столько ее справедливости, как повседневные явления литературного нашего мира. Чудное дело! Истинная *красота,* кажется, одна; и посему все, посвящающие себя ее служению, не должны б ли были составлять единого священного братства, проникаемого и оживотворяемого единым духом любви? Но между тем — какое странное зрелище представляет ныне Парнас наш!.. Сыны благодатного Феба, жрецы кротких Муз — только что не вцепляются друг другу в волосы. Куда ни обернись — везде шум и крик, везде смуты и сплетни, везде свары и брани ⟨…⟩

Незнак⟨омец⟩.

Ах! любезные! друзья мои! Для *гения* не довольно смастерить «Евгения»!

Флюгер⟨овский⟩. Понимаю!.. Это старинные возгласы школяров, уличающих *Пушкина* ничтожностью обработываемых им предметов! — Но и от этого упрека — если только может иметь он какую-нибудь значительность — *Пушкин* ныне освобождается. Вы, конечно, читали «Полтаву»!..

Незнак⟨омец⟩ *(хладнокровно).* Читал.

Флюгер⟨овский⟩. И что же?

Незнак⟨омец⟩. И — ничего!..

Флюгер⟨овский⟩. Как — ничего?.. Не является ли здесь наш поэт достойным соревнователем, или лучше, опасным соперником *Байрона*?..

Незнак⟨омец⟩. Сомневаюсь!.. Да мне кажется, что и сам он едва ли имел намерение входить в состязание с *Байроном*!.. По крайней мере, он добровольно отказался от удовольствия столкнуться с ним даже в имени поэмы; и, разманив нас «Мазепою», грянул внезапно «Полтавой»!..

Флюгер⟨овский⟩. Но это последнее название предпочтено поэтом, вероятно, потому, что оно звучит знакомее и роднее сердцу каждого русского. *Полтава* есть драгоценнейшее перло в венце славы нашего отечества!.. Одно имя ее пробуждает в нас драгоценнейшие воспоминания…

Незнак⟨омец⟩. Которые сама поэма опять усыпляет!.. Странное дело!.. В этом поэтическом зданьице, носящем величественное имя *Полтавы,* сама *Полтава* составляет такой неприметный уголок, что его едва и отыскать можно. Описание Полтавского сражения, вставленное в третью песнь поэмы, столь маловажно для целого ее состава, что при совершенном уничтожении оного потеряла бы только толщина книжки[5]. — Воля

[5] Notes: 5

Тогда было бы меньше трудов и для типографии! А цена-то книжке могла б быть все та же!.. — Прим⟨ечание⟩ наборщ⟨ика⟩.

ваша, господа!.. а мне кажется, что наш Байрон поступил бы гораздо лучше, если б удержал для своей поэмы имя «Мазепа», прославленное его принципалом, тогда б, по крайней мере, никто не осмелился утверждать, что между им и *Байроном* нет ни малейшего сходства!

Флюгер⟨овский⟩. А теперь — разве вы осмелитесь это сделать?..

Незнак⟨омец⟩. Не обинуясь нимало! — Я не знаю еще, как вы разумеете Байрона!.. У нас об нем говорят очень много: и все почти без толку!.. Если принять вместе с автором журнальной статейки, на которую ссылался недавно почтенный ваш товарищ, что отличительный характер байронизма состоит в уменьи *рассказывать с средины происшествия или с конца, не заботясь вовсе о спаянии частей*[6], то мы можем вести счет нашим Байронам дюжинами. Неблагодарная забота о *спаянии частей* в наши времена у наших поэтов — отнюдь не диковинка!.. но — *Байрон,* кажется, имел кое-что побольше и поважнее; и ежели *люди бросились на его поэмы, как алкающие в Аравийской пустыне к источнику ключевой воды,* то, верно, не по причине царствующего в них *беспорядка,*

---

[6] Notes: 6
«С⟨ын⟩ о⟨течества⟩ и С⟨еверный⟩ а⟨рхив⟩», с. 38.

которого *ужасаются* не одни только *педанты*[7]. У Байрона был точно гений — и какой гений!.. Ничто не может быть вернее и ужаснее очерка, набросанного Ламартином:

И этим сатанинским величием *отливают* все *творения Байрона!..* Он всегда верен самому себе: и тогда, когда пытается святотатски обнажить девственные таинства *неба и земли;* и тогда, когда унижается до постыдного лаяния площадного памфлетиста. Везде то же мрачное всененавидение; везде те же безотрадные картины сиротствующего бытия, коего летаргическое усыпление взрывается только буйными порывами бунтующей жизни. *Байроновы* поэмы суть запустевшие кладбища, на которых плотоядные коршуны отбивают с остервенением у шипящих змей полуистлевшие черепы. Его мир есть — ад; и — какое исполинское величие потребно для Полифема, избравшего себе жилищем сию беспредельную бездну?..

Jacuitque per antrum

---

[7] Notes: 7

Экая чудная память! Слово в слово опять из «С(ына) о(течества) и С(еверного) а(рхива)» (с. 39). — Пр(имечание) соч(инителя).

Immensus!..[8]

К чести нашего поэта, должно сказать, что подобное величие ему чуждо. Он еще не перерос скудной меры человечества; и душа его — даже слишком — дружна с земною жизнию. Ни от одной из его поэм не пашет этою могильною сыростью, от которой кровь стынет в жилах при чтении *Байрона.* Его герои — в самых мрачнейших произведениях его фантазии — каковы: «Братья разбойники» и «Цыгане» — суть не дьяволы, а бесенята. И ежели иногда случается ему понегодовать на мир, то это бывает просто — с сердцов, а не из ненависти. Как же можно сравнивать его с *Байроном*?.. Они не имеют ничего общего, кроме разве внешней формы изложения, которая никогда и нигде не может составлять главного. Доказательство у нас пред глазами. И тот и другой написали две поэмы, имеющие предметом одного и того же главного героя и долженствовавшие даже носить одно и то же имя. Сравним их между собою! — Что такое Мазепа *Байрона*?.. Олицетворенный идеал буйной независимости, посмеивающийся всем ударам и козням враждебной жизни!.. Старый украинский

---

[8] Notes: 8
И лежал, распростершись в пещере, огромный!.. *(лат.) — Ред.*

гетман, вышедши из-под *Байроновой* кисти, представляет то же в галерее нравственного мира, что бурный конь, мчавший его по степям подольским, в панораме мира физического.

Les cris du désespoir sont tes plus doux concerts;

Le mal est ton spectacle, et l'homme est ta victime!

Ton oeil, comme Satan, a mesuré l'abîme,

Et ton âme, y plongeant loin du jour et de Dieu,

A dit à l'espérance, un éternel adieu!

Comme lui, maintenant, régnant dans les ténèbres,

Ton génie invincible éclate en chants funèbres;

Il triomphe, et ta voix, sur un mode infernal,

Chante l'hymne de gloire au sombre dieu

du mal![9]

He was wild,
Wild as the wild deer!..

Torrents less rapid and less rash![10]

И мы смело можем повторить здесь о нем то, что сам *Байрон* влагает в уста *Карлу XII*:

On the earth,
So fit a pair had never birth,
As the Bucephalus and thou![11] —

Я не буду распространяться о том, каким образом *Байрон* воплотил идеал сей. Это сделано вполне — *байронски!..* Для читателей, как и для самого *Байронова Мазепы, небо кажется* также

---

[9] Notes: 9

И ты, Байрон, паришь, презревши жалкий мир:
Зло – зрелище твое, отчаянье – твой пир.
Твой взор, твой смертный взор, измерил злоключенья;
В душе твоей не Бог, но демон искушенья:
Как он, ты движешь все, ты – мрака властелин,
Надежды кроткий луч отвергнул ты один;
Вопль смертных для тебя – приятная отрада;
Неистовый, как ад, поешь ты в славу ада...

(Пер. с фр. А. И. Полежаева). – Ред.

[10] Notes: 10

Он был дик.

Дик, как дикий олень!..
. . . . . .
Быстрее стремительных потоков!.. *(англ.) — Ред.*

[11] Notes: 11
На земле
Никогда не рождалось такой ладной пары,
Как твой Буцефал и ты! *(англ.) — Ред.*

вертящимся колесом и *деревья шатаются, как пьяные.* И я не знаю, започивал ли бы так сладко, при всем своем изможднии, северный Александр, когда б дослушался до хладнокровного заключения, коим заговорившийся старец завершил сию огневую выдержку из юных лет своих:

Comrades, good night!..[12]

Это одно расстилает гигантскую тень от *Мазепы,* сотворенного *Байроном!* — Таков ли *Мазепа* Пушкина?.. Поэт не поленился нам дать обстоятельное сведение о герое своей повести; и что же узнаём мы?.. Как жаль, что нет теперь под рукою книжки!

Я *(вынув из кармана).* Если угодно, так вот она, к вашим услугам!

Незнак⟨омец⟩. Как это кстати! Извольте же прислушать:

Чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно

---

[12] Notes: 12
Доброй ночи, соратники! *(англ.) — Ред.*

Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый
Жалеет он о прошлых днях.
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды,
С тех пор как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал,
Что он не ведает святыни,

Что он не помнит благостыни (?)[13]
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него (⟨стр.⟩ 13, 14 и 15).

Этот *Мазепа* есть не что иное, как лицемерный, бездушный старичишка! — Тот ли это *Мазепа,* который в ночь, сменившую роковой Полтавский день, возле травяного ложа изможденного Карла,

Made
His pillow in an old oaks shade,
Himself as rough and scarce less old,
calm and bold?[14]

У *Байрона* старый гетман засыпает сладко подле венценосного беглеца; и его *листвяная постель* не кажется ему *ни жесткою, ни новою;* у *Пушкина*

---

[13] Notes: 13

— Как мастерски поэт наш умеет пользоваться богатою сокровищницею славянского языка!.. А велика ли благостыня?.. — Примеч⟨ание⟩ одного посетителя типографии.

[14] Notes: 14

В тени старого дуба —
Сам такой же, как грубый и старый,
спокойный и смелый? *(англ.) — Ред.*

напротив —

> *…Сон Мазепы смутен был:*
>
> *В нем мрачный дух не знал покоя (⟨стр.⟩ 78).*

У *Байрона…*

Я. Но позвольте сказать вам, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, что это самое несходство с *Байроном* в изображении характера *Мазепы* может, кажется, служить к чести нашего поэта, а не к укоризне. *Байрон* точно создал своего *Мазепу*, или лучше — созданный им идеал назвал *Мазепою; Пушкин* же, по собственному своему признанию, хотел только — *развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица* («Полт⟨ава⟩». ⟨Стр.⟩ VII); и, следовательно, должен был заключиться в тесных рамках неблагодарной достоверности.

Незнак⟨омец⟩. Хорошо бы, когда б так!.. Но если бы *Мазепа* был действительно таков, каковым он представлен в поэме *Пушкина*, то я не знаю, стоил ли бы он поэтической обработки?.. Лепить горшки можно из всего; но — из простой печной глины вырабатывать прекрасную статую, назначаемую для украшения святилища муз, было бы — безрассудно и смешно! — Итак, *Пушкин* — или неудачно

выбрал, или… неудачно выполнил!..

Флюгер⟨овский⟩. Последнее невозможно!.. Может *ли Пушкин* выполнить неудачно то, за что примется?..

Незнак⟨омец⟩. И не *Пушкины* надрывались тогда, когда брали дело не по силам!

Флюгер⟨овский⟩. Не по силам?.. Где я?.. Не в земле ли коряков и чукчей?..

Незнак⟨омец⟩ *(улыбаясь).* Молодой человек! Будьте скупее на риторические фигуры!.. Что удивительного находите вы в словах моих?.. В мире все устроено по числу, мере и весу: каждая сила имеет свой круг, свой масштаб, свои пропорции. Что ж мудреного, если и для духа человеческого, на какой бы степени ни стоял он, — одно по силам, а другое не по силам?.. Самому великому Ломоносову не по силам было эпическое величие века Петрова, а *Мазепа* есть не последнее созвездие в планетной системе сего незападающего солнца!.. Самое проклятие, тяготеющее над его памятью, обличает в нем силу характера, коей для истинного величия недоставало только достойного направления: старых волокит награждают не проклятиями, а жалким пожатием плеч и презрительным смехом! — Грешно было бы думать, *что не было ни отчизны, ни свободы*

для человека, утешавшего себя сею мыслию:

Нехай вечна будет слава,
Же през шаблю маем права!

Я. Но — историческая достоверность?..

Незнак(омец). Я цитовал вам теперь собственные слова *Мазепы*...[15] Это стоит, кажется, слухов! — Но у нас есть другие очевиднейшие свидетельства, доказывающие, что певец *Полтавы* не слишком много стеснялся историческою достоверностию!.. Не говорю о героине поэмы, которая не сохранила даже подлинного своего имени, быв перекрещена из Матрены в Марию, в силу поэтического самоуправства. Что такое *Кочубей*?.. Не самообрекшаяся жертва верности к престолу и любви к отечеству, а злобный, мстительный

---

[15] Notes: 15

Почтенный незнакомец не читал еще тогда «Галатеи», которая, со всем дамским своеволием, утверждает просто и наотрез, что еще «неизвестно, когда написана дума», из которой взяты цитованные здесь стихи, — и что «даже недостоверно, точно ли она сочинена Мазепою» («Гал(атея)», № 17, с. 49). — Прим(ечание) соч(инителя). — Но почему же наша журнальная красавица, не в добрый час принявшаяся за археологическую критику, предпочитает в достоверности не только сей думе, но и всем возможным думам — договор Мазепы с королем Станиславом?.. В каком будуаре удалось ей видеть оригинал или, по крайней мере, верную копию сего договора? — Сам почтенный автор «Истории Малороссии» упоминает об нем только со слов Адлерфельда, который даже позабыл фамилию польского сенатора, дополнявшего якобы собой шестеричное число избранных, коим одним упомянутый договор и был известен. (См. «Истор(ию) Малор(оссии)» Бантыш-Каменского, ч. III, с. 125.) Дамское своенравие — не больше! — Примеч(ание)

неизвест⟨ного⟩ посетит⟨еля⟩ типограф⟨ии⟩.

старик, затеявший доконать вероломного кума, во что бы то ни стало, и не умевший скрасить последних минут своих ни благородною твердостью невинности, ни всепрощающим смирением любви христианской! — Что такое *Карл XII*?.. Извольте слушать:

Он – мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать,
Ответствовать на бомбу смехом;
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану,
Свалить… казака
И обменять на рану рану.
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен и кичлив.
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага

Успехом прошлым только мерит —
Сломить ему свои рога! (⟨стр.⟩ 66)

Что такое сам Петр — Великий Петр?..

Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова, как во дни былые,
Держать Мазепу за усы! (⟨стр.⟩ 68)

А!.. каковы портреты!.. Подумаешь, что дело идет о *Фарлафе* и *Рогдае*! — И всему виной — историческая достоверность?.. Не гораздо ли естественнее догадаться, что певец «Руслана и Людмилы» просто *зарубил дерево не по себе?..* Подобные гротески в своем месте посмешили бы, конечно, в сладость; но здесь они, право, возбуждают сожаление!..

Флюгер⟨овский⟩. Какое же понятие вы имеете о чародейской музе Пушкина?..

Незнак⟨омец⟩. Самое настоящее! Ни более, ни менее, как что она в самом деле! — Это есть, по моему мнению, резвая шалунья![16] для которой

---

[16] Notes: 16

Какая напраслина!.. Сам поэт в посвящении «Полтавы» называет музу свою — «музой темной»!.. Извольте справиться! — Прим⟨ечание⟩ неизв⟨естного⟩ посет⟨ителя⟩ типогр⟨афии⟩. — А будто в темноте нельзя шалить и резвиться! — Прим⟨ечание⟩ наборщ⟨ика⟩.

весь мир ни в копейку. Ее стихия — пересмехать все — худое и хорошее… не из злости или презрения, а просто — из охоты позубоскалить. Это-то сообщает особую физиономию поэтическому направлению *Пушкина,* отличающую оное решительно от *Байроновой* мисантропии и от *Жан-Палева* юморизма. Поэзия *Пушкина* есть *просто — пародия.* Нечего Бога гневить!.. Что правда — то правда!.. Мастер посмеяться и посмешить… когда только, разумеется, знает честь и меру! — И ежели можно быть великим в малых делах, то *Пушкина* можно назвать по всем правам гением — *на карикатуры*!.. Пускай спорят прочие: «Бахчисарайскому» ли «фонтану» или «Цыганам» принадлежит первенство между произведениями *Пушкина*? По моему мнению, самое лучшее его творение есть — «Граф Нулин»!..

Я (с изумлением). «Граф Нулин»!.. Что вы говорите!..

Незнак(омец). Да! да! «Граф Нулин»! — Здесь поэт находится в своей стихии, и его парадоксальный гений является во всем своем арлекинском величии. За сим следует непосредственно «Руслан и Людмила». Какое обилие самых уродливых гротесков, самых смешных карикатур! Истинно — животики надорвешь!..

Флюгер⟨овский⟩. У меня не стает сил более!.. А «Бахчисарайский фонтан»? А «Кавказский пленник»? А «Братья разбойники»? А «Цыгане»? А «Полтава»?.. Это все также — *пародии?..*

Незнак⟨омец⟩. Без сомнения, не *пародии*! И тем для них — хуже!.. Но между тем во всех их проскакивает более или менее характеристическое направление поэта — даже, может быть, против собственной его воли. Это, конечно, и не удивительно! Привыкши зубоскалить, мудрено сохранить долго важный вид, не изменяя самому себе: вероломные гримасы прорываются украдкой сквозь личину поддельной сановитости. За примерами незачем ходить далеко: развернем «Полтаву»!..

Вестник Европы. 1829. Ч. 164. № 8

Ф. В. Булгарин
Второе письмо из Карлова на Каменный остров

Фрагмент

⟨…⟩ Иногда залетают к нам вести из Германии и даже из Парижа! Так, например, в нашем городе получено письмо из Парижа, в котором уведом-

ляют, что в чужих краях странствуют несколько юных россиян, которые выдают себя за первоклассных русских поэтов, философов и критиков и всем журналистам обещают сообщать известия о России, а более о русской литературе. Тот самый почтенный критик, который выступил на поприще словесности в нынешнем году «Обозрением словесности», напечатанным в альманахе «Денница», и назвал моего бедного «Выжигина» книгою одного достоинства с сонниками и гадательными книгами, а читателей «Выжигина» сравнял с публикой толкучего рынка, — этот самый критик, одевший музу нашего доброго издателя «Литер(атурной) газеты» (мимоходом сказать, столь же виноватого во вздорных критиках сей газеты, как я пред Великим Моголом) в душегрейку новейшего уныния, этот самый почтенный критик — наименован в числе первых сотрудников иностранных журналов! Другой, автор писем из Италии, помещаемых в «Московском вестнике», и соучастник по изданию сего журнала. Можешь себе представить, каково будет доставаться *нам* в этих известиях о русской литературе и на какую степень станут поэты и прозаики, которых издатель «Моск(овского) телеграфа» в шутку назвал знаменитыми и лите-

ратурными аристократами! Не могу удержаться от смеха, когда подумаю, что они приняли это за правду и в ответ на это заговорили в своем листке о дворянстве!! Жаль, что Мольер не живет в наше время. Какая неоцененная черта для его комедии «Мещанин во дворянстве»! Добрые люди! мне, право, жаль их. Какой вздор они вскидывают сами на себя. Говорят, что лордство Байрона и аристократические его выходки, при образе мыслей — бог весть каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах и что все они заговорили о шестисотлетнем дворянстве! В добрый час! Дай бог, чтоб это вперило желание быть достойными знаменитых предков (если у кого есть они); однако ж это не сделает глаже и умнее ни прозы, ни стихов. Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата, или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рому! Думали ли тогда, что к этому негру

признается стихотворец! — Vanitas vanitatum![17]

Вот что значит писать из места, где нет новостей! Перо, как волшебный жезл, переносит мысль за тридевять земель, и я из Дерпта шагнул в Париж, оттуда упал на «Литературную газету» и очнулся в Африке! Помнишь ли, что в начале года утверждали в «Литер⟨атурной⟩ газете», будто музыка и архитектура не изящные искусства и что слушать музыку есть то же, что греться у печи или ездить верхом? Но это суждение — жемчуг в сравнении с тем, что печатается в каждом листке; итак, поневоле, вспомнив об этой газете, вспомнишь об Африке! Вот как мысль соединяет два предмета, которые с первого взгляда, кажется, не имеют между собою ничего общего.

Прощай и пиши, что у вас нового. Новости у нас, как вода на мельнице, приводят в движение жернова и доставляют пищу. Жду и ждем!

Северная пчела. 1830. № 94

М. А. Бестужев-Рюмин
Сплетница

---

[17] Notes: 17
Суета сует! *(лат.) — Ред.*

Фрагмент

⟨...⟩ А. А. Габенихтсина открыла свой магазин очень недавно, не более четырех месяцев тому назад. Разумеется, она на первый раз, подобно другим магазинщицам, пустилась на хитрости: сделала приманчивую вывеску к своему магазину и объявила, что она открыла его не для всей публики, но только для нескольких своих приятельниц, будто бы не хотевших выставлять напоказ в других магазинах свое рукоделье. Если сказать правду, то она при открытии своего магазина имела цель довольно основательную: некоторые из реченных ее приятельниц работали прежде прилежно, стараясь по возможности представлять изделия свои в лучшем виде, и потому продавали их весьма успешно, хотя и крайне дорогою ценою. В последствии времени они, избалованные тем, что имели много покупателей, стали лениться и начали работать кое-как, лишь бы с рук сбыть да взять денежки. Публика, увидев, что за решительный вздор по пяти и по десяти рублей платить не для чего, естественно, охладела к покупке рукоделья приятельниц Аделаиды Антоновны. Эта последняя, видя, что дело приходит плохо, рассудила открыть свой

магазин, чтобы иметь случай подавать голос в пользу своих приятельниц и защищать их от огласки других магазинщиц, которые начали указывать на них пальцами. Если теперь поступает в продажу что-нибудь из рукоделья ее приятельниц, то Аделаида Антоновна так и рассыпается мелким бесом и не знает, как бы лучше расхвалить мастерство дорогой кумушки. Так, например, однажды она восклицала: «Купите, мои милостивцы, купите, мои родимые, купите, мои голубчики! Эта штучка произведет над вами такое же действие, как зрелище некогда милых нам мест, но уже оставленных теми особами, которые их одушевляли. Прелесть их не изменилась, но *мы*[18], рассматривая их, напрасно хотим воскресить в душе те чувствования, которыми наполнялась она в прежнее время. Мастерица до такой степени совершенства довела искусство свое, что вы, пока еще не успеете заметить *оного,* станете мысленно укорять мастерицу в недоконченности целой ее работы. Но это самое впечатление, это желание перемены в чувствованиях и неудовлетворительность надежд есть

[18] Notes: 18

В этом случае под словом «мы» Адел(аида) Ант(оновна) разумела себя и ту мастерицу, о работе коей шло дело и которая невидимо для покупателей подсказывала ей речь сию.

верх искусства художницы. Власть ее над нами столь сильна, что она не только вводит нас в круг изображаемых ею предметов, но изгоняет из души наглей холодное любопытство, с которым являемся мы на зрелища посторонние, и велит участвовать в действии самом, как будто бы оно касалось до нас собственно. Всем известен анекдот об одном короле, который бывал недоволен собою, слушая своего проповедника». Окончив длинную сию панегирику, Адел⟨аида⟩ Ант⟨оновна⟩ прокричала *da capo*[19]: «Купите, мои милостивцы, купите, мои родимые, купите, мои голубчики!» — В другой раз кто-то заметил Адел⟨аиде⟩ Ант⟨оновне⟩, что в расхваливаемом ею рукодельице ее приятельницы есть много чужого, принадлежащего искусству другой художницы. Ах, как тогда разворчалась Адел⟨аида⟩ Ант⟨оновна⟩!.. Вот что она говорила: «Что вы, что вы, злые люди! мастерство дорогой моей Александры Сергеевны лучше всех защитников отвечает за себя своими красотами!.. Если чем она и занялась от других, то сими хищениями удачно, с искусством, ей свойственным, украсила превосходное свое рукоделье!» В третий раз при

[19] Notes: 19
Снова *(ит.). — Ред.*

выставке одной старой работы, которая была уже известна, Адел⟨аида⟩ Ант⟨оновна⟩ восклицала: «Добрые люди! глядите и пересматривайте с восхищением это поновленное рукоделье дорогой моей кумушки Александры Сергеевны. Человек, не лишенный чувства изящного, не устанет смотреть на подобные вещи, как охотник до жемчугу пересматривать богатое ожерелье. В каждый новый раз удовольствие усугубляется, потому что все более и более убеждаешься в неподдельной красоте этой драгоценности. Дорогая моя кумушка Александра Сергеевна достигла в этой вещи до неподражаемой зрелости искусства и во многих местах обнаружила истинное дарование, с большим блеском впоследствии развившееся в двух других ее рукодельях (NB. из коих одно, по словам Адел⟨аиды⟩ Ант⟨оновны⟩, хотя и за пять лет пред сим сделано, но кроме ее, Адел⟨аиды⟩ Ант⟨оновны⟩, и дорогой ее кумушки, знаменитой художницы Алекс⟨андры⟩ Серг⟨еевны⟩, едва ли и двум еще христианским душам известно; следственно, неведомое для всех можно превозносить до nec plus ultra[20]. Кто будет спорить о том, чего не знает? — Уловка мастерская! — Хитра же

[20] Notes: 20
Последней степени *(лат.). — Ред.*

Адел⟨аида⟩ Антоновна! Честь ей и слава! — Vive l'amitié![21])».

Из всего вышеписанного читатели ясно видят (впрочем, они давно уже знали это и без сего указания), что Адел⟨аида⟩ Ант⟨оновна⟩ большая художница в искусстве расхваливать рукоделье своих приятельниц. Мы люди беспристрастные и скажем, что одна из них, о которой говорено выше, Алекс⟨андра⟩ Сергеев⟨на⟩, действительно *была прежде* из лучших мастериц в своем роде, но, начав лениться, стала рукодельничать плохо, думая, что покупатели не разглядят истинного достоинства новой ее работы, которая по-прежнему будет сходить с рук удачно. Но вышло совсем иначе. Между тем в последствии времени появились новые молодые художницы, которые и первыми опытами своего искусства поселили во всех приятную и несомненную надежду, что они в скором времени если не перещеголяют Алек⟨сандру⟩ Сергеев⟨ну⟩, то по крайней мере войдут в счастливое с нею соперничество. Разумеется, что это произвело роковой удар для сей последней, которая, быв *сама* чрезвычайно убеждена в превосходстве своего дарования,

[21] Notes: 21
Да здравствует дружба! *(фр.) — Ред.*

самолюбивее в этом отношении всякой кокетки. Из числа сих грядущих соперниц Александ⟨ры⟩ Сергеев⟨ны⟩ можно отличить противу прочих Людмилу Ивановну, родом киевлянку; жаль, что прозвание ее забыто мною, но оно, если не ошибаюсь, припоминает что-то о прекрасной Подолии. Людмила Иван⟨овна⟩ недавно представила публике одно весьма милое произведение своего искусства, которое только что попалось в руки Адел⟨аиды⟩ Ант⟨оновны⟩, то сделалось жертвою своевольных ее причуд: она по силе такого-то § устава, утвержденного при заключении ею с своими приятельницами заветного союза, изгрызла зубами и исцарапала ногтями миленькое рукоделье Людм⟨илы⟩ Иван⟨овны⟩. Это бы ничего, ибо Адел⟨аида⟩ Ант⟨оновна⟩ сердита, а не сильна, следственно, не может сделать никому вреда; но жаль только то, что некоторые другие магазинщицы, торгующие в Москве, не зная истинной причины такого поступка Адел⟨аиды⟩ Ант⟨оновны⟩, почли оный основательным и, может быть, поленясь сами хорошенько разглядеть новую работу Людм⟨илы⟩ Иван⟨овны⟩, распустили о ней неблагоприятные слухи в своих магазинах, основываясь, по-видимому, на мнении Адел⟨аиды⟩ Ант⟨оновны⟩.

Северный Меркурий. 1830. Т. 1. № 49

Под именем Аделаиды Антоновны Габенихтсиной, недавно открывшей свой магазин, автор имеет в виду Антона Антоновича Дельвига, приступившего к изданию «Литературной газеты»; Людмила Ивановна из Киева — поэт Андрей Иванович Подолинский, родившийся в Киеве, а имя Александры Сергеевны не требует расшифровки *(Ред.)*.

«Евгений Онегин», роман в стихах, сочинение Александра Пушкина

Есть пословица: *куй железо, пока горячо*; если бы талантливый А. С. Пушкин постоянно держался этой пословицы, он не так бы скоро проиграл в мнении читающей публики и, может быть, еще до сих пор *не спал бы с голосу.* Написавши «Руслана и Людмилу», прекрасную маленькую поэму, он вдруг вошел, как говорится, в славу, которая росла с каждым новым произведением сладкогласного певца до самой «Полтавы»; с «Полтавою» она не скажем пала, но *оселась* и с тех пор уже не подымается вверх. Что далее будет, неизвестно; но последнее произведение Музы А⟨лександра⟩

С⟨ергеевича⟩ — *седьмая глава «Евгения Онегина»*, предвещает мало добра. — Если бы знал А⟨лександр⟩ С⟨ергеевич⟩, с какою горестию произнесли мы этот приговор!!! Творец «Руслана и Людмилы» обещал так много, а исполнил?.. Он еще в полном цвете лет; он мог подарить нас произведением зрелым, блистательным, и — подарил *седьмою главою* «Онегина», которая ни содержанием, ни языком не блистательна.

В 7-ю главу «Онегина» втиснут почти целый год романических происшествий, но в этих происшествиях вы почти никакого действия не найдете. С самого начала описывается весна, и описывается не отлично:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой

Летит из кельи восковой.

Долины сохнут и пестреют;

Стада шумят, и соловей

Уж пел в безмолвии ночей.

Во II и III-м стансе поэт говорит о себе самом; таких отступлений у него много и в первых шести главах. III-й станс ярко бросается в глаза своею *логическою* и *словесною* пестротою, а потому мы и не можем не выписать его.

III

Или не радуясь возвратуПогибших осенью листов,

Мы помним горькую утрату,

Внимая новый шум лесов; Или с природой оживленной

Сближаем думою смущенной

Мы увяданье наших лет, Которым возрожденья нет?

Быть может, в мысли нам приходит,

Средь поэтического сна,

Иная старая весна,

И в трепет сердце нам приводит

Мечтой о дальней стороне,

О чудной ночи, о луне…

Далее сочинитель романа приглашает в деревню на весну добрых ленивцев, эпикурейцев-мудрецов, равнодушных счастливцев, агрономов, деревенских Приамов (?), чувствительных дам и читателя:

И вы, читатель благосклонный,

В своей коляске выписной (?),

Оставьте град неугомонный,

Где веселились вы зимой;

С моею музой своенравной

Пойдемте слушать шум дубравной

туда, где еще недавно жил Евгений;

Но где его теперь уж нет…

Где грустный он оставил след.

Вы думаете, что сочинитель в самом деле поведет вас прямо в деревню Онегина? извините! *своенравная* муза его даст прежде изрядный крюк и поведет вас по проселкам прежде к памятнику Ленского, где

…Седой и хилый

Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.

За этим вслед, по-байроновски, поставит:

VIII. IX. X;

потом выдаст Ольгу замуж за улана:

Улан увлек ее вниманье,
Улан умел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою…

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли, Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь, Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла…

После этого сочинитель, как сами изволите видеть, намерен занять вас положением Татьяны:

Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам – И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком

(наконец дошло дело и до Онегина)

Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб… но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.

Теперь просим покорно вперед — за Татьяною, или, что все равно, за *своенравною* музою нашего поэта, в деревню Онегина. Однажды, вечером,

в поле чистомЛуны при свете серебристомВ свои мечты погружена,

Татьяна долго шла одна,

и куда бы, вы думали, пришла? в дом Онегина. Это немного неприлично, но так угодно было поэту — живописцу русских нравов.

И входит (Татьяна) на пустынный двор.

К ней, лая, кинулись собаки. На крик испуганный еяРебят дворовая семья

Сбежалась шумно. Не без драки

Мальчишки разогнали псов,

Взяв барышню под свой покров.

Как бы то ни было, но *барышня* была в комнатах Онегина, все там видела, выпросила позволение ходить на *пустынный двор,* на котором встретили ее собаки и семья ребят, и читать в бариновом кабинете книги. — Эта прогулка продолжалась до самой зимы. Пришла зима, Татьяну привезли в Москву; а что было с нею в Москве — читатели наши сами знают из «Московского вестника» и «Северной пчелы».

Нужно ли сказывать, как бедно содержание 7-й главы «Онегина»? Но содержание в сторону; оно почти во всех произведениях г-на Пушкина не богато; самый язык, на котором основана слава

певца «Бахчисарайского фонтана», в «Онегине», особенно в разбираемой нами главе, не выдержит не только строгой, но даже и снисходительной критики; во многих стихах мы не узнаем Пушкина; есть целые тирады, которые не понравятся любителям изящного; за образчиками далеко ходить не для чего. Чтобы не упрекнули нас в излишней привязчивости и пристрастии, выписываем сряду несколько стихов:

Вот Север, тучи нагоняя,

Дохнул, завыл – и вот сама

Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками

Повисла на суках дубов; Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов;

Брега с недвижною рекою

Сравняла пухлой пеленою;

Блеснул мороз; и рады мыПроказам матушки зимы.

Не радо ей лишь сердце Тани, Нейдет она зиму встречать,

Морозной пылью подышатьИ первым снегом с кровли бани

Омыть лицо, плеча и грудь:

Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,

Приходит и последний срок.

Осмотрен, вновь обит, упроченЗабвенью брошенный возок.

Обоз обычный, три кибитки

Везут домашние пожитки,

Кастрюльки, стулья, сундуки,

Варенье в банках, тюфяки,

Перины, клетки с петухами,

Горшки, тазы et cetera,

Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами

Поднялся шум, прощальный плач: Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают, Готовят завтрак повара,

Горой кибитки нагружают, Бранятся бабы, кучера.

На кляче тощей и косматой

Сидит форейтор бородатой. Сбежалась челядь у воротПрощаться с барами. И вотУселись, и возок почтенный,

Скользя ползет за ворота.

«Простите, милые места!

Прости, приют уединенный!

Увижу ль вас?..» И слез ручей

У Тани льется из очей!

Стихи, которые сами себя рекомендуют с невыгодной стороны, напечатаны курсивом для того, чтобы не утомить читателей наших подробным объяснением, почему именно каждый стих не хорош. Насчет недостатков, замеченных нами в стихотворном языке г-на Пушкина, мы могли бы сказать многое, так, напр(имер), он неудачно соединяет слова простонародные с славянскими; часто употребляет неточные выражения, неправильные метафоры; многие стихи у него не стихи, но проза, заостренная рифмою, которая часто заставляет его повторять одну и ту же мысль; — но боимся оскорбить многочисленных почитателей

поэта, любимца публики.

Но неужели во всей VII-й главе «Онегина» нет ничего хорошего? скажет кто-нибудь. Мы этого не говорим: есть места, в которых виден еще Пушкин, но этих мест очень мало. Более всего понравился нам станс:

LII

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою своею,
Как величавая луна
Средь жен и дев блестит одна;
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

Галатея. 1830. Ч. 13. № 14

Ф. В. Булгарин
Анекдот

Путешественники гневаются на нашу старую Англию (Old England), что чернь в ней невежливо обходится с иноземцами и вместо бранных слов употребляет название иноземного народа. Но подобные невежды есть везде, и даже в классе людей, имеющих притязания на образованность. Tous les Gascons ne sont pas en Gascogne![22] — Известно, что в просвещенной Франции иноземцы, занимающиеся словесностью, пользуются особенным уважением туземцев. Мальте-Брун, Деппинг, Гофман и другие служат тому примером. Надлежало иметь исключение из правила, и появился какой-то французский стихотворец, который, долго морочив публику передразниванием Байрона и Шиллера (хотя не понимал их в подлиннике), наконец упал в общем мнении, от стихов хватился за критику и разбранил новое сочинение Гофмана самым бесстыдным образом. Чтоб уронить Гофмана в мнении французов, злой человек упрекнул автора, что он не природный

---

[22] Notes: 22
Не все гасконцы живут в Гасконии! *(фр.) — Ред.*

француз и представляет в комедиях своих странности французов с умыслом, для возвышения своих земляков, немцев. Гофман вместо ответа на ложное обвинение и невежественный упрек напечатал к одному почтенному французскому литератору письмо следующего содержания: «Дорожа вашим мнением, спрашиваю у вас, кто достоин более уважения из двух писателей: перед вами предстают на суд, во-первых, природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камнями в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность. Во-вторых, иноземец, который во всю жизнь не изменял ни правилам

своим, ни характеру, был и есть верен долгу и чести, любил свое отечество до присоединения оного к Франции и после присоединения любит вместе с Франциею; который за гостеприимство заплатил Франции собственною кровью на поле битв, а ныне платит ей дань жертвою своего ума, чувствований и пламенным желанием видеть ее славною, великою, очищенною от всех моральных недугов; который пишет только то, что готов сказать каждому в глаза, и говорит, что рад напечатать. Решите, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, кто достоин более уважения». На сие французский литератор отвечал следующее: «В семье не без урода. Трудитесь на поле нашей словесности и не обращайте внимания на пасущихся животных, потребных для удобрения почвы. Пристрастная критика есть материял удобрения; но этот материял, согнивая, не заражает ни зерна, ни плода, а, напротив, утучняет ниву». — Утешься, Джон-Буль! Не ты один бросаешь камнями и грязью в добрых иноземцев. (*Из англ⟨ийского⟩ журнала.*)

Северная пчела. 1830. № 30

Ф. В. Булгарин
«Евгений Онегин», роман в стихах, глава VII Сочинение Александра Пушкина

Как стих без мысли в песне модной
Дорога зимняя гладка.
«Евг⟨ений⟩ Онегин», глава VII, стр. 35

В № 3 «Москов⟨ского⟩ телеграфа» на сей 1830 год (на стр. 356 и 357) объяснено нынешнее состояние общего мнения в литературе и, между прочим, сказано: «Ныне требуют от писателей не одной подписи *знаменитого* имени, но достоинства внутреннего и изящества внешнего». — Справедливо! Медленное траурное шествие «Литературной газеты» и холодный прием, оказанный публикою поэме *«Полтава»* (о которой так остроумно сказано было в № 2 «Вестника Европы» на стр. 164), служат ясным доказательством, что очарование имен исчезло. И в самом деле, можно ли требовать внимания публики к таким произведениям, какова, например, глава VII «Евгения Онегина»? Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия,

и не прежде уверились, что эта глава VII есть произведение сочинителя «Руслана и Людмилы», пока книгопродавцы нас не убедили в этом. Эта глава VII — два маленькие печатные листика — испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже «Евгений Вельский» кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение, chute complète![23]

Итак, надежды наши исчезли! Мы думали, что автор «Руслана и Людмилы» устремился за Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять «Онегин», бледный, слабый… Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину! — Читатели наши спросят: какое

---

[23] Notes: 23
Полный провал *(фр.). — Ред.*

же содержание этой VII главы в 57 страничек? Стихи «Онегина» увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос:

Ну как рассеять горе Тани?

Вот как: посадят деву в сани

И повезут из милых местВ Москву на ярмонку невест! Мать плачется, скучает дочка:

Конец седьмой главе – и точка!

Точно так, любезные читатели, все содержание этой главы в том, что Таню везут в Москву из деревни! Все вводные и вставные части, все посторонние описания так ничтожны, что нам верить не хочется, чтоб можно было *печатать* такие мелочи! Разумеется, что как в предыдущих главах, так и в этой автор часто говорит о себе, о своей скуке, *томленье*, о своей мертвой душе (см. стр. 9, стих 3), которой все кажется темно, и проч. Великий Байрон уж так утомил нас всеми этими выходками, что мы сами чувствуем невольное *томление*, слыша беспрерывное повторение одного и того же. Глава начинается описанием весны (старая песня), которою наслаждаться поэт выкликает из города поименно разные лица. Между прочим является новое сословие. Поэт

кличет:

Вы, школы Левшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы!

Что такое птенцы школы Левшина? Для этого в конце книги находится объяснение следующего содержания: «Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной». Что мы узнали из этого объяснения? Левшин писал и о лошадях, и об овцах, и о курах. Не это ли птенцы? Не их ли вызывают на пир весны? Не догадываемся! А кто таковы деревенские Приамы? Где деревенская Троя? Где ее Гомер? Объяснения нет — и мы отвечать не можем. Думаем, однако ж, что *Приамы* находятся в стихе для рифмы: *дамы.* Далее поэт выкликает своего *благосклонного* читателя оставить город *неугомонный* в своей коляске *выписной,* город, где этот читатель, по словам поэта, веселился всю зиму с музой *своенравной* певца «Онегина»! Уж подлинно своенравная муза!

На стр. 13 мы с величайшим наслаждением находим две пропущенные самим автором строфы, а вместо их две прекрасные римские цифры VIII и IX. Как это мило, как это пестрит поэму и заставляет читателя мечтать, догадываться о *небывалом*! Это производит полный драматиче-

ский эффект, и мы благодарим за сие поэта!

После двух пропущенных строф, в строфе X, вас уведомляют, что Олинька, за которую убит Ленский, вышла замуж за улана. Об нем никто не грустит, и очень хорошо. Сам поэт говорит:

На что грустить?

Ныне грустят *так*, из ничего, а о смерти друзей не беспокоятся. И дельно. Вслед за этим описание вечера:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.

Вот является новое действующее лицо на сцену: жук! Мы расскажем читателю о его подвигах, когда дочитаемся до этого. Может быть, хоть он обнаружит какой-нибудь характер.

При тихом журчании вод и жужжании жука Таня идет в поле, видит перед собой господский дом и входит в него: это дом Онегина. Ей показывают опустелые комнаты любовника, где она находит кий, *отдыхающий* на биллиарде, манежный *хлыстик*, а в кабинете портрет лорда Байрона (вероятно, для того, чтоб читатель помнил, с чем должно сравнивать «Онегина»), чугунную куклу и сочинения Байрона:

Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно,
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Стихи эти весьма замечательны. Правду сказать, что это весьма жалкое понятие о современном человеке, — но что делать? Покоримся судьбе!

Таня начинает раздумывать о своем любовнике, об Онегине, и хочет догадаться, кто он таков:

Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?

О том, что Онегин есть неудачное подражание

Чайльд-Гарольду и Дон-Жуану, давно уже объявлено было в русских журналах.

Наконец везут Таню в Москву. Вот пиитическое описание, à la Byron[24], выезда.

Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенья в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.

Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии и чтоб картина горшков и кастрюль et cetera была так приманчива. Наконец поехали! Поэт уведомляет читателя, что:

На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают.

Подъезжают к Москве.

---

[24] Notes: 24
В духе Байрона *(фр.). — Ред.*

Тут автор забывает о Тане и вспоминает о незабвенном 1812 годе. Внимание читателя напрягается; он готов простить поэту все прежнее пустословие за несколько высоких порывов; слушает первый приступ, когда поэт вспоминает, что Москва не пошла на поклон к Наполеону, радуется, намеревается благодарить поэта, но вдруг исчезает очарованье. Одна строфа мелькнула — и опять то же! Читатель ожидает восторга при воззрении на Кремль, на древние главы храмов Божиих; думает, что ему укажут славные памятники сего *славянского Рима,* — не тут-то было. Вот в каком виде представляется Москва воображению нашего поэта:

Прощай, свидетель падшей (?) славы (?????),
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Начинается описание московской жизни и общества. Здесь поэт взял обильную дань из «Горя от ума» и, просим не прогневаться, из другой известной книги. Из «Горя от ума» являются архивные юноши и дранье за уши Хлестовой, тот же французик из Бордо, тот же шпиц, тот же клуба член исправный, тот же глухой князь Тугоуховский, тот же муж, Платон Михайлович, и, словом, много всего, весьма много кое-чего в перифразах.

Мы, по крайней мере, надеялись найти в «Онегине» тон большого света, о котором нам толкуют беспрерывно в альманачных обозрениях словесности; но что же мы видим? Московские барышни

Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы.

Потом:

Взбивают кудри ей по моде.

А на бале:

Друг другу тетушки мигнули,

И локтем Таню враз толкнули.

В целой главе VII нет блестящих стихов, *прежних* стихов автора, исключая двух строф XXXVI и XXXVII, которые очень хороши. Две строфы в целой книге! Зато стихов прозаических и *непонятно-модных* бездна, и все описания состоят только из наименования вещей, из которых состоит предмет, без всякого распорядка слов. Например, что значит:

Развозят Таню каждый день,

Представить бабушкам и дедамЕе рассеянную лень.

Развозят *рассеянную лень*! Что это за стихи:

И близ него ее заметя, Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Мы полагали, что в описании бала поэт возлетит воображением. Но это то же поименование предметов без всякого порядка, как в описании Москвы и в выезде Тани из деревни.

Ее привозят и в собранье.

Там теснота, волненье, жар,

Музыки грохот, свеч блистанье (?!),Мельканье (?!), вихорь быстрых пар (?!),

Красавиц легкие уборы,

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг, Все чувства поражает вдруг. ***(!!!)****Здесь кажут франты записные*

Свое нахальство, свой жилетИ невнимательный лорнет (?!);

Сюда гусары отпускные

Спешат явиться, прогреметь (?),

Блеснуть, пленить и улететь.

Больно и жалко, но должно сказать правду. Мы видели с радостью подоблачный полет певца «Руслана и Людмилы» и теперь с сожалением видим печальный поход его «Онегина», тихим шагом по большой дороге нашей словесности.

Северная пчела. 1830. № 35

Н. А. Полевой (?)

Эпиграмма

(на голос: *Мое собранье насекомых*)

На ниве бедной и бесплодной
Российской прозы и стихов
Я, сын поэзии холодной,
Вам набрал травок и цветов;
В тиски хохочущей сатиры
Я их когтями положил,
И резким звуком смелой лиры
Их описал и иссушил.
Вот Чайлъд-Гарольдия смешная;
Вот Дон-Жуания моя;
Вот Дидеротия блажная;
Вот русской белены семья; Пырей Ливонии удалый,
И афинский наш чертополох,
И мак Германии завялый,
И древних эллинов горох.
Всё, всё рядком в моих листочках
Разложено, положено,
И эпиграммы в легких строчках

На смех другим обречено!

Обезьянин
Московский телеграф. 1830. Ч. 32. № 8

Ф. В. Булгарин
Предок и потомки[25]
(Сатирическая повесть)

Глава VII. Русский книжный магазин

Молитва облегчила грусть Сергея Свистушкина, и он вздохнул свободнее. Вышед на улицу, антикварий сказал ему:

— Не угодно ли завернуть в лавку, где продаются книги? Там узнаем мы, где жилище вашего внука.

— Пожалуй! любопытно посмотреть на книги. Я, бывало, любил проводить время в монастырских книгохранилищах. Посмотрим, что-то написано о наших временах!

Они вошли в лавку или в магазин. Уже было

---

[25] Notes: 25

В своей повести Ф. Булгарин использовал прием В. Ирвинга, чей герой провел много лет в летаргическом сне и проснулся в другую эпоху. У Ф. Булгарина стольник царя Алексея Михайловича оказывается в схожей ситуации и просыпается в первой трети XIX века. Он ищет и находит своего потомка.

около 6 часов вечера, и запах рому слышен был в лавке, вероятно, для предупреждения гнилости и для истребления неприятного запаха от сырой бумаги. В лавке было два торговца, из которых один казался хозяином, а другой слугою, хотя между ими было что-то общее. Тот, который казался слугою, беспрестанно смотрел на своего товарища (вроде господина) и передразнивал все его ухватки. Если первый улыбался, то и другой делал то же; первый кланялся, и другой гнулся; первый бежал за книгами, и другой спешил туда же. Это припоминало несколько Дон-Кишота с его Санхо-Пансой.

— Сядьте и отдохните, Сергей Сергеевич, — сказал антикварий, — вы устали, и я также.

Хозяин лавки, почитая Свистушкина богатым иногородним купцом, пришедшим покупать книги для пожертвования какому-нибудь училищу, чтоб приобресть медаль, поспешил подать ему стул. Товарищ его хотел предупредить его, и они так жестоко стукнулись лбами, что раздался стук, как от удара двух спелых арбузов. Сергей Свистушкин охнул и примолвил:

— Видно, крепколобого десятка.

— Есть ли у вас сочинения Никандра Семеновича Свистушкина? — спросил антикварий.

— Как не быть! есть-с, — отвечал хозяин.

— Есть-с! — примолвил его товарищ, бросился к полкам и принес целую кипу тоненьких книжонок.

Сергей Свистушкин взял в руки одну книжонку, развернул ее и остановился:

— Что это? Разве это по-русски напечатано? — спросил он у антиквария.

— Это гражданские буквы, изобретенные при царе Петре Алексеевиче, — отвечал антикварий. — Старинные буквы употребляются только для печатания церковных книг.

При сих словах книгопродавцы, думая, что Сергей Свистушкин безграмотный, но богатый купец, удвоили к нему внимание, ибо книгопродавцы весьма уважают безграмотных покупщиков, которым могут сбывать с рук залежалые книги своего издания, писанные на заказ по рублю за лист, а продаваемые по десяти и более рублей. Хозяин сделал гримасу, означающую улыбку, и с поклоном сказал:

— Прекраснейшая книга-с! славного, знаменитого и модного сочинителя-с!

— Прекраснейшая книга-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— Прочти-ка заглавие, разумная голова! — ска-

зал С. Свистушкин, подавая книгу антикварию.

— «Воры», поэма; сочинение Никандра Свистушкина, в стихах.

— Что ты говоришь? Мой потомок пишет о ворах! Разве он служит в Сыскном приказе?

Книжники посмотрели друг на друга в недоумении и не знали, что отвечать.

— Это выдумка, сказка, — сказал антикварий.

— В наше время так няньки, дядьки и холопы слагали сказки, а ныне, видно, дворянским сынам нечего делать, когда они взялись за это ремесло. Я никогда не воображал, чтоб мой потомок попал в сказочники!

— Сказки не равны, Сергей Сергеевич! — возразил антикварий. — От старинных сказок ничего не требовалось, кроме того, чтоб связать кое-как выдуманное происшествие. А ныне от сказки, называемой по-гречески поэмой, требуется гладких стихов, силы воображения, картин, списанных с природы, познания человеческого сердца, глубокой нравственности, философии…

— Перестань, умная голова! — сказал Сергей Свистушкин, — зачем столько мудрости, чтоб описывать житье-бытье *воров*? Стоит ли умному человеку ломать себе голову, чтоб узнать то, что известно каждому тюремщику! Ты морочишь

меня.

— Нет, я говорю правду, Сергей Сергеевич. Здесь дело не о ворах, а об искусстве в рассказе. Один знаменитый немецкий стихотворец, по имени Шиллер, прославился, написав трагедию, или, как в ваше время называли, *комедь, о разбойниках,* так и наши пустились тем же путем. Это мода, обычай века, чтоб описывать и выводить на показ все, что есть худого в мире: воров, убийц, бездушных изменников, бешеных, словом, всякого рода злодеев.

— Хорош обычай! Уж лучше бы описывать каких-нибудь витязей, хоть вымышленных, каковы, например, Полкан-богатырь, Бова Королевич и тому подобные.

— Вот другое сочинение вашего потомка, под заглавием *«Жиды»*... — сказал антикварий, развертывая книгу.

— Ну их к черту! — возразил Сергей Свистушкин. — Этакой проказник, мой потомок! Я думаю, что он скоро доберется до чертей.

— Вот-с, прекраснейшие-с стихи-с, столь же знаменитого поэта-с, как и Никандр Семенович Свистушкин-с, — сказал книгопродавец с улыбкою, подавая несколько томов. — Здесь более чертей-с, нежели в самом аду-с, и столько

мертвецов-с, что не поместятся на всех наших кладбищах-с! Прекраснейшие книги-с!

— Прекрасная книга-с! — примолвил товарищ хозяина, также улыбаясь.

— Отвяжитесь вы от меня, греховодники! — сказал с гневом Сергей Свистушкин и встал со стула.

— Вы не любите-с чертовщины-с, — сказал книгопродавец. — Жаль, а это и в моде, и доставляет великую славу и уважение-с. Не угодно ли-с?

— Чертовщина доставляет славу и уважение! Да вы с ума сошли! — сказал С. Свистушкин.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с… — сказал книжник.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с, — промолвил товарищ хозяина. — Сочинитель пишет в древнем вкусе-с.

Сергей Свистушкин не удостоил ответом книжников и, посматривая на полки, спросил:

— Неужели все это русские книги?

— Никак нет-с. Русских книг есть гораздо более, нежели сколько их здесь видите-с, — отвечал хозяин. — Но если что прикажете, я тотчас пошлю в другие лавки.

Товарищ хозяина тотчас бросился к дверям и, держась за ручку замка, сказал:

— Что прикажете? сей час принесу!

— А ты сам пишешь ли книги? — спросил Сергей Свистушкин.

— Это не наше дело, — сказал книжник.

— Итак, ты торгуешь чужим умом, чужим трудом и чужим добром! — промолвил Сергей Свистушкин. — Видно, за то не много и барыша!

— Очень-с немного! за чужой товар я получаю *только* по двадцати копеек с рубля.

— Только! за это *только* надобно было бы подержать тебя на правеже! Ты, брат, как я вижу, не жнешь, не сеешь, а хлебец собираешь! Это что за книжонки?

— Детские, в пользу воспитания юношества, но прикажете ли-с?

— А кто их пишет? Верно, отцы семейств, люди, занимавшиеся воспитанием юношества!

— Никак нет-с. Отцы семейств и наставники покупают-с, а сочиняет кто попало, большею частью молодые люди, на заказ.

— Посечь бы этих ребят за то, что пишут для детей, едва вышед из детства, и тех, которые заказывают! — сказал Сергей Свистушкин. — Это что за кипы тоненьких книжонок и листов?

— Журналы и газеты-с. Не угодно ли подписаться-с?

— А что такое… как бишь их? журчалы, что ли, и глазеты?

Книгопродавцы и антикварий улыбнулись, и сей последний сказал:

— Журналы, суть книжки, выходящие в известные сроки. Издатели их обязуются помещать новые небольшие сочинения и разбирать, то есть оценять по достоинству, отдельно выходящие книги.

— Так, стало быть, эти издатели умнее и опытнее других в книжном деле? — спросил Сергей Свистушкин.

— Так быть должно, но, по несчастью, по большей части дело идет напротив. Судят и рядят те, которые не могут и не умеют написать трех строк порядочно, а осуждают тех, которые их умнее.

— У вас, как я вижу, все идет наоборот! А *глазеты* что такое?

— В них извещают о всех происшествиях, случившихся в целом мире, — отвечал антикварий.

— Вот это славно! И что ж, обо всем пишут правду?

— Не всегда. Иногда умалчивают о том, что знать всем должно, а извещают о том, чего знать вовсе не нужно, и представляют вещи не так, как они есть, а как надобно, чтоб было. Иногда и

выдумывают небылицы…

— Что за чудеса, все идет наперекор здравому смыслу! Это что за книги?

— История российская-с! Превосходнейшая-с! не угодно ли-с?

— То есть летописи и хронографы, пересказанные другими словами, украшенные вымыслами, рассуждениями, или распространенные по воле сочинителя, по надобности и по духу времени, — сказал антикварий.

— Так, стало быть, те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, а это что за книги?

— Землеописание Российского государства-с! Не угодно ли-с? прекраснейшая-с книга-с!

— А справедливо ли все описано?

— В этом нельзя поручиться, — отвечал антикварий. — Сочинители, описывая страну, сами не ездят по ней, не мерят, не считают, не поверяют, не наблюдают, а извлекают известия из разных старых и новых книг, составленных также по слухам, и прибавляют все, что им кажется справедливым. От того выходит, что часто жители какого-нибудь города читают, что про них пишут, да посмеиваются, находя совсем противное на бумаге тому, что есть на деле!

— Так какая же из этого польза? те же сказ-

ки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, брат, охотники вы до сказок, и немудрено, что вы мои похождения назвали сказкою! Странное дело ваше просвещение! Намереваетесь делать одно, а делаете другое; знаете сами, что пишете ложь, а принимаете за правду, и вместо того, чтоб прославлять великих мужей, описываете воров и негодяев! — Пойдем, брат, отсюда; здесь потеряешь ум, а не научишься ничему доброму. Однако ж я зайду к тебе на досуге и выберу кое-что для себя, чтоб посмеяться…

— Милости просим-с! — сказал книгопродавец с поклоном и улыбкою.

— Милости просим-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— А где живет Никандр Семенович Свистушкин? — спросил антикварий.

— Недалеко отсюда. Но вы его не найдете теперь дома; теперь такое время, что он сидит где-нибудь, в кругу своих знаменитых друзей, и принимает дань удивления и похвал. Поезжайте к его закадычному другу, барону Шнапсу фон Габенихтсу. Он получил сегодня за треть жалованье: так, верно, у него происходит жертвоприношение трем божествам вечно-юных поэтов: Вакху, Лени и Свободе. Барон Шнапс фон

Габенихтс живет за Конной, в доме Запивошкина.

— Неужели ваши писцы идолопоклонники? — спросил Сергей Свистушкин. — Я боюсь за моего потомка.

— Не бойтесь: жертва не есть еще вера, — возразил антикварий.

Антикварий с бывшим стольником вышли из лавки, наняли крытые дрожки и поехали к барону Шнапсу фон Габенихтсу.

Глава VIII. Заседание любимых сынов Аполлона, поклонников Вакха, Лени и Свободы

Антикварий с бывшим стольником вошли в ворота дома Запивошкина, чтоб спросить дворника о жилище барона Шнапса фон Габенихтса. Дворник указал им на окна третьего этажа, под которыми лежала куча обломков бутылок, и повел их по узкой грязной лестнице. В передней они увидели остатки, или *барельефы,* пиршества: обороченные жестяные судки, соленые огурцы на промокной бумаге, которою наделяют покупателей в мелочных лавочках, соль, рассыпанную на столе, квас в умывальнике и т. п. — Вошед в первую и последнюю комнату барона Шнапса фон Габенихтса, они увидели собрание… (листы

рукописи затеряны, а когда найдутся, то будут напечатаны в новом издании, в 1930 году).

Бывший стольник царя Алексея Михайловича так испугался своего потомка, что, воспользовавшись замешательством вакхической беседы, бросился за двери и, сбежав с лестницы, пустился во всю прыть по улице.

Антикварий догнал его и удержал за руку:

— Что с вами сделалось, Сергей Сергеевич? Неужели вы испугались деревянного кинжала в руках вашего потомка? — Бывший стольник молчал и только пыхтел. Антикварий продолжал: — Напрасно вы испугались, Сергей Сергеевич! Ваш потомок и его товарищи, право, в существе, добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают, чего хотят и что делают! Вопят противу всего в чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на деле лижут прах ног каждого сильного, из одной надежды получить что-либо, и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов. Ей-богу, они только смешны, достойны сожаления, но вовсе не опасны с своими кинжалами

и перунами! Я бы советовал вам взять вашего потомка к себе на дом и запереть на некоторое время, чтоб разлучить с его демоном-соблазнителем, с его друзьями, а может быть, вам удалось бы исправить…

— Да перестань! — воскликнул с досадой Сергей Свистушкин. — Что ты меня морочишь! Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна! В этом ты не переуверишь меня, хоть божись, хоть клянись! Пускай себе она хоть утонет в вине… я знать не хочу!

Сочинения Фаддея Булгарина.
СПб., 1830. Ч. 12

Из газеты «Северный Меркурий»
Несчастный поэт

Один известный поэт был не весьма пригож собою, отчего все женщины не совсем его жаловали: он имел большие серые глаза, рот, занимавший все пространство от одного уха до другого, отвислые губы, длинный нос, загнутый книзу, и рыжеватые бакенбарты. Все это придавало ему вид непривлекательный, притом же, несмотря на его пиитический ум и *душу*, голос

его вовсе не был звучен и трогателен, а ближе походил на скрып немазанных колес. Однако ж вопреки своей наружности он влюблялся во всех женщин, которые, как мы уже сказали, платили ему хладнокровием. Однажды, после тщетных его преследований некоторой особы и потеряв всю надежду победить ее непреклонность, в отчаянии вскричал он: «Да полюбите меня, сударыня, по крайней мере за мой ум!» — «Я вас и люблю за ум, но только *умом*!» — отвечала она хладнокровно. — В эту минуту вошел стройный высокий молодой человек, и поэт отгадал в нем, кого любила *сердцем* N. — Несчастный, удаляясь в бешенстве, проклинал любовь и красоту; но, вероятно, более сетовал на свое безобразие. Вскоре после того он получил от той же особы письмо, наполненное нежнейшими выражениями, где между прочим упоминалось, что она готова его любить как Элоиза Абеларда! — Оскорбленный поэт в отмщение ей написал сатирическую повесть в стихах, в которой неосторожно изобразил собственное свое приключение.

Северный Меркурий. 1830. Т. 2. № 138

М. А. Бестужев-Рюмин

Уже несколько лет неутомимая молва о *трагедии* г. Пушкина «Борис Годунов» переносила из уст в уста блистательные ей хвалы. Некоторые писатели, для коих издается некоторая газета, решительно утверждали, что подобного творения не было еще от сотворения мира или, по крайней мере, от всемирного потопа; и что прапрапрапрапраправнуки наши, прочитав оное, всплеснут руками от удивления

И молвят: то-то был поэт!

Но вот что чудно: несколько лет все твердили о неисчислимых достоинствах такого сочинения, которого решительно никто не видал (в этом случае под словом *никто* мы разумеем и самого автора), не только читал. Злые же люди утверждают наверное, что до весны 1830 года не было налицо более трех небольших отрывков сего произведения; в полноте же будто бы оно существовало только в воображении автора; и что сей последний, приняв во внимание, что предполагаемое им произведение уже расхваливается несколько лет, наконец решился положить оное

на бумагу: присел и написал!

Хотя не всякому слуху надобно верить, но по каким-то особенно основательным причинам мы заключаем, что все вышеизложенное якобы справедливо. Что ж касается до скорости времени, в которое, как говорят, будто бы написан «Борис Годунов», то мы в сем обстоятельстве не имеем ни малейшего сомнения: хотя и утверждают, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, но мы уверены, что Александр Сергеевич Пушкин так же скоро пишет стихи, как мы читаем оные. Это мнение мы основываем на собственных его словах:

Стишки для нас одна забава;
Немножко стоит мне присесть,
И разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова!

Наконец «Борис Годунов» явился!..

Имея честь поздравить почтеннейшую публику с выходом сего давно ожидаемого творения, считаем обязанностию донести, что мы решаемся читать оное не иначе, как по десяти страниц на день, руководствуясь в сем случае известною пословицею: *хорошего понемногу!* Чтение это

начнем с 1 сего января; по прочтении немедленно изложим мысли наши о достоинстве «Бориса Годунова» и постараемся изобразить в полноте то впечатление, которое будет в нас произведено.

Между тем мы не можем не донести нашим читателям о следующем странном происшествии. Некто в большом обществе, прочитав новое произведение, покачал головою, всплеснул руками и пропел следующий куплетец:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел,
И стих его незвучен,
И гений охладел.
Бориса Годунова
Он выпустил в народ:
Убогая обнова,
Увы! на Новый год!..

После чего все грянули хором:

Убогая обнова,
Увы! на Новый год!.. (bis.)
Honni soit qui mal y pense![26]

---

[26] Notes: 26
Позор тому, кто дурно об этом подумает *(фр.). — Ред.*

Северный Меркурий. 1831. Т. 3. № 2

В. Н. Олин
«Борис Годунов»
Сочин ⟨ение⟩ А. Пушкина

Sage nicht was du weist, sondern wisse was du sagst[27].

Мы нисколько не остановимся на том, как назвать сие сочинение: наименовать ли его диалогическою или драматическою поэмою, историческою ли драмою, романтическою ли трагедиею и проч.; ибо название не может вредить сущности дела, точно так же, как и улучшить оной, поелику не гениальность извлекается из правил, но правила из гениальности. Обязавшись быть беспристрастными и решительно не придерживаться смешных партий, ибо литература наша, к несчастию, имеет некоторым образом свой Йоркский и Ланкастерский домы, свою белую и красную розу, мы скажем откровенно и добросовестно наше мнение, не услащая краев лекарственного сосуда и не усыпая цветами, из малодушия, колючих игл истины.

---

[27] Notes: 27
Не говори, что знаешь, но знай, что говоришь *(нем.). — Ред.*

Нам кажется, что это новое произведение г. Пушкина есть совершенное *ребячество*, или, говоря другими словами, *школьная шалость*, достойная исправления. Мы бы охотно помирились даже на том, если бы ее по крайней мере можно было назвать хотя *своенравною;* но сей эпитет менее всего ей приличен. Здесь г. Пушкин, так как и во всех своих поэмах лирических, кои суть сколки с Байрона (за исключением «Руслана и Людмилы»), опять по-прежнему поэт подражательный[28]. Планируя сию разбираемую нами драму, он некоторым образом имел в виду, если смеем так выразиться, *фантастическую оригинальность* Гёте, но успех или силы не оправдали сего предположения. Он хотел отчасти, по примеру сего последнего, отпраздновать свою вакханалию романтическую — и это-то самое послужило для него камнем преткновения опасного. В «Борисе Годунове» нет решительно консепции поэтической, не упоминая уже о гениальности; нет той жизненной силы, той энергии электрической, которая насильно господствует

[28] Notes: 28

Не будь Байрона, не было бы ни «Кавказского пленника», ни «Бахчисарайского фонтана», ни «Братьев разбойников» и проч.; по крайней мере, можно сказать утвердительно, они были бы отлиты в другую форму.

над умами читателей. По прочтении сей драмы не остается ничего ни в памяти мыслей, ни в памяти сердца. Это мозаик, неудачно слепленный; это собрание нескольких холодных исторических сцен, веденных опрометчиво, без дара творить, без искусства пользоваться положениями, и заключающих в рамках своих, подобно новейшей мелодраме, шестнадцать лет событий и продолжения времени. Одним словом, «Борис Годунов» никогда не будет, несмотря на фимиам и кадило «Литературной газеты», блестящим цветком романтической драматургии: как далеко до этого! — Характеры все вообще слабы и едва обрисованы. Самозванец в диалоге с Мариною Мнишек фальшив, смешон и даже, говоря попросту, глуп; ибо какая ему предстояла надобность открываться этой панне, что он не царевич, а черноризец-расстрига, самозванец, бродяга и проч.? Борис вял, бесцветен; одним словом, это не Годунов. Сцена, в которой выведен Маржерет, доказывает более сродное человеку желание *перенимать,* чем своенравие оригинальное, и скорее *смешна,* чем нова и эффектна. Но это частности; мы хотели только указать на целое.

Рассматривать версификацию и судить об осуществлении самой консепции суть две вещи

совершенно между собой различные. Насчет сей последней мы уже изложили свое мнение; что же касается до поэтики г. Пушкина в «Борисе Годунове», она, так как и во всех его произведениях, свободна, верна, благозвучна, грациозна и благородна, и одна только, может быть, искупает слабость идеи, за исключением некоторых стихов (и фраз прозаических), а именно:

Пострел, окаянный!

Это говорит патриарх!!

Прииде грех велий на языцы земнии.

Языцы, или языки (язычники), должны быть необходимо *земные,* ибо небесных нет. Слово *языцы,* в смысле библейском, означает именно все народы, за исключением одного только израильского. Следовательно, честный инок *Варлаам* немного сбился в своей диалектике.

Ух, тяжело!.. дай дух переведу.

Речь, приличная какому-нибудь простолюдину, но не в устах царя.

Или это дрожь желаний напряженных?

Неприятно и даже *безвкусно.* Зачем делать та-

кую излишнюю доверенность своим читателям?

Он из любви со мною проболтался.

Низко и слишком разговорно. Невзирая на блистательные похвалы *преуспеяния,* изъявляемые поэту в «Литературной газете», обращающей внимание читателей при литургическом разборе «Годунова» на какую-то *важную простоту,* скажем откровенно, что подобные простоты уж чересчур просты и неуместны. Простота грациозная заключается не в словах, не в обнаженных фразах, но в свободном и непринужденном излиянии чувств и мыслей.

Я видел, как сегодня в гущу боя
Он врезался.

Есть гуща пивная, квасная и проч.; но густоту или сгущение заменять *гущею* никак невозможно. Употребление — тиран языка; и если слово, в уме читателей, хоть сколько-нибудь может иметь свою смешную сторону, прочь, прочь его скорее, замените сейчас же другим. Никогда не должно казаться смешным.

Ограничимся сими выписками и скажем в заключение, что счастие уже в 1829-м году изменило г. Пушкину под *Полтавою,* а поэтическая

звезда его закатилась совершенно с появлением на литературном горизонте «Бориса Годунова». Мы бы желали, из уважения к таланту г. Пушкина, чтобы эта *паралитическая фантазия* никогда не была им написана: от него ожидали больше, и мы не узнали в ней блистательного поэта некоторых глав «Онегина». Ужели сей ключ поэзии, кипевший столь прекрасно при своем истоке, иссяк так быстро? Нет, в истинном поэте воображение никогда не гаснет, сердце не стынет; они только могут быть усыплены на время, чтобы вспыхнуть с новыми силами: сии два источника вдохновенной поэзии вечны и неиссякаемы.

Чувствуем, что статья сия легко может навлечь на нас раздражительный гнев некоторых безотчетливых приверженцев; но до людей безотчетливых, не имеющих мнения собственного, нам нет никакой надобности. Держа нейтралитет, мы готовы всегда хвалить хорошее и порицать худое. Наконец, да никто не оскорбится за правду!

Колокольчик. 1831. № 6

Ф. В. Булгарин

Петербургские записки
Письма из Петербурга в Москву к В. А. У.
II

Фрагмент

⟨…⟩ Горе публике, если она обнаружит к чему-либо свою любовь! Сперва нас душили журналами, потом закидали альманахами, потом пятирублевыми поэмами, а теперь душат не на живот, а на смерть романами и повестями! Одному автору посчастливилось в каком-нибудь роде, и вот пошли бесконечные подражания и подражания подражаниям! Бедные подражатели не умеют рассудить, что не род сочинения, но талант автора имел успех и что принадлежность таланта есть избрание рода по своим силам и по вкусу публики. — Умалчивая о журналах, возьмем, в пример, поэмы А. С. Пушкина. «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Кавказский пленник» имели блистательный и заслуженный успех, а все подражания сим поэмам не стоят и одного самого дурного стиха Пушкина!

Несколько оригинальных романов и повестей имели успех, и вот перья заскрипели, и

все грамотные, полуграмотные и безграмотные пустились писать и кропать романы и повести. Увидите, что это тем же кончится, как с подражаниями поэмам Пушкина, с журналами и альманахами!

Сперва подражатели бейроничали, теперь вальтер-скотничествуют с важностью, которая так смешна, что я не умею даже выразить этого! Вальтер Скотт прославился под вымышленными именами, которые наконец слились в прозвании *великого незнакомца,* le grand inconnu. И у нас начали с этого!!! — Автор скрывает свое имя под вымышленным прозванием и просит приятелей своих объявлять великую тайну на каждой почтовой станции, а журналистам позволяет *догадываться* и в догадках произносить свое настоящее имя. ⟨…⟩

«Читали ли вы „Повести Ивана Петровича Белкина“? — Прочтите: это chef-d’oeuvre[29], совершенство, прелесть, чудо!» Вот что говорили мне *некоторые* литераторы по возвращении моем в столицу. Прочел в один вечер и не нашел ни чуда, ни совершенства, ни chef-d’oeuvre, но несколько анекдотцев (из коих некоторые

---

[29] Notes: 29
Шедевр *(фр.). — Ред.*

давно известны), рассказанных весьма приятно, языком правильным и слогом во многих местах чрезвычайно живым. Лучшая пьеса — «Выстрел». Тут есть характер в лице незнакомца. Улыбнулся я однажды только, за обедом у сапожника (в повести «Гробовщик»), где автор говорит, что из чиновников был один только *будочник*! Забавно! Для сердца очень мало в этих повестях, и я думаю, что ни одна чувствительная дама не выронила и полслезинки. Но всё вместе очень мило, хотя, по моему мнению, эти рассказы не определяют еще степени дарования, ибо в них нет главного — *вымысла.* Приятно рассказывать и писать гладко обязан, по должности, ex professo[30], каждый, кто имеет притязание на звание литератора, ибо это азбука в литературе. Но вымысел, цель, философия — другое дело! Основной идеи нет в «Повестях Ивана Петровича Белкина». Прочтешь точно так, как съешь конфект — и забыл! А повести Бальзака, например, хватают за сердце и приводят в движение всю мыслящую силу. Есть и у нас превосходные повести! Просим заглянуть в «Сына отечества» на сей 1831 год. В них всё: и мысль, и вымысел, и рассказ. ⟨…⟩

---

[30] Notes: 30
По роду занятий *(лат.). — Ред.*

Северная пчела. 1831. № 280. 9 декабря

Из журнала «Телескоп» «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» СПб., 1831

Любители легкого, занимательного чтения не могут в нынешнем году пожаловаться на недостаток в приятной для себя пище. Не говоря о прекрасно переведенных повестях Цшокке и произведениях лучших новых романистов, также очень хорошо нам переданных, сколько оригинальных русских повестей было напечатано во всех русских журналах, — повестей, ни в чем не уступающих иностранным! Мы говорили уже о сказках Рудого Пасичника близь Диканьки. Теперь с таким же удовольствием скажем несколько слов о «Повестях Ивана Петровича Белкина».

Они отличаются, кроме легкого живого слога, истиною и каким-то особенным бесстрастием, которое граничит иногда даже с холодностью *г. Булгарина. Г. Белкин* как будто не принимал ни малейшего участия в своих героях и к каждой повести приговаривает: «Кажется, так было, а впрочем, мне дела нет». — Но, подметив мно-

гое в сердце человеческом, он умеет при случае взволновать читателей, возбуждать и щекотать любопытство, не прибегая ни к каким вычурам. Читая его повести, иногда задумаешься, иногда рассмеешься, и сии движения бывают тем приятнее, что причины их всегда неожиданны, хотя и естественны; и вот в чем заключается талант автора.

Письмо об нем, помещенное в начале книжки, очень хорошо, выдержано в тоне и дышит добродушием и искренностию некоторых наших провинциальных помещиков, но чуть ли оно не лишнее. Мы не узнаем из него ничего об *г. Белкине* такого, что могло бы объяснить нам его взгляд на вещи и нужно было бы для читателя, начинающего читать его повести, а наружность его и образ жизни совсем не интересны.

Первое место между новыми повестями занимает «Выстрел». Мы не станем излагать ее содержание, предполагая, что все наши читатели прочли уже повести. Но вот вопрос: каким образом Сильвио, который сначала не хотел убить своего врага потому только, что сей последний равнодушно ожидал смерти, который несколько лет питался одною мыслию о мщении и при самолюбивейшем характере сносил жесточай-

шие оскорбления от других, который, услышав, что его враг женится и, следовательно, дорожит жизнию, «стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке», и поехал с твердым намерением расплатиться с ним выстрелом в самую счастливую минуту его жизни, — каким образом Сильвио мог отважиться на новый жеребей, предоставить случаю свое сладостнейшее чувство? — Ну если б граф попал в него, что было очень легко? — Неужели в будущих угрызениях графской совести мертвый Сильвио нашел бы себе услаждение? — И за что совесть стала бы упрекать графа? — Граф дал Сильвио пощечину в ответ на его непростительную грубость; за это он стал под его ударом; наконец, в другой раз, женатый, также не уклонился от него: какое же удовлетворение можно сделать больше; и почему не воспользоваться было счастием, по собственному предложению противника? — Сильвио был очень рад, что убедил графа на этот выстрел: «Я заставил тебя выстрелить по мне, — говорил он (с. 34), — с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». — Сам граф, рассказывая происшествие, как будто раскаивался в этом выстреле: «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он

меня к тому принудить… но я выстрелил». — Не постигаем, в чем состояла важность этого выстрела. Странным также кажется, что Сильвио после таких приготовлений удовольствовался отвлеченным минутным мщением: «я видел твое смятение, твою робость». — Но между тем, кончив повесть, все думаешь о странном Сильвио и о благородном графе и беспокоишься о графине; смотришь на простреленную картину и удивляешься меткости: следовательно, цель искусства достигнута. Заметим еще, что речь отставного офицера, рассказывающего повесть, во втором отделении, с беспрестанным повторением: «ваше сиятельство», — утомительна; притом этот офицер выставлен в первом отделении как человек образованный. Также, в первом отделении, офицеры, равно как и рассказчик, столько были уверены в искусстве Сильвио, что его поступок с оскорбителем не могли приписать трусости, а разве великодушию или просто почитать его непонятным. — К чему еще эта подробность, что Сильвио не отдавал книг, взятых на прочтение? К чему описание жизни отставного офицера в деревне? — Правда, зато сильно описано равнодушие графа, жажда мщения Сильвио. — Какие верные черты (эпиграммы острее и неожидан-

нее; ему — любимцу счастия; и проч.)!

В «Метели» очень искусно прервано повествование о побеге дочери и другое, об известии, которое узнал несчастный жених. С каким приятным удивлением после страшного его плутанья, ожидая, что с невестою, убежавшею с вечера из дома родительского, случилось еще большее несчастие, а в отеческом доме поднялась ужасная тревога, вдруг читаем (с. 54): «Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что у них делается. А ничего! — Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны (дочери), каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сей час придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой». Что все это значит? — думает читатель, а автор очень ловко отложил объяснение до последнего почти слова в повести.

«Гробовщик» в роде Гофмановом очень забавен. Увидев во сне всех перехороненных им мертве-

цов, которых он накануне хотел пьяный позвать к себе на пирушку, в досаде на обиду, нанесенную у соседа немца, он ужасно встревожился. Так живо представлялись они его воображению, что он, проснувшись, был уверен в действительном свидании с ними. «Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночного приключения». — Та, разумеется, тотчас вывела его из сомнения.

«– Что ты, батюшка, не с ума ли ты спятил, али хмель вчерашний у тебя не прошел! Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю да спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили!

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так, — отвечала работница.

— Ну коли так, давай скорее чаю да позови дочерей».

Здесь особенно хорош бутошник Юрко и речь пьяного гробовщика с самим собою: «Ей-богу позову и на завтрешний же день» (с. 87). Заметим неправильности против русского быту: на таком обеде, где бутошник бывает в гостях, засмоленных бутылок не откупоривают и полушампанское не льется рекою. Немец не позовет к себе обедать только что переехавшего соседа.

Работница не подаст гробовщику халата, а он возьмет его сам, если только халат будет у него. Точно так же и чай был, верно, на руках дочерей. «Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». Глагол «жить» очень смешон, но эта речь не может быть сказана немцем.

«Станционному смотрителю» многие отдают преимущество пред всеми прочими повестями. Точно — здесь многие черты схвачены с природы. Как хорош при втором свидании пасмурный смотритель, в молчании записывающий подорожную и начинающий рассказывать свои несчастия после пунша. Вот речь его офицеру, соблазнившему его дочь: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость… Ваше высокоблагородие! Что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню» (с. 121). Смотритель, вышед от своего злодея, «сжал бумажки в комок» (которые тот насильно засунул ему за рукав), «бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел… Отошед несколько шагов, он установился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было» (с. 122). «Отчего он умер?» — «Спился, батюшка». Заметим неестественность. Как могла допустить Дуня, чтоб ее любовник вытолкал ее любимого отца

из комнаты (с. 126), или, по крайней мере, как не постаралась она после уладить дело и утешить огорченного старика? Такое жестокосердие невозможно! — Старик хотел только жить с нею вместе и не искал того, что упало с возу. — Ну что ж! разве он не мог остаться в Петербурге? Общее рассуждение о станционных смотрителях хорошо, но нейдет к делу.

«Барышня-крестьянка» рассказана забавно, но как молодой Берестов мог влюбиться со второго раза в крестьянку или, еще мудренее, в барышню, которая притворялась крестьянкою? — Как в первое свидание он не узнал этой крестьянки в барышне, хотя переряженной?

Теперь заметим некоторые неправильности или, лучше, небрежности грамматические.

«Сильвио был *слишком* умен и опытен, чтобы этого не заметить» (с. 9). Это галлицизм, нетерпимый русским языком (trop — pour). По-русски надо сказать: Сильвио был столько умен, что не мог не заметить, и проч.

«Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках». Деепричастие должно всегда относиться к тому ж предмету, как и глагол, и здесь выходит, что жизнь имела право выбрать оружие. Должно бы сказать: имея право

выбрать оружие, я имел жизнь в своих руках, или употребить другой оборот.

Нельзя также сказать: «пробегая письмо, глаза его сверкали» (с. 10). Но: глаза его сверкали, как он пробегал письмо. Разве глагол «пробегая» автор относил к глазам.

«Быв приятель покойному родителю» нельзя сказать, а должно: быв приятелем, как и сам автор говорит в других местах, напр(имер): «не будучи военным» (с. 2).

«Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили» (с. 10). — Едва ли можно?

«Минской хлопнул ему двери под нос» (с. 123). Галлицизм.

«По соседству деревни» (вместо: по соседству с деревнею); «память одного» (с. 103) (вместо: память об одном); «управление села» (вместо: управление селом); «недостаток смелости» (вместо: недостатка в смелости); «и прибавил долготы дней» (с. 22) (вместо: долготы ко дням); нельзя также сказать: «как воспоминание вас» (с. 67) (а «об вас»).

«Он советовал нам отнестись к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу» (с. VI). Здесь нехорошо, хотя и правильно, собрание дательных: «мужу», «Ивану»; а лучше б:

бывшему другом Ивана Петровича.

Иногда встречается по нескольку творительных, из которых одно управляет другим.

Наконец, остается нам сказать об эпиграфах. Они большею частию неудачны, напр⟨имер⟩, к «Выстрелу»: *«Стрелялись мы. Баратынский».*

Телескоп. 1831. Ч. 6. № 21 (Автор не установлен)

Н. Полевой
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные А. П. СПб. 1831 г., в т⟨ипографии⟩ Плюшара, in 12, XVII и 187 стр

Вот также пять маленьких *сказочек,* которые напечатал г-н А. П., почитая их *занимательными,* вероятно, не для детей, а для взрослых.

Помнится, в «Северной пчеле» было сказано несколько слов о забавном подражании наших литераторов нынешней моде французской и английской. Во Франции и Англии выдают ныне книги наполовину без подписи имен или с подложными именами сочинителей. И у нас стали делать то же: являются беспрестанно *анонимы* и *псевдонимы.* Но что у англичан и французов

происходит от избытка силы, то у нас пустое обезьянство. Многие сочинители наши могут подписывать и не подписывать имена свои и все-таки останутся anonymes dans les deux cas[31] (по выражению А. де Виньи). Этот *И. П. Белкин,* этот издатель сочинений его, который подписывается буквами А. П. и о котором в объявлении книгопродавцев говорят как о *славном нашем поэте,* походят ли они на дитя, закрывшее лицо руками и думающее, что его не увидят?

Впрочем, буквы А. П. были необходимы в другом отношении: без этого никто и не заметил бы «Повестей Белкина». Теперь, по крайней мере, их прочитали.

Кажется, сочинителю хотелось испытать: можно ли увлечь внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных украшений ни в подробностях рассказа, ни в слоге и никакого романизма в содержании (принимаем здесь слово *романизм* как *умоизвитие,* в чем, по уверению наших риторов, заключается сущность романа).

Дарования В. Ирвинга в наше время, кажется, решили уже этот вопрос. Но знал ли г-н Белкин,

---

[31] Notes: 31
Анонимами в обоих случаях *(фр.). — Ред.*

что это верх силы дарования огромного? Эта мнимая простота показывает Геркулеса, без всякого усилия, шутя ломающего огромные деревья.

Возьмите какую-нибудь В. Ирвингову повесть. Педант, школьный учитель, влюбился в девушку; любовник красавицы пугает педанта мертвецами и заставляет бежать. Англичанин, съехавшись в дороге с молодою венециянкою, спасает ее от разбойников. Вот содержание двух повестей. Что может быть этого проще? В рассказе той и другой повести нет ни риторических фигур, ни нечаянностей, ни блесток. Но в этом-то отсутствии шумихи содержания и слога заключается высокое искусство. Всего более показал сию степень, если можно так сказать, *безыскусственного искусства* В. Ирвинг в тех рассказах, где вовсе нет у него никакой завязки. Читайте его «Растерзанное сердце», свидание с В. Скоттом, воронов и ворон — неподражаемо! И. П. Белкину явно хотелось попасть в колею В. Ирвинга. Но как «Евгений Онегин» далек от «Дон Жуана», так «Повести Белкина» далеки от созданий В. Ирвинга.

Лучшею из всех «Повестей Белкина» нам показалась «Станционный смотритель». В ней есть несколько мест, показывающих знание человеческого сердца. Забавна и шутка, названная

«Гробовщик». Зато в повестях «Выстрел», «Метель» и «Барышня-крестьянка» нет даже никакой вероятности, ни поэтической, ни романтической. Это фарсы, затянутые в корсете простоты без всякого милосердия.

Московский Телеграф. 1831. Ч. 42. № 22

«Стихотворения Александра Пушкина». Третья часть

Сказав, что мелкие стихотворения Пушкина в настоящее время не возбуждают восторга, как бывало то прежде, мы, кажется, повторим известное всякому наблюдателю словесности русской. Еще более: стихотворения сии ныне встречает холодность, и слава богу, когда дело оканчивается одним равнодушием! Так нет! в публике нашей заметна еще какая-то неприязнь к ним, какое-то желание унижать произведения поэта, прежде столь любимого, недавнего идола всей русской молодежи и лучшего гостя русских журналов. Событие неоспоримо; надобно исследовать причины оного, и это-то хотим мы исполнить по случаю издания третьей части «Стихотворений» Пушкина.

Что бы могло породить такую холодность и

неприязнь к прежнему любимцу и полубогу? Какое сближение звезд, какие колдования, какие сглазы отвели от Пушкина сердце этой ветрени-цы публики? Благодаря всегдашним неудачам астрологии и магии мы не ищем ныне в их об-ластях разгадки явлений непостижимых, так же как не станем наводить зеркала критики на тусклый месяц общественного мнения, когда видим, что его задернуло какое-то мимолетное облачко. Не в переменившемся общественном мнении надобно искать причин холодности к Пушки-ну, а в самом поэте. Излишество холодности, доходящее до неприязни, понятно для всякого, кому известно, что самым неумолимым врагом бывает прежний друг, самым ужасным суще-ством — прежняя властительница души и сердца и самым злым насмешником — человек, прежде не знавший границ своему удивлению. Зачем вы обманули их доверчивость? Зачем разрушили связь, казалось завязанную самим Провидением? Зачем, наконец, обличили их мнимую близору-кость, несметливость, непредусмотрительность? Тут негодуют и за издержанные чувствования, и за разрушенное очарование, и за оскорбленное самолюбие.

Но если переменилось мнение публики, то

сама она осталась прежнею, или, скажем вместе с верующими вечному закону улучшения, она стала совершеннее опытностью, сведениями и новыми сподвижниками на чистом поле просвещения, более способными судить о том, что принадлежит им собственно, ибо принадлежит их времени. Если надобно дорожить мнением публики о делах общественных, то еще более мнением молодого поколения публики. А дорожить мнением общественным должно потому, что оно всегда бывает сообразно требованиям времени, ибо и время, и требования проявляются только обществом. Иначе проповедуйте дубам и березам и окружным жителям их, добрым медведям и скромным воронам, которые все еще живут в Адамовом времени.

Публика выражает своею холодностью к Пушкину только то, что он уже не сообразен с ее требованиями. Она никогда не говорит *как* и *почему;* она представляет вам событие; рассматривайте и догадывайтесь сами. Посмотрим и постараемся угадать, что на уме у нее.

И гармонические напевы, и легкость, прелесть стихосложения, и обычная сила в борьбе с упрямым нашим языком не изменились в бывшем любимце нашей публики. Это доказал он

недавними большими стихотворениями своими: 8-ю главою «Онегина», «Моцартом и Сальери», «Пиром во время чумы». Но мы говорим о его произведениях лирических. Находя и в них все исчисленные нами качества наружные, мы видим, однако ж, большую перемену внутреннюю в самом поэте. В ней заключается и причина размолвки его с публикою. Объяснить это не трудно, если обратимся к сущности лирической поэзии.

Не входя в метафизические исследования, можно сказать утвердительно, что лирическая поэзия есть удел немногих сильных и мгновенно воспламеняемых душ. Поэт эпический и драматический может и должен носить долго в себе идею, прежде нежели он выразит ее; он должен быть постоянен в самом труде и притом одушевляться, сосредоточиваться всею силою воображения своего в своей идее. Напротив, поэт лирический живет вдохновением мимолетным, мгновенным. Голова его горит и сердце бьется часы, а не годы. Но при этом внезапном одушевлении он должен иметь богатый запас постоянной силы, должен неизменно иметь всегда одинакое одушевление. Мир внешний и внутренний в его власти, но власть сия повинуется законам непременным. Дико и непонятно было бы видеть Пиндара, воспева-

ющего ручейки и цветочки, Тибулла, разящего эпиграммою порок. Горация, проповедующего умеренность, Ювенала, льстящего знатности и богатству. У каждого из сих поэтов было свое вдохновение, свой образ воззрения, свой восторг. Это-то постоянство в их одушевлении и любим мы, ибо только при нем и остаются они истинными поэтами. Принужденная, напудренная, нарумяненная муза лучших французских поэтов XVII и XVIII столетий наказана невниманием и почти презрением потомства именно за то, что она никогда не была верною представительницею отзывов души.

Теперь спросим у самих себя: того ли Пушкина видим мы в третьей части его «Стихотворений», того ли поэта, которого полюбила публика наша и которым восхищалась она, читая первые две части стихов его? Повторяем, что в наружной отделке он тот же: сладкозвучен, пленителен, игрив; но это не творец «Послания к Ч-ву», «Андрея Шенье», «Наполеона», «К морю», и проч. и проч. Направление его, взгляд его, самое одушевление совершенно изменились. Это не прежний задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель дум и мечтаний своих ровесников — это нарядный, блестящий и умный светский

человек, обладающий необыкновенным даром стихотворения. Взгляд на некоторые новые пьесы его убедит нас в том.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома?
Ну, пошел же, погоняй!..

Какая холодная, бессердечная ирония! Читая это, думаешь, что перед глазами стихи А. Е. Измайлова. Таково же стихотворение «Калмычка».

Пример в другом роде:

НОВОСЕЛЬЕ

Благословляю новоселье,

Куда домашний свой кумир
Ты перенес, а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.
Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал, как от огня.

Право, я не вижу тут ничего, кроме слов. Не сказав, *чем* застраховал неведомый мудрец домик свой, поэт лишил значения всю пьесу. Послание в 3-й части одно — «К вельможе». Это сочинение, вероятно, из тех, которые всего более повредили прежней славе поэта. Помещено и несколько подражаний древним, этих несчастных аномалий, столь ярко противоречивших самородному дарованию покойного Дельвига. Кто не улыбнется, например, прочитав следующее произведение Пушкина:

НА ПЕРЕВОД ИЛИАДЫ

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;

Старца великого тень чую смущенной душой.

И забавно, и досадно читать подобные ничтожности! Найдем ли мы хоть одно стихотворение Пушкина в первых двух частях, подобное этим, выписанным нами? Решительно нет. А ныне их встречается так много…

Впрочем, к утешению своему замечаем, что не все новейшие стихотворения его таковы. Священный огонь поэзии еще горит в душе поэта. Мелкие стихотворения, писанные им за Кавказом, и еще некоторые другие напоминают прежнего Пушкина. Особенно прекрасны «Делибаш», «Зима», «Поэту», «Ответ анониму», «Бесы», «Мадонна». Советуем обратить внимание на «Сказку о царе Салтане», где поэт подражал русской сказке. Об этом стихотворении мы скажем только то, что оно ниже своего образца и столько же походит на русскую сказку, сколько прежний Пушкин на нынешнего. Нам кажется, что самый род стихов, употребленный поэтом, избран неудачно. Такими стихами уже была написана сказка Н. А. Львова «Добрыня». Но размер сей нейдет к русской сказке: он, подобно размерам, избранным Радищевым в его «Бове» и Карамзиным в «Илье Муромце», не ладит с духом русских сказок. Для них надобно было бы обратиться к стихотворениям Кирши Данилова и у него поискать

приличного размера.

Вот мысли, внушенные нам третью частью «Стихотворений» Пушкина. Мы показали, отчего происходит холодность публики к новым его мелким сочинениям; прибавим, что даже отличные из сих последних не находят отзыва в душах и часто вовсе не нравятся. Этому причиной произвольный разрыв поэта с публикой; а после разрыва прежние друзья редко замечают хорошее один в другом и еще реже отдают оному справедливость.

Московский Телеграф. 1832. Ч. 43. № 4 (Без подписи)

Н. И. Надеждин
Летописи отечественной литературы Последняя глава «Евгения Онегина». Сочинение Александра Пушкина Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть Стихотворения Виктора Теплякова

Уже текущий год, говоря народною русскою речью, *переломился* — и вот весь поэтический его приход, который можно отложить в сохран-

ную казну воспоминания! Чудное дело! Неужели скудость поэтической производительности, оплаканная нами при обозрении истекшего года, должна оставаться неотъемлемым уделом нашей бедной словесности? Неужели сладкие надежды, коими украшали мы будущность, суть обманчивые призраки? И немногие страницы нашей слишком тощей библиографии должны ли наполняться одними жалкими, печальными иеремиадами?

К сожалению, по крайней мере на сей раз, жестокий опыт подтверждает, кажется, сии зловещие предчувствия. Из трех книжек, составляющих единственный поэтический плод целых шести месяцев литературной нашей жизни, только одна последняя может собственно назваться новостью. Две первые принадлежат поэту давно известному и заключают в себе стихотворения, также большею частию известные или вполне, или в отрывках. Но не одна количественная, численная так сказать, скудость новых поэтических произведений ужасает нас в итоге истекшего полугода. В самом внутреннем их достоинстве обнаруживается крайняя бедность поэтической жизни, нерадостная для патриотов русской словесности.

Было время, когда каждый стих *Пушкина* считался драгоценным приобретением, новым перлом нашей литературы. Какой общий, почти единодушный восторг приветствовал первые свежие плоды его счастливого таланта! Какие громозвучные рукоплескания встретили «Евгения Онегина» в колыбели! Можно было по всей справедливости применить к юному поэту горделивое изречение Цезаря: *пришел, увидел, победил!* Все преклонились пред ним до земли; все единогласно поднесли ему венец поэтического бессмертия. Усумниться в преждевременном апофеозе героя считалось литературным святотатством; и несколько последних лет в историй нашей словесности по всем правам можно назвать эпохою *Пушкина.* Не будем оскорблять минувшее бесполезными истязаниями: что было, то было! Скажем более: имя *Пушкина* и без прихотливого каприза моды, коей был он любимым временщиком, имело бы все права на почетное место в нашей литературе: энтузиазм, им возбуждаемый, не был совершенно незаслуженный! Но теперь — какая удивительная перемена! Произведения *Пушкина* являются и проходят почти неприметно. Блистательная жизнь «Евгения Онегина», коего каждая глава, бывало,

считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескоком чрез целую главу, и это не производит никакого движения, не возбуждает никакого участия. *Третья часть* стихотворений *Пушкина,* обогащенная обширною сказкою в новом роде, которого гений его еще не испытывал, скромно, почти инкогнито, прокрадывается в газетных объявлениях, наряду с мелкою рухлядью цехового рифмоплетного рукоделья; и (о верх унижения!) между журнальными насекомыми «Северная пчела», ползавшаяся некогда пред любимым поэтом, чтобы поживиться от него хотя росинкой сладкого меду, теперь осмеливается жужжать ему в приветствие, что в последних стихотворениях своих — *Пушкин отжил*!!!.. *Sic* transit gloria mundi!..[32]

Что ж значит сия перемена?.. Приписать ли это внезапное охлаждение той же ветротленной прихотливости моды, которая прежде баловала так поэта, или видеть в нем добросовестное раскаяние вразумившегося беспристрастия?.. Вопрос сей должно решить внимательным рассмотрением последних произведений *Пушкина.*

Начнем с *последней главы «Онегина».* Призна-

---

[32] Notes: 32
Так проходит слава мирская!.. *(лат.) — Ред.*

емся откровенно, сия последняя глава показалась нам ничем не хуже первых. Та же прихотливая резвость вольного воображения, порхающего легкокрылым мотыльком по узорчатому, но бесплодному полю светской бездушной жизни; та же яркая пестрота красок и цветов, мелькающих подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же беглое, но цепкое остроумие, везде оставляющее следы легкого юмористического угрызения; та же чистота и гладкость стиха, всюду льющегося тонкой хрустальной струею. Одним словом, мы нашли здесь продолжение той же пародии на жизнь, ветреной и легкомысленной, но вместе затейливой и остроумной, коей мы любовались от души в первых главах «Евгения». Посему, читая ее, мы не испытали никакого разочарования, не подверглись никакому неприятному впечатлению; и если иногда приходило нам в голову, что поэту, создавшему «Бориса Годунова», время б быть постепеннее, то мы оправдывали его необходимостью: надобно ж было кончить, что начато!.. Но, отдавая искренний отчет в собственных наших чувствованиях, мы не думаем, чтоб их разделяло с нами общее мнение. Большинство публики в минуты первого упоения, обмороченное вероломными кликами шарлатанов,

спекулировавших на общий энтузиазм к *Пушкину*, видело в «Онегине» какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными последствиями. Оно думало читать в нем полную историю современного человечества, оправленную в роскошные поэтические рамы, ожидало найти в нем русского «Чайлд-Гарольда». И могло ли устоять долго это добродушное ослепление, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала беспрестанно? Каждая новая глава «Онегина» яснее и яснее обнаруживала непритязательность *Пушкина* на исполинский замысел, ему приписываемый. С каждою новою строкою становилось очевиднее, что произведение сие было не что иное, как вольный плод досугов фантазии, поэтический альбом живых впечатлений таланта, играющего своим богатством. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливалось отыскать в нем черты высшего эстетического значения. Его воздушная легкость ускользала от всех покушений приязненной критики, домогавшейся узаконить его в ранге художественного произведения, имеющего известные права и подчиненного известным условиям. «Евгений Онегин» не был и не назначался быть в самом деле *романом*, хотя имя сие,

под которым он явился первоначально, осталось навсегда в его заглавии.

С самых первых глав можно было видеть, что он не имеет притязаний ни на единство содержания, ни на стройность изложения; что он освобождает себя от всех искусственных условий, коих критика вправе требовать от настоящего романа. В так называемом *романе Пушкина,* от начала до конца, мелькают, говоря его же словами:

Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон (⟨гл.⟩ VIII, с. 57).

Самое явление его, неопределенно-периодическими выходками, с беспрестанными пропусками и скачками, показывает, что поэт не имел при *нем* ни цели, ни плана, а действовал по свободному внушению играющей фантазии. Смело можно было угадывать, что при первой главе «Онегина»

Пушкин и не думал, как он кончится; и вот собственное его признание в *последней главе*:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном снеЯвилися впервые мне —
И даль свободного романаЯ сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал (\гл.\) VIII, с. 50).

Но сие признание сделано уже слишком поздно. Оно не спасло откровенного поэта от мести тех, кои, думая видеть в мыльных пузырьках, пускаемых его затейливым воображением, роскошные огни высокой поэтической фантасмагории, наконец должны были признать себя жалко обманувшимися. Раздраженная толпа вымещает теперь свое прежнее чрезмерное ослепление несправедливой холодностью. *Последняя глава «Онегина»* наказывается незаслуженным пренебрежением, оттого что первым удалось возбудить восторг не совсем заслуженный. Сам поэт, без сомнения, это предчувствовал, ибо последнее прощание его с читателями, коим он заключает сию *последнюю главу*, растворено юмористическою едкостью, изобличающею тайное недовольство самим

собой и представляющею разительную противуположность с тем разгульным одушевлением веселого самодовольствия, коим проникнуты первые главы «Онегина»:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты со мной
Здесь ни искал в строфах небрежных:
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости (⟨гл.⟩ VIII, с. 48, 49).

Не знаем, как принято сие обращение другими: что ж касается до нас, то мы извлекли из него поучительное заключение, к чести поэта, но — не в добрую примету для нашей словесности. Явно,

что *Пушкин* с благородным самоотвержением сознал наконец тщету и ничтожность поэтического суесловия, коим, увлекая других, не мог, конечно, и сам не увлекаться. Его созревший ум проник глубже и постиг вернее тайну поэзии: он увидел, что для гения — повторим давно сказанную остроту — не довольно создать *Евгения*... Но лучше ли от того нашей словесности?.. При ее крайнем убожестве, блестящая игрушка, подобная «Онегину», все, по крайней мере, наполняла собой ужасную ее пустоту. Видеть эту игрушку разбитою руками, ее устроившими, и не иметь, чем заменить ее, — еще грустнее, еще безотраднее.

Третья часть стихотворений *Пушкина* оставалась единственною опорою, к коей мы хотели приковать наши зыблющиеся надежды. Признаемся искренно, что в «Борисе Годунове» мы думали видеть рассвет нового периода художнической жизни поэта, от которого ожидали многого для нашей поэзии; и потому с жаром ухватились за собрание новых, последних его произведений, дабы найти в них приятное оправдание нашим мечтаниям. И, к сожалению, с тою же искренностию должны мы теперь сознаться, что мечтания сии оказались несбывшимися. Скажем наперед

наш образ мыслей, который для иных может показаться странным: стихотворения мелкие мы считаем самыми важными документами для изучения постепенного образования художнической жизни поэта. В произведениях первой величины, бывающих обыкновенно плодом долговременного напряжения всех сил поэта, гений является, так сказать, в параде, затянутый во все формы искусственного приличия, какие только для него возможны; но мелкие стихотворения, вырывающиеся небрежно из души, в минуты поэтического наития, трепещут свободною, безыскусственною, неподдельною жизнию минуты, их породившей. Следовательно, в них собственно должно изучать внутреннюю историю поэта. Это особенно имеет силу в отношении к *Пушкину*, коего все произведения сколько-нибудь пообширнее (силы ль у него недоставало иль терпения, не беремся здесь решать) никогда вполне не удавались. Кто хочет вызвать истинную глубину его таланта, тот должен вслушаться в его могучую беседу с морем или в вещую думу о Наполеоне. Посему-то, повторяем, мы особенно надеялись на *Третью часть* его стихотворений. Сия *Третья часть* содержит в себе произведения трех последних лет, с 1829 по 1831 год; и, признаемся, сии три года показа-

лись нам печальной лествицей ощутительного упадания поэта. Не то чтобы дарование *Пушкина* дряхлело и истощалось в силах: напротив, оно напрягается иногда до исполинского, заоблачного величия, как, н⟨а⟩п⟨ример,⟩ в поэтической думе *о Казбеке,* принадлежащей 1829 году:

Высоко, над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться в вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!.. (с. 12)

Но, не оскудевая в силах, талант *Пушкина* ощутительно слабеет в силе, теряет живость и энергию, выдыхается. Его блестящее воображение еще не увяло, но осыпается цветами, лишающимися постепенно более и более своей прежней благовонной свежести. Напрасно

привычным ухом вслушиваешься в знакомую мелодию его звуков: они не отзываются уже тою неподдельно-естественною, неистощимо-живою, безбоязненно-самоуверенною свободою, которая в прежних стихотворениях его увлекала за собой непреодолимым очарованием. Как будто резвые крылья, носившие прежде вольную фантазию поэта, опали; как будто тайный враждебный демон затянул и осадил рьяного коня его. И на что лучше свидетельства самого поэта? Послушаем собственного его признания, которое находится в той же *Третьей части.* Поэт обращается к цыганам, коих поэтическая жизнь вдохнула ему одно из прекраснейших его стихотворений.

Над лесистыми брегами,
В час вечерней тишины,
Шум и песни под шатрами,
И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное времяПровожал сии шатры.

Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,

Вы уйдете – но за вамиНе пойдет уж ваш поэт! (с. 108, 109)

И действительно, в последних стихотворениях *Пушкина* то *иное,* блаженное *время,* в которое вольная его фантазия кочевала самобытно в широком поле свободного вдохновения, едва мелькает в догорающих воспоминаниях. Сия потеря силы тем прискорбнее, что не сопровождается совершенною потерею сил в поэте. Талант его сохраняет еще свою деятельность и пытается всячески воспроизвесть себя. Он ощупывает все лады поэтического одушевления, дабы найти тон для нового периода своей художнической жизни: то подпираясь силой мысли, как в «Пире во время чумы» (с. 62–77), в «Моцарте и Сальери» (с. 89–99); то согреваясь огнем патриотического энтузиазма, как в лирическом воззвании к «Клеветникам России» (с. 119–122) или в праздновании «Бородинской годовщины» (с. 125–129). Но над ним сбываются вполне поэтические *приметы,* заключающие как бы нарочно сию *Третью часть* стихотворений, третий том жизни *Пушкина.* История его прошедших мечтаний и настоящего разочарования слишком выразительно обрисовывается сими двумя куплетами:

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны…
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло (с. 205).

Наконец, по естественному ли закону круго-обращения человеческой деятельности или по обдуманному расчету, основанному на воспоминании о прежних успехах, *Пушкин* возвратился опять на точку, с коей начал свое поприще, ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу. Он обратился к русской народной старине, в коей волшебной, прозрачной мгле разыгрались первые мечты его поэтической юности. Это новое покушение обратило на себя все наше внимание. Мы надеялись увидеть здесь первый шаг к тому обратному разрешению зрелого мужества в первобытную детскую простоту, к тому второму, искушенному, мудрому младенчеству, которое, по законам бытия, составляет последнюю ступень созрения жизни. Но, к прискорбию, мы нашли

одно принужденное усилие, tour de force[33] могущественного, но безжизненного искусства. С одной стороны, нельзя согласиться, что сия новая попытка *Пушкина* обнаруживает теснейшее знакомство с наружными формами старинной русской народности, но смысл и дух ее остается все еще тайною, не разгаданною поэтом. Отсюда все произведение носит на себе печать механической подделки под старину, а не — живой поэтической ее картины. Несмотря на искусный подбор слов и выражений в тоне русских народных сказок, в нем изобличаются беспрестанно следы новой работы. Гомерические повторения одних и тех же речей — кои в оригинальных преданиях старины пленяют своею естественною, младенческою наивностью — производят скуку, когда виден в них смысл подделывающегося искусства. Какое различие между «Русланом и Людмилой» и «Сказкою о царе Салтане»! Там, конечно, меньше истины, меньше верности и сходства с русской стариной в наружных формах, зато какой огонь, какое одушевление! Невольно забываешь все археологические притязания, чтобы любоваться прелестями свежей, роскош-

[33] Notes: 33
Ловкий трюк *(фр.). — Ред.*

ной поэзии. Здесь, напротив, одна сухая, мертвая работа — старинная пыль, из которой, с особенным попечением, выведены искусные узоры!.. Таким образом, в *Третьей части* стихотворений *Пушкина* мы увидели ряд неудачных попыток таланта, разочарованного в юношеских своих мечтах и не умеющего найти опоры для своих зрелых помыслов и вдохновений.

Какое ж общее заключение должно вывесть отсюда?.. Мы уже имели случай высказать, что доверенность наша к неистощенной полноте юной русской жизни, только что слегка завивающейся надеждами, предохраняет нас от совершенного отчаяния в деле поэзии, обнаруживаемого так громогласно современною французскою критикою. И там подобное отчаяние есть грех против человеческой природы, коей творческая сила составляет наследственное, неотъемлемое достоинство: у нас оно было бы двойным преступлением. Франция уже пресытилась жизнию и напряженными чрез меру усилиями истощила пред собой всю перспективу будущности, заключившейся в горизонте обыкновенной предусмотрительности. Но мы еще только что начинаем жить: будущее наше еще не почато. Должно, однако, предполагать, что подобные

черные мысли находят доступ и к нам: по крайней мере видно, что их боятся и берут против них меры. Так *«Стихотворения» Теплякова,* поэта нового, не покровительствуемого ни шумом наемной молвы, ни титлами благоприобретенного авторитета, являются в свет под оборонительной эгидой *предисловия,* которое заключает в себе нормальную апологию поэзии. Признаемся, нам приятно было встретить в этом *предисловии* ту же светлую, живую, несокрушимую веру в бессмертие поэзии, которое сами исповедуем. Сочинитель его с благородным негодованием восстает против тех, кои, твердя об *исполинских шагах* современного просвещения, ограничивают все его достоинство и весь отличительный характер стремлением к *физическому благосостоянию:* для него, как и для нас, поэзия есть лучший цвет человеческой жизни, венчающий ее полное развитие. Точно так же согласно с нами в настоящем бесплодии нашей поэтической производительности видит он не безнадежное истощение пресытившейся, одряхлевшей жизни, но младенчество, богатое девственною будущностию. ⟨…⟩ Новый поэт может продолжить для нас эпоху *Пушкина,* может наполнить более или менее яркими, искусственными блестками

ужасную пустоту нашей словесности; но — не осеменит ее для новой, самобытной, самопроизводительной жизни!

Итак, вот что остается в итоге наших исследований. Поэзия наша решительно не двигается вперед, но, обращаясь в одном и том же круге, только что повторяет сама себя в более и более тускнеющих отражениях. Это, однако, не значит, чтобы внутренняя полнота жизни истощилась в недрах нашего отечества: она еще и не раскрывалась сама из себя. Доселе на всех поэтических наших усилиях господствовало вдохновение несамобытное, чужое, экзотическое: лучшие, блистательнейшие цветы нашей поэзии выращены в оранжерейной атмосфере подражания. Мы еще не имели своей, русской, народной поэзии. У *Пушкина* были притязания на имя русского народного поэта, и он долго считался таковым; но его народность ограничивалась тесным кругом наших гостиных, где русская богатая природа вылощена подражательностью до совершенного безличия и бездушия. Отсюда непрочность его успехов и славы. Но ничто не изобличает так ярко чужеземного, не русского вдохновения, господствующего в современной нашей поэзии, как стихотворения *г. Теплякова.* Поэт сам не хо-

тел скрывать того. Каждое из его стихотворений носит, можно сказать, на лбу печать своего чужеземного происхождения: каждое начинается иностранным эпиграфом, заключающим в себе его главную тему. Обстоятельство, по-видимому, случайное, но имеющее глубокий смысл, подающее повод к важным преображениям! Значит, у поэта не доставало собственных оригинальных мотивов поэтического вдохновения, когда каждый его аккорд имел нужду в заимственном, чужеземном тексте. Что же должно заключить отсюда? То, что поэзии нашей не дождаться обновления, пока русский дух не обратится внутрь себя, не отыщет в самом себе источника новой, самобытной жизни!.. Но как приняться, как начать это великое дело?.. Европейские литературы возвращают теперь свою народность, обращаясь к своей старине. У нас это возможно ли? Таково ли наше прошедшее, чтобы восстановлением его можно было осеменить нашу будущность?.. Сей важный вопрос мы предоставляем себе разрешить впоследствии, когда дойдет очередь до тех произведений нашей словесности, кои под именем *романов* стремятся собственно и исключительно к поэтическому воссозданию старины русской.

Телескоп. 1832. Ч. 9. № 9

«Борис Годунов». Сочинение Александра Пушкина. СПб. 1831 г. in 8. 142 стр

Фрагмент

⟨…⟩ Как мог Пушкин не понять поэзии той идеи, что история *не смеет утвердительно назват*ь *Бориса цареубийцею?* Что недостоверно для истории, то достоверно для поэзии. И что мог извлечь Пушкин, изобразя в драме своей тяжкую судьбу человека, который не имеет ни сил, ни средств свергнуть с себя обвинение перед людьми и перед потомством! Клевета безвестная, глухо повторяемая народом, тлеет в душах аристократов, когда имя *Самозванца* отдается изредка в слухе Бориса (он знал об этом за пять лет явного похода Лжедимитрия). Над головою его умножаются бедствия; аристократия действует — легкий слух превращается в явный говор — Борис губит Романовых, преследует Шуйских — политика Польши обращается на Россию — и что казалось мечтою, делается всесокрушающею действительностью. Какое великое развитие тайн судьбы, какое об-

ширное раздолье для раскрытия характеров, для изображения России, Польши, Бориса, Самозванца, аристократии, народа!

Все это утратил Пушкин, взяв идею Карамзина. Остроумно заметил критик «Европейца», что содержание драмы Пушкина составляет очищение преступления, наложенного на совесть Бориса убийством царственного игрока. Следовательно, вся драма Пушкина есть только исполнение приговора, уже подписанного Судьбою? Критик «Европейца» обращает это в особенную похвалу Пушкину. Мы поговорим далее, можно ли было на сей идее основать трагедию. Теперь посмотрим, как развил карамзинскую идею Пушкин.

Заметьте сначала, в какую нерешительность поставила она нашего поэта. Он создает *драму* — все видят это, и сам он знает, но он не смеет назвать ее драмою и говорит просто: «Борис Годунов». Это похоже на детскую игру — ребенок закрывает лицо руками и думает, что он спрятался. Пушкин и не делит драмы своей на действия: двадцать два сплошные явления заключают в себе события с февраля 1598-го до июня 1605 года, в течение семи с лишком лет, начинаясь избранием Бориса на царство, заканчиваясь смертию сына Борисова и провозглашением царя

Димитрия: новая странность; но в сторону мелочи — будем смотреть на что-нибудь поважнее.

Драма начинается разговором бояр Шуйского и Воротынского. Шуйский открывает своему собеседнику, что Борис был убийцею Димитрия-царевича, и подсмеивается над упорством Бориса принять венец царский. — Объявление на Красной площади: еще раз собраться народу и снова идти отговаривать Бориса. — В третьей сцене является Борис, уже принявший престол, и клянется право править Россиею.

Промежуток — *пяти лет.* — Вводная сцена: Инок-летописец и Отрепьев, служка его, будущий Самозванец, еще робкий, еще не дерзающий на умысел, беседуют в келье Чудова монастыря. Сны, вещающие грядущее, тревожат юного служку. Инок подробно рассказывает ему повесть о убиении царевича, которой Отрепьев *не знал до тех пор*! Инок смело называет Годунова убийцею. ⟨…⟩

Эпилог. Гонцы Самозванца являются в Москве, на лобном месте, уговаривают и возмущают народ. Толпы буйствуют, стремятся низвергнуть оратора. — Последняя сцена: Феодор, сестра и мать его в заключении; бояре идут к ним; слышны шум и вопль; бояре выходят и объявляют народу, что Феодор и мать его отравили себя ядом.

Если рассматривать сцены каждую отдельно, то бо'льшая часть из них прекрасны — некоторые особливо отделаны полно, мастерски. Таковы: инок Пимен и Самозванец; монахи на литовской границе; речь Патриарха в совете: Марина и Самозванец ночью в саду; битва под Новгородом Северским; Юродивый и обе сцены эпилога. Зато другие слабы, ничтожны; самая первая; также сцена, где Борис избирается на царство; та, где он потом грустит; сюда же отнесем пир у Шуйского и приход Шуйского к Борису после того; всего неестественнее сцена кончины Борисовой. Но такой отдельный разбор сцен будет всегда неопределителен и ни к чему не поведет. Притом что одному нравится, то не нравится другому. Для примера скажем, что мы видали многих, которые в восторге от сцены Курбского при переходе через границу, нам кажется, напротив, что это слишком натянуто, изысканно и не в духе времени. Другие осуждают сцену отречения, где Маржерет и Розен говорят по-французски и по-немецки; нам кажется, что ничего не может быть выразительнее и естественнее этой сцены. Не будем входить и в мелкую критику выражений. Все это, разбор явлений и слов, должно следовать за разбором основной идеи и развития, и когда сии две части

неудовлетворительны, то красота подробностей плохая помога поэту; при удовлетворительности их мы готовы простить их частные ошибки и погрешности.

Не общее ли мнение всех есть то, что, когда вы прочитаете драму Пушкина, у вас остается в памяти множество чего-то хорошего, прекрасного, *им* несвязанного, в отрывках, так, что ни в чем не можете вы дать себе полного отчета? Вот голос простого чувства всякого читателя. Входя критически в подробности, соображая целое и части, идею и исполнение, историю и драму, вы уверитесь, что все это совершенно справедливо и происходит:

1-е. От бедности идеи, которая не позволила поэту развить ни характеров, ни подробностей, когда драма живет только ими.

2-е. От несправедливого понятия об исторической или вообще романтической драме. Судя по драме Пушкина, все отличие ее от классической драмы состоит в бессвязной пестроте явлений и прыжках от одного предмета к другому. Но это неверно: романтическая драма имеет свои строгие правила и свой порядок действий, который, как замечает Девиньи, может быть, еще тяжелее классического. Мнимая легкость романтизма

есть свобода, данная с условием — выкупить ее большею отчетливостью.

Мы уже говорили о том, как много потерял Пушкин, оставив самую поэтическую сторону жизни Годунова — неопределенность обвинения в смерти царевича. Забыв при этом истинную причину его падения и успехов Самозванца — буйную русскую аристократию, забыв и политические отношения Польши к России, — он, естественно, должен был потеряться в плане и развитии его. Если с первого явления нам сказали тайну Бориса, что сделалась вся драма Пушкина? Это «Le dernier jour d'un condamné» («Последний день приговоренного к смерти»)! Вместо того чтобы из жребия Годунова извлечь ужасную борьбу человека с судьбою, — мы видим только приготовления его к казни и слышим только стон умирающего преступника.

Телескоп. 1832. № 9

Н. И. Надеждин (?)
«Новоселье», часть вторая

ФРАГМЕНТ

⟨...⟩ «Анджело», повесть в стихах Ал. Пушкина

в трех частях. Пиэса сия заслуживает полное внимание критики, хотя едва ли воспользуется таковым же от публики. Заметим предварительно, что эта горсть людей, у нас читающих и, следовательно, читающих Пушкина, так еще малочисленна, так маловнимательна к авторам, ею читаемым, что у ней не может образоваться различных мнений и, следовательно, суждений о писателе. Нет, она с плеча, одним махом, по двум, трем пиэсам составляет свое мнение об сочинителе; и после что хотите делайте, вы не собьете ее с этого понятия, или, что еще хуже, если будете усиливаться, сами проиграете непременно… Бесспорно, что несравненный, единственный современный талант Пушкина сделался известен у нас первыми произведениями его юности, хотя, быть может, и не всегда отчетистыми, но всегда горячими, пылкими, истинно поэтическими. Первое впечатление решило славу его, положило основный камень мнению публики о Пушкине. Каждый стих его, каждое слово ловили, записывали, выучивали и всюду думали видеть тень или блеск того же характера пылкой, стремительной юности, по произведениям которой составили о нем понятие. Но поэт как Пушкин не мог оставаться в зависимости даже и от обще-

ственного мнения: он шел своим путем, и чем сильнее, самобытнее, выше развивался талант его, тем далее последующие его произведения расходились с тем первым впечатлением, которое так шумно, так торжественно сделал он, еще незнаемый, из садов Лицея! Он был недоволен публикою, недоволен ее образом воззрения на себя, и негодование поэта изливалось не раз в стихах могущественных:

Так толковала чернь пустая,
Поэту славному внимая!

Но публика стояла крепко на своем, и поэт, не внимая ей, идучи своим путем, более и более отделялся от ее участия. Вот, по нашему мнению, единственная разгадка, почему последние, лучшие поэмы его, как, н⟨а⟩п⟨ример⟩, «Борис», были принимаемы с меньшим жаром и участием. Пушкин не внимал — и продолжал путь свой. Не место здесь пускаться в рассуждение, кто прав: публика ли с своим упрямством и желанием слышать от поэта тот же строй песней, которым он пробудил ее внимание, или непокорность поэта сему требованию. Ограничимся сознанием, что общее участие к произведениям Пушкина уже значительно изменилось, а вместе с тем и характер его

сочинений. Это предварительное изложение, по нашему разумению, было необходимо для того, чтобы дать в настоящем случае верный отчет о повести его «Анджело» и показать, что мы, уважая поэта, изучали не только его произведения, но и ход его влияния на публику и ее к нему отношения. Дополним это замечанием, что есть еще люди, не зависимые от первых впечатлений, которые и теперь понимают и ценят Пушкина, но много ли их? Обратимся к «Анджело». Бокачио, отец «Декамерона», был первым, начавшим писать в роде, к коему принадлежит «Анджело». Простой, самый естественный, бесстрастный, не размышляющий рассказ происшествия, как они были, есть отличительная черта сего рода произведений, являвшихся в свое время не случайно, не по прихоти литературной, а вследствие особых обстоятельств, развивавших в разные периоды времени различные роды стихотворений: сагу, романс, балладу и т. д. Возможно ли подобное воссоздание какого-либо рода стихотворений во всякое время по воле самого сильного дарования? Имеет ли право талант, не обращая внимания на современное, его окружающее, постоянно усиливаться воскресить прошедшее, идти назад, не стремиться вперед? Может ли иметь успех по-

добное направление? Вправе ли писатель винить публику, если она не разделяет его стремления к минувшему, а в силу вечно неизменяемого влечения к будущему остается равнодушною, непризнательною к его тягостному борению с веком, усилию, часто обнаруживающему тем разительнее великость его дарования? Вот вопросы, которые в настоящее время было бы кстати предложить на разрешение и отвечать на которые мы не можем в статье библиографической, хотя в них-то существенно должна заключаться истинная оценка пиэсы Пушкина, полной искусства, доведенного до естественности, ума, скрытого в простоте разительной, и, сверх того, неотъемлемо отличающейся истинным признаком зрелости поэта — тем спокойствием, которое мы постигаем в творениях первоклассных писателей. Судить о стихосложении Пушкина было бы излишне; мы ограничиваемся, наведя читателей на мысль, стоящую, по мнению нашему, подробного исследования. ⟨…⟩

Молва. 1834. Ч. 7. № 22

Письмо к издателю

⟨**Отрывки**⟩

М⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩,

Объявив себя строгим поборником литературной правды, вы, конечно, не откажетесь выслушать и передать вашим читателям жалобу к вам на вас самих или, по крайней мере, на ваших сотрудников, за которых ответственность вполне лежит на вас, когда вы печатаете их мнения без всякого от лица вашего примечания.

⟨…⟩ Вообще князь Вяземский до сих пор не был еще оценен у нас надлежащим образом. Его долговременное горячее подвижничество на поприще нашей словесности дает ему полное право на почетное место между нашими современными писателями и, кажется, заслуживает добросовестную снисходительность к недостаткам его поэтических произведений, состоящим в излишестве остроумия и не всегда удачной борьбе с языком, непокорным мере и рифме. В стихотворениях, помещенных им в нынешнем «Новоселье», и эти недостатки весьма мало ощутительны, зато все они кипят мыслью, гостьей

так редкою в нашей современной поэзии. ⟨…⟩

Выпишу еще несколько стихов из «Тройки», о которой сказано у вас слишком легко, что она «Скачет быстро, живо и не опрокидывается в ухабы». Этого мало сказать, прочитав следующее:

Тройка мчится, тройка скачет…

Воля ваша, а, по моему мнению, эта «Тройка» обгонит в поэтическом достоинстве все прежние, не говоря уже о знаменитой «Телеге жизни», у которой в печати высыпалось из одного колеса несколько спиц, замененных точками… Я бы желал, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, чтобы вы загладили несправедливость вашего рецензента, удосужившись разобрать вполне литературное достоинство князя Вяземского. В английских и французских журналах помещаются беспрестанно литературные биографии знаменитых современных писателей, где оценивается их талант и определяется должное им место в литературе чрез совокупное рассмотрение всех их произведений. Такие биографии гораздо важнее и полезнее эфемерных рецензий! Я обращаюсь с сим желанием к вам, ибо от вас, повторяю, должно требовать подобного приложения философической критики к современной словесности…

Наконец, в-третьих, рецензент ваш в суждении об «Анджело» Пушкина, помещенном в сей части «Новоселья», оказал слишком явное пристрастие. Я совершенно согласен с ним в том, что говорит он вообще о ходе влияния Пушкина на публику, о постоянно усиливающемся разноречии его с нею и о значительном изменении общего участия к его произведениям. Но, признаюсь, вопреки ему, не нашел в «Анджело» ни «искусства, доведенного до естественности», ни «ума, скрытого в простоте разительной», тем более не заметил «истинного признака зрелости поэта — того спокойствия, которое мы постигаем в творениях первоклассных писателей». По моему искреннему убеждению, «Анджело» есть самое плохое произведение Пушкина; если б не было под ним его имени, я бы не поверил, чтоб это стихотворение принадлежало к последнему двадцатипятилетию нашей словесности, и счел бы его старинкою, вытащенною из отысканного вновь портфейля какого-нибудь из второстепенных образцовых писателей прошлого века. Так мало походит оно на пушкинское, даже самою версификациею, изобилующею до невероятности усеченными прилагательными и распространенными предлогами! Не угодно ли вам перечесть вновь следующие стихи:

Ты думаешь? так вот тебе предположенье:

Что, если б отдали тебе на разрешенье

Оставить брата влечь ко плахе на убой,

Иль искупить его, пожертвовав собой

И плоть предав греху? (с. 61)

Или, пожалуй, хоть эти:

Средство есть одно к спасенью.

(Все это клонится к тому предположенью,

И только есть вопрос и больше ничего.)

Положим: тот, кто б мог один спасти его

(Наперсник судии, иль сам по сану властный

Законы толковать, мягчить их смысл ужасный),

К тебе желаньем был преступным воспален

И требовал, чтоб ты казнь брата искупила

Своим падением: не то – решит закон!

(с. 63)

Или следующий афоризм:

Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем наконец уже садятся птицы (с. 52).

Спрашиваю, чем эти и многие подобные стихи лучше стихов не только Хераскова и Кострова, даже некоторых Сумарокова? Я уже не упоминаю о том, что в отношении к содержанию «Анджело» есть не что иное, как переделка Шекспировой «Measure for Measure» из прекрасной драмы в вялую, пустую сказку. Не думайте, чтобы я был предубежден против творца этой переделки. Напротив, уверяю вас, что никто больше меня не чувствует живейшей признательности к Пушкину за неоцененные минуты, кои он доставлял мне своими первыми произведениями, благоухавшими свежей сладостью мощного, роскошного таланта. И потому, читая «Анджело», я повторял с чувством глубочайшей горести его же прекрасный стих, в то время глубоко запавший мне в душу: увы!

Таков ли был он расцветая?

В полной надежде, что вы не откажетесь вверить крыльям вашей «Молвы» сию апелляцию «Молве» на «Молву», с отличным уважением, имею честь быть

ваш покорнейший слуга Житель Сивцева Вражка.

Июня 12. 1834.

Молва. 1834. Ч. 7. № 24

В. М. Строев
«Повести, изданные Александром Пушкиным» С.-Петербург. 1834. В т⟨ипографии⟩ Гинце, в 8 л. л. XIII и 247 стр

Это не новость, а второе издание «Повестей покойного Белкина» с прибавлением двух отрывков из исторического романа и «Пиковой дамы», которую мы недавно читали в одной из книжек «Библиотеки для чтения». И «Повести Белкина», и отрывки из романа (не помню, где-то напечатанные)[34], и «Пиковая дама» знакомы, известны читателям, но все-таки о них поговорить следует: ведь они изданы А. С. Пушкиным.

Прежде всего о предисловии. С некоторого

---

[34] Notes: 34

В «Северных цветах». — Изд⟨атели⟩.

времени во Франции вошло в моду издавать сочинения *покойников.* Раскрываете собрание повестей — и вот перед вашими глазами длинное *от издателя,* в котором рассказано о жизни и трагической смерти настоящего (будто бы!) автора. Этим литературным *маневром* думают возбудить участие и внимание читателя, но едва ли достигают своей цели. Настоящий автор всегда почти бывает известен: французы такие болтуны! К чему же мистификация, тайна, предисловие?

А. С. Пушкин издал чужие повести, повести *покойного Белкина.* Был ли на свете Белкин, нет ли, нам все равно; а важны для нас его повести, к которым А. С. Пушкин руку приложил.

В «Повестях Белкина» было при первом издании пять повестей; теперь столько же. Первая повесть («Выстрел») слаба изобретением, характеров нет, ибо они не выдержаны; все, все рассказано, ничто не представлено в действии; одна часть повести (с. 31–37) совсем бесполезна, излишня и ровно ни к чему не ведет.

Вторая повесть («Метель») уж чересчур неправдоподобна. Прапорщик (кажется, прапорщик) подговаривает провинциялку бежать и обвенчаться. Она бежит из дома родителей в назначенный час, одна; между тем прапорщик сбивается

с дороги и не попадает в церковь, где должен быть обряд венчания. Другой офицер едет мимо церкви; его останавливают, венчают; только по окончании обряда невеста узнает, что этот офицер не ее прапорщик, — и падает в обморок. В этой повести каждый шаг — неправдоподобие. Кто согласится жениться мимоездом, не зная на ком? Как невеста могла не разглядеть своего жениха под венцом? Как свидетели его не узнали? Как священник ошибся? Но таких «как» можно поставить тысячи при чтении «Метели».

Третья повесть («Гробовщик») — не повесть, а только анекдот, растянутый довольно длинно. Гробовщик, возвращаясь полупьяный с вечеринки, на которой посмеялись над его ремеслом, вздумал приглашать к себе в гости мертвецов, заснул и видел во сне, что все, похороненные в его гробах, пришли к нему на пирушку. Развязывать повесть пробуждением от сна героя — верное средство усыпить читателя. Сон — что это за завязка? Пробуждение — что это за развязка? Притом такого рода сны так часто встречались в повестях, что этот способ чрезвычайно как устарел.

Четвертая повесть («Станционный смотритель») удачно изобретена и живо рассказана.

Она не растянута, как другие «Повести Белкина», хотя описание станции и смотрителей тоже (на стр. 93–97) очень незанимательно. Оно, может быть, понравилось бы в стихах, если б было *оперено летучей рифмою,* но в прозе оно вяло, невыразительно и — если говорить правду — скучно.

Пятая повесть («Барышня-крестьянка») так же мало правдоподобна, как и «Метель». Все действие основано на переодевании — старое средство французских комедий. Вероятно ли, чтобы молодой человек не узнал своей любовницы потому только, что она нарумянила щеки, насурмила брови, надела пукли?

Ни в одной из «Повестей Белкина» нет идеи. Читаешь — мило, гладко, плавно; прочтешь — все забыто, в памяти нет ничего, кроме приключений.

«Повести Белкина» читаются легко, ибо они не заставляют думать. В них нельзя не заметить слова «я», которое повторяется беспрестанно, почти на каждой странице. Везде Белкин да Белкин, к чему это? Читатель хочет повестей, а не Белкина.

За повестями следуют два отрывка из исторического романа, которому еще не дано никакого

имени. Отрывки очень хороши как отрывки, но они не стоят того, чтобы их печатать отдельно. Представляют ли они общий характер русского общества во времена Петра Великого? — Нет. Представляют ли они хоть какое-нибудь полное приключение? — Нет. К чему же их печатать отдельно?..

В заключение всего напечатана «Пиковая дама», точно в таком виде, в каком мы читали ее в «Библиотеке для чтения», без всяких поправок или перемен. Подробности сей повести превосходны: Герман замечателен по оригинальности характера; Лизавета Ивановна — живой портрет компаньонок наших старых знатных дам, рисованный с натуры мастером. Но в целом — важный недостаток, общий всем «Повестям Белкина», — недостаток идеи. Впрочем, строгое суждение об этих повестях невозможно: они прикрыты эгидою имени Пушкина[35].

Извещая о сочинении Пушкина, нельзя не сказать, где оно продается. Повести, изданные Пушкиным, продаются по 6 р(ублей) в книжной лавке Андрея Глазунова, под № 25. Иногородные

---

[35] Notes: 35

И еще очаровательностью изложения. Мы не знаем в русской литературе повести, которая была бы написана так легко, приятно, правильно и отчетисто, как «Пиковая дама». — Изд(атели) «С(еверной) пч(елы)».

должны адресовать требования на имя управляющего лавкою Лисенкова. Обглядывая обертку книжки, мы нашли объявление о новом историческом труде А. С. Пушкина. Он будет называться «Историею Пугачевского бунта», состоять из двух томов и продаваться у Лисенкова по 20 рублей за экземпляр. Не дорого!

Северная пчела. 1834. № 192

В. Г. Белинский
Литературные мечтания
(Элегия в прозе)
Фрагмент

⟨*I*⟩

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую:
Как этаких людей учтивее зовут?..

Грибоедов. «Горе от ума»

Есть ли у вас хорошие книги?
– Нет, но у нас есть великие писатели.
– Так, по крайней мере, у вас есть словесность?

– Напротив, у нас есть только книжная торговля.

Барон Брамбеус

Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим, и, гордые нашею действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов? Увы! где ты, о bon vieux temps[36], где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель! Как все переменилось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломились ходульки наших литературных атлетов, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вместе с тем умолкли, заснули, исчезли и те немногие и небольшие дарования, которыми мы так обольщались во

---

[36] Notes: 36

О доброе старое время *(фр.). — Ред.*

время оно. Мы спали и видели себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев сии трогательные слова поэта:

Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней!

Да — *прежде* — и *ныне, тогда* — и *теперь*! Великий Боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовию, Пушкин — автор «Полтавы» и «Годунова» и Пушкин — автор «Анджело» и других мертвых, безжизненных сказок!..

⟨...⟩ Итак, третье десятилетие XIX века было ознаменовано влиянием Пушкина. Что могу сказать я нового об этом человеке? Признаюсь: еще в первый раз поставил я себя в затруднительное положение, взявшись судить о русской литературе; еще в первый раз я жалею о том, что природа не дала мне поэтического таланта, ибо в природе есть такие предметы, о коих грешно говорить

смиренною прозою!

Как медленно и нерешительно шел или, лучше сказать, хромал *Карамзинский* период, так быстро и скоро шел период *Пушкинский.* Можно сказать утвердительно, что только в прошлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая жизнь! тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть действование, действование есть борьба, а тогда боролись и дрались не на живот, а на смерть. У нас нападают иногда на полемику, в особенности *журнальную.* Это очень естественно. Люди, хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как можно предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать на себя ненависть и гонение? О! им никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастие души сказать какому-нибудь *гению в отставке без мундира,* что он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикуну-журналисту обязан своею литературною значительностию; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо

переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку, какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту словесность, которой занимается, и этих добрых людей, кредитом коих пользуется, что он надругался и над святостию истины, и над святостию знания, заклеймить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свету во всей его наготе!.. Говорю вам, во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное! Конечно, в литературных сшибках иногда нарушаются законы приличия и общежительности; но умный и образованный читатель пропустит без внимания пошлые намеки о *желтяках,* об *утиных носах, семинаристах, гаре, полугаре, купцах* и *аршинниках;* он всегда сумеет отличить истину ото лжи, человека от слабости, талант от заблуждения; читатели же невежды не сделаются от того ни глупее, ни умнее. Будь все тихо и чинно, будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!..

Итак, период *Пушкинский* был ознаменован

движением жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы обо всем пересудили, обо всем переспорили, все усвоили себе, ничего не взрастивши, не взлелеявши, не создавши сами. За нас трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались им: в этом-то и заключается тайна неимоверной быстроты наших успехов и причина их неимоверной непрочности. Этим же, кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия, столь живого и деятельного, столь обильного талантами и гениями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый, теперь с грустию видит, как имена, вместе с ним взошедшие на горизонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине забвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово… В самом деле, где же теперь эти юные надежды, которыми мы так гордились? Где эти имена, о коих бывало только и слышно? Почему они все так внезапно смолкнули? Воля ваша, а мне сдается, что тут что-нибудь да есть! Или, в самом деле, время есть самый строгий, самый правдивый Аристарх?.. Увы!.. Разве талант Озерова или Батюшкова был ниже таланта, например,

г. Баратынского и г. Подолинского? Явись Капнист, В. и А. Измайловы, В. Пушкин, явись эти люди вместе с Пушкиным во цвете юности, и они, право, не были бы смешны и при тех скудных дарованиях, которыми наградила их природа. Отчего же так? Оттого, что подобные таланты могут быть и не быть, смотря по обстоятельствам.

Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими рукоплесканиями и свистом, которые только недавно перестали его преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такою народностию, такою славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. И кем же? Людьми, которые сперва пресмыкались пред ним во прахе, а потом кричали: *chôute complète!*[37] Людьми, которые велегласно объявляли о себе, что у них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литераторов: дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на них. Но не в том дело. Вспомните состояние нашей литературы до двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда бо'льшую часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда, Державиным восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лекциям Мерзлякова. Не было

[37] Notes: 37
Полное падение! *(фр.) — Ред.*

жизни, не было ничего нового; все тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Людмила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. Люди без претензий на ученость, люди, верившие своему чувству, а не пиитикам или сколько-нибудь знакомые с современною Европою, были очарованы этим явлением. Литературные судии, державшие в руках жезл критики, с важностию развернули «Лицей» (в переводе г. Мартынова — «Ликей») Лагарпа и «Словарь древния и новыя поэзии» г. Остолопова и, увидя, что новое произведение не подходило ни под одну из известных категорий и что на греческом и латинском языке не было образца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не все, конечно, тому поверили. Вот и пошла потеха. Классицизм и романтизм вцепились друг другу в волосы. Но оставим их в покое и поговорим о Пушкине.

Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностию принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего

века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность *вековых правил, самою мудростию извлеченных из писаний великих гениев,* и с удивлением узнавшая о других правилах, о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей дотоле, взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да — Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества; но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки; мы всё знаем, ничему не учившись, всё приобрели, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словом:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду, от труда опять к младым пирам, сладкому безделью и легкокрылому

похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания. Баловень природы, он, шаля и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни… Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами… Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму волн* или *журчанию ручья*…

Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, то есть его «Андрей Шенье», его *могучая беседа* с морем, его *вещая дума* о Наполеоне — поэмы. Но самые

драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал десять лет. «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаём Пушкина; он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское *быть или не быть* скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии, вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою; где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы

читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!.. *Странная вещь, непонятная вещь!* Неужели Пушкина, которого не могли убить ни исступленные похвалы энтузиастов, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина? И однако ж, не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить нелегко. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна и в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:

> *Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь.*

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовию Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что *журчание* его *стихов* согласовалось с его рыданиями и смехом… Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних…

Молва. 1834. Ч. 8. № 38

В. Г. Белинский

«Повести, изданные Александром Пушкиным»

Всему свой черед, все подчинено неизменным законам. За роскошною весною следует жаркое лето, а за ним унылая осень, а за сею холодная зима. Законы физические параллельны с законами нравственными; юность человека есть прекрасная, роскошная весна, время деятельности и кипения сил; она бывает однажды в жизни и более не возвращается. Эпоха юности человека есть роман, за коим начинается уже история: эта история всегда бывает скучна и уныла. То же самое представляется и в деятельности художника: сколько огня, сколько чувства в его произведениях! Последующие бывают изящнее и выше, но зато и спокойнее; это спокойствие называется зрелостию, возмужалостию таланта. Оно правда; но, горестная мысль! эта постепенная возвышенность гения необходимо сопряжена с постепенным охлаждением чувства. Найдите создание чудовищнее «Разбойников» и вместе с тем найдите создание пламеннее этого первого произведения Шиллера. Воля ваша, а весна самое лучшее время года! Хорошо еще, если осень плодородна и обильна, если она озарена последними

прощальными лучами великолепного солнца; но что, когда она бесплодна, грязна и туманна? А ведь это так часто случается! Вот передо мною лежат «Повести», изданные Пушкиным: неужели Пушкиным же и написанные? Пушкиным, творцом «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Цыган», «Полтавы», «Онегина» и «Бориса Годунова»? Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (conter); но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет, — после них можно задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши — этот юноша обратил бы на себя внимание *нашей* публики; но как произведение Пушкина… осень, осень, холодная, дождливая осень после прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словом,

…прозаические бредни,

Фламандской школы пестрый вздор!

Странное дело — очарование имен! Прочтите вы эту книгу, не зная, кем она написана, — и вы будете в полном удовольствии; но загляните на заглавие — и ваше живое удовольствие превратится в горькое неудовольствие. Будь поставлено на заглавии этой книги имя г. Булгарина, и я был бы готов подумать: уж и в самом деле Фаддей Венедиктович не гений ли? Но *Пушкин* — воля ваша, грустно и подумать!

Эти повести уже не новость. В них нового: препрославленная «Пиковая дама», по мнению «Библиотеки для чтения» (в которой она была помещена), превосходящая все создания чудного Гофманова гения, и два отрывка из исторического романа: «Ассамблея при Петре Великом» и «Обед у русского боярина». Не помню, что касается до первого, а последний был напечатан давно в «Северных цветах». Эти отрывки, особенно последний, отличаются художественною занимательностию и возбуждают живейшее желание прочесть весь роман. Если этот роман написан и будет издан вполне, то русскую публику можно будет поздравить с приобретением. Из повестей собственно только первая, «Выстрел», достойна имени Пушкина.

Молва. 1835. Ч. 9. № 7

Ф. В. Булгарин
Настоящий момент и дух нашей литературы

Фрагменты

⟨…⟩ Среди тихого, сладкозвучного, безмятежного течения нашей французской школы прибавились самородные национальные дарования, с нашей русской, милой, хотя несколько грубой простотою, с дикою возвышенностью и с русским народным говором. Таковы Державин и И. А. Крылов! Впрочем, Державин не всегда *русский* поэт, а Крылов всегда *русский,* и притом *русский писатель,* в полном смысле слова. Образы, положения, язык в баснях Крылова — все истинно русское. Начав переделывать Езопа, Пильпая и Лафонтена, он кончил созданием народной русской басни, которая имеет свой особенный характер и полную оригинальность!

Между тем образовалась новая немецкая литература по образцам старинной английской и западной литературы Средних веков. Английская литература также приняла другое направление,

очистившись от древнего варварства в горниле XVIII века и удержав народные формы. Этим литературам придали название *романтической* в память романского языка и поэзии, служащей, так сказать, цементом для спаяния разнородных частей в литературе — английской и германской. Французскую школу XVIII века, в противоположность новой, назвали *классическою.* — В Европе настало борение двух литератур, борение форм с свободою языка и волею воображения. В целой Европе все, что только сильно чувствовало и мыслило, приняло *романтическую* литературу, которую можно назвать также *народною,* потому что предметы в романтической литературе избираются преимущественно из народной истории, народных нравов и обычаев. В чужих предметах сохраняется также национальность. Греки должны быть греками, а не французами; русские — русскими, немцы — немцами, со всеми их поверьями, страстями, заблуждениями и понятиями об истине.

У нас первый В. А. Жуковский ввел *романтическую поэзию.* Ему принадлежит эта честь и слава. А. С. Пушкин, при всей своей оригинальности, есть только *следствие* Жуковского. Пушкина создал не Гёте, не Шиллер, не Байрон — но Жуков-

ский. Когда Пушкин стал писать, вдохновенный русскою природою, он знал только Жуковского, а Жуковский знал уже и изучил Гёте, Шиллера и Байрона. Первый опыт Жуковского, «Кладбище» из Грея, изумил нас. Это был неведомый дотоле язык. «Светлана» составила эпоху и есть первый *основный* камень русской национальной поэзии. Пушкин не есть *подражатель* Жуковского, но *ученик* с собственною оригинальностью. Все подражатели Жуковского и Пушкина несносны в высшей степени, и нет между ними ни одного, который бы хотя несколько приблизился к своим подлинникам. Это плохие литографии Рафаэлевой Мадонны.

Я упомянул здесь только о коноводах, или о воеводах, русской литературы. Разумеется, что они вели за собою целые легионы сподвижников. Мы видели блеск их оружия, слышали их возгласы — но не знаем их имен или, лучше сказать, не хотим их знать. Слава воинства сосредоточена в славе их военачальника. ⟨…⟩

Северная пчела. 1836. № 11. 15 января

О. И. Сенковский

«Вастола, или Желания» Повесть в стихах, сочинение Виланда Издал А. Пушкин. С.-П⟨етер⟩бург, в тип ⟨ографии⟩ Д⟨епартамента⟩ внешней торговли, 1836, в 8, стр. 96

Певец «Кавказского пленника» сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице, доброй, честной русской публике. Та, которая любила его как своего первенца, любила так искренно, так благородно, так бескорыстно; та, для чьего сердца имя его было нераздельно с драгоценнейшею вещию в мире — славою своего отечества, та самая, в возврат за все свои нежные чувства, заслуживающие всякого уважения, получила от него, при визитном билете, «Вастолу» с двусмысленным заглавием. Первым ее движением было — посмотреть в календарь, не пришлось ли в нынешнем году в Новый год первое апреля. Нет! первое апреля будет первого апреля, а теперь начало января, время излияния дружеских чувствований, время поклонов с почтением и всяких маскарадов. Бедная русская публика не знала, что делать — гневаться ли за эту мистификацию или приказать «кланяться и благодарить и в другой раз к себе просить»?..

Посланец отпущен был без ответа.

Для многих еще не решен вопрос о «Вастоле». Каждый толкует по-своему слово «издал», которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал и напечатал. Одни утверждают, что это действительно стихи А. С. Пушкина; другие — что они не его, а он только их издатель. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и «издавал» книжки для спекуляций. Мы сами сначала позволили себя уверить, что Александр Сергеевич играет здесь только скромную роль издателя, но один почтенный «читатель» убедил нас в противном. Зашедши в первых числах января в книжный магазин С***, чтоб купить себе «Вастолу», мы застали там одного депутата от публики, одного читателя, который пришел туда с той же целию. Он держал в одной руке «Вастолу» и пробегал ее глазами по неразрезанным листам, а в другой, протянутой к приказчику магазина, — красную ассигнацию. Совестливый книгопродавец, прежде чем взять деньги, спрашивал читателя, знает ли он, что такое покупает: «Если вы хотите купить поэму Пушкина, — говорил благородный приказчик, которого за это в нынешнем же году

надобно представить к Монтионовым премиям за добродетель, — то я должен предостеречь вас, что вы ошибаетесь: это не Пушкина сочинение-с!» Читатель посмотрел на него с изумлением и вскричал:

— Как не Пушкина? Ба!.. будто бы я Пушкина стихов не знаю!..

— Уверяю вас, что не Пушкина-с.

— Подите, сударь! Да кто, кроме Пушкина, в состоянии написать у нас такие стихи?

И читатель стал тут же читать нам вслух следующие стихи из «Вастолы», постепенно воодушевляясь их красотами.

Мещанка мать его, вдова весьма честная,

Уж несколько годов прядением промышляя,

Кормила тем себя и милого сынка.

Ее рабочая, проворная рука

Не знала никогда покоя и вприсядку

Трескучую свою вертела самопрядку;

Вертела у окна при солнечном луче,

Вертела при свече,

Вертела при лучине,

Не мысля о кручине;
Но слезно и за то всегда благодаря
Небесного Царя,
Когда на очажке для варева какого
Горело у нее обеденной порой
Немного хворосту сухого,
От коего потом все угли кочергой
Скорей вгребала в печь, чтоб в бедности за делом
Хоть было ей тепло в приюте устарелом.
При тихой жизни, толь святой,
Как ныне редкия на свете
Живут, оставшися вдовой,
Имея легкий труд в предмете…
Одна гн[ять]кла ее тоска,
Одна заботила кручина,
Что от Перфонтьюшки, любезного сынка.
Хоть он и дюжий был детина.
Ни шерсти нет, ни молока.

— Кто у нас в состоянии, — торжественно ска-

зал читатель, произнесши последние стихи с непритворным энтузиазмом, — кто у нас в состоянии так написать, кроме Пушкина?

Книгопродавец улыбался.

Читатель бросил с гневом ассигнацию на прилавок и, не дожидаясь сдачи, побежал из магазина. Я слышал еще, как он говорил у дверей: «Да я знаю наверное, что это Пушкина книга! Вот, нашли кого дурачить!»

После этого я не смел и сомневаться, чтобы «Вастола» не была действительно произведением А. С. Пушкина. Не вдаваясь в объяснения с книгопродавцами, я важно потребовал для себя одного экземпляра, заплатил деньги и ушел.

Я читал «Вастолу». Читал, и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться, не в том, так в другом отношении.

Некоторые, однако, намекают, будто А. С. Пушкин никогда не писал этих стихов; что «Вастола» переведена каким-то бедным литератором; что Александр Сергеевич только дал ему напрокат свое имя, для того чтобы лучше покупали книгу, и что он желал сделать этим благотворительный поступок. Этого быть не может! Мы беспредельно уважаем всякое благотворительное намерение,

но такой поступок противился бы всем нашим понятиям о благотворительности, и мы с негодованием отвергаем все подобные намеки как клевету завистников великого поэта. Пушкин не станет обманывать публики двусмысленностями, чтоб делать кому добро. Он знает, что должен публике и себе. Если в слове «издал» и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении, он знает, что человек, пользующийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени, и что в подобном случае выставленное имя напечатлевается всею святостью торжественно данного в том слова. Он охотно вынет из своего кармана тысячу рублей для бедного, но обманывать не станет — ни вас, ни меня. Дать свое имя книге, как вы говорите, «плохой» из благотворительности?.. Невозможно! невозможно! Не говорите мне даже этого! Не поверю! Благотворительность предполагает пожертвование — труда или денег, — чего бы ни было, — иначе она не благотворительность. Согласитесь, что позволить напечатать свое имя — не стоит никаких хлопот. Александр Сергеевич, если б пожелал быть благотворите-

лем, написал бы сам две-три страницы стихов, своих, прекрасных стихов, и они принесли бы более выгоды бедному, которому бы он подарил их, чем вся эта «Вастола». Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно свое имя для продажи, — что равнялось бы презрению к бедному и презрению к публике, к вам, ко мне, ко всякому. Нет, нет! клянусь вам, это подлинные стихи Пушкина. И если бы они даже были не его, ему теперь не оставалось бы ничего более, как признать их своими и внести в собрание своих сочинений. Между возможностью упрека в том, что вы употребили уловку (рука дрожит, чертя эти слова), и чистосердечным принятием на свой счет стихов, которым дали свое имя для успешнейшей их продажи, выбор не может быть сомнителен для благородного человека. Но этот выбор не предстанет никогда Пушкину. «Вастола», мы уверены, действительно — его творение. Это его стихи. Удивительные стихи!

Библиотека для чтения. 1836. Т. 14. № 2

В. Г. Белинский
«Стихотворения Александра Пушкина». Часть четвертая

Четвертая часть стихотворений Пушкина заключает в себе двадцать шесть пиэс, и в числе их известный всем наизусть «Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный, вместо предисловия, при первой главе «Евгения Онегина» первого издания; потом, три большие сказки и, наконец, шестнадцать песен западных славян, переведенных или переделанных с французского (история этого перевода известна).

Вообще очень мало утешительного можно сказать об этой *четвертой* части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный… Так, например, всем известно, что Пушкин перевел *шестнадцать* сербских песен с французского, а самые эти песни подложные, выдуманные двумя французскими шарлатанами, — и что ж?.. Пушкин умел придать этим песням колорит славянский, так что, если бы его ошибка не открылась, никто

и не подумал бы, что это песни подложные. Кто что ни говори — а это мог сделать только один Пушкин! — Самые его сказки — они, конечно, решительно дурны, конечно, поэзия и не касалась их[38]; но все-таки они целою головою выше всех попыток в этом роде других наших поэтов. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия; переделанная же и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла. «Гусар», «Будрыс и его сыновья», «Воевода» — все эти пьесы не без достоинства, а последняя решительно хороша: такие стихи, как, например, эти, теперь очень редки:

Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье —

---

[38] Notes: 38

Впрочем, сказка «О рыбаке и рыбке» заслуживает внимание по крайней простоте и естественности рассказа, а более всего по своему размеру чисто русскому. Кажется, наш поэт хотел именно сделать попытку в этом размере и для того нарочно написал эту сказку.

Воевода все купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я —
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он.
И ему ты отдалась.

Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья
И потом навек бежать».

Здесь есть чувство; но прочее по большей части показывает одно уменье владеть языком и рифмою, уменье, иногда уже изменяющее, потому что нередко попадаются стихи, вставленные для рифмы, особенно в сказках, стихи, в которых отсутствует даже вкус, видно одно savoir-faire[39], и то нередко с промахами!..

«Разговор книгопродавца с поэтом» привел

---

[39] Notes: 39
Умение *(фр.). — Ред.*

нас в грустное расположение духа: он напомнил нам золотое время поэзии Пушкина, то время, когда — как говорит он сам о себе в этой пьесе —

Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье. Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мною всюду он летал,
Мне звуки чудные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.

Да, прекрасное было то время! Но что нам до времени? оно прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все так же свежи, так же благоуханны!..

В том же «Разговоре книгопродавца с поэтом» поразило нас грустным чувством еще одно обстоятельство: помните ли вы место, где поэт, разочарованный в женщинах, отказывается, в своем благородном негодовании, воспевать их? В первом издании «Евгения Онегина», при котором был приложен и этот поэтический «Разговор», поэт говорит:

Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы!

Теперь эти стихи напечатаны так:

Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы!

Увы!.. Sic transit gloria mundi!..

Но в четвертой части стихотворений Пушкина есть одно драгоценное перло, напомнившее нам его былую поэзию, напомнившее нам былого поэта: это «Элегия». Вот она:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но, как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старей, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!

Да! такая элегия может выкупить не только несколько сказок, даже целую часть стихотворений!..

Молва. 1836. Ч. 11. № 3

Право на поединок
Пушкин и власть

Михайловское. 1835 (1)

…Я исхожу желчью и совершенно ошеломлен.

А. С. Пушкин. Из письма П. А. Осиповой.

Октябрь 1835 г.

Осень 1835 года в Михайловском была для Пушкина тяжкой. В октябре он писал Плетневу: «…такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».

А недели за две до этого — Наталье Николаевне: «Однако я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты.

Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает».

Он был в отчаянии. Он писал приблизительно в это же время: «Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете».

Катастрофичность его положения стала ясна ему впервые в начале этого года. До того была великая надежда — издание «Истории Пугачева».

Некогда — в феврале 1834 года (как недавно!) — он уверял Бенкендорфа: «Разрешая напечатание этого труда, его величество обеспечил мое благосостояние. Сумма, которую я могу за него выручить, даст мне возможность принять наследство, от которого я вынужден был отказаться за отсутствием сорока тысяч рублей, недоставших мне. Этот труд мне их даст, если я сам буду его издателем, не прибегая к услугам книгопродавца. 15 000 было бы мне достаточно».

Он писал это письмо сжав зубы. Месяцем раньше царь сделал его камер-юнкером.

Пушкин понял это как намеренное оскорбление. Он узнал эту новость, будучи в гостях, и впал в такое неистовое бешенство, что хозяину пришлось увести его, чтобы успокоить и не

дать совершить непоправимое — в словах или поступках…

Но он стерпел. Стерпел еще и потому, что «Пугачев» был написан. Эту книгу он должен был издать. Поссорившись с государем, он терял надежду на издание. И он стерпел.

Николай не только разрешил печатать «Пугачева», но и дал на издание 20 тысяч — больше, чем просил Пушкин.

В конце 1834 года Пушкин получил из типографии 3000 экземпляров «Истории Пугачевского бунта». Огромный по тем временам тираж. Ни до, ни после он не выпускал своих книг таким тиражом. Это был тираж Карамзина — «Истории государства Российского».

Это был миг великой надежды. И как скоро эта надежда рухнула!

«Пугачева» не покупали.

Автор не только не получил свои 40 000 барыша, но и остался в проигрыше. Но дело было не только в этом. Он понял: его не хотят слушать…

Когда осенью 1835 года он уехал в Михайловское, судьба «Пугачева» была ему понятна. Понятна как результат, но загадочна по своим скрытым пружинам.

Он мучительно размышлял об этом месяц за

месяцем.

В апреле 1835 года он писал Дмитриеву: «Милостивый государь Иван Иванович, приношу искреннюю мою благодарность Вашему Высокопревосходительству за ласковое слово и за утешительное ободрение моему историческому отрывку. Его побранивают, и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену, возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону».

Писание «Пугачева» «для себя» — горькое лукавство. В отчаянии он пытался обмануть себя самого.

Ему необходимо было понять: в чем причина этого нежданного неуспеха? Да, публика ждала «пламенной кисти Байрона», а получила труд, начертанный точным пером историка. Да, романом «наподобие Вальтер Скотта» здесь и не пахло.

Но ведь он рассказал — впервые! — о событиях, которые могли стать роковыми для нынешнего читателя. Он рассказал о том, как едва не были истреблены деды и отцы здравствующих поколений. И объяснил механизм и причины этих страшных событий. Одно ли тупое нелюбопытство двигало публикой?

Постепенно он стал подозревать в случившемся злую волю, твердую злонамеренную руку, холодно направленное действие.

В феврале он записал в дневник: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был блядью, потом нянькой, и попал в президенты Академии наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской академии. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у

него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!»

Он не просто излил желчь… В беспросветные месяцы, когда провалился «Пугачев», а царь к тому же запретил издание политической газеты, о которой Пушкин думал давно, он искал главного врага. Одного главного врага, ибо, обладая чутьем бойца, он знал, что в генеральном сражении надо сосредоточить силы решающего удара — на одном, решающем направлении.

В страшные зимние месяцы 1835 года, сидя в своем кабинете возле сложенных в углу двух тысяч экземпляров — двух третей! — неразошедшегося «Пугачевского бунта», он холодно рассмотрел и взвесил тех, от кого зависела его судьба, судьба его замыслов, судьба России, в конце концов.

Их было трое — Николай, Бенкендорф, Уваров.

Царь вел с ним игру жестокую, но уравновешенную — унижал, безмерно ограничивал, но вдруг благодетельствовал: разрешил «Пугачева», ссужал деньги. Это тоже было унизительно — но

куда деваться? Это напоминало забаву человека, который, плывя в лодке по морю и увидев утопающего, сильной рукой вытаскивал его из воды, давал глотнуть воздуху, а затем снова швырял в пучину. И так — раз за разом. Пушкин знал: царь желает держать его в строгих границах, но не хочет его окончательной гибели.

Бенкендорф был не в счет в этой игре — он делал, что велел царь.

Единственным смертельным врагом оказывался Уваров.

В том же письме известному поэту и бывшему министру юстиции Ивану Ивановичу Дмитриеву, человеку с обильными знакомствами и влиянием, Пушкин писал — в Москву: «На академии наши нашел черный год: едва в Российской почил Соколов, как в Академии наук явился вице-президентом Дондуков-Корсаков. Уваров фокусник, а Дондуков-Корсаков его паяс. Кто-то сказал, что куда один, туда и другой; один кувыркается на канате, а другой — под ним на полу».

Это было написано 26 апреля и означало объявление войны. Дело не только в том, что от Дмитриева эти сарказмы могли разойтись по Москве (а Дмитриев принадлежал к людям прошлой эпохи, и круг этот был для Пушкина

почтенен и важен). Он знал, что письма его перлюстрируются. Он был уверен, что письмо его прочитает московский почт-директор Булгаков, а это означало полную гласность. Булгаков был рупором новостей, сплетен, конфиденциальных сведений. В своей безоглядной любознательности он не останавливался ни перед чем. Он мог известить своего брата, петербургского почт-директора: «Бенкендорфа письмо посылаю под открытою печатью, прочти и доставь, запечатав». На письма Пушкина и к Пушкину он обращал особое внимание.

Можно было предположить, что желчные фразы Пушкина дойдут до Уварова. А смысл их был не просто обиден. Написанные на бумаге пером знаменитого литератора, сформулированные как эпиграмма в прозе, эти обвинения в то время приобретали силу безусловной компрометации, ибо Уваров был гомосексуалистом, а «бардаш» Дондуков — его любовником.

Это было объявление войны третьему по значению человеку в империи.

И теперь, в октябре 1835 года, когда в Михайловском кончилась роскошная золотая осень и настала пора унылых холодных дождей, вспоминая историю крестьянского мятежа в средневековой

Европе, которую он недавно начал и не кончил, Пушкин одновременно обдумывал удар, который должен был бросить в грязь Сергия[40] Семеновича Уварова. Министра народного просвещения. Идеолога страшной эпохи, наступающей на Пушкина, на его друзей, на Россию.

Начинался последний, арьергардный бой разгромленного декабризма.

[40] Notes: 40
Сам Уваров всегда писал свое имя только так — «Сергий».

Карьера Уварова (1)

Человек этот играет важную роль в государстве; он дает направление образованию всего учащегося юношества, и благо или зло, им посеянное, отзовется в потомстве. Вот почему я полагаю, что всякая подробность, относящаяся до происхождения его, характера, жизни, достойна внимания этого потомства…

Ф. Ф. Вигель о С. С. Уварове

Когда в сентябре 1855 года бывший министр народного просвещения граф Уваров скончался, литератор и крупный чиновник Михаил Лонгинов писал: «Нет сомнения, что скоро вся Россия прочтет подробное жизнеописание незабвенного государственного мужа. Прошло то время, в которое Карамзин говорил, что мы ленивы и нелюбопытны. Участие ко всему, что составляет гордость и славу отечества, распространяется у нас более и более»[41].

Лонгинов ошибся. Подробного жизнеописа-

---

[41] Notes: 41

Через десять лет после написания этих строк вышла книга американской славистки Цинтии Х. Виттекер «Граф Уваров и его время».

ния Уварова Россия не прочитала ни скоро, ни в отдаленное от его смерти время. Оно так и не было написано. А жаль. Зловещая в своей вненравственности, цинизме и целеустремленности история карьеры Уварова, с ее блеском и безднами, куда как значима и насыщена смыслом. Это не Бенкендорф, Алексей Орлов или Чернышев с их прямолинейностью. Это даже не Дубельт. Карьера Уварова — явление глубокое. И более чем что бы то ни было сопряженное с гибелью Пушкина. Не как личная судьба, а как явление историческое…

В автобиографии для французского словаря, написанной в третьем лице, Сергий Семенович утверждал: «Его отец был подполковником Конной гвардии[42] и адъютантом императрицы Екатерины II. Эта государыня была восприемницею Уварова, которого крестили в дворцовой церкви».

Какое славное начало: отец — подполковник привилегированного полка, которого настолько ценит императрица, что крестит его младенца. На поверхности так оно и было. А чуть глубже — куда некрасивее и горше.

---

[42] Notes: 42

На самом деле Семен Уваров был подполковником лейб-гренадерского полка.

Семен Федорович Уваров происходил из хорошей, но обедневшей дворянской семьи. Рано вступил в военную службу. Под началом своего старшего брата Александра отличился в боях с турками в семидесятых годах — при Рущуке и Туртукае. Храбрых офицеров заметил и приблизил Потемкин.

Но если старший брат честно добывал себе фортуну шпагой, то в характере Семена Федоровича проявились — вместе с храбростью — иные черты. Он стал чем-то вроде шута при могущественном временщике. «Он мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку, — с лукавым простодушием пишет ехидный Вигель. — Оттого-то без всякого обидного умысла Потемкин, а за ним и другие прозвали его Сенейбандуристом…»

По окончании войны, в 1775 году, 1-й гренадерский полк, прекрасно себя проявивший, переименован был в лейб-гренадерский и пополнил гвардейскую пехоту. Императрица провозгласила себя полковником нового гвардейского полка, а фактическим командиром его — вице-полковником — стал с 21 августа 1776 года генерал-майор Александр Уваров. Это могло произойти только по инициативе прези-

дента Военной коллегии князя Потемкина. Зная нелюбовь к себе гвардейского офицерства, князь хотел иметь во главе нового полка преданного человека. Семен Уваров командовал в полку батальоном.

Екатерина всячески подчеркивала особую благосклонность к лейб-гренадерам. Седьмого мая семьдесят восьмого года она «изволила указать… лейб-гренадерскому полку иметь преимущество перед другими полками» — носить белые штиблеты и аксельбанты на правом плече. Поскольку офицерские аксельбанты определены были золотыми и стоили дорого, то лейб-гренадерские офицеры получили на них деньги из кабинета ее величества.

Это была давняя политическая игра, которая велась со времени Екатерины I, — страх перед старой гвардией заставлял приближать отдельные армейские полки. То же самое происходило и теперь, императрица и Потемкин создавали противовес «коренным» гвардейским полкам.

Седьмого июня семьдесят восьмого года новый полк переведен был под Петербург, Екатерина сделала ему смотр в Царском Селе, и с этого времени лейб-гренадерам постоянно жаловались деньги и оказывались всевозможные знаки бла-

говоления. В течение года полк стоял в столице и нес там караульную службу.

В восемьдесят первом году лейб-гренадеры снова вызваны были из Новой Ладоги, где обычно квартировали, в Петербург.

После высочайшего смотра и обеда во дворце для штаб-офицеров к императорскому столу были отдельно приглашены генерал Александр Уваров и подполковник Семен Уваров. (Между прочим, это было время отстранения от государственных дел Никиты Панина, главы конституционной оппозиции, и крушения его замыслов.)

В январе следующего года генерал Уваров получил бригаду, а вице-полковником лейб-гренадер стал Семен Федорович. Через два месяца он пожалован был флигель-адъютантом. Но это оказалось только началом настоящей карьеры…

С семьдесят девятого года фаворитом императрицы был Александр Дмитриевич Ланской. В восемьдесят четвертом году он внезапно умер. Очень любившая его Екатерина отчаянно горевала.

Но выбор высочайших любовников постоянно находился в поле зрения Потемкина как дело сугубо государственное. Екатерина хотела иметь возле себя не только красивого и сильного, но

и незаурядно одаренного человека, на которого можно было бы опереться в управлении державой. Потемкин же считал, что он сам — вполне достаточная опора, и предпочитал видеть фаворитами людей незначительных и, главное, ему, Потемкину, преданных.

Семен Уваров в этот момент устраивал обоих. Екатерине он нравился давно, а Потемкин знал ему истинную цену.

Очевидно, не без поддержки светлейшего Семен Уваров занял место покойного Ланского.

Он остался командиром лейб-гренадерского полка, который получил еще одну, весьма многозначительную привилегию — с восемьдесят четвертого года все вакансии в полку замещались только по прямому высочайшему указанию. Полк был выведен, таким образом, из-под власти Потемкина. Он стал сугубо личной гвардией Екатерины, с ее любовником во главе. Позже Потемкин сетовал, что с этого времени Уваров «перестал его бояться».

У Семена Федоровича появился реальный шанс стать крупной политической фигурой. Но таланты оказались не те.

Фавор Сени-бандуриста продлился менее двух лет. Императрица рассталась с ним милостиво,

но без обычной своей в таких случаях щедрости. Его женили на состоятельной наследнице хорошего рода — Дарье Ивановне Головиной, которая и стала матерью будущего министра.

Место Сени-бандуриста, легкомысленно восстановившего против себя светлейшего и не сумевшего привязать к себе стареющую императрицу, занял двадцативосьмилетний адъютант Потемкина Александр Дмитриев-Мамонов.

Семен Федорович сохранил командование полком, выступил с ним в восемьдесят восьмом году против шведов, но в походе заболел и умер…

Дело, однако, было не только в характере карьеры Семена Уварова. Ядовитый Вигель с наслаждением записал слухи, ходившие в обществе: «У одного богатого дворянина древнего рода, Ивана Головина, женатого на одной бедной Голицыной, сестре обер-егермейстера князя Петра Алексеевича, было две дочери. Старшая Наталья, с молода красавица, вышла за… князя Алексея Борисовича Куракина. Меньшая Дарья, следуя ее примеру, искала также блистательного союза. Она старалась уловить в свои сети Степана Степановича Апраксина, а вместо того сама в них попалась. Внимая преданиям, я уже обвинил сего последнего в прельщениях, в соблазне моло-

дых девиц. Может быть, все это клевета, но есть обстоятельства, которые слышанным мною рассказам дают много вероятности. Когда тот, о ком я говорю (то есть Сергий Семенович Уваров. — *Я. Г.*), готов был вступить в мир, матери его ничего не оставалось, как выйти за первого встречного. Второпях ей, однако ж, посчастливилось; выбор был весьма недурен.

У князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров. Благодаря его покровительству сей бедный родовой дворянин был флигель-адъютантом Екатерины и под именем вице-полковника начальствовал лейб-гренадерским полком, коего сама она называлась полковником… Приятелей было у него много; они сосватали его и уговорили, во внимание к богатому приданому Дарьи Ивановны Головиной, оставить без большого внимания другое приданое, которое приносила ему с собой и в себе. Во время короткого после знакомства моего с г. Уваровым мне случалось с любопытством смотреть на портрет или картину, в его кабинете висящую. На ней изображен человек лет тридцати пяти, приятной наружности, в простом русском наряде, но с бритою бородою и с короткими на голове волосами. На нескромный

вопрос, мною о том сделанный, отвечал он сухо: „Это так, одна фантазия“. Я нашел, однако же, что на эту фантазию чрезвычайно похож меньшой брат его, Федор Семенович. Рано лишился Уваров настоящего или мнимого отца своего».

Все здесь, скорее всего, соответствует истине, кроме истории со сватовством. Не в приятелях тут была сила…

У истоков карьеры, да и самой жизни Сергия Семеновича, как видим, лежала характерная для XVIII века ситуация — весьма вульгарный вариант фаворитизма, примитивная политическая интрига с опорой на гвардейские штыки, и девичий грех, покрытый в обмен на крупное приданое…

Недаром в автобиографии Уваров сделал отца вице-полковником Конной гвардии. Для людей XIX века, не знавших особой роли лейб-гренадер в екатерининское время, для современников Уварова-министра командование Конной гвардией — привилегированнейшим гвардейским полком — выглядело куда значительнее и почетнее.

Сергий Семенович в зрелом возрасте явно стыдился незадачливого Сени-бандуриста. Но портрет его держал на стене — в унизитель-

ном виде потемкинского плясуна. Что-то в его холодной и вечно уязвленной душе требовало напоминания.

Это, однако, было потом. А смолоду — красавец и удачник — он об этих материях, быть может, и не задумывался.

Попечением матери Сергий Семенович получил блистательное образование под присмотром ученого аббата Мангена, — он не просто превосходно знал французский и немецкий языки и культуру этих стран, писал незаурядные стихи по-французски и прозу по-немецки, не только читал в подлиннике античных писателей — как на латыни, так и по-гречески, — но и понимал толк в античной культуре.

Поскольку канцлер Александр Борисович Куракин женат был на родной сестре Дарьи Ивановны, то естественно молодому человеку оказалось пойти на дипломатическую службу. Тем более что и кроме образованности у него было для того немало данных. Он был умен, ловок, обаятелен, понимал людей (особенно женщин) и знал, как с кем держаться, в совершенстве владел своим красивым лицом с глубоко посаженными глазами.

В 1801 году, пятнадцати лет, он был зачислен в Министерство иностранных дел. В 1804 году —

ему едва исполнилось восемнадцать лет — он стал камер-юнкером. А через два года, когда его дядюшка Куракин назначен был послом в Вену вместо смещенного по настоянию Наполеона графа Андрея Кирилловича Разумовского, ненавистника наполеоновской Франции, молодого дипломата причислили к венскому посольству.

Уваров прибыл в имперскую столицу в марте 1807 года и сразу оказался в особом положении.

Разумовский, представлявший русское правительство в Австрии с 1791 года, превратившись в частное лицо, не покинул Вену и продолжал пользоваться там огромным влиянием. И Уваров попал под двойное покровительство — посла нового, по родственным связям, и посла бывшего, по человеческой симпатии. Сын елизаветинского любимца, внук украинского казака, меценат и собиратель шедевров оценил сына екатерининского фаворита, его таланты и эрудицию и ввел его в венский большой свет. То, какими глазами взглянул на него рафинированный воспитанник аббата Мангена, немало говорит о нем самом.

В «Записной книжке русского путешественника», которую Уваров вел в Вене (по-французски) и, судя по названию, собирался опубликовать (вослед Карамзину), — острый взгляд человека,

убежденного в благотворности просвещения, в необходимости альянса между аристократией и правительством, в неменьшей необходимости уважения народа к аристократии. Молодой дипломат, конечно же, причисляет себя к русской аристократии и понимает высокую роль ее в просвещенном монархическом государстве.

Он не может по своему положению не думать о политике. Но главное мерило для него все же культура. Он пишет о наполеоновской Франции: «Я вижу народ воинственный, неутомимый, неустрашимый, его называют французами, но своеобразные черты его национального характера, современная аттическая тонкость исчезли — Франция, может быть, выиграла в отношении могущества, но Европа и история много потеряли».

И есть здесь одна фраза, чрезвычайно многозначительная для нас, знающих будущее «русского путешественника»: «Главная причина — в плохом воспитании…»

В конце 1807 года в Вену приехала знаменитая мадам де Сталь, давно уже изгнанная Наполеоном из Франции. На следующий же день ей представили Уварова. В отношениях с нею впервые характер Уварова открывается в своей опасной

двойственности. Он постоянно встречался с нею, с жадностью слушал ее блестящие беседы с умными оппонентами, написал французские стихи в ее честь, считался ее другом.

Между тем Уваров в записях, сделанных в эти же дни, отзывался о ней почти оскорбительно и — что главное — тайно интриговал, настраивая против нее человека, которого она любила. Мадам де Сталь, покровительствовавшая Уварову и искренне его ценившая, кончила тем, что обвинила «молодого татарского фата» в клевете, похищении ее записки, низких сплетнях. И доказала свое обвинение.

В конце жизни бывший министр написал воспоминания о мадам де Сталь, но всю эту малопривлекательную историю, естественно, опустил.

Это первый из известных нам эпизодов, когда в молодом еще Уварове проявились черты, позднее ставшие определяющими, — лицемерие, лживость и душевная жестокость. Но в той истории он был еще бескорыстен. Он просто подчинился голосу своей натуры…

Михайловское. 1835 (2)

Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян.

А. С. Пушкин

Нет, теперь уже не просто русские мужики — все было конкретно до того, что перехватывало дыхание. Мужики кирилловские, бугровские, вороничские — он смотрел на них теперь, после пугачевских штудий, иными глазами…

В юности угнетенный народ и падшее рабство были для Пушкина категориями одическими. За прошедшие двадцать лет они стали для него плотью жизни. Михайловской осенью тридцать пятого года, бродя по землям материнского имения, заходя и заезжая в окрестные деревни, он смотрел на встречных мужиков — не важно, приветливых или угрюмых, — как на будущих пугачевцев. Он тяжко пережил кровавый мятеж военных поселян тридцать первого года и кровавое его подавление. Об этом он думал, когда в «Истории Пугачева» писал о жестоком подавлении предшествующих бунтов и о том, как ожесточенность подавляемых страшно вы-

плеснулась в крестьянской войне…

Никогда еще не было у него такой скверной осени. Работа не шла. И не только потому, что на душе было тошно. Задача, которую он решал последние четыре года, оказывалась неразрешимой. Узел был затянут так, что его можно было только рубить. А он, Пушкин, из того и бился, чтобы найти способ развязать его. Обойтись без большой крови.

Он бился над тем, над чем ломали головы мыслители декабризма, стараясь опередить неизбежный переворот снизу. Но могучая логика обстоятельств и трагическое упрямство (а быть может, трагическая нерешительность) Александра привели к тому, что они стали рубить этот узел. Они видели дальше и яснее, чем Александр, Николай, Бенкендорф, не говоря уже о генералах Сухозанете и Толе, жаждавших расстрелять их картечью, но сила конкретных вещей в тот день оказалась против них. Они проиграли. И узел затянулся еще туже и нестерпимее — почти на столетие. Его уже невозможно было развязать в 1861 году. Он лопнул в следующем веке.

Самодержавие, дворянство, народ. В какие отношения они должны стать между собою, чтобы избыть взаимные вековые недоверие, страх,

ненависть?

В «Истории Пугачева» с холодной ясностью, подкрепив свой взгляд проверенными и обдуманными свидетельствами разного рода, Пушкин показал механизм возникновения народной войны, ее коренные причины, ее ужасающую неизбежность при существующем устройстве жизни в империи.

Но мужики не могли читать «Историю» по неграмотности. И не для них она была писана. А те, для кого она была писана, — грамотные дворяне — не стали ее читать. Он ошибся: они не были готовы к тому труду мысли, который он предлагал им.

Роман о пугачевщине давно уже был задуман и во многом ясен ему. Но теперь, в осеннем Михайловском, он искал прозрачную, для любого грамотного читателя увлекательную и привычную форму, чтобы рассказать об одной странной черте недавней истории — просвещенном человеке, входящем в крестьянский бунт. Он не случайно в свое время отложил недоконченного «Дубровского» — обстоятельства, в которые попал молодой гвардеец, ставший предводителем разбойничьей шайки, уже не казались ему достаточно крупными и значительными. Они

были недостаточно историчны. Российский Карл Моор решал личные свои проблемы. А нужно было иное.

Нужно было понять и объяснить, зреют ли в обиженном русском дворянстве силы, способные соединиться с крестьянством в бунте, возглавить и организовать стихию бессмысленную в сокрушительный революционный таран. Народный бунт был страшен, но обречен на поражение — в «Истории Пугачева» он это доказал. Объединение мятежного крестьянства с мятежными элементами дворянства могло привести государство к катастрофе. Он не хотел этого. А в то, что это возможно, — верил безусловно. Год назад он разговаривал с великим князем Михаилом Павловичем, стараясь внушить, передать ему свой ужас перед зреющим взрывом. «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».

Это «новое возмущение» мыслилось ему не дворянским мятежом, а народным восстанием, в коем будет много дворян.

На площади 14 декабря было три тысячи мужиков в солдатских мундирах и дай бог три десятка дворян. И Пушкин это знал. Он говорил именно

о вождях, о тех, кто своей волей мог направить и организовать бунт. При возмущении Семеновского полка дворян не было — даже сочувствующие офицеры устранились. И семеновцев без выстрела разоружили и отвели в крепость.

14 декабря было не то. И все же это был дворянский бунт. Солдаты последовали за своими офицерами.

Кровавый мятеж военных поселян четыре года назад показал, что крестьяне, получившие оружие, доведенные до крайности, могут выступить и сами по себе.

И в 1825-м, и в 1831 году две «страшные стихии мятежа» не сумели органично объединиться. В декабре 1825 года вожди тайного общества думали о походе на военные поселения для организации революционной армии — но не успели. Однако сами эти замыслы и последовавшая через несколько лет резня в поселениях доказали, что объединение возможно. Десяткам тысяч вооруженных военных поселян не хватило именно толковых и решительных военачальников, чтобы двинуться на беззащитный Петербург (гвардия была в восставшей Польше) и захватить его.

В декабре 1834 года, вскоре после разговора с

великим князем, Пушкин написал «Замечания о бунте» — секретное дополнение к «Пугачеву» — и представил их Николаю. Он так настойчиво старался воздействовать на власть именно потому, что призрак новой пугачевщины, возглавляемой доведенной до отчаяния группой дворян — и многочисленной! — стоял перед ним как опасность самая реальная. А он хотел иного пути обновления.

Выводы «Замечаний» были угрожающи: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны. (NB. Класс приказных и чиновников был еще малочисленен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из них были в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян…) Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к своей цели. Правительство

с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно».

Из всего этого следовало: государство было спасено от торжества бессмысленного в конечной цели и беспощадного по средствам бунта только «хорошим дворянством», которое тогда еще было на стороне правительства. Но за последующие пятьдесят лет самодержавие оттолкнуло значительную часть дворянства, и к 1825 году сотни «хороших дворян» оказались в тайных обществах…

Оскорбляя и унижая и народ, и дворянский авангард, самодержавие уповало на грубую силу.

14 декабря победила «необъятная сила правительства, основанная на силе вещей», — писал Пушкин в 1826 году. Но, во-первых, он писал это Николаю, давая тому понять, что при «необъятной силе» можно позволить себе спокойное снисхождение к вчерашним противникам. (Еще зимой того же года он заметил в письме Дельвигу, посланном обычной почтой: «Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно. Правительство может пренебречь ожесточением некоторых обличенных». Не надо преувеличивать его уверенность в ничтожности

средств заговорщиков — это была игра с властью, рассчитанная на пробуждение великодушия победителей: «Милость к падшим призывал…») Во-вторых, все менялось вокруг, и недавняя сила вещей могла обернуться слабостью.

Две стихии мятежа, опасные сами по себе, объединившись, становились необоримы… Особенно ежели помнить, что «имя страшного бунтовщика гремит еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он пугачевщиною». Так он закончил «Историю Пугачева». Еще одно прямое предупреждение…

В том памятном разговоре великий князь Михаил Павлович говорил ему об опасности возникновения в России третьего сословия — «вечной стихии мятежей и оппозиции». Теперь, в Михайловском, Пушкин перечитывал свою странную драматическую притчу из рыцарских времен, в которой сплелись несколько роковых мотивов (не случайно он вместо чистой тетради взял с собой в деревню тетрадь, уже отчасти заполненную сценами из времен борьбы крестьян с рыцарством). Рыцари-дворяне, рассматривающие свой народ как естественного врага, уповающие только на оружие: «Да вы не знаете

подлого народа. Если не пугнуть их порядком да пощадить их предводителя, то они завтра же взбунтуются опять…» Самодовольная жестокость рыцарей, их политическая тупость по необходимости вызывают на историческую сцену новых лиц, которые возглавляют восстание и приводят его к победе. Причем это не просто люди третьего сословия. Человек третьего сословия — купец Мартын — так же ограничен в своей добропорядочной буржуазности, как рыцари-дворяне — в своей бессмысленной воинственности и расточительности.

Крестьян возглавляет ненавидящий свое мещанство, мечтающий о рыцарском достоинстве поэт Франц, а средство победить — огнестрельное оружие, порох — дает им ученый Бертольд. «Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса заканчивается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)». Франц — честный, бесстрашный, гордый — дворянин по духу. Франц по праву занимает место, которого недостойны дворяне по крови. Это было предупреждение уже не самодержавию, а самому дворянству.

Хотел ли он победы крестьянского бунта, даже во главе с поэтами и учеными? Нет. Он желал спокойных и последовательных реформ, которые приведут Россию к разумной, достойной свободе. Он потому и писал притчу, схему, без намека на ту тончайшую психологическую разработку, которой поражают его «драматические изучения» Болдинской осени. Он прикидывал саму ситуацию — вне российской конкретики.

Рыцарские сцены он бросил 15 августа.

Но вскоре — в сентябре, здесь же, в Михайловском, — начал пьесу о сыне палача, который «делается рыцарем». Опять тот же ход — мещанин, замещающий недостойного дворянина…

Год назад он сказал великому князю: «…или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя. Если во дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) всё будет дворянством».

Но прошел целый год. Он видел, что жизнь меняется стремительно. Что исторический поток все убыстряет свое течение, что близятся поро-

ги — перелом времени, новая эпоха. Он не был догматиком. Напротив, «поэт действительности», он всматривался, вслушивался в эту действительность, искал ее законы, чтобы понять ее. «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу».

Михайловской осенью 1835 года он с горечью рассматривал новую ситуацию — в ее чистом, оторванном от русской жизни виде, — когда ломаются сословные препоны и сильные стремительно переходят из слоя в слой.

Быть может, в «Сценах из рыцарских времен» Пушкина не удовлетворила недостаточная резкость и парадоксальность происшедшего — поэт-мещанин, становящийся рыцарем. И он перешел к сюжету куда более острому: сын палача становится рыцарем. Если поэт может ворваться в высшее сословие на гребне народного бунта, то какая ломка, и прежде всего психологическая, должна произойти во втором случае! Ремесло палача — наследственное. По всем канонам сын палача должен был стать палачом. Палачи в средневековом обществе — изгои. (Недаром Пушкин записал анекдот об арапе Петра III, с которого специальным ритуалом снимали бесчестье, когда он подрался на улице с палачом. Ритуал был шутовской, но это отзвук серьезнейшей традиции.) А в

набросках плана сын палача не только не идет по стопам отца, но становится рыцарем…

В пустом Михайловском, где кончалась золотая осень и все больше голых черных ветвей нависало над дорогами, по которым он ходил, где Сороть и озера, недавно еще синие, приобретали седой свинцовый оттенок, он с особой и страшной ясностью почувствовал, как распадается связь времен, как близятся совсем другие люди…

Мы не знаем, принесло ли рыцарское достоинство счастье сыну палача. Стал ли он и в самом деле человеком чести? Выполнил ли он свой долг? Свое ли место занял?

Зато знаем, что девушку Жанну, дочь ремесленника, ставшую папой римским, папессой Иоанной, и тем надругавшейся над миропорядком, унес дьявол. Ибо она заняла не свое место.

Это сочинение из того же ряда, что «Сцены» и драма о сыне палача, Пушкин обдумывал, очевидно, незадолго до поездки в Михайловское.

Как, впрочем, знаменательно и появление дьявола в конце истории Франца — в момент победы бунта. Да и профессия палача в народном сознании близка была к силе нечистой, инфернальной. Случайно ли присутствие дьявола во всех этих сюжетах? Случайна ли концентрация

этого мотива — человек на чужом месте?

«И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье…»

В пустом осеннем Михайловском было достаточно тихо, чтоб все это услышать. Услышать тяжкие шаги новой эпохи.

Дворянин, идущий в крестьянский бунт, возглавляющий и направляющий самую мощную мятежную стихию в государстве, — на свое ли становится место? Не есть ли это надругательство над своим истинным предназначением? И каково оно сегодня?

Он терял веру в исключительные возможности окружающего его русского дворянства на переломе времен. Теперь нужно было найти причины этой ущербности, этого неумения выполнить свой долг в тот момент, когда это необходимее всего. И тут не обойтись было без эпохи пугачевщины и без эпохи Петра. Исследование двух кризисных эпох могло дать ответ…

Что должен делать дворянин, если у него появляется возможность действовать? И как эту возможность себе создавать?

Все последние годы он с жадностью всматривался в людей, окружающих царя и, стало быть,

имеющих вес и власть. Большинство из них вызывали его презрение. О князе Кочубее, председателе Государственного совета и комитета министров, государственном канцлере по делам внутреннего управления, он писал 19 июня 1834 года в дневнике: «Тому недели две получено здесь известие о смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить… Без него Совет иногда превращался только что не в драку, так что принуждены были посылать за ним больным, чтоб его присутствием усмирить волнение. Дело в том, что он был человек хорошо воспитанный — и это у нас редко, и за то спасибо».

Речь шла о человеке, занимавшем первое место в бюрократической иерархии, и о Государственном совете — собрании имперских мудрецов.

Надежда, однако, была у него. Надежда на двух людей, пользующихся доверием императора. Людей, на которых надеялись и те, кто десять лет назад пытался реформировать страну вооруженной рукой.

«История Пугачева» была уже завершена, когда 31 декабря 1833 года у тетки своей жены, Натальи Кирилловны Загряжской, он встретился со Сперанским. «Разговор со Сперанским о Пугачеве, о Собрании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.».

Эта дневниковая запись вмещает в себя темы, для него в тот момент важнейшие. Они, разумеется, не просто говорили о крестьянской войне — хотя сам по себе этот разговор с человеком, который пытался в «первое время царствования Александра» провести реформы, чреватые в конечном счете отменой рабства и представительным правлением, и человеком, пытающимся теперь, через тридцать лет, разбудить общество и доказать неотложность таких реформ, знаменателен. Они говорили о пушкинском «Пугачеве». Ибо вскоре после этого разговора Пушкин просил правительство о разрешении печатать «Пугачева» в типографии, подведомственной Сперанскому. Он знал отношение Сперанского к предмету и смыслу сочинения.

А в июне того же года, когда печатание книги было в разгаре, Пушкин записал: «…обедали мы у Вяземского: Жуковский, Давыдов и Киселев.

Много говорили об его правлении в Валахии. Он, может, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана».

Внезапные симпатии Пушкина оказались на стороне Киселева, не имевшего и малой доли тех воинских заслуг, что имел Ермолов, не имевшего и малой доли его популярности…

Почему?

Судьба генерала Киселева (1)

…От выбора деятелей зависеть будет успешный или неуспешный ход дела.

П. Д. Киселев. Из письма

27 августа 1816 года флигель-адъютант Павел Киселев подал императору Александру записку, которая имела название «О постепенном уничтожении рабства в России».

Записка его начиналась так: «Гражданская свобода есть основание народного благосостояния. Истина сия столь уже мало подвержена сомнению, что излишним почитаю объяснять здесь, сколько желательно было бы распространение в государстве нашем законной независимости на крепостных земледельцев, неправильно лишенных оной».

Затем флигель-адъютант предлагал ряд конкретных мер:

«1. Дозволить капиталистам всех званий покупать у дворян имения, с тем чтобы отношения крестьян к новым владельцам были определены законом.

2. Запретить увеличение дворовых, образовать

из них особое сословие и обязать владельцев вносить за них подати.

3. Крестьян при фабриках и заводах освободить.

4. Разрешить дворянам устройство майоратов, с тем чтобы крестьяне таких имений вошли в состав вольных хлебопашцев.

5. Разрешить крестьянам выкупаться самим и с семействами по определенной правительством цене.

6. Перемерить вновь земли и, назначив к обрабатыванию нужное число крестьян, всех прочих, по возможности, выкупить правительству и переселить в многоземельные губернии, где, водворя их на землях казенных, объявить вольными хлебопашцами. Сумму же, на сие потребную, разложить в сроки на переселенцев, по положению иностранных колонистов. Таким образом, без ущерба для дворянства и правительства усилится хлебопашество и уменьшится число крепостных земледельцев».

Программа была далеко не совершенна, но для того времени весьма смела. А главное — двадцативосьмилетний полковник, делающий успешную придворную карьеру, поставил на карту свое будущее, давая царю непрошеные советы

по самому болезненному вопросу внутренней политики. Это было рискованно даже в то либеральное время.

Когда через год полковник Гвардейского генерального штаба Александр Муравьев представил царю сочинение такого же рода, император сказал: «Дурак! Не в свое дело вмешался». И это было концом карьеры Муравьева.

Но акция Киселева, не имев последствий положительных, ничуть ему не повредила. Павел Дмитриевич обладал удивительным обаянием и ловкостью. Ему сходило с рук то, что другому стоило бы дорого…

Он происходил из хорошего дворянского рода. Семеро Киселевых погибли в 1552 году при взятии Казани Иваном IV. Пращур его был сыном боярским в Муроме.

Сам Павел Дмитриевич вырос в аристократической московской семье, связанной дружескими узами с людьми замечательными — хотя и по-разному. Был среди них умный и острый Ростопчин, бешеный патриот, консерватор и авантюрист, московский генерал-губернатор в 1812 году. Был великий Карамзин, чья многосложная политическая программа только еще начинает вырисовываться перед нами. Во всяком случае, и

родители Павла Дмитриевича, и их ближайшие друзья были противниками скорой отмены крепостного права.

Однако юный Киселев сдружился с молодыми либералами — Александром Ивановичем Тургеневым и Петром Андреевичем Вяземским. И это оказалось сильным противовесом домашнему воспитанию.

Офицером Кавалергардского полка он прошел Наполеоновские войны рядом с Михаилом Орловым, Луниным и Пестелем. А весной 1814 года, полный европейских впечатлений, дружески сошелся с молодым генерал-адъютантом князем Александром Сергеевичем Меншиковым. Для Меншикова в те годы идея отмены рабства в России стала ведущей страстью. Через несколько лет после возвращения из Европы он вместе с Михаилом Семеновичем Воронцовым, известным как военными талантами и храбростью, так и гуманным либерализмом, задумал составить общество для освобождения крестьян. Их единомышленниками были Александр и Николай Тургеневы, Вяземский. Киселев не попал в число реформаторов, ибо находился в тот момент далеко от Петербурга.

Император Александр, видя, что война закан-

чивается и скоро надо будет решать иные задачи, присматривал себе молодых соратников. Именно тогда приблизил он кавалергардского полковника Михаила Орлова. Обратил он внимание и на кавалергардского полковника Киселева, заканчивающего войну адъютантом Милорадовича. Киселев стал флигель-адъютантом. Узнав его подробнее, император проникся к Павлу Дмитриевичу совершенным доверием. Дело было не только в храбрости, уме, открытости и идеальных манерах молодого полковника. Киселев обладал каким-то особым талантом располагать к себе людей. Когда хотел…

Он был одновременно импульсивен и тонко расчетлив в поведении. Высокий честолюбец, предвидя возможность незаурядной карьеры, он выбирал стиль поведения, ориентируясь на природные особенности своей натуры. Видя искреннее расположение императора, зная его подозрительный и непостоянный характер, Павел Дмитриевич выбрал для себя роль солдатского маркиза Позы — прямого, нелицеприятного, до тонкости знающего военное дело, жестокого к тем, кто не умел или не желал выполнять свой долг. Он сумел уверить Александра, что ни при каких обстоятельствах не покривит

душою — даже для угождения царю.

После возвращения из Франции Александр стал посылать молодого полковника с инспекторскими поездками — как личного своего эмиссара — в южные области, где дислоцировались главные силы русской армии. Киселев открыл много злоупотреблений, дал дельные рекомендации, точно охарактеризовал многих генералов и штаб-офицеров. Александр был им доволен.

Вместе с тем Павел Дмитриевич, понимая, что он должен выбирать между доверием царя и добрым отношением ревизуемых, вел себя подчеркнуто жестко, демонстративно наживая врагов. Он не сомневался, что его манера неподкупного и нелицеприятного контролера будет обрисована Александру хотя бы в жалобах обиженных. Так оно и вышло.

Во время второй поездки Киселева на юг, в семнадцатом году, Меншиков писал ему из Петербурга: «Царем твои деяния, как кажется, доселе принимаются за известное без всякого заключения. Орлов (Алексей. — *Я. Г.*) в разговоре предупредил Его, что ты себе наделал много врагов, что и правда. На твой счет распускают:

1) что ты разглашал, что Розену не дают дивизии, потому что он фуражный вор;

2) что ты надменен и чванишься;

3) при осмотре Васильчикова бригады зазнался неприлично в присутствии Беннигсена…

Твоя осанка и запальчивость, вероятно, подали повод к этим слухам и изображению других. Прошу остерегаться. Римские нравы не для нашего века. Хотя пилюли глотают и ныне, но с позолотою. Правило, которое ты недовольно соблюдаешь при подчивании».

Но Киселев прекрасно знал, что делал. Он тоньше Меншикова понимал, что «римский» стиль поведения вернее всего импонирует недоверчивому Александру. И не ошибся.

Через полтора месяца после отвергнутых им предостережений Меншикова Павел Дмитриевич получил письмо от Алексея Орлова, приближенного в это время Александром. Орлов пересказывал разговор с царем: «…Я прибавил: „Вы, государь, возложили на Киселева тяжкое поручение; оно причиняет ему много неприятностей, но он утешается, видя уже от своих занятий некоторые успехи для службы Вашему Величеству“. Государь, казалось, этим огорчился… „Поклонись ему от меня; уверь его в моей дружбе и, главное, в моем доверии, — Киселев добрый малый; это человек, который предпочи-

тает интересы, ему вверенные, неприятностям, им получаемым; он держит себя выше их, он прежде всего предан своему долгу; и он прав, — и вот… как надо поступать“».

Через три недели «римлянин» Киселев — «добрый малый», по определению императора, — был произведен в генералы и назначен состоять при его императорском величестве.

Вызвав вполне понятную неприязнь неспособных или нечистых на руку генералов и зависть неудачливых карьеристов, Киселев своей деятельностью по очищению армии снискал себе восторженное уважение иного слоя офицерства. В августе восемнадцатого года Денис Давыдов писал ему из Кременчуга: «Ты сожалеешь о добре, которое сделал, видя столько неблагодарных; это минутная досада, а не постоянное чувство. К тому же, сколько я могу знать, тебе столько благодарных и столько почитающих тебя в нашем корпусе, что весело слушать. По прочтении письма твоего я при некоторых генералах, полковых командирах и офицерах нарочно стал говорить о неблагодарности вообще и потом привел тебя в пример; все одним голосом до последнего офицера восстали на меня и просили меня уверить тебя, что ты заслужил в корпусе нашем вечную и

совершенную благодарность и что одни подлецы могут быть против тебя…»

Теперь Павел Дмитриевич был силен не только доверием императора, но и преданностью молодых генералов и офицеров. А при тех планах, что бродили в его голове, это было далеко не лишнее…

Павел Дмитриевич был человеком идеально воспитанным и умел вести себя с изысканной вежливостью. Иногда даже чрезмерной. Пушкина раздражала «оскорбительная вежливость временщика», как он выражался, не любя в те поры Киселева.

Но Киселев сознательно эксплуатировал свое умение быть и оскорбительно резким…

Убрав — не без помощи молодого кавалергардского «римлянина» — графа Беннигсена, одного из убийц своего отца, с поста командующего 2-й армией и назначив на этот пост фельдмаршала Витгенштейна, ничем не запятнанного, император тем не менее хотел иметь в этой армии особо доверенное лицо.

После 1817 года Александр последовательно проводил очищение гвардии и Петербурга от генералов и офицеров, которые вызывали его подозрения. Ермолов отправлен был на Кавказ,

чего он, впрочем, сам добивался. Бурный вольнодумец Михаил Орлов, недавно еще Александром любимый, — в Киев, начальником штаба 4-го корпуса 2-й армии.

Этот процесс привел к концентрации потенциальных мятежников на Украине и в Молдавии, где расположены были основные воинские силы.

Назначая в 1819 году Киселева начальником штаба 2-й армии, царь преследовал сразу две важные цели: привести в порядок армию и получить высокодоверенного информатора.

Однако Александр — как и многие другие — переоценивал безграничность верности Киселева. Павел Дмитриевич вел свою собственную, чрезвычайно крупную игру…

Злой и проницательный Вигель, внимательно наблюдая за происходящим вокруг нового начальника штаба армии, видя его несомненную близость с армейскими радикалами, писал: «Он из числа тех людей, которые дружатся со свободою, обнимают ее с намерением после оковать ее в свою пользу, чего они, однако же, никогда не дождутся: явятся люди побойчее их, которые будут уметь для себя собрать плоды их преступного посева».

И здесь — к чести Вигеля — ключ к поведению Павла Дмитриевича и вообще ко всей этой запутанной ситуации. Столь недавно поверженный Наполеон был для думающего и жаждущего действия русского офицерства фигурой одновременно ненавидимой как враг Отечества и в то же время глубоко почитаемой как «властелин судьбы». Влияние Наполеона, его личности и карьеры, на идеи и поступки русских деятелей от Александра до Пестеля было чрезвычайно велико.

Диктатура как конечный результат, безусловно, осуждалась даже военными радикалами. Но захват власти и временная диктатура для проведения реформ — это было соблазнительно... Пример Бонапарта давал основание надеждам такого рода. Разумеется, все понимали, что положение в России и положение в послереволюционной Франции различались сильно. Но — и это необходимо помнить — политическая жизнь России в начале двадцатых годов была куда как нестабильна. Обманутые ожидания вчерашних восторженных поклонников Александра — победителя и либерала, демонстративная и, быть может, намеренная непоследовательность его общественного поведения, недоверие к царю

консерваторов, раздраженных его конституционными авансами, всеобщая ненависть к Аракчееву (современники прозвали его Змеем Горынычем), явное отсутствие системы в управлении государством — все это вызвало к жизни сложнейшую политическую игру, противоборство и противостояние влиятельных партий и группировок, особенно в армии. И все это стимулировало самые смелые замыслы решительных, честолюбивых и любящих Отечество людей. Киселев среди них был не последний, но, быть может, самый расчетливый и ловкий.

Вигель явно отводил ему роль маркиза Лафайета, аристократа, возглавившего военные силы революции на первом этапе и затем оттесненного более радикальными генералами. Вигель прозревал — и не без оснований — в окружении Киселева более подходящих кандидатов в Бонапарты…

Явившись во 2-ю армию, Павел Дмитриевич встретил здесь многих своих старых друзей и соратников — Михаила Орлова, с которым не терял связи все эти годы, Сергея Волконского, Пестеля, которые от реформаторского либерализма далеко ушли в сторону революционной конспирации.

С 1820 года Михаил Орлов был уже начальни-

ком 16-й пехотной дивизии, которую он получил при безусловной поддержке Киселева. Вскоре после этого Киселев добился назначения Пестеля командиром Вятского пехотного полка. Павел Дмитриевич знал, кого выдвигает…

Однако люди дворянского авангарда, готовые к реформированию страны, а некоторые из них — и к вооруженному вмешательству в ход искусственно заторможенного процесса, составляли несомненное меньшинство в командном слое 2-й армии. Их численная слабость, отсутствие в их руках крупных воинских единиц лишь отчасти компенсировались активностью и решимостью.

Киселев трезво оценил обстановку и, отнюдь не сочувствуя революционным крайностям, но и не желая торжества ложной стабильности, выработал свою стратегию и тактику.

В начале двадцать третьего года он составил для императора характеристики большинства генералов 2-й армии.

В основном характеристики эти были таковы:

«Генерал-майор Рылеев 1. Командир 1-й бригады 13-й пехотной дивизии. Фельдфебель, иногда пьяный.

Генерал-майор барон Розен 2. Командир 3-й драгунской дивизии. Нигде ничем быть не может…

Генерал-майор Турчанинов. Бригадный командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии. Нигде ничем и никогда быть не может.

Генерал-майор Моссалов. При дивизионном командире 3-й драгунской дивизии. Удивляюсь, что генерал…

Генерал-майор Мордвинов 3. Командир 1-й бригады 22-й пехотной дивизии. Слаб здоровьем. Слаб умом. Слаб деятельностью».

Не церемонясь с генералами малоизвестными и не имеющими поддержки, начальник штаба гораздо искуснее компрометирует другой тип служак — аракчеевцев, имеющих высокие связи. Одним из таких был генерал Желтухин, фигура сколь страшная, столь и характерная.

О Желтухине Киселев написал: «Усерднейший мирный генерал. Обращением ефрейтор, но для сформирования войск, т. е. части механической, весьма способный. В протчем подлейших свойств и в моем смысле более вредный, чем полезный. Полагают, что не вор, и потому мог бы быть интендант».

Если бы замыслы Киселева удались, обстановка во 2-й армии изменилась бы весьма существенно. Его собственное влияние, личные качества нового командующего князя Витгенштейна, о

котором декабрист Владимир Раевский писал: «…начальник кроткий, справедливый и свободомыслящий…» — давали надежду привлечь во 2-ю армию и соответствующих генералов. Если Александр упрямо противился желанию Ермолова, которому не доверял, собрать вокруг себя единомышленников, то Киселеву, фавориту с репутацией безусловной преданности, сделать это было значительно легче.

Будучи фактическим хозяином армии — при старом фельдмаршале, — он явно готовил тотальную смену генералитета, надеясь выдвинуть людей более себе близких…

Демонстрируя царю полную нелицеприятность, Киселев включил в этот документ и самохарактеристику: «Генерал-майор Киселев. Начальник главного штаба 2-й армии. Без прежних заслуг и потому без права на место, им занимаемое, с умом, а более еще с самолюбием, отчего полезен быть может. Честен и собою для пользы готов жертвовать. Но при неудовольствии малейшем пожертвует всем для удовлетворения честолюбия своего».

Это была в некотором роде игра ва-банк. Генерал Киселев доводил до сведения императора, что если его обидят, то он «пожертвует всем», что-

бы не допустить ущерба для своего честолюбия, то есть в данном случае — чести. Он проверял прочность царской поддержки.

Киселев готовил эту дискредитацию старого генералитета в то время, когда арестован был любимец Михаила Орлова майор Раевский, жаждавший революционного действия.

Главным недругом Орлова оказался генерал Сабанеев, корпусной командир. Суворовский генерал, пользовавшийся военной репутацией заслуженно высокой, Сабанеев видел в Орлове не только соперника, но и вообще чуждый и ненавистный новый тип военачальника-политика.

В записке Киселева Сабанеев стоит на первом месте. Характеристика его составлена весьма тонко: «Генерал-лейтенант Сабанеев. Командир 6-го корпуса. Достоинства известны, для службы истинно полезный, неутомимый, где, по мнению моему, может употребиться с пользою. Фронтовой службы не знает и не любит. Здоровье и в особенности глаза не позволят ему долго командовать корпусом. Военные соображения имеет точные и в совете был бы из полезнейших генералов. Всякое ученое военное учреждение может с успехом быть ему доверено».

Киселев не столь самоуверен, чтобы пытаться

откровенно компрометировать заслуженного боевого генерала. Но, отдав ему должное, он с «римской» прямотой излагает невыгодные для него обстоятельства: «Фронта не знает и не любит». То есть не специалист по шагистике и строевым экзерцициям. Эта естественная для суворовского выученика черта в глазах Александра, поклонника совершенно не суворовских методов обучения войск, была несомненным пороком. Киселев это знал и использовал с простодушной миной.

Но главное — состояние здоровья Сабанеева заставляет думать о его скорой замене. И будущее его место сомнений не вызывает — скажем, начальствование над кадетским корпусом. Это была умно рассчитанная, но твердая попытка устранить самого авторитетного противника Михаила Орлова и человека, который мог при случае противостоять и самому Киселеву.

Возможно, однако, что игра Киселева была еще тоньше и многослойнее. Скорее всего, дело «первого декабриста» Владимира Раевского было им самим и организовано.

Незадолго до ареста Раевского он писал в Петербург человеку, которого — при совершенной разности представлений — ему выгодно было

иметь другом и конфидентом, дежурному генералу главного штаба Закревскому: «Между нами сказать, в 16-й дивизии есть люди, которых должно уничтожить и которые так не останутся; я давно за ними смотрю, скоро гром грянет».

Когда же «гром грянул», то Павел Дмитриевич оказался в нелегком положении. С одной стороны, он старался вывести из-под удара своего друга Орлова, который был ему нужен, с другой — вынужден был выполнять довольно рискованные поручения Александра.

Раевский вспоминал: «Когда еще производилось надо мною следствие, ко мне приезжал начальник штаба 2-й армии генерал Киселев. Он объявил мне, что государь император приказал возвратить мне шпагу, если я открою, какое тайное общество существует в России под названием „Союз благоденствия“». Надо полагать, что Киселеву было не по себе, когда он передавал мятежному майору предложение императора. Заговори Раевский — и положение во 2-й, да и не только во 2-й, армии изменилось бы радикально. Многие из тех, кого Киселев рассчитывал видеть сильными союзниками, в лучшем случае отправились бы на долгие годы в свои имения. На самом же деле никакой опасности не было. «Нату-

рально, я отвечал ему, — пишет Раевский, — что „ничего не знаю. Но если бы и знал, то самое предложение вашего превосходительства так оскорбительно, что я не решился бы открыть. Вы предлагаете мне шпагу за предательство?“ Киселев несколько смешался. „Так вы ничего не знаете?“ — „Ничего“».

Павла Дмитриевича этот результат вполне устраивал…

Он утверждал впоследствии: «…во время моего в армии пребывания она отличалась особенным порядком и устройством. Одно происшествие Раевского обратило на себя внимание, и что же? Как скоро я узнал о вольнодумстве сего из 1-й армии переведенного офицера, то, нимало не медля, сообщил о том генералу Сабанееву партикулярным письмом, — и зло прекращено было разрушением школы, преданием суду Раевского и удалением Орлова от командования дивизией. И здесь, несмотря на истинную дружбу мою к Орлову, я объявил главнокомандующему, что он командовать дивизией не может. Не скрыл мнения моего и от Орлова…» В другом месте Киселев писал: «В истории Орлова я был первый, который устремил надзор г-на Сабанеева за майором Раевским, о коем слышал как о вольнодумце пылком

и предприимчивом».

Павел Дмитриевич писал это уже при Николае, после мятежа у Сената и восстания черниговцев. Разумеется, он сдвигал обстоятельства так, как ему в ту пору было выгоднее. На самом же деле он хотел удалить Орлова от командования 16-й дивизией, перевести его в другой корпус и дать ему дивизию там. Он прямо писал об этом в Петербург. Политическую подоплеку дела Орлова он решительно отрицал: «…во всем деле больше личностей (личной вражды между Орловым и Сабанеевым. — *Я. Г.*), чем настоящих обвинений, которые можно приписать скорее к неопытности и мечтаниям», — писал он генералу Закревскому. Хотя прекрасно знал истинные намерения Орлова. Терять Орлова с его дивизией он не хотел.

Вообще переписка Павла Дмитриевича — настоящий учебник политической и служебной дипломатии. Он тонко и точно различал адресатов и писал каждому то, что полезно было ему писать.

Зачем ему нужно было убрать из армии Сабанеева (хотя незадолго до того он и писал Закревскому, что Сабанеев ему «помощник отличный»), Желтухина и иже с ними — вполне понятно.

Но зачем надо ему было подымать столь опас-

ное дело Раевского и отстранять Орлова? Затем, что события в любой момент могли выйти из-под контроля. Не только Раевский был «вольнодумцем пылким и предприимчивым». Генерал Орлов не уступал своему младшему соратнику ни в вольнодумстве, ни в пылкости, ни в предприимчивости. Киселеву не удавалось охладить Орлова и склонить его к постепенности. Он внимательно следил за происходящим в 16-й дивизии и видел, что взрыв может произойти в любой час. А этого он не хотел.

Погубив своими маневрами Раевского и разрушив, того не желая, карьеру Орлова, равно как и его революционные планы, Киселев и сам оказался на краю.

В начале двадцать четвертого года, когда материалы дела Раевского, длившегося два года, ушли в Петербург и ясно стало, что судьба Орлова решена, Павел Дмитриевич отпросился в длительный заграничный отпуск, а затем сделал очередной рискованный шаг — попытался уйти с поста начальника штаба армии.

Александр приказал ему оставаться в должности, подтвердив свое доверие.

Тогда, вернувшись в начале двадцать пятого года из-за границы, «римлянин» начал новый тур

опасной игры: он стал внимательно присматриваться к людям, образ мыслей которых не был для него секретом, — к Пестелю, Барятинскому, Юшневскому. Короче говоря — к лидерам радикального Южного общества, замыслы которого к этому времени окончательно созрели.

Но он не был бы Киселевым, виртуозом лавирования, если бы не обезопасил себя с другого фланга. По собственному его признанию, он в осторожной форме делился своими наблюдениями с главнокомандующим Витгенштейном. Так, чтобы не восстановить старого «свободомыслящего» фельдмаршала против молодых «свободомыслящих» офицеров и генералов, но и заручиться его поддержкой на случай непредвиденного развития событий…

Он сделал все, чтобы быть полностью осведомленным. В марте двадцать второго года, когда арестован был Раевский, Павел Дмитриевич не без гордости сообщал Закревскому: «Секретная полиция, мною образованная в июле 1821 года, много оказала услуг полезных, ибо много обнаружила обстоятельств, чрез которые лица и дела представились в настоящем виде; дух времени заставляет усилить часть сию, и я посему делаю свои распоряжения».

Однако наиболее опасные сведения он оставлял себе и вел себя настолько умно и естественно, что пользовался до поры доверием обеих сторон.

Декабрист Басаргин, адъютант и доверенное лицо Киселева, вспоминал потом, рассказывая о заседаниях тайного общества: «Даже и в таких беседах, где участвовали посторонние, т. е. не принадлежавшие к обществу, разговор более всего обращен был на предметы серьезные, более или менее относящиеся к тому, что занимало нас. Нередко генерал Киселев участвовал в подобных беседах, и хотя был душою предан государю, которого считал своим благодетелем, но говорил всегда дельно, откровенно, соглашался в том, что многое надобно изменить в России, и с удовольствием слушал здравые, но нередко резкие суждения Пестеля».

Начальник штаба армии пользовался искренними симпатиями заговорщиков, и атмосфера в его близком кругу была откровенно либеральной. Недаром предшествующие Басаргину двое адъютантов Киселева (Бурцов и Абрамов) тоже были членами тайного общества. Тот же Басаргин писал: «Генерал Киселев был личностью весьма замечательною. Не имея ученого образования, он был чрезвычайно умен, ловок, деятелен, очень

приятен в обществе и владел даром слова. У него была большая способность привязывать к себе людей, и особенно подчиненных. По службе он был взыскателен, но очень вежлив в обращении, и вообще мыслил и действовал с каким-то рыцарским благородством… Он решительно управлял армией, потому что главнокомандующий ни во что почти не мешался и во всем доверял ему. Сверх того, он пользовался особенным расположением покойного императора Александра. Не раз я сам от него слышал, как трудно ему было сделаться из светского полотера (как он выражался) деловым человеком, и сколько бессонных ночей он должен был проводить, будучи уже флигель-адъютантом, чтобы несколько образовать себя и приготовиться быть на что-нибудь годным».

Киселев не просто принимал участие в беседах молодых радикалов. Он не только снисходительно слушал резкие речи в тесном кругу. Он читал «Русскую правду» Пестеля — проект конституции послереволюционной России. Он прекрасно понимал, с кем имеет дело. А понимая, не только не удалял от себя подполковника, с ледяной логикой доказывающего неизбежность и спасительность радикальных перемен, но и упорно добивался для Пестеля полковничьего чина и командова-

ния полком. У Пестеля была репутация либерала, и Киселеву приходилось нелегко. Но он добился.

В 1823 году, когда Раевский сидел в крепости, Пестель муштровал полк, который, по замыслу тайного общества, должен был стать ударной силой будущего восстания и захватить тот самый штаб 2-й армии, которым начальствовал Киселев…

И однако же, несмотря на всю тонкость Киселева, характер его игры ясен был не только Вигелю.

В двадцать четвертом году Александр, неплохо осведомленный к этому времени о деятельности тайных обществ, в специальной записке назвал среди лидеров военного заговора и Киселева… Создатель тайной полиции в своей армии, не спускавший глаз с заговорщиков, Киселев и сам был под надзором.

Декабрист Розен вспоминал: «Комиссия… доведывалась, не принадлежали ли к обществу Сперанский, Мордвинов, Ермолов, П. Д. Киселев, Меншиков…» Ни одно из этих имен не возникло случайно. Нити шли из прошлого.

Александр, впавший к концу царствования в состояние тяжкой подозрительности и политической паники, запутавшийся в собственных

маневрах, преувеличивал. Киселев организационно никак не связан был с тайными обществами. Он хотел находиться над ними, контролируя их деятельность, привлекая к себе их лидеров…

15 декабря 1836 года Александр Тургенев провел вечер у Пушкина. Пушкин читал ему «Памятник». Потом они говорили о декабристах. В дневнике Тургенева скупо сказано: «…О Михаиле Орлове, о Киселеве, Ермолове и князе Меншикове. Знали и ожидали, „без нас не обойдутся“».

Ни Тургенев, близко знавший Киселева, ни Пушкин, возлагавший на Киселева в то время большие надежды, таких слов на ветер не бросали…

В двадцать четвертом году Павел Дмитриевич, убедившийся, что император не решается приступить к реформам вообще, а главное — к движению в сторону свободы крестьян, укреплял связи с теми, кто мог двинуть события, взломать вековой лед, вынудить царя действовать на пользу страны или же устранить его. Он скользил по самому краю, скользил, как ему казалось, чрезвычайно искусно. Потеряв Орлова, он приобрел полкового командира Пестеля, зная, что за ним стоят генерал Волконский и целая группа командиров пехотных и конных полков.

Когда в декабре 1825 года начались аресты членов тайного общества, окружавших Киселева, то он и здесь остался верен себе. Его адъютант Басаргин вспоминал: «„Вы принадлежите к тайному обществу, — сказал он, как только мы остались одни, — отрицать этого вы не можете. Правительству все известно, и советую вам чистосердечно во всем признаться…“ — „Я желал бы знать, ваше превосходительство, — отвечал я, — как вы спрашиваете меня, как начальник штаба, официально, или просто как Павел Дмитриевич, с которым я привык быть откровенным“. — „Разумеется, как начальник штаба“, — возразил он. „В таком случае, — сказал я, — не угодно ли будет вашему превосходительству сделать мне вопросы на бумаге, — я буду отвечать на них. На словах же мне и больно и неприятно будет говорить с вами как с судьею, смотреть на вас просто как на правительственное лицо“. Он задумался и потом сказал: „Хорошо, вы получите вопросы“. Я поклонился и хотел удалиться, но, когда подходил к двери, он вдруг сказал, переменив тон: „Приходи же обедать к нам, либерал, мы с тобой давно не виделись“».

Перед отправкой Басаргина в Петербург у них произошел следующий разговор. «Любезный

друг, — сказал генерал своему адъютанту-заговорщику, — не знаю, до какой степени ты замешан в этом деле; помочь тебе ничем не могу; не знаю даже, как я сам буду принят в Петербурге. Все, в чем могу уверить тебя, это в моем к тебе уважении, которое не изменится, что бы ни случилось с тобою».

К этому времени Киселев, разбиравший вместе с генералом Чернышевым бумаги своего арестованного друга Пестеля, получивший от Чернышева обильную информацию о заговоре, прекрасно себе представлял, в каком обществе состоял его адъютант…

Таков был этот человек, явно рассчитывавший в случае успеха Пестеля и его товарищей естественно примкнуть к ним и заняться государственными реформами, смягчая радикализм и отсекая крайности, и сумевший после разгрома заговора уцелеть и пойти своим путем — еще выше.

Весной 1826 года, когда в Петербурге шло еще следствие над его вчерашними друзьями, когда все, кого могли заподозрить в либерализме и причастности к тайным обществам, пребывали в состоянии если не паники, то глубокой подавленности, Киселев напряженно размышлял о

том зле, которое отравляло общественную и политическую жизнь страны и обещало куда более опасные потрясения, чем недавно открытый заговор…

В апреле того же года некий рядовой Днепровского пехотного полка, возвращаясь из отпуска и поссорившись по пути с управителем какого-то имения, объявил себя майором, уполномоченным самим государем арестовывать помещиков и облегчать участь крестьян. И крестьяне с восторгом поверили этому удивительному самозванцу. Он собирал мирские сходы, с помощью сотских сажал в кандалы управителей, ему давали лошадей для передвижения от поместья к поместью… Наконец он был схвачен каким-то энергичным чиновником, посланным навстречу.

Когда Киселев сообщил об этом происшествии командующему армией, находившемуся тогда в столице, престарелый фельдмаршал ответил ему: «Любезный Павел Дмитриевич! Того же дня, как получил письмо Ваше о происшествии рядового Днепровского полка, довел оное до сведения государя; по следствию ожидать должно, что сие происшествие от людей злоумышленных, а не им самим выдумано, ибо эта самая история происходила и во многих других губерниях, все

в том же самом смысле, что помещиков берут в С.-Петербург, а мужикам дается вольность».

Конечно же, Витгенштейн повторяет суждение Николая. Это была неколебимая логика самодержавия — все проявления народного недовольства объяснять подстрекательствами злоумышленников как отечественных, так и иностранных. Так судила Екатерина о причинах пугачевского восстания, так судил Александр о причинах семеновской истории.

Киселев был куда трезвее и политически профессиональнее. Он судил иначе: «Явился безграмотный, невидный, в худой шинели солдат и провозглашением свободы очаровал народ; этим могущественным словом преклонил к себе все умы и всем внушил беспрекословное доверие, которое ни минуты и нигде не изменилось, даже при исполнении безрассудных повелений… Войдя в рассмотрение готовности, с коею крестьяне изъявили повиновение обольстителю-солдату, должно сознаться, что последователи более проницательные и решительные могут сделаться орудием неисчислимых бедствий и что здесь Провидение явно указывает правительству на необходимость тщательного рассмотрения причин, возбуждающих мятежный дух в крестьянах,

и на те постановления, которые необходимы к отвращению оных причин».

Павел Дмитриевич, сидя на горячем еще пепелище дружественного ему тайного общества, хотел понять, а потому понимал, что «неисчислимые бедствия» неизбежны, если не уничтожить или по крайней мере не ослабить «причины, возбуждающие мятежный дух крестьян».

И кто эти будущие вожди мятежей — «последовательные и решительные»? Киселев был слишком умен и трезв, чтобы представлять беглых солдат или предприимчивых казаков на этом месте. Нет, он вспоминал бешеное нетерпение Орлова, холодную стремительность Пестеля, спокойную уверенность Волконского.

Что будет, если не лядащий солдатик в старой шинели объявит себя посланцем государя для укрощения и выведения помещиков, а новые Орловы и Пестели? Что будет, если новый Муравьев-Апостол с мятежным полком объявит именем царя крестьянское ополчение?..

Что будет тогда, коли этот самый солдатик, на полномочную персону — майора! — ничуть не похожий, триумфально мчался на крестьянских подводах от селения к селению, отменяя власть помещиков? «Кто был на площади 14 декабря?

Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении?..»

Понимал ли это Николай?

Во всяком случае, события декабря 1825 года и января следующего года — мятеж черниговцев — оказались сильным уроком. О постоянных крестьянских волнениях он тоже знал. Знал, что уже десять лет правительство живет меж двух опасностей — со стороны недовольной части дворянства и со стороны озлобленного крестьянства. Он не верил, что казни и ссылки лета двадцать шестого года покончили с дворянской фрондой, как не верил и в целительную силу воинских команд, подавлявших крестьянские мятежи.

Не менее напряженно, чем кто бы то ни было, император Николай искал способов замирить страну.

Через сто с лишним лет после смерти основателя империи, создателя той жесткой и неуравновешенной системы, внутри которой на одном полюсе стоял самодержец с малой группой клевретов (и вместе они обладали гигантской властью), на другом — миллионы крестьян, не имевших вообще никаких прав, а между ними дворянство, испытывавшее давление и снизу и сверху и до поры блокировавшееся в массе своей

с верхами из страха перед мужицким топором и дубиной, — через сто с лишним лет после смерти отца могучей бюрократии, призванной сделать систему устойчивой, император Николай начал догадываться, что ни одно из ранее применявшихся его предшественниками средств сегодня уже не действенно и надо искать что-то новое и сильное.

После того как он с величайшим прилежанием изучил во время следствия историю тайных обществ, он перестал доверять дворянству, ибо увидел вещи, его поразившие, — дело было не только в размахе, с которым преступные сообщества за десять лет охватили массу офицеров и чиновников, дело было еще и в том, что члены тайных организаций — пускай бывшие! — оказались повсюду. Его любимый флигель-адъютант Василий Перовский, как оказалось, тоже был не без греха. Начальником всех караулов, охранявших 14 декабря дворец и правительственные учреждения, был гвардии полковник Моллер — «старинный член тайного общества». В ночь перед мятежом в дворцовом внутреннем карауле стоял конногвардеец князь Одоевский — «самый бешеный заговорщик». Следственная комиссия по желанию царя намеренно рвала некоторые

нити, многие сведения «оставлялись без внимания». И Николай, и Константин уверены были, что вскрылось далеко не все — что некие важные лица остались в тени.

Современники и потомки не раз обвиняли декабристов в том, что, напугав молодого царя мятежом, они оттолкнули его от реформ.

Все было наоборот. То, что знаем мы о великом князе Николае, никак не свидетельствует о задатках реформатора. Именно шок 14 декабря, встряхнув сознание грубого и самоуверенного дивизионного генерала, пробудил в нем идею спасительных перемен. Разумом Николай понимал, что в нынешней ситуации прочное замирение страны может дать только спокойствие и преданность престолу миллионов крестьян, из которых большая часть была рабами, изнуренными и ожесточенными, мечтавшими любой ценой освободиться. И уж если невозможно достигнуть полной воли, то хоть стать не помещичьими, а казенными…

Миллионы ожесточенных и сосредоточенных на своей идее крестьян, еще веривших в справедливость царя. — Случай с рядовым Днепровского полка это лишний раз доказал.

Миллионы крестьян, которых упорно доводили

до отчаяния...

Михайловское. 1835 (3)

Каков государь?.. того и гляди наших каторжников простит – дай Бог ему здоровья.

А. С. Пушкин – П. А. Вяземскому. 1830 г.

Он жил с этой надеждой уже без малого десять лет. Теперь, последней михайловской осенью — в сентябре тридцать пятого, — он вспоминал, как узнал о мятеже у Сената в декабре двадцать пятого. А в сентябре двадцать шестого был вырван фельдъегерем из этого дома, этого парка, этого леса и очутился в кремлевском кабинете молодого царя…

Осенью тридцать пятого он заново узнавал Михайловское — возвращался роковой двадцать пятый. В это десятилетие вместилось столько перемен, надежд и разочарований, столько удач литературных и рухнувших общественных замыслов, что под тяжестью лавины он как бы отступил назад — в тот год. И ему приходилось делать усилие, чтобы увериться, что дорога, которой он шел вдоль большого ветреного озера, совсем не та, что была десять лет назад, ибо про-

легала по другому миру.

«Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! Как быстро уходит время!» — так писал он, вспоминая встречу на турецкой войне с друзьями юности. Среди них был и Михаил Пущин, младший брат Ивана Пущина… Горько и радостно было увидеть их — опальных, подозреваемых, но храбростью и ранами добывших чины и славу. Младший Раевский, Вольховский-лицеист… Все это были люди тайных обществ или прикосновенные к ним.

Теперь же, еще через пять лет, в осеннем холодном Михайловском его окружали призраки. «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все это я видел во сне». Но он не желал, чтобы они оставались призраками.

Все эти годы он жил с надеждой на возвращение каторжников. Не только из-за Пущина и Кюхельбекера, которых любил как братьев. Но и потому, что только так можно было стянуть, соединить порвавшуюся связь времен, счесть небывшим картечный вой и простить как страшную необходимость казнь пятерых.

Ибо если ошибкой был их мятеж, то ошибкой была и свирепая расправа: не государственное

деяние, но месть оскорбленного и испуганного самодержца.

Только возвращением каторжников можно было залечить кровоточащий слом времени. Начать все сначала.

Эти люди необходимы были не только ему, Пушкину, для выполнения его миссии, но и России — для обновления и спасения ее.

Он был уверен, что царь в двадцать девятом — тридцатом годах, когда казалось, что вот-вот начнутся реформы, отступил из-за отсутствия умных и дельных соратников. Разумеется, никто не мог бы стать с таким правом двигателем крестьянской реформы, как Николай Иванович Тургенев, скрывавшийся за границей от каторги. Кому не ясно было, что люди, рискнувшие всем для дела реформ, стали бы верными помощниками того, кто дал бы им возможность мирно трудиться ради этого дела.

Десять лет назад — после мятежа, крови, ужаса — немногие нашли в себе силу не отречься от вчерашних друзей или добрых знакомцев. Люди умные, достойные, добрые говорили о побежденных с яростью и остервенением.

Василий Андреевич Жуковский писал 16 декабря 1825 года Александру Ивановичу Тургеневу:

«Мой милый друг. Провидение сохранило Россию… Какой день был для нас 14-го числа! В этот день все было на краю погибели: минута, и все бы разрушилось. Но по воле промысла этот день был днем очищения, а не разрушения; днем ужаса, но в то же время и днем великого наставления для будущего… Всех главных действователей в ту же ночь схватили. Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников?.. По сию пору не найден только один Кюхельбекер, и, признаться, это несколько меня беспокоит. Он не опасен, как действователь открытый: он и смешон, и глуп; но он бешен — это род Занда. Он способен в своем фанатизме отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы приобрести какую-нибудь известность. Это зверь, для которого нужна клетка. Можно сказать, что вся эта сволочь составлена из подлецов малодушных… Презренные злодеи, которые хотели с такою безумною свирепостью зарезать Россию…

Изменники, или, лучше сказать, разбойники-возмутители, были одни офицеры, которые имели свой план, не хотели ни Константина, ни Николая, а просто пролития крови и убийства, которого цель понять невозможно. Тут видно удивительно-бесцельное зверство. И какой дух

низкий, разбойничий! Какими бандитами они действовали! Даже не видно и фанатизма, а просто зверская жажда крови безо всякой, даже химерической, цели».

Василий Андреевич, кроткий и миролюбивый, провел страшные часы восстания во дворце, откуда происходящее у Сената казалось ужасающей кровавой бессмыслицей. Судя по тому, как он описывает и объясняет события, он не имел еще никакого представления об истинном замысле и целях мятежников. Позже его отношение к ним изменилось, хотя средства их остались ему глубоко чужды. И это письмо приводится здесь не для того, чтобы скомпрометировать замечательного поэта и очень хорошего человека, а для того, чтобы показать ослепляющий испуг современников перед попыткой убежденных реформаторов вооруженной рукой добиться права на реформы.

Жуковский писал через день после мятежа, у него еще дрожали руки от тяжких воспоминаний.

То, что произошло на Сенатской площади, так потрясло людей, что некоторые и оправиться не сумели. Так, Карамзин не смог пережить представшего ему в тот день зрелища исторического катаклизма и собственного жестокого порыва: «Я,

мирный историограф, алкал пушечного грома…»

Не пушечного грома он алкал. Он был добр и благороден. Он алкал чуда, которое принесло бы ему веру в безмятежную незыблемость основ империи. Он алкал знания — как улестить могучих и таинственных китов, на темных спинах которых, чуть видимых в зловещих водах, держится судьба его России. Он алкал панацеи, средства, при помощи коего можно было бы заставить всех смириться, полюбить друг друга, склониться так, чтобы бури истории пролетали над головами. «Бедную Лизу» и «Историю государства Российского» написал один и тот же человек. Его «История», в сущности, гигантская «Бедная Лиза», где непостоянными и неразумными помещиками были некоторые государи, а добродетельной и достойной сострадания поселянкой — простой народ.

Он хотел пушечный гром принять за панацею, оттого что находился в отчаянии. Темные китовые спины пришли в движение, и неизвестно было, как их заклясть.

Через две недели после восстания он писал Вяземскому: «Сколько горечи и беспокойства в семействах. Еще не имею точного понятия об этом и злом, и безумном заговоре. Верно то, что

общество тайное существовало и что целью его было ниспровержение правительства. От важного к неважному: многие из членов удостаивали меня своей ненависти или, по крайней мере, не любили; а я, кажется, не враг ни отечеству, ни человечеству». Теперь уже преступно легкомысленным Эрастом выступали мятежники. Политическую подоплеку их отношения к нему он в расчет не брал. Они не любили его, Карамзина, друга отечества и человечества, — и это громко говорило об их заблуждениях.

За себя, впрочем, он не страшился. «Бог спас нас 14 декабря от великой беды. Это стоило нашествия французов: в обоих случаях вижу блеск луча как бы неземного. Опять могу писать свою „Историю“». Но при всех своих декларациях Карамзин в глубине души понимал катастрофичность случившегося. «Иногда действительно думаю о Москве, о Дрездене для воспитания детей, о берегах Рейна». Его пугало будущее детей…

Но «духовная лихорадка», порожденная сперва смертью Александра и напряжением междуцарствования, невозможностью найти общий язык с новым императором, а затем во сто крат усиленная мятежом у Сената, разорвала броню высоких иллюзий, в которую он давно уже заковал себя.

Картечь 14 декабря вместе с десятками «малых сих» убила и великого Карамзина, непримиримого антагониста заговорщиков.

Воздействие декабрьских событий на чувствительные души было подавляющим.

Когда в тридцать втором году умер долго и тяжело хворавший литератор Калайдович, Александр Булгаков писал: «Умер бедный Калайдович, патриот и автор хороший. 14 декабря его так поразило, что он от негодования занемог, а там и с ума сошел».

Летом 1826 года, вскоре после окончания работы Следственной комиссии, некто, обладающий достаточными связями, чтобы получить текст донесения, человек явно образованный и далеко не глупый, не какой-нибудь тупой ретроград, направил весьма характерное для того момента письмо Николаю.

«Главная цель подобного обвинительного акта — внушить каждому, кто станет читать его, отвращение к безрассудным происка преступников. Особенно следует избегать в нем такого рода сведений, которые могли бы послужить к оправданию преступлений заговорщиков: нельзя допустить, чтобы последние предстали несчастными, впавшими в заблуждение из пре-

вратно понятой любви к отечеству. Еще менее следует давать злонамеренным людям повод изображать этих преступников как героев, якобы жертвующих жизнию для блага родины. Если обвинительный акт составлен будет таким образом, что вызовет у публики чувство жалости к виновным, цель его совершенно не будет достигнута».

Приведя несколько примеров подобного рода, автор так закончил свое послание: «Избави меня Бог, государь, сим отказом в праве обвиняемых на оправдание отвратить от сих милостей Вашего Императорского Величества. Господь, без сомнения, подскажет Вам, какую долю отвести правосудию, а какую — милосердию, мне хотелось лишь, чтобы в случае, если Вашему Величеству угодно будет в мудрости своей простить кого-либо из виновных или смягчить ему кару, публика могла бы сказать: „люди эти заслужили примерного наказания, однако император в милосердии своем простил им вину их“, но чтоб никто не имел бы основания сказать: „император простил этих людей, ибо они оказались не столь виновны, как то показалось вначале“.

Есть и еще одно соображение, которым, мне кажется, не следовало бы пренебрегать: Европа

переполнена людьми, в большей или меньшей степени разделяющими воззрения, только что чуть было не приведшие Россию к гибели, которые будут считать своим долгом оправдать этот заговор или, во всяком случае, внушать по отношению к заговорщикам чувство жалости, и они не преминут воспользоваться теми слабыми сторонами, кои предъявит им обвинительный акт. Зачем же давать им в руки это оружие? Я и без того опасаюсь, что уже поздно, и мы не сегодня завтра станем читать в либеральных газетах Франции и Англии панегирики по адресу Бестужева и компании. Но как бы там ни было, желательно, на мой взгляд, приостановить обнародование сего донесения и запретить его печатание в газетах до тех пор, пока не будет составлено новое, более соответствующее своему назначению. Полагаю также, что приговор, который вынесен будет Верховным судом и должен быть затем обнародован, следовало бы отредактировать таким образом, чтобы исправить недостатки, содержащиеся в обвинительном акте.

Заканчивая сие письмо, умоляю Вас, Ваше Величество, простить мою смелость и по прочтении оного его уничтожить».

По существу автор был прав. Составитель доне-

сения арзамасец Блудов и готовивший черновой материал правитель дел комиссии Боровков и в самом деле старались смягчить формулировки, подбирать факты, свидетельствующие в пользу обвиняемых. Более того, сам император разрывался между желанием представить заговорщиков законченными извергами и благоразумной для главы государства мыслью, что обилие извергов, убежденных тираноборцев, обнаружившихся в его империи, не свидетельствует о прочности и популярности режима. Потому он предпочел, чтобы многие заговорщики предстали перед миром именно заблудшими, вздорными, нелепыми в своих мечтаниях и к тому же быстро прозревшими и раскаявшимися.

Меморандум анонима не имел никаких последствий. Но что же заставило этого человека выступить доносчиком на Следственную комиссию, требовать для побежденных безоговорочной репутации злодеев, недостойных снисхождения?

И Жуковский, и Карамзин, и Калайдович, и многие другие, вчера еще гуманные и терпимые люди, были совершенно искренны в своем ужасе, негодовании, жажде сильных мер. И нужно было иметь незаурядное мужество и политическую трезвость, чтобы даже наедине с собой признать

жертвенность, бескорыстие и осмысленность попытки 14 декабря…

Сознавая, что письмо его, скорее всего, будет перлюстрировано, Пушкин написал Жуковскому в конце января 1826 года: «…Легко, может, уличат меня в политических разговорах с кем-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно… Теперь положим, что правительство захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.

Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.

В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералами Пущиным и Орловым.

Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я, наконец, был в связи с большею частию нынешних заговорщиков…

Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастию…

Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его

Карамзину и посоветуйся с ним».

Дело тут не в политической общности с заговорщиками, а в представлении о том, как вести себя по отношению к падшим.

Через неделю он писал Дельвигу: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя». Еще через две недели: «Мне сказывали, что 20, то есть сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую».

Будучи сам на краю гибели, он ни единого раза в своих обреченных на перлюстрацию письмах не упрекнул ни в чем мятежников, не обвинил их даже в заблуждении. Он писал о них как о друзьях, впавших в несчастие.

12 июня Вяземский отправил ему сообщение о смерти Карамзина, скорбно упрекнув за юношеские эпиграммы на историографа, написанные, как неосторожно выразился князь Петр Андреевич, «чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов». Он, безусловно, не имел в виду тех, кто сидел в казематах Петропавловской крепости в ожидании приговора. Но Пушкин напряженным своим сознанием воспринял фразу именно так. И был потрясен — ибо для него брань

Вяземского явилась знаком всеобщего осуждения мятежников в обществе. Этого Пушкин не мог понять. Это было противно не только его политическим представлениям, но и представлениям о человеческой порядочности. И он ответил с пронзительной горечью: «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый… слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю».

Все здесь необыкновенно значимо. И явная уверенность его, что мятежники могли бы привести сильные и здравые оправдания, когда б имели эту возможность, и, стало быть, с его, Пушкина, точки зрения, не так уж бессмыслен был их бунт. И смертельная тоска от непонимания даже умными и порядочными людьми смысла происшедшего.

В отличие от позднейших исследователей, Пушкин, вышедший духовно и идеологически из XVIII века, знал реальность гвардейского переворота в столице. Должны ли мы забывать, что, судя по воспоминаниям Пущина, его друг готов был вступить в двадцать пятом году в тайное общество? Должны ли забыть, что он сказал при

встрече Николаю: «Я был бы с моими друзьями на площади»? Одна ли это бравада или честное признание осмысленности мятежа с благородной целью?

24 июля мучительное ожидание разрешилось: «Услышал о смерти Р., П., М., К., Б.». Состояние его было таково, что, если бы царь вызвал его в это время, а не осенью, вряд ли бы состоялось их соглашение.

Призрак виселицы будет преследовать его до конца жизни…

И вот теперь минуло десять лет, пять из которых он, год за годом, писал о праве дворянина на вооруженное сопротивление власти — в той или иной форме, — о союзе мятежного дворянина и взбунтовавшегося мужика. Теперь, через десять лет, он писал о крестьянах, штурмовавших рыцарский замок под водительством поэта.

Оглядываясь назад, видел ли он нечто, дающее ему право на эти непрерывные напряженные раздумья, более того — властно его заставляющее думать об этом?

В 1827 году схвачены были участники кружка братьев Критских, мечтавших пуститься вослед декабристам. И мечтали, и действовали они со всею наивностью молодости. Но не умение и

успех тут важны, а побуждения, готовность рискнуть головами. Юноши сетовали, что восставшие на Сенатской площади не привлекли мастеровых и не объявили тут же волю крестьянам.

В 1831 году московский дворянин Сунгуров организовал конспиративный кружок, члены которого — особенно сам Сунгуров — говорили о мужиках и фабричных как о боевой силе будущего восстания и намечали пути массовой агитации.

В 1831 году арестован был штабс-капитан Генерального штаба Ситников, уличенный в том, что писал и рассылал по России революционные воззвания в стихах.

Атмосфера начала тридцатых годов делала правдоподобными слухи о бунтах и заговорах. Александр Булгаков, сообщая в сентябре 1831 года в Петербург об аресте под Москвой трех дворян, предположил, что они замешаны в политическом заговоре, — «то ли это московская история Сунгурова или курская, о коей говорят. Когда угомонятся бездельники?».

А в августе сообщает слухи о бунте в Финляндии, ходившие по Москве.

За два года до мятежа военных поселян адъютант командира 4-го пехотного корпуса, сто-

явшего под Москвой, поручик Максимович 3-й и поручик Генерального штаба Анненков видели на двери постоялого двора вблизи древней столицы надписи: «Скоро настанет время, когда дворяне — сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, — будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов. 1829–10. Один из повешенных и ссыльных в Сибири, второй Рылеев». Ниже другой рукой выведено было: «Ах, если бы это совершилось. Дай Господи. Я первый возьму нож».

Именем дворянина Рылеева неизвестный грозил погибелью русским дворянам. Это был неожиданный, но закономерный поворот…

Недаром в записях о мятеже поселений Пушкин обратил внимание на одно удивительное обстоятельство: «Жандармский офицер, взявший над ними власть…» и «…бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных». Это было нечто новое. Возмутившиеся солдаты и крестьяне не резали всех офицеров-дворян без разбора. Они искали среди них «новое начальство», квалифицированных вожаков. Так, в одном из районов мятежа большое влияние на события приобрел инженерный подполковник

Панаев, сделавший вид, что он друг восставших, а на самом деле исподволь гасивший пламя.

Однако группа убежденных оппозиционеров вроде штабс-капитана Ситникова или компания решительных авантюристов в эполетах могли получить в руки две мятежные дивизии и десятки тысяч доведенных до отчаяния и оттого на все готовых восставших поселян.

Для того чтобы события приняли катастрофический характер, не хватало именно вождя. Недаром император писал в том же июле: «Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные. Не дай и сохрани нас от того милосердный Бог, но я крайне беспокоюсь».

В отличие от 14 декабря, теперь уже не только дворяне пытались увлечь крестьян в солдатских мундирах, теперь солдаты и мужики пытались увлечь на свою сторону дворян, которых считали более гуманными и справедливыми.

В январе тридцать пятого Пушкин напоминал императору в «Замечаниях о бунте»: «Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны». Так было шестьдесят лет назад. За эти шестьдесят лет положение дворянства

разительно изменилось. «Падение постепенное дворянства: что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.». Вот это «т. д.» теперь и маячило перед Пушкиным. «Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».

Была ли почва под этим мрачным пророчеством, ничуть не встревожившим великого князя Михаила, весельчака и любителя каламбуров? О да! Умственным взором, обладавшим гениальной силой проникновения в будущее, Пушкин провидел явления абсолютно реальные. На ком держалась сознательная революционность последующих десятилетий? Герцен, Огарев, Бакунин — выходцы из родовитых семей. Среди петрашевцев большинство — хорошие фамилии, гвардейские офицеры.

Через два с лишним десятка лет после разгрома на Сенатской площади родовитый дворянин Спешнев планировал вооруженное восстание с привлечением массы народа.

Дворянин Петрашевский много размышлял о возможностях объединения оппозиционных интеллигентов с народом. Думал он и об агитации среди раскольников — вечного горючего элемента.

Через сорок лет после казни пятерых дворянин Дмитрий Каракозов возле решетки Летнего сада разрядил револьвер в Александра II.

Через полвека после картечи и крови вокруг монумента Петру лидерами южнорусских бунтарей, мечтавших поднять народ против созданной первым императором системы, стали украинский аристократ Дмитрий Лизогуб и генеральский сын, выходец из хорошей дворянской семьи Валериан Осинский, кончившие, как пятеро декабристов, на виселице.

Генеральская дочь Софья Перовская непреклонно довела до конца жестокое дело «Народной воли», организовав цареубийство 1 марта. Родовитая дворянка Перовская ощущала себя мстительницей за обманутые надежды как народа, так и дворянской интеллигенции, за неполноту и запоздалость реформ, которые не могли уже снять раскаленного социального антагонизма.

Да, эти люди исповедовали иную идеологию, чем герои дворянского авангарда первой трети века, они не хотели чувствовать себя дворянами, потому что знали: дворянский авангард вытеснен окончательно из политической жизни, он исчерпал себя в вековой тяжбе с самодержавием, необходимо блокироваться со свежей политиче-

ской силой, войти в массу народа организующим и направляющим элементом.

Мещанин Рысаков бросил первую бомбу под колеса императорской кареты. Дворянин Гриневицкий швырнул вторую, роковую, бомбу под ноги сыну Николая I, воспитаннику Жуковского, тому юноше, что приезжал в январе 1837 года под окна умирающего Пушкина.

Происходило то, о чем говорил Пушкин великому князю Михаилу Павловичу в 1834 году, о чем мучительно размышлял осенью 1835 года в Михайловском.

Судьба генерала Киселева (2)

…Нечувствительно и без гибельных для государства сотрясений может быть достигнута цель важная, то есть уничтожение в России крепостного состояния…

П. Д. Киселев. Записка. 30 ноября 1835 г.

После разгрома декабризма генерал-майор Киселев внутренне растерялся. Не потому, что гибель вчерашних друзей потрясла его, — он был человек достаточно холодный, чтобы справиться с таким огорчением. Мгновенно разрушился привычный мир. Неясны и тусклы стали перспективы. Они и до восстания не были слишком определенны, но по крайней мере ярки и заманчивы.

Одно ему определенно удалось. Он уцелел и сохранил свое положение. Однако с изъятием Пестеля и его соратников потеряло смысл пребывание во 2-й армии, которая стала теперь глубокой периферией политических и государственных событий.

В октябре 1826 года он написал в столицу свое-

му другу, генералу Закревскому, письмо, на него, недавно еще гордого и щепетильного, вовсе не похожее: «Справься у Орлова и Меншикова, не ожидают ли они производства; я, Божьей милостию, нахожусь между сими вельможами и полагаю, что по их милости и при них добьюсь до третьей звездочки — 10 лет я генерал-майор и управляю не бригадою или полком в столице, но в грязной скучной дыре сижу за бумагами по 13 и 14 часов в сутки, имея ответственность ужасную, и должен железною рукою держать и поддерживать все то, что попускается слабостию и дряхлостию. Признаюсь, что сил не имею выдерживать убийственную сию жизнь и не знаю, что и предпринять в настоящих обстоятельствах… Я желал бы приехать в Петербург, но проситься не хочется».

Это писал боевой офицер, храбро сражавшийся с Наполеоном, накануне войны с Турцией, к которой он готовил армию, — войны, открывающей возможность быстрого движения вверх.

И два, и три года назад была та же грязная дыра, те же бесконечные бумаги, тот же дряхлый фельдмаршал Витгенштейн, за которого все приходилось решать. Но Киселева это не тяготило. Слишком бурная, хоть и потаенная, жизнь шла

вокруг него тогда — жизнь, чреватая самыми неожиданными возможностями…

А что до будущей войны — то не военных лавров жаждал начальник штаба армии. Он хотел остаться самим собой, действовать по собственным планам, но при этом войти в доверие к новым хозяевам, открыть себе путь…

В апреле 1827 года Бенкендорф запросил Павла Дмитриевича о реакции в армии на смещение Ермолова с поста кавказского наместника. Это был рискованный шаг, и Николая с Бенкендорфом обуревали опасения. Запрос был проверкой общественного мнения и проверкой самого Киселева. «Скажите мне, — писал шеф жандармов, — какое впечатление произвела в вашей армии перемена главнокомандующего в Грузии? Вы поймете, что государь не легко решился на увольнение Ермолова. В течение 18 месяцев он терпел всех, начиная с некоторых старых и неспособных париков министров. Надо было иметь в руках сильные доказательства, чтобы решиться на смещение с столь важного поста, и особенно во время войны, человека, пользующегося огромною репутациею и который в течение 12 лет управлял делами лучшего проконсульства в империи».

Киселев ответил письмом, замечательным по

своей философической изворотливости: он, с одной стороны, ничем не выдал своего отношения к снятию Ермолова (отношения, бесспорно, отрицательного), с другой — успокоил императора и шефа жандармов соображениями как конкретными, так и общими. Последнее дало ему приятную возможность встать как бы над всеми и взглянуть на ситуацию с высоты истории вообще. «Общественное мнение у нас не имеет своих органов, и потому трудно что-нибудь о нем сказать. Офицеры, рассеянные на огромном пространстве, весьма мало интересуются делами, не относящимися до них непосредственно, и, не имея служебных отношений к генералу, говорят о нем с равнодушием. К этому я прибавлю, что перемена лица, какого бы то ни было, не может иметь важности, когда довольны общим ходом дел; в противном случае это имеет свое значение. Отозвание фельдмаршала Румянцева почти не было замечено, а он пользовался огромною славою; в другое время перемена лица, далеко не значительного, кажется преступлением. Все это относительно, особенно во мнениях. — Такова моя мысль».

Он вышел из положения. Между тем если присмотреться к письму внимательнее, то можно

прочесть в нем вещи весьма горькие. Равнодушие офицерской массы, из которой была выхвачена закваска, бродило, лучшие умы, — едва ли радовало Киселева. Убрали Ермолова, уберут его — и никто не обратит внимания.

Как бы то ни было, Павел Дмитриевич усердно выполнял свои обязанности скрепя сердце. Потом началась война, и он исправно воевал.

А сразу после войны судьба его резко переменилась.

В октябре 1829 года Алексей Орлов написал ему из Петербурга: «Ты уже назначен стать во главе обоих княжеств. Пост весьма важный и при настоящих обстоятельствах значительнее, чем когда-либо был. Тебе предстоит много работы. Дело идет о преобразовании страны и о том, чтобы двинуть ее к прогрессивному развитию. Надеюсь, что твоя деятельность позволит принять этот пост; ради Создателя, не отказывайся от этого доверия государя. Подумай, что это место временное, избавляющее тебя от фронта и всех неудобств походной жизни, и что после ты можешь домогаться всякого места, какое только тебе понравится».

Орлов писал это послание со слов императора. Сам отнюдь не государственный ум и не дея-

тель-реформатор, Алексей Федорович знал, о чем мечтает его друг, и знал, что у императора относительно Киселева имеются далеко идущие замыслы.

«Много говорили об его правлении в Валахии», — записал Пушкин в дневнике, вспоминая обед с Киселевым, возвратившимся из Дунайских княжеств, временно оккупированных русскими войсками.

Киселев получил эти княжества в управление явно не только из-за своих деловых качеств и неподкупной честности. Еще Александр ввел этот обычай — проверять задуманные государственные реформы на окраинах империи. В конце десятых годов, кружа своей мятущейся мыслью вокруг идеи конституционных преобразований, он даровал конституцию западной окраине — Польше. (И тем самым смертельно оскорбил русский дворянский авангард.)

Теперь, через десятилетие, Николай назначал Киселева начальствовать над оккупированными в ходе войны Дунайскими княжествами, зная его образ мыслей и его прошлое.

И Павел Дмитриевич твердой рукой произвел эксперимент, который определил его будущее. Он нашел княжества в состоянии хаоса, во власти

коррумпированных чиновников, крепостное право, некогда отмененное, было восстановлено де-факто местным дворянством, крестьянство изнемогало под бременем всевозможных налогов, большая часть которых не доходила до государственной казны. Озлобленные крестьяне бунтовали.

После двух с лишним лет постоянных трудов, закончив создание новой системы управления, Киселев писал вице-канцлеру Нессельроде: «Определить точно права и обязанности всех классов жителей, отстранить злоупотребления, уважая приобретенные права, уничтожить барщину и натуральные повинности, упростить взимание податей, организовать судебную часть, отделив суд от администрации… и дать свободу торговле — это значило перестроить сверху донизу здание, разрушавшееся от старых учреждений… Привилегированные классы не предвидели всех последствий преобразования, думая, что оно ограничится некоторыми уступками, необходимость которых они сознавали сами. Но в мысль этих классов не входило, что они останутся бессильными для того, чтобы сосредоточить исключительную эксплуатацию злоупотреблений власти господарей. Привиле-

гированные классы желали удержать более или менее в целости старый порядок вещей… Обращаясь к массе населения, должно сказать, что новые улучшения по одному тому должны были найти ее сочувствие. В огромном большинстве населения пробудилось желание выйти из бедности и унижения, в которых оно находилось; оно ненавидело бояров по мере захвата ими власти, и эта ненависть и ее причины должны были быть велики, потому что народ уже прибегал к насилиям. Огромное большинство населения приобрело драгоценные права… Утвердительно можно сказать, что всякое отступление, всякое движение назад возбудит надежды класса привилегированного и что всякая подобная реакция поведет за собою общее восстание жителей, заинтересованных в поддержании нового порядка вещей».

Выводы Киселева имели основание, ибо крестьяне в княжествах не только перестали быть крепостными, но и приобрели гражданские права. Свобода торговли оживила экономическую жизнь, а новая система налогообложения удвоила доходы государства, отягощая податные сословия менее прежнего.

Реформы Киселева в княжествах оказались — с поправкой на иные условия — умеренным ва-

риантом реформ, декларированных диктатором Трубецким в канун 14 декабря.

Павел Дмитриевич проводил свои реформы именно в то время, когда вблизи Петербурга бушевал мятеж военных поселений и «народ уже прибегал к насилиям». И он сам, и Николай смотрели на княжества как на некий полигон. А императору успех Киселева в Валахии горько напоминал о неуспехе «комитета 6 декабря 1826 года», созданного им вскоре после водворения в Сибирь самых активных противников крепостного права. При этом главной целью комитета были именно изыскания способов постепенной отмены рабства.

На основе обширной записки Сперанского, принципиального единомышленника Киселева, комитет составил проект закона, принятие которого заметно двинуло бы дело к освобождению крестьян, несмотря на всю его умеренность.

Николай послал проект в Варшаву к Константину. Цесаревич ответил формулой, вобравшей в себя всю пошлость политического дилетантизма и утверждавшей, что «как, с одной стороны, сохранение древнего порядка главных состояний должно действовать на твердость государственного быта, так, с другой стороны, сильнейшая

ограда для сохранения главных состояний, коренных законов и государственных уставов есть их древность». И настоятельно советовал брату отдать проект на суд времени.

Значило это одно: «Будем жить, как живем. А там видно будет». Прекрасная позиция для государственного руководителя в кризисной ситуации между двумя восстаниями.

Происходило это в первой половине тридцатого года. Киселев, сидя в Бухаресте, трудился над уничтожением в княжествах крепостного права. Император, сидя в Петербурге, решил отмену рабства в России отложить на неопределенный срок.

Для объяснения этой странной нерешительности ссылаются на польское восстание, на мятеж военных поселений, на холеру.

Но и поляки, и поселяне восстали уже после того, как проект был похоронен Николаем. Что же до холеры, то один остроумный современный экономист сказал по этому поводу: «Надо заметить, что в царской России на пути либеральных мер не раз вставали грозные стихии отечественной природы. Видимо, Божественный промысл сочувствовал властям»…

Киселев к деятельности «комитета 6 декабря»

причастен не был, так как находился в Бухаресте. Но о происходящем, разумеется, знал.

8 мая 1834 года он вернулся в Петербург.

На следующий день в половине девятого утра генерал Киселев принят был императором. И между ними состоялся разговор, открывающий намерения Николая относительно Павла Дмитриевича.

«– Я читал твой отчет, — сказал Николай, — я прочитал его весь с большим удовольствием.

Киселев искренне удивился — отчет о его деятельности в княжествах в полном его немалом объеме вовсе не предназначен был для государя.

— Ужели ваше величество приняли труд сами прочесть эту толстую тетрадь, в которой много вещей бесполезных?

— Я посвятил три вечера на это чтение, — ответил Николай. — Меня в особенности заинтересовало то, что ты говоришь об освобождении крестьян. Мы займемся этим когда-нибудь; я знаю, что могу рассчитывать на тебя, ибо мы оба имеем те же идеи, питаем те же чувства в этом важном вопросе, которого мои министры не понимают и который их пугает. — Николай показал Киселеву на папки, занимавшие большинство кабинетных полок. — Здесь я со вступления мо-

его на престол собрал все бумаги, относящиеся до процесса, который я хочу вести против рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян во всей империи…»

«Когда наступит время». Формула не имела конкретного смысла. В самой глубине души император желал, чтобы это время не наступило никогда. В русских самодержцах XIX века генетически выработалось особое чутье, которое безошибочно реагировало на любую возможность ущемления неограниченной власти. Александр безжалостно вышвырнул Сперанского прежде всего потому, что задуманные «поповичем» реформы неизбежно ограничивали самодержавие. А это для Александра было психологически непосильно.

При всех внешних различиях Николай-политик был весьма похож на старшего брата. Разные исторические ситуации, в которых они получали престол, заставили их выбрать непохожие маски. Зловещая уступчивость, змеиная неуловимость, гвардейское джентльменство Александра скрывали под собою ту же смесь здравого понимания потребностей государства и инстинктивного отталкивания от любых реформ, ведущих к увеличению свободы в стране, расширения состава правящей группы, что и демонстративная неко-

лебимость, грубая определенность и казарменное рыцарство Николая. И тот и другой проводили свое царствование в бесконечных колебаниях, полупоступках. Оба они были героями непоследовательности — худшее из качеств политика.

Екатерина, далеко превосходящая внуков в искусстве политического актерства, великая мастерица общественного блефа, исподволь железной рукой проводила выбранную линию. Александр и Николай колебались искренне и непрерывно…

Николай, быть может, и не понимал, но чуял: самодержавие возможно только вкупе с крепостным рабством. Это было органично. Каждый помещик являлся самодержцем перед своими рабами-подданными. Он был фактически неограниченным хозяином их судеб, их имущества, а по сути дела — и их жизней. В свою очередь помещики были целиком во власти царя.

Сперанский говорил: «Я нахожу в России два состояния — рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только по отношению, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов».

Нищие опасности для системы не представляли. Что же до философов, то Николай еще

великим князем декларировал публично: «Я всех философов в чахотку вгоню!»

Отмена крепостного права — почвы, на которой высилось самодержавие, — разрушение атмосферы, в которой самодержавие выглядело естественно, физиологически претили Николаю.

Но почва эта опасно колебалась. Умом император понимал, что миллионы мужиков — в крайности. Постоянные волнения ясно об этом говорили. Не важно, что волнения редко переходили в вооруженные бунты. Как не важно и то, что бунты были разрозненны и воинскими командами подавлялись легко. Все говорило о постоянной готовности крестьян к взрыву. А ежегодные убийства помещиков свидетельствовали о непримиримой ненависти.

Дилемма эта оказалась для Николая неразрешимой. Самодержавное сознание металось между генетическими представлениями и реальной необходимостью, не находя выхода…

Изнуренный походной жизнью и напряженными трудами в княжествах, Киселев мечтал уехать за границу — лечиться. Но император не отпустил его. Разговоры с Киселевым создавали у Николая ощущение деятельности по роковому вопросу.

Вскоре после первой аудиенции Киселев призван был на вторую — неофициальную. Сам он так рассказал о ней: «…Император Николай Павлович при вечернем разговоре изволил мне сказать, что, занимаясь приготовлением труднейших дел, которые могут пасть на наследника, он признает необходимейшим преобразование крепостного права, которое в настоящем его положении больше оставаться не может. Я, продолжал государь, говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже в семействе моем некоторые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно противны. Несмотря на то, я учредил комитет из семи членов для рассмотрения постановлений о крепостном праве. Я нашел противодействие.

По отчету твоему о княжествах я видел, что ты этим делом занимался и тем положил основание к будущему довершению этого важного преобразования; помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении, и для того подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собиранию нужных материалов и составлению проекта или руководства к постепенному осуществлению мысли, которая

меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу». Разговор был долгим. «Государь, отпуская меня, подтвердил необходимость содержать в строгой тайне его преднамерение, прибавив: „Ты можешь при объяснениях с Сперанским об учреждении V Отделения моей канцелярии коснуться и крестьянского вопроса вообще, не упоминая о нашем нынешнем разговоре. Он одарен необычайною памятью и всегда готов отвечать положительным образом на все обстоятельства того времени; он пострадал невинно, я это слышал от императора Александра Павловича, который говорил, что он в долгу перед этой жертвою политических столкновений…“» На исходе десятилетия, протекшего после декабрьского восстания, император для решения рокового вопроса призывал тех, кто непосредственно связан был с государственными преступниками, сидевшими в бревенчатом остроге Петровского завода: Киселева и Сперанского…

Карьера Уварова (2)

Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками.

Историк С. М. Соловьев о С. С. Уварове

Знакомство их было чрезвычайно давним. В 1815 году на экзамене, знаменитом лицейском экзамене, в то время как юный Пушкин читал «Воспоминания в Царском Селе», неподалеку от Державина сидел Сергий Семенович Уваров, попечитель Петербургского учебного округа.

Уваров был уже не тот, что в счастливые венские времена. Пока он жуировал и предавался интеллектуальным пиршествам за границей, его матушка пустилась в откупные операции. Тому были свои причины. Ее покойный муж оказался человеком во всех отношениях ненадежным. Вскоре после его смерти, в сентябре 1788 года, статс-секретарь императрицы Екатерины Храповицкий занес в дневник: «Приехал

курьер от князя Григория Александровича Потемкина-Таврического с ответом, кого избрать в вице-полковники лейб-гренадерского полка. Тут светлейший марает покойного Уварова, говоря, что с тех пор, как перестал он меня бояться, то многое вышло по полку упущение: осталась одна наружность и только хорошо поют гренадеры». Семен Уваров, вышедший в большие люди песнями и плясками, естественно, только это и мог передать своим солдатам. Для гвардейского полка этого казалось маловато.

Столь же небрежно, как со службою, Семен Федорович обращался и со своими финансовыми делами. Привыкнув за месяцы фавора не считать денег, он в короткий срок своего семейного существования потратил и задолжал немалые суммы. Храповицкий записал в октябре 1788 года: «Рассматривая собранное мною сведение о долгах умершего Семена Федоровича Уварова, составляющих 70 тыс. в ломбарде и банке, пожаловали (Екатерина II. — *Я. Г.*) из кабинета жене его 5 тыс. Сие последовало по письму ее к графу Александру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову и по объяснению с ним».

Екатерина вовсе не склонна была платить все долги бывшего любовника. А состояние его вдовы

и малолетнего сына оказалось, надо полагать, достаточно расстроенным, если аристократка Головина не погнушалась отправиться просительницей к фавориту, сменившему ее мужа.

И, занявшись на старости лет выгодным, но беспокойным и рискованным откупным делом, Уварова мечтала приумножить и поправить семейное состояние. Но она вскоре умерла. Откупщик, которому она доверилась, объявлен был несостоятельным, а Сергий Семенович внезапно увидел себя на пороге полного разорения. Он спешно вернулся в Россию, попытался сам вмешаться в финансовые операции, но только усугубил беду. Казалось, спасения нет. Та жизнь молодого аристократа, метящего в вельможи, которую он вел, становилась при отсутствии состояния невозможной. Разумеется, он не умер бы с голоду, но впереди вставала заурядная служилая карьера и жизнь на жалованье.

И тут Уваров сделал первый шаг из тех многих, что, приведя его на вершины карьеры, лишили уважения друзей. В 1810 году двадцатичетырехлетний красавец-дипломат совершенно неожиданно для всех посватался к племяннице своего венского покровителя, дочери министра просвещения графа Алексея Кирилловича

Разумовского — тридцатилетней Екатерине Алексеевне. Она была старой девой, она была некрасива, но принесла ему огромное приданое и бесценные родственные связи. Для всех было ясно, что перед ними брак по грубому расчету. Но изящного интеллектуала, полиглота и поклонника античности это не смутило. Он уже решил для себя, что честь и незапятнанная репутация должны отступить перед более важными предметами и что ежели ради исполнения своего предназначения приходится поступиться некоторыми предрассудками, то так тому и быть. Каково это предназначение, он еще не знал, но уверен был, что таланты, коими он обладает, не могли быть дарованы ему без высшего смысла. И когда свершит предназначенные ему подвиги — все прочее спишется.

Более того, он уверял себя, что его женитьбу вполне можно представить как некий акт просвещения, некое культурное деяние. И в самом деле — после его смерти упомянутый уже Лонгинов в некрологе сумел придать удивительный поворот истории женитьбы Сергия Семеновича: «В самых семейных отношениях графа Уварова проявляется какое-то невольное сближение с лицами, обстановленными обстоятельствами,

которые еще теснее скрепляли связь его с судьбами отечественного просвещения. Граф Уваров вступил в брак с графинею Екатериною Алексеевною Разумовскою, дочерью министра народного просвещения, графа Алексея Кирилловича, оказавшего столь важные услуги России, и родною внучкою графа Кирилы Григорьевича, который в летах нежной юности, взысканный фортуною и поставленный императрицею Елизаветою во главе Академии, умел уже уважать науку и снискать любовь и благодарность Ломоносова и других академиков, русских и иностранных. Нельзя не дивиться счастливому стечению обстоятельств, по которому благородное достояние пресекавшегося рода Разумовских, как бы по наследству, так законно переходило к ближайшему и достойному свойственнику».

Через сорок пять лет начало уваровской карьеры на ниве просвещения выглядело как похвальное и самой историей благословленное стремление продлить славную традицию и взять в свои руки дело семейства Разумовских…

Умный Уваров учитывал и такие варианты.

И однако же убедить себя совершенно ему не удалось. Вечный тайный спор с самим собою иссушал его. Сомнительная женитьба, плохо скрытая

насмешливость друзей, злорадство недругов — все было несправедливостью. Жизнь обошлась с ним жестоко, поставив на край разорения и гибели. И он вправе был сыграть с нею без правил. За что же теперь эта мука раздвоенности?

Сохраняя прежнюю мягкую повадку, Сергий Семенович стал еще более подозрителен и зол внутри.

Перед свадьбой министр-тесть доставил двадцатичетырехлетнему жениху важный пост попечителя учебного округа столицы и генеральский чин действительного статского советника — немаловажная часть приданого.

В конце концов, Париж стоил мессы, и семейные неудобства можно было бы скрепя сердце перенести и победить недоверие друзей своим искусством очаровывать. Но куда было деться от пыточных дел мастера, сидевшего в душе? И Сергий Семенович бросал ему в лицо все новые сильные аргументы. В просвещенности и в борьбе за просвещение России он хотел превзойти всех. Он составил проект Азиатской академии — кому, как не России, три четверти которой лежали в Азии, изучать и открыть миру этот загадочный мир? Но был тут и сильный имперский прагматический элемент: «Если мы

будем смотреть на сии занятия с политической стороны, — говорил он позже, — то один взгляд на карту России докажет уже ясно, сколь сии познания для нас важны и даже необходимы. Должна ли Россия, опирающаяся на Азию, повелевающая целою третью сего пространного края, Россия, в непрерывных сношениях с Турциею, Китаем и Персиею, овладеть наконец великим орудием восточных языков?»

В широте взгляда Сергию Семеновичу не откажешь.

Он выпускал один за другим труды по античности. (Правда, злые языки говорили, что он слишком внимательно читает сочинения европейских эллинистов.) Наконец, он решил проявить себя в жизни общественной и стал инициатором создания знаменитого «Арзамаса», в который входили Жуковский, Николай и Александр Тургеневы, Вяземский, Денис Давыдов, Михаил Орлов, молодой Пушкин… В его доме на собраниях общества произносились речи далеко не верноподданные. Он вместе с Блудовым, будущим министром внутренних дел, избран был издателем арзамасского журнала, в котором должны были появиться политические статьи Орлова, тогда уже участника тайных обществ.

Журнал не состоялся, но в том ли дело, — Уваров принят был как свой вольнодумцами литературными и политическими. Правда, и время было либеральное.

За арзамасским столом и состоялось настоящее знакомство Уварова и Пушкина. Знакомство литературных единомышленников…

Постепенно впечатление от странного брака сглаживалось. Он старался не напрасно. Его усилия — и в самом деле плодотворные — вызывали восхищение. Батюшков воспевал его:

От древней Спарты и Афин,
От гордых памятников Рима
До стен Пальмиры и Солима,
Умом ты мира гражданин.
Тебе легко: ты награжден,
Благословен, взлелеян Фебом,
Под сумрачным родился небом,
Но будто в Аттике рожден.

Ему становилось легко.

Его высоко ценил такой несклонный к иллюзиям человек, как Сперанский. Они сошлись еще в 1810 году, когда Сергий Семенович вернулся из-за границы. Тогда по вызову Сперанского в Пе-

тербург приехал известный в Европе и в России масонский деятель Фесслер. Он не был мистиком. Напротив, он старался реформировать масонство на рационалистической основе. Враждебные современники обвиняли его в ереси, в отрицании Божественной сущности Христа. Сперанский, находившийся тогда на вершине карьеры, сильный поддержкой Александра, мечтавший перестроить российскую общественную и государственную жизнь, вызвал Фесслера с далеко идущими намерениями. Он надеялся вовлечь русское духовенство в новое фесслеровское масонство с целью его воспитания и просвещения. Чуткий Уваров, разумеется, не остался в стороне от нового движения, за которым виделось большое будущее. Вместе с Александром Тургеневым он вступил в организованную Фесслером ложу. Дело вскоре рухнуло. Но Сперанский сохранил надолго симпатию и уважение к молодому интеллектуалу, которого считал «первым русским образованным человеком». Пересуды о женитьбе и карьере Уварова вряд ли дошли до него в тот момент — слишком был он занят подготовкой великих реформ, а вскоре отправился в ссылку.

Уже в 1819 году он писал дочери из Иркутска: «Язык словенский в последнее время много по-

терпел от того, что вздумал защищать его человек добрый, но писатель весьма посредственный (Шишков. — *Я. Г.*). Для чего Карамзин, Уваров, Жуковский не принялись за сие дело?» Для Сперанского литератор Уваров стоял в одном ряду с Карамзиным и Жуковским…

В 1818 году, тридцати двух лет от роду, Уваров был назначен президентом Академии наук. И в том же году на торжественном собрании Главного педагогического института он произнес речь, за которую, как желчно пошутил Греч, он впоследствии сам себя посадил бы в крепость.

Бегло, но живо и умно окинув взглядом мировую историю, президент сказал преподавателям и студентам: «Политическая свобода не есть состояние мечтательного благополучия, до которого бы можно было достигнуть без трудов. Политическая свобода, по словам знаменитого оратора нашего века (лорда Ерскина), есть последний и прекраснейший дар Бога; но сей дар приобретается медленно, сохраняется неусыпною твердостию; он сопряжен с большими жертвами, с большими утратами. В опасностях, в бурях, сопровождающих политическую свободу, находится вернейший признак всех великих и полезных явлений одушевленного и бездушного

мира, и мы должны по совету того же оратора или же страшиться опасностей, или же вовсе отказаться от сих великолепных даров природы. Естественный ход политической свободы, видимый в истории Европы, удостоверяет нас в сей истине».

Затем, напомнив восторженным слушателям о тернистости пути человеческого разума, вожатого в поисках политической свободы, Сергий Семенович воскликнул: «Но успокойтесь! — Факел не может погаснуть; он бессмертен, как душа человеческая, как вечное правосудие, как истина и добродетель».

Как конечную цель политических исканий Европы он назвал английские установления, а стремление царей прошлого к самовластию вызывало его возмущение.

Это речь собеседника Николая Тургенева и Михаила Орлова.

И звездный час Уварова-либерала.

В 1818 году император Александр даровал конституцию Польше. Это был последний порыв конституционных надежд в его царствование. Уваров сделал ставку на этот порыв. Он хотел быть среди реформаторов. Он уверен был, что слава и почести на этом пути приятнее и вернее,

чем на пути ретроградном. Он уже понял, что его лавры — лавры просветителя.

И промахнулся.

Будучи одарен, помимо всего прочего, незаурядным политическим чутьем, Сергий Семенович вовремя почувствовал, что ветер меняется. Греч живописно изобразил этот трагикомический момент: «Кто не принадлежал к Обществу Библейскому, тому не было хода ни по службе, ни при дворе. Люди благоразумные пробавлялись содействием косвенным или молчанием: таковы были Сперанский, Козодавлев и т. п. Тщеславные шуты, люди без убеждений и совести, старались подыграться под общий тон, но не всегда удачно. Таким образом, Уваров, произнесший в 1819 году (ошибка Греча. — *Я. Г.*)… ультралиберальную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость, потом стал охать, выворачивать глаза и твердить в своих всенародных речах о необходимости слова Божия, но никак не мог подделаться под господствующий тон…»

Уваров, скептик и поклонник культуры как таковой, рассматривавший главные события истории христианства как вехи на пути к политической свободе: рыцари-крестоносцы «предали на жертву жизнь нескольких миллионов, они

пролили реки крови и слез, но, исполнители неизвестного им закона, они в замену толиких бед принесли в Европу новую искру свободы и просвещения», — Уваров, представлявший восточные религии исключительно как явления культурные, не мог правдоподобно изображать мистика и святошу. Но очень старался.

Однако в 1821 году, когда из всех возможных опор император окончательно выбрал Аракчеева, когда Петербургский университет объявлен был гнездом умственного разврата, Уваров — патрон университета — отправился в отставку с поста попечителя столичного учебного округа. Разговоры о политической свободе оказались непростительны. Он спутал кафедру с арзамасским столом. Это была вторая в его жизни катастрофа.

Его капитал, земли, тысячи крепостных оставались при нем. Но честолюбие? Но предназначение? Он был не из тех, кто довольствуется домашним счастьем. Президентство в академии не давало практического влияния на ход государственных дел. И он стал добиваться возвращения в службу.

У российских самодержцев было твердое правило относительно проштрафившихся или подозрительных: ежели их и брали в службу, то

вовсе не туда, куда они просились, и на место, совершенно чуждое их интересам и способностям.

Любимым местом ссылки было почему-то Министерство финансов. Туда Николай согласился принять Чаадаева, просившегося служить по иностранному ведомству или просвещению. Туда направлен был Вяземский, когда расстроенные дела и политическая угроза заставили его искать жалованья. Хотя ни Чаадаев, ни Вяземский к финансам никакого отношения не имели и своих дарований проявить там никак не могли.

Через год после отставки Уваров получил пост директора департамента мануфактур и внутренней торговли, заемного и коммерческого банков. Ни в мануфактурном, ни в банковском деле он решительно ничего не понимал, но отказаться не осмелился.

Ему было тридцать шесть лет, он был полон сил и твердо решил использовать этот шанс для будущего продвижения в сферу, ему любезную.

Однако если воля его к возвышению осталась прежней, то представления о нравственных запретах, о правилах чести рухнули окончательно. Необходимость второй раз поднимать из руин свою карьеру привела его к мысли, что с судьбою надо бороться любыми средствами, и для того,

чтобы он, Уваров, с его талантами, мог осчастливить общество, он должен иметь моральное право на все.

И те, кто успел уже забыть историю его женитьбы и внезапного служебного взлета, а если не забыть, так простить за его подвиги на ниве культуры, с изумлением стали наблюдать превращение его в низкопоклонника и угодника.

Если на прежнем месте Уваров, получив первоначальный мощный толчок от тестя, своими знаниями и дарованиями мог постоять за себя, то в мире суконных штук, банковских бумаг и разного рода финансовых хитросплетений он никак не мог рассчитывать на себя и принялся добиваться сугубого расположения своего начальника — министра финансов Канкрина.

Суровый и дельный Канкрин, незаурядный финансист, любил и сотрудников дельных и профессиональных. Не обладавшему ни дельностью, ни профессионализмом в финансовой и промышленной сфере Сергию Семеновичу пришлось избрать иной путь. Недавно еще дружески его любивший Александр Иванович Тургенев писал о нем: «Он перещеголял Козодавлева (известного куртизана. — *Я. Г.*) и на счету ему подобных в публике, если не хуже. Всех кормилиц у Канкри-

ной знает и детям дает кашку». Близко знавший Уварова Вигель: «Он заискивал расположение Канкрина, ласкал детей его и до того часто ходил к ним в детскую и осведомлялся о здоровье, что его считали как будто за лекаря, и дети показывали ему язык». Но такова была теперь роль интеллектуала, корреспондента Гёте и Шеллинга, конфидента мадам де Сталь. Он не ограничивался детской Канкриных. «…Перед всеми высшими властями пресмыкающийся Уваров», — говорил тот же Вигель.

Служивший под уваровским началом чиновник Фишер рассказывал, что его патрон «особенное имел внимание к дровам (казенным. — *Я. Г.*) и был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям».

Именно в это время — после второго падения — сложилось мнение людей, знающих Сергия Семеновича достаточно близко, мнение, которое ясно сформулировал сенатор Кастор Никифорович Лебедев: «Ни высокое положение, ни богатая женитьба на графине Разумовской, ни блестящая репутация в обществе не избавили его от мелких страстей любостяжания и зависти, которые были причиною нелюбви к нему современников, сов-

местников и всего высшего круга…»

Пресмыкающийся Уваров… Сергий Семенович не мог не знать, что говорят и думают о нем, — он пресмыкался слишком явственно и демонстративно. Мучило ли это его? Сомнения нет. И за эту муку он мстил миру презрением к его нормам и обычаям, — презрением к чести, честности.

В это время, вероятно, и повесил он в своем домашнем кабинете портрет человека с бандурой и в простом платье. При Канкрине он повторял судьбу своего отца. Оказалось, что от прошлого не удалось заслониться ни ученостью, ни богатством, ни изысканностью манер.

Заслониться можно было только неслыханной важности государственным деянием.

Для этого надо было получить власть. К этому Уваров и пробивался — любыми средствами. Будучи натурой незаурядно восприимчивой и гибкой, Сергий Семенович повторил все извивы меняющегося времени — от духовного ренессанса первых лет александровского царствования через либеральные иллюзии к распаду последних лет царствования и далее, в гибельный самообман царствования николаевского. Умом циническим до бесстыдства он понял, что требует от него «дух времени», и радостно пошел в

объятия стотридцатилетней химеры.

Он не собирался стать слугой эпохи. Он мечтал с наступающей эпохой слиться, срастись, стать ею, повиноваться ей и направлять ее одновременно. Он мечтал мертвящей идее ложной стабильности придать черты цветущей жизненности. Он мечтал старую петровскую химеру превратить в сознании россиян в патриархальное отечественное божество, убедить миллионы людей, живущих в железной клетке, что они сладко покоятся в материнской колыбели…

Понимал ли Пушкин, решившись осенью тридцать пятого года на борьбу с Уваровым, что схватывается с явлением исторически противоестественным, духовно выморочным, несущим внутри себя пожирающую болезнь и потому безжалостным к любому, кто осмелится сказать об этой болезни, обреченности и отторгнутости от здоровой и естественной исторической жизни? Понимал.

И, не будучи человеком злобным и злопамятным, он недаром писал об Уварове с такой фанатической ненавистью, с какой не писал ни о ком в жизни.

Их вражда была неотвратима и неизбежно смертельна.

Уроки Сперанского (1)

Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования как Гении Зла и Блага.

А. С. Пушкин – М. М. Сперанскому. 1834 г.

Тридцать четвертый год начался для Пушкина тяжким, бессильным бешенством.

«1 янв. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы N. N. танцовала в Аничкове… Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, — а по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике».

Он говорил, что доволен. Он пытался делать спокойную мину. Иного не оставалось. Но так его никто и никогда еще не оскорблял. Мука была в том, что он не мог ответить на оскорбление.

Это был первый в истории российского камер-юнкерства (считая с придворной реформы

1809 года) случай, когда низшее придворное звание, которое прилично было получить в восемнадцать лет, присваивалось немолодому человеку. Но разве в возрасте только было дело? Первого поэта России, мыслителя, историографа приравняли к мальчишкам, вчерашним пажам… Этой ситуации был, пожалуй, один только аналог в прошлом веке. Камер-юнкерство печально знаменитого Хвостова. Вигель рассказывал: «…Будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось осьмнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. „Что мне делать, — отвечала она, — я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал“». Хвостов был женат на племяннице Суворова…

Анекдотический этот случай, раз попал он через много лет в мемуары Вигеля, ходил широко и был определенно Пушкину известен. Тем нестерпимее ощущалась горечь происшедшего. В екатерининские времена камер-юнкерское звание давало хотя бы чин пятого класса — статского

советника. В тридцать четвертом году ему, Пушкину, оно не приносило ничего, кроме насмешек и еще большей зависимости.

10 мая он писал в дневнике по поводу перлюстрированного письма к жене: «Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью — но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у Царя Небесного».

Сделав в тридцать пять лет камер-юнкером и требуя неукоснительного выполнения придворных обязанностей наравне с мальчишками, его рядили именно в шуты и холопы. Это было нестерпимо.

Те, кто наблюдал его в эти дни, боялись, чтоб он не проявил своих чувств слишком явно. «Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен, и он сам, дороживший своей славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикою и не лишило его народности.

Словом, он был огорчен и взбешен и решился не пользоваться своим мундиром, чтоб ездить ко двору, не шить даже мундира», — писал его близкий знакомец Николай Михайлович Смирнов.

Слишком многие приняли камер-юнкерство именно так, как он и думал. «Пушкин добивался должности скорее для поправления своих денежных дел, если это может извинить отступничество от прежних идей и правил, весьма, впрочем, непрочных и шатких в Пушкине, что оправдывается его воспитанием и примерами, им виденными», — полагал современник.

Смерч самых нелепых и обидных домыслов загудел вокруг него. Не зная и не понимая реальных его обстоятельств, всяк с наслаждением прикладывал к нему свой аршин. От умного и честного Полевого до профессиональных переносчиков сплетен. От людей декабристской складки до циничных карьеристов-неудачников.

А он мог только исходить желчью…

Судьбе было угодно, чтоб именно в эти месяцы он постоянно встречался и сблизился с Михаилом Михайловичем Сперанским, знавшим, как никто, цену клевете и позору.

«Встретил Новый год у Натальи Кирилловны Загряжской, — записал Пушкин в начале января

тридцать четвертого года. — Разговор со Сперанским…»

Действительный тайный советник Сперанский — высокий, с малоподвижным благородным, пугающе бледным — молочного цвета — лицом, блестящим черепом, окаймленным яркой сединой, с суховатой безупречностью манер и идеальным французским — казался Пушкину — да и был на самом деле — воплощением судьбы сколь удивительной, столь и печальной, детищем и жертвой безумных перепадов последнего полустолетия. Пушкину виделось в этой судьбе нечто схожее с судьбою собственной — по блеску и эпохальной несправедливости.

В ночь на новый — 1834-й — год они беседовали «о Пугачеве, о Собрании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.».

И не в том было дело, что Пушкин закончил «Историю Пугачева», а в том, что всю свою государственную жизнь Сперанский думал о тяжком и опасном для империи положении крестьян и изыскивал способы к изменению оного. Его трезвая, осторожная и подробная, как искусный чертеж, мысль пыталась охватить крестьянскую проблему вместе со всем бытием государственного механизма — сбивчивого, недужного,

страшного в своей конвульсивной упрямости.

Они могли говорить о пугачевщине не как о собрании происшествий, не как о страшной и занимательной повести прошлого, но как о явлении глубоком, соотнесенном с великими историческими катастрофами, как об одном из тех уроков, которые история представляет правительствам один лишь раз. Тех, кто не усваивает такого урока, ждет непоправимое.

Они говорили о Собрании законов, впервые в России собранных во всей полноте, систематизированных и изданных Сперанским. Все российское общественное и государственное бытие, застывшее в тысячах картин, движение коренных постановлений, ярость и конечное бессилие манифестов и указов в моменты катаклизмов, высокие взлеты законодательной мысли, не сопрягающиеся со злым хаосом жизни, — здесь было о чем поговорить.

Они говорили о начале александровского царствования, когда Сперанский стал первым после императора человеком, — времени великих надежд, когда казалось, что осуществятся самые дерзкие мечты дворянского авангарда, за которые бились и шли в Сибирь, в опалу конституционалисты прошлого века. Времени, которое

кончилось великим разочарованием, бросившим их общих знакомцев и друзей под картечь у стен Сената.

Они говорили о судьбе Ермолова, последнего из титанов двенадцатого года, столь полно выразившего военный дух александровского царствования, крепко заподозренного Николаем в умысле мятежа и теперь окончательно удаленного от дел. Они говорили об оттесняемых…

Но, быть может, главное, о чем говорили они, и заключалось в этом «etc.». И так далее и тому подобное… У них был еще один важнейший предмет разговора. Сперанский, которого вожди тайного общества прочили в главные деятели будущих реформ, не только имел связи с мятежниками, но после разгрома мятежа волею нового императора облек в статьи закона вину восставших, разнес их с железной тщательностью по разрядам, определил меру наказания для каждого разряда и для пятерых, что поставлены были вне разрядов.

Он знал, что судит тех, кто верил в него как в завтрашнего вершителя их мечтаний, столь сродственных и ему.

Он плакал по ночам, и его рыдания слышала дочь, та самая Елизавета Михайловна, в доме

которой они когда-то — в двадцать восьмом году — познакомились и Сперанский на своем безукоризненном французском языке рассказывал Пушкину и Вяземскому о переписке Екатерины Великой с Вольтером.

Воплощенный парадокс российской истории сидел перед Пушкиным в ночь с тридцать первого декабря тридцать третьего на первое января тридцать четвертого года.

Этот человек, с длинными, но отнюдь не узкими глазами, из-за которых, как и из-за неподвижной белизны и странности лица, и пошел, видимо, в начале его карьеры слух, что «Сперанский происхождения китайского», — слух, попавший в историческое сочинение, изданное во Франции, и ставший всеевропейским достоянием, — этот вельможа, с добродушно-замкнутой осанкой, родился не во дворце русского аристократа и не за китайской стеной, а в селе Черкутине, большом селе с тремя церквами, лежавшем в сорока верстах от Владимира. Отец его был малограмотный сельский священник.

Он вырос посреди простого и особенного быта низшего духовенства, полумужиков, но и полуклириков. Малообразованных, но с понятиями о грандиозном мире священных книг. Эта про-

межуточность рождала удивительные натуры. Такой была бабка Сперанского, оставившая в нем едва ли не самое сильное впечатление детства. Он рассказывал своей дочери: «Другие, бывало, играют на дворе, а я не насмотрюсь, как бабушка стоит в углу перед образами, точно окаменелая, и в таком глубоком созерцании, что ничто внешнее, никакой призыв родных ее не развлекали. Вечером, когда я ложился спать, она, неподвижная, стояла опять перед образами. Утром, хотя бы встав до света, я находил ее снова тут же. Вообще ни разу, даже просыпаясь ночью, мне не случалось заставать ее иначе, как на ногах, совершенно углубленную в молитву. Пищу ее уже многие годы составляла одна просфора, размоченная в воде. Этот призрак моего детства исчез у нас из дому спустя год после того, как меня отдали в семинарию; но я как будто бы еще теперь его вижу!»

Михаил Михайлович, единственный из столь высокопоставленных русских деятелей, из реформаторов такого ранга и размаха, обладал личным универсальным знанием России — от деревенской избы бедного попа, от скудной крестьянской жизни, увиденной изнутри, до кабинета императоров.

Он родился в 1772 году, в канун пугачевщины, этого великого рубежа, сформировавшего окончательно психологию дворянского авангарда, при всех отличиях ее в разные периоды. Как велось в среде духовенства, он отдан был в семинарию, где изучал русский, латинский и греческий языки, риторику, математику, физику, философию и богословие. Все это изучалось по дурным, устаревшим учебникам, преподавалось в ограниченных объемах, подавалось искаженно. Но сама примитивная четкость преподавания и системы запоминания вырабатывала прежде всего суровую дисциплину ума.

Один бывший семинарист, задумавшийся над феноменом Сперанского, попытался отыскать корни особого таланта реформатора именно в семинарской системе образования: «Что могла дать семинария Сперанскому в умственном отношении?.. Конечно, семинарское учение бедно содержанием; кроме положительных богословских догматов, оно не знакомит с современным состоянием наук и даже не развивает любознательности. Но, во-первых, отчетливое изучение древних языков; во-вторых, хотя и сухое, но в строгой системе преподавание главных предметов семинарского курса, и, в-третьих, беспрестанное

упражнение в сочинениях, при котором, не гонясь за легкостью слога, требуется, как первое необходимое условие, строгое расположение всех частей сочинения и изложение каждой части в виде необоримого силлогизма: все это приучает воспитанников к строго отчетливому и систематическому изложению своих мыслей… Вглядитесь в хороших семинаристов на гражданской службе: едва ли вы найдете лучше их излагателей бумаг в строгой последовательности на заданную служебную тему; едва ли кто лучше их разберет образовавшийся в какой-либо части хаос сведений; едва ли кто лучше их изложит самые запутанные дела».

Юный Сперанский был не только умен и прилежен, но и чрезвычайно восприимчив. Сухую и прозрачную логику семинарского взгляда на всякое знание он сделал потом основой своего государственного мировоззрения. Откуда проистекли и сильные, и слабые стороны его деятельности.

В числе трех способнейших учеников Владимирской семинарии он отправлен был в девяностом году в Петербургскую главную семинарию и вскоре стал в ней же преподавателем математики. Проповеди, которые читал он по

преподавательской обязанности, своей живостью и в то же время строгостью мысли привлекли к нему внимание столичного духовенства. Уже в это время сложилась его мягкая и вкрадчивая манера обращения, его умение ладить с самыми разными людьми, никого не допуская в свою душу. Аскетическая повадка и внешняя скромность молодого богослова-математика, с необычным, очень правильным белым лицом, скрывали тогда уже незаурядное честолюбие. Он явно готовил себя к карьере не только духовной. Он расширял свои сведения по философии и политическим наукам, добивался и добился совершенного владения французским языком, в круг семинарских предметов отнюдь не входящего.

Сперанский оказался человеком случая — в прямом и переносном значении слова. Его примерное поведение и уверенное владение пером доставили ему по стечению обстоятельств место домашнего секретаря у князя Куракина, управлявшего одной из экспедиций Сената. Секретари числились в те времена — в конце царствования Екатерины — чем-то вроде младших камердинеров. И вельможа Сперанский, не забывавший своего прошлого, потому что хотел его помнить, в годы возвышения сохранил добродушно-ласко-

вую манеру разговора с низшими, со слугами в том числе, — в память о временах, когда сам он был в таком же положении.

Очень скоро Сперанский сделался необходим Куракину. Он гениально вел переписку и составлял деловые бумаги. Его «трезвый и щеголеватый» стиль разительно отличался от не весьма уклюжего и запутанного стиля большинства документов.

И когда, по смерти Екатерины, Куракин стал генерал-прокурором Сената, то взял Сперанского с собою уже в государственную службу. Писаные законы о продвижении в чинах при императоре Павле никакого значения не имели. И талантливый молодой бюрократ менее чем за год прошел путь от полного отсутствия чина до коллежского советника, то есть подполковника по армейской шкале.

Шквальный сумбур павловской деятельности смел Куракина, а за ним и еще двух генерал-прокуроров. Воцарился грубый, жестокий Обольянинов. Сперанский впоследствии сам рассказывал дочери о первом знакомстве с этим достойным слугой «романтического императора»: «Обольянинов, когда Сперанский вошел, сидел за письменным столом спиною к двери. Через ми-

нуту он оборотился и, так сказать, остолбенел. Вместо неуклюжего, раболепного, трепещущего подьячего, какого он, вероятно, думал увидеть, перед ним стоял молодой человек очень приличной наружности, в положении почтительном, но без всякого признака робости или замешательства, и притом — что, кажется, более всего его поразило — не в обычном мундире, а во французском кафтане из серого грограна, в чулках и башмаках, в жабо и манжетах, в завитках и пудре, — словом, в самом изысканном наряде того времени… Обольянинов тотчас предложил ему стул и вообще обошелся с ним так вежливо, как только умел».

Служилось тем не менее Сперанскому под Обольяниновым тяжело. Но, искусно лавируя, он, коллежский советник, не достигший еще тридцати лет, фактически управлял канцелярией генерал-прокурора, одним из самых тогда влиятельных учреждений в империи.

К смерти Павла известность Сперанского как стилиста и знатока канцелярского дела была настолько велика, что через восемнадцать дней после воцарения Александра он, имевший уже чин статского советника, назначен был статс-секретарем и стал ближайшим сотрудником

известного «дельца» времен Екатерины Трощинского, «докладчика и главного редактора при лице государя». Именно Сперанский составлял все манифесты первых месяцев нового царствования. Составлял, естественно, по общим указаниям Александра и Трощинского. Но Трощинский стремительно отставал от движения времени. На первый план выходили молодые «прогрессисты», личные друзья царя. Один из них, Кочубей, ставший министром внутренних дел, перетянул Сперанского к себе с чином уже действительного статского советника.

За четыре с половиной года «канцелярский Наполеон» из бесчиновного домашнего секретаря, почти слуги, прыгнул в генералы. Он был обязан этой, даже по тем временам поразительной, карьерой как бурям и сломам эпохи, так и своим совершенно особым дарованиям.

Странное это было время. Через четверть века и позже император Николай хотел реформ, но категорически не знал, как за это взяться и что из этого проистечет. Император Александр, куда лучше подготовленный к государственной деятельности, знал, что именно нужно делать, понимал необходимость реформ, но — в душе — очень не хотел их.

Окружавшие императора «молодые друзья», полные реформаторского энтузиазма, были умеренные, но безусловные либералы. Выходцы из знатных фамилий, сильные связями, они могли стать дельными сотрудниками царя в преобразованиях.

И однако же, ближайшим своим помощником в подготовке будущих реформ, призванных изменить политическое и общественное бытие империи, Александр выбрал человека без роду-племени, поповича, парвеню, чужого среди правящей элиты. Только ли из-за его великих бюрократических и юридических талантов? Нет, не только.

В той головоломной, жестокой и мучительной игре, которую Александр все свое царствование вел с историей, Россией, самим собою и которая изнурила и убила его, император делал иногда гениально дальновидные ходы. Одним из таких ходов было отношение его к деятельности тайных обществ, о которой он знал много. Но, пересиливая страх и гнев, он ждал, не разрешая трогать ранние организации. Он представлял себе программу и состав Союза благоденствия и понимал, что арест или опала многих десятков гвардейских офицеров и людей известных,

притом что в программе мало было крамольного по сравнению с его собственными недавними взглядами, поставит его в глупое положение в глазах Европы, озлобит друзей и родственников репрессированных и расколет русское общество. И он ждал, пока доносы Шервуда и Витта летом двадцать пятого года не открыли ему картину созревшего заговора. И тогда он распорядился о начатии действий против заговорщиков. Не его вина, что он умер в самом начале этих действий.

То, что радикальные и непопулярные среди значительной части общества реформы он накрепко связал с именем Сперанского, было не менее тонким ходом…

Еще в 1803 году статс-секретарь получил от Александра — через Кочубея — поручение составить план общего преобразования судебных и правительственных мест в империи. Что свидетельствует об интересе и доверии. В 1806 году Кочубей, часто хворая, посылал Сперанского вместо себя с докладами к царю, Александр пленился необыкновенным чиновником, стал брать его с собою в поездки по России, а затем повез на знаменитую Эрфуртскую встречу с Наполеоном.

К 1808 году царь удалил от себя всех «молодых друзей» — Кочубей, Чарторижский, Строганов,

Новосильцев перестали влиять на ход дел.

Возле царя остался один Сперанский, пользовавшийся, казалось, неограниченным доверием.

Трудно сказать, когда он уверовал в свое высшее предназначение. Еще трудясь в канцелярии генерал-прокурора, он писал с обидой одному из своих друзей: «Больно мне, друг мой, если вы смешаете меня с обыкновенными людьми моего рода: я никогда не хотел быть в толпе и, конечно, никогда не буду».

Сперанский был не только умен, но и хитер. Он понимал людей и умел не только привлекать к себе симпатии, но и отгораживаться от всякого посягательства на его сокровенные намерения. Много позднее знаменитый дипломат граф Каподистрия попытался сблизиться со Сперанским и так рассказывал о результатах этой попытки: «Мне уже давно хотелось подолее и посерьезнее разговориться с этим примечательным человеком; на сегодняшней прогулке я успел в том и, признаюсь, перещупал моего собеседника со всех сторон. Мы толковали и о политике, и о науках, и о литературе, и об искусствах, в особенности же о принципах, и ни на чем я не мог его поймать. Он — точно древние оракулы: так все в нем загадочно, осторожно, однословно; не помню во

всю мою жизнь ни одной такой трудной беседы, которую мне пришлось кончить все-таки ничем, то есть никак не разгадав эту непроницаемую личность».

Таков он был с молодости: вкрадчивый, добродушно-насмешливый, почтительный, сдержанный — и непроницаемый.

Он был хитер. Но до Александра ему было далеко.

И быть может, главное, что обмануло его и заставило сыграть столь драматическую роль, — необъятность открывшихся возможностей. Ему, чувствовавшему в себе огромные силы, предлагали перестроить мир — во всяком случае, на значительной его части. Что, несомненно, повлекло бы и грандиозные перемены общие.

Невозможно подробно вдаваться в бесчисленные занятия, проекты, идеи, которыми заняты были Александр и Сперанский с восемьсот восьмого по восемьсот двенадцатый год. Важно понять главное направление мысли вчерашнего семинариста и секретаря, а ныне — всесильного временщика.

Зная страну снизу доверху, он трезво смотрел на российскую политическую реальность. Он видел вокруг себя всеобщее рабство. А новояв-

ленному Солону важно было обеспечить аппарат управления во всех сферах людьми дельными и сознательно выполняющими свою обязанность. Человек — к тому времени — европейской политической культуры, штудировавший в подлинниках французские и английские соответствующие сочинения, Сперанский понимал, что сознательность исполнения долга неразлучима со свободным сознанием.

Его стратегической задачей стало создание общества людей с равными гражданскими правами, свободных реально, а не «по отношению». Но это была задача будущего. А для начала он принялся за прагматическую реорганизацию управления.

3 апреля 1809 года вышел указ, подписанный Александром, но подготовленный Сперанским, указ, потрясший придворные круги, тем более что появился он совершенно неожиданно и показал, чего можно ждать от безродного временщика.

Екатерина II, подкупая и развращая аристократию, а по ходу дела и создавая новую, ввела соблазнительное правило: каждый, кто получал придворные звания камер-юнкера или камергера, механически становился обладателем чинов — соответственно — статского и действи-

тельного статского советника, то есть бригадира и генерал-майора. Если учесть, что некоторые счастливцы получали придворные звания чуть не с колыбели, то ясно, к чему это приводило в практической службе. Молодой человек без всякой опытности и дарований, с придворным только образованием, претендовал на важные посты в аппарате. (Так было с Уваровым, который, получив в восемнадцать лет камер-юнкерство, стал тут же и статским советником.) Приводило это не просто к служебному хаосу. Шел опаснейший для страны процесс сращивания придворной аристократии с бюрократическим аппаратом, чрезвычайно выгодный для обеих сторон. А перетекание придворных на высокие посты в системе практического управления оказалось одним из путей создания некоего зловещего единства, на которое не решился посягнуть даже Павел.

Сперанский решился. Александр поддержал его, прекрасно понимая как необходимость этой меры, так и направление, в котором полетят проклятия обиженных. По указу 3 апреля придворные звания велено было считать отличиями, не приносящими никакого чина. Они становились почетными, но бесполезными. Они не заменяли теперь действительной службы. Более

того, служба объявлялась необходимым условием получения придворного звания.

«Вся так называемая аристократия наша, — писал биограф Сперанского, — вздрогнула от столь дерзновенного прикосновения к тому, что она привыкла считать старинным своим правом, и целыми родами восстала против нововводителя, которого после такой неслыханной наглости уже, конечно, нельзя было не признать человеком самым опасным, стремящимся к уравнению всех состояний, к демократии и, оттуда, к ниспровержению всех основ империи».

Вигель взглянул на происходящее взглядом враждебным и острым, и, хотя его самого нежданный указ никак не задел, он сумел передать ошеломление и обиду многих: «Когда я начал знать Сперанского, из дьячков перешагнул он через простое дворянство и лез прямо в знатные. На новой высоте, на которой он находился, не знаю, чем почитал он себя; известно только, что самую уже знатность хотелось ему топтать. Пример Наполеона вскружил ему голову. Он не имел сына, не думал жениться (Сперанский рано потерял любимую жену, и горе это преследовало его всегда. — *Я. Г.*) и одну славу собственного имени хотел передать потомству. Он сочинил проект

указа, утвержденный подписью государя, коим велено всем настоящим камергерам и камер-юнкерам, сверх придворной, избрать себе другой род службы, точно так, как от вольноотпущенников требуется, чтобы они избрали себе род жизни. Несколько трудно было для превосходительных и высокородных, из коих некоторые были лет сорока, приискание мест, соответствующих их чинам… Чувствуя унижение свое, никто из них, даже те, которые имели некоторые способности, не хотели заняться делом, к которому никто не смел их приневоливать… Сперанскому хотелось республики, в том нет никакого сомнения. Но чего же хотелось Александру?.. Ему хотелось турецкого правления, где один только Оттоманский род пользуется наследственными правами и где сын верховного визиря родится простым турком и наравне с поселянином платит подать».

Объективно указ ударил прежде всего по аристократии — главным образом по «новой знати».

Мера была и в самом деле радикальная. Указ лишал придворную аристократию гарантированного права на ключевые места в управлении государством — из поколения в поколение. Прежнее положение давало эти места сыновьям узкого круга семей вместе с придворным званием, по-

лучаемым по традиции. Теперь любой пост надо было выслужить и заслужить. «Дьявольская разница!»

Более того, указ посягал на гарантированное до того право имперской бюрократии, слившейся с «новой знатью», в результате чего и возникла современная Пушкину аристократия, на механическое самовоспроизведение. Бюрократическая аристократия, уродливое детище Петровских реформ, вдруг ощутила себя в положении допетровского боярства, отбрасываемого новоявленным Меншиковым. Никто не сомневался, что это только начало. Проклинали не столько Александра, сколько околдовавшего его поповича.

Сперанский знал это, но твердо верил в свою устойчивость. Сознание своего мессианства, своего призвания упорядочить этот хаос, превратить его в разумный, четко делающий свое дело механизм, подымало реформатора в такие эмпиреи, откуда злые интриги ретроградов казались мелочью, достойной презрения. Впоследствии он горько сказал об этом: «Успехи дают некоторую ложную смелость и предприимчивость, ослепляющую лучшие умы». Но в восемьсот девятом году он верил в то, что он — «лучший ум», а импера-

тор — его неколебимый друг…

Стремление Александра и Сперанского разделить бюрократию и аристократию, прервать опасный процесс их сращивания получило в указе еще одну сильную опору. И это было понято, и это именно вызвало главное озлобление, а не страх ленивых придворных перед необходимостью службы — вопреки Вигелю.

Следующий удар пришелся по чиновничеству.

К александровскому времени чинопроизводство чиновничества находилось в самом диком и нелепом состоянии. До чина статского советника продвижение шло по принципу выслуги. Прослужив определенное число лет, чиновник получал следующий чин вне зависимости от места, которое занимал, и от своих реальных заслуг. Разумеется, это было особенно удобно лентяям и невеждам. По выражению современника, «чины сделались почетными титулами и чем-то самобытным, совершенно независимым и отдельным от мест». Этот порядок неуклонно превращал чиновничество в инертную, необразованную, коррумпированную массу, ибо сильных стимулов к старанию фактически не было. Редко кого подталкивало чувство долга. А если оно и вспыхивало, то гасло под напором

обстоятельств — корыстный и неспособный, но вступивший в службу несколькими годами ранее, все равно был недосягаем. Судьба Сперанского — удивительное исключение.

Но именно свою судьбу реформатор и решил сделать неким эталоном, определив мерилом образование и способности.

Указом 9 августа 1809 года провозглашалось, что получение впредь чина коллежского асессора (армейского штаб-офицерского чина) отнюдь не определялось выслугой лет, хоть бы таковая и имелась. Отныне ни один чиновник не мог перешагнуть заветный рубеж, не предъявив свидетельства об окончании одного из российских университетов или же о положительных результатах испытаний в таковом. А для производства в статские советники нужно было не только университетское образование, но и не менее десяти лет службы, причем два года — на важных должностях.

Отныне от чиновника, претендующего на переход в «старшие ранги», где, собственно, и начиналась самостоятельная и ответственная служба, а не переписывание бумаг, требовалось «грамматическое знание русского языка и правильное на нем сочинение; знание по крайней

мере одного языка иностранного и удобность перелагать с него на русский; основательное знание естественного, римского и частного гражданского, с приложением последнего к русскому законодательству, и сведения в государственной экономии и законах уголовных; основательное знание отечественной истории; история всеобщая, с географиею и хронологиею; первоначальные основания статистики, особенно Русского государства; наконец, знание по крайней мере начальных оснований математики и общие сведения о главных частях физики».

Воспитанник века Просвещения, Сперанский уверен был, что образование чиновничества станет способствовать не только совершенствованию деловых его качеств, но и нравственности. Он рассчитывал, что новое постановление увеличит приток дворянских детей в университеты и через десяток лет даст государству новые во всех отношениях кадры.

Биограф реформатора сообщал: «Если постановление о придворных званиях возбудило против Сперанского высшее сословие, то легко представить себе, какой вопль, за постановление об экзаменах, поднялся против него в многочисленном сословии чиновников, для которых этим

постановлением так внезапно изменялись все их застарелые привычки, все цели, вся, можно сказать, жизнь».

Однако все это были частности. К этому времени в голове реформатора уже сложился грандиозный план преобразований коренных, долженствующий превратить империю в государство конституционное и населенное свободными гражданами.

Главным злом и препятствием к преобразованиям видел он рабство, не совпадающее в его мыслях только с крепостным состоянием. Он смотрел трезвее и шире.

«Я хотел бы, чтобы кто-нибудь указал мне, какая разница в отношениях крепостных к их господам и дворян к неограниченному монарху. Разве последний не имеет над дворянами такой же власти, как они — над своими рабами? Таким образом, вместо пышного деления русского народа на различные сословия — дворян, купцов, мещан, — я нахожу только два класса: рабов самодержца и рабов землевладельца. Первые свободны только сравнительно с последними; в действительности же в России нет свободных людей, исключая нищих и философов. Отношения, в которые поставлены между собою эти два

класса рабов, окончательно уничтожают всякую энергию в русском народе».

Уничтожение рабства снизу доверху считал он насущной необходимостью, а не просто данью гуманности. Это была необходимость государственная, а не общечеловеческая.

В отличие от многих и многих, в отличие от Карамзина, в отличие от того, что будет проповедовать Уваров, Сперанский призывал к освобождению прежде всего. К дарованию людям гражданских свобод, а уж потом — благ просвещения.

«Что такое образование, просвещение для народа-раба, как не средство живее почувствовать свое несчастное положение, как не источник волнений, которые могут только способствовать еще большему его закрепощению или подвергнуть страну всем ужасам анархии? Из человеколюбия, столь же, как из политики, нужно оставить рабов в невежестве, если не хотят дать им свободы». Но предоставление крестьянам свободы — непреклонное требование века. «…Какие бы трудности ни представляло их освобождение, крепостное право до такой степени противоречит здравому смыслу, что на него можно смотреть лишь как на временное зло, которое неминуемо должно

иметь свой конец».

Он предлагал точный и последовательный ход крестьянской эмансипации — прежде всего определить уровень повинностей, сверх которого помещик простирать свои требования не должен, и учредить судебную инстанцию, которая разбирала бы конфликты между крепостными и помещиками. Последнее было особенно важно: отменялся изуверский закон Екатерины, запрещавший крестьянам жаловаться на помещиков и отдававший крепостных в полную власть владельца. Два предлагаемых Сперанским — для начала — нововведения сразу же превращали крестьян из крепостных рабов в граждан, прикрепленных к земле, а не к личности помещика. Сперанский не без оснований полагал, что с ликвидации этих прав началось закрепощение в его крайней форме. Он хотел, чтоб раскрепощение последовательно шло в обратном порядке — то есть органично.

А уже после получения крестьянами элементарных гражданских прав следовало приступить и к возвращению им права свободного перехода от владельца к владельцу.

С удивительной проницательностью Сперанский чувствовал единство и связанность всех

сфер — политической, экономической, культурной. Его могучий систематический ум охватывал проблему реформ во всей полноте. Он понимал, что реформировать только сферу культурную, просвещая рабов и не затрагивая их гражданского и экономического положения, абсурдно. Равно как и вторгаться с переменами в сферу экономическую, оставив в неприкосновенности политическое устройство империи и общественные ее условия.

От этого понимания — грандиозность и всеобъемлющая подробность его проектов. От этого понимания — и установка на постепенность реформ, на постоянное сочетание изменений коренных с второстепенными и частными, каковыми были два скандальных указа восемьсот девятого года.

Ослепленный и окрыленный доверием царя и сознанием своей неуязвимости, он думал о превращении России в страну с представительным правлением. Он писал еще в самом начале своей карьеры александровских времен: «1) …коренные государства законы должны быть творением народа; 2) коренные государства законы полагают пределы самодержавной власти».

Он планировал создание законодательной

Государственной Думы, состоящей из депутатов, избираемых свободными сословиями — дворянством, духовенством, купечеством, казенными крестьянами. Поскольку превращение крепостных в свободных было делом будущего…

Когда в ночь на 1 января 1834 года Пушкин беседовал с действительным тайным советником, управляющим Вторым отделением собственной его величества канцелярии, он хорошо знал, что’ не удалось его почтенному собеседнику четверть века назад. Кроме общих, увлекавших их исторических и политических предметов, у них были и общие идеи.

Во времена своего могущества, мысленно располагая судьбами сословий, Сперанский думал об отмене петровского закона, дававшего право на выслуженное дворянство. Он считал, что дворянство может быть даровано в виде исключения только самим императором за особые заслуги.

Но точно такую же позицию с дерзкой решимостью отстаивал Пушкин в споре с великим князем: «Дворянство или не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе как по собственной воле государя».

Незадолго до смерти — с отчаянием: «…Табель о рангах сметает дворянство».

И когда в тридцатом году — в пору надежд! — он писал Вяземскому: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контр-революции революции Петра… Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы», — то, быть может и не отдавая себе ясного в том отчета, он излагал не только и не столько гипотетическую программу Николая, но — в гораздо большей степени — возрождающуюся программу Сперанского, главного мыслителя «комитета 6 декабря 1826 года»…

Еще в записке «О народном воспитании», возражая против системы экзаменов на чин, не оправдавших себя в российских условиях — «так как в России все продажно, то и экзамен сделался новою отраслию промышленности для профессоров», он поддержал главную в этом смысле идею Сперанского: только человек с законченным официальным образованием имеет право на продвижение по службе.

Одинаково со Сперанским думал он в Записке и о чиномании, оторванной от реальности: «Чины сделались страстию русского народа».

Была у них и еще одна общая капитальная идея. В великом своем проекте восемьсот девятого

года, размышляя о судьбе дворянства, реформатор задумал создать в дворянском сословии аристократию, основанную на праве первородства, — на английский манер. Неотчуждаемые политические права, подкрепленные нерасчленяемостью имений (майораты), сделали бы этих сынов реформы естественным противовесом самодержавию, ограничить которое Сперанский мечтал разными способами.

Но о русском пэрстве, о майоратах, о неотчуждаемости наследственных прав, о возникновении истинной политической аристократии, противопоставленной аристократии придворно-бюрократической, всецело зависимой от царя, мечтал и Пушкин.

В тридцать первом году, приступая к составлению собственного плана реформирования страны, Пушкин выписал из Констана: «Палата пэров — это корпус, который народ не имеет права избирать, а правительство не имеет права распускать…»

В новогоднюю ночь, уединившись от гостей, вели беседу двое людей, в которых радость единомыслия мешалась с горечью неудачи.

Реформаторский натиск Сперанского разбился давно. Реформаторские мечты Пушкина уже

вызывали печальное сомнение у него самого. Ему только что указали его место в имперской структуре, пожаловав камер-юнкером…

Глядя в бледное, очень спокойное лицо Сперанского, слушая его неторопливое рассуждение о причинах опалы Ермолова, Пушкин не мог не вспомнить, чем кончилась карьера страстного реформатора, счастливого временщика, деятеля-мудреца при императоре. Чем кончилась и его собственная карьера, на которую недавно еще не без сомнений и опаски, но с надеждой он рассчитывал. «Царь со мной очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики…» — он писал это три года назад, уверенный в единомыслии с императором по важнейшим предметам. Уверенный в рыцарском благородстве Николая и в его реформаторских намерениях… Он писал это, когда начал разрабатывать свой всеобъемлющий план преобразования. Не столь отчетливо подробный, как великий чертеж Сперанского, не столь государственно конкретный, не столь напоминающий о труде мудрой, педантически пристальной ко всем сторонам управления канцелярии, что умещался в тренированном, дисциплинированном и холодно-вдохновенном мозгу Сперанского.

Его план, его чертеж был разбросан — от истории французской революции до истории села Горюхина, многообразен — от сухих конспектов политических статей до «Медного всадника».

Насквозь знавший Россию Сперанский умел оторваться от земли и парить в разреженном воздухе долженствований. Он оперировал категориями — и только. Сословие было для него политическим понятием.

Пушкин, даже строго теоретизируя, строил из живых лиц, мыслей, которые облекались в плоть реальных происшествий. Это не умаляло силы его теоретического мышления. Но и не давало занестись в ледяные эмпиреи обреченных на безошибочность доктрин.

Для Сперанского судьба русского дворянства была одной из составляющих будущего совершенного здания.

Для Пушкина — трагедией, переживаемой ежедневно, гнавшей его от трактатов к наброскам романов, заставлявшей жить жизнью вытесняемого, унижаемого дворянского авангарда, заставлявшей разделить судьбу обреченных.

Судьба дворянства была для Сперанского сильным фактором в многосложной шахматной партии, в государственной игре, целью которой

было учредить равновесное и безопасное, целесообразное действование государственного организма.

Для Пушкина это был ужас несправедливости, ощущение сиюминутной вулканичности почвы, вырывающиеся из упругой научной прозы хаос и кровь крестьянской войны, отчаянное пророчество, гармонизированное ясностью представлений и властностью задачи.

Но общее представление о конечной цели объединяло их.

Через несколько дней после новогодней беседы Пушкин писал Бенкендорфу: «У меня две просьбы: первая — чтобы мне разрешили отпечатать мое сочинение за мой счет в той типографии, которая подведомственна г-ну Сперанскому, — единственной, где, я уверен, меня не обманут; вторая — получить в виде займа на два года 15 000…» Речь шла о печатании «Пугачева».

Михайловское. 1835 (4)

…Несмотря ни на какую пользу государственную, нельзя людей силою тащить к благоденствию. В сем смысле я говорил о Петре I.

Н. И. Тургенев

Сам он был странный монарх!

А. С. Пушкин о Петре I

Пушкин знал: прежде чем уехать из Михайловского обратно в Петербург, с его неизбежной суетой, огорчениями, предстающими не в мыслях, а воочию, с домашними хлопотами и денежными бедами, он должен ясно и холодно решить порядок своих дел на грядущий год.

Немалое время ушло у него, чтобы проститься с прошлым. Осенью тридцать пятого года Михайловское, против обыкновения, мучило его — мучило бесчисленными напоминаниями. Это надо было превозмочь, успокоить разгоряченную память.

Через две недели после приезда в деревню он писал жене: «В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей и

что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом мне говорят, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был».

В письме он мог позволить себе иронию и элегичность. На самом же деле речь шла о том, чтобы сделать прошлое прошлым. Чтобы переломить судьбу. Забыть о невзгодах и обидах, которые мелки были по сравнению с тем, что должно было ему совершить. Отодвинуть прошлое в прошлое, чтобы оно не размывало его решимости. Ибо он начинал свой мятеж, свой бунт. Свою последнюю попытку прорваться. И он понимал, что это будет последняя попытка. А потому готовился сосредоточенно и сурово.

После двух бесплодных недель по приезде, когда прошлое мучило и держало его, он написал «Вновь я посетил…», где откинутые бесчисленные

черновые варианты — иногда не менее замечательные, чем беловой текст, — были не просто поисками лучших способов выражения, но также способом освободиться от воспоминаний. Это был долгожданный выдох — выдох облегчения.

Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Два года бурной юности моей
В спокойствии невольном и отрадном,
И десять лет ушло с тех пор, и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я. Но здесь опять
Минувшее ко мне теснится живо.
И кажется – вчера еще бродил
Я в этих рощах и сидел недвижно
На том холме над озером широким…

Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость,
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом

Святое Провиденье осенило…
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой…

В шероховатости неотделанных вариантов была естественность горечи и грусти, той светлой грусти, которой он здесь дышал, очищая легкие от петербургского смрада.

Он прощался не с жизнью вообще. Время еще не настало. Он прощался с еще одной ее эпохой. Десять лет ушло. Начиналось нечто новое и грозное.

И перед тем как вступить в это грозное, роковое время, он хотел притянуть к себе милое михайловское прошлое, насладиться им — и уйти от него.

Ссылочное михайловское прошлое, бешенство и тоска зимнего одиночества, оторванность от живой, устремленной жизни — все, что некогда было невыносимым, теперь казалось потерянным раем.

Он писал влюбленной в него тогда Алине Осиповой, ныне Беклешовой: «Мой ангел, как мне жаль, что я Вас уже не застал, и как обрадовала меня Евпраксия Николаевна, сказав, что Вы опять собираетесь приехать в наши края! При-

езжайте, ради бога; хоть к 23-му. У меня для Вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться. Я пишу к Вам, а наискось от меня сидите Вы сами во образе Марии Ивановны. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время

И путешествия в Опочку

и прочая. Простите мне мою дружескую болтовню. Целую Ваши ручки».

Он повидал Евпраксию Николаевну Вульф, ныне Вревскую, тогда — Зизи, тригорскую девочку, с которой мерился поясами, «Зизи, души моей фиал, / Ты, от кого я пьян бывал». Он специально ездил в имение ее мужа, чтоб ее увидеть.

Он ходил без устали и объездил верхом эти места былого счастья — счастья, которого он не понимал тогда… Он попытался вернуть былое спокойствие, устроив прежний спокойный быт: «Я много хожу, много езжу верхом на клячах, которые очень тому рады, ибо им за то дается овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед. Ложусь в 9 часов; встаю в 7».

Ему хотелось забыть все — пошлость Левушки-

ных проказ, так дорого обходившихся, истерики отца, отечное лицо матери, «прекрасной креолки», уже с трудом осиливающей болезнь, всю мерзость низкого быта — ссоры с домовладельцами, с управляющими, у которых он снимал квартиры, переговоры с ростовщиками, забыть свои унизительные денежные отношения с царем, свою — не безнадежную ли? — тяжбу с сыном Сеньки-бандуриста, а пуще — политику, историю, будь они неладны…

Но именно это, последнее, и наваливалось на него все чаще и чаще. «Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится». Он думал не только о грядущей нищете — «чем нам жить будет?», — он думал упорно, до головокружения, о том, что делать ему дальше; что делать с потерявшим себя русским дворянством; что делать с «Историей Петра».

Он понимал уже, что «Историю Петра» выпустить в свет не удастся. Незадолго до отъезда в Михайловское он написал кусок о следствии над царевичем Алексеем и его ужасной кончине. Писать это было страшно не по жестокости

происшедшего. Хотя хладнокровное убийство отцом сына, даже вызванное самыми высшими государственными соображениями, казалось ему уродством. Кровавый Иван IV убил сына сгоряча, в пароксизме звериного гнева, — это другое. На ум приходил только Филипп II Испанский, изувер и палач, отравивший наследника, дона Карлоса, о чем с таким благородным негодованием поведал миру Шиллер.

И все же дело было не в этом.

Когда он изучал мрачную картину происшедшего, он впервые задумался: почему именно так поступил умный Петр, умевший прощать, умевший смирять свои страсти? Не поганый турецкий султан, а православный царь на глазах своих христианских подданных пытает и убивает сына… Петр не мог не предвидеть отвращения, с которым будут вспоминать об этом. («Пьяный сыноубийца», — скажет Лев Толстой, потомок того Толстого, что привез из чужих краев беглого Алексея.) Петр все понимал — но поступил именно так. Почему?

«Царевич был обожаем народом, который видел в нем будущего восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгоруков) была на его стороне. Духовенство, гонимое

протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына, как препятствие настоящего и будущего разрушителя его создания…»

Когда он конспектировал материалы следствия, он стал натыкаться на громкие имена, вовсе не относящиеся к оппозиции, — Александр Кикин, Федор Апраксин, Василий Долгоруков, князь Сибирский, князь Юрий Трубецкой… Царевич показывал, что крепко надеялся на помощь киевского губернатора князя Дмитрия Михайловича Голицына (а братом и почитателем князя Дмитрия Михайловича был князь Михайло Голицын, герой многих сражений, завоеватель Финляндии, любимец солдат), надеялся на командующего корпусом на западной границе знаменитого генерала Боура…

Кикин — еще недавно один из ближайших к царю людей. Василий Долгоруков — один из любимых генералов царя…

Нет, дело было не в привычной оппозиции, не в темных попах, окружавших царевича, не в пристрастии его к колокольному звону и не в мечтах о возвращении прежнего быта. Никакого возврата к прошлому быть не могло. Никто бы этого не допустил — ни генералитет, ни гвар-

дия, ни армия. Смешно было предположить, что европейски просвещенный Дмитрий Голицын, блестящие генералы нового образца — Михайло Голицын и Василий Долгоруков — захотят отпустить бороды, надеть горлатые шапки и шубы с рукавами до земли, распустят гвардию и вернут стрелецкие полки… Все это вздор.

Не этого боялся умный и проницательный Петр. Не это заставило его переломить ход процесса и принять безжалостное решение.

«Дело царевича, казалось, кончено. Вдруг оно возобновилось… Петр велел знатнейшим военным, статским и духовным особам собраться в Петербург (к июню).

В мае прибыл обоз царевича, а с ним и Афросинья.

Доказано было, что несчастный утаил приложение, что писано о нем из Москвы. Дьяки представили черновые письма царевича к сенаторам и архиереям. Изветы ее (Афросиньи) были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины. Между прочим, письмо к киевскому архиерею…

16-го же даны ему от царя новые запросы: думал ли он участвовать в возмущении (мнимом).

Царевич более и более на себя наговаривал,

устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями. Бутурлин и Толстой его допрашивали. 26 майя объяснил он слово ныне в письме к архиереям, им написанное, зачеркнутое и вновь написанное. Несчастный давал ему по возможности самое преступное значение».

Пушкин заносил в конспект далеко не все, что знал. А из того, что он знал, картина складывалась суровая. Ясно было, что царевич так или иначе связан был с широким кругом недовольных и выжидающих — «приложение, что писано о нем из Москвы». В Вену? Кем? Кто посылал к императору Священной Римской империи какие-то писания о нем?

Письмо к архиереям? Да, он рассчитывал на содействие киевского духовенства, как и на помощь князя Дмитрия Голицына, правившего краем. В какой ситуации? Царевич прямо признавался, что мечтал пересечь западную границу и, вступив на русскую землю, призвать своих сторонников. Тут-то слово киевского митрополита и киевского губернатора значило куда как много.

В каком мнимом возмущении думал он участвовать? Был упорный слух о волнениях русских полков, стоявших в Мекленбурге. Царевич и этим хотел воспользоваться.

Наобум ли писал он в Сенат, где столь сильно было влияние сочувствовавшего ему князя Якова Долгорукова?

Сомневался ли он в симпатиях высшего духовенства, жаждущего избавиться от царской жестокой опеки и восстановить на Руси патриаршество?

Петр понял в этот момент, что перед ним несозревший и неоформившийся, но широкий, с сильными корнями заговор. Столь широкий, что он не мог рубить сплеча. Но прославленный генерал Василий Долгоруков в кандалах послан был в ссылку. Люди помельче вокруг царевича были пытаны, биты, казнены.

И поскольку к нему тянулись явно столь крупные персоны, Алексей не должен был жить.

«24 июня Толстой объявил в кацелярии Сената новые показания царевича и духовника его (расстриги) Якова. Он представил и своеручные вопросы Петра с ответами Алексия, своеручными же (сначала — твердою рукою писанными, а потом после кнута — дрожащею) (от 22 июня).

И тогда же приговор подписан.

25-го прочтено определение и приговор царевичу в Сенате.

26-го царевич умер, отравленный…

Есть предание: в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшного 1698 года.

Петр между тем не прерывал обыкновенных своих занятий».

И вскоре: «18 августа Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать запершись. Недоносителю объявлена равная казнь. Голиков полагает причиною тому подметные письма. Следствие над соучастниками Алексея еще продолжалось».

Он конспектировал широко — и первостепенное, и второстепенное, — из разных источников. Но значимые абзацы и фразы торчали из текста, как сабельные острия. Их невозможно не заметить. Они-то и образовывали смысловую ткань. Они-то, сопрягаясь, били жестоким электричеством истории.

«В сие время другое дело озлобило Петра: первая супруга его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву вместе с монахинями, с ростовским епископом Досифеем и с казначеем монастыря, с генерал-майором Глебовым, с протопопом Пустынным. Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ноше-

нии мирского платья, в угрозах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна — в злоумышлении на государя; епископ Досифей — в лживых пророчествах, в потворстве к распутной жизни царицы и проч.

15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин казначей и Вяземский.

Баклановский и несколько монахинь высечены кнутом.

Царевна Мария заключена в Шлиссельбург.

Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу.

Петр хвастал своею жестокостию: „Когда огонь найдет солому, — говорил он поздравлявшим его, — то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает“.

Государственные дела шли между тем своим порядком… 6 февраля подновил указ о монстрах, указав приносить рождающихся уродов к комендантам городов, назначая плату за человеческие — по 10 р., за скотской — по 5, за птичий — по 3 (за мертвые); за живых же: за челов. — по 100, за звер. — по 15, за птич. — по 7 руб. и проч. Смотри указ. Сам он был странный монарх!..

Следствия и казни продолжались до 18 марта».

Да, в разгар суда, который должен был решить

судьбу его сына (суд начался 4 февраля), царь приказывает собирать уродов — человеческих и звериных. «Сам он был странный монарх!» Указ о монстрах… «Сам он был монстр» — вот какой смысл приобретала фраза в этом контексте.

С «Историей Петра» все было ясно. «Ее не позволят напечатать», — скажет позже Пушкин.

То, что писал Пушкин, было невозможно напечатать не потому, что он хотел низвести Петра с того пьедестала, на который был он возведен, а потому, что он мог писать только правду — правду о гениальном гиганте, царе-новаторе с традиционным самодержавным сознанием, владыке, который искренне хотел быть отцом нации, но превыше всего ставил свою утопическую идею абсолютно регулярного государства и этой идее подчинил все свои действия, который считал все средства дозволенными для того, чтобы одеть эту ослепительную идею в городской камень, корабельное дерево, пушечное железо, солдатскую плоть, канцелярскую бумагу.

Замечательный мыслитель декабризма Михаил Александрович Фонвизин, прекрасно понимавший величие первого императора, говорил с тоской: «…Гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостоя-

ние народа, сколько на развитие исполинского могущества своей империи. В этом он точно успел, подготовив ей то огромное значение, которое ныне приобрела Россия в политической системе Европы. Но русский народ сделался ли от того счастливее? Улучшилось ли сколько-нибудь его нравственное или даже материальное состояние? Большинство его осталось в таком же положении, в котором было за 200 лет.

Если Петр старался вводить в России европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации — дух законной свободы и гражданственности — был ему, деспоту, чужд и даже противен. Мечтая перевоспитать своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство, без которого нет ни истинной нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия для материальных улучшений по образцам, виденным им за границей: для регулярных войск, флота, для украшения городов, построения крепостей, гаваней, судоходных каналов, дорог, мостов, для заведения фабрик и пр. Он особенно дорожил людьми специальными, для которых наука становилась почти ремеслом; но люди истинно образованные, осмысленные, действующие не из

рабского страха, а по чувству долга и разумного убеждения, — такие люди не могли нравиться Петру, а скорее должны были ему казаться свидетелями беспокойными и даже опасными для его железного самовластия, не одобряющими тех тиранических действий, которые он слишком часто позволял себе… В его время в некоторых государствах западных крепостное состояние земледельцев уже не существовало — в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастию, ввелось с недавнего времени и было во всей силе. Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он усугубил еще тяготившее их рабство».

Ссыльный декабрист сконцентрировал те обвинения, которые явно и полускрыто рассыпаны были в рукописи Пушкина.

Пушкинская «История Петра» была невозможна для обнародования, ибо она оказалась декабристской историей Петра.

«История Петра» отняла у него главное время тридцать пятого года. «История Петра» после провала «Пугачева» была надеждой на успех, на вызволение из долговой пропасти, на понима-

ние — понимание! — того, что хотел он вбить в головы публики и правительства.

И эта надежда теперь рушилась. (Он не ошибался — когда Жуковский представил «Историю» царю для посмертного издания, Николай запретил ее печатать.)

От него ждали чего-то совершенно другого. Из его разговоров делали немыслимые выводы. Вскоре после его смерти француз Лёве-Веймар, знакомый Пушкина, писал: «Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого, каким он был в первые годы царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера, и с какой радостью, и с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости».

Откуда все это взялось?!

В пушкинской «Истории» количество отрица-

тельных оценок возрастает к концу рукописи. Какое смягчение к старости? Пушкин твердой рукой сводит казни 1718 года и «оргии страшного 1698 года», когда обезглавлены были сотни стрельцов — и виноватых, и невинных.

Лёве-Веймар писал вовсе не то, что слышал он от Пушкина — ничего подобного не мог он слышать, — он писал то, чего все от Пушкина ждали.

Конечно, можно было встать на точку зрения Н. Полевого: «Указывать на ошибки его (Петра. — *Я. Г.*) нельзя, ибо мы не знаем: не кажется ли нам ошибкою то, что необходимо в будущем, для нас еще не наставшем, но что он уже предвидел». Можно было вообразить Петра безгрешным и проницающим время. И тогда все препятствия и сомнения отпадали.

Но Пушкин слишком хорошо видел, к чему ведет слепое следование по пути первого императора. Слишком хорошо понял он, что дело царевича, в коем замешаны оказались ближайшие сподвижники Петра, означало не заговор только, не опасность, выявленную и устраненную, но — принципиальное поражение.

Гигант, задумавший и решительно начавший дело жизненно необходимое — радикальную европеизацию страны, оставался по политическим

представлениям и методам — старомосковским деспотом. Эта двойственность и сыграла роковую роль, зловеще исказив результат и в самом деле насущных реформ. Думая, что он печется о счастии страны, Петр предметом своих неусыпных забот сделал государство, исподволь отрывавшееся от страны. Единственно, что блистательно удалось Петру, — создание военной мощи: гвардия и армия. Тут он догнал и даже перегнал Европу. Но какою ценой!

Механизм управления — многосложный аппарат контроля и переконтроля, который все разрастался, ибо в его интересах было разрастаться, — зажил своей особой уродливой и зловещей жизнью. Его мечтания и претензии пока еще сводились к скромной свободе казнокрадства и лихоимства, чем занимался он с легкой душой, ибо страна уже становилась ему чужой, а государством был он сам. Он еще занимал подчиненное положение посредника между армией и народом, из которого вытягивал средства для содержания армии. И рабство народа, и подавление робких ростков представительного правления — все это в конечном счете оказалось выгодно именно нарождающейся бюрократии, ставшей постепенно — на протяжении столетия — воистину

самодовлеющим, на себя замкнутым, себя взращивающим и воспроизводящим паразитическим организмом с изощренной мыслью и темными инстинктами… В николаевские времена завершился отрыв государства от страны — явление, чреватое катастрофой. Потому и понадобилась уваровщина — густая маслянистая ворвань демагогии, пролитая на смятенное общественное сознание. Потому с такой ожесточенностью отторгались пушкинская трезвость и верность реальности…

Упырь самодовлеющего бюрократического аппарата должен был убедить всех, что питается родниковой водой, а не народной кровью.

Зловещий мутант — паразитическая имперская бюрократия, не имевшая права на существование, могла существовать только в контексте общего рабства.

Она не поддержала «великого бюрократа» Сперанского, ибо он хотел поставить ее под контроль представительных учреждений и вернуть в сферу чисто служебных функций.

Она ополчилась на Киселева, ибо он хотел уничтожить крепостное право.

И то и другое вело в конечном счете к ограничению самодержавия. А самодержавие, не

ограниченное законно, кровно заинтересовано было в сохранении могучей бюрократии — единственного своего практического союзника.

Неограниченное самодержавие и неограниченная бюрократия составили страшный симбиоз, о нерасторжимости которого догадывалась и та и другая сторона. И пока было так — все порывы Николая в сторону реформ оказывались обречены…

Разумеется, Пушкин не воспринимал происходящее в подобной терминологии, но прекрасно понимал, откуда идет с содроганием созерцаемое им зло — засилье чиновничества, вытеснение дворянского авангарда, сплоченная когорта вельмож-бюрократов, плотно окружившая трон и противостоящая реформам, и, наконец, озлобленное и истощенное крестьянство, брошенное когда-то Петром под ноги колоссу государства…

Теперь, осенью тридцать пятого года, он знал, что ему должно делать. Но знал и то, что на пути любого его труда, любой его попытки воздействовать на умы встанет Уваров.

Уроки Сперанского (2)

Несчастие! его должно назвать другим именем, именем благороднейшим, какое только есть в происшествиях человеческих… Несчастие! его должно бы было вводить в систему воспитания и не считать его ни оконченным, ни совершенным без сего испытания.

М. М. Сперанский

2 апреля тридцать четвертого года Пушкин занес в дневник: «В прошлое воскресение обедал я у Сперанского. Он рассказал мне о своем изгнании в 1812 году. Он выслан был из П. Б. по Тихвинской глухой дороге. Ему дан был в провожатые полицейский чиновник, человек добрый и глупый. На одной станции не давали ему лошадей; чиновник пришел просить покровительства у своего арестанта: Ваше Превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают.

Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях

противоположных этого царствования как гении Зла и Блага. Он отвечал мне комплиментами и советовал писать историю моего времени».

Они встречались теперь как добрые знакомцы. «Вчера видел я Сперанского, Карамзиных, Жуковского, Виельгорского, Вяземского, — писал Пушкин жене 26 мая того же года, — все тебе кланяются».

Обстоятельства падения Сперанского, конечно же, Пушкина остро интересовали, и вряд ли их беседа ограничилась одним анекдотом о глупом чиновнике.

Михаил Михайлович знал, что делал, когда уговаривал собеседника писать историю своего — их общего! — времени, отложив в сторону дела века прошлого. Сперанский думал о себе…

То, что произошло с неумолимым реформатором, правой рукой государя, казалось по прошествии времени чем-то странным, трудно-объяснимым, сомнительным. Что это были за реформы? Чего добивался этот бледный замкнутый человек с сияющим челом? В самом ли деле ему простили государственное преступление, или он был оклеветан?

Мысля себя — и не без оснований — возбудителем и жертвой политических вихрей первого

десятилетия века, горько сознавая, чего лишилась Россия с его падением, Михаил Михайлович Сперанский жаждал исторической реабилитации. Пушкин казался ему именно тем человеком, который смог бы понять и с благородной ясностью расставить события по местам.

«История Пугачевского бунта» была тому порукою. Мысль о нем, Сперанском, и Аракчееве — как двух ликах царствования Александра — прекрасным эпиграфом.

Надежду на возможность скорых и полных реформ, а тем паче на свое в них участие, Сперанский давно потерял. Единственно, на что мог он надеяться, — что его проекты и его судьба послужат уроком грядущим деятелям. Он знал о планах Николая относительно Киселева…

Фавор Сперанского завершился неожиданно и катастрофически.

Об истинных причинах катастрофы много гадали и современники, и потомки. Быть может, наиболее изумился сам Сперанский за минуту до рокового объяснения с царем, уверенный в его благосклонности и поддержке.

Очевидно, были доносы. Очевидно, была хитроумная интрига министра полиции Балашова, пытавшегося убедить мнительного Александра,

что Сперанский хочет узурпировать фактическую власть. Было сильное давление со стороны московского генерал-губернатора Ростопчина, деятеля сколь влиятельного, столь и вздорного, от имени которого грозили царю в подметном письме, что верные сыны России пойдут на Петербург, дабы избавить отечество от изменника.

Сперанского обвиняли в тайных связях с Наполеоном. (Сперанский действительно Наполеона как государственного деятеля чрезвычайно почитал.) Его обвиняли в том, что он хочет своими переменами ввергнуть Россию в хаос и тем облегчить французам ее завоевание.

Весь этот вздор был результатом озлобления против безродного поповича самых разных кругов и групп. И Александр цену этим обвинениям знал.

К двенадцатому году он уже произвел руками Сперанского немало нововведений.

Теперь он испытывал общественное мнение на предмет конституционных перемен. В душе он их вовсе не хотел, но понимал и необходимость совершенствовать систему государственного управления, расширять базу власти, искать новые опоры. Он понимал опасность бесконечного сохранения рабства. Понимал и то, что постепен-

ная либерализация самодержавия и привлечение на его сторону европейски мыслящих дворян облегчат крестьянскую реформу, дадут возможность уверенно сделать первые шаги в сторону освобождения крепостных.

Он видел, как далеко готов зайти в своем конституционном рвении его соратник. Он не сочувствовал этим крайностям и вовсе не собирался позволить ему ввести в империи конституцию. Он понимал, что проекты Сперанского, ставшие государственными установлениями, резко урежут его власть. С этим Александр, российский самодержец, несмотря на все свое вольномыслие, примириться никак не мог.

При этом Александр с увлечением обсуждал со Сперанским конституционные преобразования. Он прекрасно понимал, что кипящее вокруг недовольство фавором поповича вызвано было вовсе не конституционными планами, а частными указами, оскорбившими аристократию и чиновничество, а уж тень этих обид падала на деятельность Сперанского вообще.

Хотя была группа проницательных людей, осознавших самую суть проектов Сперанского. Самым значительным среди них был, бесспорно, Карамзин. В одиннадцатом году он подал

императору «Записку о древней и новой России», где яростно протестовал против подобных изменений в государственном механизме и политической структуре империи.

Разгневавшийся было Александр затем внимательно «Записку» изучил и отправил Аракчееву — для совета.

Но дело было не в Карамзине. Пришли сроки.

В восемьсот девятом году Сперанский говорил, что через два года Россия преобразится. Вот тут ум ритора и логика его подвели. Для него реформы были огромной шахматной партией. Он видел Россию саму по себе, а чертеж реформ — сам по себе. Он уповал на совершенство чертежа, отворачиваясь от человеческих воль, игры страстей, всего того, что составляло живую жизнь вокруг него. Он не считал это составляющими большой политики. И ошибся.

Одним из проявлений этой жизненной, непредсказуемой и неуловимой, стихии был характер императора Александра…

Уродливая, причудливая смесь большой политики и мелких интересов образовала водоворот, поглотивший государственного секретаря. Тут была и экономическая целесообразность разрыва с Францией, за союз с которой стоял Сперанский,

и невозможность приступить к коренным реформам в ситуации близкой войны, на которую царь уже решился, скрыв это от ближайшего сотрудника, и боязнь раскола общества в случае даже половинчатых реформ, и ревность, которую Сперанский постепенно стал возбуждать в императоре, и зависть к нему дворцового окружения. А если прибавить сюда яростное нежелание имперской бюрократии разных уровней превратиться из хозяйки государства в его служанку, то станет ясна мощь и широта оппозиции настоящим и будущим реформам.

Каждая социально-политическая группировка по-своему представляла результаты деятельности Сперанского. Одни считали, что попович опутывает всю Россию бюрократической сетью. Другие — что он, напротив того, губит российское чиновничество. Эти противоречия происходили от неумения охватить план преобразований в его целостности. Сперанский действительно совершенствовал и отлаживал бюрократический аппарат, без которого не видел возможности управлять страной. Но в недалекой перспективе намеревался поставить его под строгий контроль представительных учреждений, избираемых свободными гражданами…

Но вне зависимости от недоступности общего замысла реформатор пожинал ненависть и патриархального барства, и новой знати, и бюрократических верхов. Понимали и поддерживали его единицы. Он держался только волей царя. Но и здесь было весьма неблагополучно: во-первых, мучительная борьба в душе Александра, органически не принимавшего идею ограничения самодержавия, а во-вторых, его страх разделить судьбу отца, страх дворцового заговора, цареубийства, ставшего привычным делом в Петербурге. Французский посол доносил Наполеону из России: в столичных салонах говорят о том, что надо убить императора, с такой же легкостью, как о перемене погоды.

Умный Александр все это знал. И держал при себе Сперанского до последней крайности, чтоб в нужный момент бросить его на растерзание и отвлечь от себя гнев подданных.

А дворянский авангард?

Его общественная активность реализовывалась в тот момент в устремлениях пламенного патриотизма. Две проигранные войны с Наполеоном требовали отмщения. Поражения под Аустерлицем и Фридландом молодые офицеры воспринимали как личное и смертельное оскорб-

ление, которое должно смыть кровью.

Но Сперанский для них — не только из-за его пронаполеоновских симпатий, но, быть может, главным образом по его происхождению — был тогда совершенно чужд. «Трудность положения Сперанского, — говорил Герцен, — состояла в его семинарском происхождении. Будь он побочный сын какого-нибудь вельможи, ему были бы легче все реформы».

Сочувствие к Сперанскому и понимание его роли появились позже, после заграничных походов, когда стала оформляться ударная сила дворянского авангарда — тайные общества.

Неистовый Владимир Раевский негодовал потом: «Власть Аракчеева, ссылка Сперанского… сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего Отечества».

А едва ли не крупнейший политический мыслитель декабризма Михаил Фонвизин с горечью писал: «Один из приближенных к Александру умных и достойных советников… Сперанский, который возбудил зависть и недоброжелательство столбовых дворян своими достоинствами и быстрым возвышением, был без всякой вины удален Александром в 1812 году чрез дворцовую

интригу и в угождение тогдашнему общественному мнению».

Дело было, конечно, не только в интригах и зависти. Дело было в том остром и чреватом потрясениями кризисе, который как возник в российской политике по причинам объективным, так и создан был самим Александром, его стремительной политической игрой.

К двенадцатому году все опасно напряглось и внутри страны, и у границ ее. Александр мог следовать внешней логике своего поведения, приведшей к созданию обширных конституционных проектов, опереться на Сперанского и либеральных вельмож, продолжать политику дружбы с наполеоновской Францией и континентальной блокады. Но это был путь чрезвычайно рискованный. Прежде всего император рисковал головой.

Александр последовал внутренней логике — логике самодержавного сознания. Причем — с поразительной для него решительностью.

Он мог бы удалить Сперанского с поста государственного секретаря, что Сперанский и сам ему предлагал, на какой-либо менее значительный пост. Мог бы до времени отправить его в отставку, чтоб иметь возможность в подходящий

момент вернуть его к деятельности. Тем самым отложив конституционные преобразования до более подходящего времени.

Но император поступил так, как и должен был поступить самодержец, исчерпавший для себя либеральные маневры. Он сделал вид, что верит в предательство своего ближайшего помощника. В роковой день 17 марта — роковой не только для Сперанского, но и для России — император горько упрекнул его в неверности и представил опалу и ссылку как благодеяние. Сперанский и общество должны были думать, что только милосердие императора спасло государственного секретаря от расстрела или каторги. В тот же день реформатор, рассчитывавший вот-вот обнародовать указ о созыве Государственной думы, был выслан из Петербурга — к ликованию большей части общества.

Дворянка Бакунина, жительница Петербурга, далекая от высших кругов, но жадно ловившая политические слухи, записала: «Велик день для отечества и всех нас — 17-й день марта! Бог ознаменовал милость свою на нас, паки к нам обратился, и враги наши пали! Открыто преступление, в России необычное, измена и предательство. Неизвестно еще всем, ни как

открылось злоумышление, ни какие точно были намерения и каким образом должны были быть приведены в действие. Должно просто полагать, что Сперанский намерен был предать отечество и государя врагу нашему. Уверяют, что в то же время хотел возжечь бунт крестьян вдруг во всех пределах России и, дав вольность крестьянам, вручить им оружие на истребление дворян. Изверг, не по доблести возвышенный, хотел доверенность государя обратить ему на погибель… Время откроет истину; слухи, также противоречащие друг другу, и разногласие в том, кто открыл преступление и каким образом».

Тут-то и становится ясно, чего боялось нечиновное дворянское большинство — не просто конституционных реформ. Это было для них нечто неопределенно-абстрактное. Боялись конкретных вещей — военной измены и — главное! — объявления вольности крестьянам, которая мыслилась не иначе как истребление дворян. А лощеный европеец Сперанский представлялся среднему дворянскому сознанию потаенным Пугачевым, ждущим момента сбросить маску и раздать мужикам оружие.

Вот где был вопрос вопросов — освобождение крестьян.

Вот чего панически боялись русские баре, воспитанные своими государями в традиции ложной стабильности, — народного мятежа при первых шагах эмансипации.

Увы, сознание Александра — как впоследствии и Николая — принципиально не отличалось от этого среднедворянского сознания. С той лишь существенной разницей, что императоры сознавали и возможную гибельность консервации рабства.

Только наиболее сильные государственные умы — Сперанский, а затем Киселев — осознавали необходимость постепенного, но неуклонного и последовательного, этап за этапом, движения к полному освобождению. Понимали они и то, что полное освобождение крестьян и установление политического равновесия возможны лишь единовременно с реформами конституционными. Так же считал и Пушкин: «Наша политическая свобода неразлучна с освобождением крестьян».

Российские же самодержцы упорно думали о реформе крестьянской — даже если она состоится — без реформы конституционной. Что было абсурдом. Освобождение крестьян в 1861 году, не поддержанное введением конституции и, соответственно, представительного правления,

привело к новому шквалу озлобления, образованию новых революционных организаций, кровавой борьбе их с правительством, изнурительной для обеих сторон…

Тяжко тревожившая позднего Пушкина мысль о возможности союза раздраженной и отчаявшейся части лучшего дворянства с мятежным народом смущала умы еще в канун Отечественной войны в карикатурно-нелепом обличье: государственный секретарь Сперанский, «вдруг» объявляющий волю крестьянам и вооружающий их для резни. Но это был уродливый отголосок совершенно реальных и угрожающих проблем, которые Пушкин видел ясно и трезво…

Неожиданное крушение потрясло и смяло Сперанского не только как перелом личной судьбы. Он уверен был, что без него любые реформаторские устремления императора обречены. В феврале одиннадцатого года, предлагая царю перевести его на более скромный пост, дабы избежать зависти и нареканий, писал: «Тогда, и сие есть самое важнейшее, я буду в состоянии обратить все время, все труды мои на окончание предметов… без коих, еще раз смею повторить, все начинания и труды Ваши будут представлять здание на песке».

Сперанский понимал, что преобразования могут оказаться эффективными и устойчивыми, только если будут являть собою универсальную систему.

Понимал это и Александр. Он понял это за годы чуть не ежедневного сотрудничества со Сперанским. Но именно это понимание и истребило в нем окончательно тягу к радикальным реформам. Он мог пойти на отдельные реформы, но все, что вело к ущемлению самодержавной власти, отталкивало его.

И 17 марта 1812 года он выбрал вариант, делавший возвращение Сперанского к реформаторской деятельности невозможным. Он ославил его изменником. Он предпочел самодержавный песок конституционному граниту…

В частных разговорах этих дней он говорил ближайшим людям о невиновности государственного секретаря. Он твердил это Голицыну, Нессельроде, Дмитриеву. «У меня отняли правую руку, — жаловался он. — Я принес жертву…» Через несколько лет, назначая Сперанского пензенским губернатором, в именном рескрипте император прямо назвал его жертвой клеветы. Но — до самой своей смерти — когда заходила речь о возвращении Сперанского к активной госу-

дарственной работе, царь с мрачным упорством возвращался к версии 17 марта. Уже в двадцать пятом году, прогуливаясь с Карамзиным, царь пожаловался ему на отсутствие способных сотрудников. «„Почему Вы не употребляете Сперанского? — спросил историограф. — Способности его не подлежат сомнению“. — „Вы его не знаете, — неожиданно возразил Александр. — Ему нельзя верить. Я имею несомненные доказательства об его сношениях перед 12 годом. Мне донесено было от людей, совершенно посторонних, что он в такое-то время будет у такого-то иностранного агента; я поручил наблюдение, и Сперанский к нему явился в назначенный час!“»

Если государственный секретарь и сносился с французским послом Лористоном, то только по тайному поручению царя, на что Сперанский намекал в письме императору из ссылки. Но Александр не останавливался и сам перед клеветой, чтоб не допустить и мысли о новом возвышении реформатора.

В ссылке вчерашний фаворит и вершитель государственных судеб испытал всю меру унижений, которыми с таким наслаждением всегда тешились российские обыватели. В Нижнем Новгороде, куда прежде всего прибыл опальный,

купцы сговаривались убить его как изменника, и, пока он оставался в городе, оттуда летел в столицу донос за доносом. Сперанского обвиняли в намерении взбунтовать простой народ, бежать за границу, настроить духовенство в пользу французов. Как только началась война, ссыльного перевели в Пермь, где положение его стало и вовсе нестерпимым. Никто из заметных в городе людей не хотел с ним знаться, его демонстративно игнорировали. «На улицах, посреди прогулок, он слышал клики: изменник! В церкви, за обедней, в день Покрова Богоматери, заходили вперед смотреть ему в глаза с презрением. Сам архиерей счел за нужное метать на него грозные взоры». Он узнал, что крестьяне в его родном селе решили разрушить дом его родственников — родни изменника… К тому же ему не присылали из Петербурга никакого жалованья, и он остался без средств к жизни.

Стоически сносивший несчастья, на него обрушившиеся, он наконец не выдержал. «Умилосердствуйтесь, государь; не предайте меня на поругание всякого, кто захочет из положения моего сделать себе выслугу, пятная и уродуя меня по своему произволу», — писал он Александру, столь недавно дня без него не проводившему и

доверившему преобразование страны.

Пермскому начальству дали знать, что слишком далеко заходить не следует, и патриотическое негодование сразу же умерилось.

После пермского чистилища вера Михаила Михайловича в восстановление справедливости надломилась. «Прошу единой милости: дозвольте мне, с семейством моим, в маленькой моей деревне провести остаток жизни, поистине, одними трудами и горестями преизобильной. Если в сем уединении угодно будет поручить мне окончить какую-либо часть публичных законов, разумея гражданскую, уголовную или судебную, я приму сие личное от Вашего Величества поручение с радостию и исполню его без всякой помощи, с усердием, не ища другой награды, как только свободы и забвения».

«Свободы и забвения»… За несколько десятков лет до того другой реформатор и мыслитель, рвавшийся усовершенствовать российский государственный быт, написавший первую русскую историю, — Василий Никитич Татищев, получивший в награду за труды многолетнее следствие и ссылку, писал в Петербург из своей деревни: «Я об одном молю — чтоб меня забыли».

«Свободы и забвения»… «Покой и воля»…

О том же станет молить судьбу Пушкин в стихах тридцать шестого года: «По прихоти своей скитаться здесь и там…»

К тому же придет в конце жизни Киселев, после многолетних попыток проломить беспокойной головой стену ложной стабильности.

Слишком многие из тех талантливых и честных людей, искренне и со страстью стремившихся к государственному благу, теряя надежду, меняли на мечту о свободе и забвении честолюбивые замыслы…

Сперанский не обманывал царя. Он и друзьям своим говорил: «Возвратиться на службу не имею ни большой надежды, ни желания, но желаю и надеюсь зимою переселиться в маленькую мою новгородскую деревню, где живут моя дочь и семейство, и там умереть, если только дадут умереть спокойно». Ему было сорок лет.

Его отпустили в деревню. И он писал оттуда: «Для меня вся сила в том, чтоб забыли о бытии моем на свете».

Горела Москва, гибла великая армия, шла война в Европе, рухнул трон Наполеона, менялась политическая карта, создавалась новая мировая реальность… И все это пролетало над головой едва ли не крупнейшего русского политика,

сидевшего теперь среди новгородских болот и лесов.

Александр возвратился из Европы победоносным и всемогущим. Никогда — ни до, ни после — не был он так популярен. И Сперанский знал, что именно теперь царь может всенародно оправдать его, ничего не опасаясь, а главное — продолжить их общие труды: реформы — реформы, столь необходимые. Никакая оппозиция теперь уже не могла угрожать победителю Европы, кумиру офицерства.

Сперанский не имел уже сил оставаться в бездействии. Не только темперамент преобразователя, но боль незавершенности его великого проекта возбуждали и мучили его душу. Он знал, что его место возле царя занял Аракчеев. И он решился обратиться к Аракчееву, антиподу и злейшему врагу. Он смиренно просил защиты и помощи.

И очевидно, сладость торжества над поверженным противником, умственное превосходство которого Аракчеев прекрасно сознавал, — сладость торжества оказалась такова, что «гений зла» со злорадством протянул руку поверженному «гению блага». При этом он не отказывал себе в иезуитском наслаждении: «Я Вас любил

душевно тогда, как Вы были велики и как Вы не смотрели на нашего брата…»

Сперанский назначен был губернатором в Пензу. Потрудившись там, он стал проситься в Петербург. Он жаждал оправдания и прежнего рода деятельности. В нем снова родилась надежда на близость к императору, который должен же осознать вздорность клеветы и его, Сперанского, невиновность.

Вместо Петербурга он получил назначение генерал-губернатором в Сибирь. Александр в это время вел с ним жестокую игру, несколько напоминающую отношения Николая и Пушкина, — то обнадеживал, то холодно отстранял. В столицу он не хотел его пускать ни в коем случае.

Сжав зубы, Михаил Михайлович занялся искоренением злоупотреблений в Сибири и устройством администрации края…

Наконец в двадцать первом году — почти через десять лет после внезапной опалы — он вернулся в Петербург. И был употреблен к делам вполне второстепенным. Он входил в разного рода комиссии по частным вопросам. С ним обсуждались проблемы, не имеющие отношения к тем государственным вершинам, с коих он пал десять лет назад.

Это и сломило его. Он стал болезненно нервен. Однажды, когда князь Александр Николаевич Голицын, министр просвещения, в Государственном совете резко оспорил мнение Сперанского по вопросу, касающемуся религии, Михаил Михайлович впал в полное отчаяние, приняв это за предвестье новой ссылки.

Его состояние напоминало состояние Радищева в последний год жизни — возвращенного и допущенного к государственным делам, но оставшегося под подозрением и готового в любой момент к повороту судьбы.

Так он и жил, деятель, некогда убежденный, что открывает новую эпоху в истории России — эпоху гражданской свободы и конституции. Обвинения в измене так и не были официально с него сняты. Александр все более и более против него ожесточался.

Так он встретил смерть императора, междуцарствие и 14 декабря — тайным советником, сенатором, членом Государственного совета, не имеющим никакого веса в серьезных делах, отстраненным от дела реформ и в глазах сограждан пребывающим под подозрением в государственной измене…

Для мятежников он оставался «гением блага»

либерального прошлого, творцом конституционного проекта, невинно пострадавшим от ретроградов и ненавистного им царя. Они прочили его во временное правление после переворота. Он находился в знакомстве с некоторыми лидерами заговора и в дружбе с одним из них — Батеньковым. Есть сведения, что диктатор Трубецкой вел с ним переговоры в последние перед восстанием дни. В мемуарных заметках Трубецкой сообщил впоследствии: «Некоторым лицам было обещано содействие в Государственном совете, если войско, собравшись, будет выведено из города в избежание беспорядков». Под некоторыми лицами Трубецкой, скорее всего, разумел себя и Батенькова, а под членом Государственного совета мог подразумевать только Сперанского.

Нравственно добила Михаила Михайловича дьявольская проверка, которую устроил ему Николай, сильно его подозревавший, заставив юридически обосновать вину восставших, победа которых одна могла сделать реальностью его мечты.

Если Александр прекрасно знал невиновность Сперанского, то Николай прозревал в его прошлом нечто компрометантное и опасное. Поручив Сперанскому в двадцать шестом году

управление комиссией по составлению Свода законов, молодой император сказал шефу этой комиссии, сенатору Балугьянскому, знакомцу Пушкина: «Смотри же, чтоб он не наделал таких же проказ, как в 1810 году, ты у меня будешь отвечать за него!» Для Николая главной виной тайного советника Сперанского были его конституционные «проказы»…

Потом вновь была вспышка надежд — «секретный комитет 1826 года», проекты постепенного освобождения крестьян, в коих Сперанский был уже куда осмотрительнее и робче, чем до двенадцатого года. Но когда в тридцатом году Николай перечеркнул труды комитета, Сперанский осознал себя конченым государственным человеком. Он прилежно трудился над Сводом законов, понимая при этом, что существование свода имеет скорее теоретическую, чем практическую ценность для государства. Ибо в самодержавной России некому было гарантировать исполнение и соблюдение даже самых прекрасных и справедливых законов…

Титаническая работа завершилась незадолго до того, как они с Пушкиным встретились в новогоднюю ночь и беседовали о Пугачеве, о прекрасном начале александровских дней.

И на воскресном обеде в марте тридцать четвертого года напротив Пушкина сидел удивительный человек — вознамерившийся перевернуть российское государственное бытие и в отместку растоптанный и сломанный этим бытием. Умудренный трудами гигантской важности, испытанный властью и несчастием, сохранивший свой могучий систематизирующий ум, свое знание путей преобразования России, но потерявший надежду, веру в себя и, быть может, уважение к себе. Человек обширного, но уже мертвого знания, человек, добродушно разговорчивый и изящно оживленный, но убитый жизнию, сидел перед Пушкиным и рассказывал о своей ссылке…

Пушкин думал о трагически горьких судьбах Сперанского, Михаила Орлова, Ермолова, вождей декабризма — тех, кто мог и кому не дали… Он думал о своей судьбе.

В апреле тридцать пятого года он писал:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век…

Он писал это не только об ошельмованном Барклае.

Кто пришел на смену этим людям? Что за несчастная страна, побивающая своих лучших и вернейших сынов?

Карьера Уварова на фоне «Клеветникам России»

Он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину (императору Николаю).

Историк С. М. Соловьев о С. С. Уварове

Осторожный либерал десятых годов, Уваров не сразу стал охранителем, и само его охранительство не стало твердолобым консерватизмом. Оно вытекало подчиненным образом из главной идеи и было необходимым условием торжества этой идеи…

Если бы в декабре двадцать пятого победили мятежники, то Уваров, скорее всего, пошел бы на службу к новой власти. Но победили консерваторы. И Уваров затаился. В хоре голосов, проклинающих мятежников, «хотевших зарезать Россию», не слышно было голоса Сергия Семеновича.

У Николая этот оратор восемнадцатого года, очевидно, не вызывал доверия. И вообще он был слишком образован и изыскан — демонстративно образован и изыскан. Тесть и покровитель,

Алексей Кириллович Разумовский, уже несколько лет как перестал быть министром и утратил влияние. Опереться было не на кого в этой внезапно изменившейся, запутанной и пугающей обстановке. Уваров промедлил, не сделал нужных шагов и — был сослан в Сенат. В тот самый подозрительный Сенат, на который уповали мятежники 14 декабря и который давно уже отстранен был от дел управления государством. Это была почетная служебная ссылка.

Он остался президентом Академии. Но того ли ему хотелось!

Он внимательно присматривался к происходящему. Особенно к работе Секретного комитета, труды которого, несмотря на его секретность, были хорошо известны в околоправительственных кругах и от которого ждали скорых и серьезных реформ.

Пушкин следил за деятельностью комитета не менее пристально и ждал момента для вмешательства в политическую жизнь. Он понимал, что идет жестокая игра противоборствующих сил в верхах. И хотел действовать наверняка. В марте тридцатого года он написал Вяземскому из Москвы, где только что побывал император: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организа-

ции, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу».

Уваров оценил обстановку точнее. И в тридцать первом году подал императору специальную записку о крепостном состоянии. В это время ни один разумный человек не возражал против отмены рабства — в принципе. Речь шла о другом: начинать реформы, пусть и второстепенные, немедленно или же отнести их начало в неопределенное будущее. На эту — вторую — позицию встал Николай. Об этом же толковал в своей записке Уваров. Здесь он впервые использовал на свой лад мысль Карамзина, восходящую к мудрецам прошлого столетия, — «просвещение прежде всего». И тут имелись в виду не только крестьяне. Государственными рабами были все подданные, без исключения.

Этим людям удивительным образом непонятно было то, что так пронзительно осознавали Пушкин и Сперанский: свобода и просвещение долж-

ны идти рядом. Просвещаемый раб — существо нелепое и страшное, раздираемое противоречивыми страстями.

Идея просвещенного рабства — опасное орудие в руках даже идеально честного Карамзина — в руках аморального Уварова превращалась в нечто убийственное…

Уваров угадал со своей запиской. Она не только обратила на него внимание Николая, но и снискала симпатию Бенкендорфа.

Тридцать первый год вообще оказался годом удач для Сергия Семеновича. Это было, естественно, не случайно. Начинался новый этап николаевского царствования, и нужны были новые силы. Но тогда это еще не было заметно участникам событий.

Летом того года в Петербурге началась эпидемия холеры. Сенатор Уваров назначен был 19 июня попечителем 1-й Адмиралтейской части по принятию мер против страшной болезни. Ему повезло вдвойне. 1-я Адмиралтейская часть была самым центром города, где располагались Зимний дворец, дворцы вельмож, Адмиралтейство, Сенат, Синод и другие государственные учреждения, — там не было опасной скученности бедных кварталов, и болезнь распространялась

медленнее и скуднее. А кроме того, деятельность попечителя была на виду у правительства.

Уваров быстро подобрал себе энергичных помощников. Смотрителем одного из кварталов он сделал Варфоломея Филипповича Боголюбова, с которым вместе служил некогда по иностранной части — и в Петербурге, и в Вене. Действия Сергия Семеновича императором были замечены и одобрены.

13 сентября он представлен был к ордену Св. Анны 1-й степени и получил его. Это был еще один успех — первым была записка против эмансипации крестьян, — и успех этот следовало всемерно закрепить. Распорядительность — это хорошо, но ярлык либерала на Сергии Семеновиче все висел и пугал императора. Надо было доказывать свою лояльность в сфере непосредственной, животрепещущей политики…

Уже после того, как Пушкин ответил неприязненным молчанием на предложение дружбы и союза, переданное через Вигеля, Уваров скрепя сердце попытался все же использовать его — знаменитого и обласканного императором. Узнав об успехе, который имела у августейшего семейства ода «Клеветникам России», Сергий Семенович немедленно перевел ее на французский язык. Но

Пушкину не послал. Он хотел заставить Пушкина сделать первый шаг и тем определить будущие отношения. Но он стал широко читать перевод в обществе.

Ода была написана 16 августа 1831 года, напечатана в сентябре.

А 29 сентября Александр Булгаков писал из Москвы брату: «Вчера был я на весьма приятном обеде у Новосильцева. Были тут комендант, Вяземский, Тургенев, князь Вл. Сер. Голицын, двое Уваровых. Я очень обрадовался Фединьке (младший брат Сергия Семеновича, так похожий на Сеню-бандуриста. — *Я. Г.*), который стал претолстый и тот же добрый малый. Вспоминали мы старину. После обеда стали политикировать, читали вслух речь Себастиани в камере касательно Польши, курили; князь Вл. Голицын пел разные вздоры, а Тургенев фальшиво подтягивал, Сергий Уваров читал прекрасно им сделанный на французский язык перевод Пушкина стихов „Клеветникам России“. Я не могу насытиться чтением прекрасного этого произведения: стихи и чувства прекрасные».

Сведения о стараниях Уварова, разумеется, дошли до Пушкина. Он молчал. И Сергий Семенович сдался и пошел на поклон. Этого он Пушкину

тоже никогда не забыл.

8 октября он отправил из Москвы в Петербург автору оды письмо: «Инвалид, давно забывший путь к Парнасу, но восхищенный прекрасными, истинно народными стихами Вашими, попробовал на деле сделать им подражание на французском языке. Он не скрывал от себя всю опасность борьбы с Вами, но, Вами вдохновленный, хотел еще раз, вероятно в последний, завинтить свой европейский штык. Примите благосклонно сей опыт и сообщите оный В. А. Жуковскому».

Причем письмо и перевод отправлены были не прямо Пушкину, а снова посреднику — князю Дондукову-Корсакову. Получить это лестное приношение из рук уваровского клеврета и любовника Пушкину было особенно «приятно». Он неприлично долго не отвечал. Наконец 21 октября ответил откровенно издевательскими комплиментами:

«Милостивый государь

Сергий Семенович.

Князь Дондуков доставил мне прекрасные, истинно вдохновенные стихи, которые угодно было Вашей скромности назвать подражанием. Стихи мои послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается от сердца

Вас поблагодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и полноту мыслей, великодушно мне присвоенных Вами».

Гениальность уваровской фантазии заключалась в том, что исполненные драматизма и исторической горечи строки Пушкина:

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос, —

он передал следующим вдохновенным образом:

Происходящие от одной расы, враги с давнего времени,
Враждебные народы, поочередно торжествующие,
Враждуют по инстинкту, а не из-за политики.

Видели ли когда-нибудь, чтобы они объединились

под одним знаменем?

Беспокойный сармат и верный русский

Должны решить между собою свой кровавый спор.

Если необходимо, чтобы один пал, нам ли придется погибнуть?

Потеряет ли один имя или другой свою власть?

Для того чтобы один из них восторжествовал, нужно,

чтобы другой умер[43].

Там, где Пушкин, пускай с жестокой имперской позиции, но говорит, в соответствии с доктриной панславянства, о необходимости объединения славян под российской эгидой, что, по его убеждению, в тот момент — залог процветания России («Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет?»), там Уваров предлагает людоедскую альтернативу — один из народов должен погибнуть, чтобы торжествовал другой. Один из народов сражается за свою власть, другой — за

[43] Notes: 43

Здесь Уваров использовал фразу Карамзина, вырвав ее из контекста.

свое имя, то есть за историческое существование. И, по Уварову, вражда их биологична — «по инстинкту».

Пушкину все это было отвратительно…

Но Сергий Семенович старался отнюдь не только ради будущего сотрудничества Александра Сергеевича, которого он втайне ненавидел. Он хотел выжать из своего унижения максимум практической пользы.

8 октября он послал перевод Пушкину. В тот же день отправил пакет своему новому покровителю Бенкендорфу. Он понимал, что Александру Христофоровичу нелегко будет убедить Николая в полезности автора знаменитой речи восемнадцатого года в деле народного просвещения. И он давал ему в руки лишний аргумент. Он писал: «Прекрасные стихи Пушкина, озаглавленные „Клеветникам России“, породили во мне желание дать им перевод, или, вернее, подражание на французском языке: это единственный способ доставить их по адресу. Не придавая никакой важности этому опыту, я имею честь при сем препроводить его Вам, мой дорогой генерал, предоставляя Вам судить, заслуживает ли это подражание счастия быть представленным на воззрение Его Величества. Я не решился предать

тиснению эти стихи, не зная, соответствует ли видам нашего кабинета оглашение довольно резкой пиесы; те, кто кричат на улицах Парижа „смерть русским“, не заслуживают особого внимания, но, хотя подлинное произведение и было напечатано, я почел бы лучше впредь до нового повеления оставить перевод в рукописи».

Искательное это письмо полно противоречий. Если парижские крикуны не заслуживают внимания, то из чего было стараться? Перевод, разумеется, предпринимался не ради европейских парламентариев. «…Заслуживает ли это подражание счастия быть представленным на воззрение Его Величества» — вот главное. И, как побочный эффект, — афиширование своей безоглядной поддержки внешнеполитических акций императора в обществе.

Бенкендорф представил перевод Николаю. Николай не советовал печатать его. Очевидно, имперский максимализм Уварова, все же сенатора — официального лица, показался ему чрезмерным для европейского обнародования. Он через Бенкендорфа рекомендовал ограничиться распространением стихов в списках — для внутреннего употребления.

Уварову этого было более чем достаточно.

Его рвение снова обратило на себя внимание самодержца — и на сей раз в сфере, Николаю наиболее близкой. Советом он воспользовался немедленно.

21 октября Булгаков сообщил брату: «Сергий Уваров прислал мне наконец перевод стихов Пушкина „Клеветникам России“, просил тебе доставить копию».

В начале следующего, тридцать второго года Сергий Семенович получил пост помощника министра народного просвещения.

Начало было положено. Останавливаться на этом он отнюдь не собирался.

Ему было сорок пять лет. Этот рывок должен был стать решающим в его судьбе. Он не стал знаменитым и влиятельным литератором, несмотря на свою эрудицию и таланты. Он не смог стать аристократом в полном и высоком смысле — его сомнительное происхождение и еще более сомнительные пути карьеры тяготели над ним.

Он решил стать бюрократом просвещения и через власть чиновника получить власть над умами и душами.

Он считал себя в силе оправдать и восславить новое царствование, как некогда Феофан Прокопович, умный, образованный, коварный и

беспринципный, оправдывал и славил деяния первого императора.

Вызов

…Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией, т. е. действовавшей вне общества и лишенной всякого социального облика кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только чинопроизводством. Таким образом, демократизация управления сопровождалась усилением социального неравенства и дробности.

В. О. Ключевский

В июне тридцать первого года Пушкин, только что обратившийся к правительству с просьбой разрешить ему издание газеты, получил письмо от Вигеля: «Проект политико-литературного журнала восхитителен; я им очень занят; я искал и, кажется, нашел обеспеченный и в то же время порядочный способ его исполнения. Вы знакомы с Уваровым, бывшим членом „Арзамаса“. Хотя он и не в особенно хороших отношениях с моим начальством, но благорасположен ко мне и в хороших отношениях с генералом Бенкендорфом. Ваш проект сообщен ему, — он им доволен, он его

одобряет, он им увлекается, и, если Вы хотите, он поговорит с Бенкендорфом».

Маловероятно, чтобы Вигель был «проводником» Уварова в попытке привлечь Пушкина. Скорее Уваров использовал его как посредника. А Вигель просто старается придать себе весу — «занятость» пушкинским проектом и поиски путей к его осуществлению выглядят довольно смешно. Никаким реальным влиянием Вигель не обладал. Но, злой и завистливый, он не просто выполняет поручение своего знакомца, стоящего на пороге нового взлета. Он не может удержаться, чтобы не плеснуть в Уварова желчью: «Вы знаете Уварова, знаете, что это придворный, раздраженный своими неудачами, но не настолько злопамятный, чтобы отказаться от хорошего места, которое бы ему предложили…» И в таком духе довольно долго…

Однако в конце письма Вигель раскрывает план Уварова: «За мысль Вашего проекта он ухватился с жаром, с юношеским увлечением. Он обещает, он клянется помогать его исполнению. С того момента, как он узнал, что у Вас добрые принципы, он готов обожать Ваш талант, которому до сих пор только удивлялся. По своему нетерпению он все хотел бы Вас видеть почетным членом

своей Академии наук. Первое свободное место в Российской академии Шишкова должно быть Вам назначено, Вам оставлено. Как поэту Вам не нужно служить, но почему бы Вам не сделаться придворным? Если лавровый венок украшает чело сына Аполлона, почему камергерскому ключу не украсить зад потомка древнего благородного рода? Конечно, все это только предначертания счастия и славы для того, кто не довольствуется только прославлением своей родины, но хочет служить ей своим пером. От Вас только зависит иметь горячих и ревностных поклонников».

Странно: Уваров, сенатор и президент Академии наук, придворными званиями отнюдь не распоряжался. Что за самоуверенное легкомыслие — предлагать Пушкину камергерский ключ?

Смысл в этом жесте, однако, был. Позже, насильно втиснутый в ряды камер-юнкеров, Пушкин говорил Нащокину, что «три года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера, желая его ближе иметь к себе, но он отказался, заметив: „Вы хотите, чтоб меня упрекали, как Вольтера!“».

В то время Бенкендорф активно покровительствовал Сергию Семеновичу. Уваров был младшим союзником шефа жандармов и — по разности их умственных возможностей — осто-

рожным советчиком.

Идея сделать Пушкина придворным и тем навсегда нейтрализовать как оппозиционера по своей тонкости и точности сильно напоминает тактические комбинации Сергия Семеновича. Правительство отличило бы первого поэта, привязало к себе и вместе с тем безнадежно скомпрометировало в глазах либеральной молодежи. Это выглядело куда эффективнее и изящнее прямых гонений.

Сергий Семенович, только начинавший свою игру, вполне мог быть создателем этого далеко идущего плана. «…Почему камергерскому ключу не украсить зад потомка древнего благородного рода? Конечно, все это только предначертания счастия и славы для того, кто не довольствуется только прославлением своей родины, но хочет служить ей своим пером».

Это, собственно, программа отношений правительства к Пушкину, которую оно и пыталось проводить в тридцатые годы.

Только заручившись поддержкой Бенкендорфа, Уваров рискнул бы давать Пушкину такие авансы. Только в этой ситуации и становится понятным предложение Бенкендорфа.

Но тогда — не имел ли Сергий Семенович отно-

шения и к камер-юнкерству Пушкина, которое на деле было тяжкой и оскорбительной компрометацией? Нет ли доли истины в свидетельстве Льва Павлищева: «Александр Сергеевич, при свидании с моей матерью в следующем, 1835 году, высказал ей все, что он выстрадал со времени своего камер-юнкерства. По словам Ольги Сергеевны, он сделался тогда мучеником… И вот, в том же 1834 году, так, по крайней мере, полагала моя мать, обрисовываются первые шаги страшного заговора людей, положивших стереть Александра Сергеевича с лица земли».

В это время уже убедившийся в невозможности союза Уваров хотел только нейтрализации или устранения Пушкина. Он понимал, какую роль может тот сыграть в затеваемой большой игре.

В тридцать первом году все еще выглядело по-иному…

Центральный пассаж письма, конечно, не есть творчество самого Вигеля. Издевательски искусно он передает здесь экзальтированный монолог Уварова — тот в случае надобности умел себя взвинчивать. Посредник открывает адресату условия возможного соглашения. Все мыслимые для человека пушкинского положения блага и почести, но взамен — верная служба. Уваров

вербует. И чтоб не осталось сомнений в их взаимном положении, ставит все на свои места: «Он очень хочет, чтоб Вы пришли к нему, но желал бы для большей верности, чтоб Вы написали ему и попросили принять Вас и назначить день и час. Вы получите быстрый и удовлетворительный ответ».

И пылкость уваровских предложений, и странная концовка — зачем Уварову письменное свидетельство, что инициатива принадлежит Пушкину? Почему Пушкин должен сомневаться в том, что его примет старый соратник по «Арзамасу»? Все это неспроста. Сергий Семенович не только мечтал заполучить первого поэта России, пользующегося явным покровительством императора, в сотрудники. Он еще желает убедиться и убедить всех осведомленных, что между ними восстановлен мир. И что первым протянул руку Пушкин.

Пушкин на призыв Уварова демонстративно не ответил…

Год назад произошли события, которые и стали фундаментом будущей смертельной вражды. Греч утверждает: «Однажды, кажется у А. Н. Оленина, Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного, сказал о нем: „Что он хва-

лится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рома!“ Булгарин, услышав это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в „Северной пчеле“ этот отзыв. Этим объясняются стихи Пушкина: „Моя родословная“».

Нет ничего удивительного, что острота, произнесенная в доме Оленина, могла дойти до Пушкина, — слишком много его друзей и знакомых посещало этот дом, и он ответил, как было уже давно замечено, не Булгарину, которого пренебрежительно высмеял в постскриптуме, а именно Уварову — сыну Сени-бандуриста, зятю Разумовского.

Уварову, всегда помнящему о собственной фамильной ущербности, возможность напомнить о чьем-либо сомнительном происхождении была бальзамом, облегчением. Вряд ли он придал значение своей шутке и менее всего ожидал последовавшей реакции Пушкина.

Насмешка Сергия Семеновича, чей отец развлекал Потемкина и ублажал немолодую императрицу, оказалась для Пушкина желанным поводом, чтоб обнародовать не просто язвительное стихотворение, но продуманный политический манифест. Уваров сыграл в поддавки, сам того не

подозревая.

«Моя родословная» разошлась в списках и по ошеломительности своего содержания должна была стать известной «заинтересованным лицам»:

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

Если внимательно прочитать эти строфы, то станет виден точно выстроенный политический трактат — система взглядов и принципы общественного поведения. Никогда еще Пушкин-политик не высказывался столь полно и определенно.

Позже, в тридцать шестом году, Пушкин скажет: «Вот уже 140 лет Табель о рангах сметает дворянство». И первая строфа «Родословной» — издевательство над Табелью, которая давала возможность получить дворянство через офицерский и чиновничий чин («офицер и асессор»), через орденский крест, через высшее образование и академическую должность («академик и профессор»). Для Пушкина это имело огромное значение. Табель о рангах — любимое детище Петра — открывала широкий доступ в дворянское сословие людям с недворянским сознанием.

Ограждение дворянства — в этом видел Пушкин одну из самых обнадеживающих тенденций нового царствования. Об этом он дерзко спорил с великим князем Михаилом Павловичем — недурным каламбуристом, но ничтожным политиком: «Великий князь был противу постановления о почетном гражданстве: зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers état[44], сию вечную стихию мятежей и оппозиции?» Почетное гражданство должно было заменить выслуженное дворянство и поддерживать чистоту сословия. «Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством».

Тут можно обвинить Пушкина в недемократизме, проповеди сословной исключительности, элитарности и так далее. Но это будет ложное обвинение. И не в том дело, что в жизни он был

---

[44] Notes: 44
Третье сословие *(фр.).*

абсолютно демократичен и среди близких к нему в последние годы людей были откровенные плебеи — например, Погодин, — дело было в его политической доктрине.

По убеждению, к которому он пришел, рассматривая отечественную историю и современную ему общественную жизнь, только люди со специфическим дворянским самосознанием, выработанным веками службы государству с мечом и пером в руках, люди с особым и глубоко в историческую почву уходящим понятием чести, — только эти люди могли выполнить в его время великую миссию спасения России. В этом взгляде отнюдь не было сословного эгоизма. Наоборот. Дворянство обязано было трудиться и бороться на благо всех остальных сословий. Недаром среди «великих предметов», о которых писал он Вяземскому в марте тридцатого года, «новые права мещан и крепостных». Но там же — «ограждение дворянства, подавление чиновничества».

Самодержавная власть, названная им «низким и дряблым деспотизмом», держалась на двух столпах: на рабстве и на бюрократии.

Только дворянство в его огражденном, чистом, идеальном виде могло противостоять бюрократии и уничтожить рабство.

Будучи единственным сословием, понимающим толк в свободе — в отличие от мятежной вольности, — дворянство должно было стремиться к отмене рабства, чтобы обрести собственную истинную свободу.

Кроме того, в ограждении дворянства был еще один чрезвычайно важный антикрепостнический смысл. Каждый новый дворянин получал право на владение крепостными. С увеличением числа дворян росло число рабовладельцев. Причем вчерашний разночинец, только что вкусивший прелесть власти над другими людьми, не обладающий высотой самосознания идеального дворянина, не мог, разумеется, встать выше сиюминутных интересов. Эти люди готовы были блокироваться с бюрократией — алчным чиновничеством! — и дальше тащить Россию по гибельному пути.

Потому Табель о рангах и ее историческое влияние Пушкин считал тяжким злом. Об этом он и сказал в первой строфе «Родословной».

Вторая строфа — о явлении роковом: рождении новой знати. Когда она родилась? Пушкин ответил на этот вопрос совершенно определенно в заметках, писанных непосредственно перед «Родословной»: «…Ныне знать нашу большею

частию составляют роды новые, получившие существование свое уже при императорах». Он, стало быть, включал в новую знать тех, чье возвышение началось с Петровской эпохи. С той эпохи, когда на сцену выступила и бюрократия. Рождение новой знати и рождение бюрократии были явлениями родственными. И одинаково угрожающими. Окончательно сформировавшееся при Петре самодержавие создавало себе опору, независимую от традиции и коренных интересов страны. Разрыв между страной и государством…

Третья, наиболее знаменитая строфа — на самом деле не главная в стихотворении — это сатирическая иллюстрация. В ней последовательно перечислены родоначальники характернейших фамилий новой знати: Меншиков, Кутайсов, Разумовский, Безбородко, Клейнмихель-старший (который, правда, был не австриец, а пруссак). Но если в общей смысловой системе «Родословной» этот неотразимый саркастический выпад играл второстепенную роль, то в системе общественного восприятия он оказался главным. Пушкин оскорбил касту. Он намеренно и сознательно оскорбил могущественных нуворишей, бюрократическую аристократию — это парадоксальное явление российской истории. Причем

все перечисленные лица — очень разные по своим человеческим и государственным достоинствам — выдвинулись прежде всего как фавориты императоров и императриц, как кондотьеры, которых самодержцы противопоставляли дворянскому авангарду.

В книге о Пушкине, написанной в значительной степени со слов своей матери, племянник поэта Лев Павлищев сообщил: «…Относительно сочиненной Пушкиным в Болдине же „Родословной“, Ольга Сергеевна заметила брату, что он напрасно потратил столько поэзии, так как вызвавшая ее ничтожная статья редактора „Северной пчелы“, напечатанная в угоду личному недоброжелателю Пушкина (графу Уварову), не стоит торжественной выставки галереи предков, а „Родословная“ вооружит только против дяди семейства М-х, Р-х, С-х, К-х и других лиц, родичей которых Александр Сергеевич затронул.

Предсказание Ольги Сергеевны сбылось, и, как впоследствии выразился князь Петр Андреевич Вяземский, „распространение этих стихов («Родословной») вооружило против Пушкина многих озлобленных врагов, и более всего вооружило против поэта, незадолго до его кончины, целую массу влиятельных семей в Петербурге“».

(Исследователи скептически относятся к компилятивным и не всегда достоверным сведениям Павлищева. Но есть там и драгоценные свидетельства, идущие от Ольги Сергеевны и подтвержденные другими источниками.)

Сознавал ли Пушкин всю опасность своего демарша? Разумеется. Но «Моя родословная» закончена была в декабре тридцатого года, а обдумывалась в предшествующие месяцы. Это был момент, когда решалась судьба проектов комитета 1826 года. Когда Пушкин уверен был, что наступает новое время — «ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных». Душой комитета был Сперанский, верный соратник дворянского авангарда, убежденный реформатор, жестоко пострадавший за свои идеи. А реформаторский порыв Николая Пушкин склонен был тогда сильно переоценивать.

В «Моей родословной» он не просто с гордостью очертил тернистый путь своего рода, но и попытался объяснить со страстью, кто всегда был истинной опорой России и на кого можно положиться в кризисные моменты. Он говорил о родовом дворянстве. Именно о дворянстве, а не об аристократии. И это глубоко принципиально.

Не надеясь обнародовать политические статьи, которые он потому бросал незаконченными, неотделанными, он стал искать способов спрятать в прозе политические трактаты. Вот, скажем, диалог из отрывка «Гости съезжались на дачу»: «Извините мне мои вопросы, — сказал испанец, — но вряд ли мне найти в другой раз удовлетворительных ответов, и я спешу ими воспользоваться. Вы упомянули о вашей аристократии; что такое русская аристократия? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует. Кажется, между вашим дворянством существует гражданское равенство, и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша так называемая аристократия? Разве только на одной древности родов.

Русский засмеялся.

— Вы ошибаетесь, — отвечал он. — Древнее русское дворянство вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша благородная чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха. Я скажу, например, — продолжал русский с видом само-

довольного небрежения, — корень дворянства моего теряется в отдаленной древности, имена предков моих на всех страницах истории нашей. Но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники…»

Он четко отделял дворянство, даже и титулованное (князь Вяземский, скажем), от знати, аристократии — как особой касты. Он не делал исключения и для древних аристократических родов, ибо они идеологически слились с аристократией новой.

Мысль, что родовое дворянство в России превращается под нажимом исторических обстоятельств в подобие третьего сословия, ужасала его. Это было неестественно. Разоренное дворянство не имело экономических корней третьего сословия и не могло трезво осознать своего места в общей сословной системе. Его общественные амбиции приходили в злое несоответствие с его реальным положением, превращая его в «страшную стихию мятежей». Так он думал. Он возвращался к этой мысли постоянно — в беседе

ли с великим князем или в набросках романа. Он хотел довести всю опасность происходящего до сознания и власть имущих, и общества.

Во второй половине тридцать пятого года — в Михайловском или позже, — читая книгу Гейне, он записал: «Освобождение Европы придет из России, потому что только там не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни — презирая ее, другие — ненавидя, третьи — из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят».

И в письме к аристократу Репнину, которого он уважал, Пушкин писал: «…Вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я принадлежу…» Можно было считаться знатным вельможей и не принадлежать к подлинному дворянству.

Великому князю Михаилу он говорил о ненависти старинного дворянства «противу аристократии». Причем свою принципиальную неприязнь он уводил далеко назад, не щадя и «старинных бояр», в том числе собственных предков.

В том же тридцать пятом году сделал несколько исторических заметок: «Покушение Федора. —

Трусость высшего дворянства (между прочим, моего пращура Никиты Пушкина)». И еще одна — чрезвычайно важная: «Высшее дворянство не потомственное (фактически). Следовательно, оно пожизненное; деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость.

Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом. Деспотизм: жестокие законы и мягкие нравы».

Это исчерпывающе определяло положение в России — слившаяся с бюрократией аристократия, потерявшая свою мощь, основанную на неотменяемых наследственных привилегиях, превратилась в компанию наемников самодержца, от воли которого — и более ни от чего — зависит положение каждого из бюрократов-аристократов. Государственное влияние любого вельможи кончалось с прекращением высочайшего благоволения к нему. Это положение исчерпывающе, хотя и несколько утрированно, сформулировал откровенный Павел I: «В России человек что-нибудь значит, пока я с ним говорю!» И поскольку независимость русской аристо-

кратии ничем не гарантировалась, то в стране воцарился «низкий и дряблый деспотизм».

Замечательное определение деспотизма — «жестокие законы и мягкие нравы» — столь же точно характеризовало общественную и политическую ситуацию в империи. Потерявшее волю к сопротивлению, расслабленное после разгрома декабризма общество, с его «мягкими нравами», не выдерживало столкновения с «жестокими законами», навязанными властью. Это несоответствие и рождало деспотизм. Об этом он вскоре расскажет в «Анджело».

Он никогда не был сторонником неограниченной монархии — «низкого и дряблого деспотизма». Но он мечтал — и в двадцатые, и в тридцатые годы, — чтоб ограничено оно было здоровой дворянской оппозицией, дворянским авангардом, а не корыстной знатью. Он верил: освободить крестьян могут только просвещенные и дальновидные дворяне. В союзе с царем либо вопреки ему.

И только тогда все сословия получат политическую свободу.

Многие его взгляды изменились за полтора десятилетия. Но этот остался неизменен.

И он напоминал в «Родословной» о здоровой

оппозиционности истинного дворянства — попытку его пращура Федора Пушкина, восставшего против нарождающегося деспотизма Петра, верность его деда законному императору Петру III. И если помнить, что речь идет не просто о роде дворян Пушкиных, а о судьбах хорошего дворянства вообще, то ясно, что, по его мнению, перелом в судьбе этого дворянства произошел при Екатерине II — «и присмирел наш род суровый». Политическим коварством умной императрицы подорвано было государственное влияние дворянства, которому оставался только один путь возврата в активную историческую жизнь — с оружием в руках. Недаром в середине тридцатых годов он поставил в своих заметках рядом: «Падение постепенное дворянства; что из этого следует? Восшествие Екатерины II, 14 декабря…» Знаменательное соседство.

Пушкин недаром готовился к написанию «Моей родословной» не один месяц, излагая весь комплекс идей в историософских прозаических заметках, неоднократно к этому возвращаясь. Он писал свой стихотворный трактат с холодной головой, рассчитывая пустить по рукам и доставить правительству. Он надеялся, что царь не захочет и не сможет отвернуться от столь

очевидных истин.

Наступивший тридцать первый год оказался необычайно насыщенным и хлопотным: женитьба, переезд в Царское Село, польский мятеж, мятеж военных поселений, начало исторических трудов и лихорадочные раздумья о путях воздействия на сорвавшийся с цепи исторический процесс — все это отвлекло его от плана использовать «Родословную» как обращение к императору.

Но в июле тридцать первого года он решил предложить правительству союз с уцелевшими людьми дворянского авангарда, союз ради общего дела — обновления России. Он написал Бенкендорфу, посреднику между ним и царем: «Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностию и усердием исполнить волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей… С радостию взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к

просвещению».

Это писалось в разгар мятежа поселений. Это был официальный документ, и поэтому не надо слишком буквально воспринимать верноподданнические формулировки. Пушкин ясно сознавал свои задачи. Он хотел заставить правительство в тяжкий момент примириться с остатками дворянского авангарда. Можно понять, кого именно хотел он приблизить к правительству, кого объединить вокруг своего издания. «Моя родословная» отнюдь не была им забыта.

В ноябре тридцать первого года он послал ее Бенкендорфу при сопроводительном письме. Изложив внешнюю сторону происшедшего — фельетон Булгарина, свой ответ в стихах и т. д., — он писал: «…Несколько списков моего ответа пошло по рукам, о чем я не жалею, так как не отказываюсь ни от одного его слова. Признаюсь, я дорожу тем, что называют предрассудками; дорожу тем, чтобы быть столь же хорошим дворянином, как и всякий другой, хотя от этого мне выгоды мало; наконец, я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них.

Однако ввиду того, что стихи мои могут быть приняты за косвенную сатиру на происхождение

некоторых известных фамилий, если не знать, что это очень сдержанный ответ на заслуживающий крайнего порицания вызов, я счел своим долгом откровенно объяснить Вам, в чем дело, и приложить при сем стихотворение, о котором идет речь».

Никакой откровенностью здесь и не пахло — все это чистая дипломатия. Пушкин объяснял шефу жандармов, что не напечатал стихотворение только потому, что ему отсоветовал Дельвиг. Он хотел создать впечатление полной своей уверенности, что в «Родословной» нет ничего предосудительного с цензурной точки зрения. Хотя и он сам, и Дельвиг, и Бенкендорф прекрасно понимали, что, попади она на просмотр к императору или к обыкновенному цензору, кроме скандала, ничего бы не вышло. Пушкин мог только ссылаться на покойного Дельвига. Но он, разумеется, не делал никаких попыток напечатать памфлет (или трактат), именно не желая раздражать царя. После лета тридцать первого года, месяцев наибольшей его близости ко двору, к императору, после «Клеветников России», назначения историографом, после хлопот о политической газете он решил, что время пришло. И выбрал официальный и лояльный способ дове-

сти свою позицию в вопросе о судьбе дворянства до сведения правительства. Объяснить ему — с кем надо иметь дело в роковые моменты, на кого опираться.

Через три года он станет объяснять великому князю Михаилу, что Романовы принадлежат именно к хорошему дворянству. Так он думал — и не без оснований — и в тридцать первом. И делал попытку предложить августейшей фамилии союз с дворянским авангардом в обход бюрократической аристократии, новой знати.

Но Николай достаточно отчетливо представлял себе политическую историю прошлого века. Он знал, какую роль играла в ней дворянская, гвардейская инициатива. Ему отвратительна была сама мысль, чтоб судьбой престола распоряжался кто-то, кроме самих самодержцев. Он с брезгливостью и неодобрением относился к «звездному часу» дворянского авангарда, российской «славной революции» — перевороту 1762 года, удалившей и погубившей неспособного Петра III и вынесшего на трон великую Екатерину. В «Записной книжке» Вяземского есть замечательное сообщение на этот счет: «В Зимнем дворце находились картины (кажется, четыре), изображающие некоторые мгновения

воцарения Екатерины II, как она явилась в Измайловский (кажется) полк. Николай I приказал повесить их там, где стоит его судно (рассказано очевидцем)».

Картина переворота 1762 года: молодые гвардейцы, действовавшие под негласным покровительством либеральных вельмож — Паниных, Бецкого, Разумовского, — неминуемо вызывала в сознании императора внешне весьма схожую схему событий на Сенатской площади. Гвардейские перевороты, каждый раз приводившие к стремительной, хотя и кратковременной либерализации и всплеску конституционных надежд, не без оснований казались ему ступенями к страшному декабристскому заговору. В тридцатые годы его раздражало и правое, и левое дворянство, и он не всегда мог скрыть это. «В Н. Новгороде царь был очень суров и встретил дворянство очень немилостиво. Оно перетрусилось и не знало за что (ни я)», — записал Пушкин в дневнике в декабре 1834 года.

Уже ничто не могло победить недоверие императора к родовому дворянству. (Недаром в роте дворцовых гренадер, которую он сформировал после мятежа 14 декабря, все офицеры были выслужившиеся из солдат.)

Николай искал совсем других опор. Отвергнув проекты комитета 1826 года, он нащупывал совершенно иной путь стабилизации власти. И его идея вот-вот должна была найти стройное и крайне соблазнительное оформление в предложениях Сергия Семеновича Уварова.

Ударив по Уварову, баловню новой знати, сыну екатерининского любовника, зятю елизаветинского фаворита из певчих, и одновременно предлагая императору верность и усердие лучшего дворянства для необходимых реформ, Пушкин промахнулся.

Уваров точно попал в цель.

В разговоре с великим князем Пушкин сказал: «…что значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистию противу аристократии…» С просвещением… Он не был столь наивен, чтобы уповать на родовое дворянство вообще. «Русские баре не знают грамоте». Когда он говорил о дворянстве, он имел в виду лучшую, просвещенную его часть, способную заглянуть в будущие дни, понять грядущую опасность, поступиться жалкими внешними выгодами ради спасения и благоденствия России. Он говорил о дворянском авангарде.

Он говорил о нем в тридцатом году, говорил и в тридцать четвертом. Но на пороге года тридцать шестого, последнего года своей жизни, на вершине осознания близящихся катастроф, он потерял веру в тех, кто окружал его. Он мог надеяться на тех, кто придет завтра, — на родовое просвещенное дворянство сороковых и пятидесятых. Тех, кого надо было воспитывать сегодня.

Ибо «дряблый деспотизм», сумев нейтрализовать физически людей дворянского авангарда, отравил сознание и расслабил волю дворянского большинства.

Только те, кто придет завтра…

Два генерала

Все твои суждения и теории прекраснейшие на практике неисполнимы.

П. Д. Киселев – М. Ф. Орлову

Орлова следовало бы повесить первым.

Великий князь Константин

Через полгода после того, как Пушкин обедал с Киселевым и признал его самым замечательным из русских государственных людей, и в то самое время, когда он сделал бешеную запись о подлости Уварова, — в середине февраля тридцать пятого года, — Павел Дмитриевич, пожалованный недавно членом Государственного совета, возвращаясь в столицу из украинского имения, заехал в Москву и посетил своего опального друга, Михаила Федоровича Орлова.

Он понимал, что за Орловым наблюдают, знал, что его визит станет известен императору. И тем не менее сделал этот шаг. Готовясь к предстоящим реформам, в реальность и близость которых он верил, генерал Киселев считал необходимым побеседовать с генералом Орловым, с которым у них было некогда немало общих идей и который

только что выпустил книгу о проблемах экономических…

Немногие из русских государственных деятелей начинали столь стремительно свою карьеру и внушали столько надежд, как Михаил Орлов. Немногие же и похоронили эти надежды так трагически, как он.

Племянник «екатерининских орлов» — Алексея и Григория Орловых, Михаил Федорович унаследовал от них физическую мощь и мужественную красоту, нетерпеливую жажду действия и, главное, уверенность в неограниченности своих сил и возможностей. Он верил, что предназначен для великих деяний.

Он и в самом деле был из тех, кто свергает правительства, меняет государственные уклады, кладет начало новым правлениям и династиям.

В отличие от удальцов 1762 года, он был основательно образован, начитан в политической и политэкономической литературе. Взгляд его охватывал все стороны российской жизни. Он сознавал, что менять надо все.

Как и Пушкин, он многому учился у Николая Тургенева. Но шел в практических замыслах куда дальше…

Его боевая карьера началась под Аустерли-

цем, когда кавалергардский полк, в котором он служил, самоубийственной атакой прикрыл отступающую русскую пехоту, спасая ее от истребления.

Семнадцатилетний юнкер Орлов, дравшийся отчаянно, уцелел и положил здесь начало своей славе храбреца.

Происхождение, внешность, доблесть, ум обращали на него внимание высших. Двадцатичетырехлетний штаб-ротмистр в начале Отечественной войны стал флигель-адъютантом, но остался в действующей армии и дрался под Смоленском, под Бородином, под Красным. Дерзкий военный и твердый дипломат, он дважды в двенадцатом и единожды в тринадцатом году побывал у Наполеона — парламентером и разведчиком. В марте четырнадцатого года гвардии полковник Михаил Орлов отправился в осажденный Париж и добился его капитуляции.

Он вернулся в конце того же года в Петербург генералом, любимцем императора, изъездившим с разнообразными поручениями всю Европу — Скандинавию, Францию, Германию, Англию.

С Николаем Тургеневым он сошелся еще в оккупированном Париже. И во Франции, и в России они обсуждали программу тайного общества, со-

здание которого приняли за необходимое. Целью положили — просвещение народа и подготовку реформ. Тургенев уверен был, что начинать надо с отмены рабства, а остальное придет позже. Орлов жаждал реформ самых широких — и экономических, и политических.

Перед ним расстилалась блистательная карьера. Но то была карьера слуги самодержавного государства, а он готовился к иному. Его планы, куда более грандиозные, клонились к переустройству России.

«Я первый задумал в России план тайного общества», — скажет Михаил Федорович в показаниях на следствии, в Петропавловской крепости.

Еще теснее, чем с Тургеневым, сошелся он с графом Дмитриевым-Мамоновым, человеком столь же нетерпеливым, но не столь прочным. Вместе они составили в конце четырнадцатого — в пятнадцатом году планы и программы тайного общества под названием «Орден русских рыцарей».

Название они выбрали не из ностальгической любви к Средневековью. «Русский рыцарь» — дворянин с высоким пониманием своего долга, с истинной аристократичностью сознания, требующей от него без страха и упрека, с бескорыстным

самопожертвованием стремиться к соблюдению справедливости, к такому устройству России, которое гарантировало бы достойное существование всем гражданам страны.

Слово «рыцарь» часто встречается у позднего Пушкина именно в этом смысле. «Русский рыцарь» — не барон из «маленькой трагедии», не самодовольный насильник из «Сцен», написанных в тридцать пятом году. «Русский рыцарь» — идеальный дворянин, человек дворянского авангарда, который рыцарские доблести употребляет не для порабощения других, не для бессмысленного турнирного щегольства, но для цели высокой…

Создатели «Ордена» шли от конституционной монархии к возможной республике. Орлов полагал, что власть должна перейти от императора к палате, в которой заседать будут 442 дворянина и 221 вельможа. Причем место последнего — наследственное, и владеет он «неприкосновенным уделом», то есть майоратом, нерасчленимым и неотчуждаемым поместьем. Эта истинная аристократия, независимая от верховной власти, при сохранении монархии станет гарантией гражданских свобод. И в любом случае — как умеренном, так и радикальном — «русские рыцари» непре-

менным считали ограничение самодержавия, уничтожение крепостного права, установление свободы торговли и свободы печати.

Орлов, генерал, дипломат и политик, близкий к императору, знал твердо: самодержец добровольно власть не отдаст. Реформ придется добиваться силой, оружием. Он не скрывал своих планов от людей близких. Среди них были Киселев и Денис Давыдов. Согласные с Орловым в необходимости перемен, они не верили в реальность его мечтаний. «Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России», — писал Давыдов Киселеву.

Орлов не хотел ждать. Этот собеседник Наполеона слишком хорошо знал карьеру генерала Бонапарта.

Готовя сильные и тайные средства, он пробовал и легальные пути. В пятнадцатом году, почти одновременно с Киселевым, он подал Александру записку об отмене рабства. Записка осталась без последствий.

Он вел переговоры с лидерами Союза спасения, а затем — после ликвидации этого общества — вступил в Союз благоденствия.

Он мог выбрать тактику, на которую уповал Киселев, — сперва сделать карьеру, а потом уж

со служебной высоты влиять на ход государственных дел. Но Орлову все казалось близким и достижимым. Избыток сил и горячее брожение вокруг застилали взгляд и вплотную приближали линию исторического горизонта.

Его активность не осталась тайной для правительства. И когда в семнадцатом году Александр узнал, что Орлов собирает подписи под протестом против расширения границ Польши, о чем император подумывал, то фавор немедленно кончился. После долгих колебаний Александр назначил бывшего любимца начальником штаба 4-го корпуса, стоявшего в Киеве.

Судьба Сперанского научила тех, кто претендовал на роль реформаторов: поддержка Александра — ненадежная штука. Потому умный и осторожный Киселев присматривался к южным заговорщикам, заручаясь на всякий случай их дружбой и симпатией. Потому нетерпеливый и упорный Орлов искал опоры в военной силе, добиваясь строевой должности.

Весь путь его после пятнадцатого года: отказ от фавора, отказ от поста начальника штаба гвардии, стремление избавиться от поста начальника штаба корпуса, давшего ему спокойную жизнь под началом прекрасного человека, близкого ему

по духу и взгляду на вещи, знаменитого Раевского, — весь его путь — это путь к возможности открытого действия, не рядом с императором, но против императора.

Потомок героев столичной революции 1762 года, он верил в действие и поклонялся поступку. Все казалось возможным.

Логика и политический расчет меркли и отступали перед ощущением приближающихся событий.

Киселев, обдумывая свои планы, держался в стороне от потока, надеясь использовать возможный взрыв. Орлов подталкивал события и мечтал сам стать причиной взрыва. Вел он себя, на первый взгляд, безрассудно. В девятнадцатом году он произнес на заседании киевского Библейского общества речь, которая никак не подходила ни этому обществу, ни положению оратора — высшего военного начальника в городе в тот момент. Он с презрительным негодованием объявил себя врагом тех, кто стоял у власти в империи, имея союзниками мракобесов европейских: «Сии политические староверы руководствуются самыми странными правилами: они думают, что вселенная создана для них одних, что они составляют особенный род, избранный самим промыслом

для угнетения других, что люди разделяются на две части: одна, назначенная для рабского челобития, другая для гордого умствования в начальстве. В сем уверении они стязают для себя все дары небесные, все сокровища земные, все превосходство и нравственное и естественное, а народу предоставляют умышленно одни труды и терпение. От сих правил родились все уничижительные для рода человеческого системы правления, коих начало должно искать не столько в честолюбии законных преемников власти, сколь в пагубных изобретениях ласкателей земных владык и друзей невежества.

С некоторых пор число сих последних чрезвычайно увеличилось».

Он прямо метил в тех, кто окружал императора, отправившего Киселева в Тульчин, его, Орлова, в Киев, и оставшегося в окружении «ласкателей», с Аракчеевым в главных советниках.

Киселев эти настроения своего друга прекрасно знал. Недаром же он был членом офицерского кружка, созданного Орловым еще в восемьсот седьмом году, — кружка, в котором, как вспоминал другой его участник, Сергей Волконский, «едко разбирались вопросы, факты минувшие, предстоящие, жизнь наша дневная с впечатле-

ниями каждого». Недаром же Павел Дмитриевич принимал участие в этих едких разговорах, которые свелись к признанию неизбежности реформ и сочинению записки царю — с требованием реформ.

Верный своей тактике, Киселев выдвигал вперед людей, способных раскачать, расшатать, а быть может, и взорвать топтавшуюся на месте махину империи с ее рабством и деспотизмом, под которой уже явственно колебалась почва. Он тоже хотел «предупредить страшную и неизбежную катастрофу, грозящую отечеству». Но черную и рискованную работу Павел Дмитриевич предназначал другим.

Преодолев упорное нежелание царя, он добился назначения Орлова командиром 16-й дивизии усиленного состава. С этого момента начался стремительный, до головокружения, рывок генерала Орлова к триумфу или катастрофе.

«У меня 16 тысяч под ружьем, 36 орудий и 6 полков казачьих, — писал он Александру Раевскому. — С этим можно пошутить». Он имел в виду войну за освобождение Греции, о которой много толковали. Но — не только. Война за свободу Эллады могла перерасти и в поход «à la Риэго» — за свободу России.

С первых же дней своего командования он стал делать все, чтобы привязать к себе солдат, — отменил телесные наказания, искоренял злоупотребления и воровство командиров, отстранял и отдавал под суд офицеров, отличившихся жестокостью. Через несколько месяцев он стал кумиром своих полков, готовых следовать за ним куда угодно.

Это была отнюдь не только филантропия — «фальшивая филантропия», как говаривал обеспокоенный Киселев, — но прежде всего политический расчет. Более чем кто бы то ни было из потенциальных мятежников веривший в рискованные приемы XVIII века, готовый играть ва-банк, генерал Орлов готовил из своей дивизии ударную силу будущего переворота.

Он сознательно и твердо выбрал именно этот путь, а не путь легальной государственной карьеры: «Улыбка фортуны не значит для меня ничего, событие — все». К этому событию — революции — он предпочитал идти прямо, не пятная себя использованием окольных путей: «Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении и потом они уже не подымутся, потому что тогда будут нужны чистые люди».

Вести себя так, как вел Орлов, можно было, только предвидя близость «всеобщего крушения». Он готовился. И можно с уверенностью сказать: продержись он на своем посту до междуцарствия двадцать пятого года, 16-я дивизия могла повернуть события по-иному…

Он не продержался. Его поведение было слишком демонстративным.

Орлов был отстранен от командования дивизией без нового назначения. Перед этим по доносу арестовали близкого к нему майора Владимира Раевского, «спартанца», сторонника крайних действий. И друга Пушкина.

Разгром «орловщины», как называли 16-ю дивизию, разгром кишиневского центра будущего «всеобщего крушения» произошел на глазах у Пушкина.

Они были знакомы еще с семнадцатого года, когда Орлов пытался — и не без успеха — превратить в радикальную политическую организацию «Арзамас».

Потом, когда они встретились в Кишиневе, где располагался штаб орловской дивизии, один был ссыльный, другой — лидер военной оппозиции, получивший в руки немалую воинскую силу, полный надежд и планов. Они виделись часто,

иногда — ежедневно. Отношения их были далеки от гармонии. Они постоянно спорили. Политэкономические идеи Орлова тогда не слишком занимали Пушкина. Орлов, чрезвычайно ценивший Пушкина-поэта, со снисходительной насмешливостью относился к молодому проповеднику крайних мер и бретеру. Он ценил идеи, сопряженные с реальной силой. За Пушкиным он этой силы не видел.

Пушкин, чувствуя отношение генерала, отвечал форсированной полемикой, доходящей иногда до дерзости. Они оказывались на пороге ссоры…

Но грозно-веселая атмосфера орловского окружения, сулившая скорые и сокрушительные события, мощно притягивала и электризовала душу Пушкина.

Огромный красавец Орлов, с могучим, рано полысевшим черепом, сильным, уверенным голосом полководца, казался необоримым. Рядом с ним генерал Павел Пущин, командир бригады, либерал, мастер кишиневских масонов. «Грядущий наш Квирога» — назвал его, хотя и слегка иронически, Пушкин. Квирога — соратник вождя испанской военной революции Риего. И если Пущин — Квирога, то Риего — Орлов.

Вигель, наблюдавший жизнь генеральского дома, пристрастно, но точно ее очертил: «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский с жаром витийствовали. Тут был и Липранди… На беду, попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий московской муравьевской школы, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприяты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками русский генерал князь Александр Ипсиланти… Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии».

Все это казалось таким стремительным и несокрушимым. И все рухнуло в считаные дни.

Единственно, что смог Пушкин, — предупредить заранее Раевского об аресте, чтоб тот сжег опасные бумаги…

Кишиневская катастрофа Пушкина ошеломила, оставив в нем неизживаемое чувство бессилия и горькой обиды за это бессилие. Отсюда и пошло

двойственное его отношение к заговорщицкой революционной тактике…

Арестованный после 14 декабря Михаил Федорович в разговоре с глазу на глаз оскорбил молодого императора презрительным отказом отвечать на его вопросы. Николай с неутоленной ненавистью вспоминал потом, что Орлов держался с ним как высший с низшим. Он отлично понял высокомерное презрение Орлова — и никогда ему не простил.

От каторги Михаила Федоровича спасли мольбы его брата Алексея, который объявлен был одним из героев подавления мятежа, одним из спасителей отечества, хотя роль его в этот день была скромна и даже двусмысленна.

Михаила Федоровича отправили после недолгого сидения в крепости в имение — без права выезда. А затем перевели в Москву — под строгий надзор полиции.

Здесь и началась настоящая его трагедия — трагедия бессильного прозябания гиганта с неподавляемой волей к действию…

В Орлове, гиперболической фигуре, кавалергарде Орлове, в двенадцатом году с летучим отрядом захватывавшем мосты впереди армии, в генерале-заговорщике, концентрировавшем в себе

бешеную энергию революционного напора, тираноборце, за широкой спиной которого маячили тени молчаливых гренадер Миниха, скинувших одним натиском диктатуру Бирона, штыки веселых лейб-компанцев, в одночасье вознесших на престол красавицу Елизавету, палаши буйных офицеров во главе с его дядьями, без колебаний убивших законного императора ради незаконной императрицы, ибо они верили, что спасают Россию, — в могучем Орлове так зримо и горько воплотилась драма тех, кого труба истории призвала к действию и кто был от этого действия отлучен, отсечен рудниками и острогами Сибири, полуссыльным прозябанием, постылым ярмом нелюбимой службы…

Положение его было тягостно во всех отношениях. Он не мог не чувствовать невольной вины перед теми, кто жил теперь под сибирским небом. Волконский, Лунин — друзья молодости, участники его кружка восемьсот седьмого года, что они думают о нем, всегда рвавшемся быть впереди и — увильнувшем от расплаты, равной со всеми? На следствии, не нанеся никому из них вреда, он тем не менее отрекся от них. Это терзало его гордость.

Он жил барином, он ходил по московским

улицам, входил в московские гостиные с той же осанкой льва, героя, титана, бросающего вызов богам. Но все знали о его бессилии.

Он не был объявлен преступником, но знакомство с ним было опасно. Его сторонились.

С ним разговаривали, оглядываясь — не видит ли кто? Он пробовал саркастически шутить — его шутки встречали холодно.

Он упорно не хотел верить в свое окончательное поражение. Как некогда он ждал момента для решительного действия, так теперь, вопреки логике и здравому смыслу, ждал перемены правительственного курса, чтоб предложить свои экономические идеи.

В январе тридцать второго года он поверил слухам о планах экономических реформ, задуманных правительством, и немедленно написал Вяземскому: «Ежели ты можешь исполнить мое желание без затруднений, без препятствий, без вреда тебе и твоей будущности, то разрешаю действовать. В противном случае умоляю и заклинаю тебя не подвергаться никакой опасности из лишнего желания исполнить дружеское поручение. Помни мои слова: ежели из дружбы ко мне ты испортишь твои дела, то, во что бы то ни стало, я поссорюсь с тобою и навеки откажусь от

всякой дружбы».

Он и понимал, во что может обойтись явная связь с ним, и не удержался от попытки вывести на свет свои идеи.

«…Распущенные слухи заставляют меня прежде систематического полного свода моих мыслей объявить о том правительству и просить настоятельно, чтоб оно благоволило снестись со мною прежде принятия какой-либо решительной меры. Я долго был изгнан, в несчастии, под строгим присмотром полиции; но бедствия, мною претерпенные, подавив во мне ту часть деятельности, которая поддерживается успехами, не помрачили моего рассудка, не потушили в сердце моем священной любви к России и ко всему родному. Я все-таки остаюсь человеком, известным моею честностью и не совсем безызвестным умом и некоторыми способностями. Неужто можно отвергать мысли, полезные для всего отечества, единственно оттого, что они принадлежат человеку, находящемуся в бедствии и опале? Я ласкаю себя надеждою, что, каково бы ни было мнение правительства обо мне, оно не сравнивает меня с каким-либо делателем фальшивых ассигнаций, а и таковых иногда призывали в присутствие для отобрания их мнения».

Он ошибался, потому что хотел ошибиться. Николай смотрел на него с куда большим озлоблением и недоверием, чем на любого уголовного преступника, и не воспользовался бы его советами, даже если бы они разрешили все тяжкие вопросы государственного бытия. Как писал умный современник, Николай скорее согласен был «простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи».

В лице мятежного генерала, посягавшего некогда на основы самодержавия, Николай отсек от практической деятельности погибающий, но не смиряющийся со своей гибелью дворянский авангард. Император получал особое злорадное удовольствие, отворачиваясь от любых попыток этих людей оказаться полезными государству. Или же требовал полной капитуляции — унизительной и демонстративной.

В тридцать первом году ему показалось, что Пушкин капитулировал. Последующие годы оказались болезненным процессом взаимного разочарования…

С Орловым же все было ясно с самого начала — он был обречен на бездействие, что бы он ни предлагал. А предлагал он меры, которые порадо-

вали бы и Пушкина, и Киселева.

Одной из главных его идей была идея возрождения дворянства путем образования двух видов майоратов — «чистых майоратов, для тех только родов дворянских, которые довольно богаты, чтобы исполнить сие без конечного разорения прочих членов своего семейства» и «нераздельности некоторых участков имений дворянских, составляющих, так сказать, гнездо каждого дворянского рода». Для образования этого — второго — вида майоратов Михаил Федорович предлагал своеобразную систему: при каждом разделе имения между наследниками (отчего и происходило мельчание имений и конечное разорение) каждый из них отдавал часть своего земельного наследства в специальный фонд, и этот фонд объявлялся неделимым впредь, то есть майоратом. Владельца майората, который бы в целости передавал его по наследству старшему в роде, определяло не государство, но семейный совет. Дворянские семьи, таким образом, сами получали право выдвигать хранителя родового гнезда.

Вообще же программа Орлова состояла из трех пунктов: «во-первых, обогащения казны и развития ее кредитной силы; во-вторых, учре-

ждения майоратов, или возрождения дворянства; в-третьих, улучшения крестьянского быта, или постепенного освобождения народа».

Пушкин финансовыми проблемами не занимался, но два последних пункта совершенно совпадали с его программой, как и с программой Киселева.

Более того, Михаил Федорович необходимым и неотложным считал и еще одно: «затворить двери дворянства для этой толпы приказных, которые из пера сделали род промышленности, а из безнравственности — средство к своему обогащению». Это совершенно совпадало с пушкинской идеей отбрасывания бюрократии… Возрожденное дворянство и освобожденное крестьянство — против бюрократии.

Никакие министры в сношения с Орловым не вошли.

Он стал добиваться права издать книгу, которую он писал много лет, — «О государственном кредите». Кроме собственно финансовых и экономических выкладок, в ней содержалось и немало соображений совсем иного толка и характера. Михаил Федорович объяснял в ней обязательную связь политических и экономических усовершенствований. Как и пятнадцать лет назад, — но

еще острее от сознания своего бессилия, — он предчувствовал воздымание низовой мятежной стихии и пытался предостеречь власть, показать выход. Ему внятно было знаменитое изречение Маколея: «Если не хотите, чтоб вас прогнали, проводите реформы».

Благодаря хлопотам могущественного старшего брата Михаил Федорович книгу издал. Но все имевшее политический смысл было из нее изъято цензурой. Эту операцию: с одной стороны, удружить Алексею Орлову, а с другой — обезвредить сочинение затаившегося крамольника — виртуозно провел свеженазначенный товарищ министра народного просвещения Сергий Семенович Уваров. Главным орудием его в этом деле стал член Главного цензурного управления барон Бруннов, который через полтора года соберет материал, необходимый для удушения «Московского телеграфа». Проницательный барон не рекомендовал «распространять между соотечественниками такое сочинение, которое ясно предвещает внутреннее преобразование политического состояния народа посредством развития государственного кредита…».

Маневры Уварова имели точный смысл. Формуле Орлова и Пушкина: «Возрожденное дворян-

ство и освобожденное крестьянство — против самодержавия и бюрократии» — он категорически противопоставил другую: «Самодержавие, бюрократия и смирившийся с рабством народ — против беспокойного дворянства».

Осенью тридцать второго года, когда Орлов начал свои попытки снова вернуться к деятельности, он писал Пушкину:

«Обманщик! Неужели ты способен уехать из Москвы, не простившись со своими лучшими друзьями?

Весь твой

М. Орлов».

После длительной разлуки они встретились в Москве — равными. Предметы, над которыми размышлял и о которых писал Орлов, Пушкина чрезвычайно занимали, и, естественно, они при встрече о них толковали подробно.

Пушкин был полон надежд, да и Орлов надеялся. То, что предлагал Михаил Федорович, помогало Пушкину отточить и сформулировать собственные соображения. К чему он и приступил вскоре, набрасывая программную статью «О дворянстве». Эти общие их мысли пытался он внушить в тридцать четвертом году великому князю Михаилу.

То, чем всю жизнь жил Орлов: парадоксальное и острое сочетание переворотного запала восемнадцатого века, с его бесхитростным устремлением к силовому действию, с тонкой и рефлексирующей политической культурой века девятнадцатого, — было Пушкину близко и внятно, как никому иному.

Они далеко не во всем сходились. Но в одно твердо верили оба: только возрожденное, просвещенное и независимое от самодержавия дворянство может обуздать деспотизм и провести эффективные реформы. А в том, что деспотизм обуздать, а крестьян освободить необходимо во избежание катастрофы, — не сомневались оба.

В несколько экземпляров своей искалеченной книги Орлов вклеил выброшенные страницы и разослал эти экземпляры наиболее близким людям. В том числе и Пушкину.

Книгу Орлова постигла та же участь, что и «Историю Пугачева». Общество не обратило на эти труды особого внимания. Изоляция дворянского авангарда с его нетерпеливыми идеями завершилась…

Февральским днем тридцать пятого года в доме на Малой Дмитровке встретились два генерала, двадцать семь лет назад, в восемьсот восьмом

году, составившие первый свой политический документ — прошение о реформах. Встретились люди, чьи положительные идеи близко подходили друг к другу, а практические действия столь разнились.

Теперь пришла пора подвести итоги и посчитаться правотой.

Оба они были еще хороши собой, но той львиной осанки, которая поражала в Орлове, у Киселева никогда не было. А свое гибкое изящество он, отяжелев, несколько потерял.

Но Павел Дмитриевич предвкушал создание нового комитета, плодотворные труды, поддержку государя и — наконец — завершение дела, о коем он мечтал смолоду. Освобождение крестьян — даже в первом приступе к нему — повлечет за собою лавину перемен. Это было ему ясно. Он весь был полон предвкушением торжества.

Ему казалось — да и не только ему! — что мечты их общей с Орловым молодости, наиболее разумные из предположений Пестеля, Трубецкого, Муравьевых, мечты, ради которых расшибались и гибли люди дворянского авангарда, приобретают положительную реальность — без мятежей, без крови, без риска народного возмущения.

Последний удачник и мечтатель минувшей

эпохи, Павел Дмитриевич и представить не мог, что его ждет…

Орлову в тридцать пятом году надеяться было уже не на что. Свое поражение он сознавал в полной мере. Но и скрытое ликование Киселева вызывало в нем насмешливое недоверие.

«На кого он полагается? — думал Михаил Федорович, слушая гостя. — Кто станет ратоборствовать с ним заодно?»

— Ты останешься один, — сказал он вслух. — Недостаток людей — вот наше несчастие. Я еще из Киева писал — тебе ли, Раевскому ли Александру, что, мол, найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и отважных — все приняло бы другой вид. И сейчас тебе то же повторю.

— Отчего ж, — отозвался Киселев и неприязненно посмотрел в сторону, — нашлись тогда, в декабре, люди — и что? Много пользы? И мы с тобою — спасибо им! — по краю прошли…

— Мы с тобою… — без выражения повторил Орлов и тяжело покивал могучей головой.

— Мы с тобою, да. — Киселев к нему наклонился. — Мы оба не действовали, но сколько знали… Судьба!.. И как мне жаль, что ты дал себя замарать так безрассудно. Мы сегодня вместе были бы — и кто тогда против нас?.. Крайности покойного

Пестеля и ныне отвергаю, а что было положительного — и теперь с нами. Быть может, Господь меня для того и сохранил, чтоб все мечтания наши — положительные мечтания — стали делом. Ты хорошо помнишь, видать, старые письма, да и я — недурно. Я тебе в Киев писал, что ты себя к великому определяешь, а я — к положительному. И ты — не успеешь, а я — успею.

— Нет, — сказал Орлов, — нет. Поздно. Ты свою фортуну упустил тогда. Промедлили, проспорили, проболтали… Поздно. Не наше время. И не твое.

Киселев смотрел на него с жалостью.

— Мне десятерых и не надо. — Он встал. — В России десятерых в таком деле не надо. Один надобен. Он есть. Ты государя не знаешь. Ты не понял…

— Я-то понял, — сказал Орлов, глядя на него из-под широкого выпуклого лба снизу вверх. — И мне тебя жаль… И до смерти жаль Россию.

Киселев уехал в Петербург, куда его торопили Алексей Орлов и Бенкендорф, уверенный, что переупрямил и перехитрил всех.

Михаил Федорович остался — мучительно томиться и делать вид, что он доволен жизнью.

Кто хотел видеть, видел его муку. «Тогда он был еще красавец: „чело, как череп голый“, антич-

ная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное. Именно с такой наружностью можно увлекать людей… Снедаемый самолюбием и жаждой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смевшего даже рычать». Так писал Герцен, знавший его в те годы и любивший.

А совсем неподалеку так же смертельно томился другой гигант — опальный Ермолов.

Самый популярный военачальник после смерти Багратиона и Кутузова, человек с тираноборческими идеями в молодости и с безудержно честолюбивыми мечтами в период правления Кавказом и не менее, чем у Орлова, поражающей внешностью — «голова тигра на геркулесовском торсе», как сказал Пушкин, — он был удален Александром из Петербурга с не меньшим основанием, чем Орлов.

Император считал, видимо, что у него есть основания опасаться ермоловской популярности…

Ростовцев в письме Николаю 12 декабря двадцать пятого года предупреждал, что Ермолов наверняка будет против его воцарения. И Николай свято поверил.

А в Петербурге после подавления мятежа ждали — кто с ужасом, кто с надеждой, — не двинет

ли Ермолов свой корпус на столицу…

Как только представилась возможность, молодой император отстранил Ермолова от командования, но еще несколько лет демонстративно оказывал ему знаки внимания.

Но Ермолов не обольщался. Он терпеть не мог Николая и не верил ему.

А Николай не верил Ермолову. И не собирался его снова выдвигать и давать ему в руки воинскую силу.

И Ермолов это понимал.

На толки о его новом назначении он отвечал, что считает для себя подходящим более всего место московского митрополита…

В начале тридцатых годов Александр Булгаков встретил опального героя у общих друзей в подмосковной деревне: «Потолстел очень, весь седой, обедал, сидел до вечера и отправился обратно в тележке один-одинешенек…»

Из плеяды, на которую уповали декабристы, остался в действии генерал Киселев.

Поединок с Уваровым (1)

…Я не премину обращать особенное внимание на тех… кои по успехам, благонравию, скромности и покорности к начальникам окажутся достойными.

С. С. Уваров

Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще).

А. С. Пушкин

Сергия Семеновича ни в коей мере не удовлетворяло второе место. Он не собирался долго оставаться товарищем министра. Он должен был стать министром. Причем министром с неограниченными правами в своей сфере. А потому следующий шаг надо было продумать тщательно — чтоб он оказался действенным и безошибочным.

Устранение своего нынешнего патрона, князя Ливена, и собственное возвышение Уваров рассчитывал, как математик, — обстоятельства внешние, собственные поступки, время действий. Это была диспозиция генерального сражения.

Очевидно, он консультировался и согласовывал свои действия с Бенкендорфом.

Целью главного удара он избрал Московский университет.

Московский университет был под подозрением. В нем постоянно случались истории. Совсем недавно разгромлен был постдекабристский кружок братьев Критских — студентов Московского университета. В тридцать первом году полиция раскрыла революционный кружок бывшего студента университета Сунгурова, к которому прикосновенны были и другие студенты. В другой вольнодумный кружок, возникший в том же году, входил вольнослушатель университета Адольф Кноблах… В университете было неблагополучно.

Уваров знал, что делал. Он умело создавал себе репутацию среди людей просвещенных, молодых преподавателей, совсем его не знающих, — ведь он не был прикосновенен к университетам около десяти лет.

14 мая он вызвал только что назначенного адъюнктом Петербургского университета двадцатишестилетнего Александра Васильевича Никитенко. Крепостной интеллигент, в девятнадцать лет был отпущен на свободу своим

хозяином, графом Шереметевым, под давлением общественного мнения (на дворе 1824 год!), одним из организаторов которого был Рылеев (Никитенко в записках назвал его «редким по уму и сердцу человеком»). В двадцать пятом году он был домашним учителем у младшего брата Евгения Оболенского. Живший на квартире у Оболенского в роковые дни междуцарствия, свидетель офицерских собраний у начальника штаба восстания в дни перед мятежом, Никитенко сжег свой дневник за 1825 год. Школа этих месяцев сформировала его сознание на много лет вперед. В феврале тридцать второго года он записал: «„Европейца“ запретили. Тьфу! Да что же мы, наконец, будем делать в России? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!»

Именно так реагировал на запрещение журнала Киреевского, на который возлагал большие надежды Пушкин, и весь пушкинский круг.

Уваров умел читать в душах и понимал людей. С Никитенко он говорил соответственно, зная, что разговор не останется тайной.

«У нас новый товарищ министра народного просвещения, — записал 14 мая знакомец Рылеева и Оболенского, — Сергей Семенович Уваров. Он желал меня видеть; я был у него сегодня. Он

долго толковал со мной о политической экономии и о словесности. Мне хотят дать кафедру последней. Я сам этого давно желаю. Уваров человек образованный по-европейски; он мыслит благородно и как прилично государственному человеку; говорит убедительно и приятно. Имеет познания, и в некоторых предметах даже обширные. Физиономия его выразительна. Он давно слывет за человека просвещенного. С помощью его в университете принята и приводится в исполнение „система очищения“, то есть увольнения неспособных профессоров…

Июль. 6. Опять был у товарища министра. Разговор с ним во многом вразумил меня относительно хода наших политических дел, нашего образования и прочее».

Никитенко был человек умный и взглядов либеральных. То, что Уваров намеренно очаровывал его и очаровал, — характерно. Симпатии Никитенко говорят о широкой популярности, которую Сергий Семенович быстро снискал себе в университетских кругах, — причем среди людей молодых и достойных. Вскоре Никитенко поймет цену разговорам Уварова, но далеко не все окажутся столь проницательны.

Это был противник, сильный не только своим

официальным положением…

В то время как Уваров вел благородные беседы с бывшим крепостным, он готовился к решающему шагу, продуманному им до мелочей.

25 июля 1832 года он обратился к своему шефу:

«Милостивый государь,

князь Карл Андреевич.

Желая посвятить время отсутствия Его Императорского Величества на обозрение Московского университета и части учебного округа, я покорнейше прошу Вашу Светлость представить о сем на высочайшее государя императора благоуважение. Отбытие мое в Москву и окрестности оной, кажется, не продлятся далее одного или полутора месяцев, считая со дня моего отправления, буде Вы, милостивый государь, с Вашей стороны не найдете препятствия к исполнению сего предположения».

Министр народного просвещения его светлость князь Ливен, генерал от инфантерии, естественно, не нашел препятствий для столь похвального рвения и доложил императору.

Николай, во-первых, умилился стремлению товарища министра использовать в интересах службы свободные летние месяцы, когда двор и сам государь переезжали в Царское Село и жизнь

в министерствах замирала, а во-вторых, сделал то, на что и рассчитывал Сергий Семенович. Николай написал на прошении: «Согласен, обратить особое внимание на Московский университет и гимназии».

Теперь Уваров отправлялся в Москву с личным поручением царя, что давало ему возможность по возвращении отчитаться лично перед ним же.

Оставалось составить такой доклад, чтобы он произвел на Николая более чем благоприятное впечатление и сделал его соучастником уваровского замысла.

Уваров пробыл в Москве значительно дольше, чем предполагал, — до начала ноября. Он вел себя очень осмотрительно, стараясь никого не раздражать. Наоборот, он продолжал свою тактику: очаровывал склонную к либеральности часть публики и студенчества. Как и в прошлом году, он пытался воспользоваться авторитетом Пушкина, демонстрируя свою приязнь к поэту.

Когда требовалось в интересах карьеры, Уваров умел до времени скрывать свои обиды и антипатии. Пушкин тоже не выставлял напоказ свое истинное отношение к Сергию Семеновичу. Помимо всего прочего, оба были людьми светскими. Гончаров, бывший тогда студентом университе-

та, вспоминал: «Когда он (Пушкин. — *Я. Г.*) вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в это время был в чаду обаяния его поэзии; я питался ею, как молоком матери… Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование… И вдруг этот гений, эта слава и гордость России — передо мной в пяти шагах. Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы.

„Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, — а вот и самое искусство“, — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно заранее приготовленную».

Вскоре после этой публичной демонстрации товарищ министра пригласил к себе на обед Пушкина с тем же любимцем студентов Давыдовым и адъюнктом университета Максимовичем, человеком к Пушкину близким.

Это были действия второстепенные, но тонкие, — Уваров не желал прослыть ренегатом, жандармом от просвещения, солдафоном от науки. В той роли, которую он себе готовил в будущем, ему, хотя бы на первых порах, требовалась

поддержка общественного мнения. Его упорные заигрывания с Пушкиным объяснялись именно этим. Недаром же и свою верноподданность в бурном тридцать первом году он выразил при помощи пушкинских стихов.

Но все три московских месяца Уваров прежде всего обдумывал отчет, который он должен был представить царю…

Ограниченный карьерист стал бы доказывать зараженность университета пагубными идеями и требовать суровых мер. Царь бы этому поверил и, возможно, меры бы принял. Но это был привычный, рутинный путь. Поразить и завлечь императора этим не удалось бы. Необходимо было предложить нечто совершенно иное — положительное и конструктивное. Не огорчить Николая подтверждением его подозрений, а опровергнуть их, обрадовать добрыми перспективами.

И Сергий Семенович решился не разоблачать, а хвалить. Не тащить назад, а предречь блистающее будущее…

Он умно подготовил почву: в сентябре написал дружески ироническое письмо своему покровителю Бенкендорфу. Он написал это письмо после того, как проезжавший через Москву — из

Воронежа в Петербург — император приказал ему продолжить свои наблюдения. Под светски шутливым флером послания скрыты были те соображения, которыми товарищ министра надеялся подкупить царя: «Я не заблудился на шоссе между Москвою и Петербургом и не засел в каком-нибудь уголке нашего Отечества. Я был совершенно готов к отъезду, когда, по приказанию государя, остался еще. Когда это приказание будет исполнено, я отправлюсь в путь. Итак, не посылайте ваших жандармов разыскивать меня: они могут найти меня спокойно сидящим в одном из здешних учебных заведений. Замедление моего отъезда дает мне возможность окончательно осмотреть университет, так как, хотя я и провожу там каждое утро, я нахожу что-нибудь заметить и о чем-нибудь распорядиться… Это жизненный вопрос, ибо Московский университет служит представителем всех других. Покуда я могу с удовольствием уверить Вас, что самое полное спокойствие не перестает господствовать среди университетской молодежи и что я могу лишь похвалить те чувства, в которых я ее оставляю при моем отъезде… Я сочту себя очень счастливым, если результатом моего здесь пребывания будет восстановление в среде молодежи порядка

и возможность успокоить в этом отношении нашего августейшего государя».

Прежде всего надо было опять-таки заручиться сочувствием Бенкендорфа, чтоб не встретить в нем препятствия при наступлении на благосклонность царя. И Сергий Семенович проделывал это со смиренным изяществом.

В ноябре 1832 года император получил и в самом деле поразивший его доклад. В важном разделе «Об общем духе университета» говорилось: «Утверждая, что в общем смысле дух и расположение умов молодых людей ожидают только обдуманного направления, дабы образовать в большом числе оных полезных и усердных орудий правительства, что сей дух готов принять впечатления верноподданнической любви к существующему порядку, я не могу безусловно утверждать, чтобы легко было удержать их в сем желаемом равновесии между понятиями, заманчивыми для умов недозрелых и, к несчастию Европы, овладевшими ею, и теми твердыми началами, на коих основано не только настоящее, но и будущее благосостояние Отечества; я не думаю даже, чтобы правительство имело полное право судить слишком строго о сделанных, быть может, ошибках со стороны тех, коим было некогда вве-

рено наблюдение за сим заведением, но я твердо уповаю, что нам остаются средства сих ошибок не повторять и постепенно завладеть умами юношества столько же доверенностью и кротким назиданием, сколько строгим и проницательным надзором, привести оное почти нечувствительно к той точке, где слиться должны к разрешению одной из труднейших задач времени образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке с глубоким убеждением и с теплою верою в истинно русские хранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества».

Здесь было все — и признание трудности задачи, и мягкая констатация, что сотрудники нынешнего министра князя Ливена наделали ошибок, которые еще можно исправить, но нельзя повторять, и близкая императору идея сочетания мягких и жестких мер, и счастливая уверенность, что правильным ведением дела можно вырастить людей одновременно европейски образованных и азиатски преданных власти. А главное, Николай увидел сразу пленившую его формулу — православие, самодержавие и народ-

ность, которая так выразительно оформляла его собственную смутную доктрину.

Провозглашение «народности» как основополагающего принципа давало необъятный простор для демагогии. Народность — вырастание принципов власти из народного характера и народной истории, а отсюда — единение власти и народа. Деспотической власти и угнетенного народа. Отсюда — социальный мир без коренных реформ.

Это было могучее оправдание репрессий против любой формы оппозиции, идея, чьи корни уходили во времена Ивана Грозного.

И наконец, «последний якорь нашего спасения»… Товарищ министра, которому он так долго не решался поверить, ощущал то, что мучило и его, Николая, — близость чего-то страшного и необходимость умных и положительных мер. Ни в ком другом из окружавших его Николай не находил этого понимания. (Киселев еще был в Бухаресте, а Сперанский, навсегда сломанный опалой, а затем и событиями 14 декабря, не решался ни на чем настаивать.)

Да, этот Уваров правильно понимал, что наступившее время требует новых способов воспитания. Что именно через завладение умами вступавших в жизнь поколений можно обеспе-

чить спокойствие державы…

У Сергия Семеновича хватило тонкости не выставлять себя мгновенным победителем духа крамолы в молодых умах. Напротив, он преподносил императору радостную весть: чувства любви и преданности к престолу и отечеству сами по себе живут в душах студентов. Надо только уметь эти чувства выявить и направить. После всех этих Критских и Сунгуровых новый товарищ министра просвещения мирил императора с его юными подданными, мирил со студенчеством. И это было отрадно.

За все последние годы император не читал более обнадеживающего доклада. Он начал догадываться, что университетское начальство и министерство просто не умели найти способов правильного воспитания.

«В противоположность протчих журналов, доставлять читающей публике, особенно молодым людям, пищу чистую, зрелую, предохранительную, пищу, сообразную с умственными силами молодых читателей, согласную с потребностями их возраста, образования и будущего назначения в жизни… Желая возобновить ученую деятельность профессоров, имел я еще в виду и то, чтобы посредством сего журнала внушить молодым

людям охоту ближе заниматься историей отечественной, обратив большее внимание на узнавание нашей народности во всех ее различных видах. Не только направление к отечественным предметам было бы полезно для лучшего объяснения оных, но оно отвлекло бы умы от таких путей, по коим шествовать им не следует; оно усмирило бы бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлеченному в туманной области политики и философии. Не подлежит сомнению, что таковое направление к трудам постоянным, основательным, безвредным служило бы некою опорою против так называемых европейских идей, грозящих нам опасностию, но силу коих, обманчивую для неопытных, переломить нельзя иначе, как через наклонность к другим понятиям и началам. В нынешнем положении вещей и умов нельзя не умножать, где только можно, число умственных плотин. Не все оные окажутся, может быть, равно способными к борьбе с разрушительными понятиями, но каждая из них может иметь свое относительное достоинство, свой непосредственный успех».

Император чувствовал, что за программой воспитания юношества, за разговорами о проблемах университетских стоит нечто гораздо более

серьезное — программа воспитания всех подданных вообще, решение проблем отношений власти и населения без применения чугунной картечи. Он чувствовал, что ему предлагается некое новое оружие. И не ошибался.

Раздел доклада под названием «О моральном восстановлении Московского университета» Уваров закончил с неотразимой патетичностью: «Сюда, с другой точки зрения, принадлежит также обязанность начальства иметь в непрерывном наблюдении все части сего заведения, дать каждой из них надлежащее движение, доставить учащим и учащимся более средств, более пособий, чем имелось доныне, пояснить их понятия о том, чего требует от них правительство, следовать за всеми изменениями, за всеми изгибами важного вопроса, так сказать, олицетворенного в Московском университете, и коего удачное разрешение дало бы, без сомнения, и новый блеск благополучному царствованию возлюбленного монарха, и новую прочность существующему порядку, показавши, что в краеугольном начале оного находится для нас, русских, источник всех тех умственных сил, служащих не к разрушению, не к беспорядку, не к вольнодумству политическому и религиозному,

а к созиданию и утверждению отечественного блага на незыблемом подножии самодержавия твердого, просвещенного, человеколюбивого».

Уваров с некоторой даже дерзостью, прикрытой верноподданнической декламацией, утверждал, что речь идет о «важном вопросе», частным — всего лишь — случаем которого является Московский университет, избранный им как полигон для испытания новых методов воздействия на умы. На самом же деле имеется в виду «новая прочность существующего порядка», ибо «старая прочность» вызывает сильнейшие сомнения.

Это говорилось вскоре после катаклизмов тридцать первого года в России и французской революции тридцатого года.

В отличие от Пушкина, Уваров предлагал обмануть историю, перепрыгнуть через ее законы.

Пушкин писал: «Петр не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

Для Петра неминуемым следствием просвещения была народная свобода. Развитие индивидуальной самостоятельности и независимости. Для Николая — тоже.

Петр не страшился народной свободы, ибо рассчитывал подавить любое ее проявление штыками верной ему гвардии и армии.

Николай — в отличие от первого императора, — отягощенный опытом дворцовых переворотов, столичных революций, а паче всего мятежом у Сената и бунтом военных поселений (оба раза судьба династии висела на волоске), предпочитал не доводить дело до новой пробы сил. Он понимал, что придется лавировать.

«Я всех философов в чахотку вгоню!» — сказал великий князь Николай Павлович незадолго до вступления на престол.

Но император Николай I понимал, что вовсе без просвещения не обойтись. Просвещение, однако, влекло за собой порывы к свободе. Получался замкнутый круг.

Уваров предлагал выход. Уваров обещал стремительное, но совершенно безопасное просвещение. Просвещение с вырванным революционным жалом. Духовное и научное движение вперед, покоящееся на могучей консервативной основе. Юноша, воспитанный по уваровской системе, должен был вырасти в просвещенного верноподданного. В просвещенного раба.

Новых философов, выращенных по этой систе-

ме, не было нужды вгонять в чахотку.

Это было чрезвычайно соблазнительно. Император понял, что пришел человек с идеями.

Занималась заря удивительного явления — уваровщины, попытки воздействовать на судьбу страны чистой идеологией, минуя экономическую конкретику.

Сами того не подозревая, Пушкин и Уваров столкнулись еще в двадцать шестом году…

Мысль о необходимости подкрепить карательные меры мерами воспитательными пришла Николаю сразу после его воцарения. По предложению правительства многие лица — как высокопоставленные, так и не очень — писали записки о негодности прежней системы воспитания юношества и желательности системы новой.

Пушкин — популярнейший среди неблагонадежной молодежи поэт, сам едва не погибший по вине своих заблуждений, а теперь примирившийся с властью, — был в этой ситуации фигурой самой подходящей. Если бы он написал по животрепещущему предмету то, чего хотел царь, — это стало бы сильным козырем в игре с общественным мнением.

30 сентября 1826 года Бенкендорф писал

Пушкину: «Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения: предмет сей должен представить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания».

Любимая идея титанов Просвещения о всесилии воспитания оказалась теперь в руках своекорыстных политиков, которые мечтали употребить ее в направлении, прямо противоположном тому, которое грезилось ее создателям…

Обращение к Пушкину было шагом вполне прагматическим. Бенкендорф ясно сообщал ему, чего ждет император. Им нужен был документ с очень определенным содержанием. И скорее всего, отнюдь не для келейного пользования.

«Мне бы легко было написать, чего хотели… — сказал после Пушкин Вульфу, с которым всегда был откровенен, — но не надо же пропускать такого случая, чтоб сделать добро». Он верил, что может воздействовать на образ мыслей Николая.

Уехав в Михайловское, в ноябре двадцать шестого года он написал записку, полную дипло-

матично и осторожно изложенных, но совсем не тех мыслей, которых от него ждали.

Прежде всего он представил императору картину предшествующих трагических событий отнюдь не как верноподданный, доказывающий свою лояльность, но как мыслитель, с высоты понимания исторического опыта взглянувший на поле недавней битвы.

«Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий…

Ясно, что походам 13 и 14 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах; должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья,

товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей. Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким опытом и которое скоро появится на поприще жизни со всею пылкостию первой молодости, со всем ее восторгом и готовностию принимать всякие впечатления».

Он не клеймил действователей заговора как преступников, он представлял их жертвой заблуждений, основанных на недостаточном знании жизни, на «недостатке просвещения». Он не хулил их конечные цели. Те же цели он считает естественными «у других народов». Он обвиняет восставших в несвоевременности выступления, когда политические изменения не обеспечены еще были «силою обстоятельств и долговременным приготовлением».

Он напоминает Николаю, что существуют «люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков», и, что удивительно, причиной их отказа от радикальных замыслов он выставляет не принципиальную порочность целей, но невозможность их осуществления в данных конкретных условиях — «ничтожность своих… средств» и «необъятную силу правительства». (Как уже говорилось, он

сознательно внушал императору чувство уверенности, которое должно было способствовать великодушию.)

Кто же эти люди?

За три месяца до «Записки» он писал Вяземскому: «…каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».

А теперь: «…братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением…» Он писал о себе. И с точки зрения друга, товарища, брата повешенных и закованных, который готов смириться с происшедшим ради будущего блага страны, он рассуждает о том, как направить энергию поднимающегося поколения на это благо и на союз с благоразумным правительством. Он ведет с правительством переговоры об условиях плодотворного мира: «Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла… Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». Стало быть, «необъятная сила правительства» отнюдь не способна предотвратить грядущие катастрофы, которые он прозревает. (Через восемь лет он будет внушать великому

князю Михаилу близость новых возмущений.) И не эта сила, а развитие человеческого духа, знание, которое ведет к пониманию сути исторического процесса, — вот где спасение России. «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства…»

Но просвещение он связывает с одним радикальным изменением государственной жизни — с уничтожением чинов. Он здесь впервые замахнулся не только на Табель о рангах — в некотором роде итог взаимоотношений Петра с свободными сословиями, — но на всю выросшую за сто с лишним лет бюрократическую систему — на структуру, пронизавшую государство. Он предлагал совершенно новые основы существования страны.

Однако, сознавая неимоверную трудность этой реформы, он дает и компромиссный вариант: «Можно, по крайней мере, извлечь некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием просвещения; должно увлечь все юношество в общественные заведения, подчиненные надзору правительства; должно его там удержать, дать ему время перекипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм».

Чины он предлагает сделать простой приманкой для получения серьезного образования. Для соответствующим образом воспитанного человека бюрократический яд уже не страшен. Из него получится гражданин, а не чиновник, безразличный к благу страны. Он ясно и твердо выступал здесь за истинное просвещение, ведущее к сознательному служению, против прагматического просвещения, выродившегося после Петра в воспитание бюрократов.

Трезво сознавая средний уровень дворянских семей, он решительно требует уничтожения домашнего воспитания. Это могло бы показаться странным, если бы сам он не объяснил свою позицию: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести».

И это было развитием идей прошлого века. Знаменитый генерал Бецкой, которому Екатерина II отдала сферу воспитания, мечтал о закрытых учебных заведениях, в которых дети, оторванные от пороков крепостников-отцов, вырастут

новыми людьми, гуманными и просвещенными. А Пушкин, конечно же, видел перед собой Лицей — с Малиновским и Куницыным…

Пушкин давал понять, что он верит в добрую волю и мудрость правительства, в его готовность организовать воспитание молодежи в высоком и чистом духе. Что выпускник такого заведения с отвращением отвернется от «гнусных примеров» крепостнического быта, от несправедливости и бесчестности, царящих в большинстве дворянских семей.

Он предлагал правительству стать впереди общества, стать первым европейцем в России.

И когда он перешел к воспитанию европейскому, то невольно выдал себя, свой истинный взгляд. Только что он толковал о пагубности «чужеземного идеологизма» — и вдруг: «Что касается до воспитания заграничного, то запрещать его нет никакой надобности. Довольно опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним…» Мотивировал он эту мысль с дерзостью, в которой, очевидно, сам не отдавал себе отчета: «…Воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитания патриархального. Мы видим, что Н. Тургенев,

воспитывавшийся в Геттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностию и умеренностию — следствием просвещения истинного и положительных познаний».

Таким образом, в качестве примера человека истинно просвещенного оказывался государственный преступник Николай Тургенев, приговоренный к вечной каторге!

И далее Пушкин предлагал основательнее всего обучать новое поколение политическим наукам, праву, политической экономии и истории — то есть тем самым предметам, которые, по свидетельству многих виднейших декабристов на следствии, открыли им глаза на положение дел в России и привели в тайное общество.

Старательно делая вид, что он обращается к понимающим единомышленникам, Пушкин рекомендовал преподавать историю честно и объективно: «Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и

мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря — честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны».

Он предлагал развернуть перед юношами, собственно говоря, декабристский взгляд на историю, но без крайних выводов. Дать им сделать выводы самим.

Русскую историю он считал нужным преподавать по Карамзину, помня, что при всем своем монархизме Карамзин был врагом деспотизма и давал поле для размышлений.

«Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренне и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве».

На нескольких страницах он изложил программу воспитания, которая, будучи приведена в исполнение, перевернула бы общественное бытие страны и привела в государственный аппарат людей декабристского толка, но заключивших

союз с либеральным правительством.

Позже, году в тридцать четвертом — тридцать пятом, он записал, раздумывая о русском дворянстве: «Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? Нужно. Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить — или задушить».

И главное — независимость, храбрость, благородство. Честь вообще. Он хотел воспитать идеального дворянина, душевные качества которого не позволяли бы ему принимать рабство в любых его видах. Два-три поколения просвещенных дворян с высоким понятием чести смогли бы преобразовать Россию, очистить ее от скверны рабства — ограничить самодержавие, превратив его из «дряблого и низкого деспотизма» в разумную и благородную власть, пекущуюся не о самоценном государстве, но о благе народа.

Об этом он думал уже и в двадцать шестом году, выбирая новую тактику в новых условиях. В «Записке» он говорил о воспитании того самого поколения, с которым столкнулся Уваров в тридцать втором году и на котором решил ставить свой эксперимент.

Оба они — и Пушкин, и Уваров, — ориентируясь на идеи XVIII века, уповали на силу воспитания. Но Пушкин разрабатывал принципы воспитания, исходя из интересов России и опираясь на анализ ее истории. Уваров же исходил исключительно из интересов самодержавия и отбрасывал реальный исторический опыт.

Уваров предлагал императору воспитать людей, способных законсервировать существующий порядок, придать ему «новую прочность», остановить историю.

Пушкин, остро сознавая порочность существующего порядка, толковал о воспитании людей, готовых к «великому подвигу улучшения государственных постановлений».

«Дьявольская разница!»

Уваров предлагал готовить для будущего просвещенных рабов — рабов, вооруженных знаниями.

Пушкин мечтал о свободных людях, которые добровольно и сознательно «соединятся с правительством» в деле реформ.

Реакция императора была соответствующей. Николай покрыл поля пушкинской «Записки» возмущенными вопросительными и восклицательными знаками, а поля уваровского доклада

одобрительными маргиналиями типа: «И я так же думаю».

Уваров своим холодным, циническим умом точно понял, что' может прельстить встревоженного ходом событий царя. И выиграл свою игру.

Пушкин же в ответ на «Записку» получил письмо Бенкендорфа: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам высочайшую свою признательность. Его Величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое количество молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин».

В двадцать шестом году ссориться с Пушкиным было не время. Его лояльность новому царю была нужна для воздействия на общественное мнение.

Отсюда и мягкость формы. Но своим возражением Николай начисто перечеркнул все, что предлагал Пушкин. Более того, обвинил его в исповедовании прежних разрушительных начал.

Заканчивая свою «Записку», Пушкин недвусмысленно дал понять царю, что в случае неразумного поведения правительства молодые дворяне по-прежнему станут «препятствовать ему», «упорствовать в тайном недоброжелательстве». (Вспомним: «Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».)

Уваров убеждал Николая в преданности престолу дворянской молодежи и обещал вырастить из нее неколебимых охранителей — просвещенных охранителей.

Торжественно выдвинутая Уваровым и с восторгом принятая Николаем формула: «Православие, Самодержавие, Народность» — была чужда Пушкину по всем ее компонентам. Уваров предлагал опору на духовенство, на неограниченность личной власти, на темную патриархальную преданность мужиков царю. Дворянскому авангарду в этой системе места не оставалось.

Пушкин не уважал российское духовенство. В «Записке» двадцать шестого года он говорил

о необходимости преобразования семинарий, называя его «делом высшей государственной важности».

Самодержавия он не принимал категорически.

Что же до «народности», то эта идея способна была вызвать у него только ярость. Опираться на обманутых мужиков против просвещенного дворянства, которое, по его мысли, выступало защитником народных прав, было преступно. Преступно вытеснять из истории тот слой, из которого вышли герои и мученики 14 декабря, кто жизнью своей доказал преданность отечеству.

Но, с точки зрения вельможной бюрократии, программа Пушкина вела в неизведанное и сомнительное будущее — будущее, в котором бюрократия могла оказаться не у дел, а программа Уварова увековечивала благодатное настоящее, останавливала процесс. Что и требовалось.

В тридцать пятом году Пушкин писал: «Чем кончится дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа, a = b». То есть вытеснение дворянства — разумеется, дворянского авангарда! — его конец, неизбежно приводит к тому или иному виду деспотизма. В России это уже совершилось. И надо было спасать страну, а не

усугублять предпосылки грядущей катастрофы.

Как ломали князя Вяземского

Меня герметически закупоривают в банке и говорят: дыши, действуй.

П. А. Вяземский

«Странная моя участь…» — написал однажды Вяземский. Странна была участь не только князя Петра Андреевича. Люди разгромленного дворянского авангарда — уцелевшие физически — чувствовали непрестанное свинцовое давление. Оно не было смертельным, оно не расплющивало, не калечило. Оно только не давало стоять прямо и оставаться собой. Оно меняло душу.

Некоторые держались долго, напрягая духовные мышцы, сгибались постепенно. И вокруг незаметно было, что они сломались уже. Другие ломались внезапно и явственно, хотя за миг перед тем готовы были, казалось, скорее погибнуть.

«Странная моя участь…» К началу двадцатых годов Вяземский был одним из самых последовательных радикалов-реформаторов. Еще в шестнадцатом году он писал Александру Тургеневу: «Надобно действовать, но где и как? Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпи-

тельная мгла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством».

Он искал способов объединения политических единомышленников и думал о журнале, вокруг которого соберется оппозиция: «Сие общее фрондерство, сия разбитая на единицы оппозиция не есть у нас политическая власть потому только, что она не приведена в политическую систему, но не менее того она в России — единственное противодействие действию правительства, тем более что она — естественный результат русского характера и русской крови». Так говорил он в семнадцатом году.

А вскоре намечается политический альянс с Михаилом Орловым, бурно готовившим себя и своих друзей к действию. «У тебя есть голова и перо, — писал князю Петру Андреевичу могучий сын „переворотного века“, — у тебя родилось, судя по письму твоему, то священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава».

В двадцатом году Вяземский писал Александру Тургеневу из Варшавы, где служил: «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная

стихия, которую имеем в России…» Письмо это он предназначал для распространения.

«Правительство не дает ни привета, ни ответа: народ завсегда, пока не взбесится, дремлет. Кому же, как не тем, которым дано прозрение неминуемого и средства действовать в смысле этого грядущего и тем самым угладить ему дорогу и устранить препятствия, пагубные и для ездоков и для мимоходов, кому же, как не тем, приступить к делу или, по крайности, к рассмотрению дела, коего событие неотменно и, так сказать, в естественном ходе вещей…»

Речь он вел о ликвидации рабства и введении конституции. Он просил Тургенева переслать это письмо генералу Орлову. И Орлов отвечал: «Я кой-что нового узнал, неожиданного, приятного сердцу гражданина. Ты меня понимаешь. Хвала тебе, избранному на приложение. Да будет плод пера твоего благословен вовеки!» Он узнал, что Вяземский по согласию со своим начальником Новосильцевым, главой гражданской администрации в Польше, некогда одним из либеральных «молодых друзей» Александра, участвует в составлении проекта конституции России…

Так начинал князь Петр Андреевич свою госу-

дарственную карьеру.

Ему приходилось беседовать об этих предметах с императором Александром как доверенному лицу Новосильцева и вообще человеку, уважаемому в обществе. Его вздымала последняя волна александровских конституционных маневров. Волна отхлынула и унесла Вяземского в тесноту частной жизни. «Сим кончается пора моих блестящих упований, — сказал он через десять лет в „Исповеди“, предназначенной правительству. — Вскоре после того политические события, омрачившие горизонт Европы, набросили косвенно тень и на мой ограниченный горизонт».

Он не стал членом тайного общества. Но принадлежность его к «шайке либеральной» не вызывала сомнений ни у властей, ни среди консерваторов обеих столиц.

Он не был на площади 14 декабря и в крепости после разгрома. Но катастрофа у Сената и казнь на кронверке Петропавловской твердыни потрясла и сокрушила его душу. В мыслях и надеждах он был более декабристом, чем многие, ушедшие в Сибирь. Ибо для него порыв к свободе был не вспышкой молодого энтузиазма, но многолетним состоянием мыслей.

Как далек он был в эти дни от ближайших лю-

дей — Жуковского и Карамзина! Как глубже и больнее он видел настоящее и будущее…

В дни после казни пятерых, когда страх гулял по Петербургу и обыск мог случиться вполне обыкновенно, он, известный по связям со многими схваченными, осужденными, казненными, выговаривал в записной книжке то, что хотелось ему яростно втолковать тем, кто распоряжался судьбой России и судьбой поверженных: «…13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го. — По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям… Кровь требует крови. Кровь, пролитая именем закона или побуждением страсти, равно вопит о мести, ибо человек не может иметь право на жизнь ближнего…»

Мысли о казненных неотвязно преследовали его. День ото дня его негодование крепло, и он все яростнее шел против встречного ветра общественного страха — к оправданию казненных и обреченных на каторгу: «Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя слов своих к России: „честному человеку не должно подвергать себя виселице!“ Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласить с нею самоотрече-

ние мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля, Шарлотту Корде и других, им подобных?»

И здесь кончался приятель Жуковского и Карамзина и начинался друг Михаила Орлова: «Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно терпеть. Но можно ли составить из того положительные правила? Хладнокровный вытерпит более, пламенный энтузиаст гораздо менее. Как ни говорите, как ни вертите, а политические преступления — дело мнения.

Сам Карамзин сказал же в 1797 годе:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,

Достоин ли пера его?

В сем Риме, некогда геройством знаменитом,

Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.

Жалеть об нем не должно:

Он стоил лютых бед несчастья своего,

Терпя, чего терпеть без подлости неможно.

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь,

заключаешь, что есть же мера долготерпению народному. Был ли же Карамзин преступен, обнародывая свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегме, приведенной выше? Вот что делает разность мнений! Несчастный Пущин в словах письма своего… „Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай“ — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом». И далее князь Петр Андреевич с горячностью отчаяния произносит защитительную речь, — так бы сказал он в Сенате, призови его Сенат! — в которой уже не Пущин, а он сам доказывает неизбежность и правомочность мятежа. Он уже не мятежников защищает, но себя — застигнутого в миг сочувствия к поверженным и презрительной ненависти к победителям.

Он пишет — в тайную записную книжку! — как говорит перед неправым судом.

Рослый, с массивным, резко обозначенным европейским лицом — от матери-ирландки, — с маленькими очками на крупном круглом носу, князь Вяземский с мрачной страстностью ораторствовал перед теми, кто назначен был вер-

шить суд и расправу над мятежниками, а по сути дела — и над ним самим, над его варшавским прошлым, над его саркастической оппозицией.

Оратор говорил:

«Человек ранен в руку; лекаря сходятся. Иным кажется, что антонов огонь уже тут и что отсечение члена — единственный способ спасения; другие полагают, что еще можно помирволить с увечием и залечить рану без операции. Одни последствия покажут, какая сторона была права; но разность мнений может существовать в лекарях, равно сведущих, но более или менее сметливых и более или менее надежных на вспомогательство времени и природы. Разумеется, есть мера и здесь: лекарь, который из оцарапки на пальце поспешит отсечь руку по плечу, — опасный невежда и преступный палач: революционеры Англии и Франции (если они существуют), которые, раздраженные частными злоупотреблениями, затеивают пожары у себя, тоже нелепо односторонни в уме и преступно себялюбивы в душе, как и эгоист, который зажигает дом ближнего, чтобы спечь яйцо себе. Теперь вопрос: достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по

образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском усиленным общего ропота, стенаний и жалоб? Этот вопрос по совести и по убеждению разума могла разрешить бы одна Россия, а не правительство и не казенный причет его, которые в таком деле должны быть слишком пристрастны. Правительство и наемная сволочь его по существу своему должны походить на Сганереля, который думал, что семейство его сыто, когда он отобедает. Поставьте судиями врагов настоящего положения, не тех, которые держатся и кормятся злоупотреблениями его, которых все существование есть, так сказать, уродливый нарост, образованный и упитанный гнилью, от коей именно и хотели очистить тело государства (законными или беззаконными мерами — с сей точки зрения — все равно, по крайней мере, условно…); нет, призовите присяжных из всех состояний общества, из всех концов государства и спросите у них: не преступны ли те, которые посягали на перемену вашего положения? Не враги ли они ваши? Спросите у них по совести: не ваши ли общие стенания, не ваш ли повсеместный ропот вооружил руки мстителей, хотя и не уполномоченных вами на деле, но действовавших тайно в вашем смысле, тайно от вас самих, но по вашему

невыраженному внушению? Ответ их один мог бы приговорить или спасти призванных к суду. Но решение ваше посмеятельное. Правительство спрашивает у своих сообщников: не преступны ли те, которые меня хотели ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть и моя польза, худо мной самим постигнутая? Ибо вот вся сущность суда: вольно же вам после говорить: „таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено…“ В этих словах замечательное двоемыслие. И конечно, это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия. Там огонь тлел безмолвно за недостатком горючих веществ, здесь искры упали на порох, и они разразились. Но огонь был все тот же! Но вы не то хотели сказать, и ваша фраза есть ошибка и против логики языка, и против логики совести. Дело, задевающее за живое Россию, должно быть и поручено рассмотрению и суду России: но в Совете и Сенате нет России, нет ее и в Ланжероне и Комаровском! А если и есть она, то эта Россия — самозванец, и трудно убедить в

истине, что сохранение этой России стоит крови нескольких русских и бедствий многих. Ниспровержение этой мнимой России и было целию голов нетерпеливых, молодых и пламенных: исправительное преобразование ее есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству молитв вооруженных».

Он знал — не чувствовал, не опасался, а именно знал, — что Верховный уголовный суд приговорил и его, князя Вяземского, который в двадцать первом году в ответ на запрещение возвратиться в Варшаву и продолжать свои конституционные труды совершил неслыханную дерзость — сложил с себя звание камер-юнкера, демонстративно отверг всякую связь с двором и жил с тех пор в гордой оппозиции.

Он только не знал еще — к чему его приговорили. И не знал, что приговор будет пожизненным. Но судей ненавидел не как врагов личных.

— Тут, где закон говорит, что значат ваши умствования и ваши предположения? Когда дело идет о пролитии крови, то тогда умеете вы дать

вес голосу своему и придать ему государственную значительность! О, подлые тигры! и вас-то называют всею Россиею, и в ваших кровожадных когтях хранится урна ее жребия!

Это было проклятье человека дворянского авангарда правительствующей бюрократии, бравшей реванш за саму возможность отстранения ее от власти.

Это были филиппики деятеля, по природе своей не могущего взяться за оружие, но ожидавшего этого от военных единомышленников.

Это была бессильная ярость реформатора, разом потерявшего радикальных соратников, сказавшего в двадцать первом году, когда его друг Орлов готовил свою дивизию к «всеобщему крушению»: «После ночи св. Варфоломея Карл IX писал ко всем губернаторам, приказывая им умертвить гугенотов; виконт Дорт, командующий в Байоне, отвечал королю: Государь, я нашел в жителях и войсках честных граждан и храбрых воинов, но не нашел ни одного палача… Что значит безгласная покорность войска? Ничего нет беспредельного… И сей ответ отзывается во всех благородных душах и перейдет из века в век. — Разве Священный союз не есть Варфоломеевская ночь политическая: „Будь католик, или зарежу!“

„Будь раб самодержавия, или сокрушу“. Вот существенность того и другого разбоя. — Неужели в русской армии не найдется ни одного Дорта? А если найдется, какая цепь последствий может потянуться за таким действием, хотя и будь оно одиноким».

С отказа солдат участвовать в колониальной войне началась революция в Испании.

В русской армии нашлись свои Дорты, возмутившиеся против самодержавного разбоя. Их-то теперь казнили и ссылали.

Он писал Александру Тургеневу за три дня до казни пятерых: «Мы все изгнанники и на родине».

Но он нашел в себе силы жить и оставаться самим собою. А вот этого власть допустить не могла. Он был слишком заметной фигурой.

Давление на него началось в следующем же после казней, двадцать седьмом году.

В августе этого года Бенкендорф получил одну за другой три докладные записки, писанные управляющим канцелярией III Отделения фон Фоком со слов Булгарина. Одним из главных героев там оказался князь Петр Андреевич: «1. Полевой, по своему рождению не имея места в кругу большого света, ищет протекции людей

высшего состояния, занимающихся литературою и, само собой разумеется, одинакового с ним образа мыслей. Главным его протектором и даже участником есть известный князь Петр Андреевич Вяземский, который, промотавшись, всеми средствами старается о приобретении денег. Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе „Негодование“, служившей катехизисом заговорщиков, которые чуждались его единственно по его бесхарактерности и непомерной склонности к игре и крепким напиткам. Сей Вяземский есть меценат Полевого и надоумил его издавать политическую газету… Г. Полевой, как сказано, состоит под покровительством князя Вяземского, который по родству с женою покойного историографа Карамзина находится в связях с товарищем министра просвещения Блудовым. Невзирая на то что сам Карамзин знал истинную цену Вяземского, Блудов из уважения к памяти Карамзина не откажет ни в чем Вяземскому».

И — через несколько дней: «Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно бе-

речь, как дитя. Он поэт, живет воображением, и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом. Атаманы — князь Вяземский и Полевой».

Одной из пружин выходки Булгарина была борьба за газетную монополию. Он узнал, что Полевой получил разрешение на издание газеты «Компас», и перепугался. Удар по Вяземскому был параллельным эффектом. Но все, что писали фон Фок и Булгарин, точно соответствовало представлению правительства о князе Петре Андреевиче.

Император, как всегда в таких случаях, подошел к делу просто: «Будь рабом самодержавия, или сокрушу».

Довести эту дилемму до сведения Вяземского поручено было Блудову. Повторилась в миниатюре ситуация со Сперанским и декабристами: тебя считают сообщником? очистись действием!

Блудов, которому погружение в пучину ренегатства доставляло куда меньше страданий, чем Сперанскому участие в расправе двадцать шестого года, адресовался к своему давнему приятелю и литературному соратнику с суровым посланием, в котором обличал его в сочувствии участникам недавнего мятежа и проповеди оппозиционного духа.

«Я Вам рекомендую не только осмотрительность и осторожность, хотя осторожность также обязательна, особенно для отца семейства; существует еще более священная обязанность: долг совести и чести. Я глубоко убежден, что честь, совесть и разум совместно советуют и настоятельно предписывают Вам не только умеренность, покорность и верность, которых от нас вправе требовать правительство, но также уважение и доверие, на которое оно равным образом имеет право благодаря своим постоянным усилиям достигнуть цели всякого хорошего правительства: сохранения и улучшения всего существующего. Не утешительно ли думать, что всякий честный человек в своей особой сфере деятельности, какой бы тесной она ни была, может, проявляя добрые чувства, распространяя здравые мысли, поддерживая разумные надежды, способствовать более или менее успеху этих усилий, осуществлению видов правительства, желающего добра и только добра. Это назначение, хотя и скромное, раз оно может быть назначением каждого, не больше ли стоит, чем эфемерная слава дерзости и оригинальности, чем необдуманные поступки, часто имеющие последствия если не разрушительные, то, по крайней мере, прискорбные.

Итак, я Вам говорю и повторяю, будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны, действительно полезны; с Вашим умом и Вашими способностями, если они будут должным образом направляемы, Вы легко этого достигнете. Этот совет я Вам передаю по повелению свыше…»

Император ставил перед князем Петром Андреевичем выбор: немедленное возвращение в службу, более чем лояльное поведение — или же «прискорбные», «если не разрушительные», последствия.

Напоминание о том, что он «отец семейства», звучало достаточно зловеще. Это было начало — но начало многообещающее! — нового направления во внутренней политике российского самодержавия: воздействие и на частную жизнь подданных. Если Александр довольствовался вытеснением неугодных из жизни общественной в жизнь частную, то Николая это уже не удовлетворяло. Частная жизнь представлялась ему недопустимо закрытым убежищем для оппозиции. Опасный человек должен был находиться на виду.

Именно так они с Бенкендорфом думали и говорили о Пушкине.

Так они поступали и с Вяземским. От него тре-

бовали возвращения на государственную арену в новом качестве. Частную жизнь смирившегося оппозиционера ему запрещали.

Князь Петр Андреевич, однако, не торопился и присматривался к ситуации. Некоторые шаги Николая внушали надежды: турецкая война, которая должна была принести независимость Греции, труды Секретного комитета 1826 года…

Он решился вернуться в службу. Но — не совсем обычным образом.

Произошло же следующее. «Киселев, перед открытием Турецкой кампании, предлагал мне место при главной квартире, разумеется по гражданской части. Он говорил о том Дибичу, который знал обо мне, вероятно, по одной моей тогдашней либеральной репутации и отклонил предложение Киселева. Тогда Киселев перед отъездом своим дал мне письмо к Бенкендорфу. Я отправился к нему и нашел его, сходящего с лестницы с женою. Он принял меня сухо — был недоволен будто настойчивостью, с которой я требовал, чтобы назначил он мне свидание».

Он хотел не просто водвориться в какой-либо департамент. Он хотел служить при Киселеве, друге Орлова и Пестеля, генерале с порывами реформатора, как когда-то пошел под начало к

реформатору Новосильцеву, — он хотел служить при Киселеве в войне, о которой мечтали либералы десятых-двадцатых годов, ибо ее результатом должна была явиться свобода Греции. Это была особая война. Даром ли Пушкин на следующий год почти бежал на другой театр той же войны?

И если бы состоялся их с Киселевым замысел, князь Петр Андреевич оказался бы участником деятельности Павла Дмитриевича в княжествах… Речь шла не просто о службе.

Бенкендорф вскоре ответил письмом:

«Милостивый государь, князь Петр Андреевич.

Вследствие доклада моего государю императору об изъявленном мне Вашим Сиятельством желании содействовать в открывающейся против Оттоманской Порты войне, Его Императорское Величество, обратив особенно благосклонное свое внимание на готовность Вашу, милостивый государь, посвятить старания Ваши службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить Вас, что он не может определить Вас в действующей против турок армии по той причине, что отнюдь все места в оной заняты… Но Его Величество не забудет Вас, и коль скоро представится к тому возможность, он употребит отличные Ваши дарования для пользы отечества».

Это было неуклюжей уверткой, поскольку сам Киселев предлагал Вяземскому конкретное место при своей Главной квартире. Петр Андреевич это прекрасно понял: «Можно подумать, что я просил командования каким-нибудь отрядом, корпусом или по крайней мере дивизиею в действующей армии».

Его вовсе не собирались пускать на места значительные, имеющие отношение к политике — внешней или внутренней. От него ждали полного смирения, и доказать свое смирение он обязан был заурядной рутинной службой…

Ответ Бенкендорфа датирован был 20 апреля двадцать восьмого года.

Вяземский медлил.

В июле последовали новые угрозы.

Главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте граф Петр Александрович Толстой 10 июля секретно адресовался московскому генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу Голицыну: «Государь император, получив сведение, что князь Петр Андреевич Вяземский намерен издавать под чужим именем газету, которую предположено назвать *Утреннею газетою,* высочайше повелеть изволил написать Вашему Сиятельству, чтобы Вы, милостивый государь

мой, воспретили ему, князю Вяземскому, издавать сию газету, потому что Его Императорскому Величеству известно бывшее его поведение в Санкт-Петербурге и развратная жизнь его, недостойная образованного человека. Посему… государю императору благоугодно, дабы Ваше Сиятельство изволили внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни».

Это был ошеломляющий удар. Из опального оппозиционера его обратили в уголовного преступника, в развратника, от которого надо оберечь молодежь.

Петр Андреевич не сомневался: следующий донос, как бы вздорен он ни был, с неизбежностью приведет к мерам карательным и ссылка в имение под надзор может оказаться наилучшим исходом.

Тут уж стало не до мечтаний о возврате к государственной деятельности реформаторского толка. Император так охотно верил любой клевете потому именно, что ничуть не сомневался во

вредоносности дерзкого либерала, по странной случайности не захваченного следствием двадцать шестого года и продолжавшего растлевать теперь уже и нравственность граждан империи. А план издания газеты под чужим именем свидетельствовал о далеко идущих замыслах.

Вяземский уверен был, что все это — результат очередного доноса Булгарина, опасавшегося конкуренции новой газеты. Но звериное чутье и хваткий ум Фаддея Венедиктовича говорили ему, что наступает время, когда имеет смысл претендовать не только на литературное влияние и соответствующие барыши от изданий, но и на политическую роль. А стало быть, нужно расчищать себе путь, устраняя тех, кто мог этой роли помешать, зная ему, Булгарину, цену и вообще слишком хорошо его зная. Его «демократические» эскапады против «литературных аристократов» были частью этого плана. Он бил по тем, с кем еще вчера пытался блокироваться. Растерянность декабрьских дней двадцать пятого года, которая вечером четырнадцатого привела его на квартиру Рылеева, кончилась, оставив в душе досаду и ненависть. Но опасные друзья — Рылеев, Александр Бестужев — исчезли. Надо было добить оставшихся. Пушкин был ему не по зубам.

С ним он выбрал умеренную линию: гениальное дитя, которое должно держать в руках и твердо направлять.

С Вяземским, самым крупным из возможных противников и самым уязвимым, он решил расправиться свирепо. Обвинить высоколобого аристократа в грубом и вульгарном разврате — чисто булгаринский ход. Та же скотская дошлость толкала Фаддея Венедиктовича постоянно провоцировать Пушкина печатными издевательствами над его внешностью. Высокий стратег и тактик низменных склок, Булгарин безошибочно находил слабые места противников и таранил их с упорством разъяренного кабана.

Отправляя один за другим — к фон Фоку, в Главную квартиру действующей армии, где находился Николай, — доносы, являвшие видимость правды, он знал, что может вовсе погубить Вяземского. Но сентиментальные сомнения были ему чужды.

Фаддей Венедиктович и Сергий Семенович — краснолицый, вислогубый наглец и элегантный благообразный джентльмен — в равной степени осознали, что брутальная безнравственность в торжественной тоге прямодушного патриотизма будет главной героиней царствования, а принци-

пом действия — самоуверенная мистификация. Они сообразили это, присмотревшись к личности нового монарха — невежественного армейского грубияна, с упоением прикидывающегося царем-рыцарем, царем-джентльменом, любителя молоденьких фрейлин, убежденно играющего ригориста, блюстителя общей нравственности и прочности семейных очагов.

Булгарин и Уваров, быть может, оттого и не смогли поладить, что каждый из них слишком полно выражал собою дух эпохи…

Получив от расположенного к нему князя Голицына копию письма Толстого, Вяземский впервые впал в состояние, близкое к панике, ибо здраво оценил опасность и изощренность действия врагов.

Истоки обоих обвинений лежали на поверхности. «Оказалось, что *Утренняя газета,* о которой не имел я ни малейшего понятия, была предположением самого князя Голицына… и что должен был издавать ее один из его чиновников».

Это Голицын немедленно сообщил Толстому.

Обвинение же в соблазнительном разврате, как они с Пушкиным установили, имело под собою почву, на первый взгляд, более реальную. «Пушкин уверял, что обвинение в развратной жизни

моей в Петербурге не иначе можно вывести, как из вечеринки, которую давал нам Филимонов и на которой были Пушкин и Жуковский и другие. Филимонов жил тогда черт знает в каком захолустье, в деревянной лачуге, точно похожей на бордель. Мы просидели у Филимонова до утра. Полиции было донесено, вероятно, на основании подозрительного дома Филимонова, что я провел ночь у девок».

Владимир Сергеевич Филимонов, литератор, давний приятель Вяземского, только что назначенный архангельским губернатором и собравший на прощание петербургских друзей, и не подозревал о том, какую услугу оказал он Булгарину своей вечеринкой…

Однако, как ни анекдотично все это выглядело, последствия нависали отнюдь не веселые, и должно было принять скорые и сильные меры. И князь Петр Андреевич обратился к Голицыну: «Прежде довольствовались лишением меня успехов по службе и заграждением стези, на которую вызывали меня рождение мое, пример и заслуги отца и собственные, смею сказать, чувства, достойные лучшей оценки от правительства: ныне уже и нравы мои, и частная моя жизнь поруганы. Оная официально названа развратною,

недостойною образованного человека. В страдании живейшего глубокого оскорбления, я уже не могу, не должен искать защиты от клеветы у начальства, столь доверчивого к внушениям ее против меня. Пораженный самым злым образом, почитаю себя в праве искать ограждения себя и справедливого удовлетворения перед лицом самого государя императора».

Это была игра. Петр Андреевич понимал, разумеется, что Толстой всего лишь исполнитель. Каким был и Блудов. Понимал, что «столь доверчив к внушению» клеветы сам Николай. И в конце письма он карты раскрывает: «Знаю, что важные народные заботы владеют временем и мыслями государя императора, но если частная клевета могла на минуту привлечь его слух и обратить его гнев на меня, то почему не надеяться мне, что и невинность, взывающая к нему о правосудии, должна еще скорее преклонить к себе его сердобольное внимание».

Уже сама по себе необходимость взволнованно просить о защите царя, которого он не уважал, была унизительна. Без малого десять лет назад, оскорбившись на запрет возвращаться к месту службы в Варшаву, он, истинный русский аристократ и вместе с тем человек дворянского

авангарда, гордо продемонстрировал свое право на оппозицию, сложив с себя звание камер-юнкера и отвергнув предложение императора Александра, переданное через Карамзина, — выбрать себе любое место службы, кроме Польши.

Он поступил так, как требовало его самосознание. Теперь же ему пришлось переступить через все, что составляло существо его личности. Сам факт мольбы о защите, положение оскорбленной «невинности, взывающей… о правосудии», свидетельствовали о силе давления, мучительно обременявшего дух князя Петра Андреевича. Его вынудили идти на поклон.

Пока Жуковский хлопотал за него перед императором, доказывая, что он вовсе не развратен и не опасен, Вяземский писал «Исповедь», которая должна была убедить Николая в его искренности.

Через два года он в записной книжке назвал Николая палачом. Едкий и скептический ум предохранял его от иллюзий. Но он вынужден был притворяться. Начать двойную жизнь.

Цельная натура Пушкина была на это не способна. Он искренне поверил в Николая, убедил себя в государственных и личных достоинствах императора. Он мог существовать органично и це-

леустремленно рядом с царем, пока эти иллюзии сохранялись. Когда же — в тридцать четвертом году — иллюзии стали рушиться, началась мука несовпадения требований натуры и давления могучих обстоятельств. Его почти истерический порыв к отставке, помимо всего прочего, вызван был и инстинктивным стремлением уйти от этой, неминуемой теперь, двойственности.

Он мог жить, только додумывая все до конца, трезво оценивая все, с ним происходящее. Но окончательная ясность взгляда требовала и соответствующих поступков. Разрыва с императором. А это означало в середине тридцатых годов крах всех его гигантских планов и невозможность выполнить свой долг перед Россией.

Он постепенно осознавал безвыходность своего положения, и мука безвыходности, невозможность найти позицию, которая хотя бы отчасти вернула его душу к гармонии, терзала его. Но он выбрал долг, Россию, свою миссию, ежедневно убивая себя, гоня себя к окончательной гибели…

Князь Петр Андреевич не способен был на это высокое самоуничтожение.

Его «Исповедь» звучала отнюдь не жалко. Он ни от чего еще не отрекался. Он говорил с царем так, как уже не принято было говорить: «19-е

ноября 1825 года отозвалось грозно в смутах 14-го декабря. Сей день, бедственный для России, и эпоха, кроваво им ознаменованная, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давнопрошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали. Сколь ни прискорбно мне было, как русскому и человеку, торжество невинности моей, купленное ценою бедствий многих сограждан и в числе их некоторых моих приятелей, павших жертвами сей эпохи, но, по крайней мере, я мог, когда отвращал внимание от участи ближних, поздравить себя с личным очищением своим, совершенным самими событиями… Но по странному противоречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины; мне известно следующее заключение обо мне: отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других».

Он с гордостью объяснял свое отстранение от государственной деятельности: «Из рядов правительства очутился я, и не тронувшись с места, в ряду противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону».

Он еще надеется убедить Николая в особой ценности своего независимого и неподкупного взгляда: «В припадках патриотической желчи,

при мерах правительства, не согласных, по моему мнению, ни с государственною пользою, ни с достоинством русского народа; при назначении на важные места людей, которые не могли поддерживать возвышенного бремени, на них возложенного, я часто с намерением передавал сгоряча письмам моим животрепещущее соболезнование моего сердца; я писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает, через перехваченные письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего; признаюсь, мне казалось, что сей голос не должен пропадать, а, напротив, может возбуждать чуткое внимание правительства».

Он видел себя маркизом Позой.

Он пытался быть таковым при Новосильцеве. Он собирался быть таковым при Киселеве.

Теперь он делал попытку стать им в нынешних условиях: «…Мог бы я по совести принять место доверенное, где употреблен бы я был для редакции, где было бы более пищи для деятельности умственной, чем для чисто административной

или судебной… Я… желал бы просто быть лицом советовательным и указательным, одним словом, быть при человеке истинно государственном — род служебного термометра, который мог бы ощущать и сообщать».

Но это была, скорее всего, попытка отчаяния. Вряд ли он надеялся получить подобное место. А потому в конце исповеди смиренно обещал принять любую службу, ему назначенную.

«Исповедь» была написана в январе–феврале двадцать девятого года, а в апреле он писал Голицыну: «Меня могут удовлетворить на служебном поприще две должности: или попечителя университета, или гражданского губернатора — обе вне обеих столиц. Принимая во внимание мой чин и малое доверие, я не могу рассчитывать на то, чтобы с первого раза получить какую-нибудь из этих должностей. Что касается губернаторства, то я не возражал бы против испытания меня в качестве вице-губернатора; в отношении же другой должности я не представляю иной возможности, как временное прикрепление к Министерству народного просвещения».

Он говорил тоном человека, знающего себе цену, но в глубине души сознавал, что, вступив на путь торговли с правительством, он уже про-

играл, ибо все козыри были на одной стороне.

Николая этот текст мог только раздражить. И естественно, никакого ответа Петр Андреевич не получил.

Пренебрежение это еще яснее показало ему бедственность его положения и бесполезность его полуунижения. От него ждали полного унижения. «Будь рабом самодержавия, или сокрушу…» И ему пришлось прибегнуть и к посредничеству цесаревича Константина, что было особенно горько, ибо цесаревич и стал некогда причиной его опалы, и к куда более подобающим письмам в Петербург…

По ходатайству Константина Николай в тридцатом году распорядился подыскать Вяземскому должность.

Между «Исповедью» и реальным вступлением в службу пролегли польские события, вызвавшие в Вяземском последний страстный взрыв ненависти, презрения к тому, что видел он вокруг. Яростно-уничижительные записи о Жуковском и Пушкине, поддержавших правительство, объяснялись не только расхождением взглядов, но горечью собственного его унижения, воспоминанием о варшавской своей молодости, эпохе гордых надежд… С этого времени он уже ни на

что не надеялся.

Петр Андреевич, не претендовавший уже на роль маркиза Позы, просил назначения по Министерству просвещения или юстиции. Его назначили по Министерству финансов. Это был еще один способ укротить строптивца — служи там, где поставили, путайся в скучных тебе делах, смирнее будешь. Это был еще один способ ломать человека.

Александр Булгаков сообщал брату в ноябре тридцать второго года: «Очень радуются назначению Вяземского. У него прекрасная душа и способности, и когда отстанет от шайки либеральной, которая делается и жалка и смешна даже во Франции, да примется за службу, как должно, то, верно, пойдет в гору, будет полезен и себе и семейству своему. Здесь все радуются данному ему месту».

Князь Петр Андреевич, один из сильнейших в потенции государственных умов страны, талантливый литератор, блестяще образованный в сфере культуры, сделан был вице-директором департамента внешней торговли и вынужден был тратить силы и время на дело, для него чужое и непонятное.

В старости он горько обронил: «Около двадцати

лет прослужил я по ведомству Министерства финансов; но должен признаться, служил не по призванию, а по обстоятельствам. По мере сил и способностей своих старался я исполнить обязанность свою усердно и добросовестно, но исполнял ее без увлечения, без вдохновения!»

Угроза шельмования и позорной расправы, потом чужая, постылая служба — с годами он привыкал к этой, лежащей на душе, тяжести, но она деформировала душу. Прежде всего — отсутствием надежды. Уже к середине тридцатых годов он стал жить прошлым, казавшимся ему утраченным эдемом. Чем дальше, тем явственнее становился его разрыв с настоящим, он отставал, упорно и сознательно не принимая естественных перемен, и жизнь вокруг казалась ему все более чуждой и отвратительной в своей чуждости. Ему тяжко и больно жилось. Но все это выявилось с такой очевидностью гораздо позднее. А пока он скрывал от самого себя начавшийся страшный процесс. И тем менее понимали это окружающие его.

Булгаков писал со своей глуповатой восторженностью: «На Кузнецком мосту большая передряга. У какой-то из мадамов схвачена контрабанда на 50 т.; видно, не у всех совесть чиста, а лупят,

проклятые, ужасные деньги с московских щеголих. Уж это не действия ли нашего Вяземского? Скажут: вот в тихом омуте черти водятся. Каков Вяземский! Забыл, что Москва его рай, а мадамы Кузнецкого моста — его бригада. Москва любит крайности. Сперва говорили все о Вяземском как о ветренике, занимающемся только обедами, стихами и женщинами, а теперь славят его государственным человеком, и те же лица повторяют: я всегда это утверждал».

Таковы были их представления о назначении государственного человека…

Его между тем не переставали унижать. В августе тридцать третьего года Комитет министров по представлению министра финансов постановил произвести Петра Андреевича в статские советники. А через несколько дней Вяземского вызвал Бенкендорф и сообщил, что император не утвердил решение комитета, ибо он, Вяземский, позволил себе неуместную шутку: при пожаловании петербургского военного генерал-губернатора Эссена графом посетовал, что не пожаловали его князем Пожарским, намекая на неумение генерал-губернатора справляться с пожарами.

Сарказмы в дружеском кругу становились на-

кладны. Полицейская структура пронизывала жизнь во всех ее ипостасях и намертво схватывала каждое проявление личности.

Князь Петр Андреевич обладал задатками крупного государственного человека и ярким талантом литератора. Но в нем не было того, что в самые страшные моменты спасало Пушкина, — рокового сознания своего долга, у него не было того дела, ради которого Пушкин готов был вынести боль одиночества, непонимания, смертельный холод отчуждающегося бытия. Пушкинская надежда сливалась с категориями такими высокими, что почти уже не зависела от личных обстоятельств, — будущее России и человека вообще, а не будущность только его, Пушкина, держало и вздымало его над ядовитым, обжигающим кипением быта житейского и политического.

Он мог разувериться во всем, что окружало его в нынешний день. Но при всей невыносимой усталости, жажде покоя и независимости, которые можно было купить только ценою ухода от своего дела, — при всем этом и над всем этим существовала сила, которая гнала его вперед, не давая пасть, пока он жив.

Отчаяние при мысли о судьбе семьи, детей,

безвыходность денежная не могли побороть эту силу.

Пушкина нельзя было сломать. Его можно было только убить.

Князь Петр Андреевич сломался.

Он мог теперь назвать в письме людей 14 декабря головорезами.

В его записных книжках нет больше ярости бунта, а только бессильная горечь.

В тридцать седьмом году, после смерти Пушкина, он записал: «Сегодня же обедал я у директора в шитом мундире по приглашению его. Матушка Россия не берет насильно, а все добровольно, наступая на горло». И тут же, по-французски: «Люди ума и совести могут сказать в России: „Вы во что бы то ни стало хотите, чтобы была оппозиция. Вы ее получите“».

Но сам он был способен теперь — как лицо общественное — только на верную унылую службу и горечь далеко спрятанных мыслей.

Замечательные стихи, что писал он в старости, — плач по себе…

Поединок с Уваровым (2)

…Как могут они писать, когда им запрещено мыслить?.. Основное начало нынешней политики очень просто: одно только то правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит.

А. В. Никитенко. 1835 г.

В июле тридцать второго года, готовясь сделать решающий шаг, Уваров все еще всерьез надеялся заручиться соратничеством Пушкина. Знакомец и Пушкина, и Уварова Н. А. Муханов занес в дневник 7 июля: «Оживленный спор с Уваровым о газете Пушкина. Он оскорблен, что разрешение ему дано через министра внутренних дел, а не его министерством».

Пушкин незадолго перед тем получил разрешение на издание газеты (которым, впрочем, не воспользовался). Но ему гораздо важнее было — с точки зрения газетчика, нуждающегося в свежих новостях, — иметь непосредственные отношения с министерствами внутренних и иностранных дел. Вместе с тем Пушкин еще раз продемон-

стрировал свое явное нежелание сотрудничать с Сергием Семеновичем. Идеи Уварова — во всей исторической низости — еще не были ему известны. Но он очень хорошо представлял себе, чего можно ждать от старинного арзамасского знакомого. Ренегатство стало уже принципиальной позицией Уварова. И это необоримо претило Пушкину.

Но вряд ли он сознавал в тот момент, какое оскорбление нанес товарищу министра просвещения. Он не только игнорировал уваровское предложение союза в прошлом году, не только высмеял его перевод «Клеветникам России», но и обманул куда более серьезные ожидания. Газета Пушкина, будучи подчинена министерству просвещения, должна была бы стать рупором уваровских идей, плацдармом для уваровского наступления на публику. Теперь эта надежда рухнула. Рухнула в тот момент, когда Уварову «свой орган» был особенно нужен…

Уваров шел вверх. Находящийся в мучительных колебаниях император, уже перечеркнувший проекты комитета 1826 года, бывшие, по существу, проектами Сперанского, ошеломленный событиями во Франции, в Польше, в военных поселениях, еще не решавшийся начать новую

попытку либерализации крепостного права (Киселев вернется только в тридцать четвертом), горячо и радостно поверил в возможность осуществления уваровской утопии — замирить страну новой методой воспитания сперва дворянской молодежи, а потом и народа вообще.

18 марта 1833 года, через четыре месяца после того, как император прочитал уваровский доклад, князь Ливен был отправлен в отставку.

20 марта Бенкендорф передал Уварову указание царя — приступить к исправлению обязанностей управляющего Министерством народного просвещения. Но управляющий — еще не министр. Уварову предстояло пройти испытательный срок…

Он немедленно, 21 марта, направил попечителям учебных округов «циркулярные отношения»: «Вступив в управление Министерством народного просвещения, я вменяю себе в приятную обязанность объявить Вашему Превосходительству совершенную мою готовность действовать во всех отношениях к дальнейшему усовершенствованию Императорского (название. — *Я. Г.*) университета и учебных заведений вверенного Вам округа. Вместе с сим я надеюсь находить в Вашем Превосходительстве то усердное и

деятельное стремление к общей пользе, коим одушевляется служба… Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с высоким намерением августейшего монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности».

Сергий Семенович не терял ни дня: он энергично и целенаправленно стал утверждать в умах свою доктрину, которую — с дальновидным самоотречением — приписывал теперь Николаю.

Он закончил циркуляр пассажем, удивительным по тону: «При сем случае покорнейше прошу Ваше Превосходительство, чтоб поставлено было на вид и студентам, что я не премину обращать особенное внимание на тех из них, кои по успехам, благонравию, скромности и покорности к начальникам окажутся достойными, — имена их останутся в моей памяти, и я предоставлю себе оказывать им и на поприще жизни то самое участие, какое они внушат мне на поприще юношеского образования».

Это пишет человек, ощущающий свою власть и верящий, что он будет обладать ею всегда, — он обещает покровительство, которое понадобится через много лет.

И он доводит до сведения студентов, каков его

идеал просвещенного человека: «благонравие, скромность и покорность к начальникам».

Пушкин считал необходимым учить «независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».

Уваров — «благонравию, скромности и покорности к начальникам».

Вот их главное, роковое, непримиримое расхождение, касавшееся духовного, общественного облика будущих поколений и, с неизбежностью, облика будущей России…

Сергий Семенович немедленно дал всем понять, что дело народного просвещения с его вступлением в должность вышло на первый план государственной жизни. Его министерство не должно было оказаться одним из многих. Оно становилось ответственно за судьбы империи и требовало содействия от всех.

Немедленно после циркуляра попечителям учебных округов, более похожего на тронную речь, Уваров обратился к генерал-губернаторам и начальникам краев с посланием, провозгласившим начало новой эры.

В докладной записке императору «Об открытии сношений с некоторыми главными местными начальниками» он сообщал: «При самом вступлении по высочайшему Вашего Императорского

Величества повелению в управление Министерством народного просвещения я почел долгом отнестись к генерал-губернатору Московскому и военным губернаторам Киевскому и Виленскому с просьбою оказывать учебным заведениям, находящимся в вверенных им губерниях, зависящее с их стороны содействие и состоять со мною по сей части в беспрерывных сношениях не только посредством официальной переписки, но еще и частной; вполне будучи убежден, что лишь от совокупного действия начальств, от согласного их стремления к единой цели можно ожидать и успехов в общем деле народного образования, и плодов, соответствующих ожиданиям Вашего Императорского Величества».

И далее, доказывая великую пользу от сотрудничества с ним, Уваровым, высших сановников, он внушал Николаю, что фактически он, Уваров, стоит теперь во главе всеимперского движения «обновления России». Все остальные начальства оказывались в положении содействующих ему, спасителю отечества, путем новой методы воспитания, путем внедрения в сознание людей новых формул.

Ничего подобного князь Ливен себе не позволял. Управляющий Министерством просвещения, на-

значенный несколько дней назад, стремительно вырастал в одну из крупнейших фигур империи.

Докладную записку Уварова Николай одобрил. А 27 марта Уварову объявлено было о предоставлении ему права присутствовать на заседаниях Государственного совета. А еще раньше — 23 марта, через два дня после назначения, — Уваров попросил у Николая право председательствовать в Комитете устройства учебных заведений.

За одну неделю Уваров не только сосредоточил в своих руках главные должности, касающиеся народного образования, но и небывало расширил сферу своей деятельности.

В то время, когда Уваров только еще приступал к своей бурной реорганизаторской деятельности, положение в российском просвещении оценивалось трезвыми и наблюдательными людьми довольно сурово. Никитенко сетовал в дневнике: «Было время, что нельзя было говорить об удобрении земли, не сославшись на тексты из Свящ. Писания. Тогда Магницкие и Руничи требовали, чтобы философия преподавалась по программе, сочиненной в Министерстве народного просвещения; чтобы, преподавая логику, старались бы в то же время уверить слушателей, что законы разума не существуют; а преподавая историю,

говорили бы, что Греция и Рим вовсе не были республиками, а так, чем-то похожим на государства с неограниченною властью, вроде турецкой или монгольской. Могла ли наука принесть какой-нибудь плод, будучи так извращаема? А теперь? О, теперь совсем другое дело. Теперь требуют, чтобы литература процветала, но никто бы ничего не писал ни в прозе, ни в стихах; требуют, чтобы учили как можно лучше, но чтобы учащие не размышляли, потому что учащие — что такое? Офицеры, которые сурово управляются с истиной и заставляют ее вертеться во все стороны перед своими слушателями. Теперь требуют от юношества, чтобы оно училось много и притом не механически, но чтобы оно не читало книг и никак не смело думать, что для государства полезнее, если его граждане будут иметь светлую голову вместо светлых пуговиц на мундире».

И в следующей строке: «У нас уже недели три как новый министр народного просвещения, Сергей Семенович Уваров».

Сын крепостного — и в эпоху народности это помогло ему сделать карьеру, — Никитенко смотрел на уродливо клубящийся вокруг него мир «народного просвещения» как бы со стороны, чужими и беспощадными глазами. Он тогда

уже — в апреле тридцать третьего года — уловил эту фальшь и двойственность надвигающейся уваровщины, призванной населить страну нерассуждающими философами, по-солдатски дисциплинированными учеными — короче говоря, просвещенными рабами…

Пушкин писал в тридцать четвертом году: «Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом». Свободный внутренне человек со свободной мыслью, свободно и сознательно подчиняет себя общеполезным законам. Такова позиция Пушкина. По Уварову, человек должен быть порабощен прежде всего внутри себя. Тогда он не сможет и не захочет противиться любому давлению извне.

Уваров между тем, доложив Николаю, что обратился за содействием к военным губернаторам Московскому, Киевскому и Виленскому, на самом деле забросил свою сеть значительно шире и отправил письма военным губернаторам Казанскому, Малороссийскому, Белорусскому, а также наместнику южного края Воронцову, в Одессу.

Уваров призывал к крестовому походу.

Практически же он стал действовать в полном

соответствии с методой, очерченной Никитенко.

В знаменитой речи восемнадцатого года он вещал: «Истинное просвещение, которое не что иное, как точное познание наших прав и наших обязанностей, то есть обязанностей и прав человека и гражданина, — истинное просвещение ожидает от вас, юные питомцы, подвига жизни и жертвы всех сил душевных!»

Как он себе представлял идеал выпускника университета в тридцать третьем году, мы знаем, — «благонравие, скромность и покорность начальникам». О подвигах он уже не толковал. Но мало того — он прежде всего постарался убрать из сферы воспитания саму идею «обязанностей и прав человека и гражданина».

В отчете за 1833 год, представленном императору, Сергий Семенович сообщил: «Преподавание естественного права, едва ли возможное до составления на сей конец особого, одобренного правительством руководства, требовало принятия неукоснительных мер… Имея между тем справедливое опасение, дабы в преподавание сего важного предмета не вкрадывалось что-либо несоответственное существующему в государстве порядку, министерство сделало распоряжение приостановить в университетах сие преподава-

ние впредь до издания надлежащего по сей части руководства…»

Кроме принятия мер по университетскому и гимназическому образованию, Уваров не мешкая занялся образованием частным. И здесь, как и во всем прочем, идеи его столкнулись с идеями Пушкина.

Пушкин убеждал в записке о народном воспитании: «Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное». И мотивировал это нравственно пагубной для детского и юношеского сознания атмосферой в большинстве дворянских домов. Он хотел воспитывать нравственно здоровых людей.

Сергий Семенович же — в полном соответствии со своей задачей — пошел по пути принципиально иному. Он оставил домашнее воспитание как таковое в неприкосновенности. Но обратил всю силу своей власти на воспитателей.

В отчете Министерства просвещения за 1834 год проблема частного воспитания заняла центральное место. Прежде всего были тщательно обследованы частные учебные заведения — в Петербурге и Москве — специально назначенными инспекторами, в провинции — директорами государственных училищ. Часть этих заведений

была закрыта, а над другими был «установлен непрерывный, бдительный, строгий надзор».

Но частных учебных заведений было немного, и не в них был вопрос. Тысячи и тысячи дворянских отпрысков воспитывались в своих домах наемными учителями. И целеустремленный, сосредоточенный на идее государственной пользы, как он ее придумал, Уваров решил не уничтожать, а использовать в своих целях эту армию.

Сергий Семенович составил специальное «Положение о домашних наставниках и учителях», в коем говорилось: «Для обеспечения родителей в избрании благонадежных их детям руководителей и для содействия общим видам правительства в отношении к народному просвещению учреждаются особые звания домашних наставников, учителей и учительниц… Лица, в звания сии поступающие, вообще должны быть христианского вероисповедания, достаточно известные со стороны нравственных качеств… Никто не может определяться в частный дом для воспитания детей, не имея на то позволения, в особом, установленном для упомянутых званий, свидетельстве заключающемся».

Для домашних воспитателей требовались не только результаты испытаний в университе-

тах или лицеях, но и обязательные «отзывы от начальников тех мест, где находились они на жительстве», то есть полицейская аттестация.

Как все, что предпринимал Уваров, эта акция носила двойственный характер. С одной стороны, она избавляла домашнее воспитание от людей случайных, невежественных. С другой же — и это было самое важное, — давала в руки власти особую, «воспитательную полицию».

Это и было центральной идеей Уварова, одобренной Николаем. В отчете за 1834 год Уваров писал: «С верноподданническим усердием поспешил я начертать, под непосредственным наблюдением Вашего Величества, Положение о домашних наставниках и учителях, рассмотренное в особом Комитете и удостоенное высочайшего утверждения в 1 день июля. На основании оного в недра наших семейств призываются благонадежные уполномоченные от правительства образователи, с значительными преимуществами и с соразмерною ответственностию».

Это и было ключевой задачей — направить «в недра семейств… благонадежных уполномоченных от правительства…».

Это было наступлением на последний оплот личных вольностей русского дворянина — на

частную жизнь, домашний быт. Отныне родители, желавшие образовать своего сына дома — а это часто делалось не без оппозиционного смысла, — должны были принять в свой дом фактически правительственного чиновника, проверенного властями и ответственного перед властями. Это была еще одна форма идеологического контроля. И, несмотря на реверансы в сторону императора, задумана и разработана была она именно Сергием Семеновичем.

«Все благомыслящие и просвещенные сыны отечества, — писал он царю, — с умилением приняли из державных рук Вашего Величества закон, обеспечивающий нравственное благо детей их, — закон, приспособленный к вере, нравам, обычаям нашим, — учреждение, не заимствованное из чуждых нам законодательств, но созданное, так сказать, в духе русском, по размеру настоящих требований, по уважению имеющихся способов».

Теперь образование во всех его отраслях оказывалось крепко схваченным правительственными щупальцами. Николая это приводило в восторг. Он написал на отчете: «Читал с особым удовольствием». Тем более что хитроумный Сергий Семенович смиренно передавал всю честь уста-

новления ему, императору.

Но был в последних фразах и еще один сильный оттенок — полемический, если не сказать доносительский. Противопоставление его, уваровских, проектов неким иным — «заимствованным из чуждых… законодательств», предлагаемым не «в духе русском», не отвечающим ни «настоящим требованиям», ни «имеющимся способам», — было ударом по проектам комитета 1826 года, по идеям Сперанского, по тем реформам, которые проводил в Дунайских княжествах Киселев, и по тем реформам, о которых упорно думал Пушкин. Проекты Сперанского были, разумеется, Уварову хорошо известны. О реформах Киселева он был наслышан. Но, сочиняя эти фразы, он имел в виду дух либеральных преобразований вообще. Он давал понять императору, что не следует идти путями прошлого царствования и даже прошлого века, не следует ориентироваться на Европу. Рафинированный европеец Уваров ратовал за патриархальные установления, позволяющие самодержцу непосредственно управлять своими детьми — своим народом, минуя неудобных и непрошеных посредников. Рассуждая о «вере, нравах, обычаях наших», о «русском духе» в просвещении, Уваров внедрял в сознание Николая

мысль об органичности «народности» для российского самодержавия. Он представал Колумбом забытых, но исконных и неистребимых отеческих принципов, которые только и могут спасти Россию и династию в бурях мятежного века.

Параллельно он разрабатывал новый устав университетов, который должен был лишить их и той незначительной самостоятельности и независимости, что у них еще оставалась. Идея тотального контроля и централизации управления проводилась им неуклонно.

Впоследствии Погодин, близкий к Пушкину, а затем куда более близкий к Уварову, вспоминал: «Познакомясь среди поездок моих по разным губерниям с положением наших гимназий, я старался в продолжение трех лет (не помню, каких именно)… убеждать Сергея Семеновича, чтобы он оставил место в гимназиях естественным наукам и другим нужным познаниям. Я представил ему вышеприведенные доводы о малом количестве гимназистов, поступающих в университет. Не помню также, в каком году, за обедом у него в Петербурге, я сказал ему, что считаю несчастием для русского просвещения, что министр знает по-гречески и по-латыни».

Осмелился ли Погодин столь дерзко разговари-

вать с министром или нет — пускай останется на его совести, но дело было, конечно, не в античных пристрастиях Уварова. Он никогда не действовал без рационального смысла.

Пушкин в «Записке о народном воспитании» утверждал: «К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствуется недостаток необходимого?»

Пушкин отнюдь не был гонителем высокого просвещения и адептом прагматики. Но для него важнее всего было воспитание деятелей — с пониманием законов общественного процесса, с осознанием своей задачи в этом процессе, с умением воздействовать на этот процесс. И потому он ратовал прежде всего за «высшие политические науки», за политэкономию, за статистику, за историю. Он знал, как необходимы России просвещенные люди с политической и общественной энергией.

Перед Уваровым стояла иная задача — воспитать поколения без активного политического сознания. И потому он предпочитал набивать головы юношества высокими знаниями — в этом он знал толк! — но теми, что были непосредственно неприложимы в русской общественной жизни.

Пушкину нужны были мыслящие деятели, которым развитое чувство чести укажет направление и характер действий. Уварову — образованные исполнители, которым политическую экономию заменит триединая формула.

В тридцать четвертом году система Уварова вырисовывалась во всей своей продуманности, стройности и определенности.

Она не могла не привести Пушкина в ужас.

Она оказывалась противна всему, что он, Пушкин, замышлял.

Сокрушение Полевого, или Генеральная репетиция

Декабристы не истреблены…

С. С. Уваров. 1834 г.

Через год после назначения Уварова управляющим Министерством народного просвещения стало ясно, что он оправдал выбор императора и вот-вот станет министром. Читанный «с особым удовольствием» доклад за 1833 год решил вопрос. Николай увидел там не просто соответствие своим взглядам. Взгляды его на просвещение были элементарны: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». Николай увидел в докладе Уварова, как и в других документах, им представленных, россыпь конкретных и обнадеживающих идей.

Все это выглядело эффектнее и эффективнее, чем советничество Бенкендорфа. Обдумав еще в десятые годы идею совершенной полиции, представив соответствующий план летом двадцать шестого года и создав корпус жандармов, Александр Христофорович более ничем в сфере идей

не порадовал своего повелителя. Он всю жизнь придерживался простой мысли, что надо бдительно следить за всеми, вовремя искоренять как несправедливость и коррупцию, так и крамолу.

Николай довольно быстро понял, что этого недостаточно. И, высоко ценя преданность и исполнительность Бенкендорфа, искал и других опор — Уварова, Киселева. Людей с идеями. А ими оказывались почему-то те, кто прошел искус либерализма. Кроме Уварова и Киселева, вверх пошли арзамасцы Блудов и Дашков.

Постоянно получавший высочайшие аудиенции Сергий Семенович, разумеется, заранее знал о назначении министром.

В начале апреля Никитенко занес в дневник две чрезвычайно интересные записи, сочетание событий в которых многое объясняет. «Апрель. 5. „Московский телеграф“ запрещен по приказанию Уварова. Государь хотел сначала поступить очень строго с Полевым. — „Но“, сказал он потом министру, „мы сами виноваты, что так долго терпели этот беспорядок“.

Везде сильные толки о „Телеграфе“. Одни горько сетуют, „что единственный хороший журнал у нас уже не существует“.

— Поделом ему, — говорят другие, — он осме-

лился бранить Карамзина. Он даже не пощадил моего романа. Он либерал, якобинец — известное дело, и т. д., и т. д.

9. Был сегодня у министра. Докладывал ему о некоторых романах, переведенных с французского.

„Церковь Божьей Матери“ Виктора Гюго он приказал не пропускать. Однако отзывался с великой похвалой об этом произведении. Министр полагает, что нам еще рано читать такие книги, забывая при этом, что Виктора Гюго и без того читают в подлиннике все те, для кого он считает чтение опасным». (Это очень интересная деталь. Никитенко успел уже хорошо изучить Уварова, и теперь он утверждает, что министр печется именно о тех, кто знает по-французски, — о дворянском читателе. Именно дворян желает он отрезать от европейской литературы. И тут важна нам не охранительная наивность Сергия Семеновича, но его тенденция.) «Нет ни одной запрещенной иностранною цензурою книги, которую нельзя было бы купить здесь, даже у букинистов. В самом начале появления „Истории Наполеона“, сочинения Вальтер-Скотта, ее позволено было иметь в Петербурге всего шести или семи государственным людям. Но в это же

самое время мой знакомый Очкин выменял его у носильщика книг за какие-то глупые романы. О повестях Бальзака, романах Поль-де-Кока и повестях Нодье он приказал составить для него записку…

Министр долго говорил о Полевом, доказывая необходимость запрещения его журнала.

— Это проводник революции, — говорил Уваров, — он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России. Я давно уже наблюдаю за ним; но мне не хотелось вдруг принять решительных мер. Я лично советовал ему в Москве укротиться и доказывал, что наши аристократы не так глупы, как он думает. После был сделан ему официальный выговор: это не помогло. Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою — это правительство всегда властно сделать, и притом на основаниях вполне юридических, ибо в правах русского гражданина нет права обращаться письменно к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять, когда хочет. Впрочем, — продолжал он, — известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены: Полевой хотел быть органом их.

Но да знают они, что найдут всегда против себя твердые меры в кабинете государя и его министров».

Воздействие периодической печати на умы граждан — в этом пункте Уваров совершенно сходился с Пушкиным. «Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского снаряда», — писал Пушкин в том же поворотном апреле тридцать четвертого.

Еще в записке о Московском университете Уваров специальное и подчеркнутое внимание уделил журналам. Он хотел показать царю, что насквозь видит и журналистов, и журнальное дело и сумеет ввести эту стихию в должные границы, а потом и использовать на благо доктрины. Описывая свои наблюдения над умонастроениями студентов, он между прочим сообщал своему августейшему адресату: «Сюда относится предмет, имеющий равное влияние на общее спокойствие умов и на самый дух университета, я говорю о периодических изданиях и журналах… Обратил я в бытность мою в Москве особенное внимание на цензуру журналов и периодических листов; комитету цензурному, для сего собран-

ному, счел я нужным поставить пространно на вид его тесные к правительству обязанности, подкрепив мои замечания разными статьями, пропущенными им в журналах; издателей Телеграфа и Телескопа призвал к себе и, излагая им с умеренностию, но твердо, все последствия, какие влекут за собою опасное направление их журналов, и рассуждая с ними о сем предмете, получил от них торжественное обещание исправить сию ложную и вредную наклонность… Вообще, имея при сем случае непосредственное сношение с сими лицами, убедился я в том, что можно постепенно дать периодической литературе, сделавшейся ныне столь уважительной и столь опасной, направление, сходственное с видами правительства; а сие, по моему мнению, лучше всякого вынужденного запрещения издавать листки, имеющие большое число приверженцев и с жадностию читаемые особенно в среднем и даже низшем классах общества».

Понятно, почему — при таких взглядах на предмет — он так стремился получить влияние на будущее пушкинское издание. Он надеялся руками Пушкина создать некое идеальное, образцовое издание, подтверждающее его теоретизирования. Высокие литературные достоинства, тонкий

вкус, отсутствие грубой полемики, пропаганда его, Уварова, идей. Он считал вполне возможным на этой основе альянс с «новым Пушкиным», Пушкиным, написавшим «Клеветникам России». Своим переводом он демонстрировал Пушкину их идейную близость. Он давал понять, что они могут сойтись в общем деле.

Разве можно было простить крушение такой надежды?

Уваров так добивался союза с Пушкиным, потому что его не устраивал ни один из существовавших журналов. Вначале он рассчитывал приручить Полевого, популярного у «средних и даже низших классов», как полагал Сергий Семенович, — а это было для него особенно важно. Но Полевой был упрямо самостоятелен. И Уваров возненавидел его.

Он довольно быстро рассорился с Булгариным и Гречем. В этом была некоторая непоследовательность, вообще-то Уварову несвойственная. Булгарин казался идеальным проводником в литературе и журналистике идеи «официальной народности». Он живо понял и принял идею единения царя с народом мимо дворянства. Ему, вставшему в решительную оппозицию к пушкинскому кругу, гордившемуся своей популярностью

у средних и низших классов, сам бог велел сотрудничать с Сергием Семеновичем.

В знаменательном разговоре Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем в тридцать четвертом году собеседники начали именно с подобной эскапады Булгарина: «В среду был я у Хитровой — имел долгий разговор с великим князем. — Началось журналами: „Вообрази, какую глупость напечатали в «Северной пчеле»: дело идет о пребывании государя в Москве. «Пчела» говорит: «Государь император, обошед соборы, возвратился во дворец и с высоты красного крыльца низко (низко!) поклонился народу». Этого не довольно: журналист дурак продолжает: «Как восхитительно было видеть Великого государя, преклоняющего священную главу пред гражданами московскими!» — Не забудь, что это читают лавочники“. Великий князь прав, а журналист, конечно, глуп. Потом разговорились о дворянстве».

Разговор о дворянстве возник совершенно естественно, ибо ситуация, с таким умилением описанная булгаринской «Пчелой», была антидворянская по сути своей. Для великого князя эти демагогические игры в единение с народом были смешны и нелепы. Для Пушкина они означали

страшную опасность. Это был уваровский путь России. Потому он и стал так горячо убеждать великого князя в необходимости сберечь, оградить родовое дворянство.

Но отчего же Уваров не понимал родства с Булгариным?

Во-первых, ему, как человеку утонченному и с высоким вкусом, булгаринский стиль письма и поведения претил. Булгарин для него был чересчур вульгарен и нахален. Но главное — он был из другой компании.

Уваров же, как истинный политический парвеню, превыше всего ценил групповые интересы. В клановости, в клиентеле он видел реальную сиюминутную опору, противостоящую традиционным корням его противников — дворян декабристского толка. Как всякий политический авантюрист, он стремился окружить себя «своими людьми».

Когда в тридцать первом году была сделана попытка скомпрометировать нескольких высокопоставленных лиц из ближайшего окружения императора, в том числе и Бенкендорфа, то, помимо всего прочего, он был представлен в доносе на высочайшее имя как покровитель Булгарина, а о самом Булгарине сказано: «Преданный

российскому престолу журналист Булгарин, который русских в романе Дмитрия Самозванца научает цареубийствам! смеется над покойным государем consultant M-lle Le Normant et la femme assasinée en Septembre[45] 1824 в лице Бориса Годунова у ворожейки, получил дозволение поднести государю императору вероятно весьма важный по нынешним обстоятельствам роман *Петр Выжогин*, в котором мы найдем свод всех способов приводить народные возмущения, почерпнутые из многолетних трудов и революционных теорий высшего капитула Вейстгаупта, верный сей Булгарин прошлого года писал письмо к одному из своих друзей поляков следующего содержания: „…Да будет проклята та минута, в которую я переехал через Рейн и поехал в Россию. Да будет проклята моя мать, отдавшая меня в юных летах на воспитание в России“ и проч. Письмо сие было представлено в подлиннике генералу Бенкендорфу, но, вероятно, не поднесено государю». И так далее…

Бедный Фаддей Венедиктович, усердно сочиняя собственные доносы, и не подозревал, что на него самого пишется нечто еще похлеще.

---

[45] Notes: 45

Советовавшимся с мадемуазель Ленорман и женщиной, убитой в сентябре *(фр.)*.

Николай начертал на полях доноса: «Я Булгарина и в лицо не знаю; и никогда ему не доверял».

Да, Булгарин был человеком Бенкендорфа, а затем и Дубельта.

Булгарин открыто противопоставлял себя Уварову именно как человек Бенкендорфа и Дубельта. Позже, уже после смерти Пушкина, он обращался в штаб корпуса жандармов с неистовыми филиппиками против Уварова: «Уваров явно говорит, что цензура есть его полиция, а он полицмейстер литературы! Лучше было бы, если бы цензура была медицинский литературный факультет, а Уваров главным доктором, и чтоб они пеклись о здравии и хорошем направлении литературы!.. А в отчетах Министерства просвещения все сияет, как солнце, хотя этим отчетам никто не верит, кроме правительства».

Умный Греч понимал неестественность отношения Уварова к издателям «Северной пчелы» и в записках изобразил трогательную сцену: «Когда в декабре 1852 года ему (Уварову. — *Я. Г.*) дали голубую ленту, я, зная бедственное его физическое и нравственное положение (Уваров был отправлен Николаем в отставку как не выполнивший своих грандиозных обещаний. — *Я. Г.*) вследствие претерпенных им неудовольствий,

искренне тому порадовался и, встретившись с П. Г. Ободовским на Невском проспекте, объявил ему об этом пожаловании. Ободовский поспешил к Уварову с поздравлением, и на вопрос, кто сообщил ему о том, добрый Ободовский отвечал, что сообщил ему эту новость я, и притом с большим удовольствием. Уваров этим был очень обрадован и говорил всем, в свидетельство справедливости этой награды: „Вообразите, и Греч тому радуется!“ Бедный граф! если бы он не отчуждал меня от себя, то нашел бы во мне не чиновника, а искреннего друга, в тысячу раз вернее и искреннее тех лиц, которыми он окружил себя, которые ему льстили, угождали, а потом бросили и даже над ним насмехались».

Все верно. Вражда Уварова с Булгариным и Гречем была историческим недоразумением, чисто человеческой флюктуацией.

Полевой тоже, казалось бы, выглядел живой иллюстрацией «официальной народности». В двадцатые годы тогдашний министр просвещения Шишков разрешил ему журнал именно как «купцу и патриоту», самородку из народа. Но между «самодержавным демократизмом» официальной народности и буржуазным демократизмом Полевого оказалась пропасть.

Конечно, заявление Уварова, что Полевой хотел быть рупором «неистребленных декабристов», — демагогический вздор. Но стремление издателя «Телеграфа» к радикальным переменам Уваров понял гораздо яснее, чем Николай и Бенкендорф. Однако, несмотря на величественные декларации — «Я думал предать его суду», — решать самостоятельно судьбы людей Сергий Семенович все же не мог. Это была прерогатива императора. И тут человеческое влияние Бенкендорфа решало много. А Бенкендорф — во-первых, потому, что смотрел на Полевого со своей особой точки зрения, во-вторых, потому, что его стали раздражать претензии Уварова, которого он, можно сказать, спас от прозябания, — Бенкендорф явно начал покровительствовать Полевому. Александру Христофоровичу вовсе не хотелось, чтобы Сергий Семенович стал всемогущ и безраздельно влиял на императора.

В тридцать третьем году Уваров, после получения должности управляющего министерством, попытался закрыть «Телеграф». Он адресовался к Николаю: «Что касается до издателя „Телеграфа“, то я осмеливаюсь думать, что Полевой утратил, наконец, всякое право на дальнейшее доверие и снисхождение правительства, не сдержав данно-

го слова и не повиновавшись неоднократному наставлению министерства, и, следовательно, что по всей справедливости, журнал „Телеграф“ подлежит запрещению.

Представляя Вашему Императорскому Величеству о мере, которую я в нынешнем положении умов осмеливаюсь считать необходимой для обуздания так называемого духа времени, имею счастие всеподданнейше испрашивать высочайшего Вашего разрешения».

На этот раз страсти, кипевшие в темной душе Уварова, подвели его — он поторопился. Достаточных оснований для такой сильной меры он привести не мог, ибо причины нападения на Полевого были в этот раз не столько политические, сколько личные.

Николай министра не поддержал.

Судя по тому, что на следующий год в подобной ситуации Бенкендорф встал на сторону Полевого, ясно, что и здесь сказалось его заступничество.

Для Уварова, с его планами и самолюбием, это был первый и тяжкий удар. Ему дали понять, что он не всемогущ. Теперь для него сокрушение Полевого стало не просто делом чести, но делом карьеры. Полевой стоял у него на пути и как непокорная личность, и как идеолог.

Уваров органически не мог с этим мириться.

Для понимания того, что произошло далее между Уваровым и Пушкиным, необходимо помнить историю с Полевым. И непримиримость Сергия Семеновича, и начавшуюся его неприязнь к Бенкендорфу, и позицию Бенкендорфа. И вообще разгром «Телеграфа» был для Уварова испытанием своего влияния и пробой сил перед его решительным наступлением на Пушкина, которое началось в том же апреле.

Бенкендорф, при всей его прямолинейности, тоже имел свои виды на печать и вел с ней несложную, необходимую, с его точки зрения, игру. Но, в отличие от Уварова, обуянного манией величия и манией обновления, Александр Христофорович рассчитывал на испытанные издания и на испытанных людей. Он оценил готовность Булгарина служить и не стал его отталкивать ради какого-либо нового человека. Он знал необычайную популярность Полевого и серьезность его направления и хотел использовать эту популярность и эту серьезность. В феврале тридцать второго года, когда Сергий Семенович только еще начинал свое восхождение, Бенкендорф обратился к Полевому с удивительным письмом:

«Вникните, милостивый государь, какие мысли Вы внушаете людям неопытным! Не могу не скорбеть душою, что во времена, в кои и без Ваших вольнодумных рассуждений юные умы стремятся к общему беспорядку, Вы еще более их воспламеняете и не хотите предвидеть, что сочинения Ваши могут и должны быть одною из непосредственных причин разрушения общего спокойствия. Писатель с Вашими дарованиями принесет много пользы государству, если он даст перу своему направление благомыслящее, успокаивающее страсти, а не возжигающее оные. Я надеюсь, что Вы с благоразумием примете мое предостережение и что впредь не поставите меня в неприятную обязанность делать невыгодные замечания на счет сочинений Ваших и говорить Вам столь горькую истину.

Не менее того примите уверения в моем к Вам отличном уважении и преданности, с коею пребыть честь имею Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою».

Письмо это настолько ответственно, что вряд ли оно было самостоятельной акцией одного Бенкендорфа. Оно — результат их совместного с императором решения сохранить и приручить влиятельного журналиста, который к тому же

обличал и высмеивал амбиции дворянства и его претензии на некую особую роль.

После 14 декабря «первому дворянину» Николаю Павловичу Романову позиция Полевого казалась безопаснее позиции Пушкина, заявлявшего, что Романовы и Пушкины равно принадлежат к старинному дворянству.

Разумеется, Полевому не следовало заходить слишком далеко — это Бенкендорф ему угрожающе объяснил. Но Полевого полезно было держать как противовес дворянским фронде и литературе.

Полевому Николай мог еще поверить. Пушкину — никогда.

Полевой, несмотря на все свои грехи, не находился под секретным надзором полиции. Пушкин — находился.

В начале тридцать второго года, когда — совсем недавно — с трудом удалось подавить восстание в Польше и кровавый мятеж в военных поселениях, когда холерные бунты показали степень возбужденности народного сознания и недоверия народа к правительству, Николай и Бенкендорф искали возможностей лавирования, игры, способов приручения готовой к возмущению стихии.

К Пушкину Бенкендорф никогда не обращался

как к представителю некой силы. К Полевому — да. В письме журналисту предлагается договор, союз, признается его влияние, которое правительству неугодно.

В тридцать третьем году Бенкендорф защитил Полевого. В тридцать четвертом ему это оказалось уже не под силу — Уваров встал за прошедший год куда ближе к императору.

Но Бенкендорф пытался…

Полевой — талантливый, честный и целеустремленный человек — понимал и ценил гений Пушкина. Пушкин отдавал должное Полевому-литератору. Но они не могли быть союзниками. Полевой считал себя ловким и опасным противником российского феодализма. Пушкин считал Полевого политическим путаником, способным причинить немалые беды. Они с Бенкендорфом подходили к одинаковому выводу, но — с разных сторон, разных позиций и с разным взглядом на будущее издателя «Телеграфа».

Еще в тридцатом году «Литературная газета» заявила: «Пренебрегать своими предками, из опасения шуток г. г. Полевого, Греча, Булгарина, непохвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не дворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет

русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуготовили крики: „Аристократов к фонарю!“ и ничуть не забавные куплеты с припевом: „Повесим их, повесим“».

Автор заметки остался неизвестен. Противники Пушкина приписали заметку ему, хотя доказательств как не было у них, так нет и у нас.

Последовало обвинение в печатном доносительстве, которое Пушкина больно задело. Он начал писать статью «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», в которой успокаивал своего предполагаемого оппонента: «Образ мнения почтенных издателей „Северной пчелы“ слишком хорошо известен, и „Литературная газета“ повредить им не может, а г. Полевой в их компании под их покровительством может быть безопасен».

Он был уверен, что Полевой состоит не только под покровительством Булгарина и Греча, но и Бенкендорфа: «Полевой был баловень полиции».

Но истинный смысл ярости «аристократов» «Литературной газеты» против Булгарина, Греча и Полевого лежал куда глубже: «И на кого

журналисты наши нападают? ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию — pas si bête[46]. Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, коему принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) не хорошо — и даже неблагоразумно. Положим, что эпиграммы демократических французских писателей приуготовили крики les aristocrates à la lanterne[47]; у нас таковые же эпиграммы, хоть и не отличаются их остроумием, могут иметь последствия еще пагубнейшие… Подумай о том, что значит у нас сие дворянство вообще и в каком отношении находится оно к народу… Нужно ли тебе еще объяснений?»

Бог с ними, с Булгариным и Гречем, — к этому

---

[46] Notes: 46
Они не так глупы *(фр.)*.

[47] Notes: 47
Аристократов на фонарь *(фр.)*.

времени все уже с ними было ясно. Но Полевой… Удары, на которые ответила «Литературная газета», обрушились на обескровленный катастрофой 14 декабря дворянский авангард, а не на Бенкендорфов, Левашевых, Чернышевых, которые распинали поверженных мятежников. Вот что вызывало брезгливое бешенство Пушкина.

Дельвиг, Вяземский, Баратынский, издатели и сотрудники «Литературной газеты», «декабристы без декабря», состоящие на сильном подозрении у правительства, были легкой добычей «демократической критики» Булгарина и Полевого.

Бенкендорф не случайно отечески сурово, но вполне почтительно журил Полевого за опасный политический пассаж, а на Дельвига за сущую ерунду орал и топал ногами.

Понося просвещенное дворянство, Полевой говорил от имени российского третьего сословия, которое как политическая сила еще не существовало вовсе. В тридцатом году Пушкин, полный надежд на союз лучших дворян и царя, в обход бюрократической новой знати, считал натравливание широкой публики, в том числе и грамотной части мещанства, на «старинное дворянство», единственную сознательную позитивную силу в стране, корыстной и безответственной полити-

ческой игрой.

Все здесь казалось Пушкину противоестественным: и объединение Полевого с Булгариным (ни Пушкин, ни Полевой не знали, что Булгарин, опасаясь журнальной и газетной конкуренции, писал на Полевого доносы), и покровительство, которое оказывает издателю «Телеграфа» шеф жандармов (ни Пушкин, ни Полевой не знали, что после отеческого письма тридцать второго года Бенкендорф немедля адресовался к министру народного просвещения, указывая на распространение Полевым «идей самого вредного либерализма»), и то, что Полевой, вчерашний союзник, с восторгом предоставлявший Вяземскому страницы «Телеграфа», выражавший восторг перед Пушкиным, опускается до грубых личных оскорблений, а главное — его политическая позиция. «…У нас таковые же эпиграммы… могут иметь последствия еще пагубнейшие… Подумай о том, что значит у нас сие дворянство вообще и в каком отношении находится оно к народу…»

Дворянский авангард — единственный истинный защитник народа, единственная сила, могущая ограничить деспотизм, настоять на реформах и провести их в союзе с высшей властью. Решающее участие дворянского авангарда

в политической жизни — единственное спасение против мятежей и катастроф. Нельзя компрометировать просвещенное дворянство в глазах народа, бессмысленно отождествляя его с растленной французской аристократией кануна Великой революции.

Республиканизм Полевого, его «якобинство» казались Пушкину несвоевременными и опасными в российских условиях. Как, впрочем, и вообще призыв к стихийному мятежу. «…В крике les aristocrates á la lanterne вся революция», — говорит собеседник автора из «Опыта отражений некоторых нелитературных обвинений». «Ты не прав, — отвечает ему Пушкин. — В крике les aristocrates á la lanterne один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме».

Антифеодальная борьба буржуа Полевого казалась ему в лучшем случае смешной. «Феодализма у нас не было, и тем хуже».

Феодализм мог дать настоящую аристократию, которая, как английская, ограничила бы деспотизм самодержавия. Феодальный путь России, по его мнению, мог предотвратить трагедию просвещенного старинного дворянства — и тем самым предотвратить грядущие катастрофы.

Полевой же был устрашающе последователен в проповеди противоположной точки зрения, вплоть до возвеличивания Ивана Грозного. «Полевой видит в нем великого человека, — писал Никитенко, — „могучее орудие“ в руках Провидения». И объяснял: «Полевой, впрочем, знает, почему оправдывает Иоанна: это гроза аристократов».

Пушкин старался следить за глубинным ходом истории, извлекая уроки.

Полевой, впрямую подчиняя прошлое злободневной политике, мыслил поверх истории. А потому не мог — искренне не мог! — понять логику поведения Пушкина, логику его идей.

Повесть их отношений — горькая и обидная повесть человеческого недоразумения, которое недоразумением историческим не было.

«Верьте, верьте, что глубокое почтение мое к Вам никогда не изменялось и не изменится, — писал Полевой Пушкину в тридцать первом году, уже после жестокой полемики, в которой Пушкин, надо сказать, в отличие от Полевого, до личностей не опускался. — В самой литературной неприязни Ваше имя, Вы — всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что Вы у нас один и единственный».

Полевой уверен был, что дело в «литературной неприязни». А их разводил мощный исторический поток, безжалостный к человеческим отношениям. Они сделали разный исторический выбор. Пушкин это понимал…

А министр народного просвещения Сергий Семенович Уваров понимал свое. В тридцать четвертом году ему равно не нужны и враждебны и Пушкин, и Полевой. Но с Пушкиным невозможно разделаться одним ударом. Его можно и должно оттеснять постепенно, загоняя в угол.

С Полевым проще — у него был журнал. Мишень для решающего удара.

После того, как император одобрил доклад за тридцать третий год, после того, как решено было поднять его, Уварова, еще на ступень выше — на пост уже не управляющего министерством, но министра, Сергий Семенович нанес удар.

«Московский телеграф» иронически высказался о драме Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла». Спектакль между тем понравился Николаю. Уваров понял, что это идеальный повод для начала действий.

У него в запасе имелось около сотни выписок из статей Полевого и его «Истории русского народа», которые, будучи выдернуты из контекста, долж-

ны были уличить автора в неблагонадежности.

25 марта издатель «Телеграфа» отправлен был в Петербург с жандармом и предстал перед Бенкендорфом и Уваровым.

О происшедшем в столице подробно рассказал со слов самого Полевого его брат Ксенофонт.

Уваров пустил в ход свои выписки, и между ним и журналистом начались многочасовые прения. «…Граф Бенкендорф казался больше защитником его или, по крайней мере, доброжелателем: он не только удерживал порывы Уварова, но иногда подшучивал над ним, иногда просто смеялся, и во все время странного допроса, какой производил министр народного просвещения, шеф жандармов старался придать характер обыкновенного разговора тягостному состязанию бедного журналиста с его грозным обвинителем».

Заступничество Бенкендорфа не помогло. Журнал запретили. Император уже решил целиком доверить все, что касается просвещения, Уварову.

Если Бенкендорф искренне хотел сохранить Полевому журнал, то лукавый Дубельт, очаровавший Николая Алексеевича своей ласковостью и предупредительностью, в глубине души придерживался иного суждения. Николай Раевский

сетовал на запрещение «Телеграфа». Дубельт, бывший когда-то адъютантом его отца, отвечал ему со зловещей шутливостью: «За Полевого ставлю вас на колени, ибо он не заслуживает снисхождения тех людей, которым Россия и будущее поколение дорого. Если бы у вас были дети, то и вы, вместе со мною, радовались бы, что правительство запретило этому республиканцу издавать журнал, которым он кружил головы неопытной молодежи и буйство Лафаетов высказывал истинным просвещением. Полевой безбожник, и вы тоже — вот вам и все».

Удивительно, как все они ошибались в оценке характера бунтаря-журналиста.

Полевой производил впечатление фанатика не только на своих высокопоставленных врагов («…я знаю его: это фанатик», — сказал Уваров), но и на людей расположенных. Незадолго до закрытия «Телеграфа» Никитенко встретился с Полевым у Смирдина: «Это иссохший бледный человек, с физиономией сумрачной, но и энергической. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорит он не хорошо. Однако в речах его — ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям

необыкновенным… Притом он одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на какие соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится. — „Мне могут, — сказал он, — запретить издание журнала: что же? я имею, слава богу, кусок хлеба и в этом отношении ни от кого не завишу“».

Это декларировалось в феврале тридцать четвертого года. Николай Алексеевич и в самом деле был человеком необыкновенным и сильным. Но запрещение журнала раздавило его. И он изменил своим правилам, пошел на поклон к Николаю и Уварову, а после смерти Пушкина — в тридцать седьмом году — и к Булгарину. Это была капитуляция, вынужденная материальными бедствиями и потерянной надеждой.

7 апреля тридцать четвертого года Пушкин записал в дневник: «*Телеграф* запрещен — Уваров представил государю выписки, веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его журналу. (Выписки ведены Брюновым, по совету Блудова.) Жуковский говорит: я рад, что *Телеграф* запрещен, хотя жалею, что запретили. *Телеграф* достоин был участи своей; мудрено с большей

наглостию проповедовать якобинизм перед носом у правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска».

Историософская неприязнь к позиции Полевого ослепила его, и он не увидел опасности происшедшего. Он думал, что теперь, после сокрушения столь популярного и потому сильного противника в борьбе за умы русской публики, его возможности увеличатся.

Он ошибался.

Через два дня после этой записи Никитенко занес в свой дневник: «Я представил ему (Уварову. — *Я. Г.*) еще сочинение или перевод Пушкина: „Анджело“. Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензировать их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел „Анджело“ и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены».

Одушевленный сокрушением Полевого, которое было для него и победою над Бенкендорфом, вдохновленный одобрением императора, Сергий Семенович решил, что пришло время заняться Пушкиным. Это был пробный ход в двух направлениях: во-первых, не испрашивая позволения

Николая, министр как бы отменял его волю и отдавал Пушкина во власть общей цензуры; во-вторых, давал понять Пушкину, что он, Уваров, будет следить за его сочинениями и допускать их к публике в том виде, в каком сочтет нужным.

Сергий Семенович ликовал. Его указания Никитенко о Пушкине даны были того же 9 апреля посреди разговора о Полевом. Два человека, которые казались Сергию Семеновичу особенно опасными по своему влиянию на умы и еще вчера для него недостижимые. Сегодня же один был уничтожен, а другой — унижен.

Пришло время расплатиться за все обиды, за брезгливое пушкинское высокомерие, за отвергнутое в трудные для Сергия Семеновича годы союзничество. Пришло время сломить гордыню этого человека и вырвать жало у проповедника разрушительных начал…

Уваров вычеркнул из «Анджело» всего восемь строк, которые — если уж пристрастно читать «Анджело» — выглядели далеко не самыми сомнительными.

Первое изъятие пришлось на мольбу Изабеллы, которая, узнав о предстоящей казни брата, пытается разжалобить непреклонного Анджело:

Он не готов еще, казнить его немож-

но…

Ужели Господу пошлем неосторожно

Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят

Не бьем до времени. Так скоро не казнят.

Почему надо было вымарывать эти стихи? Даже церковная цензура вряд ли могла к ним придраться. Наоборот — речь шла о том, что преступник должен предстать перед Богом раскаявшийся, с очищенной душой.

Другие четыре строки министр изъял из второй части поэмы, из монолога приговоренного к смерти Клавдио:

Так – однако ж… умереть,

Идти неведомо куда, во гробе тлеть

В холодной тесноте… Увы! земля прекрасна

И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,

Стремглав низринуться в кипящую смолу,

Или во льду застыть, иль с ветром быстротечным

Носиться в пустоте, пространством бесконечным…

И все, что грезится отчаянной мечте…

Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,

В печалях, в старости, в неволе… будет раем

В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем.

Последние четыре строки Уваров вычеркнул.

Почему? Ведь описание адских мук, восходящих к дантовскому «Аду», в первых строках делало понятным и правомерным последние строки. Клавдио боится смерти потому, что сознает себя грешником и уверен в загробном возмездии. Не земные радости противопоставляются небесному блаженству, что отдавало бы богоборчеством, но земные невзгоды — адским мукам. А что может быть страшнее адских мук?

Опытный Уваров прекрасно это понимал. Но сделал вид, что опасается церковной цензуры. Это была прозрачная игра. Недаром, узнав о вымарках, Пушкин, умевший смиряться с необходимыми цензурными потерями, здесь пришел

в ярость. Он понял смысл происшедшего.

Уваров вычеркнул стихи, которые мог не вычеркивать. Он хотел сказать и сказал этой выходкой — «ты в моей власти».

Это была еще умеренная и вкрадчивая, но зловещая в перспективе демонстрация силы.

Он провоцировал Пушкина…

Ситуация казалась Сергию Семеновичу тем более сладостной, что на следующий день Пушкины были званы им в гости. Визит состоялся, но удовольствия Пушкину не принес. Он ничего еще не знал о демарше министра, ему просто было неуютно в этом доме. Следующим утром он записал: «Вчера вечер у Уварова — живые картины. — Долго сидели в темноте. S. не было — скука смертная. После картин вальс и кадриль, ужин плохой».

Через несколько часов он узнал об искалечении «Анджело». Эти восемь вычеркнутых строк, естественно, не могли сколько-нибудь всерьез испортить поэму. Но он принял вымарки за идиотическое своеволие цензора Никитенко и пришел в ярость.

Никитенко меланхолически занес в дневник 11 апреля: «Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным… К нему дошел его „Анджело“ с

несколькими, урезанными министром, стихами. Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!»

Никитенко по-человечески Пушкина не любил и старался объяснить его поведение мотивами неблаговидными. Ни для Пушкина, ни для Смирдина эти восемь червонцев — если это не сплетня! — роли не играли. Но точки должны были объяснить публике, что нелепые разрывы в тексте не экстравагантность или небрежность автора, а следы цензурных ножниц.

Великий лицемер, Сергий Семенович, готовясь к прыжку, демонстрировал полную лояльность по отношению к будущей жертве. Пушкин, зная Уварову цену и не сомневаясь, что рано или поздно они столкнутся, не ожидал, что случится это уже теперь.

14 апреля разыгралась красноречивая сцена, многое поставившая на свои места. Никитенко записал: «Был у Плетнева. Видел там Гоголя; он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в „Новоселье“.

Бедный литератор! Бедный цензор!

Говорил с Плетневым о Пушкине: они друзья. Я сказал:

— Напрасно Александр Сергеевич на меня сердится. Я должен исполнять свою обязанность, а в настоящем случае ему причинил неприятность не я, а сам министр».

Никитенко, выдавая служебную тайну, хотел сгладить ситуацию. Он не понимал, что означает для Пушкина это известие.

А означало оно многое.

Уваров решился отменить распоряжение императора. Получил ли он на то высочайшее согласие? Действовал ли на свой страх и риск, веря в безнаказанность? И то и другое было скверно. Уваров вошел в большую силу, а его, Пушкина, выдавали головой министру просвещения.

И министр просвещения сделал свой ход — барственнооскорбительный. И было ясно, что это только начало.

Еще раз всмотревшись в зачеркнутые строки, Пушкин понял угрожающий смысл происшедшего. Тут-то он вспомнил Полевого…

А через неделю, 21 апреля, обнародован был высочайший указ Правительствующему сенату:

«Управляющему Министерством народного

просвещения товарищу министра тайному советнику Уварову всемилостивейше повелеваем быть министром народного просвещения».

В тот же день последовал другой, еще более выразительный указ: «Нашему тайному советнику, министру народного просвещения Уварову.

Отменно-усердная служба и неусыпные труды Ваши по управлению вверенным Вам министерством приобретают Вам право на наше особенное благоволение и признательность. В ознаменование оных всемилостивейше пожаловали мы Вас кавалером императорского и царского ордена нашего Белого орла, знаки коего, при сем препровождаемые, повелеваем Вам возложить на себя и носить по установлению.

Пребываем императорскою нашею милостию к Вам благосклонны.

Николай».

Николай поверил в Уварова. И показал это всем.

На что можно было теперь рассчитывать в случае прямого столкновения с министром? А оно должно было произойти при выходе «Пугачева».

На то, что император понимает смысл и роль книги? Возможно.

На то, что при случае Бенкендорф захочет взять

реванш за историю с «Телеграфом»? Возможно.

Но главное — нужен был успех самой книги, возвращение симпатий публики, дружественное общественное мнение. Ведь битва шла не за должность и не за чин. Битва шла за умы читателей…

После истории с «Анджело» они еще некоторое время соблюдали взаимную корректность. Пушкин обдумывал возможность противодействия. Уваров сдержанно торжествовал.

В мае — через месяц после подспудного столкновения — Гоголь, добивавшийся профессорского места в Киевском университете, попросил Пушкина походатайствовать перед министром. Пушкин отвечал: «Пойду сегодня же назидать Уварова и кстати о смерти *Телеграфа* поговорю и о вашей. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожидающему. Авось уладим».

Он еще шутил. Претензии Уварова на бессмертие были ему смешны. Закрытие «Телеграфа» и петербургское нездоровье Гоголя, заставлявшее теплолюбивого малоросса мечтать о благодатной Украине, давали возможность светски иронической беседы. Таков и был пока стиль их разговоров при встречах — министра просвещения

с историографом… Один скрывал светскостью свою ненависть, другой — свой сарказм. И тому и другому — особенно Пушкину — ясно было, что долго так продолжаться не может.

Так или иначе нужно было перешагнуть Уварова.

Поединок с Уваровым (3)

Развратник, радуясь, клевещет…

А. С. Пушкин

Император Николай благословил издание «Истории Пугачевского бунта» далеко не случайно. Он решился вернуться к крестьянскому вопросу и ждал приезда Киселева. В мае тридцать четвертого года император объявил Павлу Дмитриевичу о намерении «вести процесс против рабства». Выход «Пугачева» должен был совпасть с началом действий и подготовить умы консервативных дворян.

Выход книги выглядел как событие истинно государственного значения. «Пушкин… ожидает прибытия царя, чтоб выпустить в свет своего „Пугачева“», — писал Вяземский княгине Вере Федоровне в октябре.

В ноябре Пушкин сообщал Бенкендорфу: «История Пугачевского бунта отпечатана, и для выпуска оной в свет ожидал я разрешения Вашего Сиятельства; между тем позвольте обеспокоить Вас еще одною просьбою: я желал бы иметь счастие представить первый экземпляр

книги государю императору, присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества».

Полгода назад, после того как Уваров показал ему, кто истинный хозяин его сочинений, и полиция вскрыла его письмо жене, а царь одобрил действия полиции и Уварова, он попытался выйти в отставку. Все, что он задумал, показалось ему неисполнимым, ведущим к ненужным жертвам самолюбия, окончательной потере популярности…

Накануне выхода «Пугачева» он снова надеялся…

Вывоз книги из типографии был санкционирован самим императором. Так хотел Сперанский. Кроме обычной теперь осторожности Михаила Михайловича, здесь видно и общее их с Пушкиным желание как можно торжественнее и официальнее обставить этот момент.

«Пугачев» вышел в свет в самом начале тридцать пятого года, а вскоре после этого царь ввел Киселева в Государственный совет и предложил ему обдумать возможные реформы.

Сергия Семеновича появление «Пугачева» взбесило не просто от неприязни к Пушкину.

Причины были куда серьезнее.

Столь важное сочинение, трактующее вопросы большой политики, вышло без его ведома и соизволения. И это был удар не только по самолюбию, но прежде всего по престижу. Сергий Семенович добивался абсолютного контроля над всем, что касалось до его ведомства. Он мечтал о полном контроле над всеми явлениями литературной, культурной, культурно-политической жизни. Появление «Пугачева» помимо него давало Пушкину принципиальный перевес, могло послужить опасным прецедентом на будущее, создавало впечатление об ограниченности его, Уварова, влияния.

Но куда страшнее было другое. Провозглашенная им народность как один из коренных источников самодержавной власти подразумевала — непременно! — социальный мир. В его обольстительно цельной системе не было места прежде всего крестьянским бунтам. Сочинение Пушкина, явственно указывавшее на возможность подобных бунтов в его, Уварова, время деятельности, отменяло эту цельность. Заставляло усомниться в идее «реформ сознания», а не «реформ жизни».

Пушкинское сочинение было козырем для тех,

кого Уваров естественным образом воспринимал как противников, — для Киселева и Сперанского.

Сама мысль об отмене рабства или реформах, ведущих к этому, претила Сергию Семеновичу не только потому, что он начал новую свою карьеру с записки о несвоевременности и вредности таких реформ, но и потому, что движение в эту сторону оттесняло на второй план, а то и вообще делало сомнительной его генеральную доктрину перевоспитания нации.

В бурях, сопутствующих крушению рабства, в ломке крестьянского сознания, которая неизбежно бы при том произошла, триединая стройность уваровского здания разлетелась бы вдребезги.

Для возведения умственных плотин, для воспитания просвещенных рабов Сергию Семеновичу нужна была стабильность, а не перевороты…

Спор шел о смысле деятельности и — в конечном счете — существования.

Свои планы относительно «процесса против рабства» Николай держал в секрете, делился ими только с Киселевым, да и того просил ни с кем об этом не говорить, кроме Сперанского.

Выход «Пугачева» тем более поразил Уварова, что указывал на соответствующие намерения императора. Он означал, что Сергию Семеновичу не

удалось монополизировать ту часть августейшего сознания, которую занимали реформаторские амбиции.

По выходе «Пугачева» инцидент с «Анджело» показался невинной размолвкой. Вот когда Уварову стало ясно, что Пушкин по-настоящему опасен и с его, Уварова, планами несовместим. Пушкину же стало ясно, что всесилие Уварова обрекает на невозможность все то, что он собирался предпринять для спасения России.

Никогда не обольщаясь относительно российской аристократии, он к тридцать пятому году потерял веру в родовое дворянство — в том его состоянии, в каковом пребывало оно теперь, — обескровленное разгромом авангарда, истощенное раздроблением имений, деморализованное потерей понятия о своей политической роли в неизбежных катаклизмах, утратившее чувство долга, а стало быть, и чувство чести.

Вопрос для него стоял ясно: или удастся воспитать молодые поколения дворян так, что они осознают свой истинный долг и обучатся «чести вообще» и, соответственно, станут защитой народа и двигателем разумных реформ, или же превратятся в «страшную стихию мятежей», соединясь с бунтарской стихией отчаявшихся

мужиков.

Чем далее, тем более противоборство Пушкина и Уварова превращалось в противоборство исторической жизни и исторического омертвения. Дилемма: жить, испытывая боль, страдание, жить с надеждой, но и с трезвым пониманием драматизма исторического бытия, и, соответственно, ища пути для разрешения этого драматизма, или же существовать в одеревенении идеологической анестезии, — эта дилемма с роковой равномерностью вставала перед правительством Российской империи. Для Пушкина варианты были ясны — органичный процесс, со всеми его перепадами и опасностями, но и конечной социальной гармонией, или же ложная стабильность, сулящая недолгий покой и катастрофу в недалеком будущем.

«Историей Пугачева», политическими статьями, которые он готовил, грандиозной «Историей Петра», над которой он трудился, он надеялся толкнуть страну на первый путь…

Прочитав «Историю Пугачевского бунта», Сергий Семенович безошибочно узнал в ней первую главу некоего учебника для познания прошлого и настоящего. И решился сделать все от него зависящее, чтоб — раз уж он не смог предотвратить

выход книги — скомпрометировать ее.

У Сергия Семеновича были основания для беспокойства. Книга прежде всего попала в руки тех, кому она была не просто любопытна. Уже в феврале тридцать пятого года Александр Тургенев писал Жуковскому из Вены, что «Историю Пугачевского бунта» «читал посол и переходит из русских рук в руки». Послом в Вене был Дмитрий Павлович Татищев, сторонник освобождения крестьян. Вскоре после того, как он прочитал «Пугачева», в Вену приехал Киселев, и они беседовали о будущих реформах. И в дальнейшем Татищев снабжал Киселева материалами о европейском состоянии крестьянского вопроса.

На таких читателей Уваров повлиять, разумеется, не мог. Другое дело — читающая российская публика. Здесь возможности его были велики отнюдь не только по занимаемому им официальному положению, но и по достигнутой им репутации в самых разных кругах.

Вдова профессора философии и богословия одного из немецких университетов адресовалась к Сергию Семеновичу с такими словами: «Слава о знаменитых подвигах Вашего Превосходительства в пользу народного просвещения Российской империи, распространяющаяся по всей Европе…»

и так далее.

Сразу после смерти Сергия Семеновича, умершего опальным, некто Г. Попов написал и роскошно издал на свой счет стихи, заканчивающиеся так:

Нам народность – в бранях знамя,
Божий Крест верней забрал,
Русь Святая – орифлама, —
Нас Уваров понимал!

Это не просто посмертный восторг. Никакой корысти прославлять министра, не только покойного, но и опального, не было. В годы расцвета карьеры на Уварова смотрели — многие и многие! — именно так. Как на пророка спасительных идей. Его слава великого эрудита, друга европейских знаменитостей, корреспондента самого Гёте, вкупе с его официальным величием, создавала вокруг изящно и сурово вскинутой головы Сергия Семеновича ослепляющий ореол. Особенно для людей, мало что о нем знавших до его возвышения.

«В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении».

Неуспех «Пугачева» Пушкин ставил в прямую связь с «криками» Уварова. И не случайно.

Уже был задуман императором новый комитет для обсуждения крестьянской реформы. Уже состоялись решительные разговоры Николая с Киселевым. Но, с другой стороны, и сила Уварова возрастала.

«Указ

нашему тайному советнику, министру народного просвещения Уварову

Во изъявление особенного нашего благоволения к отличным трудам Вашим по управлению вверенным Вам министерством всемилостивейше жалуем Вас кавалером ордена Святого Александра Невского… Пребываем императорскою нашею милостию к Вам благосклонны.

7 апреля 1835 года

Николай».

Тонкий психолог, Сергий Семенович делал все, чтобы благоволение к нему императора полной мерой входило в сознание окружающих.

Он умело и последовательно создавал вокруг себя атмосферу гордой значительности.

Молодой чиновник Министерства просвещения с благоговением наблюдал разыгранную министром сцену: «Уваров получил орден

Св. Александра Невского. Накануне праздника, когда крупные награды делаются известными, от Уварова последовало приказание, чтобы все чиновники его ведомства на другой день Пасхи к 11-ти часам собрались в департамент Министерства народного просвещения, куда и он приедет. К назначенному времени все мы собрались. Ровно в 12 часов приехал министр. Медленной походкой он вошел в зал и, поздоровавшись со всеми нами, выдвинулся на середину залы и своим звонко-тягучим голосом произнес: „Истинный министр народного просвещения есть государь император — я его орудие — вы исполнители моей власти — в моем лице вы все награждены; впрочем, я вами доволен“. Сказав это, он сделал общий поклон и быстро вышел. По отъезде Уварова мы начали поздравлять друг друга с наградою».

26 июля того же года утвержден был составленный Уваровым новый университетский устав, уничтожавший остатки академического самоуправления и отдававший университеты безраздельно во власть правительственных чиновников — попечителей учебных округов.

Это был важный результат уваровских «отличных трудов»…

За последние полгода в официальном положении Пушкина произошла перемена, которую он, быть может, не оценил до конца.

В ноябре тридцать четвертого года он, как было заведено, представил том своих «Стихотворений» в III Отделение для разрешения к напечатанию. Том был рассмотрен и одобрен. Но, в отличие от прежних лет, дело на этом не закончилось. После ведомства Бенкендорфа книга пошла в ведомство Уварова — в цензурный комитет.

Они сговорились за пушкинской спиной.

Ссориться с Уваровым из-за Пушкина Бенкендорф не собирался. Пушкин все еще не мог в это поверить.

Но 24 января Сергий Семенович адресовался к Дондукову: «Возвращая при сем представленные Вашим Сиятельством два стихотворения А. Пушкина, покорнейше прошу предложить цензуре, не стесняясь написанным на сих стихотворениях дозволением к печатанию, сличить оные с тем, как они были уже однажды напечатаны, и одобрить оные ныне в том же виде, в каком сии пиесы были дозволены в первый раз».

Пушкин не знал этого документа и не мог оценить поэтому его сокрушительного смысла. А речь шла о том, что, коль скоро автор осме-

лился поправить или восстановить какие-либо строки в цензурованных ранее стихах, то даже в случае одобрения этих исправленных стихов III Отделением, цензурный комитет пропускать их не должен.

Уваров не решился бы на такой шаг, не получи он высочайшей санкции.

Пушкина отдавали во власть министра просвещения. Причем ни император, ни Бенкендорф не подозревали о взаимной ненависти этих людей, не могли понять пропасти, их разделяющей, исторической невозможности их сосуществования. Они просто решили, что Пушкину больше незачем пользоваться такими привилегиями. «Пугачев» — случай особый. А в остальном его можно было задвинуть обратно в общий ряд российских литераторов, полностью подвластных Уварову.

Весной тридцать пятого года Пушкину стало ясно, что «Поэмы и повести» и «Стихотворения», которые он издавал и на которые возлагал денежные надежды, выйдут в том виде, в каком их хочет видеть министр просвещения.

Причем князь Дондуков, вызвав Пушкина, прямо заявил ему о перемене его положения. То, что он должен был выслушивать грубые ультимату-

мы от уваровского «паяса», «дурака и бардаша», превысило меру унижения.

1 июня тридцать пятого года Пушкин снова обратился через Бенкендорфа к царю с просьбой об отставке.

И первой, и второй попыткам отставки непосредственно предшествовали острые столкновения с Уваровым. Но если в тридцать четвертом году это было лишь одним из многих обстоятельств, то в тридцать пятом — стало главным.

Отставка опять не получилась.

Он решил продолжать борьбу.

Но сперва надо было как-то отбросить, потеснить Уварова. Иначе все теряло смысл.

Явное сочувствие Бенкендорфа Полевому — в пику министру просвещения, явная неприязнь, возникшая между двумя теперь уже соперниками по влиянию на императора, давала некоторую надежду.

Урок «дела Полевого» Пушкин учел внимательно.

Заручиться покровительством Николая через Бенкендорфа, используя разлад в верхах, казалось после успеха «Пугачева» у императора реальным.

Надо было только показать императору и шефу

жандармов нелепость и самодурство цензурных притеснений, показать вызывающую дерзость цензурного ведомства, посягавшего на цензорские права самого царя.

В апреле он наметил эту линию наступления — через Бенкендорфа, которому он писал в черновом письме: «Я имел несчастие навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения, так же, как князя Дондукова, урожденного Корсакова. Оба уже дали мне ее почувствовать довольно неприятным образом».

Цензурные неприятности пока что были минимальными. Но он думал о будущем и хотел обезопасить свои политические труды.

Письмо он не отправил, ибо 16 апреля имел личную встречу с шефом жандармов…

И надо было нейтрализовать влияние Уварова на публику, скомпрометировав его как личность, как общественную фигуру.

Это был продуманный план, сулящий некоторую надежду.

Исполнение плана он начал апрельским письмом Дмитриеву о фокуснике Уварове и его паясе Дондукове-Корсакове, а затем и чрезвычайно обидной эпиграммой на Дондукова.

В это же, очевидно, время, готовя историческое

обоснование своего грядущего нападения на министра, он записал: «Суворов соблюдал посты. Потемкин однажды сказал ему, смеясь: „Видно, граф, хотите вы въехать в рай верхом на осетре“. Эта шутка, разумеется, принята была с восторгом придворными светлейшего. Несколько дней после один из самых низких угодников Потемкина, прозванный им Сенькою-бандуристом, вздумал повторить самому Суворову: „Правда ли, ваше сиятельство, что вы хотите въехать в рай на осетре?“ Суворов обратился к забавнику и сказал ему холодно: „Знайте, что Суворов иногда делает вопросы, а никогда не отвечает“».

Здесь не случаен не только сарказм по отношению к Сеньке-бандуристу, отцу министра, «низкому угоднику» фаворита, но не случайна и фигура Суворова.

В тридцатом году, в эпоху «Моей родословной», он записал: «Конечно, есть достоинство выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением».

В тридцать пятом году, вступая в смертельную распрю с Уваровым, он столкнул потемкинского шута, мимолетного любовника Екатерины,

вышедшего в вельможи, и великого Суворова, старинного служилого дворянина, чтущего своих предков и свое дворянское достоинство.

За Уваровым стояла новая бюрократическая знать, продажная и корыстная, слепая в политике.

За ним, Пушкиным, — традиция старого дворянства, чья судьба была судьбой России, чье падение сулило беды государству…

В том же апреле он сделал еще один ход. Он передал через Бенкендорфа рукопись «Путешествия в Арзрум» императору. Он сделал это, несмотря на изменившиеся условия игры, — ведь теперь он возвращен был во власть общей цензуры. Поводом для такого хода была важность предмета, касавшегося восточной политики Николая. Он хотел, несмотря ни на что, приучить царя цензуровать его политические рукописи — опыт с «Историей Пугачева» обнадеживал. А «Путешествие в Арзрум» имело прямое отношение к главным его занятиям тридцать пятого года: «Истории Петра», переводу записок бригадира Моро-де-Бразе о Прутском походе 1711 года.

Позволить, чтобы политические рукописи шли через Уварова, он просто не мог. Тогда надо было бросать все.

В мае Николай вернул рукопись с некоторыми замечаниями и разрешил ее печатать. Таким образом, в цензурной блокаде оказалась брешь. Но пускать это оружие — разрешение императора — в дело немедленно Пушкин не стал. У него были иные намерения.

Перед отъездом в Михайловское в августе тридцать пятого он отправил в Главное управление цензуры откровенно издевательское послание, ответ на которое мог быть, по его мнению, только компрометантным для Уварова и Дондукова:

«Честь имею обратиться в Главный комитет ценсуры с покорнейшею просьбою о разрешении встретившихся затруднений.

В 1826 году государь император изволил объявить мне, что ему угодно самому быть моим ценсором. Вследствие высочайшей воли всё, что с тех пор было мною напечатано, доставляемо было мне прямо от Его Величества из 3-го Отделения собственной его канцелярии при подписи одного из чиновников: *С дозволения Правительства.* Таким образом были напечатаны: „Цыганы“, повесть (1827), 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я главы „Евгения Онегина“, романа в стихах (1827, 1828, 1831, 1833), „Полтава“ (1829), 2-я и 3-я часть „Мелких стихотворений“; 2-е, *исправленное* издание поэмы

„Руслан и Людмила“ (1828), „Граф Нулин“ (1828), „История Пугачевского бунта“ и проч.

Ныне, по случаю *второго, исправленного* издания „Анджело“, перевода из Шекспира (неисправно и со своевольными поправками напечатанного книгопродавцем Смирдиным), г. попечитель С.-Пб. учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они печатались, т. е. с надписью чиновника собственной его величества канцелярии. Между тем никакого нового распоряжения не воспоследовало, и таким образом я лишен права печатать свои сочинения, дозволенные самим государем императором.

В прошлом мае месяце государь изволил возвратить мне сочинение мое, дозволив оное напечатать, за исключением собственноручно замеченных мест. Не могу более обратиться для подписи в собственную канцелярию Его Величества, и принужден утруждать Комитет всеуниженным вопросом: какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию?

28 августа Титулярный советник

1835 Александр Пушкин».

Все здесь — вплоть до подписи — имело свой

смысл.

Он напоминает о решении Николая, отнюдь не отмененном. Не случайно подчеркнуто «исправленное» второе издание «Руслана и Людмилы». С разрешения государя в нем были вещи, которых в первом издании, прошедшем обычную цензуру, не было.

Он указывал на прецедент.

Он дерзко называет вычерки Уварова в «Анджело» «своевольными поправками». (Вряд ли Смирдин правил поэму. Он мог допустить опечатки — не более.) Он говорит о «втором, исправленном» издании «Анджело». То есть он попытался убрать уваровские вымарки, ссылаясь на право, данное ему императором. И в ответ получает заявление Дондукова.

Он предает гласности это устное заявление председателя Цензурного комитета, отменяющее волю императора, и показывает абсурдность положения, в которое эта удивительная акция его поставила. Император одобрил к публикации его сочинение — «Путешествие в Арзрум», а напечатать он его не может, ибо Дондуков запретил ему впредь обращаться в III Отделение за визой для типографии.

Царь разрешил, а Дондуков запретил!

Не без злорадства думал он о том, как придется изворачиваться Уварову, составляя ответ…

Прямым поводом для начала военных действий стала судьба «Путешествия». Общая же цель виделась ему в широкой дискредитации министра и его клеврета, творивших беззаконие и пренебрегавших волей царя.

По приезде в Михайловское или перед самым отъездом он набросал черновик жалобы Бенкендорфу, которую собирался дописать и отправить в зависимости от развития событий.

«Обращаюсь к Вашему Сиятельству с жалобой и покорнейшею просьбою.

По случаю затруднения цензуры в пропуске издания одного из моих стихотворений принужден я был во время Вашего отсутствия обратиться в Цензурный комитет с просьбой о разрешении встретившегося недоразумения… Но комитет не удостоил просьбу мою ответом. Не знаю, чем мог я заслужить таковое небрежение, — но ни один из русских писателей не притеснен более моего.

Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении — печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания. Я не смею печатать мои сочинения — ибо не смею…»

Он отправил письмо в комитет 28 августа, а 7 сентября уехал в Михайловское, не получив ответа.

Перед отъездом он сговорился с Плетневым, что тот отдаст все же «Путешествие» в цензуру. «Путешествие» предназначалось для альманаха, который они задумали. Разумеется, заручившись высочайшим разрешением, можно было попытаться издать рукопись без общей цензуры. Затеять еще одну тяжбу. Но ему в этот момент важнее было понять, как его противники поступят с рукописью, апробированной царем. Это обнаружило бы степень их уверенности в себе.

Письмо Бенкендорфу он думал пустить в дело, ежели Уваров замахнется на «Путешествие». Тогда фраза: «Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении» — приобретала настоящий смысл. Получалось бы, что министр просвещения последовательно препятствует прохождению сочинений, во влиянии которых на читателей заинтересован царь. Тут и крики о возмутительном смысле «Пугачева», выпущенном по прямому указанию Николая, прекрасно оказывались в общем ряду уваровской оппозиции высочайшему мнению.

29 сентября он вопрошал жену из Михайлов-

ского: «Что Плетнев? думает ли он о нашем общем деле?» Речь шла об альманахе. Но — не только. В начале октября он писал самому Плетневу: «Очень обрадовался я, получив от тебя письмо (дельное, по твоему обычаю). Постараюсь отвечать по пунктам и обстоятельно: ты получил *Путешествие* от цензуры; но что решил комитет на мое всеуниженное прошение? Ужели залягает меня осленок Никитенко и забодает бык Дундук? Впрочем, они от меня так легко не отделаются».

Случайная, на первый взгляд, шутка о Никитенко на самом деле — камертон для понимания глубинного смысла происходящего. Здесь двойная реминисценция: из «Умирающего Льва» Крылова и ориентированных на Крылова собственных строк: «…Геральдического льва Демократическим копытом / Теперь лягает и осел: Дух века вот куда зашел!» Он, как никто, видел опасность ложного демократизма — уваровской народности.

Вопрос о цензуре и «Путешествии» — сложнее. «Путешествие в Арзрум» явно прошло цензурное чистилище без потерь. Уваров с Дондуковым не захотели давать ему повода для новых демаршей.

Но он жаждал не одиночной победы, а узаконенного права публиковать политические

и исторические сочинения помимо Уварова. И потому с нетерпением ждал ответа на свой официальный запрос.

Запрос этот и в самом деле поставил Сергия Семеновича в непростое положение. Он, конечно, понял замысел врага. И предпочел не лезть на рожон. Он составил ответ и 23 сентября отправил его в III Отделение. Бенкендорф отсутствовал — он путешествовал за границей с государем. Но управляющий в это время III Отделением Мордвинов был вполне осведомлен о том, каковы должны быть права Пушкина. Он не возражал против позиции министра просвещения. И тогда — 28 сентября — ответ Главного цензурного комитета доставлен был на квартиру титулярного советника.

«Господину титулярному советнику Пушкину.

По поданному Вами в Главное управление цензуры прошению относительно формы для предоставления в типографию рукописей Ваших сочинений Управление определило объявить Вам, что рукописи, издаваемые с особого высочайшего разрешения, печатаются независимо от цензуры Министерства народного просвещения, но все прочие издания, назначаемые в печать, должны на основании высочайше утвержден-

ного в 22 день апреля 1828 года Устава о цензуре быть представляемы в Цензурный комитет, которым рассматриваются и одобряются на общих основаниях».

Подписал документ сам Уваров.

Около 20 октября, вернувшись в Петербург, Пушкин нашел послание Уварова, прочитал и понял, что это хоть и сомнительная, но — победа.

Уваров признавал ограниченность своей власти. Он отворачивался от особого разряда сочинений, «издаваемых с особого высочайшего разрешения». Но в этот разряд входили «История Пугачевского бунта», «Путешествие в Арзрум», будущая «История Петра» — то есть самое для Пушкина главное.

С другой же стороны, все художественные сочинения, которые могли принести ему хлеб насущный, оставались теперь уже неколебимо под контролем Уварова.

Очевидно, так они с Бенкендорфом сговорились, разделив сферы влияния. Пушкин-публицист был еще нужен Николаю для особых видов.

Смешно, однако, было думать, что Уваров смирился. Он оставался непримиримым врагом, временно и вынужденно отступившим…

Разрешения на газету, о котором он просил

императора, Пушкин не получил, а стало быть, бессмысленной оказалась и просьба о собственном цензоре. Зато все остальное сработало довольно удачно и не нужно было жаловаться шефу жандармов. Пушкин понял, что на сей момент противники сговорились над его головой. Но кое-что — и немало! — он все же, опираясь через Бенкендорфа на Николая, отбил у министра.

Официальные пути борьбы пока были исчерпаны. Следовательно, оставался путь неофициальный — путь общественной компрометации Уварова, начатый письмом Дмитриеву и эпиграммой.

Надо было обезопасить от нападений Уварова будущие политические труды. Судьба «Пугачева» не должна была повториться. Нужно было нейтрализовать влияние Уварова на умы читающей публики. Вырвать у него умы и души взрослеющих поколений. Иначе все теряло смысл.

Для этого годился только один способ — издавна испытанный в России способ, которым убийственно владели его духовные отцы, люди Просвещения, — памфлет.

Надо было показать Уварова во всей его мерзости, скрытой под мишурой учености и светскости.

Только так.

Ночное погребение императора

«14 дек. 1835»

Помета А. С. Пушкина в начале последней тетради «Истории Петра»

«15 декабря»

Помета А. С. Пушкина в конце тетради

В эти дни он не писал писем. Ничто не шло ему в голову. Он готовился…

«Как подумаю, что уже 10 лет прошло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений…»

Мнения его переменились во многом. И все же, несмотря ни на что, он продолжал дело героев «несчастного возмущения».

Он продолжал их дело, когда сказал Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении Зла и Блага». Он продолжал их дело, когда писал о Киселеве: «Это самый замечательный из наших государственных людей». Он продолжал их дело,

когда могучим напряжением ума отделял в Петре деспота от реформатора и обличал в нем деспота. Он продолжал их дело, когда готовился к войне с Уваровым, войне истребительной — как поединок на шести шагах с неограниченным числом выстрелов. Их дело он продолжал, когда отдавал в печать «Лукулла», повторив бретерский жест Рылеева, неистового автора оды «Временщику»…

Рано утром 14 декабря тридцать пятого года, когда все в доме еще спали, он сел в халате к столу в холодном кабинете — печи еще не топили, а мороз был сильный, — и стал при двух свечах медленно раскладывать бумаги и книги. Раскрыл на закладке том Голикова, вынул из папки выписки.

Десять лет назад в эти минуты началось глухое движение по гвардейским казармам, какие-то люди, кутаясь в офицерские шинели, выходили из домов и мчались куда-то на извозчиках…

Десять лет назад в эти минуты начинался день 14 декабря, который стал огромной эпохой, огромным, необозримым историческим пространством — пространством, в котором рожденный Петровскими реформами дворянский авангард столкнулся с тяжелой, косной, уродливой махиной, запущенной тем же Пет-

ром. Столкнулся в отчаянной попытке отстоять свое право на историческую жизнь и решения, в героической попытке вытолкнуть Россию из мертвой сферы ложной стабильности в живой и живительный процесс. Все, что зрело столетие в российской политической жизни, — устремления, надежды, страхи — все слилось в мощный водоворот, гремящий ружейными выстрелами, кавалерийским цокотом, гулом толпы и солдатским «ура!», орудийным гулом и визгом картечи, в гигантскую воронку, в которую непосредственно втянуты оказались десятки тысяч людей, а по сути дела — куда более: от мятежных стрельцов 1698 года до булавинцев, от мечтателей 1730 года до екатерининских конституционалистов, от разъяренных пугачевцев до истерзанных военных поселян, — все они вместе с ротами, батальонами, полками «переворотных» гвардейцев восемнадцатого столетия плавно и неудержимо втягивались в темную воронку декабрьского петербургского утра с его сырым морозом, редким снежком, пронизывающим ветром с залива, холодную воронку, в центре которой стоял великолепный Фальконетов монумент…

Десять лет назад в эти часы они уже шли, скакали верхом, ехали на извозчиках по улицам

Петербурга…

Сидя в холодном кабинете над книгами и выписками, медленно перелистывая тетрадь с черновиком рукописи о первом императоре, он зябким и тревожным чувством ощущал это давнее движение, их тревогу, сомнения и — решимость, в конце концов, решимость, решимость…

Прошло десять лет, и надежды на то, что эхо великой попытки (пусть опрометчивой, наивной, но великой) вернется, облаченное в зрелую спокойную мысль, благословленную императором, — эти надежды оказались еще более опрометчивыми и наивными, чем безумный, но прекрасный в своей решимости мятеж. И сегодня, в последний день рокового десятилетия, он задумал похоронить Петра, как хоронил надежды на Николая.

«Во всем будь пращуру подобен», — взывал он к молодому императору вскоре после их примирения в двадцать шестом году. Теперь он не сказал бы так. И не в том только дело, что одиннадцатый император, сколько ни тянись, не дотянулся бы до императора первого, но и страшно было бы во всем повторить «странного монарха». Наоборот…

14 декабря 1835 года, холодными пальцами

перебирая бумаги, он сознавал иное: одиннадцатому императору предначертано было вывести Россию из того тупика, в который завели ее наследники преобразователя, слепо и корыстно следуя худшему в его титаническом наследии. Вернуть здоровому честному дворянству подобающее место в государственном организме и рука об руку с дворянством постепенно и последовательно отменить рабство, поставленное Петром в основу системы и доведенное Анной Иоанновной, Елизаветой и Екатериной II до крайних и отвратительных форм, укротить бюрократию, родившуюся под тяжелой рукой первого императора и с тяжелой этой руки вот уже второе столетие отрывающую государство от массы народа, превращающую его в нечто бессмысленно самоцельное…

Но он знал уже, что Николай не понял своего предназначения.

Он хоронил Петра.

Он торопился. Он твердо решил в этот день завершить свой гигантский черновик.

Он конспектировал последний год жизни первого императора. Он конспектировал материал скупо, сухо. Вопреки обыкновению, совсем почти не давая малых, но насыщенных смыслом

картин.

Пока не дошел до последней болезни Петра. Последний страшный узел, завязанный неумолимой историей в судьбе безжалостного титана, остановил и взволновал Пушкина.

Он выстраивал сюжет, выхватывая из груды многообразных событий и поступков то, что сегодня, 14 декабря 1835 года, казалось возмездием и одновременно искуплением.

«Болезнь Петра усиливалась. Английский оператор Горн делал операцию.

Петр почувствовал облегчение и поехал осмотреть ладожские работы. Лейб-медик Блументрост испугался, но не мог его уговорить.

Петр поехал в Шлиссельбург, оттоле на олонецкие железные заводы. 12 октября вытянул железную полосу в 3 пуда — оттоль в Старую Ладогу — в Новгород — в Старую Русь — для осмотра соловарен…

5 ноября Петр на яхте своей прибыл в П. Б. и, не приставая к берегу, поехал на Лахту, думая посетить Систребетские заводы.

Перед вечером Петр туда пристал. Погода была бурная, смеркалось. Вдруг в версте от Лахты увидел он идущий от Кронштадта бот, наполненный солдатами и матросами. Он был в крайней опас-

ности, и скоро его бросило на мель.

Петр послал на помочь шлюпку, но люди не могли стащить судна. Петр гневался, не вытерпел и поехал сам. Шлюпка за отмелью не могла на несколько шагов приближиться к боту. Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно. Потом распорядясь возвратился на Лахту, где думал переночевать и ехать дальше.

Но болезнь его возобновилась. Он не спал целую ночь — и возвратился в П. Б. и слег в постель…

В сие время камергер Монс де ла Кроа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову; сестра его высечена кнутом. Два ее сына, камергер и паж, разжалованы в солдаты. Другие оштрафованы.

Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить, она просила за его сестру. Петр был неумолим…

Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? по крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз по просьбе любимой его дочери Елисаветы Петр согласился отобедать с той,

которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою.

13 ноября Петр издал еще один из жестоких своих законов касательно тех, которые стараются у приближенных к государю, покупают покровительство — и дают посулы.

24 ноября обручена старшая царевна Анна Петровна с герцогом Holstein.

Петр почувствовал минутное облегчение.

Он повелел с ноября полкам называться не именами полковников, но по провинциям, на коих содержание их было расположено…

Знатных дворянских детей записывать в гвардию и прочих в другие.

Военная коллегия спросила, что такое знатное дворянство? и как его считать? по числу ли дворов, или по рангам. Разрушитель ответствовал: „Знатное дворянство по годности считать“».

В тридцать четвертом году Пушкин сказал великому князю Михаилу: «Мы такие же хорошие дворяне, как император и вы… Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы революционеры и уравнители».

Великий князь принял это за смелую шутку. Но он вовсе не шутил. «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение револю-

ции)». Это он записал для себя — в полную меру серьезности.

Петр разрушил сословную структуру, разорвал связи, оттеснил родовое дворянство и призвал «новых людей». Эти люди бывали иногда хорошего происхождения. Но, будучи включенными в иную систему служения, в новый государственный механизм, они отрывались от традиции, от прежних представлений. Они оказывались на равных с людьми вовсе безродными, но исправно служащими царю. «Знатное дворянство по годности считать». Разве это дурно? Разве сам он, Пушкин, не писал недавно: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные...» Так почему же «разрушитель»? Откуда это явное неодобрение? Потому что годность определяться стала не столько служением России, сколько служением императору и империи. Так нарождались бюрократы, кондотьеры деспотизма, «ничем не огражденные», кроме благоволения самодержца. И опять-таки: «Деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость».

Петр-«Робеспьер» разрушил. Петр-«Наполеон» строил новую государственность из материала,

лишенного здорового инстинкта сопротивления. Он не столько отвергал дворянство, сколько смешивал его с «наемниками» и превращал в однородную массу — послушных и зависимых. И этим — послушным и зависимым — он дал огромную власть над крестьянами, над рабами. А в рабы верстали всех, кто вчера еще был «вольным и гулящим»…

Активная оппозиция была подавлена и запугана во время «дела Алексея». Но оставалось тягучее, молчаливое сопротивление.

Незадолго до этого дня он писал под 1722 годом: «Петр был гневен. Несмотря на все его указы, дворяне не явились на смотр в декабре. Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние, в нем подтверждал он свое повеление и изобретает новые штрафы. Нетчики поставлены вне закона…

24 января издана Табель о рангах…

(NB. Мнение Петра о царе Иване Васильевиче…)

27 (или 29) января Петр создал должность генерал-прокурора…

5 февраля Петр издал манифест и указ о праве наследства, т. е. уничтожил всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произво-

ление самодержца».

Он ставил ослушников вне закона — то есть каждый мог быть убит на месте, он издал Табель о рангах, закрепляющую новое положение дворянства, он учредил должность генерал-прокурора, все увеличивая и усложняя механизм контроля и переконтроля, он провел податную реформу — ввел подушную подать, крепко схватив ею крестьянство, подать уходила на содержание армии, он выстраивал железную систему, в которой не оставалось места независимому мнению и поступку, он священную издавна традицию передачи высшей власти заменил произволом — и чего достиг? «Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства — уничтоженные плутовством Анны Иоанновны. Падение постепенное дворянства; что из этого следует? Восшествие Екатерины II, 14 декабря…»

Умирая, он оставлял государство расстроенным, а возможных наследников неподготовленными, ожесточенными друг против друга. А впереди — бесчисленные мятежи вытесняемого из истории дворянства, завершившиеся десять лет назад отчаянной попыткой вырваться из страшного круга — попыткой 14 декабря…

14 декабря 1835 года Пушкин весь день провел

в кабинете. Вышел только к обеду.

Уже давно смеркалось, когда он приступил к просмотру и записям на 1725 год. Десять лет назад, считая от сего дня, и сто лет вперед, считая от года, о коем он писал, — его друзья, товарищи, братья стояли на темной ветреной площади, глядя в черные зевы орудий.

Он хорошо знал хронологию того дня. Слишком много говорил он потом с теми, кто был тогда в Петербурге.

Он приступил к 1725 году в тот сумеречный петербургский час, когда десять лет назад пушки ударили картечью в ряды мятежников, когда чугунные шарики засвистали мимо Пущина, цокая о бронзу монумента Петру, неся смерть сиюминутную и тяжкие исторические раны — в долгом будущем…

«16-го января Петр начал чувствовать предсмертные муки. Он кричал от рези.

Он близ своей спальни повелел поставить церковь походную.

22-го исповедывался и причастился.

Все П. Б.-ие врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать — и только стонал, испуская мочу.

При нем дежурили 3 или 4 сенатора.

25-го сошлись во дворец весь сенат, весь генералитет, члены всех коллегий, все гвардейские и морские офицеры, весь Синод и знатное духовенство.

Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя, народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок — она не отходила от постели Петра — и не шла спать, как только по его приказанию.

Петр царевен не пустил к себе. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою.

26-го утром Петр повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу (кроме 2-х первых пунктов и убийц), для здравия государя.

Тогда же дан им указ о рыбе и клее (казенные товары).

К вечеру ему стало хуже. Его миропомазали.

27 дан указ о прощении неявившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть по Артикулу по делам Военной коллегии (кроме etc.) простить, дабы молили они о здравии государевом.

Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать можно было только сии: „отдайте

все“… перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла — но он уже не мог ничего говорить.

Архиереи псковский и тверской и архимандрит Чудова монастыря стали его увещевать, Петр оживился — показал знак, чтоб они его приподняли, и, возведши очи вверх, произнес засохлым языком и невнятным голосом: „сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня“.

Увещевающий стал говорить ему о милосердии Божием беспредельном. Петр повторил несколько раз: „верую и уповаю“…»

Как всегда, из бездны фактов Пушкин выбирал слова, поступки, детали, исполненные объясняющего и открывающего смысла. Давно ли было так: «По учреждении Синода духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: „Вот вам патриарх“».

А теперь он, как ребенок, повторяет за архиереями слова молитв и ждет от них помощи.

Давно ли он «издал указ, превосходящий варварством все прежние» и объявил дворян, не явившихся на смотр, вне закона? А теперь он прощает их…

Давно ли бестрепетно посылал он своих подданных на пытку, на плаху, на каторгу? А теперь прощает каторжан и к смерти приговоренных — «дабы молили они о здравии государевом».

Давно ли возил он свою жену вокруг столба, на коем торчала залубеневшая от ночного морозца голова ее любовника? Теперь он примирился с нею.

Что понадобилось, чтоб из гулкой железной государственности вернулся великий царь в живую человечность? Горе?

«Скончался царевич и наследник Петр Петрович: смерть сия сломила наконец железную душу Петра». Это было в 1719 году. Оказалось — не сломила. Впереди казни 1724 года.

Только на самом пороге собственной смерти стал он милосерден.

«Оставь герою сердце. Что же / Он будет без него? Тиран…»

Тяжкая черная ночь с 14 на 15 декабря обступила его. (Через много лет Вяземский раздраженно напишет о вернувшихся из Сибири декабристах, что для них так и не наступило 15-е число.) В эту ночь Пушкину казалось, что 15-е число не наступит никогда, что противоборствующие стороны своим ожесточенным неразумием остановили

время, прервали естественный ход жизни и мощное колесо истории с пыточным скрипом вращается вхолостую — ужасно, как во сне…

Простит ли император Николай хоть на смертном одре его, Пушкина, «друзей, товарищей, братьев»? (Мы-то знаем — не простит.)

Николай был не стар и крепок. А Петр умирал. «Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: „после“… Все вышли, повинуясь в последний раз его воле.

Он уже не сказал ничего. 15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку, — левая была уже в параличе. Увещевающий от него не отходил. Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять. Петр казался в памяти до 4-го часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины».

Он так мучительно подробно описывал уми-

рание первого императора, потому что слишком часто думал теперь о собственной смерти…

«Труп государя вскрыли — и бальзамировали. Сняли с него гипсовую маску.

Тело положено в меньшую залу. 30 января народ допущен к его руке.

4-го марта скончалась 6-летняя царевна Наталия Петровна. Гроб ее поставлен в той же зале.

8-го марта возвещено народу погребение. Через два дня оное совершилось».

Тогда кончилась жизнь Петра.

Теперь — через сто десять лет — становилось ясно, что пора заканчиваться и «петровскому периоду», включившему в себя много эпох. Но каждой из этих эпох неумирающая воля первого императора навязывала тянущие на дно вериги: самодержавие, бюрократию, рабство… Захлебываясь в глухом недовольстве народа, прорывающемся дикими вспышками, в крови свирепо усмиряемых, во вражде с Европой, в неурожаях и экономических неурядицах, власть упрямо, со злой слепотой не желала расставаться с петровскими веригами.

Сто десять лет назад гвардия возвела на престол лифляндскую мещанку, чтобы не прервались время и воля создателя гвардии и империи.

Десять лет назад гвардейские офицеры, пасынки Петра, герои последней эпохи, так тяжко теперь умиравшей, — яростным усилием попытались сломать мертвую инерцию событий, сделать прошлое прошлым, начать новый период российской истории. Их расстреляла картечью артиллерия — любимое детище первого императора…

Было далеко за полночь. Стало слышно, как за окном кабинета скрипит снег, — кто-то бродил по ночной улице.

Пушкин быстро начертал: «15 декабря». И бросил перо.

В этот час десять лет назад, совсем неподалеку — в Зимнем дворце — одиннадцатый император допрашивал диктатора разгромленного восстания, очень высокого горбоносого полковника, которого он, Пушкин, знал с молодости…

Теперь князь Сергей Петрович в Сибири, а он, Пушкин, в доме на Французской набережной, у Прачечного моста, возле Летнего сада…

15 декабря наступило. И надо было жить 15 декабря.

Поединок с Уваровым (4)

Оскорбитель не пользуется правами оскорбленного.

Дуэльный кодекс

Тридцать пятый год был удачным годом для Сергия Семеновича. Он завершил реформу университетов. В отчете за этот год он с гордостью сообщал императору: «Таким образом весьма трудная задача, не переставшая озабочивать правительство в течение семи лет, разрешена с желаемым успехом. Общим университетским уставом попечитель, как главный после министра начальник университета, сделан ближайшим хозяином оного, с точнейшим определением его власти и обязанностей… Собственно университетское судопроизводство, как несовместное с общим порядком государственного управления, упразднено».

Но это была отнюдь не просто очередная реформа системы учебных заведений. Это была акция принципиальная, выражающая как уваровские устремления, так и общее направление реформирования системы управления. «Центра-

лизация и личное усмотрение» — так определил внимательный историк главную установку николаевского царствования.

Реорганизация министерств свелась, по существу, к явственному усилению единоличной власти министров и ликвидации остатков коллегиальности, восходящих к петровскому принципу коллегий.

Из компетенции Государственного совета на протяжении тридцатых годов изымались одна за другой важные области управления и законодательства и передавались либо в ведение Собственной его императорского величества канцелярии, либо на усмотрение самого Николая, как решено было в тридцать шестом году относительно всех дел, касающихся армии.

В том же тридцать шестом году появился новый, стоящий над министерствами, орган — Государственный контроль.

В первое десятилетие царствования Александра, в эпоху Сперанского, произошло заметное рассредоточение власти. Теперь процесс стремительно двинулся вспять. Комитет министров и Государственный совет, эти детища Сперанского, отстранялись от решения коренных проблем. Влияние Сената падало стремительно, и главная

его функция — надзор за действиями высшей администрации, оправдывающая его титул: Правительствующий, — стала вполне призрачной.

Зато введена была практика секретных комитетов, в которые назначались лица, пользовавшиеся личным доверием императора. Эти комитеты, независимые от государственных учреждений и подотчетные только царю, вели к максимальному сосредоточению законодательной власти. Иногда, впрочем, комитеты выполняли и административные задачи.

Создавалась структура, параллельная высшим государственным учреждениям и замыкавшаяся на самом Николае. В центре ее стояла Собственная его императорского величества канцелярия.

К тридцать седьмому году новая система управления государством выстроилась вполне определенно.

Новое устройство учебных заведений естественно включалось в эту систему.

Общим уставом императорских российских университетов от 26 июля 1835 года уничтожалось академическое самоуправление. Из ученого общества, средоточия научного движения, университеты превращались исключительно в высшие учебные заведения, подчиненные попе-

чителю — чиновнику, назначаемому правительством, то есть императором. Университетский суд заменялся инспекторами из военных или гражданских чиновников.

Гимназии и школы, состоявшие прежде под управлением университетов, передавались теперь прямо под власть попечителя.

Способы контроля над всеми учебными заведениями и возможность давления на них стали намного совершеннее.

Новый устав, по ликующей декларации Уварова, выполнил задачу — «сблизить наши университеты, бывшие доселе только бледными оттенками университетов иностранных, с коренными спасительными началами русского управления». Он имел все основания ликовать. «Коренные спасительные начала», заключающиеся в бюрократическом контроле над культурой и наукой, позволяющие, как он думал, устремлять образовывающиеся умы в нужном ему направлении, торжествовали. Совершенный в своей жесткости и функциональности аппарат управления просвещением России был у него в руках.

При всех своих широковещательных разговорах о народности, о коренных началах, о необходимости следовать духу отечественной

истории, Сергий Семенович в практической деятельности уповал только на волевое давление. Он не понимал, потому что не хотел понять, нелегкую для авторитарного сознания истину, которую люди дворянского авангарда осознавали с жестокой ясностью. Не сломленный еще Вяземский восхищенно выписал в двадцать девятом году из французского политического писателя XVII века Бомеля: «Военное правительство полно энергии, но если оно и отличается силой, оно также отличается и бесплодностью; правительство начинает с того, что возвышает империю, а кончает тем, что сводит ее на нет. В этом оно подобно лекарствам, которые сперва придают больному силу, а затем отнимают у него жизнь». Как мы знаем, по отношению к российскому военно-бюрократическому режиму, основанному Петром, это оказалось пророчеством. Но деятели, подобные Уварову, несмотря на их клятвы светлым будущим, — люди исторического мига (который, впрочем, иногда растягивается на десятилетия). Уваров творил жесткую духовную структуру, способную либо костенеть в неприкосновенности, либо разламываться от перенапряжения.

Умных и проницательных наблюдателей эта жесткость приводила в отчаяние. В триумфаль-

ном для Сергия Семеновича тридцать пятом году его сотрудник Никитенко писал в укромности домашнего кабинета: «Состояние нашей литературы наводит тоску. Ни светлой мысли, ни искры чувства. Все пошло, мелко, бездушно. Один только цензор может читать по обязанности все, что ныне у нас пишут. Иначе и быть не может. У нас нет недостатка в талантах; есть молодые люди с благородными стремлениями, способные к усовершенствованию. Но как могут они писать, когда им запрещено мыслить? Тут дело вовсе не в том, чтобы направлять умы или сдерживать еще неопределенные, опасные порывы. Основное начало нынешней политики очень просто: одно только то правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит. Из этого выходит, что посредственным людям ничего больше не остается, как погрязать в скотстве. Люди же с талантом принуждены жить только для себя. От этого характеристическая черта нашего времени — холодный, бездушный эгоизм. Другая черта — страсть к деньгам: всякий спешит захватить их побольше, зная, что это единственное средство к относительной независимости. Никакого честолюбия, никакого благородного жара

к вольной деятельности. Одно горькое чувство согревает еще адским жгучим жаром некоторые избранные души: это чувство — негодование».

Конечно, Никитенко сильно перехватил в обличении, но ведь и Пушкин писал статью «О ничтожестве литературы русской». Мы знаем и желчный взгляд Чаадаева. На рубеже тридцатых годов Вяземский утверждал: «Нет сомнения, что со времен Петра Великого мы успели в образовании, но между тем как иссохли душой. Власть Петра, можно сказать, была тираническая в сравнении с властью нашего времени, но права сопровержения и законного сопротивления ослабли до ничтожества». Он раздраженно записал тогда же: «…У нас нет литературы».

В литературе они хотели видеть нечто большее, чем собрание отдельных блестящих сочинений.

Все они писали о духе времени. А дух времени в конечном счете определялся возрастающей несвободой, агонизирующим и оттого ожесточающимся рабством в различных его ипостасях. В начале века, как мы помним, Сперанский говорил о рабстве всех сословий в России. В двадцать девятом году ему вторит Вяземский: «Вся разность в том, что вышние холопы барствуют перед дворней и давят ее, но перед господином они те

же безгласные холопы».

И едва ли не самые отчаянные филиппики оставил Чаадаев: «Уничтожение крепостного права — необходимое условие всякого последующего развития для нас, и особенно развития нравственного… Считаю, что в настоящее время всякие изменения в законах, какие бы правительство ни предприняло, останутся бесцельными до тех пор, пока мы будем находиться под влиянием впечатлений, оставляемых в наших умах зрелищем рабства, нас с детства окружающего». И он же: «Сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек столь сильный, что в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, он не опротивел бы самому себе?»

На протяжении нескольких лет они непрестанно толковали о несвободе духовной…

Казалось бы — заботы Уварова о квалификации

профессоров, об их заграничных поездках, об ассигнованиях на нужды науки должны были радовать ученых и вдохновлять молодежь, идущую на вакантные места, освободившиеся после отставок неспособных преподавателей. Ан нет…

Никитенко записал в июне тридцать пятого, когда завершалась реформа: «Возвратились из-за границы студенты профессорского института. У меня были уже: Печерин, Куторга младший, Чивилев, Калмыков приехал прежде. Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве (крепостного) рабства. Особенно мрачен Печерин. Он долго жил в Риме, в Неаполе, видел большую часть Европы и теперь опять заброшен судьбой в Азию».

Рабство — вот ключевое слово. Рабство, понимаемое широко. Недаром Никитенко, бывший крепостной, подумав, взял слово «крепостное» в скобки.

Уваровская реформа образования должна была, по замыслу, мощно упрочить это духовное рабство — фундамент рабства политического.

Николай решительно одобрил реформу.

Сергий Семенович превращался в фигуру легендарную. Само рождение знаменитой формулы в легенде выглядело так: «В 1832 году после ве-

ликих бедствий, испытанных Россиею в течение последних лет и от губительных войн, и от междуусобной брани, и от моровой язвы, над нашим отечеством просияла великая благодать Божия. В этом году в богоспасаемом граде Воронеже последовало обретение честных мощей иже во святых отца нашего Митрофана, первого епископа Воронежского. В день открытия св. мощей архиепископ Тверской и Кашинский, Григорий, всенародно произнес молитву святителю Митрофану, в которой испрашивалось предстательство его у „Христа Бога нашего да возродит он во святой своей православной церкви живой дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любви, дух мира и радости о Дусе Святе“. Этот живой дух правыя веры внушил помазаннику Божию поставить во главу угла воспитания русского юношества: Православие, Самодержавие и Народность; а провозгласителем этого великого символа нашей русской жизни — избрать мужа, стоявшего во всеоружии европейского знания». Между тем этот боговдохновенный муж отшлифовал свою доктрину и провозглашал ее с уверенностью, со страстью пророка, готового хоть на мученичество.

В том самом августе тридцать пятого года,

когда Пушкин обратился в Цензурный комитет со «всеуниженным» посланием, когда уваровское ведомство и III Отделение делили права на Пушкина как сферы влияния, Сергий Семенович принял цензора Никитенко, представившего министру статью о Фридрихе Великом, которую хотел опубликовать Сенковский. Смысл статьи заключался в том, что Фридрих создал новую форму правления — военное самодержавие и что в наиболее совершенном виде эта форма осуществляется ныне в России.

Все журнальные статьи политического содержания просматривал до опубликования лично Сергий Семенович. Это обстоятельство, известное Пушкину, было чрезвычайно угрожающим для его планов. В данном случае министр приказал исключить из статьи все, что касалось России, — то есть убил смысл статьи, а затем, объясняя свои действия, произнес монолог, где от частного этого случая поднялся в горние выси:

— Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении; мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна

и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система. Я знаю, чего хотят наши либералы, наши журналисты и их клевреты: Греч, Полевой, Сенковский и прочие. Но им не удастся бросить своих семян на ниву, на которой я сею и которой я состою стражем, — нет, не удастся. Мое дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория; я надеюсь, что это исполню. Я имею на то добрую волю и политические средства. Я знаю, что против меня кричат; я не слушаю этих криков. Пусть называют меня обскурантом: государственный человек должен стоять выше толпы.

Он, кажется, и сам начинал всерьез верить — во всяком случае, всерьез убеждать себя, — что его доктрина реальна. Что Россию можно отгородить от мирового движения и воспитать, как они с императором считали нужным. Превратить огромную страну в некое закрытое учебное заведение с проверенными, благонадежными преподавателями.

Государственный человек совершенно справедливо не боялся обвинений политических. Своей кипучей деятельностью, умением взбивать блистающую словесную пену на многих языках он завораживал общество и нейтрализовал нападки на доктрину.

Именно потому Пушкин и выбрал иной путь. Путь личностной компрометации Сергия Семеновича.

Он прикидывал возможные варианты — в эпиграмме весной тридцать пятого, в письме Дмитриеву.

Он думал и о другом — о происхождении этого аристократа-интеллектуала от Сеньки-бандуриста…

Материал для памфлета надо было выбрать убийственно точно. Рассчитать: что может особенно встряхнуть сознание публики?

Судьба разрешила его сомнения сразу по возвращении из Михайловского, откуда он не привез еще темы, но привез решимость.

В то время как Пушкин в скромной псковской вотчине питался картофелем и яйцами, размышляя о собственном будущем и о будущем России, которой так трудно было помогать, в огромном воронежском имении занемог граф Дмитрий

Николаевич Шереметев, один из богатейших русских людей. Состояние больного исчислялось миллионами рублей, более чем двумястами тысячами крепостных и необъятными земельными владениями.

Граф Дмитрий Николаевич не был женат. У него не было прямых наследников. Слух о его кончине, долженствующей вот-вот наступить, взволновал обе столицы.

Сергий Семенович, министр народного просвещения и апостол будущего духовного процветания страны, тут же вспомнил, что он свойственник Шереметева по женской линии. Его жена была двоюродной сестрой графа Дмитрия Николаевича.

Сергий Семенович был человеком далеко не бедным. Но перспектива получения фантастических богатств Шереметева лишила его здравого рассуждения, и он сделал истерически-суетливый и совершенно ложный шаг: стал принимать меры для охраны имущества умирающего, которое уже представлял своим. Притом что у Шереметева были родственники — нетитулованные Шереметевы, связанные с ним и родственно, и дружески.

Дело получило огласку и возбудило широкие

неодобрительные толки. Первый сплетник эпохи Александр Булгаков записал для потомства: «Богач граф Шереметев поехал в Воронеж, где занемог отчаянно, по сему случаю востребован был из Петербурга доктор графа, который спас ему жизнь скорым и решительным средством, за что получил 25 тысяч рублей одновременно и 5000 рублей пенсии по смерть… Скоро разнесся слух, что граф Шереметев умер в Воронеже. Уваров, не уверясь в истине слуха сего, потребовал запечатания всего имущества, находящегося в доме графа Шереметева в Петербурге. К нещастию, среди всех этих предварительных, преждевременных распоряжений и воздушных замков насчет огромного наследства получено было известие о совершенном выздоровлении российского Крезуса».

Откровенное и жадное посягательство на имущество, на которое он имел весьма сомнительные права даже в случае смерти владельца, выставило покровителя просвещения и корреспондента Гёте в неожиданном виде в глазах тех, кто ничего толком не знал о его прошлом.

25 октября — через два дня после возвращения Пушкина из Михайловского — Вяземский с удовольствием сообщал Александру Ивановичу

Тургеневу: «Здесь было пронесся лживый слух о смерти богача Шереметева, который в Воронеже. В Комитете министров кто-то сказал: „У него скарлатинная лихорадка“. — „А у вас, у вас лихорадка ожидания“, — сказал громогласным голосом своим Литта, оборотившись к Уварову, который один из наследников Шереметева. Уж прямо как из пушки выпалило». Шереметев выздоровел, и Уваров оказался в положении весьма глупом.

Зловеще-анекдотическая эта история стала известна Пушкину немедленно по приезде в столицу, и он стремительно оценил открывающиеся возможности.

Первые несколько дней он занят был домашними делами.

Ответ из Главного управления цензуры очертил ему истинное его положение. Он считал, что захватил небольшой, но важный плацдарм. Надо было развивать успех.

В начале ноября он принялся за работу. Прежде всего он написал письмо Лажечникову: «Позвольте, милостивый государь, благодарить Вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении „Ледяной дом“ и выше „Последнего Новика“, но

истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию, но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы Вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с Вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя читать его без негодования на его мучителя». Он писал с непривычной для него резкостью, выдававшей его взвинченность. Он умел, особенно обращаясь к собратьям по литературе, сказать самые жестокие истины с необидным изяществом. Здесь же пара завышенных комплиментов не скрывает его злого раздражения.

Он-то понимал, что закончившаяся пытками, плахой схватка Волынского с Бироном вовсе не исчерпывалась враждой «русской» и «немецкой» партий при дворе и что Волынский, еще при Петре известный своей грубостью, самодурством и казнокрадством, отнюдь не тот рыцарь без страха и упрека, каким выставляет его Лажечников, отнюдь не только страдалец за русское дело,

которому можно простить все — в том числе и истязания поэта Тредиаковского.

Неминуемо он соотносил обиду Тредиаковского со своей обидой — куда более высокой и достойной, но обидой.

Сведение целого драматического периода истории к борьбе «русской» и «немецкой» партий тем более претило Пушкину, что Уваров, воспитанный главным образом на немецкой культуре, стал проявлять патриотические антинемецкие настроения, что вполне соответствовало его доктрине. Уже после смерти Пушкина он сформулировал эти идеи с покоряющей откровенностью: «Оттого, что они угнетали Россию императрицы Анны; оттого, что они вблизи видели Россию Елизаветы и Екатерины II, они упорно заключают, что Россия тот же младенец, в охранении коего и они платили дань усердия, не всегда беспристрастного, не всегда бескорыстного. Словом — они не постигают России Николая I… Немцев с лету схватить нельзя; против них надобно вести, так сказать, правильную осаду: они сдадутся, но не вдруг».

«Новый патриотизм» Уварова, патриотизм триединой формулы, не мог, естественно, приводить в восторг Бенкендорфа. Но Сергий Семенович

видел и учитывал государственную некомпетентность Александра Христофоровича, которая, не будучи секретом и для императора, должна была рано или поздно привести к ослаблению его влияния. Одной преданности становилось мало.

С тридцать седьмого года влияние Бенкендорфа и в самом деле начало падать…

Пушкин провидел воздымание этого «нового патриотизма», сколь примитивного, столь и опасного. Потому он преувеличенно вступился за Бирона: «Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты». В раздражении он дразнил Лажечникова, чей роман так подходил к «новому патриотизму», к уваровскому взгляду. «Великий ум и великие таланты» Бирона весьма сомнительны. Но Пушкин находился в яростном запале, ибо спорил уже не с Лажечниковым.

Он не ограничился письмом и начал было писать статью о том же предмете. Но тут же ее оборвал. И набросал стихотворные строки:

Развратник, радуясь, клевещет,
Соблазн по городу гремит,

А он, хохоча, рукоплещет…

«Разврат его известен», — сказал он в феврале об Уварове.

«Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении…»

«Развратник… клевещет».

Но это еще были следы старого замысла, предполагавшего обличить разврат Уварова. Слишком жив еще был в нем гнев на клеветника «Пугачева»… Однако он совладал с собой и стал писать по-иному.

Разврат министра, известный небольшому кругу, доказать было невозможно, и обличение показалось бы публике пасквилем. А толковать о клевете на собственное сочинение значило навлечь на себя обвинение в предвзятости. Тем более что большинство читающей публики если не разделяло крайних мнений Уварова, то, во всяком случае, сочло «Историю Пугачевского бунта» скучной и бессмысленной.

Сообщение о сомнительной карьере отца Сергия Семеновича никого бы не удивило и не возмутило — к подобным истокам карьер, к подобному пути восхождения знатных ныне семейств в России привыкли.

Позорное же поведение столпа отечественного

просвещения в деле с шереметевским наследством было известно широко, а на него вполне правдоподобно ложились и другие черты государственного мужа.

Тут был самый верный путь для нападения на его репутацию.

В один из первых дней ноября была начата и брошена статья против Лажечникова, начата и брошена сатира «Развратник, радуясь, клевещет…» и — главное — на тех же листах тетради появился черновик оды «На выздоровление Лукулла» — истории покушения Уварова на шереметевское наследство…

Это не был внезапный желчный порыв. Стихотворение сочинялось трудно. Он упорно возвращался к нему на протяжении трех недель. Он знал, что делал, на что шел. У него было время остыть, обдумать, взвесить. Но все было обдумано и взвешено в пустом михайловском доме, на мокрых лесных дорогах, на берегу большого свинцового озера с багряным ганнибаловским парком за ним.

Он живописал тяжкую болезнь «богача младого» затем только, чтобы в двух центральных строфах собрать всю жалкую подоплеку уваровской карьеры, его алчную низость, его холуйство,

его нечистоту — собрать и швырнуть в глаза публике.

А между тем наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкой,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность – трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»

Это не было сведение личных счетов. Ему хотелось уязвить Сергия Семеновича. Но ради этого он не стал бы так жестоко рисковать. Ему необходимо было унизить своего главного врага,

хитрого и сильного искусителя страны, перед лицом читающей России развенчать кумира и показать, что в вожди просвещения выбран средней руки мошенник, без чести, без гордости — без достоинств, присущих дворянину и порядочному человеку…

Часто одно его произведение, написанное одновременно с другим, проясняло и оттеняло смысл этого другого. Он выстраивал просторные смысловые системы. Так было и теперь. Одновременно с памфлетом он писал высокие стихи — переложение библейской Книги Юдифи: «Когда владыка ассирийский / Народы казнию казнил, / И Олоферн весь край азийский / Его деснице покорил…» Олоферн, «сатрап горделивый», слуга жестокого владыки, привыкший к покорности и трепету, исполненный веры в свою мощь, внезапно сталкивается с непонятной и чуждой ему силой.

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.
И, над тесниной торжествуя,

Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.
Сатрап смутился изумленный —
И гнев в нем душу помрачил…

Конечно, он не подразумевал под мрачным и могучим Олоферном презренного сына Сенькибандуриста. Но единым взглядом он охватывал всю жизнь — от бездн до высот. И смертельное противоборство с Уваровым оказывалось частью мировой битвы чести и бесчестия, низкой силы и высокой правды.

Сатрапу, несущему угнетение и тьму, противостоит тот, кто «высок смиреньем терпеливым», высота и свет. В мировом смысле он, Пушкин, был «мужем на страже», стражем «недостижимой вышины», на которую посягал новый «гений зла», сильный воитель бесчестья и духовного рабства, «гнусный наследник» великой эпохи и ее могильщик, ворон…

Конечно, как всякое гениальное произведение, эти стихи можно истолковать многообразно. Но одновременное их написание с памфлетом открывает путь и такого толкования.

Обличить и остановить Уварова и уваровщи-

ну — в этой мировой битве, идущей неустанно, — означало одержать одну из тех малых побед, из коих складывался великий подвиг противостояния бесчестию, такому соблазнительному и неистощимо многоликому…

Это и возглашали «низкий» и «высокий» тексты, начертанные одновременно и рядом на одних и тех же листах последней пушкинской тетради.

Он закончил «Лукулла» вскоре после 20 ноября и немедля стал искать издателя.

Он не желал — как это бывало прежде — удовлетвориться рукописным хождением памфлета.

В Петербурге не было дружественных изданий. Да и журналистов, которые рискнули бы — даже с видом полного неведения — сыграть такую шутку с могущественным министром, в столице не нашлось бы.

Не теряя времени, Пушкин отправил памфлет в Москву, в редакцию «Московского наблюдателя», издававшегося любомудрами. Трудно сказать, сообразили или нет издатели, что они печатают, — скорее, нет. Но, помедлив немного, пустили стихи в набор.

Журнал постоянно запаздывал. Сентябрьский номер с «Лукуллом» вышел под самый Новый

год. 1 января 1836 года его стали рассылать подписчикам.

На что надеялся Пушкин, публикуя памфлет? Чего ожидал? Не был ли это акт отчаяния? Взрыв ненависти и негодования, с которым не смог он совладать?

Нет. За полтора месяца, что прошли от посылки рукописи в Москву до выхода журнала, он мог передумать, отозвать памфлет. Он этого не сделал.

Африканский темперамент не мешал ему играть хладнокровно.

Он рассчитывал на компрометацию Уварова и не рассчитывал на скандал. Он полагал, что умный и хитрый Уваров не посмеет официально признать себя в мошеннике и стяжателе. Публика узнает. Уваров — сделает вид, что не узнаёт.

Это было первое соображение.

Затем он, опять-таки, учитывал неприязнь к министру просвещения шефа жандармов и полагал, что Бенкендорф по собственной инициативе не станет преследовать автора.

А если дойдет все же до государя? Но Пушкин знал, что изображающий рыцаря Николай с брезгливым неодобрением относится к проделкам, подобным уваровской. И инцидент может обернуться высочайшим неудовольствием имен-

но в сторону министра, поставившего себя в столь неловкое положение.

Он прекрасно помнил опыт «Моей родословной», которую отправил через Бенкендорфа императору и которая, несмотря на яростную дерзость, высочайшего гнева не вызвала…

И при всем том — он сыграл ва-банк. Потому что рассуждения рассуждениями, а реакцию власти можно было проверить только практически. И тут-то должна была разрешиться тягостная неопределенность отношения царя к его с Уваровым тяжбе.

Решающий момент в его долгой тяжбе с бюрократической аристократией, гнавшей страну в тупик, наступил в тот момент, когда памфлет пошел на типографский станок.

Можно было, затаившись, ждать результата и действовать по обстоятельствам. Но он понимал, что время уходит стремительно и смертоносно — его время, время, когда он еще в силе что-то сделать… Вот-вот — и кругом окажется пустота. Населенная людьми, в том числе и друзьями его, колыхаемая разнообразными событиями, но — пустота. И он, хоть бы ни минуты не давал себе покоя, на самом деле обречен будет пребывать в мертвой неподвижности. Надо было хватать

время, накручивать его на руку, как горец косу полонянки, чтоб оно, задержавшись на миг, опомнилось и снова стало его временем, а не временем наследника Лукулла…

И, не дожидаясь результата своего рискованного демарша, он ринулся вперед.

В тот самый момент, когда журнал с памфлетом вывозили из типографии, он отправил Бенкендорфу чрезвычайно важное послание. Это был естественный, логически обоснованный шаг. Если публикацию памфлета принять за артиллерийскую подготовку, то послание выглядит атакой. Он надеялся прорваться сквозь уваровщину к умам и душам российских граждан.

«Милостивый государь

граф Александр Христофорович.

Осмеливаюсь беспокоить Ваше Сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем, 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных Reviews. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость,

а вместе и способ продолжать труды, мною начатые. Это было бы для меня новым благодеянием государя…

31 дек. 1835

Александр Пушкин».

Получив в свое время отказ на подобную просьбу, Пушкин сделал теперь обходной маневр — просил разрешения издавать сборники, что выглядело безобидно, надеясь перевести их в периодическое издание.

Успешная дискредитация Уварова при снисходительном отношении Бенкендорфа, а возможно, и Николая резко изменила бы ситуацию. Тогда, имея в руках журнал, он мог сделать много.

Весы качались.

Так вступал он в последний год своей жизни.

Явление Жобара

Сатрап смутился изумленный – И гнев
в нем душу помрачил…

А. С. Пушкин

Журнал с «Лукуллом» пришел в Петербург сразу после 10 января.

Никитенко не делал записей в дневнике с 13 по 17 января и 17-го занес в него сенсацию прошедших четырех дней: «Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре… Пасквиль Пушкина называется: „Выздоровление Лукулла“: он напечатан в „Московском наблюдателе“. Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-то из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за „Анджело“. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова».

Свой человек у Плетнева и вообще в «порядочной среде», автор зло оппозиционного дневника,

Никитенко тоном своей записи предсказал реакцию публики на пушкинскую отчаянную атаку — «пасквиль», вызванный к жизни личной неприязнью поэта к министру. Больше ничего он не увидел.

Удивительное дело! Никитенко, так пронзительно понимавший унылый ужас происходящего вокруг, так печально смотревший в будущее, никак не соотносил вражду Пушкина с Уваровым и наступавший духовный произвол.

Его взгляд был взглядом большинства. Противостояние Пушкина торжествующему изощренному злу оказалось сокрыто для слишком многих.

Из друзей Пушкина лишь двое высказались с резкой ясностью.

Денис Давыдов совершенно одобрил публикацию памфлета, а Александр Тургенев, получив в Париже текст «Лукулла», написал Вяземскому: «Спасибо переводчику с латинского (жаль, не с греческого!). Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. — Поделом вору и вечная мука!» Тургенев был едва ли не единственный, кто понял истинный смысл памфлета: «В стихах „На выздоровление Лукулла“

гораздо больше политики, чем в моих невинных донесениях о Фиэски».

Он сетовал только, что не обнародован остался «греческий» любовный вкус Уварова. Но Пушкину это было не нужно.

20 января Никитенко записал: «Весь город занят „Выздоровлением Лукулла“. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит».

Недовольство это в коротко сформулированном виде звучало так: «Уваров все-таки лучше всех своих предшественников; он сделал и делает много хорошего и совсем не заслуживает, чтобы в него бросали из-за угла грязью. Впрочем, это наш либерализм, наша свобода тиснения!»

В этих словах Александра Михайловича Языкова, брата поэта, не только брезгливое осуждение Пушкина, но и оценка Уварова, принятая «образованной публикой» к тридцать шестому году.

Уваровщина делала свое дело, проникая в умы и души, извращая представления. Именно с этого проникновения, с победы уваровской идеологии

в умах большинства образованной публики над идеями не декабристских даже времен, а над устремлениями второй половины двадцатых годов — реформистскими порывами правительства и соответствующими иллюзиями общества, — с этого именно и начиналась новая эпоха.

Эпоха, в которой Пушкину места не оставалось, ибо «большинство образованной публики» все заметнее поворачивало за Уваровым…

Пока клубилось и колыхалось общественное мнение, началась официальная история оды «На выздоровление Лукулла». Власть решила наконец выступить решительным арбитром в «неравном споре», за которым публика уже некоторое время — с эпиграммы «В Академии наук…» — с любопытством следила, не понимая его истинного рокового смысла и который вдруг вышел из-под спуда и взорвался громким скандалом.

Но вмешательству власти предшествовало еще одно, трагикомическое, событие.

О памфлете министру народного просвещения, не упускавшему из поля зрения журналы вообще, а публикации Пушкина тем более, стало известно сразу после появления «Наблюдателя» в столице, около 15 января.

Сергий Семенович был ошеломлен, взбешен, растерян. В первый момент он совершенно потерял самообладание.

Один из чиновников Министерства просвещения запечатлел его истерическую реакцию на прочтение памфлета: «Через несколько дней по выходе в свет этого стихотворения был в департаменте доклад министру С. С. Уварову. По окончании доклада С. С. на выходе из департамента встретил в канцелярии цензора Гаевского; остановившись, он громко спросил его: „Вы, Павел Иванович, вероятно, читали, что этот негодяй и мерзавец написал на меня?“ Гаевский, ничего на это не отвечая, почтительно наклонил голову. „Сейчас извольте отправиться к князю Д⟨ондукову-Корсакову⟩ (он тогда был председателем Цензурного комитета) и скажите ему от меня, чтоб он немедленно сделал распоряжение Цензурному комитету, чтоб к сочинениям этого негодяя назначить не одного, а двух, трех, четырех цензоров“, — с этими словами, кивнув нам головою, удалился. По отъезде С. С. Гаевский подошел к нам и с грустным видом сказал: „Как жаль, что С. С. так выражается о Пушкине“. В тот же день вечером я был у дяди своего, цензора В. Н. Семенова, у которого нашел Пушкина. Отозвав

дядю в другую комнату, я передал ему слова Уварова. Дядя не вытерпел и рассказал Пушкину, а тот, отыскав меня, начал подробно расспрашивать и смеялся, говоря, что Лукулл этим от него не отделается».

Но если Пушкин, ободренный истерическим бешенством противника, готов был к открытой борьбе, то Сергий Семенович, остыв, оценил обстановку по-иному.

Умный человек, он понимал, что наилучшим выходом было бы не обратить внимания на отчаянную выходку противника. На что он рассчитывал, этот вечный смутьян, тщетно пытавшийся притвориться благонравным и верноподданным? Решение императора дать Пушкину журнал пришло к министру просвещения через Бенкендорфа одновременно с пасквилем. Как издатель журнала он теперь крайне зависел от министра. На что он рассчитывал? Что любое притеснение журнала будет выглядеть как месть оскорбленного за ругательные стихи? И что министр из щепетильности вынужден будет держаться умеренно? Это имело бы смысл, если бы он, Уваров, громогласно признал себя обиженным, узнал себя в «наследнике Лукулла». Но если он презрительно скользнет взглядом по

этой грязной писанине и спокойно отвернется?

Он помнил в подробностях громкую историю с Аракчеевым и одой Рылеева «Временщику». Министр просвещения — он же шеф цензуры — князь Александр Николаевич Голицын предложил Аракчееву сообщить ему, какие именно строки в оде он относит на свой счет, чтоб была возможность наказать пасквилянта. Аракчеев промолчал.

Возбудив обвинение против Пушкина, Уваров рисковал оказаться в таком же глупом положении. Да и стоит ли обращать внимание императора на эти гнусности, которые — он-то знал! — были в свое время на языке у любого петербургского сплетника. Поступив так, он неизбежно вставал в позицию оправдывающегося. А император, ничего не знавший о его «домашнем» прошлом, мог заинтересоваться…

Умнее было промолчать.

И тут он получил пакет из Москвы. Увидев имя отправителя, взглянув бегло на содержимое пакета, он с огромным трудом подавил желание скомкать и швырнуть в корзину и письмо, и стихи. Но удержался и стал читать, кривясь от удушающей ненависти:

«Послание к господину Уварову, министру

народного просвещения, президенту Академии наук, автору ученых примечаний к древним классикам, переводчику оды „Клеветникам России“ и пр., и пр.

Покровитель искусств, великий северный Меценат,

В честь тебя вдохновляется моя муза:

In tenui labor, at tenuis non gloria[48]*: мудреца*

Пою великие подвиги: прими этот знак почтения,

Великий министр, и скоро Европа и ее ученые

Научатся ценить твои добродетели, твои таланты[49]*.*

Да, милостивый государь, восторг овладел душой моей, когда я прочитал прилагаемое стихотворение, которым ваш любимец Пушкин только что обогатил русскую словесность, и хотя я уже давно отвык влагать в стесненные размеры свою речь, тем не менее я не мог удержаться и

---

[48] Notes: 48
Малый труд, но не малая слава *(лат.).*

[49] Notes: 49
Буквальный перевод с французского. — *Я. Г.*

переложил во французские стихи эту удивительную оду, внушенную, без сомнения, тем особым покровительством, каковым Ваше Превосходительство удостаиваете чтить сынов Аполлона.

Желая привлечь и на мою неведомую музу благосклонный взор северного Мецената, я осмеливаюсь почтительно сложить у подножья Геликона, его недоступной обители, французский перевод последней песни русского Пиндара, этого баловня муз.

Смею надеяться, что Ваше Превосходительство, который недавно сами удостоили перевести на французский язык „Клеветникам России“, соблаговолите принять это приношение почтительнейшего и преданнейшего из Ваших подчиненных.

Твердо решившись познакомить Европу с этим необыкновенным произведением, я предполагаю переслать в Брюссель моему брату, литографу, типографу, издателю и редактору „Индустриеля“, этот перевод с примечаниями, каковых может потребовать уразумение текста; но прежде чем это сделать, я счел долгом подвергнуть мой перевод суждению Вашего Превосходительства и испросить на это Вашего разрешения.

Позволю себе надеяться, что Ваше Превосхо-

дительство оцените чистоту моих намерений, соблаговолите почтить меня благоприятным ответом, а может быть, удостоите и личного свидания почтительнейшего и преданнейшего из своих подчиненных.

А. Жобар,

действительный ординарный профессор греческой, латинской и французской словесности в Казанском университете, чиновник 7-го класса и кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени».

Уварову казалось, что сердце его разорвется от бешенства. Мало того что этот негодяй ткнул своим пером в кровоточащую рану, он еще и лишил Сергия Семеновича возможности выйти из мерзкого положения единственно достойным образом.

Уваров хорошо понимал, что двигало Жобаром в его безумной жажде уязвить, унизить министра…

Альфонс Жобар, уроженец Франции, преподававший некогда французский язык в рижской гимназии, отмеченный начальством как знаток европейских и древних литератур, сделался в двадцать четвертом году профессором в Смольном институте. Он удостоился внимания вдовствующей императрицы Марии Федоровны, получил

от нее за прилежную службу золотую табакерку и в двадцать втором году познакомился с попечителем Казанского университета, известным сумасбродом и обскурантом Магницким. Магницкий непрестанно тасовал профессоров в своем университете — кого выгонял, кого перемещал с кафедры на кафедру, а иному поручал преподавать сразу по шесть предметов. Главным и едва ли не единственным признаком, по которому он судил о подчиненных, было их благочестие.

Магницкий считал себя великим сердцеведом. И, увидев Жобара, он проникся к нему неизъяснимым доверием и решил, что это именно тот, кто ему необходим.

В представлении тогдашнему министру народного просвещения Голицыну он аргументировал приглашение Жобара на кафедру латинской и греческой словесности весьма своеобразно, но для себя логично: «Я представляю самое верное ручательство за благочестивый образ мыслей Жобара. Между тем как нет ничего труднее, как принудить славных эллинистов дать предпочтение Иоанну Златоусту пред писателями языческими, Жобар преподавать будет греческую и латинскую словесность согласно с инструкцией ректора Казанского университета, по Евангелию

и изъяснениям христианских древностей, и будет исполнять сие не по принуждению, а по собственному чувству. Хотя климат в Казани очень вреден и не существует там церкви католического исповедания… Жобар ко всем сим пожертвованиям влечется одною доверенностию, что в Казанском университете просвещение утверждено на благочестии».

Трудно сказать, насколько пылкий и увлекающийся Жобар вошел в роль мученика за дело «просвещения, утвержденного на благочестии», насколько подыгрывал доверчивому фанатику и, наконец, насколько Магницкий сам за него придумал его необоримое влечение к Казанскому университету.

Во всяком случае, Жобар получил не только заведование кафедрой, но и двойной оклад жалованья и особую доверенность попечителя. Она-то и погубила экстравагантную карьеру француза.

Вскоре после вступления в должность Жобар отправлен был ревизовать астраханскую гимназию и обнаружил там массу злоупотреблений. Но вместо того чтобы донести по начальству, возбужденный визитатор сам пустился наводить порядок и наказывать виновных. Из Астрахани хлынули жалобы. Магницкий, как и все тираны,

терпеть не мог, чтоб за него тиранствовал кто-то другой. Он остался крайне недоволен Жобаром.

Казанские коллеги это почуяли и стали интриговать против недавнего фаворита, провоцировать его на гневные выходки.

Он почти всегда в столкновениях с коллегами бывал по существу прав. Но отстаивал он эту правоту в формах необузданных и нелепых. Горячо поспорив с Жобаром по поводу неких тонкостей французской грамматики, профессор Эйхвальд имел неосторожность предложить пари на тысячу рублей против двух копеек. Научная правота оказалась на стороне Жобара, и он официально обратился в совет университета с требованием взыскать с Эйхвальда тысячу рублей, которую он, Жобар, жертвует в пользу училищ. При этом он обвинил своего оппонента ни более ни менее как в оскорблении величества, ибо тот подверг сомнению его познания во французском языке, в то время как сама императрица Мария Федоровна засвидетельствовала эти познания награждением золотой табакеркой…

Вскоре Жобар, возненавидевший все вокруг, стал сущим бичом университета. Каждое заседание совета превращалось в скандальную баталию. Жобар постоянно отстаивал правое

дело. Но как отстаивал!

«Лицо Жобара, и в спокойном положении всегда красное, горело; глаза были мутны, как у человека, готовящегося к битве, а голос гремел, как у оратора в народном собрании», — с ужасом доносил ректор, у которого «трепетало сердце при этом страшном зрелище».

«И я любил его, — жаловался ректор попечителю в Петербург, — он был другом моего дома дотоле, пока свирепства страстей его не обнаружили противоположную сторону его характера. Мщение его неукротимо».

Недавнее расположение Магницкого к Жобару обернулось столь же ярой враждой. Он объявил его сумасшедшим и потребовал отставки свирепого правдолюбца. Началась тяжба между Министерством просвещения и опальным профессором, которая перешла по наследству к Уварову.

Сменился царь, вспыхнул мятеж, прошли казни, начались и окончились две тяжелые войны, а Жобар все тягался с министерством, требуя признания собственной правоты и наказания гонителей.

Сергий Семенович, занятый проблемами перевоспитания страны, отнесся к притязаниям

казанского смутьяна с брезгливым недоброжелательством. Но — недооценил Жобара.

Второго мая тридцать пятого года Жобар совершил чрезвычайно дерзкий поступок. Подкараулив на петербургской улице императора во время прогулки, он подал ему записку: «Государь, прошу правосудия».

Никакого правосудия не вышло. Николай вообще терпеть не мог подобных выходок, а главное, доверял Уварову, которому и велел разобраться со странным просителем.

Уваров, торжествуя, воспользовался идеей давно отставленного Магницкого и уже официально объявил Жобара безумцем. Но не тут-то было. Жобар бросился в Москву и там освидетельствовался в губернском правлении. Члены присутствия губернского правления, мало осведомленные о перипетиях судьбы профессора, после тщательного освидетельствования выдали ему бумагу о полном умственном здравии…

Теперь все свирепство своих страстей и неукротимость мстительности Жобар сосредоточил на особе министра…

Вот этот-то краснолицый ратоборец, не боящийся ничего, ибо, по его мнению, ему, как иностранцу, грозила лишь высылка, обрушился

теперь на головы Уварова и Пушкина, спутав карты обоих.

Прочитав пышущее злорадством письмо, Уваров в каком-то нервическом оцепенении обратился к стихам.

Как некогда он сам, в случае с «Клеветникам России», Жобар отнюдь не просто перевел или пересказал пушкинские стихи. Те строфы, что относились непосредственно к министру, он сладострастно переиначил:

Уже наследник твой, подобно подлому ворону,

Что жрет свою добычу, похищенную у могилы, Мертвенно-бледный и трясущийся в преступном вожделении,

Видел в своих мечтах твои бренные останки;

И гнусной печатью своей, наложенной на твои стены,

Выказывал ненависть и презрение к честности.

В жарком бреду мучительного ожидания

Он уже перебирал трепещущей рукой твои сокровища.

«Отныне, думал он недалеким своим умом, Не стану я больше угождать презренным причудам вельмож, Качать колыбели их крикливых ребят;

Другие вельможи, еще более презренные,

Станут предлагать мне свои услуги.

И вот наконец я – знатный и могущественный вельможа,

И честность теперь мне уже ни к чему.

Тем не менее я перестану теперь брать деньги у своей

душеньки,

Не стану больше воровать казенные дрова»[50].

Механически перечитывая эти площадные поношения, которые стали еще вульгарнее и разнузданнее, а оттого и еще обиднее, чем пушкинские искусные сарказмы, Сергий Семенович думал о том, что теперь громкого скандала не избежать. Ни промолчать, ни обойтись презрительным пренебрежением. Надо было нечто

---

[50] Notes: 50
Буквальный перевод с французского. — *Я. Г.*

предпринять до того, как пасквиль появится за границей и нанесет его репутации не сокрушительный, конечно, нет, но все же крайне неприятный урон.

Уваров понял: раз в дело вмешался Жобар с его упрямством раздразненного быка, он будет снова и снова возбуждать скандальную историю, которая могла бы незаметно иссякнуть. Альянс Пушкина и Жобара допустить было нельзя. Надо было действовать. И действовать быстро.

Как скверно закончился такой превосходный год и как тяжко начинался новый, суливший еще вчера одни успехи и радости триумфа…

Последние годы Уваров жил какой-то странной двойной жизнью. С одной стороны, он видел себя на вершинах власти, призванным обеспечить спокойствие и процветание державы новой системой воспитания юношества — системой, которую он сам изобрел и развил; он видел себя мудрым и тонким деятелем, неприметно, но твердо руководившим в некоторых сферах мысли самим государем; он видел себя наставником, безупречным в своей просвещенной и дальновидной строгости.

С другой же стороны, он знал, что слишком многие помнят его былое угодничество перед

сильными, его странную женитьбу, его сомнительное внимание к молодым и благообразным мужчинам…

Но до поры это несовпадение двух обликов его не тревожило и не смущало. Он верил, что достоинства государственного мужа с лихвою окупают домашние недостатки человека частного. Этот второй, с его простительными пороками и некоторою нечистотою поступков, ютился где-то внизу, вдали от горних высот того положения, на которое он вознес себя тонкостью ума и пониманием затаенных желаний императора. В самой глубине души он понимал, что его система — выдумка, блеф, азартная игра, — но это понимание мерцало именно в глубине, там же, куда отброшен был частный, домашний Уваров.

Он совсем уже было сжился с собою — безупречным государственным мужем, ему становилось все легче смотреть на себя в небольшое овальное зеркало, которое он скрывал в секретере министерского кабинета; те низости, коими он приобрел состояние, расположение сильных персон, то явное предательство, коим была его нынешняя система по отношению к былому его либерализму, уже совсем было стали мерещиться ему не его, а чужими низостями и предательством,

как вдруг пасквиль, вышедший в «Московском наблюдателе» на исходе такого благополучного тридцать пятого года, все сдвинул и разрушил в его душе… Недаром пасквилянт был талантлив — в этом ему не откажешь. Он соединил каким-то дьявольским способом две ипостаси уваровской жизни, и он, Уваров, не мог уже не видеть того, чего видеть не хотел. Пасквилянт вернул ему былую муку раздвоения. По сравнению с этой мукой вздором было двусмысленное выражение, которое ловил он теперь даже в глазах близких себе людей, зная, что они невольно при виде его вспоминают пасквильные строки…

Что делать с французом, он знал, — дни пребывания Жобара в России были сочтены. Но Пушкин?.. Его не вышлешь. Он всегда здесь, в Петербурге. И пока он здесь — эта мука будет неизбежно продолжаться. Пока он здесь, министру и творцу новой системы не обрести недавнего спокойствия и уверенности. Положение не давало ему, Уварову, возможности вызвать пасквилянта на дуэль. А в той же глубине души он знал, что, и не будь этого положения, он не вызвал бы Пушкина, ибо ему непереносимо было представить себе свое тело пробитое, разорванное отвратительным комочком бессмысленного

металла…

Сделав усилие, Уваров достал из секретера небольшое овальное зеркало в серебряной оправе и с горьким состраданием взглянул на свое белое от обиды и гнева лицо. И два слова, которые ему давно удалось загнать куда-то в темноту, в немоту, — вдруг выскочили и заплясали в голове: «Сеня-бандурист»…

И он понял, что никогда не простит Пушкину.

Старик с сатанинской физиономией

А вы, ребята подлецы, —
Вперед!..

А. С. Пушкин

В кризисные моменты враждебный исторический поток, завивающийся вокруг своей жертвы, выбрасывает на поверхность, как бойких марионеток, совершенно неожиданных людей, которые, сделав свое дело, исчезают навсегда. В начале тридцать шестого года рядом с Пушкиным заплясали две фантасмагорические фигуры — Альфонс Жобар и Варфоломей Боголюбов. Их появление порождено было — каждое по-своему — уродливой уваровской стихией.

Пути Сергия Семеновича и Варфоломея Филиппповича пересеклись на заре карьеры будущего министра народного просвещения. Оба они служили по дипломатическому ведомству и были близко знакомы. Но Сергий Семенович с самого начала оказался в привилегированном положении будущего государственного мужа, а Варфоломей Филиппович играл какую-то неопределенную роль агента, исполнителя

самых разнообразных поручений, собирателя и сообщателя слухов, сведений о настроениях различных лиц.

Он был вездесущ, встречался с самыми разными особами — вплоть до весьма высоких: «Я часто вижусь с графом Нессельродом, который также весьма вам предан», — доносил он послу в Вену.

Поручения же выполнял иногда самые необыкновенные, заодно интригуя, оказывая услуги: «М. М. Сперанский, вручив мне вчерась при сем приложенное письмо к Вашему Сиятельству, объявил мне, что он оным просит Вас об исходатайствовании находящемуся при нем родственнику покойной жены его, коллежскому советнику Цейеру, почетный крест ордена Св. Иоанна Иерусалимского, прибавив к тому, что, решась к сей просьбе, он представил Вашему Сиятельству меня одного виновником оной, что отчасти и справедливо: ибо, видя его участие в сем чиновнике и желание его доставить ему помянутый орден, я не мог на вопрос, им мне сделанный: может ли он считать на готовность Вашу оказать ему сие новое одолжение, не только не поощрить, но и в сем ему поручиться, быв уверен, что Ваше Сиятельство поставите себе за удовольствие сделать для него то, что от Вас

совершенно зависит, и тем обязать благодарностию против себя такого человека, который Вам во всяком случае полезен и нужен быть может».

Так писал в восемьсот девятом году Боголюбов князю Куракину, не предвидя при всем своем изворотливом уме падения Сперанского. Но из этой комбинации, как и вообще из его неофициальных донесений, вычерчивается фигура хитрого, ласкового, угодливого к сильным дельца-интригана, к которому, однако, даже его начальники и покровители относились с некоторым сомнением и употребляли для дел, требующих прежде всего именно пронырливости и втирушества.

Имя Сергия Семеновича встречается в донесениях Боголюбова как из Петербурга, так и из Вены постоянно. Чуя открывающиеся перед младшим коллегой возможности, Варфоломей Филиппович старался держаться возле него…

К этой поре относится и еще одна связь Боголюбова, протянувшаяся до тридцатых годов и достаточно красноречивая. В восемьсот пятом году он состоял агентом-наблюдателем при русском экспедиционном корпусе в Корфу и, в частности, писал оттуда Куракину: «Письмо сие посылаю я отсюды с г. Бенкендорфом, которого Роман Карлович (командующий корпусом гене-

рал Анреп. — *Я. Г.*) отправляет курьером ко двору с разными планами и нужными для нас сведениями об Италии, собранными им через посланных отсюды эмиссаров. В Петербурге пробудет г. Бенкендорф только недели три или месяц и потом возвратится обратно сюды, ибо здесь командует он легионом сулиотов, т. е. древних спартанцев, состоящих из тысячи человек, который им самим по поручению генерала сформирован в короткое время наподобие наших регулярных егерей и с большим успехом быть может употребляем в здешних гористых местах в случае войны нашей с Франциею. Он желал бы весьма застать Ваше Сиятельство в столице, чтобы иметь честь вручить Вам лично письмо сие». Тут, кроме обычного донесения, следующего далее, не менее обычная для Боголюбова комбинация — он сводит молодого, честолюбивого, предприимчивого офицера с влиятельным вельможей, оказывая ему услугу, и тем заручается его доброжелательством.

В Петербурге позднее Варфоломей Филиппович встречался с Александром Христофоровичем, пока еще просто боевым генералом, приятельски. А в тридцатые годы оказался соглядатаем и конфидентом двух наиболее влиятельных государственных мужей, притом между собой

враждовавших. И в этом была особая прелесть для Варфоломея Филипповича…

В восемьсот девятом году князь Куракин, несмотря на тринадцатилетнюю совместную с Боголюбовым службу, отказался взять его с собою в Париж, куда был переведен из Вены. Уварова же оставил при себе. Сергий Семенович и Варфоломей Филиппович разлучились.

Вскоре Боголюбов причислен был сверх штата к русской миссии в Мадриде. Там он выполнял, очевидно, по обыкновению, роль соглядатая, и выполнял ее успешно. Во всяком случае, в семнадцатом году последовал именной указ Коллегии иностранных дел:

«Состоящему при Мадритской миссии нашей сверх штата, ведомства сия коллегии коллежскому советнику Боголюбову в воздаяние отличных его трудов и усердия к службе всемилостивейше повелеваем сверх получаемого им ныне жалования производить еще по пятьсот рублей в год, считая рубль в пятьдесят штиверов голландских из общих государственных доходов.

Александр».

На следующий год Боголюбов был из Мадрида отозван и состоял при Герольдии. Карьера его почему-то прервалась. Выслужить за двадцать

лет всего-навсего коллежского советника при его рвении и особых талантах — не бог весть какая удача.

В нем было что-то отталкивающее, опасное, что пугало даже тех, на кого он работал…

В 1820 году, когда Боголюбов вернулся в Россию и подыскивал себе занятие по вкусу, Александр Яковлевич Булгаков, еще недавно бывший чиновником для особых поручений при московском генерал-губернаторе, писал в Петербург отцу и брату: «Чего еще хочется Боголюбову? Ему иное делать не должно, как поселиться в Москве и быть благородным Иваном Савельичем. Многие дадут ему квартиру и стол, а он проживай себе свои 500 р.; а в клуб, конечно, его не возьмут».

Этот короткий пассаж полон смысла. Иван Савельевич Сальников был, как его называли современники, «последний московский шут». В этом качестве был он вхож во многие самые аристократические дома. Был он из крепостных. Потому Булгаков и называет Боголюбова «благородным Иваном Савельевичем», в отличие от крестьянина Сальникова.

Но главное — по мнению Булгакова, коллежскому советнику Боголюбову, по Табели о рангах коллежский советник соответствовал полков-

нику, уготована была роль шута при богатых москвичах.

То, что ему был закрыт путь в Английский клуб, свидетельствовало о несомненной замаранности репутации.

В чем тут было дело, мы вряд ли узнаем. Но сам факт испорченной репутации несомненен.

Презрительный отзыв Булгакова тем более симптоматичен, что в начале века, когда младшие Булгаковы жили в Италии и знали там Боголюбова, то в письмах к отцу, крупному дипломату, они пели дифирамбы своему новому знакомцу.

Главные сведения о натуре Варфоломея Филипповича сообщил потомкам Николай Иванович Греч, не отличавшийся добродушием и доброжелательством, но — как мемуарист — без нужды не вравший. А в случае с Боголюбовым врать ему никакой корысти не было. Набросанный им очерк уникальной личности приятеля Уварова и Бенкендорфа столь выразителен, что стоит привести его в значительных извлечениях: «В числе замечательных лиц, с которыми случай свел меня в жизни, должен я упомянуть о Варфоломее Филипповиче Боголюбове. Он представляет любопытное зрелище, — человека, всеми презирае-

мого, всем известного своими гнусными делами и везде находившего вход, прием и наружное уважение… Отец Боголюбова в последние годы царствования императрицы Екатерины служил экономом в Смольном монастыре и исполнял свою должность с большим попечением о своем кармане. Когда, по вступлении на престол императора Павла, все воспитательные и богоугодные заведения отданы были в ведомство императрицы Марии Федоровны и главное над ними начальство было поручено умному, деятельному и строгому графу Якову Ефимовичу Сиверсу, последовала ревизия хозяйственной их части за прежние годы. Боголюбов, видя себе неминуемую беду, решился предать себя смертной казни и вонзил себе в живот кухонный нож. На вопли его домашних сбежались соседи, пригласили медика и исследовали состояние больного, который терзался в ужасных мучениях. На вопрос одного наследника, есть ли надежда на спасение его жизни, врачи ответили единогласно:

— Нет никакой.

— Долго ли проживет он в этих мучениях?

— Он умрет, лишь только вынуть нож из раны.

— Да кто на это решится?

Тогда девяти— или десятилетний сын его,

Варфоломей, смело подошел к кровати больного и, бестрепетно вынув нож, прекратил тем и страдания, и жизнь своего отца. Дивный пример сыновней любви и самоотвержения!»

Трудно сказать, так ли было на самом деле и не передает ли Греч некий апокриф, но в любом случае этот страшный анекдот говорит о репутации Варфоломея Филипповича.

Относительно возраста решительного мальчика Греч точно ошибся. Судя по прохождению службы Боголюбовым, он родился в 1783 году, и, стало быть, в конце царствования Екатерины было ему не менее двенадцати лет. Но это ничуть не снимает выразительности описанной Гречем сцены. Пожалуй, наоборот…

В истоках карьер Уварова и Боголюбова — при всей их разности — имелось нечто и общее. Смерть отца пошла на пользу и тому и другому. Как после кончины Сеньки-бандуриста, энергично проматывавшего приданое жены, влиятельные и богатые родственники взяли на себя попечение о будущности Сергия Семеновича, так и после гибели Боголюбова-старшего отрок Варфоломей, в ином случае не имевший особых перспектив, оказался в чрезвычайно выгодных условиях.

«Императрица Мария Федоровна изъявила глубокое сожаление об этом несчастном случае, призрела осиротевшее семейство и поручила юного Варфоломея попечению князя Алексея Борисовича Куракина. Князь исполнил желание государыни, взял юного героя и дал ему воспитание наравне с своим родным сыном, воспитание светское, блистательное, и потом определил Боголюбова в Коллегию иностранных дел».

И опять-таки приходит на ум судьба Сергия Семеновича, которому превосходное воспитание и образование не прибавили нравственных достоинств и душевной чистоты.

«В последнее время, — рассказывал Греч, — числился он при министерстве и жил в Петербурге, имея вход в лучшие дома, и находился в дружеских связях с Тургеневым, Блудовым и другими светскими людьми. Я знал его только потому, что видел иногда у Тургенева и у Воейкова, но в 1831 году, когда открылась холера, он был назначен попечителем квартала 1-й Адмиралтейской части, в которой частным попечителем был С. С. Уваров, с которым он вошел в тесные связи по родству Уварова с кн. Куракиным. Боголюбов, посещая дома разных обывателей, зашел и ко мне. Мы разговорились с ним и познакомились,

не говорю, подружились.

Когда я переехал в свой дом (в июле 1831 года), он продолжал посещать меня, иногда у нас обедал и забавлял всех своими анекдотами и остротами; только нельзя было остеречься от его пальца. „Плохо лежит, брюхо болит“. Он воровал все, что ни попадалось ему под руку. Спальня моя была внизу; кабинет на антресолях. Одеваясь поутру, я оставлял в спальне бумажник. Однажды пришел ко мне Боголюбов, заглянул в спальню и, видя, что меня там нет, взобрался в кабинет и, просидев около часу, ушел. Я отправился со двора и, переходя через мостик на Мойке, встретился с наборщиком, которому за что-то обещал дать на водку, остановил его, вынул из кармана бумажник, чтобы из бывших в нем пятидесяти рублей вынуть синенькую. Не тут-то было: бумажник оказался пустым».

Порассказав еще несколько подобных случаев, Греч вздыхает: «Таких случаев знал я, знали все, до тысячи, но никто не успел застать и уличить Боголюбова с поличным. А сколько он утащил у меня книжек! Добро бы украл полные сочинения, а то почти все разрознил».

Этот примечательный господин — сплетник и клептоман, но при этом эрудит, забавный

рассказчик и говорун — появился с тридцать третьего года в близком окружении Пушкина.

Это было то самое время, когда Сергий Семенович совершил свой великий рывок и стал министром. В соответствии с его грандиозными планами сведения о настроениях, мнениях, замыслах литературной элиты стали ему особенно необходимы. Причем сведения приватные, услышанные в домашней, к доверию и откровенности располагающей обстановке. Боголюбов здесь был незаменим. Особенно по части доверчивого, прямого Пушкина.

Но Варфоломей Филиппович работал на двух хозяев. «…Он был знаком, и коротко, и с Бенкендорфом. Говорили, что он был его шпионом», — сообщает Греч. Шеф жандармов, энергично вербовавший себе агентов в самых разных слоях общества, просто не мог обойти такое лицо, каков был Боголюбов, тем более своего близкого знакомца.

Летом тридцать третьего года, живя на Черной речке, Пушкин поглощен был работой над пугачевскими своими замыслами. Уварова это чрезвычайно занимало.

Готовился Пушкин к поездке по России — в Дерпт, в Оренбургскую и Казанскую губернии.

Что должно было заинтересовать и ведомство Бенкендорфа.

Не состоящий на службе Боголюбов выполнял между тем столь щекотливые поручения шефа жандармов, что некоторые считали его чиновником III Отделения. Кузен Дельвига, известный мемуарист, рассказывая о том, как Бенкендорф оскорбил поэта, сообщил между прочим: «…Вскоре приехал к Дельвигу служивший при III Отделении канцелярии государя чиновник 4-го класса Боголюбов… и приказал доложить, что он с поручением от Бенкендорфа. Означенный чиновник имел репутацию класть в свой карман дорогие вещи, попадавшиеся ему под руку в домах, которые он посещал. Дельвиг впоследствии этого сказал мне, чтобы я убрал со стола дорогие вещи, но таковых, кроме часов и цепочки, не было, и я ушел с ними из кабинета Дельвига, так как разговор с чиновником должен был происходить без свидетелей».

Боголюбов, сильно повышенный мемуаристом в чине, приезжал ни больше ни меньше как принести Дельвигу извинения от имени шефа жандармов за то, что тот «разгорячился при последнем свидании». Так Александр Христофорович определил свою безобразную грубость.

Бенкендорф знал, что Дельвиг собирается подавать на него жалобу государю, и второй задачей Боголюбова, искусного агента, было выведать о настроениях оскорбленного и его намерениях. И вообще что-либо выведать.

Подробная осведомленность III Отделения о происходившем в доме Пушкина перестанет быть таинственной, если помнить о частых визитах Варфоломея Филипповича…

Боголюбов как по собственной склонности, так и по неофициальным поручениям замешался в щекотливые ситуации, имевшие политический оттенок. Когда литератор Жихарев, родственник братьев Тургеневых и управляющий их имениями, оказался нечист на руку и началась тяжба между опальным Александром Ивановичем, оберегавшим материальное будущее государственного преступника и эмигранта Николая Ивановича, и Жихаревым, то Варфоломей Филиппович выступил здесь в роли вполне определенной. 19 декабря тридцать первого года Александр Тургенев писал из Москвы Жуковскому: «Я узнал случайно, но достоверно, что Жих. приглашал известного Боголюбова и показывал ему какие-то бумаги мои в свое оправдание; это тот самый Богол., который крал у меня и у других

бумаги, деньги и из коего вытряхал я некогда, при свидетелях, краденые вещи. — Впрочем, он слишком известен, особливо Жихареву; здесь он играл какую-то роль, и я от этих людей должен всегда опасаться. Жих., не уплачивая, конечно, чего-то ждет. Мне выехать нельзя отсюда, не кончив с ним. Богол. едет сегодня в П-бург.

Пожалуйста, откликнись.

Я здесь встречал Богол. раза два, но уходил от него немедленно и два раза, узнав, что он в доме, куда я приезжал, возвратился, не вошед в комнату; следовательно, он только лгать на меня может».

В это самое время Бенкендорф получил донесения о неблагонадежных разговорах Тургенева…

В тридцать третьем году в Петербург приехал из Москвы Нащокин и привез с собою молоденького артиста и начинающего литератора Николая Куликова, боготворившего Пушкина и старающегося запомнить и выспросить у Нащокина все, что касалось поэта. Куликов написал потом мемуары, приукрашенные и расцвеченные его воображением в деталях, но во многом очень ценные.

Жизнь с Нащокиным в Петербурге была для него праздником. «Эти веселые собрания продол-

жались постоянно, исключая только тех дней, когда Нащокин уезжал на Черную речку. Там у Пушкина он встретил старика Боголюбова, который тоже начал частенько посещать его вместе с прочими.

Боголюбов, старик ловкий и подвижный, с отталкивающей сатанинской физиономией, носил две звезды и был известен как креатура Уварова. Весь кружок обращался с ним сдержанно, как он ни юлил перед всеми, подражая им в сообщении новостей или смешных рассказов. Я и теперь с негодованием вспоминаю его скверное повествование о петербургском мальчике».

Сопровождавший Нащокина повсюду Куликов стал свидетелем любопытного разговора на даче у Пушкина, когда кто-то из друзей упрекнул его в пристрастии к Боголюбову, «этому уваровскому шпиону-переносчику». Тут же выяснилось, что Боголюбов бегает по городу, ища для Пушкина деньги в долг.

Так оно и было. Пушкину для поездки необходимы были деньги. Он обращался к ростовщикам. В таких случаях он пользовался и услугами доброхотов — чтоб найти источник займа. В Москве ему помогал Погодин, записавший однажды в дневник, что искал для Пушкина денег, «как со-

бака». В Петербурге тридцать третьего года этой «собакой» был Боголюбов, все время которого проходило в подобных комиссиях и шнырянии по городу. Род его занятий того требовал.

Отношения Пушкина с Уваровым в то время были еще неприязненно-нейтральными, и особой опасности в Боголюбове он не видел. Тем более что этот монстр его забавлял…

В тридцать четвертом году, утвердившись на министерском посту, Сергий Семенович решил официально приблизить к себе старого знакомого и постоянного подручного, сделав его чиновником для особых поручений.

Второго мая тридцать четвертого года Варфоломей Филиппович обратился к министру с «покорнейшим прошением»: «Желая иметь честь служить под начальством Вашего Высокопревосходительства, покорнейше прошу удостоить меня определением сообразно способностям моим по министерству, высочайше Вашему Превосходительству вверенному…»

Поскольку делалось все по предварительной договоренности, то Сергий Семенович немедля адресовался к Нессельроде:

«Милостивый государь
граф Карл Васильевич!

Числящийся при Герольдии коллежский советник Боголюбов обратился ко мне с просьбою о принятии его вновь в службу по ведомству Министерства народного просвещения. Не предвидя с моей стороны к сему затруднений и усматривая из сего прошения, что он 22 года служил по ведомству Министерства иностранных дел, за каковую службу по ведомству сему назначены ему именными высочайшими указами… оклады из общих государственных доходов, я почел долгом покорнейше просить Ваше Сиятельство об исходатайствовании по бывшим примерам высочайшего соизволения на перечисление коллежского советника Боголюбова в ведомство Министерства народного просвещения с сохранением им получаемых ныне окладов».

Ответ Нессельроде оказался очень странным. На просьбу Уварова о получении разрешения императора на перевод Боголюбова, что он, Нессельроде, как прямой начальник Варфоломея Филипповича и должен был сделать, вице-канцлер отозвался так: «Я приму в особенное себе удовольствие, если Ваше Превосходительство исходатайствуете у государя императора определение г. Боголюбова во вверенное Вам министерство с производством ему вышеупомя-

нутого оклада».

Коротко говоря, он умывал руки и предлагал Уварову самому хлопотать за Боголюбова в нарушение правил. Сам он не хотел быть прикосновенным к перемещению коллежского советника. Причем ответил он Сергию Семеновичу только через десять дней. Он обдумывал ситуацию.

Дальнейшие события развивались не менее странно. Уваров, уверенный в успехе своего ходатайства, заготовил указ Сенату о переводе Боголюбова и доложил императору.

И Николай своему любимцу отказал — в такой малости! Что ему было до того, станет Боголюбов чиновником для особых поручений при министре народного просвещения или нет?

Причина тому была.

«Однажды, — рассказывает Греч, — когда Уваров был в Москве, Боголюбов пришел ко мне и прочитал письмо, в котором тогдашний товарищ министра просвещения уведомлял его, старого друга, о разных встречах, о блюдах в Английском клубе, о речах и суждениях некоторых именитых особ.

— Неправда ли, интересно? — спросил у меня Боголюбов.

— И очень, — ответил я.

— Я читал это письмо генералу (тогда Бенкендорф не был еще графом), и ему оно понравилось».

В качестве товарища министра Уваров посетил Москву только один раз — в тридцать втором году, когда и совершил свою хитроумную комбинацию с ревизией университета и знаменитым докладом царю. В тот момент — до возвращения и доклада — положение его было достаточно шатким, и знакомить шефа жандармов с приватными письмами Сергия Семеновича значило отдавать его судьбу в руки Бенкендорфа. Они могли Александру Христофоровичу понравиться, а могли чем-либо его и раздражить.

Извращенная натура Варфоломея Филипповича толкала его предавать друг другу своих покровителей и шпионить для каждого за каждым. Но если Уваров, не располагая возможностями настоящего сыска, так и оставался в неведении относительно проделок своего «старого друга», то с Бенкендорфом такие штуки долго тянуться не могли.

Греч утверждает: «Дружба Боголюбова с Бенкендорфом пресеклась трагическою сценою. Однажды Боголюбов приходит к нему, ни о чем не догадываясь, и видит, что его появление про-

извело на графа сильное впечатление.

— Что с вами, любезный граф? — спрашивает Боголюбов.

Бенкендорф подает ему какую-то бумагу и спрашивает:

— Кто писал это?

Это была перлюстрация письма, посланного Боголюбовым к кому-то в Москву: он насмехался в нем над действиями правительства и называл самого Бенкендорфа жалким олухом. Это письмо доставил графу петербургский почт-директор Булгаков, ненавидевший автора. Боголюбов побледнел, задрожал и упал на колени.

— Простите минуту огорчения и заблуждения старому другу!

— Какой ты мне друг? — закричал Бенкендорф. — Ордынский! велите написать в канцелярии отношение к военному генерал-губернатору о высылке этого мерзавца за город.

Боголюбов плакал, рыдал, валялся в ногах и смягчил приговор.

— Убирайся, подлец! — сказал Бенкендорф, — чтоб твоя нога никогда не была у меня!

Боголюбов удалился».

Сведения эти шли непосредственно от секретаря Бенкендорфа Ордынского, свидетеля жалкой

сцены.

Эта-то история, очевидно, и помешала Уварову с Боголюбовым воссоединиться официально. Не знал Уваров о ссоре Варфоломея Филипповича с Александром Христофоровичем или же, наоборот, знал и радовался, что столь полезный человек теперь всецело зависит только от него, Уварова, сказать трудно. А вот то, что об этом знал либо узнал, наведя справки за десять дней промедления, Нессельроде и потому умыл руки — более чем вероятно. Император же, блюститель чистоты и благородства нравов, естественно, не желал принимать в службу по ведомству воспитания господина с такой репутацией.

Но, не получив Боголюбова в официальные чиновники для особых поручений, Сергий Семенович сохранил его для поручений неофициальных. «С Уваровым сохранил он связь до конца своей жизни, — сообщал Греч, — видно, между ними были какие-то секреты…»

Этого человека — способного бестрепетно вынуть нож из живота своего отца, шпиона, предателя и вора, любителя скверных историй про мальчиков, всеми презираемого, но всюду вхожего, — Сергий Семенович решил натравить в начале тридцать шестого года на Пушкина.

«Между ними были какие-то секреты…»

Поединок с Уваровым на фоне исторической науки

…Внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей отечественной, обратив большее внимание на узнавание нашей народности во всех ее различных видах.

С. С. Уваров. 1832 г.

Изучению истории и воздействию ее на умы Сергий Семенович всегда придавал первостепенное значение. Он публично толковал об этом с тех самых пор, как сделался попечителем Петербургского учебного округа и, стало быть, одним из столпов отечественного просвещения. Уже в те времена — в десятые годы — он говорил о необходимости изучать не только внешние события, но и народный дух. Так учили немецкие историософы, которым Сергий Семенович доверял. Уже в те времена любимой его идеей было недопущение катаклизмов, взрывов, сломов истории. Только постепенное движение, только мягкие переходы от одного периода к другому. Но тогда речь шла о постепенности движения вперед, о спокойном,

но неуклонном прогрессе, совершенствовании, о бескровном пути к свободе.

Теперь же, к тридцать шестому году, «народный дух» превратился в «народность» из триединой формулы, а изучение глубин народной жизни — в поверхностные конструкции, долженствующие доказать нерасторжимое единство угнетателя и угнетенного.

Идея постепенности, идея последовательных реформ переродилась в идею мертвой паузы, насильственной остановки, ложной стабильности.

Мечта о согласном движении молодой, полной сил России в общем европейском потоке заменилась мрачным проектом «умственных плотин», отсекающих страну от мира.

Неизменной осталась только вера в воспитательную силу истории. А отсюда и понимание, что нельзя отдавать ее во враждебные ему, Уварову, руки…

Пушкин сделан был историографом еще до уваровского взлета. К неудовольствию Сергия Семеновича, царь не только не желал отстранять его от столь важного государственного места, но и оказывал в некоторых случаях прямое покровительство. Поделать с этим пока ничего было невозможно. Возможно было иное — про-

тивопоставить Пушкину и его истории своих историографов и свою историю. При могуществе средств, имеющихся у министра народного просвещения, вовсе не трудно было со временем вытеснить Пушкина из этой области.

Прицеливающийся, сосредоточенный взгляд министра обращался прежде всего на историю Петра, ибо деятельность этого монарха можно было растолковать исключительно во вред его, уваровской, доктрине во всех ее главных пунктах. Но Сергий Семенович отлично понимал, что толкование истории зависит от воли толкователя — прежде всего. Знал он и то, с каким ревнивым чувством смотрит на писания о Петре нынешний император…

Впервые Николая гласно сравнили с Петром 13 декабря 1825 года. И не кто-нибудь, а Сперанский, сказавший своему младшему другу декабристу Батенькову, что молодой царь «по первому приему обещает нового Петра». Что вкладывал старый реформатор в это сравнение? Надежду на разумные перемены, от которых и он в стороне не останется? Или хотел напомнить о железной руке первого императора, его дубинке, поголовном закрепощении?

Батенькова же реформы Петра не приводили

в восторг. Он знал, что сегодня нужно иное — представительное правление, отмена рабства. А этого не приходилось ждать ни от старого, ни от нового Петра.

Но слово было сказано не случайно. Сравнение нового царя с Петром пошло широко. Действовали решительные ухватки «солдатского императора», его осанка, катастрофическое начало царствования, приводившее на память стрелецкие мятежи. А потом уже, после казней и ссылок, когда Николай дал понять, что последуют реформы, параллель углубилась и утвердилась. И стала официальной. Пушкин и сам немало помог тому «Стансами»:

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни…
Семейным сходством будь же горд…

Николай, органически не способный к радикальным реформам, тридцать лет разрывавшийся между консервативностью своей натуры и беспокойным сознанием, что делать что-то надо, всерьез уверовал в духовное родство с Преобразователем. Он считал, что историю Петра надо писать именно с этой подоплекой. И, смягчившись к Пушкину после «Стансов», «Клеветникам

России», царскосельских встреч, вручил ему право сочинения «Истории Петра» не без этой мысли. Первое пятилетие царствования, начавшееся кровавыми событиями, сражениями с собственным народом, требовало оправдания. Соответствующим образом сочиненная история Петра могла нужные оправдания дать. Этого он от Пушкина и ждал. И недаром же запретил печатать — после пушкинской смерти — подготовительные тексты, надежд не оправдавшие.

Уваров ситуацию понимал остро и готов был ее использовать. Он знал, что на ту же роль, что и Пушкин, претендует оставшийся без журнала, сломленный Полевой.

Бенкендорф между тем не только продолжал покровительствовать Полевому, но явно противопоставлял его Пушкину. Он выхлопотал Николаю Алексеевичу то право, которое Пушкин потерял, — цензуровать свои статьи непосредственно в III Отделении, минуя общую цензуру. Пушкин — с некоторыми ограничениями — отдан был во власть Уварова. Полевой от этой власти огражден.

Человек проницательный, внимательно следивший за общественной конъюнктурой, Николай Алексеевич к исходу тридцать пятого

года, зная о провале «Пугачева», обозначавшем поражение Пушкина в борьбе за читателя на поле историческом, решился вступить с ним в состязание.

В конце года он напечатал в «Живописном обозрении» статью «Памятник Петра Великого», где с резким сарказмом объяснил ничтожность как истории Петра, написанной Вольтером, «гением своего века, но историком жалким», так и Фальконетова всадника. «Памятник не выражает ни Петра, ни России». Вся статья устремлена была к одному: «Мы не можем быть довольны памятником Фальконета как произведением изящных искусств, ни историей Голикова как трудом настоящего историка». Сомневался Николай Алексеевич и в возможностях современных историков, которые прилагают к гениальному царю современные идеи и оттого не могут охватить его величие.

Скорее всего, это был отзвук толков о пушкинских трудах.

Статья в «Живописном обозрении» была подготовкой общественного мнения. До властей она дошла с опозданием…

В январе тридцать шестого года, когда загремел скандал с «Выздоровлением Лукулла», Полевой

подал шефу жандармов обширную и патетическую записку: «Если бы Богу угодно было благословить мое всегдашнее желание посвятить время и труд на изображение бессмертных дел Петра Великого, я почел бы это обязанностью остальной жизни моей и залогом того, что щедроты Его благословляют меня оставить после себя памятник временного бытия моего на земле, заплатив тем долг моей отчизне, и споспешествовать по мере сил чести и славе Отечества.

Долговременным размышлением убедился я в том, что

1-е. Петр был образец земных царей, Посланник Божий для судьбы России, и разгадать жизнь Его значит разгадать судьбу Русской Земли. „Россия не царство, а часть света“, — говаривал он. Гордо можем мы поставить перед Европою великое изображение Петра, и тень Его закроет собою все имена Западной Истории.

2-е. История Петра Великого всегда будет наставлением Царей и поучением народов…»

Суть же послания, которое, как предвидел Полевой, представлено будет Николаю, заключалась в немногих, но беспроигрышных словах: «Вся прежняя Российская история была приготовлением к периоду Петра. Вся новая история до

Николая была развитием периода Петра.

Ныне развитие это достигло своего предела. Бог послал другого сына судеб, который начал период новый…

Тайную мысль мою скажу в окончание сего, изложенного здесь: История последних десяти лет открыла нам тайну праправнука Петрова, Того, Кто вступил на престол России ровно через сто лет (1725–1825-й годы). Мы знаем, кто ожил в Нем. Историк не промолвит этого в истории Петра — Русские и без того поймут, на Кого были обращены взоры историка».

Полевой без обиняков предлагал то, чего от Пушкина ждать уже не приходилось. Шел тридцать шестой, а не тридцать первый год.

Бенкендорф представил прошение Николая Алексеевича императору с энергичной рекомендацией: «Известный Вашему Величеству Полевой, бывший издателем московского журнала „Телеграф“, человек с пылкими чувствами и отлично владеющий пером, имеет сильное желание написать историю Петра 1-го. Он прислал мне свои мысли по сему предмету и краткое изложение плана предполагаемой истории. Бумагу сию, примечательную как по мыслям, в ней заключающимся, так и по изложению ее, долгом

поставляю представить у сего Вашему Императорскому Величеству».

Если бы у Александра Христофоровича оказалась возможность ознакомиться с мыслями Пушкина по сему предмету, а равно и манерой изложения, принятой им в «Истории Петра», то симпатии шефа жандармов к Полевому-историку стали бы еще горячее. Строгая и точная мысль Пушкина, как и суровая его стилистика, мало что сказала бы уму и сердцу Александра Христофоровича, а если бы что и сказала — то вполне неприятное и неприемлемое. Дилетантская же риторика Полевого существовала как раз на уровне его исторического сознания. Не говоря уже о намерении представить Петра предтечей Николая…

Но император взглянул на дело несколько иначе. Как ни лестно ему было предстать вторым в русской истории «сыном судеб», основателем нового периода отечественного развития, но он желал соблюсти порядок. Вход в архивы открывался только официальному историографу. Таковым уже назначен был Пушкин. Плох он или хорош — но это было так. Двух историографов в России, на его взгляд, не требовалось.

Царь решил: «Историю Петра Великого пишет

уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной Коллегии; двоим и в одно время поручить подобное дело было бы неуместно».

Кроме того, Николай доверял Полевому значительно меньше, чем Бенкендорф. Но и вовсе оттолкнуть такое предложение император счел неразумным. В устной беседе с Александром Христофоровичем он высказал несколько соображений, которые тот поспешил сообщить просителю:

«Милостивый государь Николай Алексеевич!

Намерение Ваше принесть в дар России Историю Великого Петра я имел счастие доводить до Высочайшего сведения государя императора и, вместе с тем, всеподданнейше повергал на всемилостивейшее воззрение Его Императорского Величества доставленный ко мне от Вас план сего издания.

Его величество с благоволением удостоил принять Ваше намерение; но не мог вполне изъявить монаршего соизволения на Ваши предположения по той причине, что начертание истории Петра поручено уже известному литератору нашему А. С. Пушкину, которому, вместе с тем, представлены все необходимые средства к совершению сего многотрудного подвига.

Впрочем, государю было бы приятно, если бы Вы употребили способности и Ваши сведения на предприятие, драгоценное для сердца каждого русского».

И далее, объяснив, что путешествие по европейским краям, где бывал некогда Петр и о коем просил Полевой, вовсе не нужно, он вразумил его и относительно архивов: «Передавая Вам таковые мысли Его Величества, не скрою от Вас, милостивый государь, что и по моему мнению, посещение архивов не может заключать в себе особенной для Вас важности, ибо ближайшее рассмотрение многих Ваших творений убеждает меня в том, что, обладая в такой степени умом просвещенным и познаниями глубокими, Вы не можете иметь необходимой надобности прибегать к подобным вспомогательным средствам.

Впрочем, если бы при исполнении Вашего намерения представилась Вам надобность иметь то или другое сведение отдельно, — то в таком случае я покорнейше прошу Вас относиться ко мне и быть уверенным, что Вы всегда найдете меня готовым Вам содействовать, — и вместе с тем, я совершенно уверен, что и государь император, всегда покровительствующий благим начинаниям, изъявит согласие на доставление

Вам тех сведений, какие Вы признаете для себя необходимыми».

Все эти широкие авансы давались, разумеется, с ведома Николая. Царь и его первый советник нашли тонкий выход — они поощрили Полевого к писанию истории, создав, таким образом, решительный резерв на случай, ежели пушкинская история Петра окажется негодной. А равно и на тот случай, если Пушкин слишком долго будет возиться со своими архивами.

Александр Христофорович и вообще-то считал, что архивы — блажь и выдают пушкинскую некомпетентность, ибо истинно просвещенный и образованный человек копаться в старых бумагах не станет.

Кроме того, Пушкин много говорил в обществе о своих занятиях, в том числе с лицами, близкими к императору и Бенкендорфу. В том же тридцать шестом году великий князь Михаил Павлович в разговоре с Андреем Карамзиным сетовал, «что Пушкин недостаточно воздает должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения».

Формула Полевого — «Петр — сын судеб» — устроила бы великого князя несравненно боль-

ше.

Демарш Полевого происходил на фоне «Лукулла», взбесившего Уварова, раздражившего царя и Бенкендорфа, доказавшего этим последним неосновательность и ненадежность Пушкина.

8 февраля знакомец Полевого Снегирев записал в дневник: «Был у Н. Полевого, приехавшего из СПБ с приятными надеждами: ему поручено государем писать историю Петра I по ходатайству Бенкендорфа». Так понял Полевой ситуацию. И понял правильно.

Николай Алексеевич, несмотря на паническое отступление перед властью, остался в глубине души верен основополагающим своим идеям. Благоговевший перед «царями-демократами» Иваном IV и Петром I, почитавший в них «грозу аристократов», Николай Алексеевич знал, не читая пушкинских конспектов, что напишет нечто принципиально иное, чем «аристократ» Пушкин. Добиваясь права приступить к истории Петра, Полевой, капитулировав перед правительством, продолжал борьбу с Пушкиным, оказавшись, хотел он того или нет, в одном лагере с Сергием Семеновичем.

Здесь альянс Бенкендорфа и Полевого оказывался Уварову на руку. Ибо они намеревались

вытеснить Пушкина оттуда, куда его опрометчиво допустили в тридцать первом году.

В августе тридцать шестого года Николай в сопровождении Бенкендорфа прибыл в Москву. Там благожелатель Полевого, московский обер-полицмейстер, вручил шефу жандармов «Живописное обозрение» с «Памятником Петру Великому».

Александр Христофорович знал и нелюбовь Николая к императрице Екатерине, и презрение к ее претензиям считаться «Петром Великим в юбке», а соответственно, и неприязнь к воздвигнутому по ее велению монументу. И он искренне пожалел, что не имел под рукой этой статьи в январе.

Однако и теперь еще было не поздно. Ксенофонт Полевой, со слов свидетелей, описал происшедшее: «Граф пробежал указанную ему статью, и она произвела на него такое благоприятное впечатление, что он воскликнул: „Я сейчас представлю это государю императору!“ И с листком в руке он ушел во внутренние комнаты дворца, а через несколько времени возвратился с веселым лицом и сказал своему чиновнику: „Государь император чрезвычайно доволен статьею о Петре Великом и поручил мне изъявить свое благоволение за нее автору…“»

Это и неудивительно. Многие пассажи статьи оказались императору не только чрезвычайно приятны, но и совпадали с его честолюбивыми мечтами: «Нашему или грядущему веку достоит честь воздвигнуть Петру памятник от русской души, русским умом, в точных понятиях об искусстве, и подарить Отечество такою историею Петра, которая вполне показала бы весь необъемный гений его, все величие его подвигов».

Николай не мог не согласиться — то, что сделали немка Екатерина и француз Фальконе, отнюдь не отвечало духу нового периода российской истории. Только он, первый после Петра истинно национальный монарх, чьей опорой была народность, мог верно понимать наследие и заветы Петра.

Перед Полевым — историком Петра — открывались, бесспорно, некие перспективы.

Пушкин не мог не знать об этом. Это была опасность — и реальная.

Когда в апреле тридцать пятого года он писал Дмитриеву: «Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену

возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону», — он знал, что говорил.

Под пером Николая Алексеевича трагическая суровость событий обращалась в романтическую мелодраму, уснащенную историческими анекдотами. Персонажи делились явственно: добродетельный царь, которого вынуждают иногда к отеческой жестокости, и его соратники — с одной стороны, и его противники — злодеи и изверги — с другой.

Соответственно в этом противоборстве идеального монарха и «чудовищ злобы и коварства» выглядел и финал процесса царевича Алексея: «Царь прочел приговор, повелел призвать царевича в собрание суда и прочитать ему решение. Несчастный царевич содрогнулся, услышав смертный приговор, затрепетал и лишился чувств.

Спешили помочь ему, старались успокоить, утешить его. Говорили, что он может еще надеяться на милосердие родителя. Царевича отвезли в крепость и известили царя о сильном впечатлении, какое произвело на виновного объявление приговора. Царь был смущен, но тверд и не отвечал ни слова. Тогда явились к нему с известием, что царевич впал в болезнь тяжкую… Царь забыл

все, поспешил в темницу несчастного сына, увидел слезы его, услышал рыдания и мольбы его и, рыдая сам, обнял его и смешал слезы скорби отцовской со слезами раскаяния сыновнего, изрекая ему прощение и благословляя возвратиться к жизни и добродетели. Поздно было желание великого. Царевич умолял отца не оставить сирот его. Царь удалился. Никакие пособия медицины не могли спасти жизни Алексея. С трепетом преступника покидал он мир, приобщился Святых Тайн, не мог успокоиться и умолял позволить ему еще раз получить родительское благословение. Царь спешил к нему, но час судеб Божиих свершился — Алексей, прощенный судом человеческим, прешел пред суд Божий. Посланный известил царя о кончине сына его. Слезы потекли из глаз горестного родителя. Он укрыл их в уединении от всех своих приближенных».

Вся эта романтическая патока не стоила нескольких строк пушкинского конспекта, открывавших жестокие обстоятельства 1718 года, нравы времени и железный характер царя: «Царевич более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями… 24 июня Толстой объявил в канцелярии Сената новые показания царевича и

духовника его (расстриги) Якова. Он представил и своеручные вопросы Петра с ответами Алексия, своеручными же (сначала — твердою рукою писанными, а потом после кнута — дрожащею). И тогда же приговор подписан. 25-го прочтено определение и приговор царевичу в Сенате. 26-го царевич умер, отравленный… Есть предание: в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшного 1698 года.

Петр между тем не прерывал обыкновенных своих занятий».

Отношение к делу царевича Алексея и его гибели для власть имущих было некой проверкой добропорядочности историка. Страшный эпизод в судьбе династии воспринимался августейшей семьей чрезвычайно болезненно, в своем натуральном виде он не должен был выйти на свет.

Еще в декабре двадцать шестого года молодой император посетил Главный архив Министерства иностранных дел. Сопровождавший его сенатор Дивов записал в дневник: «…Мы прошли в секретное отделение, заключающее личные бумаги царской фамилии и уголовные дела разных времен, начиная с дела царевича Алексея при Петре Великом. Император приказал не топить

эту комнату и сделать в ней железные ставни, заметив, что в нее могут влезть и выкрасть бумаги. Это замечание видимо поразило вице-канцлера. Император взглянул на меня и сказал графу (Нессельроде. — *Я. Г.*), что он не подозревает всего, на что способны люди. Осматривая этот отдел, его величество с ужасом вспоминал о пытках, которые вынес царевич Алексей».

И Николай, и Уваров, и большинство государственных лиц прекрасно знали правду о смерти Алексея. Но от историков требовалась благостная ложь.

Пушкин лгать не умел…

Когда — уже после смерти Пушкина — Полевой представил Бенкендорфу свою рукопись, Александр Христофорович обратился к императору: «Я читал доставленное мне Полевым начало его „Истории Петра Великого“. Оно очень хорошо и написано в таком духе и таким слогом, что нельзя не желать, чтобы ему доставлена была возможность вполне развернуть талант свой…» Он снова ходатайствовал о разрешении Николаю Алексеевичу работать в архивах.

Царь, поколебавшись, отказал. Он уже знаком был с черновиком пушкинской «Истории», которая ему совершенно не понравилась. Пушкин

работал в архивах, но ничего путного из того не вышло, ибо там покойный историограф набрал фактов, дискредитирующих, на взгляд Николая, его исторического двойника.

Разумеется, этот запрет мешал Полевому. Но главное было не в этом, а в направлении мысли. Там, где пушкинская мысль, мысль искателя истины, сталкивалась с недостатком сведений, с пустотами, она исходила из общих закономерностей процесса, из особенностей событий и характеров. Пушкин тоже не располагал следственным делом царевича. Но ни на грош не верил легенде о его смерти от болезни. И уж скорее дал бы руку себе отрубить, чем описал трогательные свидания царя с приговоренным сыном. Сыном, который по его приказу был перед тем жестоко пытан…

Пушкин не мог лгать. В тридцать шестом году он уже знал, что его правда не нужна и опасна правительству. Но ему не приходило в голову спасти свой труд хотя бы толикой лжи.

Мысль отчаявшегося Полевого, встречая пустоты или опасные факты, немедля выстраивала пышные словесные вавилоны, затемнявшие существо дела, или рисовала события вымышленные.

Издание «Истории Петра» спасало погибающего от долгов Полевого.

Только материальный успех «Истории Петра» мог спасти из долговой бездны Пушкина.

Тут они были равны.

И Полевой готов был поступиться чем угодно ради спасения.

Пушкин шел на безнадежное разорение, но отказывался лгать.

Не нам кидать камни в Николая Алексеевича Полевого — с его талантом журналиста, жаждой добра, с горькой трагедийностью судьбы.

Но только в сравнении является разница между сломавшимся и несломленным, между тем, кого можно было подавить, и тем, кого можно было только убить…

Сергий Семенович тоже, естественно, знал о планах и настроениях Полевого. Но темные страсти, кипевшие в его душе под безукоризненной личиной, оказались сильнее политической целесообразности. Он мог бы приблизить Полевого, и Полевой был к этому готов, не раз сетовал на несправедливость министра и надеялся «обезоружить его своею правотой». Но Уваров ненавидел Полевого. И — все. К тому же Полевой был креатурой Бенкендорфа. Успех Полевого и стал бы

успехом шефа жандармов.

Сергию Семеновичу нужны были свои люди, свой успех. Новые люди, всецело ему обязанные. Его «новая знать», его кондотьеры.

Он начал собирать своих людей с самого начала, как только пошел вверх…

В мае тридцать первого года в московской газете «Молва» появилась статья об открывшейся в древней столице Выставке русских изделий. Среди прочего содержались в статье и такие пассажи: «Удивительное явление! Европеец трудится целые века, напрягает все свои умственные способности, призывает в помощь науки и искусства, соображает, выдумывает, изобретает; а у нас безграмотный мужичок, с глазу и голоса, приладясь и изловчась по-своему, с благотворной дубинкой над спиной, перенимает часто, как бы по вдохновению, всякую заморскую хитрость и становится чуть ли не рядом со старшими своими братьями!.. Петр! Петр! что почувствовало бы отеческое твое сердце, если б ты вдруг каким-нибудь чудом явился между нами!

Но скоро ли, скоро ли вслед за успехами русского оружия и русской промышленности — русская наука и русское искусство займут почетное место в европейском храме просвещения? Учиться,

учиться, учиться, юные чада России! Сюда, в школы, в гимназии, в университеты, и да устыдится робкая Европа, которая по какому-то нелепому предрассудку все еще боится, что новое варварство нахлынет на нее из недр нашего Отечества, и да покроется русское имя новою, святейшею славою!»

Сочинил статью молодой историк Михаил Петрович Погодин, преподаватель Московского университета, из крепостных, получивший дворянство с университетским дипломом.

Михаил Петрович, кряжистый, с грубым, крепким лицом, был упорен, сметлив, работящ. Он любил учить и учиться. Пушкина подкупали эти его качества, подкрепленные благоговением, которое Погодин выказывал первому поэту. Михаил Петрович вел себя достаточно тонко, и многие темные стороны его натуры вышли на свет позже.

С собою же он был вполне откровенен, и его дневник открывает душу отнюдь не ангельскую.

Честолюбие его жило жизнью злой, жадной, уязвленной: «Нет, господа, я буду непременно передним человеком в русской литературе нашего времени». Он добивался «переднего» положения любыми способами. «Завидую будущим

ораторам, которым представлено прославить царствующего ныне императора Николая», — сказал он в торжественной университетской речи в тридцатом году.

Когда в тридцать первом году он издал статистическое обозрение России первой половины XVIII века, написанное деятелем этого века Кириловым, то прежде всего стал искать возможность представить книгу царю и множеству влиятельных особ. Он отправил книгу Пушкину, но тут же и Булгарину. Он послал ее многим министрам. Для того чтобы добраться до императора, он требовал помощи от Пушкина, Жуковского. Ему удалось поднести свое издание императрице, и она ответила бриллиантовым перстнем. Но между Николаем и желающими поднести ему свои ученые сочинения стояла Академия наук, предварительно цензуровавшая такие книги. Академия весьма резко отнеслась к погодинскому изданию, и министр просвещения князь Ливен отказался представить книгу царю.

Михаил Петрович был человеком более чем деловым. «Думал о своих трагедиях, — писал он в дневнике, — по двадцати тысяч рублей получу от государя». Ничего от государя за свои трагедии он не получил, и это его крайне печалило. Хотя дела

его шли вовсе не дурно. Сын крепостного отца, не обладавший наследственным капиталом, Михаил Петрович, служа в университете, купил себе дом и завел в нем доходный пансион для студентов: «У меня одиннадцать пансионеров, с которых не беру меньше восьмисот с каждого, а с других при уроках тысячу пятьсот и тысячу двести. Это приносит мне хороший доход и, кроме содержания себя и семейства, остается в скоп».

Он купил деревеньку, сам обзавелся крепостными…

При этом его энтузиазм историка-ученого и историка-литератора был совершенно искренним. Его трагедию «Марфа-посадница» Пушкин расхвалил. Но мечтой его было написать трагедию о Петре. И в тридцать первом году он не без страха этот подвиг предпринял. Пушкин отнесся к «Петру» прохладнее, чем к «Марфе». При всей широкой доброжелательности и добродушной снисходительности к литераторам, которые нравились ему как люди, от прямых разговоров о «Петре» он уклонялся. Погодин это заметил, понял и кручинился в дневнике.

Прохладность Пушкина имела причины. В погодинской драме царь-преобразователь предстал тем же «сыном судеб», каким позднее выведет

его Полевой. Благородно грозный и сурово справедливый титан противостоит жалкой своре «чудовищ злобы и коварства», которые затевают против него заговор. Историк Погодин в полной мере воспользовался правом драматурга на вымысел и сочинил фантастическую историю о злодеях — Кикине, генерале Долгоруком, — которые выкрали царевича Алексея из крепости и подожгли Москву, чтоб убить Петра на пожаре. Но бесстрашный и неуязвимый — «сын судеб»! — царь явился в логово заговорщиков, сам обезоружил убийцу и не дал повернуть вспять историю…

Суд же над царевичем завершился в соответствии с традицией:

Царевич… кончил жизнь. – Я не успел
Прочесть ему, больному, приговора…
Как на землю он мертвый покатился
Апоплексическим ударом.

В семьдесят третьем году старый Погодин напечатал свою трагедию с историческими комментариями и послесловием. Следственное дело царевича Алексея было уже обнародовано, и совесть историка заставила Михаила Петровича сообщить в комментариях истинное положение

дел — и о пытках, которым подвергали Алексея, и о выдуманности кульминационной ситуации. Не умолчал он и о скептическом отношении Пушкина: «Пушкин не одобрял 4-го действия, как бы составленного из сценических эффектов. Это в роде Коцебу, говорил он, у которого над каким-нибудь несчастным или несчастною заносит руку, с одной стороны, отец, а с другой — припадает любовница или любовник, — и при этих словах он, любивший выражаться пластически, вытягивал свое лицо, представляя изнеможенного Алексея».

В тридцать первом году перед Пушкиным оказалась напыщенная пьеса, писанная вялыми стихами и исполненная банального смысла. Но главное — историческая трагедия никак не представляла драму истории.

Он сам, Пушкин, освятил в свое время диаду Петр — Николай. Он сам в «Полтаве» мощно изобразил Петра — «сына судеб» — «весь как Божия гроза». (А через несколько лет Максимович напишет Погодину, рассказывая о въезде Николая в Киев: «Сначала царь приехал, и был прекрасен, как Божия гроза».) Он сам задал высокое единство: «лик его ужасен» — «он прекрасен». В этом единстве костоломное прогрессорство первого

императора оправдывалось безусловно и легко эстетизировалось. И погодинская трагедия с полным правом заканчивалась бодрым монологом Петра, который, узнав о смерти сына, «с просветлевшим лицом выступал на авансцену»:

Так мы теперь к заутрени пойдем,
Благодарить Творца за две победы —
Над внешними и внутренним врагами.
Последнюю, залог святой спасенья,
С мучительной я болью получил.
Утешимся. Фундамент просвещенья
Навек у нас я ею заложил.
Все новое спаслось от разрушенья.
Я кровью все сыновней искупил.

Победа Петра над буйными пьяными заговорщиками в трагедии слишком напоминала официозную версию славной виктории 14 декабря над смутьянами «гнусного вида». Погодин не прочь был и этим подольститься к власти. Но неизбежная аналогия напугала цензуру, и трагедию не пропустили ни в печать, ни на сцену. Да и сама история вражды отца и сына — царя и наследника — казалась неуместной и не подлежащей оглашению…

Диада Петр — Николай гипнотизировала историков и писателей, предопределяя толкование Петровской эпохи. Стремительно складывалась традиция, которую Пушкину предстояло ломать в одиночестве…

Погодина он в начале тридцатых годов привечал и поддерживал. Погодин, образованный, энергичный, казалось, преданный ему, нужен был как сотрудник, помощник, союзник в деле просвещения России историей, в том деле, что так обнадеживающе определилось в тридцать первом году.

Погодину Пушкин нужен был как опора и покровитель — до времени. Он хотел всего — первого места в литературе, почетного положения в исторической науке, высокой репутации в глазах власть имущих. Между тем начальство относилось к нему с подозрением, многие коллеги-профессора его не любили. До тридцать четвертого года Полевой его яростно травил. Еще не сломленный и не лишенный журнала Полевой, независимый, гордый, проповедник представительного правления, презирал «демократа-монархиста» Погодина, прославлявшего «благотворную дубинку» над мужицкой спиной. «Телеграф» не оставлял без внимания ни одного

погодинского появления в печати. Неистовая вражда с Полевым еще сильнее привязывала Погодина к Пушкину и заставляла Пушкина до поры видеть в Погодине естественного союзника. Ни тот, ни другой, ни третий не предвидели, что новая эпоха, злобно навалившись на Пушкина и Полевого, окажется благодатной для Погодина…

Товарищ министра народного просвещения Уваров, к молодому историку-патриоту благоволивший, раздражился было на него из-за одной рецензии, но петербургские доброжелатели Погодина все быстро уладили. И когда Сергий Семенович отправился в тридцать втором году в свой решающий вояж, Погодин изготовился к действию. Все понимали, что Уваров может и министром стать, и, стало быть, надо всемерно стараться ему понравиться. Один из петербургских друзей — как только Сергий Семенович отбыл из столицы новой в древнюю — отправил Погодину письмо с наставлениями: «Теперь от Вас уже зависит довершить начатое и сблизиться с товарищем, а может быть, и будущим министром. Он будет советоваться с Вами насчет издания исторических материалов — труд преполезный. Пожалуйста, постарайтесь угодить ему. Поладить весьма легко: бывайте только у него

почаще, превозносите его таланты, познания, глубокие его сведения в греческом языке, обладание русским словом и проч., и проч. Говорите также о надежде всех любителей просвещения по случаю его назначения товарищем министра. Знаю, что все это покажется для Вас трудным; но, ради бога, возьмите на себя хоть раз в жизни этот труд, если не для пользы, то, по крайней мере, для того, чтобы враги Ваши, враги человечества не торжествовали. Иначе Полевым и прочим тварям будет раздолье, и они из него сделают, что захотят. Да посыплется пепел на главу их!»

Автор письма преувеличивал щепетильность Погодина и возможности Полевого. Уваров прекрасно знал, кто ему нужен. А Погодин готов был на многое.

Но Уваров был не тот человек, которого можно было взять голой лестью. Он оценивал профессоров по иной шкале. И Михаил Петрович знал, сколь многое решит его вступительная лекция, прочитанная в присутствии товарища министра. Знал и тщательно готовился. «Думал о первой лекции при Уварове. Докажем надменным иностранцам, которые осмеливаются сомневаться в русском уме, русском гении… Думал о лекции и о том, как заставить этих мошенников покло-

ниться себе».

Лекцию Погодина Сергий Семенович выслушал с настороженным вниманием. Он знал о популярности молодого ученого, о его литературных амбициях, о его неблестящем служебном положении, о ненависти к нему Полевого, наконец. Сергий Семенович должен был определить для себя ценность Погодина. Он намечал людей для выдвижения, своих будущих соратников — и не имел права ошибаться.

Погодин говорил крупно. Он говорил об исконной особости русского пути: «Следствие Крестовых походов в политическом отношении, т. е. усиление монархической власти, было произведено у нас монгольским игом, а Реформацию в умственном отношении заменил нам, быть может, Петр».

Погодин умалчивал, что монгольское иго, толкнув Русь к консолидации, вместе с тем глубоко травмировало народное сознание и самой монархической власти оставило в наследство черты отвратительного деспотизма. Погодин умалчивал, что европейская Реформация несла с собой и новые политические реальности и что протестантские государства быстрее католических двинулись к представительному правлению —

Англия, Швеция, Голландия…

Но Сергию Семеновичу такой поворот должен был понравиться.

Дал Михаил Петрович и свой оборот проблеме дворянства: «Наше дворянство не феодального происхождения, а собравшееся в позднейшее время с разных сторон как бы для того, чтобы пополнить недостаточное число первых варяжских пришельцев из Орды, из Крыма, из Пруссии, из Италии, из Литвы, не может иметь той гордости, какая течет в жилах испанских грандов, английских лордов, французских маркизов и немецких баронов, называющих нас варварами. Оно почтеннее и благороднее всех дворянств европейских в настоящем значении этого слова, ибо оно приобрело свои отличия службою отечеству».

Это была идея, прямо противоположная пушкинской. Погодин лишал русское дворянство права противостояния самодержавию, отрывал его от остальной России, провозглашая исключительно наемным, пришлым, служилым классом. Именно самосознание и социальную устойчивость английских лордов и хотел видеть Пушкин в просвещенном российском дворянстве. Ибо только такое дворянство могло ограничивать

деспотизм и регулировать политическую жизнь.

Представив русскую историю цепью удивительных чудес, оратор провозглашал особое покровительство Божие над историей России: «Воображая события, ее составляющие, сравнивая их неприметные начала с далекими огромными следствиями, удивительную связь их между собою, невольно думаешь, что перст Божий ведет нас…»

Куда же вел перст Божий? «Мы живем в такую эпоху, когда одна ясная мысль может иметь благодетельное влияние на судьбу целого рода человеческого, когда одно какое-нибудь историческое открытие может подать повод к государственным учреждениям. Какое славное поприще, какие великолепные виды для науки!»

Для Сергия Семеновича, чья «ясная мысль» должна была при благоприятном обороте карьеры произвести «благодетельное влияние», по крайней мере на судьбу России, слышать это было одно удовольствие.

Но Погодин шел дальше: «Не часто ли случается нам слышать восклицания: зачем у нас нет того постановления или этого. Если бы сии ораторы были знакомы с Историею, и в особенности с историею Российскою, то уменьшили бы некоторые

свои жалобы и увидели бы, что всякое постановление должно непременно иметь свое семя и свой корень и что пересаживать чужие растения, как бы они ни были пышны и блистательны, не всегда бывает возможно или полезно, по крайней мере, всегда требует глубокого размышления, великого благоразумия и осторожности. Далее — они увидели бы ясно собственные наши плоды, которым напрасно искать подобных в других государствах, и преисполнились бы благодарностью к Промыслу за свое удельное счастие. В этом отношении российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самою верною и надежною».

Эта тирада, направленная прежде всего против Полевого и всех желающих конституционных нововведений, буквально совпадала по сути своей с основополагающей мыслью Сергия Семеновича. О необходимости воспитывать Россию, черпая исключительно из собственного опыта, опираясь на самоценность своего политического устройства. Отсюда вытекала с очевидностью нежелательность всяких реформ, меняющих традиционную структуру, неорганичность любых государственных установлений, если они не

имеют прямого аналога в прошлом. Рассуждения о «семени и корне» давали возможность любое начинание объявить «не в законах и нравах русских».

В этом и был основной смысл уваровской «народности»: все государственные учреждения и постановления, путь просвещения и воспитания должны были исходить из «народной самобытности», как понимали ее Николай и его министр, из «народного духа», каким они себе его представляли. Из «народного духа» все выходило и к нему должно было стремиться. «Приноровить общее всемирное просвещение к нашему народному быту, к нашему народному духу» — Сергий Семенович призывал подминать чужой опыт под себя…

А привлечение истории как «охранительницы и блюстительницы» — было любимой теперь идеей Уварова.

К концу лекции Сергий Семенович смотрел на оратора с благоволением, граничащим с восторгом. Эта речь будет слышаться ему, когда он станет сочинять доклад императору…

Уваров убедился, что Погодин — нужный человек, его человек.

Карьера Михаила Петровича была обеспечена.

На протяжении последующих лет он все далее отходил от Пушкина, которого он уважал и, быть может, любил, но который теперь мало был ему нужен. И все ближе сходился он с Уваровым-министром.

В тридцать шестом году, после введения нового устава университетов, Михаил Петрович получил кафедру русской истории в Москве.

В тридцать седьмом году он писал в дневнике: «Думал об университете, которого я должен быть ректором, и, кроме меня, никто».

Ректором он не стал, но стал одним из могучих столпов уваровской «народности», которую так презирал Пушкин…

В тридцать седьмом году Михаил Петрович написал письмо наследнику Александру Николаевичу. В нем он доказывал исключительность России и ее несомненное превосходство над государствами и народами Европы, пережившими вершины своей истории и клонившимися к закату.

«Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию?.. Одно слово — и целые империи не существуют; одно слово — стерта с лица земли другая, слово — и вместо их возникает третья, от Восточного оке-

ана до моря Адриатического. Сто лишних тысяч войска, и Кавказ очищен… Сто тысяч войска — и проложены новые военные дороги до пограничных городов Индии, Бухарии, Персии. Даже прошедшее может он, кажется, изворотить по своему произволу…»

Он писал это за шестнадцать лет до Крымской катастрофы…

Вот это и был результат торжествующей, укореняющейся в умах уваровщины — замена реальности фантомами, рабство, возведенное в перл государственного совершенства, всеподавляющая демагогия… Погодин усвоил это мировосприятие так стремительно, потому что был к нему готов и ранее. Близость с Пушкиным оказалась условной и случайной.

Между ним и министром встанет еще отношение к панславянской идее, у Погодина — восторженное, у прагматика Уварова — насмешливо-раздраженное: «возбуждение духа отечественного не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, в пределах науки, без всякой примеси современных идей политических». Но это будет позже, а главное — не коснется неколебимой триады.

Он еще будет брюзжать на Уварова, но брюзжа-

ние его вызвано будет предпочтением, которое министр отдаст другому «своему человеку» — молодому историку Устрялову, а не принципиальным расхождением. Он еще запишет в дневнике: «Строганов дал мне программу уваровскую для сочинения истории. Преглупая и подлая». Но дело в том, что Погодин уже написал и издал учебную книгу по русской истории, а министр объявил конкурс на новую — для своего любимца Устрялова…

Николай Герасимович Устрялов был сыном крепостного человека князя Ивана Борисовича Куракина, состоявшего приказчиком одного из княжеских имений и пользовавшегося уважением владельца.

Смышленый и старательный мальчик получил некоторое домашнее образование — русская грамота, начатки французского. Воспитался на «Бедной Лизе», любимой книге его родителей, сочинениях Ломоносова, Жуковского, Державина. Обожал романы. Начав учиться в уездном училище в Орле, он вскоре за успехи переведен был в гимназию и блестяще ее окончил. Затем вступил в Петербургский университет вольнослушателем, получил при окончании курса прекрасный аттестат, а через год — степень кандидата.

Несмотря на все эти достижения, в службу он устроился с трудом. Да и служба была совершенно не та, о которой он мечтал. Он исправлял канцелярскую должность в департаменте внешней торговли.

Разумеется, обязанности, на нем лежащие, мало его увлекали. Перья он чинил так скверно, что министр финансов Канкрин сказал однажды, что ежели и далее так пойдет, то он, Канкрин, откажется от своего поста за невозможностью писать этими перьями.

Двадцатилетний чиновник оказался в толпе на Сенатской площади 14 декабря, едва не угодил под картечь. Но вспоминал он об этом дне с каким-то небрежным равнодушием, хотя видел и само восстание, и площадь после подавления мятежа. «Около монумента стояли вооруженные солдаты вокруг побитых и раненых и кричали толпившемуся народу: „не подходи, убью!“ Мы пошли дальше по Адмиралтейскому бульвару… Любопытно было взглянуть на здание Сената на другой день: к стороне монумента Петра Великого оно унизано было картечью».

Любопытно было взглянуть…

Выиграв конкурс в присутствии товарища министра народного просвещения Блудова, Ни-

колай Герасимович сделался старшим преподавателем истории в Третьей санкт-петербургской гимназии.

Блудов, обративший на него внимание, стал привлекать молодого способного историка к разбору исторических документов, в том числе и секретных. Очевидно, от Блудова узнал об Устрялове и Уваров.

Николай Герасимович делал спокойную, постепенную карьеру. Он был приглашен в университет — обучать студентов русскому языку. Без жалованья.

Он начал отыскивать и издавать исторические тексты. Его издания имели успех в ученом мире.

Уваров, президент Академии наук, только что получивший пост товарища министра народного просвещения, в апреле тридцать второго года сделал первый шаг к сближению с подающим надежды историком. Он внимательно следил за всеми, кто выделялся на общем фоне, присматривался, прикидывал…

Покровительственный жест Уварова оказался неожидан для Николая Герасимовича: «Сергей Семенович Уваров, лично со мною не знакомый, внес от своего имени „Сказания современников о Димитрии Самозванце“ в Демидовский конкурс,

и я получил 17 апреля 1832 года поощрительную Демидовскую премию. Я отправился к Уварову с благодарностью, и тогда мы сблизились».

Сергий Семенович умел читать в душах. В Николае Герасимовиче не было — в отличие, скажем, от Погодина — ни яростного плебейского честолюбия, ни общественной страсти, ни социальной уязвленности, ни энергичных политических идей. Он был образован, старателен, ровен. Он в большей мере, чем Погодин, подходил для роли орудия, а не деятеля…

С помощью Уварова Николай Герасимович получил хранившийся в синодальном московском архиве редкий по исправности список «Сказания князя Курбского» и, сличив с имеющимися уже списками, издал.

По обычаю, он постарался извлечь из своего труда не только научную славу: «Князь Ливен, которому я представил два экземпляра для поднесения их государю и государыне, сказал: „охота тебе тратить деньги на книги!“».

Но князь Ливен доживал на министерском посту последние дни. Его преемник смотрел на вещи иначе. Он настойчиво вел свою игру, привязывая к себе нужных людей.

Устрялов вспоминал и через много лет с уми-

лением и благодарностью: «…Самою лестною и неожиданною наградою был орден Анны 3-й степени, исходатайствованный новым министром народного просвещения С. С. Уваровым, при поднесении государю второй части Курбского (28 июня 1833 года)… Я поскакал на Черную речку, где летом жил Уваров в своей прекрасной даче; увидел его: он поздравил меня с орденом…»

Замышляя уже сокрушение Полевого и оттеснение Пушкина, Сергий Семенович готовил своих интерпретаторов истории.

В тридцать четвертом году, когда Полевой был уже сокрушен, когда министр просвещения уже дал понять Пушкину, что покоя и пощады не будет, когда печатался обреченный на провал «Пугачев», Николай Герасимович при содействии своего покровителя заметно продвинулся вверх. «Попечителем Санкт-Петербургского учебного округа был князь М. А. Дондуков, друг Уварова… Я пришел к князю Дондукову-Корсакову, объяснил ему, как поступил я в университет, в каком нахожусь положении, не получая около четырех лет ни копейки жалования, и просил его сказать: нужен я университету или нет? Приняв меня очень любезно, он с изумлением выслушал мои слова и обещал доложить министру. Через

несколько дней я был определен экстраординарным профессором русской истории».

На фоне разгорающейся жестокой борьбы Уварова с Пушкиным и его пониманием истории Устрялов неуклонно делал карьеру.

Но решающий момент в этой карьере наступил в начале тридцать пятого года, когда Сергий Семенович понял, что из научных занятий его протеже можно извлечь непосредственную политическую пользу.

Он понял это, посетив лекцию Устрялова, трактующую историю княжества Литовского. После этой лекции министр просвещения привез на экзамен к своему любимцу членов Государственного совета и представил им Устрялова.

В дальнейшей судьбе Николая Герасимовича сыграл роль еще один человек, выдвинутый на политическую сцену Уваровым.

В тридцать четвертом году, в том самом году, когда Сергий Семенович попытался сделать Боголюбова своим официальным сотрудником, он приблизил светского красавца, лейб-гусарского полковника графа Протасова.

Он собирал свою партию.

Вскоре после совместной поездки с министром в Москву полковник сделан был товарищем

министра просвещения. А еще через некоторое время — обер-прокурором Святейшего синода, то есть правительственным чиновником, контролирующим церковные дела и, в частности, все вероисповедания. Для всероссийского воспитателя Уварова, не имевшего ранее возможности влиять на церковную политику, выдвижение на такой пост своего человека было большим успехом…

Скептический Никитенко записал о Протасове: «Это молодой человек лет 32-х, без физиономии, флигель-адъютант. У нас молодые люди, раз напечатавшие где-нибудь в журнале свое имя, считают себя гениями; так же точно люди, надевшие военный мундир с густыми эполетами, считают себя государственными людьми, наравне с Меттернихами и Талейранами». Полковник Протасов отнюдь не был Меттернихом или Талейраном. Но свои идеи у него были, равно как и жестокость в их осуществлении. Основательное осуществление идей, кроме крепкой руки, требовало и исторического обоснования. Министр и полковник знали, что могут получить это обоснование от Устрялова.

Устрялов вспоминал: «На Святой неделе 1835 года, по обыкновению во вторник, все ученое и

учебное сословие собралось у Чернышева моста, в огромной зале министра для поздравления в полных мундирах. Уваров вышел из внутренних покоев с товарищем своим, гусарским полковником, обер-прокурором Синода графом Протасовым, со многими христосовался, разговаривал, по обычаю, умно, дельно, обо всех ученых предметах по-русски, по-французски, по-немецки, и потом откланялся. Все стали выходить. Я тоже. Вдруг бежит за мною уже на лестнице курьер и зовет к министру. Обласкав меня, как всегда, Уваров сказал, что согласился с графом Протасовым послушать мое сочинение и назначил мне день, именно пятницу на Святой неделе, вечером. Я не помнил себя от радости».

Вторник на Святой неделе тридцать пятого года падал на 9 апреля. Николай Герасимович христосовался с Сергием Семеновичем в те самые дни, когда Пушкин писал письмо Бенкендорфу, прося представить царю «Путешествие в Арзрум». В том самом апреле, когда он писал письмо И. И. Дмитриеву со злым сарказмом против Уварова и Дондукова и уничижительную эпиграмму «В Академии наук…» — то есть начинал решительную кампанию.

Незадолго до того он сделал бешеную запись в

дневнике и бесповоротно понял, кто его главный и смертельный враг.

Устрялов не помнил себя от радости.

Пушкин не помнил себя от негодования.

Уваров и Протасов прекрасно себя помнили и вербовали способных и послушных людей, чтобы обратить их в орудия своих замыслов.

Устрялов вспоминал: «В пятницу приезжаю в восемь часов вечера к Уварову; он был пока один. Призвал меня в кабинет и стал беседовать об ученых делах. Вскоре послышался стук саблею и быстрая походка. „Это Протасов“, — сказал с улыбкою Уваров. Немедленно сели. Протасов взял мою рукопись и стал читать, особенно о Литовском княжестве. Оба они делали замечания; но вообще были в восторге, особенно граф Протасов; для него очень важно было тогда Литовское княжество по политическим соображениям; дело представлялось как-то смутно. Теперь же все стало ясно. Уваров сказал ему мимоходом тихо по-французски, что доложит о моем труде государю».

Товарищ министра просвещения — обер-прокурором Синода станет на будущий год, — коему поручено было особое наблюдение за образованием в западных губерниях, граф Протасов,

«молодой человек без физиономии» (по мнению Никитенко), но весьма приятной наружности (на взгляд Уварова), и в самом деле имел тут «политические соображения». И научные изыскания Устрялова, впервые исследовавшего процесс формирования великого Литовско-Русского княжества и роль русской народности в этом процессе, оказались Протасову на руку. Если здесь Николай Герасимович вывел на свет некую историческую истину, то в других случаях он готов был для пользы уваровского дела и покривить душой. И министр, и лейб-гусар с быстрой походкой светского фата и железной рукой обер-прокурора поняли это.

Уваров доложил императору о появлении подающего большие надежды и чрезвычайно благонамеренного ученого, и с высочайшего соизволения Устрялову поручено было составить программу конкурса на лучшую учебную книгу по русской истории, которая и станет основанием для воспитания юношества.

Программа, им составленная и представленная ученому миру от имени министра просвещения, и была названа раздраженным Погодиным «преглупой и подлой».

Условия конкурса министерство определило

щедро: победитель получал десять тысяч премии и право на издание книги. Что составляло немалую выгоду.

Заранее ясно было, что победителем станет сам Николай Герасимович. Это было настолько очевидно, что он оказался и единственным участником конкурса. В конце тридцать шестого года он приступил к изданию «Русской истории».

Обосновав благотворность неограниченного самодержавия, Устрялов подкреплял эту основополагающую идею прочувствованным описанием свойств русского народа: «К выгодам России, в смысле державы могущественной, благоустроенной и самобытной, должно присовокупить и добрые свойства народа. Его благочестие тихое, глубокое, его беспредельная преданность престолу, покорность властям, терпение удивительное, ум светлый, основательный, душа добрая, гостеприимная, нрав веселый, отважность среди величайших опасностей, наконец, гордость национальная, породившая уверенность, что нет на свете страны краше России, нет государя сильнее царя православного, — были такие свойства, которые надо было только развить и направить, чтобы возвести Россию на высшую ступень могущества, славы и благоденствия».

Как сочеталось «благочестие тихое, глубокое» с тем, что новый его покровитель, обер-прокурор Синода Протасов, должен был жестоко подавлять непреклонных раскольников, а правительство — как раз в это время — принимать новые карательные законы против раскольников? Как «беспредельная преданность престолу, покорность властям, терпение удивительное» сочетались с неоднократными крестьянскими войнами и постоянными — в том числе и в тридцать пятом — тридцать шестом годах — народными бунтами? Эти противоречия Устрялов спокойно оставлял в стороне. Не по незнанию, разумеется. Просто — он работал на Уварова, которому нужна была такая история.

В отчете за тридцать шестой год Уваров сообщал императору, что он объявил конкурс на новый учебник по русской истории — с наградой победителю в 10 000 рублей и что фактический победитель уже ясен.

«Профессор С.-Петербургского университета Устрялов представил отпечатанную уже первую часть своей *Русской Истории,* с изъяснением, что вторая часть выйдет в свет в марте, а остальные две будут изданы в текущем году. Представляя окончательное избрание учебной книги по части

отечественной истории произвесть не прежде, как по представлению Устряловым и прочими соискателями полных курсов этой науки, я признал, однако, справедливым не отлагать более указания хотя временного по столь важному предмету руководства. На сем основании, находя, что первая часть *Русской Истории* Устрялова более прочих, доселе изданных по этой части, учебных книг соответствует своей цели, я приказал употреблять ее в гимназиях и дворянских уездных училищах, в виде опыта, впредь до особого распоряжения».

Устряловская история отныне становилась учебником политической жизни для молодых дворян.

И насколько Сергию Семеновичу приятнее было читать Устрялова, чем Пушкина, видевшего кровавые мятежи в прошлом и предрекавшего еще более страшные в недалеком будущем.

И царевич Алексей у Николая Герасимовича кончал жизнь вполне пристойно: «Алексей с ужасом услышал приговор, пал без чувств и в тот же день скончался». Ни о жестоком дознании, ни о кнуте, ни о казнях сообщников царевича Устрялов не сказал ни слова.

Необыкновенно ловко обошелся он и с самым

больным вопросом новой российской истории: «Низшее сословие достигло при Петре того состояния, к которому оно стремилось при его предшественниках. Писцовые книги при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче определили положение земледельцев, дотоле колебавшееся между укреплением к земле и свободою перехода; но не вполне решили этот вопрос, бывший источником многих неустройств, и не уничтожили различия между вотчинами и поместьями. Петр укрепил крестьян окончательно введением ревизии или подушной переписи: она уравняла казенные подати, обогатила казну, обнаружила государственные силы и вообще содействовала к порядку».

То состояние, к которому стремилось, по Устрялову, низшее сословие, было, попросту говоря, рабством. Введение Петром тотального рабства, уничтожившего последние вольные элементы в народе, по лицемерному мнению историка, «обогатило казну, обнаружило государственные силы и вообще содействовало порядку».

Устрялов знал, как страстно крестьянство стремилось в прямо противоположную сторону. Конечно, он тут имел в виду не субъективное желание крестьян, а объективное направление

процесса, но все едино — гладкое построение, коим он отделялся от политической и социальной гангрены, разъедавшей изнутри организм государства, было сознательно ложно.

Ревностно включившись в воспитание уваровской России, Устрялов создавал для нее уваровский вариант истории — идиллический вариант, демонстрирующий нерушимый социальный мир и дававший все основания для идеи «народности».

В «Записке о народном воспитании» Пушкин предлагал замешивать воспитующую силу истории на правде и откровенности. Уваров делал ставку на ложь и умолчания. Устрялов готов был к такой игре.

Молодой человек, воспитанный на «Истории» Устрялова, вполне мог поверить, что император и его сподвижники исходят во всех своих действиях из духа народа. Что они и в самом деле начали новый период истории, в коем Россия строит самое себя, исходя из неких небывалых доселе оснований.

Николай Герасимович чище и яснее, чем кто бы то ни было, дал определение одной из важнейших черт «народности»: «Отличительный характер современного нам периода, с 1825 года,

есть органическое развитие сил государства из собственных начал его в свойственных ему формах образования».

«Русская история» принята была как учебная книга не только в светских учебных заведениях, но — по приказанию Протасова — и в духовных.

В конце тридцать шестого года Устрялов получил кафедру русской истории в Петербургском университете и стал правой рукою Сергия Семеновича в воспитании юношества историей. Недаром, когда в конце этого года на защите диссертации Николая Герасимовича стали теснить оппоненты, Дондуков-Корсаков, председательствующий на заседании, прервал прения, спасая подопечного министра.

Его любимой мечтой было — написать историю Петра. Он занимался собиранием материалов уже давно и с середины тридцатых годов всерьез обдумывал это намерение. Полная поддержка Уварова была ему обеспечена.

После смерти Пушкина ему с разрешения Николая открыли архивы светские, а Протасов по собственной воле допустил его и в архивы церковные.

Надо отдать справедливость Николаю Герасимовичу: после отставки Уварова и смерти

Николая, освобожденный от обязанности подчинять свои мнения уваровской доктрине, он опубликовал следственное дело царевича Алексея и выпустил не изобилующую идеями, но фактологически полезную историю Петра. Все это, однако, было через два десятилетия.

Пока что — в тридцать шестом году — он был столпом исторической уваровщины и сильным конкурентом Пушкина.

Опираясь на мощь своего поста и на восторженное доверие императора, стратег Уваров занимал поле истории своими людьми, захватывал решающие позиции в сфере воспитания историей.

Он не оборонялся. Он наступал. Его воинство — идеи и люди — было сформировано. Настало его время.

Князь Репнин и Варфоломей Боголюбов

Каждая дуэль должна содействовать повышению в обществе уважения к личной чести человека и к его достоинству.

Дуэльный кодекс

9 января тридцать шестого года были опубликованы условия конкурса на учебную книгу по русской истории. Пушкин понимал, что это значит.

Уваров старательно и кропотливо плел гигантскую сеть, петля к петле, не оставляя выхода, не допуская прорех. Сам воздух, сама плоть времени становилась вязкой и душной. Тяжело было размахнуться. Камень, брошенный во врага, летел медленно. Как в ночном кошмаре.

Нападение на Уварова не удалось — камень, выпущенный из пращи, с трудом пробил этот новый воздух, толщу нового общественного мнения. «…Большинство образованной публики недовольно своим поэтом, — записал 20 января Никитенко. — …Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, ко-

торым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит». Голиаф не был даже ранен, но отделался болезненной ссадиной, разъярившей его.

Но это было далеко не все. Уваров донес-таки.

Лев Павлищев, ссылаясь на Ольгу Сергеевну, утверждает, что последним толчком, заставившим Уварова дать официальный ход делу, было именно вмешательство Жобара. «Этот француз, обиженный Уваровым, препроводил обидчику свой перевод и пригрозил напечатать его за границей. Уваров поскакал к Бенкендорфу, вследствие чего Пушкин и получил от последнего выговор. Вот все, что впоследствии рассказал моей матери дядя. Ольга Сергеевна заметила ему, что Уваров, и без того недолюбливавший брата, человек в высшей степени самолюбивый, мстительный, и во всяком случае сила, с которой нельзя не считаться».

Уваров поскакал к Бенкендорфу. У него не оставалось выбора.

Бенкендорф доложил императору, получил от него указания и немедленно вызвал Пушкина.

Возбужденная публика со злорадным любопытством следила за ходом скандала.

Быстро возникла легенда. Шла она от самого Пушкина. Дело было настолько скверно, что при-

шлось прибегнуть к ней. Она разошлась широко, расцвечиваясь яркими подробностями.

Великий собиратель слухов, москвич Александр Булгаков получил и повторил ее уже в несколько ином виде: «Пушкин был призван к графу Бенкендорфу, управляющему верховною тайною полициею.

— Вы сочинитель стихов на смерть Лукулла?

— Я полагаю признание мое лишним, ибо имя мое не скрыл я.

— На кого вы целите в сочинении сем?

— Ежели вы спрашиваете меня, граф, не как шеф жандармов, а как Бенкендорф, то я вам буду отвечать откровенно.

— Пусть Пушкин отвечает Бенкендорфу.

— Ежели так, то я вам скажу, что я в стихах моих целил на вас, на графа Александра Христофоровича Бенкендорфа.

Как ни было важно начало сего разговора, граф Бенкендорф не мог не рассмеяться, а Пушкин на смех сей отвечал немедленно сими словами: „вот видите, граф, вы этому смеетесь, а Уварову кажется это совсем не смешно“, — Бенкендорфу иное не оставалось, как продолжать смеяться, и объяснение так и кончилось для Пушкина…»

Нечто подобное сообщили и Вигель, и Нащо-

кин.

В положении, складывающемся трагически до неожиданности, надо было противопоставить нестерпимой реальности хотя бы достойную легенду. Она казалась тем более правдоподобной, что подобный ход некогда удался Рылееву в тяжбе с Аракчеевым. И Пушкин в самом деле его применил. И вся сцена с шефом жандармов, очевидно, соответствовала правде в общих чертах. Кроме — финала.

Ему велено было лично извиниться перед Уваровым.

Некогда, при первом Романове, царе Михаиле, князь Пожарский заместничал с боярином Салтыковым. И был выдан ему головой. Спаситель отечества, которому молодой царь был, можно сказать, обязан троном, пришел с непокрытой головой на двор своего недруга виниться перед ним… Величие иерархического принципа оказалось важнее всего.

Нечто подобное происходило и теперь. Ни император, ни Бенкендорф не считали заслуги Пушкина столь значительными, чтоб они давали ему право на дерзкие выходки против министров.

Надежда на неприязнь Александра Христофо-

ровича к Сергию Семеновичу не оправдалась.

Разумеется, Бенкендорф не без удовольствия ограничился бы отеческим внушением и с приличной миной наблюдал за бешенством своего соперника. Но приказ императора обязывал…

То, что его выдали Уварову головой, Пушкин скрыл от всех. Из мемуаристов только Никитенко, близкий к министру, знал о неблагоприятном характере разговора: «Государь, через Бенкендорфа, приказал сделать ему строгий выговор». И это было самое скверное и опасное — гнев императора.

Извиняться перед Уваровым он просто не мог. Жить после такого унижения стало бы невозможно. И он принялся за письмо Бенкендорфу. Он повторял в нем то, что говорил в личной беседе. Но, все еще рассчитывая на человеческое сочувствие графа Александра Христофоровича, проистекавшее от человеческой неприязни к жалобщику, он хотел снабдить его документом. Этот документ Бенкендорф мог предъявить при случае царю либо Уварову, ежели тот станет снова требовать карательных мер против оскорбителя.

Он писал: «Умоляю Вас простить мою настойчивость, но так как вчера я не смог оправдаться перед министром…

Моя ода была послана в Москву без всякого объяснения. Мои друзья совсем не знали о ней. Всякого рода намеки тщательно удалены оттуда. Сатирическая часть направлена против гнусной жадности наследника, который во время болезни своего родственника приказывает уже наложить печати на имущество, которого он жаждет. Признаюсь, что подобный анекдот получил огласку и что я воспользовался поэтическим выражением, проскользнувшим на этот счет.

Невозможно написать сатирическую оду без того, чтобы злоязычие тотчас не нашло в ней намека. Державин в своем „Вельможе“ нарисовал сибарита, утопающего в сластолюбии, глухого к воплям народа, и восклицающего:

Мне миг покоя моего
Приятней, чем в истории веки.

Эти стихи применяли к Потемкину и к другим, между тем все эти выражения были общими местами, которые повторялись тысячу раз…»

И далее письмо почти дословно совпадало со знаменитым посланием Крылова Княжнину, в схожей ситуации применившим тот же прием задолго до Рылеева. Крылов, высмеявший Княжнина в злом памфлете, писал обратившемуся

к защите властей драматургу: «…Вы можете выписать из сих характеров все те гнусные пороки, которые Вам или Вашей супруге кажутся личностию, и дать знать мне, и я с превеликим удовольствием постараюсь их умягчить».

Пушкин и в беседе, и в письме избрал тот же путь: «В образе низкого скупца, негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож, и т. д. — публика, говорят, узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности.

Тем хуже для публики — мне же довольно того, что я не только не назвал, но даже не намекнул кому бы то ни было, что моя ода…

Я прошу только, чтобы мне доказали, что я его назвал, — какая черта моей оды может быть к нему применена…»

Как и у Крылова, это, по существу, был еще один памфлет…

Он не пошел с непокрытой головой на уваровский двор. Уваров не стал вторично обращаться к царю, не желая напоминать о подоплеке скандала.

Несмотря на это, Пушкин был в отчаянии. Его не отдали на растерзание сыну Сеньки-бандуриста,

но он оказался на волос от непереносимого унижения. А что будет в случае нового конфликта?

Путь памфлета, путь эпиграммы — путь литературного нападения — ему закрыли. Его лишили самого острого и надежного оружия…

Сергий Семенович был в ярости. Он жаждал крови, а оскорбителю только погрозили пальцем. Он знал: пока Пушкин не сокрушен, не выведен из игры, опасность его, Уварова, репутации и делу не устранена.

Трудно было действовать против Пушкина официально, настаивая на его удалении из литературы, из столицы. Император явно этого не хотел. Бенкендорф скрепя сердце снова прикрыл бы его, чтобы насолить министру народного просвещения.

Нужны были другие меры, другие способы.

Пушкина следовало спровоцировать на новые безумства. Окончательно лишить его доверия государя и высочайшей защиты.

Сергий Семенович знал, что общественное мнение на его стороне. И знал, как этим воспользоваться…

Как только, после двадцатого января, Сергий Семенович понял, что сильных карательных мер против его врага не последует, он спустил с цепи

Боголюбова. И вскоре до Пушкина с разных сторон стали доходить слухи об уничижительных для него отзывах князя Репнина. Все ссылались на один источник — на Варфоломея Филипповича.

Все это выглядело тем более правдоподобно, что Боголюбов еще недавно вхож был и в дом Пушкина и кичился своим приятельством с первым поэтом.

Через две недели после объяснения с Бенкендорфом Пушкин набросал поразительный текст: «Говорят, что князь Репнин позволил себе оскорбительные отзывы. Оскорбленное лицо просит князя Репнина соблаговолить не вмешиваться в дело, которое его никак не касается. Это обращение продиктовано не чувством страха или даже осторожности, но единственно чувством расположения и преданности, которое оскорбленное лицо питает к князю Репнину по известным ему причинам».

Если бы князь Николай Григорьевич Репнин получил письмо такого содержания, то, несмотря на финальный поклон, первые две фразы могли быть им восприняты только как резкий вызов.

Странная форма — от третьего лица — означала, что письмо должен был вручить адресату возможный секундант, и, стало быть, оно не было

частным письмом Пушкина к Репнину, а дуэльным документом.

Поразительно не то, что Пушкин посылал вызов, но то — кому он его посылал…

Князь Николай Григорьевич Волконский, старший брат декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского, получил от Павла I право принять громкое имя Репниных, родственников Волконских, чтобы не пресекся этот исторический род. Князь прославился не только храбростью и полководческим талантом, проявленным в нескольких войнах, но и даром администратора. После поражения Наполеона под Лейпцигом Репнин назначен был генерал-губернатором Саксонии и год правил европейским королевством как дельный, гуманный и просвещенный глава государства. Он сказал в прощальной речи перед дрезденским магистратом: «Вас ожидает счастливое будущее. Саксония остается Саксонией; ее пределы будут ненарушимы. Либеральная конституция обеспечит ваше политическое существование и благоденствие каждого! Саксонцы! Вспоминайте иногда того, который в течение года составлял одно целое с вами…»

Князь Николай Григорьевич доказал, что он из тех деятелей, которым можно доверить судьбу

государства. Сторонник либеральных преобразований и противник крепостного права, он мог стать вместе с другими либеральными вельможами-генералами — Ермоловым, Воронцовым, Михаилом Орловым — опорой царя-реформатора.

Александр рассудил иначе. Он не отринул этих людей, но отдалил их от столицы и реальной государственной власти. Ермолов — на Кавказ, Орлов — в Киев, Воронцов — оставлен во Франции. Репнин стал генерал-губернатором Малороссии — огромного края. Так, оправданный Сперанский не был возвращен в Петербург, а отправлен с большими полномочиями генерал-губернатором в Сибирь.

Приблизил же Александр — Аракчеева.

Своей деятельностью в Малороссии Репнин еще раз доказал государственные таланты и либерализм. Он был из тех, на кого мог рассчитывать дворянский авангард.

Близкий к нему человек и правитель его канцелярии Михаил Новиков основывал вместе с Пестелем, Луниным, Муравьевыми, Трубецким первые тайные общества и сочинял республиканскую конституцию.

Репнин не вызывал доверия у нового импера-

тора не только по близкому родству с одним из наиболее ненавистных Николаю заговорщиков, но и как деятель определенного толка, усвоивший свободные государственные принципы и от них не отступавший.

Укрепившись на престоле и осмотревшись, Николай стал менять таких людей на своих клевретов. В двадцать седьмом году убрал с Кавказа Ермолова — как самого опасного. В двадцать девятом — генерала Бахметева, генерал-губернатора пяти центральных губерний.

Репнин держался дольше других. Он был еще сравнительно молод — в двадцать шестом году ему исполнилось всего сорок восемь лет, — безупречен по службе и популярен в крае.

Николай не хотел, чтоб смещение Репнина приписывали его родству с государственным преступником.

Но следил за князем неустанно.

Имя его накрепко связано было с именем брата, а обстоятельства не давали об этом забыть.

«Милостивый государь,

князь Николай Григорьевич!

Отставной за ранами подполковник Бернацкий доставил мне прошение, в коем просит об удовлетворении его следующими деньгами по

векселю, данному ему бывшим генерал-майором С. Г. Волконским.

Будучи известен, что Ваше Сиятельство находитесь опекуном на имение г-на Волконского, я долгом счел препроводить прошение сие в подлиннике к Вам, милостивый государь, прося сделать одолжение уведомить меня, какие меры приняты к уплате долгов Волконского…

27 марта 1830

Бенкендорф».

Своеобразие ситуации было в том, что брату государственного преступника писал бывший близкий друг государственного преступника…

Положение Репнина ухудшалось с каждым годом. Он был чужероден в новой атмосфере, новой среде. И среда эта старалась исторгнуть его.

«Совершенно секретно.

Считаю своим долгом довести до сведения Вашего Превосходительства препровождаемое при сем донесение о некоторых слухах, близко касающихся Вашей особы, князь, кои ходят по городу и могут, следовательно, вызвать неблагоприятные о Вас суждения.

Очень прошу отнестись к сему как к неоспоримому свидетельству личного моего к Вам уважения и принять уверения в совершеннейшем

шем почтении покорного слуги Вашего.

25 февраля 1831

Бенкендорф».

Далее следовал донос, в котором князя обвиняли в тайных сношениях с дворянином Лукашевичем, находившимся под полицейским надзором за связь с декабристами и польскими инсургентами, а кроме того, Репнину, известному кристальной честностью и щепетильностью, приписывались спекуляции и использование служебного положения в корыстных целях…

Поскольку донос написан был по-французски, сочинителем его явился «человек общества» — кто-то из окружения генерал-губернатора.

При всей куртуазности послания шефа жандармов, оно было ясным требованием объяснить свое поведение. Уже сама необходимость оправдываться в подобных поступках выглядела оскорбительной для заслуженного военачальника, крупного государственного деятеля, наместника обширнейшего края, пользовавшегося доверием покойного государя. Но времена изменились, и Репнин, смирив себя, начал ответ с величественным достоинством, но постепенно сорвался на филиппику отнюдь не безобидную.

«Позвольте мне сказать Вам, генерал, что обви-

нения подобного рода настолько несовместимы с принципами и правилами, коими я всегда руководствовался в жизни, что я даже не чувствую себя оскорбленным, поскольку обвинения эти должны отпасть сами собой.

Наследуя имя моих предков, прославившихся усердием и преданностью своим государям, я унаследовал вместе с ним и жизненные их правила, или, лучше сказать, правила сии родились одновременно со мной, и никогда я не изменял им; никогда, даже в пору самой пылкой юности, никто не мог вовлечь меня в какой-либо тайный союз, даже из тех, кои были допущены правительством. Неужто же теперь, спустя полвека, когда волосы мои поседели на службе у четырех государей, стал бы я менять свои принципы и убеждения?

Ручаюсь, что все, в ком есть сколько-нибудь чести и кто хоть сколько-нибудь меня знает, не могли бы отыскать во мне ничего, что хоть в какой-то мере ставило под сомнение мою честность и преданность моим государям. А посему я считаю себя вправе презреть столь нелепые слухи. Так же, как ни один честный человек не в силах предохранить себя от кинжала злодея, никто не может уберечься от языка или пера ка-

кого-нибудь доносчика, сего бича правительств и народов… Но для клеветника обеспокоить правительство ложным доносом, усугубить невзгоды уже скомпрометированного человека — это такое удовольствие. И ведь никогда эти подлые люди не могли предотвратить заговоры или революции, напротив того, их зловещие доносы нередко являлись причиной оных. Ибо это они, марая честь преданных людей, лишают их возможности отвечать за свою службу и, тем самым ослабляя правительство, внушают последнему чувство недоверия, которое нарушает всеобщие благосостояние и спокойствие. Наш век принес тому неопровержимые доказательства, и горько думать, что даже вокруг государя встречаются люди, которые не могут уверенно сказать, подобно Вам и мне: „Мы были верны Павлу, Александру и Николаю!“».

Он писал о вещах, очень внятных осведомленному и сообразительному Бенкендорфу. Он с таким презрительным негодованием писал о доносчиках, как будто не знал, что люди, выдавшие несколько лет назад тайные общества, получили награды и поощрения, что их ставили в пример другим. А других отправили на каторгу именно за недоносительство. Он слишком горячо защищал

поднадзорного Василия Лукашевича и слишком яростно обличал тех, кто старается «усугубить невзгоды уже скомпрометированного». Только ли о Лукашевиче думал он или о своем брате тоже?

Александр Христофорович, лучше многих других знавший о расцвете доносительства и слежки в последние годы жизни Александра и в первые годы царствования Николая, хорошо понял слова о «подлых людях», которые не предотвращают, но провоцируют заговоры и революции. А последняя фраза была и вообще верхом дерзости. В окружении нового императора были и убийцы Павла, его отца (в частности, Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, судивший декабристов, петербургский генерал-губернатор, — тот самый, кто допрашивал Пушкина по делу о «Гавриилиаде» и ратовал за установление над ним тайного надзора). Были и члены тайных обществ — раскаявшиеся, отрекшиеся от своих товарищей.

Неистребимо честному и прямому Репнину равно противны были и те, и другие.

Доносы и необходимость оправданий поняты были князем как скверный признак. Он не сомневался, что это только начало.

Человек иной эпохи, иных принципов, иных правил, он был не ко двору.

Тяжесть его положения усугублялась тем, что, помогая своим крестьянам во время неурожаев начала тридцатых годов, широко благотворительствуя неимущим и голодающим, он расстроил свое состояние и вошел в огромные долги…

Николай был мастер убирать неугодных ему, но популярных деятелей так, чтобы они еще и оказывались при этом скомпрометированными. Отстраняя Ермолова, он сделал вид, что Ермолов не справился с ведением войны и сам просил об отставке. Со злым упорством император настаивал на своей версии. В сороковых годах Устрялов, сочинив «Историческое обозрение царствования государя императора Николая I», получил от героя «Обозрения» обильную правку. У сочинителя сказано было: «За Кавказом содержался малочисленный корпус, рассеянный мелкими отрядами по крепостям и в совокупности не составлявший даже одной полной дивизии. Но там был Ермолов: недоступный страху, он умел вселить мужество в каждого солдата, и русский штык остановил врага на первом шагу». Император раздраженно написал на полях: «Неправда, Ермолов в это время донес мне, что не чувствует в себе силу начальствовать над войсками в подобное время, и просил присылки доверенного лица…»

У автора было: «Он (Паскевич) немедленно принял, по высочайшей воле, начальство над войсками…» Николай написал: «Неправда», и вместо «по высочайшей воле» вписал: «по воле Ермолова».

«Обозрение» вышло с этим текстом и вызвало ярость Ермолова, ответившего гневным, по рукам пущенным письмом. Устрялов передал ермоловскую отповедь Уварову, что было равносильно доносу. Уваров представил письмо императору. Николай приказал отыскать дело об увольнении Ермолова. Но документы не подтвердили высочайшей версии, и опровержения не последовало, а «исторический труд» разошелся в публике и остался потомству.

Репнина тоже надо было не просто убрать, но скомпрометировать. Николай все еще опасался оппозиции вытесняемых из исторической жизни людей дворянского авангарда в крупных чинах, сильных былой славой и популярностью.

В тридцать третьем году Репнину было объявлено высочайшее благоволение за спасение бедствующих от неурожая.

В тридцать четвертом году он отозван был в Петербург, а на его место прислан сатрап — генерал Левашев. Это был господин совершенно

иного толка. Его главным достоинством была животная преданность Николаю еще с междуцарствия двадцать пятого года. Он — по разгроме мятежа — стал первым после молодого царя следователем…

В Петербурге Николай прежде всего сделал благородный жест, демонстрирующий его объективность. Князь Николай Григорьевич определен был в Государственный совет, никакой реальной роли уже не игравший.

Зная, что Репнин на пороге разорения, император и тут оказал ему демонстративное снисхождение и разрешил рассрочить долг заемному банку на три года.

Левашев между тем искал в Малороссии какие-либо упущения служебные князя Николая Григорьевича.

В тридцать пятом году Репнину предъявлено было обвинение в растрате двухсот тысяч казенных денег и начато следствие.

Следствие шло не один год и в конце концов установило то, что всем непредвзятым людям и так было ясно, — генерал-губернатор не только не присваивал указанных сумм, а, напротив того, употребил их на строительство учебных заведений, приложив еще шестьдесят пять тысяч

собственных денег…

Но дело оказалось сделано. Тень на чистейшую репутацию Репнина легла, ибо о следствии знали многие…

Имущественные дела князя запутывались все более и более. Это было страшно и потому, что его разорение разоряло и семью сосланного брата.

В тридцать пятом году он адресовался к министру финансов Канкрину, сообщая о делах своих, «пришедших в расстройство от общих несчастий, коих мы ни предвидеть, ни отвратить не имели совершенно никаких средств».

Трехгодичная отсрочка платежей приходила к концу, а наличных сумм не было. Князь решился на крайность. Он обратился за помощью к правительству. И получил следующий ответ от министра финансов:

«Милостивый государь

князь Николай Григорьевич!

Комитет г.г. министров по выслушании представления моего касательно испрашиваемого Вашим Сиятельством учреждения особой комиссии для уплаты частных долгов Ваших нашел, что учреждение на изложенном Вами, милостивый государь, основании особой комиссии в существе своем было бы не что иное, как род по-

печительства, но как Ваше Сиятельство в просьбе своей положительно о том не объясняете, то комитет представил мне снестись о том с Вами, милостивый государь, и буде Ваше Сиятельство на учреждение над имением Вашим попечительства по общим правилам согласны, то по взаимному с г. министром юстиции соглашению внести проект указа о том в комитет на дальнейшее рассмотрение».

Отчаявшийся самостоятельно поправить свое положение, Репнин просил об учреждении опеки. Опека была учреждена. Но, пока суд да дело, кредиторы требовали свое, а денег не было.

В то самое время, когда шел скандал вокруг «Лукулла», финансовый кризис достиг особой остроты. Исчерпав собственные возможности, князь в конце концов вынужден был просить о ссуде.

Первый раз он обращался к правительству с такой просьбой еще летом прошлого года. Решение тогда отложили. Весной тридцать шестого он скрепя сердце просьбу повторил. И получил ответ от Канкрина:

«Милостивый государь
князь Николай Григорьевич!

По всеподданнейшему прошению Вашего Сия-

тельства о выдаче до учреждения попечительства в ссуду 300 т. р. для удовлетворения по семейным обязанностям разных долгов, не облеченных в законную силу формою обязательств, Его Императорское Величество по докладу моему о сем в день 14 июня 1835 года высочайше повелеть соизволил представить вновь, когда будет учреждено попечительство и получено донесение оного о положении дел Вашего Сиятельства…

Как из полученного ныне от сего попечительства отзыва между прочим оказалось, что частные долги, по сие время предъявленные, весьма значительны, что оные не все еще приведены в известность, что попечительство не может приступить к удовлетворению долгов, не имеющих законной силы формальных обстоятельств, без особенного на то разрешения, если последует на отпуск испрашиваемой Вами ссуды всемилостивейшее соизволение.

Государь император по докладу моему о том в 18 день сего апреля высочайше отозваться изволил, что за таковым донесением попечительства Его Величество считает неудобным согласиться на новую ссуду».

Для Николая он был из той подозрительной породы вельмож, что потворствовали мятежному

духу прошлого царствования. Благодетельствовать его резону не имелось. Для Николая он был братом Сергея Волконского, и оттого происходил настойчивый императорский интерес: на что же будет тратить государственную ссуду князь Репнин? Какие это таинственные «не облеченные в законную силу формою обязательств долги» собирается он отдавать? Не без оснований Николай подозревал, что по крайней мере часть из них пойдет на нужды государственного преступника… В этом и было главное «неудобство».

Но близость разорения, необходимость унижаться перед правительством были не единственными тяжкими обстоятельствами для князя Николая Григорьевича в тридцать шестом году. Шло вздорное следствие. К своему изумлению и ярости, Репнин оказался если не под домашним, то под городским арестом.

«Милостивый государь

граф Александр Христофорович!

Сколь скоро мое присутствие в С.-Петербурге не будет уже нужно попечительству, высочайше учрежденному по делам моим и жены моей, я полагаю уехать отсюда в Малороссию и жить там: или в имении жены моей, или в деревне двоюродной сестры ее, Елизаветы Ивановны

Лизогубовой, урожденной графини Гудовичевой, о чем обязанностию считаю довести до сведения Вашего Сиятельства».

Князь Николай Григорьевич пытался вести себя привычным образом — так, как вел он себя, будучи в силе и славе. Он ставил власть в известность, что Петербург ему надоел и он уезжает. И, как воспитанный человек, извещает об этом правительство.

Эти люди пытались заслониться своим прошлым значением, сжав зубы, делали вид, что они — прежние. Так, Вяземский ставил правительству условия для возвращения на службу, показывая этим, что сознает себя человеком нужным, значительным, в коем власть заинтересована. Ему без обиняков объяснили, что он никому не нужен и может быть принят в службу только из снисхождения и без всяких с его стороны условий…

Условия диктовала новая власть.

И Бенкендорф деловито дал понять Репнину, что сейчас не только не шестнадцатый, но даже и не тридцать первый год. Он ответил князю кратко и почти грубо:

«Милостивый государь
князь Николай Григорьевич!

Письмо Вашего Сиятельства… я имел счастие докладывать государю императору, и его величество высочайше повелеть изволил уведомить Вас, милостивый государь, что Вы можете отъехать в Малороссию не иначе как в то только время, когда производство следственного над Вами дела уже не будет служить препятствием к Вашему отъезду».

И только-то.

Обмен последними письмами произошел уже летом, но в феврале тридцать шестого года, когда Пушкин собрался послать князю Николаю Григорьевичу вызов, положение Репнина было немногим лучше. Равно как и состояние его духа…

Набросав текст вызова, Пушкин задумался. Он понимал нелепость происходящего. Вместо наследника Лукулла, которого он с наслаждением увидел бы в шести шагах от ствола своего пистолета, ему, быть может, придется целить в человека, коего он искренне почитал, в одного из немногих уже, кто хранил еще честь русского дворянина, в брата Сергея Волконского. Именно это родство имел он в виду, когда писал о «расположении и преданности», которые он питает к адресату «по известным ему причинам». Сергей

Волконский был не только его добрым знакомцем, не только страдальцем за дело обновления России, но и мужем Марии Раевской… Ныне условия их жизни в Сибири в немалой степени зависели от благополучия того человека, с которым его вынуждали вступить в опасную вражду, чреватую смертью одного из них. Ему подставляли не ту мишень…

И он стал мучительно отыскивать форму письма, которая, не роняя его чести, дала бы Репнину возможность дезавуировать клеветников, ссорящих его с автором «Выздоровления Лукулла». Ибо секрет был именно в этом…

Варфоломей Филиппович Боголюбов знал, как делаются такие дела. Они с Сергием Семеновичем рассчитали интригу по ходам. Фигура, которую сам бог велел выдвинуть вперед, заслонив Уварова в глазах легковерной публики и ударив ею по Пушкину, стояла на виду.

Сергий Семенович и Варфоломей Филиппович осведомлены были о денежных обстоятельствах князя Репнина не хуже, чем он сам. Князь Николай Григорьевич и министр народного просвещения женаты были на сестрах. Их имущественные интересы тесно соприкасались, и Сергий Семенович внимательно следил за всем,

что касалось этих интересов. Наследственные отношения в семействе Разумовских были запутанными. Не менее запутанными были и таковые отношения между Репниными-Разумовскими и Шереметевыми.

Вот где торчал гвоздь.

Приблизительно в это время князь Николай Григорьевич получил от одного из своих доверенных лиц возбужденное послание: «Страх как я зол на тебя, любезный друг, князь Николай Григорьевич, за письмо к Шереметеву, увидав из твоего № 23, что оно послано к к. Василию, а из его письма, что он ничего не знает об этой негоциации, т. е. о последствиях ее; я и ему тотчас писал, чтобы, если можно, не отправлять того письма и едва предварил о том же Дмит. Васильчикова, Уварова и Балабина на случай, если бы к. Василий выслал к ним письмо. Из копии с нашего отношения к гр. Шереметеву ты знаешь, чего мы добивались. Что он подумает, если получит ваше письмо с предложением 473 т.? Покуда молчит и, как слышу, пошел другою дорогою: — продает свои заемные письма, хочет на своем поставить. Если к нам отнесется по содержанию вашего письма, то ответ наш готов. Нам надобно уже беречься ответственности перед другими креди-

торами. Поспешили вы».

«Лукулл»-Шереметев, один из главных кредиторов князя Репнина, оказался кредитором неуступчивым, готовым передать в чужие руки заемные письма князя, чтоб новые владельцы стребовали долги. А долги были немалые, ежели князь Николай Григорьевич предлагает как компромисс без малого полмиллиона.

Конечно же, смерть Шереметева, которая или дала бы изрядную отсрочку платежей, или вообще списала бы долги, — ибо Репнин мог претендовать на наследство не в меньшей степени, чем Уваров, — была бы князю выгодна, спасительна.

И конечно же, благородный Репнин никоим образом не желал такого выхода.

И конечно же, убедить истерзанного мытарствами князя, что пасквиль Пушкина марает и его — не просто наследника, но кабального должника Шереметева, — не составило Уварову большого труда.

Вполне возможно, что князь Николай Григорьевич возмутился поступком сочинителя. Ему — при его щепетильности и знаменитой честности! — и так тяжко было переносить это вздорное следствие, «Полтавскую комиссию»,

исход которой был неясен по происка клеветников и недоверию правительства, а тут еще приходилось чувствовать себя и на новом подозрении, особенно гадком.

Князь Николай Григорьевич, несмотря на родственную лояльность, знал цену Сергию Семеновичу и вовсе не желал стоять с ним на одной доске в глазах общества.

Знал он цену и Пушкину, и потому вряд ли его возмущение приняло вид оскорбительный. Но Уварову и Боголюбову важна была зацепка.

Пушкин прекрасно понял, чья рука пустила интригу.

Сам погибая от безденежья и долгов, он сочувствовал Репнину, хотя его безденежье не сравнимо было с княжеским.

Он видел, что его вынуждают встать против лица опального, гонимого. Он понимал, что они — союзники, каждый по-своему, бойцы разгромленной, отброшенной фаланги. Им не должно было враждовать.

И он искал выхода — чтоб честь его была соблюдена и отпала необходимость в поединке.

Нужно было найти твердые, но внятные слова, — чтоб и Репнин понял, что им играют.

Пушкин писал: «С сожалением вижу себя вы-

нужденным беспокоить Ваше Сиятельство, но как дворянин и отец семейства я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю моим детям.

Какой-то негодяй по фамилии Боголюбов на днях повторял в кофейнях оскорбительные для меня отзывы, ссылаясь при этом на Ваше имя… я уверен, что Вы…

Я не имею чести быть лично известен Вашему Сиятельству, я не только никогда не оскорблял Вас, но по причинам, мне известным, я всегда питал к Вам чувства искренние уважения и преданности и даже признательности…

Я прошу, князь, чтоб вы отказались от сказанного Боголюбовым, чтоб я знал, как я должен поступить.

Лучше, чем кто-либо, я знаю расстояние, отделяющее меня от Вас, но Вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я имею честь принадлежать. Вы поймете, надеюсь, без труда настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом.

Мне необходимо знать, как я должен поступить. Если…

Если когда-нибудь я оскорблял кого-либо, то только по легкомыслию или в качестве возмез-

дия — в первом случае я всегда…

Мне противно думать, что какой-то Боголюбов…

Умоляю, Ваше Сиятельство, отказаться от отзывов… от обвинения… утверждения Боголюбова, или не отказать сообщить мне, как я должен поступить…»

Он мучительно искал слова, правил, зачеркивал. Письмо должно было объединить их против Боголюбова, оклеветавшего обоих, дать князю возможность почувствовать себя оскорбленным не Пушкиным, но Боголюбовым: «ссылаясь на Ваше имя… ссылаясь при этом на Вас… как право… какой-то негодяй по фамилии Боголюбов, ссылаясь на Ваше имя как право…» Надо было, чтобы Репнин понял: он, Пушкин, просто не мог оскорбить его, равно как и сам Репнин не мог — не должен был! — дурно говорить о Пушкине в присутствии негодяев: «какие же могли быть основания, побудившие Вас не только… я отказываюсь верить… какие же могли быть основания, ради которых Вы…»

В конце концов он отправил короткий текст, за которым, однако, все это угадывалось. Он верил в чутье подлинного дворянина, человека чести.

«Князь,

с сожалением вижу себя вынужденным беспокоить Ваше Сиятельство; но, как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю моим детям.

Я не имею чести быть лично известен Вашему Сиятельству. Я не только никогда не оскорблял Вас, но по причинам, мне известным, до сих пор питал к Вам искреннее чувство уважения и признательности.

Однако же некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от Вас. Прошу Ваше Сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить.

Лучше, нежели кто-либо, я знаю расстояние, отделяющее меня от Вас; но Вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я принадлежу, Вы поймете, надеюсь, без труда настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом».

Князь Николай Григорьевич ответил письмом, из коего видны как нежелание обострять конфликт, так и обида:

«Милостивый Государь Александр Сергеевич!

Сколь ни лестны для меня некоторые изречения письма Вашего, но с откровенностию скажу

Вам, что оно меня огорчило, ибо доказывает, что Вы, милостивый государь, не презрили рассказов, столь противных правилам моим.

Г-на Боголюбова я единственно вижу у С. С. Уварова и с ним никаких сношений не имею, и никогда ничего на Ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче, прочтя послание Лукуллу, Вам же искренне скажу, что гениальный талант Ваш принесет пользу отечеству и Вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей.

Простите мне сию правду русскую: она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коими имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою

10-го февраля

1836. в СПбурге.

кн. Репнин».

Репнин писал правду, но она была малоприятна. Разумеется, он не обсуждал пушкинский памфлет с Варфоломеем Филипповичем. Он говорил о Пушкине с Уваровым, а уж Сергий Семенович передал его отзывы Боголюбову. Репнин не отрицает своего неудовольствия памфлетом, он отрицает, что излагал его Боголюбову. «Тем паче прочтя послание Лукуллу…» На столь ще-

котливую тему он не мог говорить с человеком случайным.

Он не стал отмежевываться от Уварова. Напротив, он счел нужным назвать его честным человеком и упрекнуть Пушкина за то, что он этого честного человека оскорбил.

Это был не тот исход, которого хотел Пушкин. В таком исходе содержалось некоторое унижение. Но с этим приходилось мириться.

Вызывать Репнина на основании отеческого послания было нелепо.

Стреляться с Боголюбовым — смешно.

Уваров для поединка был недосягаем.

Им не удалось всерьез спровоцировать Пушкина.

Но и в его душе эта история оставила горечь, разъедавшую и без того истерзанные нервы.

Жизнь вокруг разваливалась дико и противоестественно. Уцелевшие еще люди дворянского авангарда теряли друг друга, рассеивались в чужой толпе. И только исчадья новой эпохи выступали сомкнуто, почуяв настоящего противника.

Поединок с Уваровым на фоне друзей

На Пушкина смотреть нечего: он сорвиголова!

А. А. Краевский – М. П. Погодину. 1836 г.

Минуло десять лет.

Теперь, после всех колебаний царя, после нервных рывков в сторону реформ и обратно, к ложной стабильности, после стольких надежд, стало ясно, что все это были родовые конвульсии — рождалась новая, страшная, чужая Пушкину эпоха. Элегантный Сергий Семенович, наследник Лукулла, оказался умелым родовспомогателем.

Он победил всех — свое прошлое, своих бывших единомышленников, своих нынешних противников, и даже Бенкендорфа.

Он, разумеется, не занял его место при императоре. Но с тридцать седьмого года Александра Христофоровича начал вытеснять Алексей Орлов, красавец, говорун и абсолютно безликий политик и равнодушный лентяй.

Уваров победил не потому, что идея его объясняла жизнь и указывала реальные пути, но потому, что уводила от реальной жизни и давала

императору возможность заменить в своем сознании картину истинную, вполне угрожающую, картиной ложной, но величественной и похожей на правду.

«Журнал Министерства народного просвещения» провозгласил на девятом году николаевского десятилетия: «Россия стоит на высокой череде славы и величия; имеет внутреннее сознание своего достоинства и видит на троне… царя — хранителя и веры ее и народности. Отжив период безусловного подражания, она, лучше своих иноземных наставников, умеет применять плоды образования к собственным потребностям; ясно различает в остальной Европе добро от зла: пользуется первым и не страшится последнего: ибо носит в сердце сии два священные залога своего благоденствия, с коими неразрывно соединен третий — самодержавие…

Россия имеет счастие верить Промыслу, который проявляет себя в великих царях ее. Тогда как другие народы не ведают покоя и слабеют от разномыслия, она крепка единодушием беспримерным. Здесь царь любит отечество в лице народа и правит им, как отец, руководствуясь законом; и народ не умеет отделять отечество от царя…»

Идею абсолютного социального мира и единения Уваров проповедовал со страстью почти фанатической, и как же отвратительны ему были копания Пушкина в мятежном прошлом и разговоры о мятежах будущих.

По истечении десятилетия Сергий Семенович ощутил себя победителем не только в борьбе за благосклонность монарха, но и в главном своем деле, в своем историческом назначении: «С благословением Всевышнего и под державною рукою Вашего Величества новый как будто дух поселился в возрастающих поколениях; ни одно уважительное событие не тревожило в течение пяти лет спокойствия многочисленных и всегда умножающихся учебных заведений, Министерству народного просвещения подведомственных… Исполинскими, смею сказать, шагами растут постепенно и любовь к народности, и сознание народного быта; важнейшие учебные предприятия довершены к лучшему познанию Отечества; с одной стороны, в собранных по всей России списках летописей и в неизвестных дотоле документах блеснул новый луч на нашу историю; с другой — наблюдения высшего достоинства, сопровождаемые всеми условиями, наукою определенными, довершили решение

разных вопросов, занимающих внимание Европы: все в публичных заведениях кипит новою жизнию; все течет к цели высшего, правильнейшего образования».

Так он отчитывался перед Николаем в тридцать седьмом году.

Ненавистная фигура Пушкина уже не мелькала на блистающем фоне всеобщего кипения и течения. Уже не было этой ложки арапского дегтя в победительном потоке «правильнейшего образования» России…

А в январе тридцать шестого года, когда разыгралась драма «Лукулла» и судьба Пушкина была не ясна, «Журнал Министерства народного просвещения» опубликовал речь перед выпускниками Главного педагогического института ординарного профессора Петра Александровича Плетнева.

«В сем великом преобразовании учения мы, русские, без сомнения, никому столько не обязаны, как нашему верховному наставнику и самодержцу, которого уроками Провидение позволило нам пользоваться в это блистательное и благотворное десятилетие… Он спас нашу деятельность от усилий бесплодных и суетных. Из праха и забвения он извлек те неоценимые

сокровища, с которыми гордо явиться можем мы на суд просвещенных умов Европы. Он привлек нас к тому источнику духовной деятельности, из которого мы почерпаем новую, истинную славу… Когда зыбкое любочестие наше, обольщаемое умственными успехами чужеземных народов, волновалось и двигалось по направлению то одной, то другой державы, довольствуясь слабыми во всем подражаниями, он указал нам на сердце России и утвердил достоинство всего, что только носит на себе русское имя.

Вот в какую эпоху, счастливые юноши, принимаете вы на себя обязанности наставников!»

Это был апофеоз уваровщины, с поклоном в сторону Николая.

Петр Александрович Плетнев, человек благородной наружности, честной души и некоторых способностей, служил в Министерстве народного просвещения. Пушкин был его другом. Уваров — его патроном.

Он сказал после гибели Пушкина: «Я был для него всем — и родственником, и другом, и издателем, и кассиром». Все так, — но он не был для него соратником.

Он был соратником Уварова.

В тридцать четвертом году, когда Уваров на-

чал активные действия против Пушкина, Петр Александрович опубликовал в «Журнале Министерства народного просвещения» статью «О народности в литературе», которую заключил так: «В то время, как по высочайшей воле прозорливого монарха, путеводителем и судиею нашим в деле народного просвещения явился Муж столь же высоко образованный, как и ревностный патриот, его первое слово к нам было: народность. В этих звуках мы прочитали самые священные свои обязанности. Мы поняли, что успехи отечественной истории, отечественного законодательства, отечественной литературы, одним словом: всего, что прямо ведет человека к его гражданскому назначению, должны быть у нас всегда на сердце. Действовать в этом духе так легко, так отрадно, так естественно, что, без сомнения, в летописях ученых обществ не было еще ни одного указания, по которому бы с таким единодушием и с таким самоотвержением соединились все, как соединяемся мы по слову нашего Вождя в обетованную землю истинной образованности».

Статья Плетнева была программной статьей, она открывала первый номер журнала, личного органа Сергия Семеновича.

Впервые печатно Уваров назван был Вождем российского просвещения.

Впервые понятие «народность», о котором писали и спорили немало, и Пушкин в том числе, теоретически обосновывалось известным литератором — в уваровском смысле.

«Друг, родственник, издатель» Пушкина первым провозгласил близкую победу уваровщины.

Через три года после смерти своего друга он станет ректором Петербургского университета. А после смерти Сергия Семеновича именно Петр Александрович сочинил и издал историю деятельности Уварова как президента Академии наук. Что свидетельствует об искренней преданности и почтении…

Журнал со статьей Плетнева стоял на полке в пушкинском кабинете. Он прочитал статью, не сделав ни единой пометы.

28 ноября тридцать четвертого года Пушкин занес в дневник: «Я ничего не записывал в течение трех месяцев. Я был в отсутствии — выехал из П. Б. за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами — моими товарищами — был в Москве несколько часов… Отправился потом в Калугу на перекладных, без человека. В Тарутине

пьяные ямщики чуть меня не убили — но я поставил на своем. Какие мы разбойники? — говорили мне они. — Нам дана вольность, и поставлен столп нам в честь. Гр. Румянцева вообще не хвалят за его памятник и уверяют, что церковь была бы приличнее. Я довольно с этим согласен. Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго еще не разберет».

В том же 1834 году граф Румянцев воздвиг у села Тарутина — на своей земле — свой монумент 1812 году. Демонстративно сближая два события, Пушкин показал, как он трактует возведение грандиознейшего монумента, что должен был затмить Фальконетова Петра и утвердить особое величие первого десятилетия нового царствования.

Он понимал, что Александрийский столп вовсе не памятник славной эпохе 1812 года, но гигантский знак наступления новых времен. Колонна необычайной тяжести встала на могиле великих надежд последних лет.

Уваровская идея небывалого расцвета империи на неких небывалых основаниях ничего, кроме отвращения, в нем не вызывала, как ни старался он примирить себя с происходящим, отдаваясь

внешним признакам величия…

Василий Андреевич Жуковский смотрел на исторический момент по-иному. И по-иному воспринимал символику нового монумента и пышность торжества при его открытии: «Чему надлежало совершиться в России, чтобы в таком городе, такое собрание народа, такое войско могло соединиться у подножия такой колонны?.. Там, на берегу Невы, поднимается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она; и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины; и на этой скале написано Петр, и рядом с ним имя Екатерины; и в виду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее, но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусством округленная колонна… и на высоте ее уже не человек скоропреходящий, а вечно сияющий ангел, и под крестом сего ангела издыхает то чудовище, которое там, на скале, полураздавленное извивается под копытами конскими… И ангел, венчающий колонну сию, не то ли он знаменует, что дни боевого созидания для нас миновались… что наступило время созидания мирного; что Россия, свое взявшая, извне

безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страх, а страж породнившейся с нею Европы, вступила ныне в новый великий период бытия своего, в период развития внутреннего, твердой законности, безмятежного приобретения всех сокровищ общежития…»

Сергий Семенович с удовольствием подписался бы под этим текстом.

«Безмятежное» — то есть без мятежа, без насилия. Василий Андреевич утверждал наступление социального мира, внутриполитической гармонии в тот момент, когда в несколько раз — по сравнению с недавними годами — возросло число убийств помещиков крестьянами… Василий Андреевич толковал о «безмятежности» в том самом тридцать четвертом году, когда Пушкин в разговоре с великим князем предрек близкие мятежи. Жуковский недаром мог прогуливаться под руку с Сергием Семеновичем. По своей безграничной доброте он прощал собрату-арзамасцу его человеческие грехи, а в политике Уваров отнюдь не казался ему таким чудовищем, каким считал его Пушкин.

Замечательный поэт, добрый, чистейший, умный человек, Жуковский был не чета Уварову. Но мятежный хаос, бушевавший под ногами, вы-

плеск которого видел он даже в Фальконетовом грозном монументе, пугал его. Он не признавал за этой стихией права на существование. Усилием воображения он изгонял ее из своего сознания. Уваров совершал то же самое обдуманно и корыстно. Жуковский — импульсивно и бескорыстно.

Пушкин же был «поэтом действительности» и мыслителем действительности. Он обладал самоубийственной честностью пророка.

Он, как мог, взывал к трезвому сознанию общества, с каждым годом убеждаясь, что трезвости нет уже и в помине…

Удивительно, но из всего своего круга только он один понимал дьявольскую природу Уварова-идеолога. Разве что — отчасти — и Александр Тургенев.

В тридцать шестом году вышла книга Устрялова, инспирированная и любовно одобренная министром просвещения. Кроме идей позитивных в ней содержались и негативные — в частности, критика Карамзина. Уваров это вполне одобрял. Карамзин — идол прошлого царствования, чуждой эпохи, с его проповедью личной честности и чести для каждого человека, и монарха в том числе, — Уварову совершенно не подходил. Ему

нужны были новые историки и иная история.

Вяземского книга Устрялова возмутила до крайности. Они с Пушкиным придумали искусный, как им казалось, ход. Князь Петр Андреевич должен был написать письмо министру, которое они напечатали бы в «Современнике» как статью.

Тактически они сговорились. Но подходили к этому демаршу совершенно по-разному. И объяснялось это их совершенно разным отношением к личности и роли Сергия Семеновича.

Через несколько лет после смерти Пушкина Вяземский размышлял в записной книжке: «Изо всех наших государственных людей только разве двое имеют несколько русскую фибру: Уваров и Блудов. Но, по несчастию, оба бесхарактерны, слишком суетны и легкомысленны, то есть пустомысленны. Прочие не знают России, не любят ее, то есть не имеют никаких с нею сочувствий. Лучшие из них имеют патриотизм официальный, они любят свое министерство, свой департамент, в котором для них заключается Россия — Россия мундирная, чиновничья, административная».

Князь Петр Андреевич, человек одной с Уваровым культуры, одной с Уваровым молодости, никак не мог отрешиться от некоего чувства общности с Сергием Семеновичем.

Уже давно не было никакой общности. Давно уже в злой и жалкой душе Сергия Семеновича сгорели былые привязанности. Давно уже над этим пепелищем однообразно бушевал вихрь гордыни и тщеславия. Пронзительный ум князя Петра Андреевича обманулся видениями прошлого и нынешней видимостью. Он видел в Уварове истинный патриотизм и связь с Россией, омраченные только его бесхарактерностью и пустомыслием.

Князь Петр Андреевич не увидел железной цепкости Уварова, как не увидел и того, что Россия стала для министра просвещения всего лишь полем зловещего эксперимента и пьедесталом великой карьеры. Не понял и его энергичной и хищной идеи.

Он не увидел того, что так ясно было Пушкину.

Через много лет, рассказывая историю своего письма министру, он убежденно сказал: «…Просвещенный ум Сергия Семеновича был, без сомнения, доступен к выражению мыслей и понятий даже и противоречащих действиям министра. Впрочем, в письме идет речь не о самих действиях, а скорее о бездействии министра: о излишней, по мнению нашему, терпимости его. Терпимость же может быть добродетелью,

но может быть и равнодушием: таковою, вероятно, и была она в Уварове. Личные же сношения мои с ним, запечатленные давним Арзамасским братством, давали мне право и волю объясняться с ним откровенно…»

Это написано было через сорок лет. Но память князя Петра Андреевича осталась сильной и ясной, а кроме того — суждение это по сути своей не отличается от суждения его об Уварове начала сороковых годов.

Так думал он и в тридцать шестом году. И считал, что так думает и Пушкин: «…по мнению нашему…»

Там, где Уваров сделал точный и обдуманный ход, выпустив на историографическую сцену Устрялова, Вяземский видел просчет министра, по равнодушию недоглядевшего за порядком…

Вяземский обратился к Уварову, чтоб, с одной стороны, призвать его на помощь Карамзину, с другой — высказать некоторые общие суждения.

«Милостивый государь

Сергей Семенович.

Вступив в управление Министерством просвещения, Ваше Превосходительство сказали, что „народное образование должно совершаться в соединительном духе Православия, Самодержавия

и Народности…“

Одна и есть у нас книга, в которой начала православия, самодержавия и народности облечены в положительную действительность, освященную силою исторических преданий и силою высокого таланта. Не нужно именовать ее. Вы, без сомнения, сами упредили меня и назвали ее. Здесь ни разномыслия, ни разноречия быть не может. Творение Карамзина есть единственная у нас книга истинно государственная, народная и монархическая… А между тем книга сия, которая естественно осуществляет в себе тройственное начало, принятое девизом вашего министерства, служит, по неизъяснимому противоречию, постоянною целью обвинений и ругательств, устремленных на нее с учебных кафедр и из журналов, пропускаемых цензурою, цензурою столь зоркою в уловлении слов и в гадательном приискании потаенных и мнимых смыслов, и столь недальновидною, когда истина, так сказать, колет глаза».

Князь Петр Андреевич решил доказать — и для этого были некоторые основания, — что «История» Карамзина — это именно то, что нужно Уварову для воспитания юношества в духе его доктрины. Он отмел то обстоятельство, что

Уваров объявил некую совершенно новую эпоху в истории страны и Карамзин не годился ему потому уже, что оставался столпом прошлого царствования, ошибки коего Уваров и поклялся искоренить.

Но, встав на путь возвышенной демагогии, Вяземский вынужден был идти по нему и далее. Чтобы сильнее воздействовать на Уварова — и выше! — он соединяет новейших критиков Карамзина с тем, в чьей преступности сомнений не было: «И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооруженною рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть „Историю государства Российского“… Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин».

Самое удивительное, что князь Петр Андреевич предназначал этот текст к печати. Он, который десять лет назад проклинал палачей и оправдывал мятежников, теперь — в тридцать шестом году — готов был публично признать триединую формулу, благодетельность самодержавия, — он, конституционалист и друг Михаила Орлова! — и объединиться идеологически с Уваровым, не на основе Устрялова, но на основе Карамзина.

Когда «аристократы» «Литературной газеты», наследники дворянского авангарда, обвиняли Полевого в безответственных политических спекуляциях, это — вне зависимости от того, кто из них ошибался, — было продолжением традиции. Пытаясь объединиться с Уваровым и Карамзиным против Устрялова и декабристов, Вяземский традицию рвал.

Получив в декабре тридцать шестого года этот трактат, Пушкин отвечал: «Письмо твое прекрасно… Главное: дать статье как можно более ходу и известности. Но во всяком случае цензура не осмелится ее пропустить, а Уваров сам на себя розог не принесет. Бенкендорфа вмешивать тут мудрено и неловко. Как же быть? Думаю, оставить статью, какова она есть, а в последствии времени выбрать из нее все, что будет можно выбрать, — как некогда делал ты в „Литературной газете“ со статьями, не пропущенными Щегловым. Жаль, что ты не разобрал Устрялова по формуле, изобретенной Воейковым для Полевого, а куда бы хорошо!»

При не совсем благополучных отношениях с Вяземским Пушкин вел себя здесь весьма дипломатично. Он отказывается под очень убедительным предлогом продвигать статью.

Десять лет назад в записке «О народном воспитании» Пушкин, излагая императору свой план просвещения страны, сказал: «Историю России должно будет преподавать по Карамзину. История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека… Изучение России должно будет преимущественно занять умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренне и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений…»

Тогда он полагал, что карамзинская история достаточно честна и благородна, чтоб на ней можно было воспитывать «мирных декабристов», которые бы «великий подвиг улучшения государственных постановлений», то есть цель жертв 14 декабря, совершали не вооруженной рукой, но соединившись с просвещенным правительством.

В тридцать шестом году, на переломе времени, на конечном рубеже десятилетия, он видел, что отнюдь не просвещенное правительство воспитывает совсем не деятелей, готовых к подвигу реформ, но — орудия опасно недальновидной политики.

Он сам уже пять лет писал русскую историю, пытаясь противостоять уваровской историософии. И тем более не желал он теперь представлять Карамзина исконным проповедником триединой формулы, то бишь предтечей Уварова. Тем более ему не хотелось в своем журнале — даже если бы это было возможно! — признать уваровскую доктрину основой основ. Даже в тактических целях.

Демагогия, которая оказалась приемлемой для Вяземского, для него была неприемлема совершенно.

Он не мог заставить себя принять поношение декабристов, а тем паче совмещение их с Устряловым и Полевым, как делал это князь Петр Андреевич. Против места о 14 декабря он написал: «Не лишнее ли?» Равно как и против еще одного пассажа в том же духе.

Все это было для него неприемлемо, как и обвинение Чаадаева.

Он указывает Вяземскому иной путь — конкретной критики Устрялова. «Формула, изобретенная Воейковым» — выписывание и осмеяние особо неудачных мест из сочинения противника.

Такую критику он стал бы печатать. Во всяком случае, попытался бы. Обращение к Уварову как к единомышленнику — нет.

Шел декабрь тридцать шестого года. Только что завершился первый этап роковой дуэльной истории.

Князь Петр Андреевич искренне не видел подоплеки вражды Уварова с Пушкиным. Как не видел — в отличие от Пушкина — и страшной роли Сергия Семеновича в жизни страны. Он уповал на просвещенный ум, ностальгические чувства министра. И не видел, что на месте слабого, порочного, но умного и по видимости желающего добра арзамассца по прозвищу Старушка вырос некий Голем, идеолог и исчадие того процесса, который так унизительно согнул душу гордого князя Вяземского.

В конце тридцать шестого года князь Петр Андреевич готов был пойти на публичный тактический компромисс с Уваровым.

Пушкин — никогда…

Он остался один. Слишком силен оказался напор, в продолжение десятилетия изнуривший, сломавший или отбросивший даже самых достойных и упорных.

Первая четверть века — звездные времена дворянского авангарда — закончилась шестью картечными выстрелами у Сената. Сотни чугунных шариков, а за ними истребительные аресты

положили начало великой облаве. Но это было именно начало.

Сама облава на умы и души с упорством, которое могут дать только историческое соперничество и идейная ненависть, шла десять лет. Схвачены и сосланы были немногие. Но слишком многие — подавлены.

Им стало казаться, что перед ними сила, восторжествовавшая по праву. По праву злому, несправедливому, но — неизбежному.

Князь Петр Андреевич Вяземский, умный, сильный, талантливый, потерял надежду — и сдался. «Странная моя участь: из мытаря делаюсь ростовщиком, из вице-директора департамента внешней торговли становлюсь управляющим в Государственный заемный банк. Что в этих должностях, в сфере этих действий есть общего, сочувственного со мною? Ровно ничего. Все это противоестественное, а именно потому так быть и должно, по русскому обычаю и порядку. Правительство наше признает послаблением, пагубною уступчивостью советоваться с природными способностями человека при назначении его на место. Человек рожден стоять на ногах: именно поэтому и надобно поставить его на руки и сказать ему: иди! А не то, что значит власть,

когда она подчиняется общему порядку и течению вещей. К тому же тут действует и опасение: человек на своем месте делается некоторою силою, самобытностью, а власть хочет иметь одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от ее воли… Что дано мне от природы — в службе моей подавлено, отложено в сторону: призываются к делу, применяются к действию именно мои недостатки… Меня герметически закупоривают в банке и говорят: дыши, действуй».

Он не желал — из гордости — выглядеть несчастным. «Я всегда плыл по течению, — сказал он в сороковые годы баварскому посланнику. — В молодости я увлекался либеральными идеями того времени, в зрелых летах мною руководили требования государственной службы…» Собеседник не понял горькой иронии.

В конце жизни Ермолов сказал как-то: «Вот если я пред кем колени преклоню, то это пред Незабвенным (так он называл Николая. — *Я. Г.*): ведь можно же было когда-нибудь ошибиться, нет, он уж всегда как раз попадал на неспособного человека, когда призывал его на какое бы то ни было место».

Старый лев александровских времен, надеж-

да декабристов, заблуждался. Не заблуждался Вяземский — это были не промахи, но — политика. В мире фальшивых ценностей, которые с артистизмом и изяществом шулера высокого класса подносил обществу Уваров, естественно было свое представление и о ценности человека-деятеля.

С тоской смотрели на этот процесс оттесненные. Едва переживший Пушкина Денис Давыдов не пророчествовал, сокрушался: «Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять их возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности — это верх бессмыслия. Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные невежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончательно изгонят отовсюду способных людей, которые, убитые бессмысленными требованиями, не будут иметь возможность развиться для самостоятельного действия и безусловно подчинятся большинству. Грустно думать, что к этому стремится правительство, не понимающее истинных требований века, и какие заботы и огромные материальные средства посвящены им на гибельное развитие системы, которая, если продлится на деле, лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай боже

убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается залог всякого успеха. Это страшное зло не уступает, конечно, по своим последствиям татарскому игу! Мне, уже состарившемуся на старых, но несравненно более светлых понятиях, не удастся увидеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпою неспособных и упорных в своем невежестве людей. Усилия этих людей не допустить до него справедливых требований века могут ввергнуть государство в ряд страшных зол».

Он писал это за полтора десятка лет до Крымской катастрофы, проникая умом в существо набирающего силу процесса.

Власть имущие эпохи уваровщины — и Николай в том числе — жили сегодняшним днем. День завтрашний был для них предметом горделивых фантазий.

Их способ использования людей давал им уверенность в сегодняшней стабильности. Предвидеть результаты в будущем одни из них — как Николай, Бенкендорф, Алексей Орлов — были не в состоянии, другие — как Уваров — не хотели…

Плетнев служил.

Печальный Вяземский смирился и изливал свою горечь в записных книжках и готов был к политическим маневрам.

Жуковский верил в целесообразность мироустройства и убедил себя, что именно в России эта целесообразность постепенно реализуется.

Пушкин, со своей органической непримиримостью к тому, что считал ложным, и смертоносным неумением обманывать себя, остался один.

Конец генерала Киселева

…Ожидать кровавых событий.

П. Д. Киселев

В середине тридцатых годов задыхаться начали не только носители идей. Задыхаться начали сами идеи.

Люди с пронзительным ощущением совершающихся перемен — Пушкин и Вяземский — понимали это. Но реагировали по-разному.

Понимал и печальный Сперанский.

И только Киселев, уверенный, что выиграл свою головоломную игру с левыми и правыми, полон был надежд. Он не видел, что вельможная бюрократия, венчающая аппарат, уже нашла и отработала способы для перемалывания любой реформы, идущей против ее интересов. Он не видел, что момент высочайшего взлета его карьеры становится началом падения его идеи. Он-то шел вверх по холодным ступеням, но идее суждено было отстать и остаться далеко внизу.

Наступал момент, когда идея, одушевлявшая умирающую эпоху, идея, правомочность которой признал даже император, — идея уничтожения

рабства (а ее реализация повлекла бы за собою радикальные изменения в других сферах) стала агонизировать.

Агония началась в тот момент, когда — казалось бы! — победа была обеспечена. Началось историческое падение решительно идущего вверх генерала Киселева, «самого замечательного государственного деятеля» момента, — последнего, на кого надеялся Пушкин…

В феврале тридцать пятого года, в том самом феврале, когда Пушкин начертал в дневнике план компрометации министра народного просвещения, генерал Киселев после свидания с генералом Орловым вернулся в Петербург. И вскоре после его приезда император учредил секретный комитет «для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий».

Николай в очередной раз решился приступить к крестьянскому вопросу, чтобы начать наконец этот процесс, долженствующий превратить колеблемую вулканическими толчками почву в спокойную и надежную твердь.

В начале тридцать пятого года граф Александр Христофорович, вовсе несклонный к безудержному реформаторству, но по своему положению лучше прочих сановников осведомленный о том,

что происходит в стране, доносил императору в отчете за прошлый, тридцать четвертый год: «Год от года распространяется и усиливается между помещичьими крестьянами мысль о вольности. В 1834 году много было примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи, как по произведенном исследовании оказывалось, происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу».

Происходило самое для правительства страшное: в крестьянском сознании изжила себя мысль о правомочности рабства. И далее шеф жандармов прямо угрожал: «Могут явиться неблагоприятные обстоятельства: внешняя война, болезни, недостатки; могут явиться люди, которым придет пагубная мысль воспользоваться сими обстоятельствами ко вреду правительства, и тогда провозглашением свободы их из помещичьего владения им легко будет произвести великие бедствия».

«Россия крепка единодушием беспримерным», — уверял Николая Уваров. А шеф жандармов настойчиво требовал приступить к постепенной крестьянской реформе, ибо от ложной стабильности ждал потрясений.

Об этом писал Киселев еще в двадцать шестом году.

Об этом с отчаянием думал Пушкин в тридцатые годы. Это имел он в виду, когда пытался взволновать великого князя, предрекая будущие мятежи с участием многих дворян: «Могут явиться люди, которым придет пагубная мысль...»

Людей толкали к этой мысли.

Летом тридцать пятого года в Приуралье начались события грозные и слишком напоминающие те, что Пушкин описал в недавно вышедшей «Истории Пугачевского бунта».

В июне этого года в деревне Броды собралось до пяти тысяч взбунтовавшихся казенных крестьян-староверов. Они вооружались, формировали конные отряды. Вступали в бой с посланными на усмирение командами.

Волноваться начала соседняя Оренбургская губерния. Поднимались татары, мещеряки, башкиры. Вышли из повиновения части иррегулярной башкирской конницы.

Оружие производилось самими восставшими и добывалось при содействии рабочих на уральских заводах.

Русские крестьяне и мятежники других национальностей ссылались между собой и действо-

вали сообща.

Казаки самарские и оренбургские оказались ненадежны.

Император был за границей. Военный министр Чернышев готовил для подавления новой пугачевщины пехотные и донские казачьи полки, артиллерийские дивизионы.

Оренбургский генерал-губернатор Василий Перовский, бывший член тайного общества, приятель Пушкина, сосредоточив все имеющиеся в крае войска, решительно и свирепо в течение трех недель вел военные действия против восставших и усмирил край, перепоров тысячи и арестовав сотни людей. Зачинщиков судили военным судом, и они кончили жизнь на каторге или под палками.

Симптом был грозный…

В новый секретный комитет вошли председатель Государственного совета Васильчиков, Сперанский, Киселев, Канкрин и Дашков.

Комитет с перерывами прозаседал весь тридцать пятый год. Сперанский устал от российской действительности, в успех дела не верил. Павел Дмитриевич еще только присматривался к новому роду деятельности.

Несколько месяцев заседаний комитета не

дали ни малейшего результата. Николай это, естественно, знал.

17 февраля тридцать шестого года, когда Пушкин только что уладил две дуэльные истории, а над ним висела третья — предстоящая дуэль с Соллогубом, — Павел Дмитриевич получил приглашение отобедать в Зимнем дворце. Кроме августейшего семейства и Киселева, за столом оказался и граф Александр Христофорович. По окончании обеда Николай велел Киселеву задержаться и сказал, что хочет наконец заняться устройством казенных крестьян, которые разорены и бунтуют, что министр финансов по упрямству или по неумению не желает заниматься этим, что начинать надо с крестьян Петербургской губернии, но если поручить дело петербургскому генерал-губернатору Эссену, то, кроме вздора, ничего не будет, и что он просит Киселева взять это дело на себя. Под его, Николая, постоянным покровительством…

Киселев ждал иного. Он ждал, что речь пойдет о крестьянах помещичьих, чье положение казалось ему опаснее и чьим устройством надо было заниматься в первую очередь. Но Николай был так встревожен приуральскими бунтами, что выбрал крестьян казенных. Если бы взбунтова-

лись крепостные, он попытался бы начать с них. Он пытался заткнуть ту дыру, из которой вода хлестала в настоящий момент. Идея непрочности всего корабельного корпуса не вмещалась в его сознание.

Он жаловался на упрямство старого Канкрина, но ввел его в комитет тридцать пятого года. А Бенкендорфа, который был к этому моменту сторонником реформы, — не ввел. Он знал умонастроение всех членов комитета и понимал, что Киселев и Сперанский окажутся в меньшинстве. Но, умом понимая необходимость приступить к постепенному процессу отмены рабства, он в глубине души боялся получить от комитета прямые и ясные предложения, ибо тогда пришлось бы действовать…

И теперь он направлял единственного твердого реформатора на устройство положения крестьян казенных, что было важно, но далеко уступало по неотложности решению другого вопроса — отмены крепостного права.

Он жаловался на отсутствие сотрудников. Да кто же ему был виноват?

Разумеется, Репнин и Ермолов, не говоря уже о Михаиле Орлове, обладали государственным смыслом — не чета Васильчикову, человеку

весьма недалекому и убежденному, что все беды России происходят от дурной работы администрации. Но царь уверен был в личной преданности Васильчикова, и это с лихвой искупало его государственную бездарность.

Разумеется, Киселев в комитете по крестьянскому вопросу нашел бы общий язык с Татищевым, послом в Вене, и графом Михаилом Семеновичем Воронцовым, с которым переписывался по крестьянскому вопросу. Но именно этого общего языка нескольких влиятельных деятелей Николай и страшился.

Николай знал о здравой позиции графа Воронцова и даже ссылался на нее, когда держал речь в одном из комитетов. Но отнюдь не привлекал его к этой деятельности.

Он держал при себе Киселева, покровительствовал его идеям, подбадривал его, но ни в коем случае не давал собраться в единую группу тем, кто всерьез мог заняться крестьянской реформой.

Когда погрязшие в бесплодных спорах тридцать пятого года Васильчиков, Дашков и Канкрин утопили благие намерения Киселева и Сперанского, Павел Дмитриевич несколько пал духом. Решительный оптимизм, еще недавно им вла-

девший, уверенность в своих силах, вывезенная из Дунайских княжеств, где он был предоставлен самому себе и где реформа так удалась, к началу тридцать шестого года слегка поблек. Он скверно себя чувствовал и собрался за границу — лечиться. Свидание с императором 17 февраля снова его обнадежило.

На прощание Николай сказал, а Киселев, вернувшись домой, немедля записал в дневник высочайшее напутствие: «Повидайся со Сперанским, я ему говорил о моих намерениях и прошу тебя сообразить все это с ним, дабы представить мне общее ваше предположение об устройстве этого дела. Я уверен, что оно пойдет хорошо, потому что мы друг друга понимаем. Ты будешь мой начальник штаба по крестьянской части… С Божьей помощью наше дело устроится. Я уверен».

Через день Павел Дмитриевич записал: «Трехчасовая беседа со Сперанским». С этого дня они встречались постоянно. Реформатор прошлой эпохи, в душе ни во что уже не веривший, и реформатор эпохи наступившей, исполненный надежд, обсуждали принципы нового устройства казенных крестьян. Киселев искренне верил, что это лишь начало общекрестьянской реформы. Так думал не только он. Граф Воронцов писал

ему, что теперь «можно ожидать разумного и твердого движения к существенному и необходимому улучшению быта крестьян вообще».

Положение Павла Дмитриевича укреплялось с каждым месяцем. Хорошо знавший его современник вспоминал: «Генерал Киселев достиг верха милостей. Он сделался баловнем императора и императрицы… Улица, в которой он жил, была запружена экипажами посетителей, которые приезжали к нему со всех сторон на поклон… С своим тонким и острым умом он жестоко смеялся над низостию этой толпы льстецов, которых он презирал от глубины души. Однако же он сделался озабоченным в предвидении затруднений, которые ему придется побеждать; как бы ни был боец смел и храбр, в таких великих начинаниях есть всегда условия, которых нельзя не опасаться».

Друг Пестеля, Орлова, Волконского, Лунина, миновавший за смутное десятилетие немало стремнин и рифов, несмотря на все опасения, уверен был, что дело освобождения крестьян в его руках. Он уверен был, что теперь вот наконец пожнет плоды своей жизненной политики. Печальный скептицизм Сперанского и мрачное уныние Орлова все еще удивляли его…

Через десять лет после смерти Пушкина на заседании Совета министров при обсуждении крестьянского вопроса, который был так же далек от разрешения, как и в середине тридцатых годов, резко столкнулись мнения двух членов совета.

Разбиралась жалоба крестьян графини Самойловой, у которых при переходе имения к другим владельцам отобрали землю, купленную ими на собственные деньги. Жалоба осталась бы без удовлетворения, если бы Киселев, министр государственных имуществ, пользовавшийся всяким случаем для напоминания о необходимости реформ, не вмешался в дело. Он заявил совету, что видит возможность выкупить этих крестьян и перевести их в казенные, государственные, и просил поручить эту операцию ему.

А далее он сказал:

— Без всяких изворотов я обращаюсь прямо к цели моего желания, которое состоит в том, чтобы обратить к законодательному рассмотрению вопрос о крестьянской собственности. Время наступило отсекать все, что в крепостном состоянии более отяготительно, а жить, работать и приобретать без права на собственность есть положение противуестественное.

«Время наступило…» — этот оборот применительно к крестьянской реформе произносился с екатерининских времен. И произносился далеко не всегда искренне. Но Павел Дмитриевич пользовался каждым случаем, каждым частным поводом для попытки вразумить своих коллег.

— Вопрос этот слишком важный и к делу, о котором мы толкуем, прямо не относящийся! — раздраженно заметил министр просвещения, несколько поблекший, но все еще элегантный Сергий Семенович Уваров. — Кстати ли заниматься им походя, при случае частном?

Министры с опасливым интересом наблюдали, как багровеет широкое лицо Киселева… А Павел Дмитриевич, переводя дыхание и заставляя себя успокоиться, думал, что с наслаждением поставил бы этого престарелого щеголя на восьми шагах под пистолет и посмотрел бы, как расплывается его брезгливая самоуверенность, самоуверенность человека, никогда не видевшего настоящей опасности. Он так явственно представил себе бледного Уварова, у которого пистолет скользит в потных вздрагивающих пальцах, что улыбнулся.

Все смотрели на него ожидательно. Уваров, не понимающий ни паузы, ни улыбки, — с некото-

рой тревогой.

— Жаль, что вы не были в военной службе, Сергий Семенович, — деловито сказал Киселев, — вы прославились бы как мастер маневра. И в самом деле — всякий раз, когда я представляю общее положение, вы возражаете, что внезапный общий поворот опасен и что следует исправлять зло частями и последовательно, отсекая его при каждом удобном случае, — в этом есть смысл. Но когда представляется такой случай, тогда вы находите, что дело текущее и частное не может возбуждать суждений, касающихся общего. Но подобная теория, — Киселев тяжело наклонился вперед и не мигая смотрел на Уварова, — ведет прямо к тому, чтобы остаться в неподвижности и ожидать кровавых событий…

Император на этот раз принял сторону Киселева. Но не до конца и с оговорками. «Не разом и не теперь», — сказал он Павлу Дмитриевичу в конфиденциальном разговоре.

«Не теперь…» Эта формула порхала в имперском воздухе рядом с оборотом «время пришло». Взаимно они нейтрализовали друг друга.

Крепостным разрешено было приобретать земли, но они не имели права «располагать оными без ведома и согласия помещика». То есть

земли, купленные на их деньги, фактически принадлежали не им. А их движимое имущество по-прежнему считалось достоянием помещика.

«Не разом и не теперь…» Вот-вот разразятся вулканические потрясения у самых границ империи — революции в Германии, Австрии, не говоря уже о привычной революции во Франции. В России десятки молодых людей арестованы будут по делу петрашевцев, а Уваров, не выполнивший своей миссии, не сумевший воспитать идеально верноподданное поколение, уйдет в отставку. Уже рядом Крымская война, кроваво и разорительно проигранная, ставшая эпилогом полуторастолетнего периода, который начался не менее кровавой и разорительной, но победоносной Северной войной. Уже скоро железный император будет плакать, получая реляции из Севастополя… Но пока — «не разом и не теперь»…

К тридцать девятому году реорганизация управления казенными крестьянами закончилась. Эта сфера получила ясное и рациональное устройство. Довольный Николай возвел Павла Дмитриевича в графское достоинство.

До'лжно было приступать ко второй, и главной, части крестьянской реформы — к отмене рабства.

Николай с самой решительной, как всегда, миной создал новый секретный комитет. Сперанский недавно умер, и Киселев остался единственным последовательным сторонником освобождения среди доверенных лиц государя.

Император недвусмысленно выразил свою волю, чтоб члены комитета изыскали наилучшие способы проведения реформы. Сама задача — отмена рабства — представлялась Николаю несомненной. Но произошла удивительная вещь: большинство членов комитета выступило прямо против высочайшей воли. Киселев казался им подозрительным авантюристом. Государственный секретарь Модест Корф, лицеист Модинька, возмущался в дневнике Павлом Дмитриевичем, «которому, не имея состояния, ни детей и живя врозь с женою, можно всем рисковать и очень хочется попасть в историю»…

Сама идея освобождения представлялась столпам царствования абсурдной. Член специального комитета по освобождению дворовых, коих в империи было 1 200 000 человек, военный министр Чернышев, разгромивший некогда Южное общество, возопил в специальной записке: «Мысль общей политической свободы уже давно обладает умами в Европе; но, к счастию, она у нас

недоступна еще классу поселян! Предмет этот касается основных начал государственных. От мысли о свободе крестьян неминуемо перейдут к разным другим последствиям, поколебать в основании все государственное здание. Глубоко убежденному в сей истине, мне кажется, что мы все должны согласиться, что нам нужны не нововведения, столь опасные, а поддержание и усовершенствование старого. Благоговение к чистой вере отцов, безусловная привязанность к правительству, постоянное отеческое наблюдение правительства к искоренению всяких беспорядков и жестокостей и к сохранению семейных и общественных связей — вот что нужно для благоденствия земли Русской…»

Сергий Семенович Уваров, член того же комитета, должен был с умилением внимать этому гимну ложной стабильности. Правда, Чернышев не был юношей, воспитанным в уваровскую эру, но для создания атмосферы, в которой подобные взгляды могли законсервироваться, Сергий Семенович успел куда как много…

Большинство членов комитета сделало вид, что не поняло высочайшей воли, и принялось обсуждать сам вопрос — надо ли освобождать крестьян. Проект Киселева утонул в бесконечных

дискуссиях, подоплекой которых было неприятие реформы как таковой. Князь Меншиков, некогда вместе с Воронцовым и Новосильцевым и молодым Киселевым ратовавший за отмену рабства, теперь, через двадцать с лишним лет, провозгласил: «Полезно ли уничтожение рабства в России? — Рано».

Оставшийся в одиночестве Киселев, уже не чувствующий твердой поддержки монарха, отступал шаг за шагом.

Так продолжалось три года, пока 30 марта сорок второго года не наступил финал. В этот день указ, подводивший итоги работам комитета тридцать девятого года, обкромсанный, урезанный, лишенный всякого смысла, выставлен был на утверждение Государственного совета.

Заседание совета открыл речью сам Николай:

— Прежде слушания дела, для которого мы собрались, я считаю нужным познакомить совет с моим образом мыслей по этому предмету и с теми побуждениями, которыми я в нем руководствовался. Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным. Покойный император Александр в

начале своего царствования имел намерение дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно еще преждевременной и невозможной в исполнении. Я также никогда на это не решусь, считая, что если время, когда можно будет приступить к такой мере, вообще еще очень далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, с Божьей помощью, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда. Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств я не могу не отнести больше всего к двум причинам: во-первых, к собственной неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным не свойственное состоянию последних высшее воспитание, а через то,

развивая в них новый круг понятий, делают их положение еще более тягостным; во-вторых, к тому, что некоторые помещики — хотя, благодаря Богу, самое меньшее их число, — забывая благородный долг, употребляют свою власть во зло…

Анализ обстановки, произведенный императором, свидетельствовал о его глубоком государственном дилетантизме. Предметом «особенной… заботливости правительства», по его мнению, должны были стать не реформы, снимающие социальное напряжение, но вооруженное подавление народных движений. Причинами же крестьянских восстаний и общего недовольства крепостных он считает легкомысленное просветительство одних помещиков и дурной характер других — незначительной, правда, части.

Но главное — он публично объявил «преступным посягательством на общественное спокойствие и на благо государства» то, о чем недавно еще сепаратно толковал с Киселевым и Сперанским как о необходимом. Он предал покойного Сперанского и живого Киселева.

Он поступил так вопреки первоначальным своим намерениям. Он отступил перед натиском Государственного совета, не имевшего реальной власти.

Николай сам выбрал этих людей, сам возвысил их. Он окружил себя паладинами ложной стабильности и сам поощрял в них эту тенденцию. Странно ли, что они повели себя так, а не иначе? И, несмотря на все его сепаратные декларации, эти люди были ему ближе Сперанского и Киселева. Умом он понимал правоту реформаторов, но душою был с Меншиковым, Уваровым, Чернышевым.

Мятежи улеглись, тайные общества отсутствовали, непосредственная опасность уже не давила на его сознание, и он с облегчением отрекся от своих недавних идей.

Наступавшую паузу он принял за вечное замирение.

Страна пожинала плоды уваровского торжества — реальность подменялась своекорыстным вымыслом, инстинкт государственного самосохранения вытеснялся жаждой агрессивной неподвижности, нежелание понять ход исторического процесса приводило к звериному порыву сломать этому процессу хребет, неотложные действия выродились в ритуальное словоговорение…

Капитулянтская речь императора привела аристократических бюрократов в восторг потому

именно, что она сняла с них страх перед возможными реформами. Государственный секретарь Модест Корф в специальном мемуаре живописал впечатление от августейшей декламации: «Как передать пером выражавшееся в каждом слове, в каждом движении сознание внутреннего высокого достоинства; это царственное величие, этот плавно текший поток речи, в котором каждое слово представляло мысль; этот звонкий могучий орган, великолепную наружность, совершенное спокойствие осанки…»

Надо отдать должное Николаю-реформатору — он пошел ко дну с полным сознанием своего величия. Да он, очевидно, и был в этот момент уверен уже, что совершает шаг, исполненный государственной мудрости.

Ничтожный указ, родившийся после трехлетних баталий, казался имперским мудрецам чем-то из ряда вон выходящим — но с разными оценками. Тот же Корф вспоминал: «Возвратясь в присутственную залу, где все еще, в тесных кружках, изливались в выражениях удивления к государю, Васильчиков, вне себя от радости, присоединил к общим похвалам и свои. Никогда не видал я нашего почтенного старца таким веселым, можно сказать, счастливым, в резкую

противоположность с Волконским, который, выходя, шептал с таинственным и мрачным видом: „наделали чудес: дай Бог, чтоб с рук сошло!“ Того же мнения были и некоторые другие…»

Министр двора Волконский и некоторые другие считали, что принятое решение чересчур радикально…

Утвержденный указ разрешал помещикам по собственному их желанию заключать договоры со своими крепостными на условиях, максимально для помещиков выгодных. Он был антикрестьянским даже по сравнению с александровским законом о вольных хлебопашцах.

Николай проиграл, явно не сознавая трагизма своего проигрыша. Когда один из членов совета предложил в качестве компромиссной меры хотя бы частично ограничить власть помещиков, император ответил:

— Я полагаю необходимым сохранить крепостное право в неприкосновенности, по крайней мере до времени. Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на ограничения крепостного состояния никогда не решусь, как не решусь и на то, чтобы приказать помещикам заключать договоры; это должно быть делом их доброй воли, и только опыт укажет, в какой степени можно

будет перейти от добровольного к обязанному.

Киселев за все заседание не сказал ни слова. Он чувствовал, что происходит нечто ужасное, и не хотел признаться себе в этом. Он встал только в самом конце, когда указ был утвержден.

— Я согласился с мнением комитета, — ровно сказал он, — и теперь не спорю единственно в надежде, что нынешний указ будет лишь предисловием или вступлением к чему-либо лучшему и обширнейшему в последствии времени…

Шеф жандармов взывал в отчете за тридцать девятый год: «Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же».

Но те, кто держал в руках судьбу государства, жили в мире иных представлений.

А Бенкендорф уже не пользовался прежним влиянием на императора. В тридцать седьмом году шеф жандармов вынужден был сообщить Полевому, что больше не имеет возможности вмешиваться в дела министра просвещения. Ближайшим советником императора стал безмятежный Алексей Орлов, который более соответствовал наступающему умонастроению Николая…

Карьера генерала Киселева продолжалась. Он

оставался министром. Он получал высшие награды и знаки благоволения. Но это был уже не тот молодой генерал, который слушал проекты Пестеля, спорил с Михаилом Орловым, мечтал выйти на историческую арену в кризисный момент, готов был реформировать государство и тем спасти его от «кровавых событий», который верил в свое предназначение и ради этого хитрил, лавировал, отрекался от друзей.

30 марта сорок второго года, через пять лет после смерти Пушкина, «самый замечательный из наших государственных людей» прекратил свое существование, и его место занял дельный и честный бюрократ, время от времени пытающийся отбить у своих собратий хоть толику прежних мечтаний, оставивший грандиозные проекты.

Последующие тридцать лет жизни он провел с горьким сознанием неисполненного предназначения.

Через двадцать лет он записал: «…благословляю судьбу, избавившую меня (против моей воли) от окончания этой тяжелой работы, которая, однако, должна была принадлежать мне».

Он написал это после того, как в основу официального проекта отмены крепостного права в шестьдесят первом году положен был его затоп-

танный проект сорокового года.

Было потеряно двадцать лет. И каких…

Великий мастер лавирования и почти безграничного компромисса, Павел Дмитриевич Киселев вознамерился перехитрить историю. Но исторический разум куда изощреннее любых наших комбинаций. История посмеялась над Киселевым. На закате жизни она показала ему, что победить он мог только в союзе с Николаем Тургеневым, Михаилом Орловым, Луниным, Волконским. А он попытался реализовать свои идеи, блокировавшись с противниками этих идей. Но только комплот с органичными единомышленниками, а не с вынужденными союзниками может привести к успеху. Вынужденные союзники предали Киселева, как только наступил момент принципиальных решений. И так бывает всегда.

Подлинное союзничество в политике — общая историческая судьба, а не тактический ситуационный выбор.

Как реформатор Киселев был обречен с тридцатого года, когда началось окончательное вытеснение дворянского авангарда — той категории дворянской интеллигенции, которая объединяла сторонников здорового процесса дви-

жения вперед. А движением вперед для России было постепенное введение представительного правления и отмена рабства — реформы, одна без другой невозможные. Когда в шестидесятые годы введена была только одна часть нерасторжимого двуединства, начался зловещий перекос, давший возможность паладинам ложной стабильности прервать реформы и только усугубить кризис.

Бесконечно запоздавшие, искусственно приостановленные реформы вместо снятия социальной напряженности довели ее до критической точки. С великого крушения надежд в эпоху «великих реформ» началась цепная революционная реакция, ибо нет ничего страшнее обманутых ожиданий народа.

Имперская бюрократическая элита, вернувшись к политике ложной стабильности, губила систему, лишив ее возможности рационально трансформироваться. И тем предопределила крушение империи в крови и огне.

В тридцать шестом году, когда Пушкин метался в поисках противника, все уже было решено. Но Павел Дмитриевич не сознавал происходящего, хотя на его глазах завершилось подавление, оттеснение, уничтожение той единственной социально-политической группы, которая могла

«соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений», как писал Пушкин.

Социально-политическая группа, однажды оказавшись вытеснена из активного процесса, по существу уже не имеет шансов в него вернуться. Так произошло с дворянским авангардом.

Русское дворянство, отдав своему авангарду — который вовсе не исчерпывался людьми тайных обществ — лучшее, что в нем было, предало свой авангард, не поддержало его в роковые минуты. И расплатилось за это страшной ценой…

Когда в двадцать шестом году победивший император прочитал слова о соединении с правительством дворянской молодежи — прочитал в пушкинской записке «О народном воспитании», — он не понял, что ему указывают единственный путь, ведущий к реформам, а не к кровавым катаклизмам.

Он сделал ставку на людей с иным типом сознания, на вельможную бюрократию. Он вдвинул в этот ряд Сперанского и Киселева, лишив их опоры. Он отверг политическую культуру Пушкина и выбрал политическую культуру Уварова. И к тридцать шестому году загнал себя в ловушку, думая, что выстроил неприступную крепость.

Генерал Киселев последовал за императором, потому что другого пути у него уже не было…

Драма Павла Дмитриевича скрыта была от людей даже проницательных блистающей пеленой его внешних успехов. Поражение Киселева, крушение его замыслов, превратившее дело освобождения крестьян в опасный фарс, толковалось людьми умными как его вина, консервативной невежественной массой — как преступление, которое вовремя было пресечено.

Сломленный Вяземский сделал вскоре после обнародования решений комитета, жалких, но тем не менее кажущихся охранительному сознанию опасными, удивительно многомысленную запись: «В отличие от других стран, у нас революционным является правительство, а консервативной — нация. Правительство способно к авантюрам, оно нетерпеливо, непостоянно, оно — новатор и разрушитель. Либо оно погружено в апатический сон и ничего не предпринимает, что бы отвечало потребностям и ожиданиям момента, либо оно пробуждается внезапно, как от мушиного укуса, разбирает по своему произволу один из жгучих вопросов, не учитывая его значения и того, что вся страна легко могла бы вспыхнуть с четырех углов, если бы

не инстинкт и не здравый смысл нации, которые помогают парализовать этот порыв и считать его несостоявшимся. Правительство производит беспорядки: страна выправляет их способом непризнания; без протеста, без указаний страна упраздняет плохие мероприятия правительства. Правительство запрашивает страну, она не отзывается, на вопрос нет ответа».

Бедный князь Петр Андреевич потерял почву, стоя на которой он недавно еще мыслил так ясно и остро. Энергия мысли осталась, но все как-то перепуталось, сместилось… Пушкин называл Романовых революционерами, когда они действовали к погибели дворянского авангарда, дестабилизируя политическую обстановку и приближая кровавые потрясения. Вяземский через десять лет повторяет пушкинское обвинение, имея в виду робкие попытки правительства сдвинуть с места крестьянский вопрос, и он радуется «здоровому консерватизму» дворянского большинства, считая это большинство нацией и принимая корыстную близорукость за здравый смысл. Вяземский, яростный конституционалист 1818 года, апологет казненных и обличитель палачей…

Весь его ум при нем. Он пишет тут же: «Нам

следует опасаться не революции, но дезорганизации, разложения. Принцип, военный клич революции: „Сойди с места, чтоб я мог его занять!“ — у нас совершенно неприменим. У нас не существует ни установившегося класса, ни подготовленного порядка вещей, чтобы опрокинуть и заменить, что существует. Нам остались бы одни развалины. Такое здание рухнет. Само собой разумеется, что я говорю только о правительственном здании. Нация же обладает элементами жизнеспособности и самосохранения.

Людовик XIV говорил: „Государство — это я!“ Кто-то другой мог бы сказать еще более верно: „Анархия — это я!“». «Кто-то другой» — Николай.

Как много верного, как точно разглядел Петр Андреевич мятущуюся, слабую, непоследовательную натуру императора под декорумом рыцарского железа! Как точна сама по себе мысль об анархии — результате непоследовательности и непродуманности государственных преобразований!

И как далеко все это от понимания конкретного момента!

Пронзительно умный Вяземский заблудился во времени. И его ум политика стал работать вхолостую. Сам того, быть может, не подозревая,

он оказался тактическим единомышленником людей, которых презирал, паладинов ложной стабильности.

О своем друге Киселеве он теперь писал: «Многие вполне здравомыслящие и добросовестные люди объясняют себе бо'льшую часть мероприятий правительства лишь как результат чьего-то тайного влияния, скрытого заговора, воздействующего на власть без ее ведома и толкающего ее на роковой путь, ведущий в пропасть. Многие из людей, занимающих в государстве видное положение, скажут вам, что заговор этот возглавляется Киселевым. Я нимало не разделяю этого мнения и не признаю в нем никакого революционного покушения и умысла. Он обладает довольно острым умом, но умом поверхностным, чуждым сердцу… в нем много самодовольства, дерзости, жажды славы, соединенной с большой беспечностью к общественному мнению и презрением к людям. Он деспотичен по своим вкусам, привычкам и благодаря своей посредственности, ибо только люди высокого ума способны на податливость и уступки, он избалован и опьянен успехами своего проконсульства в областях, им, так сказать, возрожденных и благоустроенных, откуда он вывез слишком легко приобретенные

идеи о государственном управлении, которые он полагает применить к России; вот что собой представляет Киселев как государственный человек. Если бы им лучше руководили и использовали более умело, он был бы полезным и блестящим второстепенным деятелем на общественном поприще. Но у нас власть совершенно лишена способности узнавать и чувствовать людей».

И здесь явно уже ощутима великая обида князя Петра Андреевича, обида справедливая. Его способности большого государственного человека оказались зарыты, сам он из политики вытеснен — а это калечит душу и искажает умственное зрение. Он в свое время, как помним, претендовал на роль советчика, мудреца при больших администраторах. Им презрительно пренебрегали… А он все не мог подавить в себе отвращения при виде того, что совершается вокруг: «В диком состоянии человечества дикарь действует одною силою, одним насильством: он с корня рубит дерево, чтобы сорвать плод, убивает товарища, чтобы присвоить себе его звериную кожу; в состоянии образованном человек выжидает, чтобы плод упал на землю, или подставляет лестницу к дереву, у товарища выменивает или покупает кожу… У нас власть никогда ничего не

выжидает, не торгуется с людьми, не уступает…» Его терзала мысль об упущенном времени, о погибшей постепенности реформ, о конвульсивном, припадочном ходе государственных дел: «Прежде нежели делать ампутацию, должно промыслить оператора и приготовить инструменты. Топором отрубишь ногу, так, но вместе с тем и жизнь отрубить недолго». В 1826 году, после казни пятерых, в яростной филиппике он признавал за мятежниками права хирургов, стремившихся отсечь пораженные гангреной члены государства. Теперь он не признает этих прав за Николаем и Киселевым. «У нас хотят уничтожить рабство — дело прекрасное, потому что рабство — язва, увечье. Но где у нас врачи, где инструменты?» Все верно. Правительство, разгромив, подавив, изолировав недавних реформаторов, вышибло почву из-под собственных ног. Но, ослепленный своей драмой, князь Петр Андреевич забыл о поучительнейшем парадоксе истории — в кризисные моменты ситуация рождает людей в той же мере, в какой люди создают ситуацию. Эпоха Великих реформ шестидесятых годов это подтвердила.

Умное отчаяние Вяземского уводило его все далее и далее в желчный консерватизм. А каким

бесценным соратником Киселеву мог он стать, ежели бы по-иному сложили его судьбу!

И разве только он…

В феврале пятьдесят пятого года в Москве встретились два старика — генерал Ермолов и генерал Киселев. Только что умер «Незабвенный», как называл Николая Ермолов.

Павел Дмитриевич последний год занимал свой министерский пост. Ермолов без малого тридцать лет находился не у дел. Обоих мучали недуги.

Приехав в Москву, Киселев сразу же посетил Ермолова.

О чем толковали два эти человека, бесконечно честолюбивые, исполненные талантов и воли к свершениям, но не выполнившие своего предназначения?

15 декабря тридцать шестого года Александр Тургенев и Пушкин говорили «о Михаиле Орлове, о Киселеве, Ермолове… Знали и ожидали: „без нас не обойдутся“». Речь шла о тайных обществах, о двадцать пятом годе.

О чем говорили во время проигранной уже Крымской войны, когда грозная империя обнаружила свое бессилие, а система — свою порочность, о чем говорили Киселев и Ермолов,

которые могли вершить судьбу России, ежели бы взяли верх действователи 14 декабря? Вспоминали ли они упущенную тогда великую возможность? И откуда вели они начало великой неудачи?

Через день-другой Ермолов прислал Киселеву записку:

«Жалел я, почтеннейший Павел Дмитриевич, что при состоянии здоровья Вашего Вы взяли на себя труд посетить меня. Не менее благодарен за приглашение обедать, честь, которою не могу воспользоваться. Едва могу собрать силы, чтобы находиться у панихиды. Беспредельно уважая Вас, чувствую, чего я лишаюсь.

Алексей Ермолов».

Записка на листке с траурной черной каймой писана была качающимся, неуверенным почерком, вовсе непохожим на твердую ермоловскую руку…

Ровно двадцать лет назад Павел Дмитриевич, проезжая Москву в предвкушении скорого взлета и долгожданной деятельности, посетил Михаила Орлова и смеялся над его неверием.

Вспомнили ли они теперь могучего Михаила Федоровича, рвавшегося низвергнуть те принципы, которые ныне столь тяжко обошлись

России?

Вспомнили ли они своего друга Дениса Давыдова с его горькими пророчествами?

Пушкина они наверняка не вспомнили.

Прощальный взгляд окрест, или Реквием по честному дворянину

И над землей сошлися новы тучи,
И ураган их…

А. С. Пушкин. 19 октября 1836 г.

В день двадцатипятилетней лицейской годовщины — 19 октября тридцать шестого года — Пушкин закончил короткое послесловие к «Капитанской дочке». Пугачевский роман, роман о честном русском дворянине, брошенном судьбою в кипяток исторического катаклизма, прошел сквозь пять последних лет его жизни. Эти пять лет мучительно и неуклонно менялся его взгляд на роль и судьбу российского дворянства. От бодрой надежды в начале, когда он начинал роман, к горькой безнадежности к финалу его.

В послесловии он сказал так много, как умел только он.

«Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который

узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова».

Петр Гринев, средний русский дворянин, которому в обычной ситуации предстояла заурядная офицерская судьба, начинает жить по чести и по сердцу, становится героем чести благодаря соприкосновению с вождем крестьянского мятежа. Обстоятельства кровавые, катастрофичные, роковые внезапно и стремительно делают из него человека истории, способного на поступки глубоко незаурядные и понимающего честь широко и точно.

Он оказывается способен пренебречь своим прямым долгом, продиктованным воинским уставом, ради высокого долга перед страдающим человеком. Он оставляет осажденный Оренбург,

чтобы помочь бедной сироте, попавшей в руки человека без чести…

Чрезвычайные исторические обстоятельства пробуждают в душе Петра Гринева понимание чести и долга, которое вырывает его из заурядных пределов, вздымает над кастовым сознанием и превращает в идеального дворянина — дворянина как внесословный тип благородного человека.

Но распадается родившаяся в историческом пекле парадоксальная связь между судьбами Гринева и Пугачева — и тут же меркнет гриневская незаурядность. Тот миг, когда палач поднял за волосы мертвую голову крестьянского царя, стал и мигом ухода Петра Гринева с исторической арены. Ни единого его общественного деяния более не сохранили «семейственные предания».

Пугачев устроил семейное счастие Гринева и Маши Мироновой. Пугачев и Екатерина. Крестьянский царь и дворянская императрица.

И каков же финал этого исторического союза?

«…село, принадлежащее десятерым помещикам».

Внуки Гринева, разоренные дроблением имений, бессильны влиять на жизнь государства. Нищета подавляет их общественное сознание.

Это — Евгении из «Медного всадника», с мечтой о скромной честной жизни, о «приюте смиренном и простом», без малейших представлений об историческом долге.

В нескольких фразах послесловия Пушкин с печальным сарказмом перечеркнул политические возможности потомков честных и самоотверженных Гриневых, которые оставили своим наследникам традицию самоустранения и поместья с тенденцией к полному измельчанию. То есть — политическое бессилие и нищету.

Гринев и его наследники — дворянское большинство, основные силы благородного класса. После разгрома своего авангарда они обречены либо впасть в общественную апатию, либо, доведенные до отчаяния, слиться с бунтующей крестьянской массой.

Как разумная и конструктивная политическая сила дворянство исчезало у него на глазах. Еще можно было спасти подрастающие поколения, соответствующим образом их воспитывая. Но эту возможность у него решительно отбирали. «Современник», лишенный права обращаться к публике с политической публицистикой, что в свое время принесло такую популярность «Московскому телеграфу», от номера к номеру терял

тираж.

Выпустив в конце тридцать шестого года «Капитанскую дочку», он снова сказал о кровавом прошлом и тем более страшном будущем, что «хорошее дворянство», спасшее государство тогда, теперь не существует. Его растоптали те, кого оно защищало и спасло несколько десятилетий назад…

Еще можно было вернуть дворянству почву под ногами и самоуважение. Для этого надо было восстановить систему майоратов, уничтоженных «плутовством Анны Иоанновны», ибо ее, самодержицу в самом тупом и вульгарном проявлении, пугало сильное и самостоятельное дворянство, мыслящая часть которого в 1730 году пыталась добиться подобия конституции.

Нужно было, по глубокому убеждению Пушкина, вернуть майораты, что планировал Сперанский, о чем упорно толковал Михаил Орлов, о чем всю жизнь старался Киселев. И тогда началась бы новая порода дворян, уверенных в себе, с сознанием устойчивости, с ощущением независимости.

И тогда младшие сыновья, уже не рассчитывающие на клочья разодранных имений, должны были бы опираться только на свои способности, свою энергию и составили бы род третьего сосло-

вия, но не третье сословие, ибо мировосприятие у них было бы дворянское.

А в основе дворянского мировосприятия должны лежать понятия чести и долга.

И это был бы тот материал, из коего можно было бы воспитать людей реформы, людей противостояния необузданному «дряблому деспотизму».

Пушкин долго верил во все это. К осени тридцать шестого года вера иссякла.

К осени тридцать шестого года он понял, что проиграл Уварову борьбу за симпатии публики.

Понял, что проиграл и цензурную борьбу.

Понял, что царь и Бенкендорф ему не защита.

«Современник» не расходился. Тираж его падал от номера к номеру. После смерти издателя неразошедшиеся экземпляры первых выпусков рассматривались опекой как цены не имевшие, как макулатура…

Когда «Современник» был разрешен, Сергий Семенович, взбешенный, широко предрекал его неуспех. И соответственно, как мог, этому неуспеху способствовал.

В январе Никитенко записал в дневник сразу после известий о скандале с «Лукуллом»: «…дня за три до этого Пушкину уже разрешено было издавать журнал… Цензором нового журнала

попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии».

14 апреля: «Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора, в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия, вроде того, что такой-то король скончался».

Дело было даже не в постоянных мелких придирках, а в том, что, пристально следя за журналом, Уваров пресекал каждую попытку Пушкина заговорить на политическую тему. Он выбрал эту тактику, ибо разрешение дано было императором на литературный журнал, и позиция его оказывалась неуязвимой.

Чисто литературный журнал обречен был на неуспех.

Попытки апеллировать к Бенкендорфу не удались. Сергий Семенович на сей раз все рассчитал точно.

В августе Пушкин сделал последнюю — чрезвычайно для него важную — попытку. Он подал в цензуру статью «Александр Радищев». Поми-

мо всего прочего, это была декларация своих намерений. Он снова пытался убедить правительство поверить чистоте и положительности его намерений. Он чувствовал, знал, что для правительства он остается — как это ни поразительно! — автором «Гавриилиады», «Вольности», «Андрея Шенье», «возмутительных стихов» — прежде всего.

Он не только в этом не ошибался, но даже и преуменьшал для себя подозрения правительства.

После его смерти Бенкендорф в отчете за тридцать седьмой год с окончательной ясностью сформулировал отношение свое и Николая к убитому: «Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он, однако, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества».

Они искренне считали его центром оппозиции. Но как прав был поздно прозревший Вяземский, горько повторивший слова Мицкевича: «Он умер,

сей человек, столь ненавидимый и преследуемый всеми партиями».

И Пушкин сознавал это дьявольское недоразумение.

Он хотел сказать власти, что не «упорствует в тайном недоброжелательстве» и не стремится вызвать возмущение, а проповедует «улучшение государственных постановлений», и не нужно ему в том мешать.

«Смиренный опытностию и годами, — писал он о Радищеве, — он даже переменил образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему, и помирился искренно со славной памятию великой царицы.

Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».

Он писал о себе. И далее следовало самое важное: «Он как будто старается раздражить

верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».

Это была программа идеальных взаимоотношений власти и писателей.

Не надо принимать все сказанное за чистую

монету. Он вел свою игру. Он прекрасно знал цену екатерининской любви и уважения к литераторам.

Он писал некогда: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев сослан был в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фон-Визин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность… Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и короне, он не знал, не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна».

С тех пор прошло полтора десятка лет, и сам он изменился. Но реальность екатерининского царствования осталась прежней.

Он пытался — в последний раз — дать урок власти. Объяснить, как надо вести себя с литературой. И предложить сотрудничество.

Он знал, что человек должен меняться и что, «покорный общему закону», сам он во многом не тот, что прежде.

Но знал он и то, что порядочный человек не должен изменять чести и долгу. Радищев — пре-

ступник с точки зрения законов империи. Но преступник, «действующий с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостию». Самоотвержение и рыцарская совестливость — синонимы долга и чести.

И потому, что Радищев таков, он, меняясь с годами, не может изменить тому, чего требуют от него долг и честь. И сразу же за словами о том, как отринул Радищев заблуждения молодости, Пушкин пишет с сознательной непоследовательностью о его героическом конце: «Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям». Изменившись, Радищев не изменил себе — «своим прежним мечтаниям». И когда понял, что надежда и на сей раз обманула его, — предпочел смерть…

Пушкин знал, что есть граница общественного компромисса, что он уже прижат спиной к этой границе и что дальше отступать некуда, ибо дальше — бесчестье.

Он и хотел бы махнуть на все рукой, отступиться, смириться, полюбить то, что полагалось. Как писал после его смерти Вяземский в потайной книжке: «Для некоторых любить отечество —

значит дорожить и гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и тому подобными и подобным. Для других любить отечество — значит любить и держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и прочих и прочего. Будто тот не любит отечество, кто скорбит о худых мерах правительства, а любит его тот, кто потворствует мыслью, совестью и действием всем глупостям и противозаконностям людей, облеченных властью?»

Он, быть может, и хотел бы — так. Но не мог.

Рыцарская совестливость не позволяла ему перестать быть собой.

26 августа статья, предназначенная для «Современника», передана была цензором Александром Лукичом Крыловым Уварову. Сергий Семенович лично осуществлял верховный надзор за пушкинскими сочинениями.

Двадцать лет назад Уваров-либерал с сочувствием отзывался о Радищеве и сетовал, что его забыли. В августе тридцать шестого года министр просвещения начертал следующую издевательскую резолюцию: «Статья сама по себе недурна и с некоторыми изменениями могла бы быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о

писателе и о книге, совершенно забытых и достойных забвения».

Так вбит был последний гвоздь. Пушкин понял, что перед ним стена.

В том же августе он писал Денису Давыдову: «Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как ныне… Цензура дело земское; от нее отделили опричнину — а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением».

И верно — Сергий Семенович подбирал цензоров, служивших лично ему, и подбирал соответственно своим идеям. Несколько позже Булгарин, которому грех было жаловаться на притеснения, хватким умом уловил суть происходящего: «Взгляните на нынешних цензоров! Кто с борка, кто с сосенки! Замечательно, что во всем составе цензуры был один только природный дворянин покойный Корсаков… Цензор Крылов признан негодным занимать место адъюнкта статистики в университете, куда девать его? В цензоры! Этот человек почти идиот, туп, как бревно!..»

Дело тут не в личных качествах цензоров, а в принципе их подбора. Эпоха официальной на-

родности, победоносная уваровщина, выдвигала «людей из народа», противостоящих дворянской интеллигенции.

Так Грозный некогда охотно брал в опричники людей безродных и иноземцев…

В том же августе тридцать шестого года Пушкин, принявшись было исправлять «Медного всадника» по давним замечаниям императора, внезапно и уже навсегда оставил рукопись. Публикация «Медного всадника» могла не только поднять его гибнущую литературную репутацию, но в некотором роде заменить политическую публицистику. Однако после того, что произошло со статьей о Радищеве, Пушкин понял, что поэма обречена, и бросил работу.

Уже окончен был гениальный лирический цикл лета тридцать шестого года — «Мирская власть», «Как с древа сорвался предатель ученик…», «Не дорого ценю я громкие права…», «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Когда за городом задумчив я брожу…», — в котором начертал он себе новый жизненный путь. Но для того, чтоб на этот путь вступить, нужно было вырваться из страшного настоящего — цепкого, вязкого, хищного.

Взломать, взорвать западню, вырваться — и

обернуться готовым к смертельному отпору. Свершить то, к чему готовился он всю свою бурную молодость, подставляя себя под пули случайных противников.

21 августа он написал «Памятник», в котором провозгласил свою вечную победу и сегодняшнее поражение…

В апреле он хоронил в Святогорском монастыре Надежду Осиповну и прощался с Михайловским, которое не думал уже больше увидеть, ибо муж Ольги Сергеевны, Павлищев, терзал его требованиями продать недоходное имение.

В мае Пушкин приехал в Москву. Виделся с Чаадаевым и Орловым.

Ясно было, что могучего Орлова, рожденного для мощного действия, убивают неподвижность и ненужность. За обедом Пушкин смотрел на блистательных людей — Орлова, Чаадаева, Александра Раевского, и ему казалось, что он пирует с призраками. Их отсекли от жизни.

И они сами понимали это. На следующий год Чаадаев писал Орлову: «Да, друг мой, сохраним нашу прославленную дружбу, и пусть мир себе катится к своим неисповедимым судьбинам. Нас обоих треплет буря, будем же рука об руку и твердо стоять среди прибоя. Мы не склоним нашего

обнаженного чела перед шквалами, свистящими вокруг нас. Но главным образом, не будем более надеяться ни на что, решительно ни на что для нас самих… Какая необъятная глупость, в самом деле, надеяться, когда погружен в стоячее болото, где с каждым движением тонешь все глубже и глубже».

Но Орлов не мог жить в тупике истории, в который его загнали.

Пушкин знал, что ему грозит та же участь. Оглядываясь окрест, он видел страшную для себя картину. Главная для него общественная сфера — воспитание юношества — оказалась во власти людей нечистых. Директором всех военно-учебных заведений стал генерал Сухозанет — как писал о нем Пушкин, «вышедший в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока». Сухозанет, расстрелявший картечью мятежное каре у Медного всадника, теперь воспитывал будущих офицеров.

Оглядываясь окрест, Пушкин натыкался взглядом на лица, вызывавшие презрение и отвращение.

Он видел манерного и неумного Чернышева — военного министра, появлявшегося на людях с накрашенными щеками и бровями.

Он видел министра иностранных дел Нессельроде, о котором Тютчев сказал, «что Нессельроде напоминает ему египетских богов, которые скрывались в овощи: „Чувствуется, что здесь внутри скрывается бог, но не видно ничего, кроме овоща“».

Три года назад Пушкин писал в дневнике о том, что Нессельроде получил двести тысяч для прокормления голодающих своих крепостных, но наверняка оставит их в собственном кармане…

Овощи, прикидывающиеся богами и уверенные в том, что они боги, окончательно завладевали властью.

На исходе последекабристского десятилетия Никитенко, приближенный Уваровым, но не понятый им, живший своей потайной жизнью, вынес в дневнике приговор деятельности «вождя просвещения»: «Причина нынешнего нравственного падения у нас, по моему наблюдению, в политическом ходе вещей. Настоящее поколение людей мыслящих не было таково, когда, исполненное свежей юношеской силы, оно впервые вступило на поприще умственной деятельности. Оно не было проникнуто таким глубоким безверием, не относилось так цинично ко всему благому и прекрасному. Но прежнее объявило

себя врагом всякого умственного развития, всякой свободной деятельности духа. Не уничтожая ни наук, ни ученой администрации, оно, однако, до того затруднило нас цензурою, частными преследованиями и общим направлением к жизни, чуждой всякого нравственного самопознания, что мы вдруг увидели себя в глубине души как бы запертыми со всех сторон, отгороженными от той почвы, где духовные силы развиваются и совершенствуются.

Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не шутят; что от нас требуют безмолвия и бездействия; что талант и ум осуждены в нас цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для них в тюрьму; что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, — когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основании которого позволено действовать, — тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело. Все его высокие чувства, все идеи, согревавшие сердце, воодушевлявшие его к добру, к истине, сделались мечтами без вся-

кого практического значения — а мечтать людям умным смешно. Все было приготовлено, настроено и устроено к нравственному преуспеянию — и вдруг этот склад жизни и деятельности оказался несвоевременным, негодным; его пришлось ломать и на развалинах строить канцелярские камеры и солдатские будки.

Но, скажут, в это время открывали новые университеты, увеличили штаты учителям и профессорам, посылали молодых людей за границу для усовершенствования в науках.

Это значило еще увеличивать массу несчастных, которые не знали, куда деться со своим развитым умом, со своими требованиями на высшую умственную жизнь… Ничего удивительного, если иные из молодых людей доходят до самоубийства…»

Никитенко сравнивал отнюдь не эпоху до 14 декабря и после. Он говорил о годах деятельности Уварова — после тридцать первого года, когда «открывали новые университеты… посылали молодых людей за границу». Он говорил о наступлении уваровщины, просвещавшей людей для рабского существования, и о страшной деформации душ от безжалостной двойственности процесса…

Кончали с собой не только молодые люди. В тридцать седьмом году застрелился неукротимый полковник фон Бок, некогда близкий к Александру и в бешеном меморандуме высказавший ему всю горечь разочарования людей дворянского авангарда. Это было в семнадцатом году. Он был объявлен сумасшедшим и провел девять лет в Шлиссельбурге.

Освобожденный Николаем под тщательный полицейский надзор, фон Бок прожил в своем имении десять лет, присматриваясь к происходящему в стране. И на одиннадцатый год — застрелился.

Они уходили — люди дворянского авангарда.

Скоро умрет Денис Давыдов, вытесненный и оскорбленный.

Скоро умрет Сперанский, униженный и сломленный.

Они не доживут до конца четвертого десятилетия века.

За ними уйдет, «измучен казнию покоя», Михаил Орлов.

Вот-вот ошельмуют и объявят безумцем Чаадаева…

19 октября тридцать шестого года, окончив послесловие к «Капитанской дочке», Пушкин начал

ответ Чаадаеву на присланное им «Философическое письмо», опубликованное в «Телескопе».

Он искренне был не согласен с историческим взглядом Чаадаева, но в черновом варианте ответа начертал свою картину, по злой горечи не уступающую чаадаевской: «Петр Великий укротил дворянство, опубликовав Табель о рангах, духовенство — отменив патриаршество… Но одно дело произвести революцию, другое дело — это закрепить ее результаты. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии; Александр сам был якобинцем. Вот уже 140 лет, как Табель о рангах сметает дворянство; и нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке…»

Он имел в виду дурную, рабскую демократию официальной народности. И, стараясь изо всех сил сохранить человеческую признательность императору, которому считал себя обязанным, он преувеличивал его благие намерения, он все еще хотел верить, что Николай вернется к идеям конца двадцатых годов…

«Что касается духовенства, оно вне общества, оно еще носит бороду. Его нигде не видно, ни в

наших гостиных, ни в литературе… Оно не принадлежит к хорошему обществу. Оно не хочет быть народом. Наши государи сочли удобным оставить его там, где они его нашли. Точно у евнухов — у него одна только страсть к власти. Потому его боятся».

Переписывая письмо набело, он многое смягчил. Все, кроме оценки окружавшей их жизни.

В беловом варианте: «Поспорив с Вами, я должен Вам сказать, что многое в Вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

В черновике: «Что надо было сказать и что Вы сказали, это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо; это всякое отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости, праву и истине: ко всему, что не является необходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству человека. Надо было прибавить (не в качестве

уступки, но как правду), что правительство все еще единственный европеец в России. И сколь грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания…»

Если бы Никитенко, считавший Пушкина циником, восхвалявшим чистую красоту, а при этом исполненным нравственного безобразия, мог прочесть эти строки, он поразился бы совпадению их оценок происходящего…

Вечером того же дня 19 октября Пушкин на лицейском юбилее начал читать стихи, написанные на этот случай, — и не смог. Голос его прервался, и он, отвернувшись, закрыл лицо рукой…

Через две недели он получит анонимные письма.

Если уходящая эпоха уходит, не выполнив своего предназначения, для коего имела силы и средства, она уходит тяжело, болезненно, свирепо, волоча за собою — как взбесившийся конь застрявшего ногой в стремени всадника — тех, кто не смирился с поражением и пытался удержаться в седле.

Агония дворянской чести

Как человек с предрассудками – я оскорблен.

А. С. Пушкин. 1836 г.

Русская дуэль была жесточе и смертоноснее европейской. И не потому, что французский журналист или австро-венгерский офицер обладали меньшей личной храбростью, чем российский дворянин. Отнюдь нет. И не потому, что ценность человеческой жизни представлялась здесь меньшей, чем в Европе. Но потому, что Россия, вырвавшаяся из представлений примитивно-феодальных одним рывком, а не прошедшая многовековой естественный путь, трансформировавший эти представления, обладала совершенно иной культурой регуляции частных отношений. Здесь восприятие дуэли как судебного поединка, а не как ритуального снятия бесчестия, оставалось гораздо острее.

Отсюда и шла жестокость дуэльных условий — и не только у гвардейских бретеров, а и у людей зрелых и рассудительных, — от подспудного сознания, что победить должен правый. И не нужно

мешать высшему правосудию искусственными помехами.

Но правосудие не есть самосуд. И все усилия секундантов в России сводились к тому, чтобы поставить противников в равные условия. Для этого и требовался свод твердых правил. Такого — писаного и утвержденного какими-либо авторитетами — дуэльного кодекса не было. Пользовались традицией, прецедентами — это оказывалось достаточно расплывчато.

Беда была в том, что такого писаного и утвержденного кодекса не существовало и в Европе — до 1836 года.

Появился он во Франции, на которую после революции 1830 года обрушилась дуэльная лавина. В ситуации внезапно возросшей свободы печати появилась необходимость ввести публичную полемику в пределы, исключающие личные оскорбления. С тридцать второго по тридцать пятый год в Париже зафиксировано было 180 «журналистских поединков».

В России подобный повод для дуэли казался нелепым. На прямые оскорбления, которым подвергался Пушкин в фельетонах Булгарина, он никогда не думал ответить вызовом. Дуэль для него была средством разрешения конфликтов

куда более серьезных, чем литературные склоки. Он прямо об этом писал: «Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся — какова компания, таков и разговор; если на улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно тебе вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто». Речь шла о том, что пасквилянта надо бить памфлетом, литературным сарказмом, а не клинком или пулей.

Он писал с уважением об английском аристократе, который равно готов и к благородному поединку, и к кулачному бою с простолюдином. Но особость русской дуэли была ему ясна: в Англии для защиты чести человек располагал полным арсеналом правовых средств, в самодержавной, деспотической России — только дуэлью…

В Париже дело обстояло иначе. И знаменитый аристократический Жокей-клуб обратился к графу Шатовильяру с предложением составить и издать дуэльный кодекс. Кодекс, составленный Шатовильяром на основе традиции и рукописных правил, подписали около ста аристократов, известных своей щепетильностью в делах чести, и он стал непререкаемым руководством для секундантов и дуэлянтов. На его основе изданы были кодексы и в других европейских странах.

Ко времени последней пушкинской дуэли ко-

декс этот, быть может, и дошел до Петербурга. Да это, впрочем, не важно. Основные его положения в России знали давно, но корректировали смело.

Одно из основополагающих правил гласило: «За одно и то же оскорбление удовлетворение можно требовать только один раз».

Раненый Пушкин сказал: «Когда поправимся, начнем сначала».

Одной из главных задач европейских кодексов было не допускать заведомо смертельного характера дуэли: «Ни в каком случае не должны секунданты предлагать дуэль „на жизнь или смерть“ или соглашаться на нее».

В России такие поединки происходили постоянно. Вспомним «четверную дуэль» — Завадовского с Шереметевым и Грибоедова с Якубовичем.

Страшной особенностью дуэли, требовавшей от поединщика железного хладнокровия, было право сохранившего выстрел подозвать выстрелившего к барьеру и расстрелять на минимальном расстоянии как неподвижную мишень. Потому-то дуэлянты высокого класса не стреляли первыми. Так обычно поступал и Пушкин.

Даль писал: «Я слышал, что Пушкин был на четырех поединках, из коих три первые кончились эпиграммой, а четвертый смертию его. Все

четыре раза он стрелялся через барьер, давал противнику своему, где можно было, первый выстрел, а потом сам подходил к барьеру и подзывал противника».

Свидетель поединка Завадовского с Шереметевым констатировал: «По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника». Но так следовало по «вечным правилам» русской дуэли. Ибо европейский кодекс требовал: «Кто выстрелил, тот должен остановиться и выждать ответный выстрел в совершенной неподвижности».

Это требование внесено было в условия последней пушкинской дуэли, конечно же, по настоянию д'Аршиака, ориентированного на европейский гуманный кодекс.

Так поступил Грибоедов, но не по условию, а по желанию искупить вину перед покойным Шереметевым. Большинство же дуэлянтов бестрепетно использовали свое жестокое право.

Европейский кодекс требовал: «Для всех дуэлей на пистолетах одно и то же правило:

Дистанция между противниками никогда не должна быть менее 15 шагов».

15 шагов было для Европы минимальным расстоянием между барьерами, а обычным счи-

талось 25–35 шагов.

В русских поединках минимальным расстоянием было 3 шага, как собирался стреляться К. П. Чернов, дуэли на 6 шагах не были экзотикой, а средним расстоянием считалось 8–10 шагов.

15 шагов как минимальное расстояние, а тем паче 25–35 шагов не встречались никогда.

В европейском кодексе дуэль на 10 шагах считалась столь же «необыкновенной», как и дуэль с одним заряженным пистолетом. Подобные варианты секундантам предлагалось «решительно отвергать».

Таким образом, дуэль Пушкина с Дантесом по европейским меркам выглядела «необыкновенной», незаконной. А его дуэль со Старовым — с неуклонным сближением барьеров — совершенным варварством, ибо один из пунктов правил для боя на пистолетах требовал: «Когда оскорбленному нанесено оскорбление 3-го или 2-го рода (тяжкие оскорбления. — *Я. Г.*), то ему, при дистанции в 35 шагов, принадлежит всегда первый выстрел».

35 шагов при тяжком оскорблении — Толстой-Американец, Дорохов, Якубович да и Пушкин умерли бы от смеха.

Во время дуэльной истории конца тридцать

шестого года Пушкин издевательски говорил д'Аршиаку: «Вы, французы, вы очень любезны. Все вы знаете латынь, но когда вы деретесь на дуэли, вы становитесь в 30 шагах и стреляете в цель. Мы же, русские, — чем поединок без… (пропуск в записи Соллогуба. — *Я. Г.*), тем он должен быть более жестоким».

По имеющейся статистике, во Франции при обилии поединков погибало в год (с 1839-го по 1848-й) не более шести человек. Это говорит о том, что составители и блюстители европейских дуэльных правил думали прежде всего именно о демонстрации готовности участников поединка к риску, к бою. В европейской дуэли оставался смертельный риск, но все возможное было сделано для того, чтобы кровавый исход оказывался уделом несчастного случая.

В русской дуэли все ставилось так, что бескровный вариант был уделом счастливой случайности. Идея дуэли-возмездия, дуэли-противостояния государственной иерархии, дуэли как мятежного акта требовала максимальной жестокости.

Когда в николаевские времена оказалась размыта эта идея, с нею одрябли и прежние представления о дуэли. Жестокость осталась. Ушел

высокий смысл…

Дуэлей и в тридцатые годы было предостаточно. Но какой-то странный оттенок имело большинство из них.

В октябре тридцать четвертого года Александр Булгаков писал брату: «Только и разговора у нас что о дуэли Воейкова и Веревкина; обоих я знаю, сожалею об обоих, но паче о Веревкине, который будет иметь камень на совести своей (толкуй себе там, как хочешь, и оправдывай убийцу законами чести, он все убийца), да и брата вовлек в несчастие, взявши его в секунданты».

Два молодых офицера — Воейков и Веревкин — поссорились из-за совершенного пустяка. Дуэли из-за ссоры бывали и раньше — карты, пустая ревность, обидчивая мнительность, — но здесь и того не было. Один приставал к другому с разговорами, когда тому помолчать хотелось. История ссоры тянулась долго и нелепо. И закончилась смертью Воейкова.

Но эта дуэль, по крайней мере, имела некоторое сходство с настоящими поединками.

Многие ссоры, которые раньше привели бы противников к барьеру, теперь получали постыдный, с точки зрения человека чести, оборот.

Император теперь получал такие вот рапор-

ты: «Во время бывших 1 сентября прошлого 1830 года маневров, когда Лейб-кирасирский Ее Императорского Величества полк следовал от Царского Села к Павловску и позволено было людям стоять вольно, полковой адъютант того полка поручик Запольский, подойдя к офицерам, объявил им, что по высочайшему Вашего Величества соизволению приглашаются из полка 4 офицера в Царскосельский дворец на бал и что на вход в оный присланные билеты имеют быть выданы старшим офицерам; но как многие из таковых отказались, то последний билет достался из подсудимых поручику Ключинскому. Корнет граф Платер, узнав, что более билетов уже нет, обратился к нему, поручику Ключинскому, с усмешкою, что он не может быть во дворце потому, что не умеет танцевать и говорить по-французски; на сие Ключинский ответил графу Платеру, что сие говорить глупо и неприлично, а Платер сказал, что заставит его молчать, и при сем случае, грозя перчаткою, задел его по носу, отчего Ключинский, придя в запальчивость, ударил графа Платера рукою по лицу; но когда увидели сие ротмистры Каблуков и барон Розен, то стали между ними и тем сие происшествие прекратили».

Здесь много любопытного — и то, что старшие офицеры гвардейского полка отказываются от чести явиться на дворцовый бал, и происхождение поручика Ключинского, на которое и намекал граф Платер, — поручик поступил в гвардию из сенатских регистраторов вольноопределяющимся унтер-офицером и только в 27 лет стал поручиком. Офицер лейб-гвардии кавалерийского полка — фактический разночинец, без светского воспитания и французского языка. Но самое удивительное — что публичная пощечина, данная одним гвардейским офицером другому, не привела к поединку. Оба были наказаны, но остались в военной службе. Дело чести передоверили начальству.

Десять лет назад такое было совершенно невозможно.

Это была гвардия новой эпохи.

За год до того, в двадцать девятом году, император Николай принял весьма многозначительное решение, касающееся вопросов офицерской чести…

С петровских времен репутация офицера прочно зависела от мнения его сослуживцев. Петр, железный деспот, своей гениальной интуицией постигал тем не менее, что для нормального

функционирования жесткая государственная структура, схваченная единой самодержавной волей, должна иметь некий противовес. Этот противовес он видел в принципе коллегиальности. Принцип этот, положенный им в основу деятельности экономических учреждений, распространялся и на армию. Во время войны все крупные решения Петр предварительно отдавал на обсуждение военных советов. И хотя неизменно торжествовала его собственная точка зрения, но генеральское самочувствие много выигрывало от возможности бесстрашно изложить свою позицию. В отсутствие же царя военные советы приобретали реальный смысл.

Петр остро чувствовал, что самоуважение каждого офицера — основа боеспособности армии. И, с одной стороны, подавляя это самоуважение полным бесправием их перед лицом самодержца, он — с другой — пытался возместить это правом коллегиальных решений, касающихся офицерской репутации. С 1714 года производство в следующие чины штаб-офицеров производилось только по согласию «всей дивизии генералитета и штаб-офицеров», а для производства обер-офицеров требовалось свидетельство штаб— и обер-офицеров соответствующего полка. В скором

времени для замещения вакантных командных должностей введено было баллотирование — при участии всех офицеров. То есть решающим при определении профессиональной и человеческой репутации офицера становилось общественное мнение.

Принцип баллотирования отменен был Павлом.

Последние десять лет александровского царствования шла подспудная борьба между этой традицией и стремлением власти ее уничтожить, но зависимость офицера в делах чести от мнения его товарищей продержалась до 1829 года.

Владимир Раевский вспоминал о начале двадцатых годов: «Аракчеев не успел еще придавить или задушить привычных гуманных и свободных митингов офицерских. Насмешки, толки, желания, надежды… не считались подозрительными и опасными».

Результатом действий офицерского общества была, например, история устранения подполковника Ярошевицкого, приведшая к дуэли Киселева с Мордвиновым, который не сумел вовремя разрешить конфликт между офицерами. Особенно сильно было влияние офицерских союзов в гвардии, где интеллектуальный и моральный

уровень офицерства был достаточно высок.

В начале шестидесятых годов, когда с устрашающей очевидностью выявились последствия николаевской политики по отношению к просвещенному дворянству — и офицерству в первую очередь — и когда начались попытки возродить прежний, дониколаевский дух офицерского корпуса, — генералы, помнившие времена Ермолова, Раевского, Милорадовича, утверждали: «Наши военные знаменитости того времени поддерживали суды общества офицеров; они справедливо видели в этом праве суда высокое нравственное учреждение, единственное для правительства ручательство в том, чтобы в рядах армии не было недостойных офицеров и чтобы офицеры везде и всегда исполняли свой долг».

Для Николая понятие личной чести дворянина было чем-то глубоко второстепенным по отношению к его верноподданническим и чисто служебным обязанностям. «Что вы мне со своим мерзким честным словом!» — крикнул он декабристу, пытавшемуся объяснить ему, что предательство противно чести.

Нечистоплотный авантюрист и корыстный провокатор Шервуд был переведен им в гвардию и получил приставку к фамилии — Верный.

Представления офицерских сообществ о чести — даже пришибленных расправой с авангардом — существенно не совпадали с новой моралью. Исходивший из принципа максимальной концентрации всякой власти, Николай не собирался допускать и рассредоточения нравственного авторитета. Он хотел быть — лично и через доверенных начальников — единственным судией и в делах чести.

В двадцать девятом году полномочия офицерских собраний выносить приговоры по делам чести были официально ликвидированы.

Николай, в котором было куда больше «от прапорщика, чем от Петра Великого», радевший об укреплении власти — в самом узком и вульгарном смысле, — не понимал, да и не мог понять, какой удар наносит он по нравственным устоям офицерства и всего дворянства.

Разумеется, дело было не только в этом запрете. Но император решительно поддержал одну — растлевающую — тенденцию и еще более придавил другую, опирающуюся на чувство личной чести и личного долга, а не на их официозные муляжи…

Атмосфера менялась стремительно. Теперь можно было совершить некрасивый поступок

на глазах у всех и пренебречь общественным мнением без всякого ущерба для положения и карьеры.

Когда аристократ Лев Гагарин в конце тридцатых годов публично оскорбил графиню Воронцову-Дашкову, ее друг — аристократ Сергей Долгоруков — не счел нужным вмешаться. Более того, вызванный на дуэль возмущенным свидетелем этого позора, Гагарин сумел избежать поединка (при покровительстве Бенкендорфа) — и продолжал благоденствовать.

Общая атмосфера столь изменилась, что даже люди достойные и храбрые оказывались в глупом и непристойном положении.

Булгаков писал в тридцать втором году: «Много занимает город история нашего князя Федора Гагарина с Павлом Ржевским. Говорят, что они сегодня будут драться: стыдно в их лета резаться, и за вздор. Обедали у Яра в ресторации, о вздоре каком-то заспорили, о спарже, которую ел граф Потемкин. Только наконец так выругали друг друга, что так остаться не может. Гагарин сказал: „Вы забываете, что при мне сабля“, — а тот ему: „А при мне — стул, который я могу швырнуть вам в рожу“. — „Выйдите вон“, — сказал Гагарин. „Я не выйду, а вас вон выкину“.

Так как это было гласно, при множестве свидетелей, то князь Дмитрий Владимирович призвал их обоих, вероятно, чтобы кончить все как-нибудь; но не знаю, успел ли. Вчера говорили, что они сегодня будут стреляться и что Ржевский просил Корсакова Гришу в секунданты. Когда остепенится этот Гагарин? Какая горячка!.. Вот к чему ведут обеды трактирные!»

Булгаков напрасно беспокоился. На следующий день он сообщал с облегчением и иронией: «История Гагарина с Ржевским не имела последствий: их помирили, и всякий остался при куче грубостей, коими был наделен».

Федор Гагарин, генерал-майор, ветеран 1812 года, адъютант Багратиона, разве мог бы так постыдно закончить историю десять-пятнадцать лет назад? Ни в коем случае. А теперь можно было…

Теперь торжествовала не столько дуэльная, сколько хамская стихия. Наглая грубость заменяла гордость и, соответственно, всегда готова была пойти на попятный, встретив отпор. Ссор стало больше, дуэлей — меньше.

Никитенко, внимательный и едкий наблюдатель, увидел и это. И рассказал случай, происшедший с его приятелем, бывшим офицером

Фроловым: «Он пробирался сквозь толпу в театр. С ним рядом пролагал себе путь и какой-то офицер. Последний вдруг обращается к Фролову и грозно спрашивает: куда он тянется? Фролов изумился, но ни слова не отвечал и продолжал идти вслед за другими.

— Подите прочь отсюда, — закричал на него офицер, — или я вас отправлю на съезжую.

Фролов оцепенел и, как сам говорил, в первую минуту не нашелся, что ответить. Опомнившись, он бросился в театр на поиски за офицером, который тем временем успел скрыться. Он его не нашел, но хорошо запомнил лицо и цвет воротника его мундира. Долго ходил он по казармам, отыскивая его, но напрасно. Наконец наткнулся на него во время ученья, узнал его имя и адрес. Тогда Фролов явился к нему с двумя товарищами и призвал к ответу. Офицер струсил и просил прощения».

Никитенко в горестном изумлении сетовал: «Каково, однако, положение вещей в обществе, где ваш согражданин может грозить вам тюрьмою потому только, что он носит известный мундир, и, как этот полковник — это действительно был полковник, — оправдывать свой поступок дурным расположением духа… или

тем, что ваша физиономия не нравится ему. И это не единичный факт. Офицерских дерзостей не счесть».

Гвардейцы, теряющие представления о чести и благородстве, могли позволить себе любую дерзость, ибо отказ от дуэли стал возможен и решение конфликта прилично стало отдавать в руки властей. А власть охотно принимала сторону сильного. В том же тридцать шестом году двое офицеров от нечего делать оскорбили на петербургской улице чиновника. И, чтоб избежать объяснения, сдали его полиции…

В середине тридцатых годов оказалось, что для искоренения поединков вовсе не надо ужесточать наказания. Новая эпоха, теперь уже явно определившаяся и проявляющая себя, лишала дуэль ее главной функции — самостоятельной регуляции отношений внутри дворянства, поддержания представлений о правах личности в обществе политического бесправия. С изъятием, разгромом, оттеснением дворянского авангарда деморализованное, нравственно опускающееся российское дворянство отступалось от права на поединок, от права на противостояние вмешательству деспотического государства в личные дела человека чести.

Теперь злая фраза Николая: «Я ненавижу дуэли; это варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского» — звучала куда убедительнее, чем десять-пятнадцать лет назад.

Теперь можно было успешно наступать на традицию поединков и в сфере моральной.

В начале сороковых годов в придворной церкви Зимнего дворца в присутствии императора, придворных и военных некое духовное лицо произнесло проповедь, значительная часть которой яростно обличала дуэли. Проповедник сознательно взял один только аспект, и весь смысл его филиппики укладывается в бессмертную формулу Ивана Игнатьича, поднесенную им Гриневу: «И добро б уж закололи вы его… Ну а если он вас просверлит?.. Кто будет в дураках, смею спросить?» Вырождался и сам ритуал дуэли, превращаясь в самопародию. Гениальный наблюдатель происходящего Лермонтов рассказал дикую — по прежним понятиям — историю дуэли Печорина с Грушницким. Рассказал о том, как несколько офицеров задумали устроить из поединка — дела чести! — подлый фарс, зарядив только один из пистолетов. Печорин, изнывающий от отвращения к своему времени, убивает Грушницкого и за попытку посмеяться над последним правом

благородного человека — правом возвысить себя в честном поединке, правом скинуть липкую паутину нечистого времени и хоть на миг подняться в смертельно чистый воздух дуэли, где два человека остаются наедине с судьбой. Грушницкий и драгунский капитан — дети эпохи, готовы на поступок, немыслимый в декабристские времена. Дуэль для них — способ убийства. Честь — пустой звук. Дуэль, призванная защитить честь, служит к усугублению бесчестья…

«Как человек с предрассудками — я оскорблен», — сказал Пушкин в конце тридцать шестого года. Он был оскорблен бесчестностью, взявшей верх над честью, оскорблен самим стилем злорадно наступающей на него жизни. Чужой жизни, в которой неприменимы были его правила.

Распад дуэльного сознания давал устрашающие плоды.

Еще в тридцать втором году погиб добрый знакомый Пушкина Александр Ардальонович Шишков. Петр Киреевский сообщал поэту Языкову: «В Твери случилось недели две тому назад ужасное происшествие: зарезали молодого Шишкова! Он поссорился на каком-то бале с одним Черновым, Чернов оскорбил его, Шишков вызвал его на дуэль, он не хотел идти, и, чтобы заставить

его драться, Шишков дал ему пощечину; тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел, побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать Шишкова у крыльца, а когда Шишков вышел, чтобы ехать, он на него бросился и зарезал его. Неизвестно еще, что с ним будет, но замечательна судьба всей семьи Черновых: один брат убит на известной дуэли с Новосильцевым, другой на Варшавском приступе, третий умер в холеру, а этот четвертый, и, говорят, последний».

История эта потрясла людей с представлениями прошлой эпохи не только своей человеческой трагедийностью, но и зловещей идеологичностью. В двадцать пятом году старший Чернов неистово добивается поединка, возбуждаемый братьями и подталкиваемый политическими единомышленниками. Поединок для него — единственный достойный выход. В тридцать втором году младший Чернов предпочитает не менее естественному в данной ситуации поединку — откровенное убийство, коварный самосуд…

В мае тридцать шестого года обе столицы ошеломлены были делом Павлова. Чиновник Павлов смертельно ранил кинжалом чиновника Апрелева, когда тот возвращался с молодой женой из церкви после венчания. Схваченный и судимый

военным судом, он отказался объяснить что-либо и сказал только: «Причину моего поступка может понять и оценить только Бог, который и рассудит меня с Апрелевым».

И, уже лишенный дворянства, осужденный на каторгу, он согласился открыться самому императору и написал ему письмо.

Никитенко, как всегда, с печальной горестью описал происшедшее: «Удивительные дела! Петербург, насколько известно, не на военном положении, а Павлова велено судить и осудить в двадцать четыре часа военным судом. Его судили и осудили. Палач переломил над его головой шпагу или, лучше сказать, на его голове, потому что он пробил ему голову. Публика страшно восстала против Павлова, как „гнусного убийцы“, а министр народного просвещения наложил эмбарго на все французские романы и повести, особенно Дюма, считая их виновными в убийстве Апрелева. Ведь доказывал же Магницкий, что книга Куницына „Естественное право“, напечатанная по-русски и в Петербурге, вызвала революцию в Неаполе. Павлова, как сказано, судили и осудили в двадцать четыре часа. Между тем вот что открылось. Апрелев шесть лет тому назад обольстил сестру Павлова, прижил с ней

двух детей, обещал жениться. Павлов-брат требовал этого от него именем чести, именем своего оскорбленного семейства. Но дело затягивалось, и Павлов послал Апрелеву вызов на дуэль. Вместо ответа Апрелев объявил, что намерен жениться, но не на сестре Павлова, а на другой девушке. Павлов написал письмо матери невесты, в котором уведомлял ее, что Апрелев уже не свободен. Мать, гордая, надменная аристократка, отвечала на это, что девицу Павлову и детей ее можно удовлетворить деньгами. Еще другое письмо написал Павлов Апрелеву накануне свадьбы. „Если ты настолько подл, — писал он, — что не хочешь со мной разделаться обыкновенным способом между порядочными людьми, то я убью тебя под венцом…“ Теперь Павлова приказано сослать на Кавказ солдатом с выслугою».

История эта удивительно напоминала историю Черновых — Новосильцевых. Но с печальной поправкой на другие времена. Все явственнее, подлее, циничнее. Теперь дворянин в немалом чине не стыдится бесчестья, публичного скандала, который некогда неминуемо повлек бы отказ от дуэли в столь щекотливых обстоятельствах. Здесь — в отличие от убийства Шишкова Черновым-младшим — самосуд остался единственным

способом защиты чести.

Право на поединок превращалось в право на отказ от поединка. Пощечина воспринималась как повод для предательского удара кинжалом. Угроза огласки бесчестного поступка хладнокровно игнорировалась…

Пушкин внимательно следил за всеми сколько-нибудь известными дуэльными историями и вообще смертельными столкновениями. Они давали возможность сравнивать эпохи, в них с кровавой громкостью говорило время.

«То, что ты пишешь о Павлове, — отвечал он жене из Москвы в мае тридцать шестого года, — помирило меня с ним. Я рад, что он вызывал Апрелева. — У нас убийство может быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэли и подвергается одному наказанию — а не смертной казни». Страшная история Павлова — Апрелева рождала мысль о распаде, растленности нравов. «У нас в Москве все, слава богу, смирно: бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащокин заступается за Киреева очень просто и очень умно: что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться. Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном

Кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки? По мне, драка Киреева гораздо простительнее, нежели славный обед наших кавалергардов и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут». Последний эпизод Пушкин трактовал как истинное знамение времени. А дело было, по рассказу Никитенко, вот какое: «…несколько офицеров, и в том числе знатных фамилий, собрались пить. Двое поссорились — общество решило, что чем выходить им на дуэль, так лучше разделаться так, кулаками. И действительно, они надавали друг другу пощечин и помирились… Дело дошло до государя, и кучка негодяев была исключена из гвардии».

То, что произошло в самом элитарном гвардейском полку, придавало истории особую прелесть. Могло ли произойти что-либо подобное в кавалергардском полку, когда служили в нем Репнин, Михаил Орлов, Лунин, Пестель? Разумеется, нет.

Вполне возможно, что участники драки и не были вовсе трусами. Им просто было наплевать на то, что для людей дворянского авангарда казалось святыней. Они легко отождествляли

себя с окружающим бесчестным миром. Для них пощечина оставалась пощечиной — результатом физического действия, и не более. Никакого символического значения она не имела.

Молодецкий гусарский разгул былых времен, воспетый Денисом Давыдовым, драка под горячую руку с немцами-ремесленниками, — выход молодых сил молодого времени, способ вырваться из системы предписаний, из имперской регламентации.

Но гвардейские офицеры, подменяющие дуэль дракой на кулаках?..

Дуэль теряла всякий оттенок судебного поединка, на который правый выходил с сознанием своей правоты. Чернов уповал на внезапный удар кинжалом, а не на справедливость дуэльной судьбы. Апрелев уповал на броню своего равнодушия к общественному мнению.

Пушкин с отвращением видел вокруг странных людей с понятиями гибельно чуждыми. Они не хотели бы стать иными, потому что так жить было удобнее и не надо было нести бремя чести.

Гвардейский офицер попался на наглом воровстве. Император отдал его на суд курляндскому дворянству, ибо родом преступник был курляндец. Это была попытка напомнить об особом

дворянском достоинстве. «Или хочет он сделать опять из гвардии то, что была она прежде? — с тоской вопросил себя Пушкин в дневнике. — Поздно!»

Поместив людей в бесчестный, лживый мир, ограничив их стремления казенным преуспеянием, подменив высокие цели фальшивыми кумирами, странно было ждать от них рыцарских добродетелей.

Нравственный распад дворянского большинства был необратим. Пушкин понимал это. Нравственный распад был необратим и неизбежен, ибо молодых дворян воспитывала уваровская эпоха, явившая себя в последние два-три года во всей своей отвратительности и теперь спокойно и уверенно налагающая холодную руку на всю российскую духовную жизнь.

В это время Пушкин сказал одному из своих близких знакомых, «что уже теперь нравственность в Петербурге плоха, что скоро будет полный упадок».

Вся история его последнего поединка — с постыдной попыткой Геккернов уклониться от дуэли путем женитьбы, с использованием его врагами анонимных писем, не являющихся по традиции поводом для вызова, — свидетельство

этого «полного упадка»…

Тем, кто решался сопротивляться наступающему распаду и понимал, что нужно сопротивляться, должно было приготовиться к мученичеству. Да их и немного было.

От западных морей до самых врат восточных

Немногие умы от благ прямых и прочных

Зло могут отличить…

Так писал он в тридцать шестом году.

Он умел отличить зло от блага. Он-то знал, что наступающее зло старается отнять у человека представление о чести и средствах защиты ее, выдавая жандарма за ангела-хранителя. Но никакая полиция не могла защитить его душу, его честь человека долга и правды.

Он уже знал, что никакой Бенкендорф не спасет его, если у него самого не хватит решимости и твердости.

Он знал, что его поединок с Уваровым — судебный поединок. И он, Пушкин, — боец, выставленный всеми казненными, сосланными, погубленными, последний боец дворянского авангарда, а потому — последняя надежда России.

И от того, как он закончит этот поединок — живой или мертвый, не в этом дело, — зависит слишком многое…

Судебный поединок.

«…Есть, есть Божий суд, наперсники разврата», — скажет над его могилой молодой гвардеец, увидевший поединок на Черной речке выше и глубже, чем даже и близкие и мудрые друзья убитого, увидевшие в те дни больше, чем раньше, — но на уровне бытовой драмы…

Бесы крупные и мелкие, или Прорыв из тьмы

Поручаю себя правде Божией и прошу поля.

Формула судебного поединка

Через год после смерти Пушкина праздновали юбилей Ивана Андреевича Крылова. Все речи, произнесенные за праздничным столом, опубликованы были в «Журнале Министерства народного просвещения». Все — кроме речи Василия Андреевича Жуковского. Вместо нее значилось: «Третий тост был предложен В. А. Жуковским за славу и благоденствие России и за успехи русской словесности. Певец отечественной славы и один из первых учредителей праздника приветствовал Крылова речью, в которой с глубоким выражением чувства, отличительным преимуществом своего прекрасного гения, он был изъяснителем народной благодарности к любимому русскому баснописцу. Рукоплескания несколько раз прерывали речь В. А. Жуковского».

Сама же речь напечатана была в специальном дополнении — к изумлению читателей…

Греч в мемуарах эту странность объяснил: «Жуковский по случаю юбилея чуть не рассорился с Уваровым. В речи своей на юбилее Жуковский упомянул с теплым участием о Пушкине, которого Уваров ненавидел за стихи его на выздоровление графа Шереметева. Уваров приказал подать к себе из цензуры, в рукописи, все статьи о юбилее Крылова и исключил из них слова Жуковского о Пушкине. Жуковский жестоко вознегодовал на это и настоял на том, чтобы речь его (не помню, где именно) была напечатана вполне».

Мемуарист несколько запамятовал — речь сперва вообще не была напечатана. Речь первого — теперь уже снова — русского поэта, воспитателя наследника, была изъята Уваровым из-за нескольких слов о мертвом Пушкине.

1 февраля тридцать седьмого года Александр Тургенев увидел Уварова на отпевании тела Пушкина. И подумал: «Смерть — примиритель». И страшно ошибся. Сергий Семенович пришел посмотреть на поверженного врага. Ни тени сожаления, раскаяния, милосердия к павшему не появилось в его душе.

Накануне Никитенко записал: «Сегодня был у министра. Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между

прочим, недоволен пышною похвалою, напечатанною в „Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду“.

Итак, Уваров и мертвому Пушкину не может простить „Выздоровления Лукулла“.

Сию минуту получил предписание председателя Цензурного комитета не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив сначала статьи ему или министру».

И на следующий день: «В университете получено строгое предписание, чтоб профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему».

Овцы уваровского стада не должны были окунаться в атмосферу сочувствия погибшему врагу уваровщины. Сергий Семенович знал, что делал.

И здесь он совершенно сошелся с Бенкендорфом…

Те, кто наблюдал эти пароксизмы ненависти к покойному, не сомневались, что корень в «Выздоровлении Лукулла». И поражались злопамятности министра.

А корень был глубже. Избавившись наконец от Пушкина — оттесненной, ограниченной в своих действиях, но еще грозной силы, — Сергий Семенович не мог допустить, чтобы посмертная слава и сострадание раздули притушенный было огонь пушкинского воздействия на публику.

Министр действовал более как министр, чем как злопамятный человек. Отец уваровщины защищал свое детище, которому Пушкин-мученик казался еще страшнее, чем Пушкин-проповедник. Сергий Семенович был умен.

Сразу после смерти Пушкина те, кто вчера не желал слышать о нем, стали бешено раскупать его сочинения. (Правда, длилось это недолго.)

Но с этим министр надеялся справиться.

Как прежде надеялся он справиться с живым противником, используя каждую возможность для создания вокруг Пушкина мертвой зоны — когда, например, Краевский опубликовал в «Прибавлениях к „Русскому инвалиду“» пушкинский «Аквилон», Уваров сказал Дондукову: «Разве Краевский не знает, что Пушкин состоит

под строгим присмотром тайной полиции как человек неблагонадежный? Служащему у меня в министерстве не следует иметь сношение с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин».

Сергий Семенович делал все, чтобы изолировать врага.

После смерти Пушкина Сергий Семенович упорно и тонко продолжал создавать покойному, но от этого не менее опасному противнику репутацию, выгодную ему, Уварову. Рекомендуя в тридцать девятом году императору стихи Хомякова — славянофильские и проникнутые религиозным чувством, он не преминул (казалось бы, вовсе некстати) вставить фразу о безбожии Пушкина. Николай эту фразу с удовольствием подчеркнул…

Надо полагать, что при такой ненависти — и животной, и глубоко осмысленной — Уваров не сложил оружия после провала интриги вокруг Репнина.

Можно быть уверенными, что Боголюбов кружил где-то рядом. Сергий Семенович и Варфоломей Филиппович ждали случая…

Варфоломей Филиппович со своей сатанинской физиономией, страстью к воровству и

бескрайним аморализмом был лишь самым откровенным плясуном в дьявольски-шутовском хороводе, который клубился вокруг Пушкина в последний год. Неестественно веселящиеся молодые люди — не буйствующие, не пьянствующие, не дерущиеся на дуэлях, но играющие в свои нечистые игры — были неким кордебалетом, а за их спинами шла скрытая и зловещая жизнь.

Вяземский впоследствии рассказывал: «Старик барон Геккерн был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части; в числе их находились князь Петр Долгоруков и граф Л. Соллогуб».

Князь Петр Долгоруков, выйдя из Пажеского корпуса и определившись в тридцать четвертом году в канцелярию министра народного просвещения, немедленно стал героем весьма некрасивой истории. Он попытался откреститься от долгов, сделанных им в корпусе. После энергичной официальной переписки долги были безусловно подтверждены, и князю пришлось платить… Аристократ-рюрикович, необычайно гордившийся своим происхождением, князь Долгоруков повел себя как мелкий мошенник

и лжец.

Когда впоследствии его обвинили в составлении подметных писем Пушкину, князь Вяземский сказал: «Это еще не доказано, хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность».

Современник рассказывал, как Долгоруков на каком-то балу осенью тридцать шестого года, кривляясь за спиной Пушкина, поднимал над его головою два пальца, изображая рожки, и указывал при этом на Дантеса…

И дело тут не в Долгоруком, который мог и не иметь никакого отношения к пасквилю, а в густо народившемся типаже — мелко и низко аморальном.

Ужас положения Пушкина в том и заключался, что, ощущая присутствие этой низменной враждебной стихии — кроме угроз высоких и явных, — он не мог уловить, откуда же идет опасность.

Это был бой в темноте — он знал, что враги близко, но не видел, не мог увидеть их. И готов был стрелять на звук, на шорох шагов, в едва различимый силуэт — мир стал опасно, но неразличимо враждебен.

В случае с князем Репниным он, уже схватившись за оружие, опомнился и преодолел

постоянное теперь свое желание — спустить курок.

Но нервы были натянуты, слух обострен. Он чувствовал себя в западне, словно мягкая, нечувствительная, но прочная сеть облегала его все плотнее, ограничивая дыхание. И нужно было отыскать в себе то единственное и точное, резкое и сильное движение, которого сеть не выдержит. Постепенно он приходил к выводу, что таким движением может быть только поединок. Но он не был мальчишка-буян или хладнокровный бретер, чтоб хватать первую подвернувшуюся жертву. Он вслушивался, пытаясь определить верное направление удара. Но не выдерживали нервы…

В январе опасные доброжелатели сообщили ему, что молодой граф Владимир Соллогуб дерзко разговаривал в обществе с Натальей Николаевной и потом хвастался этим. Пушкин расспросил жену и, поскольку Соллогуб уехал служить в Тверь, послал ему через Андрея Карамзина резкое требование объясниться, равнозначное вызову. Письмо затерялось. Ничего не подозревавший Соллогуб, соответственно, ничего и не ответил.

Но Пушкин жаждал поединка. И не скрывал своего презрения к молодому человеку, уклоняю-

щемуся от дуэли.

Это был самый разгар скандала вокруг «Выздоровления Лукулла».

Наконец сведения о пушкинском вызове достигли Соллогуба. И он немедленно ответил письмом, которое дошло до нас только в черновике. Но и черновик этот дает возможность важных выводов: «Нынешние обстоятельства не позволяют мне возвратиться в Петербург, если только Вы того не пожелаете непременно, да и в таком случае это было бы возможно лишь на несколько часов. Не имея, впрочем, намерения оспаривать Ваше вполне законное право вмешиваться в разговоры, которые ведутся с Вашей супругой, я отвечу на Ваши два вопроса, что я говорил ей о г-не Ленском, так как я только что обедал с ним у графа Нессельроде, и что я ничего не знал о сплетнях, говоря ей… и что, кроме того, у меня не было никакой задней мысли… не зная и всегда презирая сплетни… потому что никогда не знаю сплетен света и глубочайшим образом их презираю… всегда светские сплетни…

Что касается другого поставленного Вами вопроса, то я отнюдь не отказываюсь на него ответить; не получив от Вашей супруги никакого ответа и видя, что она с княгиней Вяземской

смеется надо мной… Что касается других подробностей того вечера… Если я задавал еще другие нескромные, быть может, вопросы Вашей супруге, то это было вызвано, может быть, личными причинами, в которых я не считаю себя обязанным давать отчет.

Вот, милостивый государь, все, что я могу Вам ответить. Спешу отправить это письмо на почту, чтобы как можно скорее удалить оскорбительные сомнения, которые Вы могли питать на мой счет, и прошу Вас верить, что я не только не склонен отступать, но даже сочту за честь быть Вашим противником».

Совершенно ясно даже из этих сбивчивых строк, что дело было не в развязности юного светского льва, ибо смешно и странно выглядела бы дуэль зрелого и знаменитого человека с двадцатидвухлетним щеголем из-за бальной неловкости. Но Пушкин болезненно настороженным слухом уловил здесь зловещую ноту. Ему показалось, что вот — обозначился силуэт реального врага, замаячил абрис долгожданной мишени…

Он отмел попытку примирения: «Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у Вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными

замечаниями и хвалились, что наговорили ей дерзостей.

Обстоятельства не позволяют мне отправиться в Тверь раньше конца марта месяца. Прошу меня извинить».

Он писал ответ в начале февраля, когда «лукулловская история» еще отнюдь не закончилась, а производная от нее история репнинская только начиналась. Когда он впервые почувствовал и увидел, как действует противник, разгадал подпольный маневр Уварова — Боголюбова.

И в соллогубовском эпизоде важен ему был не самоуверенный мальчишка, но мелькнувший кончик некой новой интриги, орудием которой этот мальчишка, быть может, оказался. «…Я говорил ей о г-не Ленском, так как я только что обедал с ним у графа Нессельроде, и что я ничего не знал о сплетнях, говоря ей…» и далее мучительные старания выпутаться из фразы о каких-то сплетнях, возникших в связи с именем Нессельроде…

Вот что могло заставить Пушкина требовать к смертельному ответу по пустячному поводу симпатичного ему недавно еще человека. Дело было не в Соллогубе.

Он хотел показать тем, кто, как ему почудилось, стоял за спиной юноши, что он готов на

крайность. Имя Нессельроде должно было только укрепить его подозрения. Но он демонстративно отметает наиболее значимую часть письма Соллогуба. Он оставляет повод, лежащий на самой поверхности. Ему важно было обозначить свою непримиримую позицию: он не допустит ни в малейшей степени, чтоб задевали его честь…

Граф Нессельроде, министр иностранных дел, формальный начальник Пушкина с самого момента его вступления в службу и до смерти, вряд ли когда-нибудь задумывался о судьбе этого своего чиновника. У него хватало иных хлопот. Другом его он ни в коем случае не был, но не был и врагом. Зато графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, урожденная Гурьева, ненавидела Пушкина со страстью, уступающей, быть может, только уваровской. В отличие от своего вполне бесцветного супруга графиня Мария Дмитриевна обладала сильным характером, несомненным умом и душевной мрачностью.

Баварский посланник де Брэ, близко знавший чету Нессельроде, писал о графине: «Приданое этой дамы составило основу того громадного состояния, каким владеет в настоящее время граф, а ее обширное родство немало способствовало тому, что ее мужу не повредило его иностранное

происхождение. Во всем остальном супруги как нельзя более несходны. Графиня имеет, по-видимому, все преимущества и недостатки, каких нет у графа; по складу ума и обхождения она надменна и повелительна, имеет обо всем свое собственное, вполне определенное мнение и подчиняется своим симпатиям и антипатиям. В этом отношении супруги удивительно дополняют друг друга. Полагаясь на здравый ум графини, канцлер имеет обыкновение не только часто беседовать с нею о делах политики, но, как говорят, даже зачастую советуется с нею. Впрочем, ее влияние проявляется более относительно личностей, нежели относительно событий».

Взаимная ненависть графини Марии Дмитриевны и Пушкина была общеизвестна. Вяземский утверждал: «Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски».

Еще в самом начале тридцатых годов графиня Мария Дмитриевна совершила поступок, который Пушкин с полным правом воспринял как оскорбительный выпад. «Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой Аничковский

вечер: Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и, между прочим, сказал: „Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю“». Так вспоминал Нащокин.

Унизительное и даже сомнительное положение, в которое попадал человек, чья молоденькая жена — одна! — ездила на интимные придворные вечера, было столь очевидно, что многоопытная графиня Мария Дмитриевна не могла этого не понимать.

На рассчитанный ход Пушкин и ответил соответственно.

Дочь едва ли не самого бездарного за всю российскую историю министра финансов, жена едва ли не самого бесцветного министра иностранных дел, графиня Мария Дмитриевна, злобно проницательная, в отличие от отца и мужа обладавшая волей и умом настоящего политика, была достойной воительницей той бюрократической аристократии, которую Пушкин непоправимо оскорбил «Моей родословной» и вражду к которой постоянно декларировал. Сама позиция Пушкина — жизненная, общественная, политическая — вызывала мрачную неприязнь графини. А если прибавить к этому явную личную антипа-

тию, то откроется вулканическая подоплека их отношений. Выпад тридцать первого года можно считать объявлением войны. Она пыталась поставить Пушкина на место.

Графиня Мария Дмитриевна близко дружила с Геккернами, обожала Дантеса и была посаженой матерью на его свадьбе.

Как только появились анонимные письма, Пушкин, по воспоминаниям Соллогуба, сказал, что подозревает графиню Нессельроде.

Как и Уваров, графиня Нессельроде располагала множеством клевретов-исполнителей. И это была сила отнюдь не только светская…

Князь Александр Михайлович Голицын, общественный деятель эпохи Александра II, в своих «Памятных записках» зафиксировал важный для нас факт: «Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: „Итак, теперь известно имя автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина, — это Нессельроде“».

Сам князь Александр Михайлович не был близок ко двору. Он и ссылается на рассказ некой особы, сидевшей за столом с государем. Но источники его информации понятны. Его мать княгиня Луиза Трофимовна, в девичестве гра-

финя Баранова, с 1876 года была статс-дамой, а главное — племянницей министра двора и личного друга императора графа Адлерберга. Скорее всего, именно он и был источником этой знаменательной информации.

Разумеется, утверждение Александра II, не подтвержденное документально, нельзя считать абсолютно доказанным. Но маловероятно, чтобы император без всяких на то оснований обвинил в столь гнусном поступке недавнего министра иностранных дел (или его супругу).

Ссора с Соллогубом закончилась благополучно. Пушкин убедился, что молодой граф — не подставная фигура, и довольно легко пошел на примирение, которое свершилось в мае.

Но в то же самое время он оказался на грани еще одного поединка.

В начале февраля он ответил на письмо Соллогуба требованием дуэли, а не объяснений.

А 2 февраля, будучи в гостях у Пушкина, Семен Семенович Хлюстин неосторожно повторил сколь глупую, столь и злобную инсинуацию Сенковского, касающуюся одной благотворительной литературной акции хозяина дома. Хлюстин был человеком образованным, не чуждым литературных занятий, безукоризненно светским — что

Пушкин ценил. Добрый знакомый Михаила Федоровича Орлова, он переводил на французский язык его книгу «О государственном кредите», что свидетельствует о соответственной подготовке и общественных симпатиях. Пушкин принимал Хлюстина охотно и радушно. Им было о чем поговорить.

Но 2 февраля воспитаннейший Семен Семенович допустил промах, не понимая состояния Пушкина. Пушкин с трудом сдержался, но ответил собеседнику таким образом, что тот почувствовал себя оскорбленным. Более того, Пушкин ясно дал понять, что так это дело не кончится.

Хлюстин ушел.

На следующий день они снова встретились, чтоб объясниться. Но только усугубили ситуацию. И Пушкин отправил к Хлюстину Соболевского в качестве секунданта.

Хлюстин был боевой офицер, участник последней турецкой войны, и нет оснований подозревать его в трусости, но стреляться с Пушкиным ему явно не хотелось. Хотя и допустить ущерба для своего самолюбия он тоже не желал и вел себя достаточно вызывающе.

Пушкин, однако, почувствовал, что снова выбрал не ту мишень. Еще несколько лет назад в

подобном случае он, несомненно, вышел бы к барьеру без колебаний. Но теперь он находился в положении Сильвио из «Выстрела». Он не должен был рисковать со случайным противником. И не из-за возможного смертельного исхода.

Он готов был к любому риску, но не хотел бессмысленного убийства или самоубийства. Не говоря уже о том, что сам факт поединка мог привести к высылке его из Петербурга. А этого он не желал. Это не было выходом. Он хотел громкого поединка с тем, кто реально представлял бы его врагов. Он хотел не случайного противника, но бойца, выставленного противоборствующей ему исторической силой…

Хлюстин таковым отнюдь не был. И Пушкин дал Соболевскому их помирить.

Обмен письмами с Хлюстиным произошел 4 февраля. На следующий день они, очевидно, и примирились.

В тот же день — 5 февраля — началась переписка с Репниным о возможном поединке, закончившаяся 11-го числа.

Не следует считать все эти — очень разные! — дуэльные ситуации следствием отчаяния или, тем паче, попытками самоубийства. Каждый раз Пушкин сам и был инициатором их ликвидации.

Когда подозрения его не оправдывались, он охотно шел на примирение.

8 февраля Пушкин получил короткое послание от Дениса Давыдова из Москвы: «Полагая, что у тебя нет ни письма, ни стихов Жобара, спешу доставить их тебе, любезнейший друг. Перевод довольно плох, но есть смешные места, что ж касается до письма, я, читая его, хохотал как дурак. Злая бестия этот Жобар и ловко доклевал Журавля, подбитого Соколом».

Не без ужаса Пушкин понял, что Жобар, апеллируя к его имени, ведет собственную памфлетную войну с Уваровым, пустив перевод и послание широко по рукам, и что вину за это обрушат на его, Пушкина, голову. Гнев императора, унизительное объяснение с Бенкендорфом, дуэльные истории с Репниным, Соллогубом, Хлюстиным, неуловимая — кроме эпизода с Боголюбовым, — но настойчивая интрига, ход которой он постоянно ощущал, — все это давило на него ежеминутно, не давая отдыха, вынуждая сделать то, чего сделать он не мог, — согнуться. Но это было шекспировское действо — драма истории. А Жобар вносил в происходящее обидную фарсовую ноту. Он не только провоцировал для Пушкина новые гонения, но снижал смертельную распрю

идей до уровня сведения личных счетов.

И он дал знать неистовому французу, что хотел бы получить от него объяснения.

В начале двадцатых чисел марта Пушкин получил от Жобара ответ:

«Вы видите, милостивый государь, что, переводя Вашу оду, я не стремился к другой цели, как только к славе моего знаменитого начальника (который уже давно летит за венцом… бессмертия) и к собственному моему преуспеянию на стезе науки и почестей; и так, смею надеяться, что, приняв во внимание эти побуждения, Вы не откажете мне в прощении, о котором я молю.

Впрочем, чтобы доказать Вам искренность моего раскаяния, посылаю Вам все вещественные доказательства преступления и выдаю их Вам, связав по рукам и ногам, — предмет, оригинал и черновик, равно как и мое посвятительное послание, уполномочивая Вас, милостивый государь, сделать из этого чудовищного целого публичное и торжественное ауто-да-фе, а от Вашего великодушия я ожидаю милостивого манифеста, который бы успокоил мою напуганную совесть».

Помимо всего прочего, в марте у Пушкина начался очередной конфликт с цензурным ведомством по поводу «Современника»; он собирался

обращаться за помощью к Бенкендорфу, то есть к императору, и подогревать столь неудачно подвернувшуюся историю с «Лукуллом» было совершенно некстати.

Он поверил в смирение Жобара и послал ему почти растроганное письмо:

«Милостивый государь.

С истинным удовольствием получил я Ваш прелестный перевод Оды к Лукуллу и столь же лестное письмо, ее сопровождающее. Ваши стихи столь же милы, сколько язвительны, а этим многое сказано. Если правда, как Вы говорите в Вашем письме, что хотели законным порядком признать Вас потерявшим рассудок, то нужно согласиться, что с тех пор Вы его чертовски приобрели.

Расположение, которое Вы, по-видимому, ко мне питаете и которым я горжусь, дает мне право говорить с полным доверием. В Вашем письме к г-ну министру народного просвещения Вы, кажется, высказываете намерение печатать Ваш перевод в Бельгии, присоединив к нему несколько примечаний, необходимых, говорите Вы, для понимания текста; осмеливаюсь умолять Вас, милостивый государь, отнюдь этого не делать. Мне самому досадно, что я напечатал

пьесу, написанную в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование навлекло на меня неудовольствие одного лица, мнением которого я дорожу и пренебречь которым не могу, не оказавшись неблагодарным и безрассудным (император Николай. — *Я. Г.*). Будьте настолько добры пожертвовать удовольствием гласности ради мысли оказать услугу собрату. Не воскрешайте с помощью Вашего таланта произведения, которое без этого впадет в заслуженное им забвение. Смею надеяться, что Вы не откажете мне в любезности, о которой я прошу…»

Он отправил письмо 24 марта, а ответ получил только 17 апреля. Жобар вел свою игру и, получив пушкинский ответ, немедля использовал его в собственных целях, знакомя московскую публику с первым абзацем, лестно оценивающим перевод. Таким образом, произошло именно то, чего так не хотел и опасался Пушкин, — Жобар сделал его своим открытым союзником.

Дипломатичная похвала, которой Пушкин думал откупиться от своего неудержимого последователя, не только не утихомирила, но, напротив, еще более возбудила Жобара, принявшего ее за чистую монету или сделавшего вид.

Выжав из пушкинской похвалы все что можно,

казанский воитель отправил в Петербург послание уже не столь смиренное и покорное:

«Милостивый государь.

Я Вам бесконечно благодарен за Ваше письмо и Ваши похвалы. Все бранили мой перевод: его находили неточным, многословным, прозаическим, неверным; я сам был того же мнения: теперь же, когда мэтр высказался, все находят мой перевод точным, сжатым, поэтическим и верным. Удивляюсь метаморфозе. Это происходит с людьми, как и с вещами. Я некогда знал маленького человечка, совершенную посредственность, но полного самомнения, честолюбивого, желчного, с тщеславием детским и смехотворным; посредством интриг, плагиатов, низостей и подлостей, ползая и пресмыкаясь как улитка, он пробрался в светоносные сферы, где орел свивает свое гнездо. И с тех пор все — ну им восторгаться, и восхвалять его заслуги, дарования, добродетели, могущество пигмея, облеченного в великолепную эфирную мантию. В один прекрасный день некий злой шутник приподнял полу таинственной волшебной мантии и показал миру жука, ползающее насекомое, таким, каким природа-мать его сотворила. Иллюзия мигом исчезла и уступила место правде; и стоило бы Вам посмотреть, как с той

же минуты все те, кто недавно пресмыкался у ног мужа света и разума, поднялись против него, стали над ним издеваться, насмехаться, освистывать его, забрасывать грязью».

Точно очертив путь Уварова к власти, Жобар перегнул палку, называя его «совершенной посредственностью». Сергий Семенович был негодяем, но никак не посредственностью.

Выразительно описав обнажение пушкинским памфлетом сути уваровской натуры, Жобар сильно преувеличил ополчение публики против министра.

Жобар создавал антиуваровскую легенду, настойчиво втягивая Пушкина в свою войну. И он надеялся вдохновить автора оды картиной всеобщего прозрения и похода на общего врага.

Пушкин в это не верил — и был прав.

Но, выманив у Пушкина письменный документ, высоко оценивающий французский вариант памфлета, Жобар оставил за собой право использовать его в нужный момент: «…одобряя мой перевод, Вы мне советуете, милостивый государь, не отдавать его в печать. Повинуюсь Вам, но лишь временно. Я послал одну копию его моему брату в Бельгию и другую — моему отцу во Францию, как делаю со всеми документами

моего дела; но со специальным условием ничего не печатать без моего распоряжения.

В тех чрезвычайных обстоятельствах, в которых я нахожусь, я счел необходимым принять эту меру предосторожности; таким образом, если мне удастся добиться справедливости, которой я требую, живым или мертвым, я буду отомщен путем опубликования этого сплетения несправедливостей, насилия и низостей, жертвой которых я являюсь уже столько лет».

Надо отдать должное Альфонсу Жобару — он оказался сильным бойцом. Догадавшись, какое беззаконие окружает его, как и любого жителя империи, он предусмотрел крайние шаги своих противников. Вполне возможно, что именно наличие этих документов во Франции и Бельгии удержало Уварова от требования полицейских репрессий.

Вскоре Жобара выслали из России. Но над головами автора «Лукулла» и наследника Лукулла осталась висеть угроза опубликования памфлета в Европе. Как это ни парадоксально, публикация была невыгодна обоим. Для Уварова она означала международное поношение, для Пушкина — возможный разрыв с императором, в результате чего он оставался совершенно беззащитным перед

той полуявной, полутайной коалицией, которая неуклонно на него наступала…

Анонимные письма, ставшие детонатором взрыва, давшие возможность Пушкину начать контрнаступление, вышли из среды придворной аристократии, из среды многоопытных и многознающих бюрократов. В пасквиле-дипломе сообщалось, что Пушкин назначается заместителем Великого магистра ордена рогоносцев. Великим магистром назван был Дмитрий Нарышкин, муж любовницы императора Александра. То были дела едва ли не тридцатилетней давности. Вдохновители пасквиля должны были хорошо знать или помнить придворный быт прошлого царствования.

Близкий к пушкинскому кругу Николай Михайлович Смирнов объединял в качестве подозреваемых Геккерна и князя Петра Долгорукова.

Геккерны ли, не Геккерны, Долгоруков или кто другой — в конце концов, это было делом случая. Суть не в том, кто именно написал и отправил анонимные пасквили. Это могли быть и молодые светские шалопаи.

Уже после дуэли — 1 февраля 1837 года — философ-славянофил Хомяков, один из самых ярких людей послепушкинского поколения, писал свое-

му другу и единомышленнику Николаю Языкову из Москвы в деревню: «Грустное известие пришло из Петербурга. Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом, побочным сыном голландского короля. Говорят, что оба ранены тяжело, а Пушкин, кажется, смертельно. Жалкая репетиция Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнию, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург измучил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним примириться. Жена, вероятно, причина дуэли; впрочем, вела себя всегда хорошо».

Мы видим здесь и полное незнание конкретной ситуации, и в то же время понимание той атмосферы, что окружала Пушкина. Хомяков, которому, как и вообще его кругу, Пушкин был чужд и непонятен, тем не менее о чем-то смутно догадывался: «Его Петербург измучил всякими мерзостями». Что имел он в виду?

Осенью тридцать шестого года, когда кризис достиг апогея, игра глубоких подспудных обстоя-

тельств именно Геккернов выдвинула в качестве «ударной группировки». Пушкин понял это и без колебаний нанес удар. Он знал, что, поставив под пистолет любого из двух негодяев — старого или молодого, — он оказывается лицом к лицу и с теми, кто, сознают это Геккерны или нет, стоит за их спинами. Со своими главными врагами. Он знал и о дружбе Геккернов с домом Нессельроде.

Посылая вызов в дом Геккернов, обвиняя их в составлении пасквиля, он не случайно назвал Соллогубу — еще до вызова! — графиню Нессельроде…

Вдова Нащокина рассказала историку Бартеневу об одном вечере, когда в Москве уже знали о смертельном ранении Пушкина, но не знали еще о его смерти: «У нас в это время сидел актер Щепкин и один студент… Все мы находились в томительном молчаливом ожидании. Павел Воинович, неузнаваемый со времени печального известия о дуэли, в страшной тоске метался по всем комнатам…»

Тот, кого Нащокина называет здесь студентом, двадцатипятилетний Куликов, тоже описал этот вечер: «…когда… дошла до Москвы роковая весть о дуэли Пушкина, мы в ту же минуту с М. С. Щепкиным бросились к Павлу Воиновичу… Боже

мой! в каком отчаянном положении застали мы бедного Нащокина… Он, как маленький ребенок, метался с места на место…» Но Куликов передает и содержание разговора с Нащокиным в эти страшные часы. Когда речь зашла о причинах дуэли, Нащокин сказал: «Сам Пушкин, все друзья его и большая часть общества, как пишут из Петербурга, воображают, что анонимные шуточки… рассылались из посольства. А я уверяю теперь вас и уверил бы тогда Пушкина, что они шли из русского, враждебного поэту лагеря: у него есть враг сильный, влиятельный, злой и мстительный». И далее, рассказав историю с «Выздоровлением Лукулла», Нащокин прямо указал на Уварова.

В мае, во время последнего приезда Пушкина в Москву, они подолгу и подробно обсуждали пушкинские дела. И конечно же, уверенность Нащокина восходила к этим разговорам.

Куликов мог неточно передать словесную оболочку, но суть дела он выдумать не мог. Осведомленный Нащокин, с которым Пушкин был откровенен, обвинял уваровский круг…

В начале февраля Пушкин безусловно — в ответ на интригу Уварова — Боголюбова — довел бы дело до поединка, если бы ему подставляли не Репнина, а человека реально враждебного,

поединщика от вражеской рати.

Случайных жертв он не хотел.

В начале ноября, получив пасквили, он увидел в них не просто попытку оскорбить его и жену — анонимными письмами можно было пренебречь, — но начало опасной и дальновидной интриги, ибо имя Нарышкина, которого он назначался заместителем, выводило на Николая. Его дразнили интересом царя к Наталье Николаевне. Его хотели лишить единственной опоры — веры в лояльность императора.

Эту интригу необходимо было пресечь немедленно и радикально: ничего страшнее, чем эта сплетня, эта клевета, эта обида, его врагам было не выдумать…

Неизвестно, понимали ли его противники, но он-то понимал с леденящей ясностью: если эта клевета распространится в обществе, а повадки императора и его несомненное внимание к первой красавице Петербурга могли сделать сплетню правдоподобной, то он, Пушкин, не только не сможет жить, не только умрет опозоренным, но скомпрометировано будет всё его дело — всё. Поэт, пророк, политик — не может быть смешон…

В этом и состоял дьявольский смысл интриги, по сравнению с которой «репнинский вариант»

казался забавой.

То, что имя Нарышкина — ключ к интриге, понимали те, кто хотел понять суть происходящего. Александр Тургенев писал брату: «Еще в Москве слышал я, что Пушкин и его приятели получили анонимное письмо, в коем говорили, что он после Нарышкина первый рогоносец. На душе писавшего или писавшей его — развязка трагедии. С тех пор он не мог успокоиться». Тургенев выделяет именно нарышкинский сюжет — как главный и роковой.

И Уваров, и семейство Нессельроде, и Геккерн — все это были дипломаты, люди, привыкшие к тонкой подпольной игре, далеко идущим рассчитанным комбинациям, люди, умевшие скрывать свои мысли и мистифицировать поступки, люди, располагавшие многочисленной и активной клиентелой, приученной к соблюдению тайны. Нечистые мальчишки, кривляющиеся за его спиной, — егеря, загонщики, бездумно злые марионетки, отвлекавшие общее внимание, циничные кавалергардские шалуны, предпочитающие кулачную драку дуэли, но готовые развлечься, способствуя подвигам своего товарища Жоржа Дантеса…

Против него объединилось все самое изощ-

ренное, порочное, безжалостное — пена и суть смертельно больной, но еще когтистой и победительной по своей повадке формации.

В сфере светской интриги он не мог с ними тягаться. И если пытался, то напрочь проигрывал. И в тридцать шестом году он уже знал, что должен перенести военные действия в ту сферу, где он был силен. Публичная полемика была для него закрыта, памфлетная война — тоже.

Оставалась — дуэль.

Так декабристы — острие дворянского авангарда, — безнадежно проигравшие самодержавию и бюрократии в мирной общественной борьбе, вырвались в иную сферу — сферу вооруженного мятежа, где их решимость и самоотверженность уравнивала шансы, — и едва не победили.

В тридцать шестом году он знал, и чем далее, тем крепче в этом уверялся: чтобы выйти из тупика, в который его загнали, чтобы спасти не только свою честь, но и честь своего дела, — он должен восстать.

Для него приемлема была только одна форма вооруженного мятежа — поединок.

В ноябре тридцать шестого года, а затем — после вынужденной отсрочки, когда он снова дал возможность втянуть себя в чуждую сферу

и снова проиграл, — затем, в январе тридцать седьмого, когда он увидел долгожданный выход, он радостно пошел напролом.

С ноября тридцать шестого года перед ним оказался реальный поединщик вражеского стана. Пушкин знал, какой поединок ему предстоит.

Необыкновенность дуэли 27 января тридцать седьмого года ощутилась всеми. Один современник писал другому: «Ужас сопровождал их бой. Они дрались, и дрались насмерть. Для них уже не было примирения, и ясно было, что для Пушкина была нужна жертва или погибнуть самому».

Восприятие дуэли как заведомо смертельной порождало слухи, ужесточавшие и без того жестокие условия поединка: «Стрелялись в шести шагах — и два раза», — сообщал с ужасом петербуржец Неверов москвичу Шевыреву.

В России, по особенностям ее истории, форма судебного поединка сохранилась значительно дольше, чем в Европе. Судебные поединки были обычны до конца XVI века. Во всяком случае, иностранцы, посещавшие Москву в царствование Ивана Грозного, оставили о них подробные свидетельства. Если судебное разбирательство заходило в тупик, то истец или ответчик мог провозгласить: «Поручаю себя правде Божией и

прошу поля».

Подобная традиция не обрывается в одночасье. Память о судебных поединках была жива и в пушкинские времена. Недаром Вельтман, рассказывая о дуэлях молодого Пушкина, называл их «полем». Термин «полевать» обозначал дуэль.

Но гораздо чаще, чем сами тяжущиеся, судебный поединок вели наемные бойцы-профессионалы, для которых это было ремеслом.

Дантес, волею личных обстоятельств — влюбленность в Наталью Николаевну, жажда светской карьеры, включавшей в себя роман со светской красавицей, и так далее — оказавшийся лицом к лицу с Пушкиным, идеально подходил на роль наемного бойца.

Так и воспринял его Пушкин.

Лев Павлищев сохранил мнение Сергея Львовича и Ольги Сергеевны: «Враги Пушкина, нуждавшиеся в „подставной пике“, поняли, что Дантес им очень удобен и может как нельзя лучше осуществить их замыслы, вовсе при этом не подозревая, кому именно он служит».

Речь шла, естественно, вовсе не обязательно об убийстве. Но прежде всего — о компрометации, о завершении процесса, который начался давно. Тот же Павлищев, как мы помним, писал: «Алек-

сандр Сергеевич при свидании с моей матерью в следующем, 1835 году высказал ей все, что он выстрадал со времени своего камер-юнкерства. По словам Ольги Сергеевны, он сделался тогда мучеником… И вот в том же 1834 году, так, по крайней мере, полагала моя мать, обрисовываются первые шаги страшного заговора людей, положивших стереть Александра Сергеевича с лица земли».

Аморфная, слабо организованная — против Пушкина — как целое, но сильная последовательной общей ненавистью и зловещим искусством отдельных фигур, придворно-бюрократическая масса, чьей идеологией была уваровщина в смысле более широком, чем конкретная доктрина министра просвещения, — уваровщина как сознательная и корыстная подмена истинных исторических ценностей ложными, — эта масса полуосознанно выталкивала вперед развязного и безнравственного авантюриста, так удачно подвернувшегося под руку.

И подспудные мотивы этой массы в ее смертельной вражде с Пушкиным были эпохально серьезны, по сравнению с пошло мелочными интересами Геккернов.

«Хитрость и сила погубили Пушкина», — писал

один осведомленный современник другому.

Сила…

Имперская бюрократия, подымавшаяся на гибельную для себя и катастрофичную для страны высоту, отсекала прошлое, отрывалась от предшествующей эпохи, десять лет пытавшейся сохранить хоть малую часть своих позиций, стирала единственную идеологию, казавшуюся в тот момент ее «уваровскому сознанию» опасной, — идеологию дворянского авангарда. Пушкин был для нее непереносим…

В былые времена каждый свободный житель Московского государства, столкнувшись с бессилием правосудия, имел право на судебный поединок. Регулярная петровская империя создала реальность, в которой — вне зависимости от голоса закона — «Божьему суду» места не осталось.

Тогда дворянство осознало и защитило право на дуэль, сохранившую в вершинных случаях оттенок «Божьего суда».

Наступление торжествующей бюрократии тридцатых годов выдавливало из сознания и это право.

Но на сломе времени, на последней границе декабризма, обе традиции — судебного поединка

и дворянской дуэли — слились в предсмертном пушкинском натиске. Как сливались в нем многие коренные линии русской истории…

Пушкин пошел напролом. Как переворотные гвардейцы прошлого века, полуосознанно жаждавшие искоренения скверны и совершенствования державы.

Как Радищев, не могущий более терпеть муку своего бессилия.

Как молодой Михаил Орлов, не желавший ждать поумнения власти.

Как Трубецкой, Оболенский, Рылеев, Пущин, Бестужевы, потрясенные прекрасной и страшной дилеммой: действие или бесчестье. «Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Российская жизнь, исковерканная, истерзанная «дряблым деспотизмом» и его кондотьерами, раз за разом ставила дворянский авангард перед этой дилеммой. И не оставляла иного выхода — кроме оружия.

И Пушкин принял вызов истории, как и все они.

Это был его мятеж.

14 декабря на Черной речке.

1984–1985